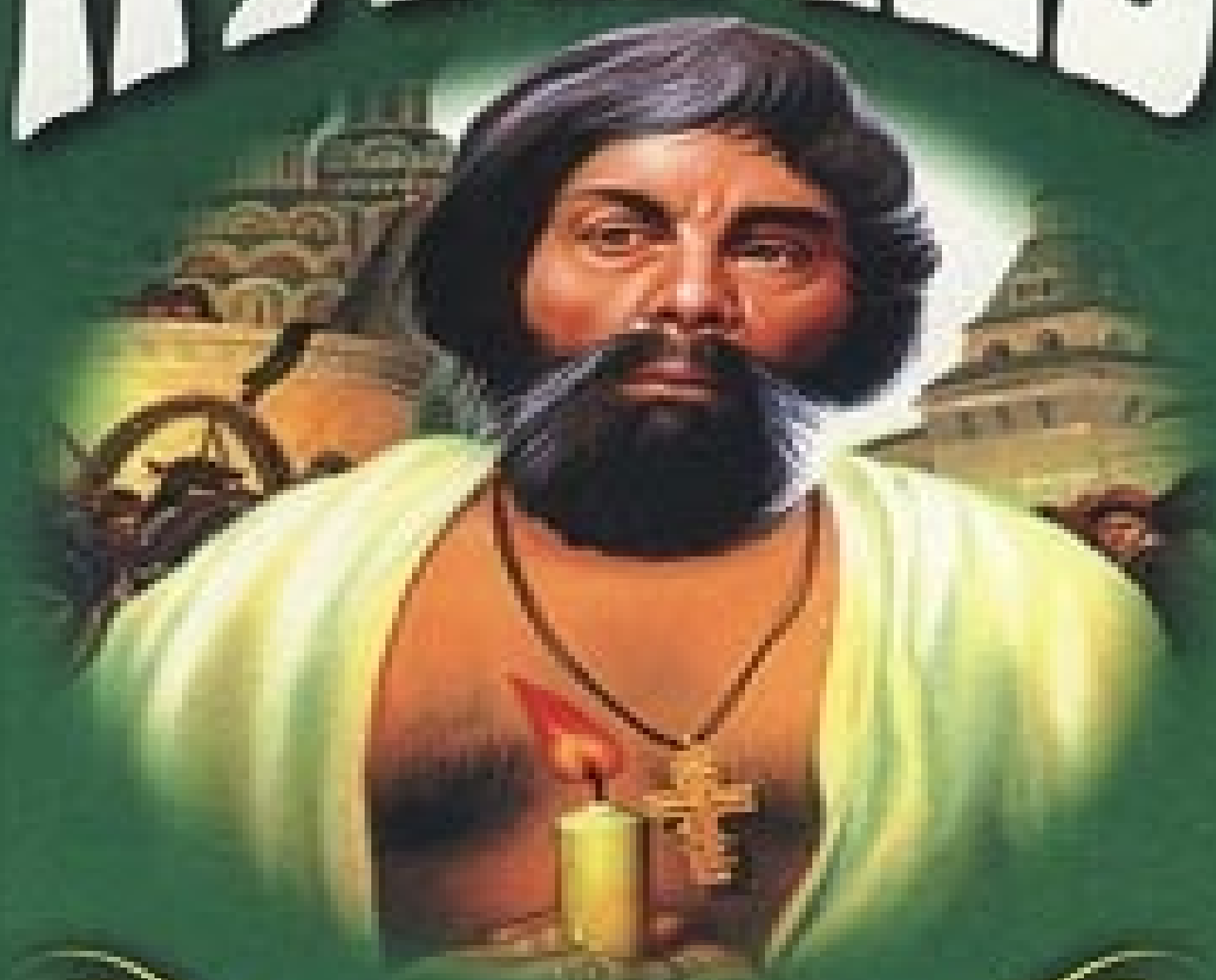


Вячеслав Шинков

# ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ



## Annotation

Историческая эпопея выдающегося русского советского писателя В.Я.Шишкова (1873-1945) рассказывает о Крестьянской войне 1773-1775 гг. в России. В центре повествования &#8212; сложный и противоречивый образ предводителя войны, донского казака Е.И.Пугачева. Это завершающая книга трилогии.

---

- [Вячеслав Яковлевич Шишков.](#)
  - [Книга 3.](#)
    - [Часть 1.](#)
      - [Глава 1.](#)
      - [Глава 2.](#)
      - [Глава 3.](#)
      - [Глава 4.](#)
      - [Глава 5.](#)
      - [Глава 6.](#)
      - [Глава 7.](#)
      - [Глава 8.](#)
      - [Глава 9.](#)
      - [Глава 10.](#)
    - [Часть 2.](#)
      - [Глава 1.](#)
      - [Глава 2.](#)
      - [Глава 3.](#)
      - [Глава 4.](#)
      - [Глава 5.](#)
      - [Глава 6.](#)
      - [Глава 7.](#)
  - [Приложения](#)
    - [От редакции](#)
    - [Думы Пугачёва](#)
    - [Офицер Горбатов и Даша.](#)
    - [Падуров и офицер.](#)
    - [Из блокнота.](#)
    - [Суд и расправа.](#)
    - [Купец Барышников](#)

- [В бане.](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Всемирная история в романах»](#)

Приятного чтения!

**Вячеслав Яковлевич Шишков.**  
**Емельян Пугачёв**

## **Книга 3.**

## Часть 1.

### Глава 1.

#### Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, перелески, лес.

##### 1

Ржев — городишко торговый, довольно бойкий и промышленный.

Еще с начала века, при Петре I, был Ржев не в хорошей у правительства славе, как гнездо потаенного раскольников и всякого рода противностей, продерзостей.

К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Остафий, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тароват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведываясь в Питер доставлял овес для царских конюшен и, по своей необычайной пронырливости, имел даже беседу в Ораниенбауме с самим Петром Федоровичем, наследником престола.

Как-то сдал Долгополов в Ораниенбауме пятьсот четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д. И. Дебресан, денег же Долгополову пока что не дали, сказали: «В следующий приезд уплатим и с процентами». Ну что ж, без долгов не торговать, а за богом молитва, за наследником престола долг не пропадет.

И случилось тут печальное событие: Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорей в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили:

— Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братии по смерти государя за долгами ходят.

Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился восвояси...

Да уж, полно, не тот ли это Остафий Трифоныч, что, приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра Третьего в трактире «Зеленая Дуброва» и, помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре? Да, он самый...

Но то было давно, в 1762 году, с того времени одиннадцать лет прошло, мясник Хряпов разорился и подвизается где-то на полях Пугачёвского восстания, Барышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков знатным стал помещиком. Вот что с людьми делает время... Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном, ни духом, да и не до знакомых было человеку! Счастье изменило Долгополову. Он разорился, за неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях, купцы презирали его, но иные все же о нем думали: «Вывернется, не таковский, хапнет где ни-то».

Сам Долгополов также не терял надежды на милость божью, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть. От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась.

И вот, ударил час...

В зиму 1773 года шел Остафий Трифонич по базару, хотелось березовых веников для бани расстараться, и нагоняет его кум, и отводит его в сторону, и с уха на ухо говорит ему:

— Слышал, кум, про дела-то про великие? Будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорыч Третий.

Сухонький, невысокого роста, Долгополов отпрянул от кума, лицо выразило страх и удивление.

— Да что ты, кум, очнись! — замахал он на кума руками. — Статочное ли дело! Государь наш Петр Федорович умер, я в Невском монастыре не единожды на могиле его молился, ведь на нем семьсот рублей моих долгу числится...

Откудов слух идёт?

— От народа, от черни.

Домой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный. Жене ни слова. После трапезы пошел в божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам все о кумовых словах думает, и молитва не идёт на ум. И только руку с двоеперстием для крестного знаменья занес, как встал в его мыслях — будто бы живой — царь Петр Федорович и улыбнулся, встали знатные бояре Нарышкин с Дебресаном и тоже улыбнулись. «Пользуйся», — сказали они все трое и, словно дым, исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупают овес... Чей овес? Его овес, Остафия Долгополова.

«Эге-ге-е», — хитроумно подумал купец, подмигнул божнице с

горящею лампадою, да из молельни вон.

И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце.

«Здравствуй, батюшка, светлый царь Петр Федорович! А дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас...»

«Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать... Скуден я разумом своим, а только клятву тебе приношу, господи: ежели поверстаю долг, тебе свечку превеликую, попу ризу, а бедному люду целый рубль раздам».

Лютая трясовица напала на Остафия Трифоновича, а сверх нее — необоримая икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене, Домине Федуловне:

— Ну, баба, слушай со смирением и рюмы распускать чтобы ни-ни...

Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправляюсь я, баба глупая, в незадолге в Москву, засим во город во Казань, повезу туда красок, сказывают, там красок нетути, большую корысть чрез то можно поиметь.

Сбирай меня в путь-дорогу, баба моя милая, покорливая...

Домина Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала:

— Я воле твоей, государь Остафий Трифоныч, не перечу. Езжай, ни-то, благословлясь... Ау... — и с тем отошла горько постенать в молеленку.

А втапору жил-проживал во Ржеве великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков.

Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным трудам своим он был зажиточен и славен.

Вот к нему-то и направился хитрый купец Остафий Долгополов. Купцу всего сорок пять лет, а на вид можно дать и шестьдесят. Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане, шел он, чуть прихрамывая (мозоли на ногах), крадущейся кошачьей походкой; на сухощекном, в рябинах, личике крупный нос, безбровые прищуренные глазки, да кой-какая бороденка с проседью, личико в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, и глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами, будто купчик хочет вымолвить:

«Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели... Я раб божий, тихо-смирно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадетя — объегорю».



Шапка, не по голове большая, рысья, на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи, с преизрядной вышивкой. Широкий кушак, темный иссиня, с кистями.

Знатный морозец был, из труб дым столбом, жареной на конопляном масле рыбой пахло. Шел купец, покряхтывал.

Дом достоправного механика Волоскова стоял подле Волги, при овраге, — длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской.

— Сам-то дома?

— Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмам вредно. Хи-хи-хи-с...

Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком, — сердито блок заскорготал, кирпич на веревочке поднялся — в кухне толстобокая стряпуха двумя пятернями голову скребет; проследовал в прихожую — пусто, козлиным голосом почтительно прикрякнул.

— Кто там? Шагайте сюда, ни-то...

Батюшки мои, светы батюшки! Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные провода, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных — горы...

А вот и человек с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрединном балахоне, длинные в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы желтые, продубленные крепкой кислотой, а черные глаза глядят со вниманием и строгостью.

Долгополов покрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую елико возможно вытянул и, согнувшись пополам в пояском поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы.

— Здорово будь, Терентий Иваныч, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков, аминь!..

— И ты здоров будь, Остафий Трифоныч, — мужественным голосом ответил хозяин. — С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради али по делам?

— По делам, по делам, Терентий Иваныч-свет, — расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями лысоватую голову свою, вкрадчивым голосом ответил гость. — Уж мне ли, неразумному, при худобе моей пытаться механику твою премудрую... Темен-бо умишком своим малым.

— Сие смирение зело похвально, но не основательно, — и хозяин ввел гостя в соседнюю горницу, штукатуренные стены коей, а равно и потолок были расписаны знаками Зодиака и затейными картинами.

— Батюшки, пушка! — удивленно, с беззубым пришепетом прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную стоявшую на треноге махину.

— Вот и ошибся, гость дорогой, — заулыбался хозяин, — это зрительная труба суть плод моего художества, чрез нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии её работы, а сие в едино и поучает и забавляет. Да вот беда, стекла дюже плохи, нет прозрачности, и трещины кой-где идут. И горюшко мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить.

— Да-да-да, да-да-да, — прищелкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. — О, господи, твоя воля... до чего доходит ум людской, до какой премудрости! А я к тебе, друг, за советом...

Хозяин хмуρο взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвел к знаменитым, своего изобретения, часам:

— Уж не взыщи, все покажу тебе, в чем жизнь моя течет. Вот — часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся, больше недели без памяти лежал. Но одолел, одолел! Время покорил. Законы заключил в медь и камень.

Зри...

— Да, да, добре строенные, пречудно... — Плюгавенький Долгополов, нагнув голову, смотрел исподлобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача.

На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронтоу желтой медью, в середине — главный циферблат, по углам — четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря.

— Особенного зраку нет в них, — без всякой любви, скорей с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув, хозяин. — Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядом, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. — Бледное умное лицо хозяина приняло печальное выражение, на возбужденных глазах показались слезы, он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью, — Эх-ма... Вот бьешься, бьешься... Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духу не слышать... Ну, кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к

чему. У помещика же труд даровой, пошто ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа, может статься, забредет в мою келию да купит в кунсткамеру свою на погляденье людям...

— Дозволь тебя, Терентий Иваныч, спросить, — прервал хозяина заскучавший гость. — Слых в народе идёт, будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорыч Третий.

— Нет, не слыхивал, — с суровостью ответил хозяин. — Да подобной глупости и слушать не хочу... А вот принес мне весточку ученый один знатец. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском, они полтора года в море плавали, в зыбь и бурю, и уклонились от истинного времени токмо на полторы минуты. Вот это часы!.. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую заполучил...

— Оный разговор для меня вещь недоуменная. Терентий Иванович... Уж не обидься, пожалуй, — прошамкал гость. — Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину...

— Пойдем, — встал хозяин и ввел гостя в третью горенку с книжными шкапами. — Эта храмина вивлиофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письма, письма в листы, листы в переплет, сиречь в книгу, книги же заключены в шкапы. А вкупе все — по-гречески — вивлиофика...

— Господи, господи... — причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость. — Каких же капиталов тебе стоит эта премудрость...

Сколько овса на эти денежки можно закупить, да муки, да ситцев с сукнами, какие великие обороты можно делать... Эх, бить тебя некому, Терентий Иваныч, уж ты прости меня, пожалуй, не серчай...

— Бить? — нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла.

Гость попятился и замигал. — Меня и так жизнь бьет изрядно... Вся душа избита невниманием... Многие знатные люди перебивали у меня — и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов. Насулят-насулят и ни с чем уедут.

Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над машиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди вниманье да помощь, эх, что бы было, каких бы громких делов я натворил, каких бы затей навывдумывал на пользу отечества... А здесь... Знаешь что, знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши, чернокнижием-де занимается Волосков, планеты небесные-де рассматривает. О прошлом годе науськали мужиков на базаре бить меня... Ну, пойдем из сада мудрости, чую — это не

по плечу тебе...

— Ах, верно, друг, ах, верно... Истинно сад мудрости... — обрадованно загнутил, зашамкал Остафий Долгополов и, юрко протянув руку к лежавшему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой.

— Ах, ах! Ну, до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глас твой...

Они вышли из покоев, пересекли двор; барбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака, хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку.

— Отец мой, царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен, и жил он в скудной бедности. Нешто часами в сем городишке проживешь! И стал он яркие краски выделять — кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла, сукна для обмундирования занадобилась бездна, на краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать...

— Терентий Иваныч, свет, одолжи ты мне, бога для, кармину да бакану своего. Еду я в Казань-город, тамо-ка, сказывают, в красках великая нужда, вот поеду, продам с барышом и денежки тебе доставлю, свет, с поклоном низким... А нет, лисьих мехов в орде куплю... Уж я не обману, я человек верный, кого хошь спроси.

Хозяин знал, что слава про Долгополова идёт худая: прощельжник, жох, но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу:

— Ладно, краски дам, ни-то. (Долгополов косорото осклабился — рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.) А кармин у меня добрецкий, можно сказать — на всю Россию знаменитый, пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств, постановлено признать кармин Терентия Волоскова «зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с отливом», так и в грамоте на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон кармин мой в ход пошел, заказов не обери-бери! — Волосков выпрямился, гордо откинул голову. — В сем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности нашей... и сим горжусь...

— Исполать тебе, свет Терентий Иваныч! — вновь отвесил ему купец поясной поклон.

Льстивостью, нахрапцем Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тюрючка красок и сто рублей наличными деньгами.

Мороз крепчал. На базаре крик, гам, толчея. Долгополова за полы хватают, всяк рвет покупателя к себе:

— А вот поросеночек, а вот!..

Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменял мелкими шажками к воеводе. «Первееущее дело — паспорт. А ну как не даст?..»

Воевода Ржева-города всем воеводам воевода, секунд-майор Сергей Онуфриевич Сухожилин, а по прозванию «Таракан». Такое от народа прозвище он получил не зря и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного, во благо градожителеев, ума. Но об этом замечательном событии мы своевременно читателей оповестим.

Воевода Сухожилин-Таракан — сын полка, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам проживавшей во Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой.

Несет он бремя службы вот уже двадцать лет, сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритым, в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у кержака. Нрав у воеводы крутой, горячий, глаза завидуущие, руки загребуущие, да к тому же и добрым разумом не наделил его господь, водились за ним такие фокусы, что — ах! Но милостию божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а наипаче через взятку златом, снедью и чем попало, воевода Таракан всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блистающий. Слава тебе, господин, и тебе, княгиня, и вам, продажные суды, продажные души, великая слава и честь во веки веков. Аминь.

Мороз за щеки хватает, поросенок визжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный воеводский дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алебардой на плече, возле его ног рыжая шавочка по-сердитому пошавкивает.

— Песик, песик, на! — с опаской оглядываясь на собачку купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводине, сам — в канцелярию.

Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводском, под красным сукном, столе — петровских времен зеркало, пропыленные дела, на делах разомлевший

кот дремлет, над столом в золоченой раме её величество висит, через плечо генеральская лента со звездой, расчудесными глазами весело на Долгополова взирает.

Нет никого, в открытую дверь мужественный храп несется, надо быть, сам воевода после сытой снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул:

— Здравия желаю! Это я...

Храп сразу лопнул, воевода замычал, застонал, сплюнул и мерзопакостно изволил обругаться:

— Эй, писчик! Ты что, сволочь, там шумишь, спать не даешь? Рыло разобью!

— Это я, отец воевода, — загнусавил высоким голосом Остафий Трифонович. — Раб твой худородный, купчишка Долгополов челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец-благодетель...

В доме жара, от печей горячий воздух тек, обрюзгший большебрюхий воевода выплыл из покоев в подштанниках, в расстегнутой рубахе, босой.

Волосы всклоочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак.

— Ты чего, дьявол, стучишь? — крикнул воевода. — Ах, это ты, Долгополов? Я думал — подканцелярист... Пошто поздно? Присутствие закрыто ведь, — воевода рыгнул, перекрестил рот, почесал брюхо, сел за стол. — Что скажешь?

— Ой, отец воевода. Сергей Онуфрич, до твоей милости я, паспорт хочу исхлопотать, хочу в Москву да в Казань-город ехать по спешным делам моим.

— Эй, дай-ко-те квасу мне! — опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тюрючка с красками, подумал: «Процельжник... Давно бы тебя, процельжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить... Ишь ты, тюрючки.

Мне люди добрые мешками носят». И воевода, отдуваясь, прохрипел:

— Паспорт тебе надобен? В Москву? В Казань?

— Так точно, милостивец, — переступил Долгополов мозольными ногами и благопристойно покашлял в горсть.

Воевода вдруг заорал:

— Марья! Квасу! — и стукнул жирным кулачищем по столешнице.

Спавший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши, хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный

жбан и кружку белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал:

— Нет, не будет тебе пашпорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте-то... Ты хлюст порядочный...

Долгополов сунул тюрючки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени:

— Милостивец, батюшка! Не губи, выдай... Самонужнейшие дела у меня в Казани.

— С пустыми руками к воеводе не ходят. Нет, не дам...

— Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок. К Рождеству Христову выкормишь.

— Поросеночка? Сам ешь. Не больно корыстен поросенок твой. Ступай с богом, не дам.

— Батюшка, воевода пречестной! — взмолился Долгополов. — Я ныне человек разорившийся, панкрут, сам изволишь знать... А в дороге чаю дела поправить, может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя, отец.

— Ты на посуле, как на стуле... Знаю тебя, хлюст ты... Ступай!

Воевода встал и ушел в покои, захлопнув дверь.

Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу.

Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Ну да ничего, он этого воеводу-хабарника еще уломает.

— А ну-ка, стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось денжат с него сдерну; без денжат куда пойдешь, — вслух подумал опечаленный Остафий Трифионович.

Купец Абросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тыщах, недавно кирпичную церковь старообрядцам пожертвовал, но был груб, суров и на руку дюже ерзок. Во Ржеве до пятнадцати таких канатных завезений, купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская голытьба да оброчные крестьяне.

Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним — медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника:

— Сам-то дома?

— Дома. Токмо ной у него в поясах, спину пересекло, кажись, лежит.

По блоку злющий кобель на цепи взад-вперед сигал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от укусов песьих, Долгополов на черное крыльцо, дернул в кухню дверь — не подается, дернул со всей силы — плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтоб тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкою красную спину (бородатую с плешью голову вниз), стоял голый человецище, хозяин Абросим Силыч Твердозадов, а его дородная красавица жена, тоже голая по пояс, в какой-то коротенькой юбчонке, со всем усердием и с молитвенным от немощи причетом растирала редькой поясницу супруга своего. Голый человецище кряхтел, охал, жалостно постанывал.

И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: «Ой-ой, кто это такое вперся?» бросилась в покои, голый же человецище, не меняя положения, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал:

— Дворник, ты? Эк тебя, дьявола, прости меня, господи, черти-то носят. Никак, крюк в двери сорвал. Пошел, стерва, вон!..

— Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Остафий...

— Ты? Пошто ты, тварь, не в показанное время лезешь, пошто двери чужие ломаешь, аки тать? Тут женщина в нагом естестве, а он, собака...

— Я, Абросим Силыч, видит бог, защурившись стоял и наготы вашей супруги не приметил, — врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был Твердозадов к красавице жене своей. — Я, Абросим Силыч, в простоте душевной деньжонок у вас попризанять насмелился-с... Дозарезу нужны, Абросим Силыч... Погибаю-с, — пел елейным голосочком Долгополов.

Забыв про поясницу, ревнивый муж вгорячах быстро распрямился, от резкой боли застонал и, шагнув к попятившемуся Долгополову, весь затрясся в злобе:

— Тебе... денег... Тьфу!.. Ты, мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет... Уйди, зелье лихое, пока я те щелоком морды не ошпарил!

Долгополов схватился за дверную скобку:

— Не извольте гневаться, Абросим Силыч. Уж ежели я мошенник да плут, так вы вдвое...

Великан хозяин молниеносно сгреб ухват, замахнулся им на



Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал:

— Митька! Ивашка!.. Спускай собак... Трави его, асмодея!

Впереверт кувыркаясь с лестницы, заполошно орал и Долгополов:

— Постой, постой, длиннородый черт! Я те покажу, как честных людей увечить... Я самому воеводе жалобу подам! Он те бороду-то рыжую убавит...

— Чихал я на твоего воеводу-дурака! Жулик твой воевода, крохобор.

Ивашка, черт, чего смотришь? Дуй его!

И Твердозадов, опять заохав, скрылся в кухню, а дворник схватил Долгополова за шиворот и поволок со двора, как волк барана.

### 3

На другой день мрачный Остафий Трифонович, похлебав толокна с квасом, снова направился в воеводскую канцелярию. Скучала поясница, побаливала голова от вчерашней затрецины. Подьячий в медных больших очках, писчик и два подкопииста, поскрипывая гусиными перьями, строчили бумаги. Кот сидел на полке с законами, умывался лапой, зазывал гостей. Воеводы не было. По случаю рождественского поста он говел, еще из церкви не приехал.

Долгополов вышел на улицу, ждал у ворот, вел беседу с будочником.

— Идёт, идёт такой слушок, — охрипшим голосом говорил бударь, для сугрева переминаясь с ноги на ногу. — Токмо я сему веры не даю, ни боже мой! Может ли такое стать, чтобы из мертвых царь воскрес? Ни боже мой!

Вчерась двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, маленько попытали батожьем острастки ради, да с пьяного чего возьмешь...

Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко кланялись начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо взойти.

— Не дам, не дам, — бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов.

— За пашпортом? Не дам...

— Я, отец воевода, с жалобой к твоей милости пришел. Дай защиту...

— С жалобой? На кого показываешь?

— На ирода и разбойника, на Аброську Твердозадова.

— Ась, ась? — и воевода, чтоб лучше слышать, отогнул стоявший

кибиткой лисий воротник. — На кого? На Аброську Твердозадова? Давай-давай его сюда... Он предо мной шапки не ломает, его гордыня заела. Он, подлец, на меня в Тверь жалобу писал... Он вроде тебя — хлюст, а нет, так и погаже... Давай-давай... В чем обвиняешь? Шагай за мной...

Воевода стал веселым, суетливым, сказал:

— Обожди, пожалуй, в канцелярии, я чайку испью. Приобщался сегодня я...

Через час в канцелярии появился воевода в кургузом мундире и при шпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким, подобострастным поклоном гулко прокричали:

— С принятием святых таинств поздравляем, васкородие! Имеем честь!

— Спасибо, ребята... Долгополов! Показывай, в чем дело. Иван Парфентьич, садись сюда, пиши.

Долгополов и подьячий подошли к красному столу. Подьячий, гусиное перо за ухом, сел, разложил пред собой голубовато-серые листы бумаги, протер концом скатерти очки, откашлялся. Писчики, вода вхолостую перьями и притворяясь, что усердно пишут, наострили уши. Долгополов гундосым голосом стал давать показания, стараясь обелить себя и во всем обвиноватить Твердозадова.

— ...Тут он, аспид, сверзил меня с лестницы и начал всячески поносить твою милость, отец-воевода, непотребной бранью...

— Какими словесами?

— Срамно вымолвить. Не точию словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко, сиречь такие словеса, ажно язык мой прильпне к гортани моея... Боюсь.

— Ну, молви, молви смело, не опасайся... А нет — и тебе, хлюст путаный, кнуты будут. — И бараньи глаза воеводы омрачились.

— Господин воевода! Лучше допроси дворника евонного, Ивашку. Он, смерд, слышал хозяйскую хулу на твою милость... Вели сыскать его. Да и Аброську Твердозадова зови...

— Писчик! — крикнул воевода. — Пошли солдата за Ивашкой.

Вскоре привели в канцелярию Ивашку. Это — широкоплечий, приземистый парень лет двадцати пяти, кудрявый, без бороды и без усов. Глаза злые, губы толстые. Он — сирота, крепостной господ Сабуровых, числился на оброке, подрядился, по письменному договору, служить три года Твердозадову на его канатной фабричке. И, как водится, попал в большую кабалу: помещик вскоре запродавал его еще на два года и половину денег за его службу забрал вперед. А служба у купца анафемская. Пробовал

Ивашка бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от Твердозадова мзду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдрать его, а после порки водворил бегуна снова в кабалу к купцу, Ивашка озлобился. На своего хозяина, на зажиточных людей и на все начальство глядел лютым зверем.

— А-а, знакомый! — притворно весело, но с затаенной неприязнью воскликнул воевода. И начался допрос.

Ивашка, опасаясь от Твердозадова побоев, запирался:

— Знать не знаю, ведать не ведаю, а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал.

— Ишь, мужик-деревня, голова тетерья! — зашумел на него Долгополов и загрозил перстом. — В запор пошел. А не ты ли меня, волчья сыть, выволок за ворота да кулачищем по загривку? После того разу я смешался, куда бежать...

— Нетути, не видел я вас, — сказал Ивашка, — я втапоры в трепальне обретался, пеньку чесал.

Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал головой и прогнусил, ехидно улыбаясь:

— А-я-яй, а-яй... Подлец какой ты, парень! Побойся бога, пост ведь.

— Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой честил? — сердито спросил воевода и нахмурился.

— Сказывал, не слыхал, — с грубостью ответил парень.

Воевода ударил в стол и закричал:

— Р-розог сюда!.. Палача сюда! Ребята, вали его на пол, спуцай портки!

Три старых солдата брякнули Ивашку на пол, сорвали полушубок, перевернули носом вниз, оголили спину. В красной рубахе косой палач пришел, под пазухой — пучок розог. На ноги Ивашке сел солдат, на шею — другой, а третий солдат крепко держал вытянутые вдоль пола руки парня.

Ивашка пыхтел, скрежетал зубами.

— А ну, ожги, — командирским басом приказал воевода, встал, подбоченился, шагнул к Ивашке.

И только палач замахнулся, Ивашка заорал:

— Винюсь! Винюсь!!.

Палач недовольно кинул розги, парень встал.

— Сказывай! — крикнул ему воевода. — Иван Парфентьич, записывай за ним.

Глаза Ивашки засверкали, застучала кровь в виски, он подумал: «Эх, была не была, и хозяину и воеводе молебен закачу...» — и, вымещая злобу,

с плеча начал поливать начальника:

— А пушил он твою милость вот как: «Этот сукин сын, воевода Таракан самый, — говорит, — из подлецов подлец... Самый хриstopродавец. Я его знаю, Таракана, подлеца!.. Он чем попало, мол, хабару берет. Весь город ограбил. Народ истязует. Девку, мол, изнасильничал... Каторжник воевода, подлюга, казнокрад... В петлю его, сукина сына, давно пора... Убивец! Вор!

Тараканище, этак и этак его растак...»

Поднялся переполох. Воевода размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Писчики, подкопиисты повскакали с мест. — Волоки его, волоки! В холодную! Держать, гада, без выпуска, — свирепел воевода. — Гей, люди! Сыскать купца сюда! Твердозадова! Крамола! Смерды головы подьемлют, аки змеи... Эвот под Оренбургом низкая сволочь бунт бунтует. Я вам покажу Петра Федорыча императора! Слава богу, государыня у нас, матушка Екатерина! Сыскать купца!

Парня поволокли вон. Служащие стояли как в оцепенении, тряслись.

Лисье личико Долгополова покрылось крупным потом, красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства, толстобрюхий воевода пробирался, словно пьяный, к себе в покои, тяжело переводил дух, хватался за сердце.

— Батюшка, Сергей Онуфрич, — взяла его под руку молодая краснощекая воеводица, дочь простого посадского человека, — что ж ты, голубчик мой, ради принятия святых таинств в этакий раж вошел: кричишь, ругаешься, людей бьешь... Ой, грех какой, ой, грех какой, право ну. Разденься, ляг, отдохни. Глянь, вздышишь-то, словно рыба на песке. Мотри, кондрашка хватит.

Воевода струсил слов ее, разделся, отдуваясь, выпил квасу, лег в постель. Свалили его поносные выкрики Ивашки. Господи, боже мой, ведь всю правду смерд про воеводу молвил. Хриstopродавец, взяточник, вор, насильник, казнокрад... Так оно и есть. А как иначе? Вот нагрянет губернаторская ревизия — тут неладно, там неладно, здесь упущение по службе, — всех надо убоготворить, всякому хапуге-ревизору взятку дать.

Вот и приходится с застращенных жителей тянуть... Эх, доля ты служилая!

Вернулись солдаты, доложили подьячему, а подьячий воеводе:

— Повинного пред твоей милостью купца Твердозадова добыть солдаты не доспелись. И сказывали те посланные тобой солдаты, коль скоро-де подошли они к хороминам купца, ворота-де оказались на запоре, а сам винный пред твоей милостью купец шумел-де из-за ворот: у воеводы-

де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию, такого-де закона нет, а есть закон тягать оных фабрикантов в мануфактур-коллегию. И по сему-де уходите прочь, иначе псов спущу, работных людей скличу, худо будет! И, шумя так, два выстрела из пистолы в воздух дал. Какое изволишь, воевода государь, распоряженье учинить?

И подьячий поклонился воеводе. Тот, лежа на кровати, помедлил, поохал и слабым голосом сказал:

— Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кой заповедал нам прощать врагам своим, я данной мне от великой государыни властью того винного предо мной купца Твердозадова на сей раз прощаю. Объяви сие.

— А как прикажешь...

— А того смерда Ивашку, дав ему острастки ради двадцать пять горячих лоз, отпустить домой, мерзавца, с миром.

Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадкой, переживал в душе светлые минуты христианской добродетели: обидчика простил, парня наказал слегка рукой отеческой и отпустил домой.

— Зарежу воеводу, нарежу воеводу... Вот подохнуть, нарежу, — с остервенением бубнил измордованный Ивашка себе под нос, уходя с воеводского двора.

Наступили рождественские праздники. Все учреждения — воеводская канцелярия, суд, земская изба — закрыты на две недели. По старинному обычаю отворились двери тюрьмы, колодники были распущены по домам на подписку и поруки. В неволе остались на праздник только те, которых надлежало держать «неисходно без выпуску».

Загудели колокола, праздничный народ валом повалил в церкви. Затем пошло исстари установленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опивались насмерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженные.

У воеводы, бургомистра, ратмана, именитого купечества шли шумные пиры. Подвыпив, иногда на пирах дрались, вырывали друг другу бороды, били посуду.

Воевода за святки допился до чертиков, его дважды отливали водой, цырюльник пускал кровь ему.

А в день Крещения, после водосвятия на Волге, как ушел крестный ход, многие стали купаться в иорданской проруби. Поохотился и воевода очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил в расписных санях с коврами. Жена плакала, вопила: «Не пущайте его, люди добрые, не пущайте: он не в себе, утонет!» Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил валенки, длинную фланелевую рубаху (больше ничего на нем не было), перекрестился и, загоготав, скакнул, как грузный морж, в прорубь. Зеленая вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лед.

Праздничная толпа зевак захохотала. Выкрикивала:

— Эй, Таракан! Воевода! Город горит!

— Воевода! Тараканы ползут!..

— Поджигай!..

Зажав ноздри и уши, воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду, выскочил, сунул ноги в валенки, накиннул шубу, упал в сани:

— Погоняй!

Вдогонку хохот, свист, бегущая орава веселых ребятишек.

— Эй, Таракан, Таракан! — голосили мальчишки.

— Глянь, глянь, Таракан водку хлещет!

Воевода, злобно выкатывая бараньи глаза, грозил кулаком, ругался:

— Гей, стража! Дери их, чертенят, кнутом, — и тянул из фляги романею.

Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории и до сих пор зовет воеводу Тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем просвирни Феклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе валили кучами разные советчики: старушонки, посадские люди, ворожейники, духовенство, христа-ради юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели и, предсказывая второй пожар горше первого, давали воеводе разные суеверные советы, один глупей другого. Воевода сшибся с панталыку, а как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу.

«Рапорт воеводской канцелярии Сенату.

Сего Мая 20 числа на память мученика Фалалея, волею божией половина богоспасаемого града выгорело дотла и с пожитками. А из достальной половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И, видно, быть и на сию половину города

гневу божию. И долго ль, коротко ль, а и оной половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради Правительствующему Сенату представляю, не благоугодно ли будет градожителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину запалить, дабы не загорелся город не вовремя и пожитки бы все не пожрал пламень».

Этот рапорт в виде курьеза был доложен государыне.

Прочтя оный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию:

«Половина города сгорела, велеть жителям строиться. А впредь тебе, воеводе, не врать и другой половины города не зажигать. Тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли божией».

Так и пошло с тех нор воеводе прозвище — Таракан да Таракан.

Святки в городе, слава богу, завершились. Без душевного, без телесного повреждения остались во Ржеве-городе немногие. В их числе был и знаменитый самоучка Терентий Иванович Волосков. В первый день Рождества, по своему почетному положению, принимал у себя поздравителей, сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино. На второй день накатила на него от непривычного безделья зеленая скучища. На третий день изобретатель с утра обложился книгами, с жадностью поглощал рукописные листы перевода «Астрономических лекций шотландского механика Джемса Фергесона» (перевод сделан тоже ржевским жителем — механиком Собакиным), читал евангелie, апокалипсис, библию, стараясь вникнуть в премудрость притчей Соломона. А назавтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвеем Алексеевичу Чернятину: купец сам измыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небывалую механическую кузницу. Ржев славен был одаренными людьми!

Невзирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по-своему несчастен. Он искренне скорбел неустройством жизни русской, повреждением нравов, торговлей крепостными, как собаками, всеобщей темнотой. И не было такого человека по плечу ему, чтобы разделить с ним

тягостные думы.

— Доколе, господи, потерпишь всю мерзость запустения на Руси святой?

— жаловался он в пространство. — Кругом бесправие, разбой, прямо сердцу больно. Держава наша, господи, в опасности... Бабий век грядет: не помнящая родства Екатерина, две Анны, веселая Елисафет, опять Екатерина.

Пышно, суетно живет царица, сразу по пятьдесят тысяч мужиков с землей любовникам своим дарит. Вот где горе земли русской, вот над чем должно зубовно скрежетать и злобные слезы лить! А при высочайшем дворе блеск, горше тьмы, и блуд, горше Вавилона. От этого ослепляющего блеска слепнет всяк, стоящий в блеске, — иноземные послы, русские вельможи и дворяне — слепнет и уже не видит ничего, что творится в зело просторной стране нашей. Вот я, Терентий Волосков, паки и паки вопрошаю себя: что делать, с чего начать, чем помощь оказать родине своей? Вопрошаю тщетно, и нет ответа, все нет ответа на помыслы мои.

Так мучился сам с собой совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков.

И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных, неизвестных, было несметное в России множество. Сидели они, как жемчужины в навозе, во Ржевах, Нижних Новгородах, Барнаулах, Бежецках, Великих Устюгах, в селах, в весях, в тюрьмах, на каторге.

Сильные духом, но беспомощные разьединенностью своей, они даже не ведали друг о друге.

И неустроенная жизнь текла над ними.

Жизнь — голодная и мрачная — в низменных пластах деревни; жизнь — блестящая, среди даровой бесчеловечной роскоши — в тоненьком пласте вельможного дворянства; жизнь — расчетливая до полушки, жизнь — грабительская — в гнездах молодой породы: крупных коммерческих дельцов, фабрикантов, именитого купечества, — вся эта неустроенная жизнь, бедная богатством, богатая малограмотными попами, разбойниками при больших дорогах, продажными сенаторами, подкупными судьями, всякой строкой приказной и тому подобными паразитами, сосущими кровь людскую, — эта сумеречная, бесправная жизнь во всей полноте своей и наглости обнаженности текла неспешно над головами людей большого сердца, людей несчитанных, неизвестных.

И вот, несчитанный, неизвестный купец Остафий Долгополов пылко восхотел считанным да славным сделаться, и, того не ведая, из неизвестных он-таки в русскую восемнадцатого века историю попал. С превеликим



злоключением, опасностью, страхом — того достиг. А достигнув, не рад был своей жизни.

В конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Остафий Долгополов помчался на ясные очи Петра Федорыча Третьего — в его царские нозы бултыхнуться, должок сквитать, всякие, корысти ради, выгоды себе заполучить...

Знай, ямщик, кого снежными полями мчишь. Легче, ямщикок, на поворотах, громче свищи, удалей песни пой, подстегивай кнутом своих кобылок!

Сани скользом-скользом, снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает заунывную какую-то, тоскливую, тоскующую музыку: «Со святыми упокой душу новопреставленного раба твоего Остафия». Но никто не скажет: в смерть или к преуспеянию жительскому несется смелый Остафий Долгополов.

Остафий Долгополов несется скользом-скользом прямо в пекло, на опасное свиданьице к самому Емельяну Пугачёву.

До Москвы Долгополов ехал вполне благополучно. Правда, в пути, по наущению дьявола, были мелкие невзгоды, впрочем сказать, денег за постой он не платил, а при прощаньи объявлял хозяевам, что, мол, правится в Москву за благословением к митрополиту, оттуда же через море-океан во святой град Ерусалим, к святой пасхе, и нет ли, мол, у вас, хозяева, усердия записать ваши имена в «о здравие», чтоб ерусалимский владыка-патриарх помянул их на Голгофе. Ну, известно дело, благочестивые хозяева постоялых дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечу ко гробу господню, купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжицу свою. Так, не торопясь, и ехал, незаметно прихватывая впопыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти.

Лишь в притрактовом селе Паскудине заминка вышла. Ночевал Долгополов у попа, приветливая матушка накормила его пирогом с солеными груздями да ухой, он в благодарность благовествовал, либо сказывал побаски, утром распрощался по-приятельски и поехал с миром.

И только миновал лесок, глядь-поглядь, нагоняют двое верховых:  
— Стой, ворище, стой!

Долгополов вскочил дубом, выхватил у парнишки-ямщика кнут, стал с плеча охаживать лошаaddock. Однако всадники настигли, рослый дьякон сгреб коренную под уздцы, седовласый плюгавенький попик, искажаясь в лице, шумел:

— Ты, тать, мою серебряную лжицу хлебальную украсть спроворил! Грех тебе. Подавай хапаное!

Рослый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок Долгополова, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, подал батюшке. Купец пал на колени, сдернул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать:

— Богом клянусь, не брал! Подсунул кто-то, не иначе — сатана...

Дьякон загнул Долгополову салазки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу, в безмолвии.

Затем духовные лица, оба-два с отцом Прокофием, поскакали обратно, радуясь и славя бога.

Остафий же Трифонович, заохав, приподнялся мало, спросил ямщика-парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз, тот ответил: «не совсем чтобы»; Долгополов, благословясь, встал, вынул из денежной кисы медный сибирский с двумя соболями пятачище, приложил его к опухшему глазу, обвязался белым платком, сел в сани, с горестной ухмылкой взглянул на истоптанное в сугробе место и тяжело вздохнул.

В первопрестольный град Москву прибыл он в середине марта. На окраинах, над Кремлем и за Москвой-рекой по рощам граяли грачи, встречали весну, гнезда вили. Остафий Трифонович то и дело на соборы, на монастыри, на церквушки крестился, аж десная рука устала, аж зазябла голова. Ну и храмов божьих, ну и звону на Москве!

По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особенно на Варварке, многие дома как бы нежилые: двери заколочены, стекла в окнах побиты.

— А это, вишь ты, в третьем годе чума в Москве шалила, поди, слышал?

— пояснил седоку старик-возница. — Ена, чтоб ей лихо было, тьма-тьмущую народу загребла, прямо счету нет.

Долгополов остановился в купеческом подворьи, у знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище, в чуму 1771 года отведенное старообрядцами для погребения. В нововыстроенной деревянной часовне собирались многие раскольники-капиталовладельцы.

Долгополов старался завязать с ними торговые дела с расплатой векселями, но раскольники, сами жохи, видели Долгополова насквозь, в

руки не давались.

Бродил Долгополов по кабакам, трактирам, иногда бывал вполпьяна, а больше притворялся пьяным, вынюхивал, чем дышит народ московский, нельзя ль, мол, из подслушанных речей какую ни есть корысть себе извлечь.

А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший повар княгини Уваровой с приезжим из деревни земляком пришли продернуть по стакашку сиводрала. Тут тебе с фиолетовым запойным носом долгогривый монах-бродяга — на груди жестяная кружка с образком, десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм Преполовения в несуществующем селе Крутые Задки — человек бывалый, беспаспортный, битый, не единожды в тюрьме сживал. Тут и воинственный будочник — угощает его пойманный на барахолке жулик: «Не веди, дяденька, в приказ, пойдем выпьем». У жулика — желтая опухшая рожа, щека подвязана просаленной тряпицей, из-под тряпицы кончик носа и рыжий ус торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских челядинцев в цветных камзолах, в сермяжных свитках, в стареньких ливреях. Большой трактир — «распивочно, навынос» — занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот.

Вечер. Чадят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря, на кабацкой стойке сальные свечи; плешивый чахоточный целовальник, послунив пальцы, то и дело срывает со свечи нагар. Меж грязными столами с пьющей братией шныряют половые — парни в красных рубахах с засученными рукавами, в руках деревянные, а то и железные подносы, на подносах штоф с водкой, стакашки, кучками разложены огурчики, рыжики, рубленое осердие, печенка. Шум, крики:

— Эй, половой! А поджарь мне на три копейки рыбки боговой, салакушки...

— Сбитню, сбитню нацеди погорячей...

— А ну, завари на пробу китайской травки, по-господски желаю!

Долгополов съел целую селедку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком сидел с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова.

— А где ж твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем? — пришепетывая, заговорил с незнакомцем Остафий Трифонович.

— А как же! — встряхнул кудрями шустрый молодец. — Наша лавка на три раствора упомещается в Красных рядах, аккурат насупротив храма Василия Блаженного. Ситцы, сукна, шелк, веревки, хомуты.

— Так-так-так. Веревки?

— А как же! Мы веревки на Волгу продаем, опять же на Макарьевскую ярмарку. Нам веревки ржевские фабриканты поставляют. А как же!

— Так-так-так. Эй половой! — весело крикнул Долгополов и стал бороденку свою на пальчике крутить. — А ну-ка, друг, спроворь полштофика винца да яишенку на двоих, глазунью. — И обратясь к молодцу:

— А знаешь, кто пред тобой сидит? Я пред тобой сижу, ржевский купец Абросим Твердозадов, фабрикант.

Приказчик открыл рот и вытаращил глаза. Долгополову показалось, что малый сомневается в истинности слов его, и, чтоб убедить приказчика, заметил:

— Ты не взирай, голубь, что одежонка скудная на мне, здесь кабак, опасаясь в сряде-то обнимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу, человек я самосильный.

Веснушчатое лицо молодца сразу поглупело, он встал, ослабился, сладким голосом сказал:

— Ах, какая честь... Я даже сести теперича не смею.

— Садись, садись... Молви-ко ты мне, парень хороший, сам-то дома?

— Нету-с, — робко присаживаясь, ответил молодец. — К Троице-Сергию говеть уехали Сила Назарыч-то, грехи повез. И с хозяйкой со своей. И с доченькой, с невестой. Честное слово-с...

— Жаль. Ах, жаль до чего, — пригнул Долгополов голову, несчастному уставился глазами в пол. — А я у Силы-то Назарыча хотел товаров красных отобрать, ведь он же у меня веревки-то покупает, сиречь моей выделки... Я в обмен хотел.

— Ах, не извольте печаловаться, господин фабрикант: замест Силы Назарыча его сынок-с, наследник-с... А как же! Пожалуйте к нам в лавку за всяко-просто, я с превеликим усердием потщусь вам добрый товарец подобрать.

— Так-так-так, — радость подкатила к сердцу Долгополова, пронырливые глазки то пропадут в узких щелочках, то выскочат. — Эх, друг... Ведь сам знаешь, я изо Ржева-города-то и не выезжаю николи, не токмо сына, а и самого Силу-то Назарыча в очи не видал. Вот в чем суть. — И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. — А ты слушай, приятель, удружи мне, потолкуй с молодым хозяином-то: так, мол, и так, фабрикант Твердозадов, мол, приехал в Москву, на пятнадцать тысяч товаров накупил, пеньки, красок, парчи попам на ризы; деньгами, мол, поистрялся, а нуждается, мол, еще в красных

товарах... Понял, друг?.. А мы бы с молодым хозяином твоим дело сделали. Я договор подписал бы на постав веревок и вексель выдал бы.

Молодец с готовностью воскликнул:

— Милости просим, вашество, уж я все подлажу, будьте-те без сомнения-с...

— Ну, спасет ты бог, дружище. И я тебя не оставлю. Уж поверь. Ты вот что: ты приезжай во Ржев, я тебя, кудрява голова, на богатой купеческой дочери женю, в люди выйдешь... Ей-богу, правда.

Молодец от прилива чувств всхрипнул, затряс головой и ну целовать руки Долгополова, обливая их пьяными слезами:

— Ну, такого обходительного человека впервой вижу... Верьте совести-с!!

— Ну, полно, полно... Эй, половой! А ну-ко-сь романеи по стакашку на двоих.

Им подали романею и, ради уваженья, сальную зажженную свечу.

— Братия! — гнусаво вопил в темном углу, где сгрудилось простонародье, пьяный самозванец монах-бродяга. — Братия, православные христиане!.. А ведомо ли вам, от царя-батюшки, из Ренбург-города, манифест на Москву пришел... Черни избавитель, духовных покровитель, бар смиритель, царь! На царицу войной грядет...

Народ зашумел, задвигался, потом притих.

— Слыхали, ведомо! — отозвался кто-то из середки. — Намеднись сотню гусар на телегах погнали в Казань, шурыка моего заграбастали, гусар он.

— Правда, правда, — поддержали голоса. — Слых есть, царь по Яику-реке гуляет, города берет, на Волгу ладит.

— Посмотри на Калужскую заставу, — по два гонца на день оттедов по Москве к генерал-губернатору скачут... Война там.

— А пошто ж о сем по церквам не объявляют?

— Трусу празднуют...

— Ха-ха!.. — шумел народ.

Многие, выпрастываясь из столов, пошагали к кучке, где монах. Резкий раздался свист.

— Ого! А ну еще подсвистни, — опять загнусил человек, одетый монахом.

Распаленный сочувствием толпы, он залез на скамейку, вскинул руки вверх. — Готовься, Москва, великого гостя встретить!.. Будя нам под бабой жить!..

Точите, ребята, топоры!

Тут двое ражих из другого темного угла, опрокидывая скамьи, подскочили к лохматому монаху, ударом по шее сбили его с ног, — кружка с медяками взбрякала, — сгребли за шиворот, вон поволокли.

— Прошибся, ой, прошибся, слуги царские, облыжно говорю! — вырываясь, вопил бродяга и лаял по-собачьи. — Гаф-гаф-гаф! То вино во мне глаголет, бес хвостатый вопиет во мне... Гаф-гаф! Заем! Порченный я, слуги царские, зело порченный... Гаф-ууу!.. А матушке Катерине верой-правдой...

Поднялась суматоха. Стражники хватали людей без разбора. Народ сразу оробел. Всей толпой, давя друг друга, хлынули на улицу, косяки дверей трещали. Чахоточный целовальник внаскок налетал на завязших в дверях гуляк, визгливо орал им в спины:

— Православные! Робята! А деньги-т, деньги-т! Напили-нажрали... Побойтесь бога-т... Кара-у-ул!

На другой день, простояв обедню в раскольничьей часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошел в покои своего квартирного хозяина, купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником Благовещенья пресвятые богородицы и, помявшись мало, сказал:

— Отец Нил Сидорыч! Уважь мне в твоей лисьей шубе знатнецкой да в шапке бобровой по городу взад-вперед проехать на лошадке на твоей...

— Пошто это? — строго спросил горбоносый, в большой бороде старик.

— А так, что дело у меня, отец, не маловажное. Кой к кому заехать надлежит из людей великих. Подарок привезу тебе, отец.

Старик подумал, провел по морщинистому лбу рукой.

— Бери... Токмо не изгадь, мотри, одежину-то, да и лошадь не упарь.

Касаясь пальцами цветных половиков, Долгополов поклонился старику, сказал: «Спаси бог за доброту твою», — и на цыпочках пошагал обратно.

— Стой, Остафий! — Старик подобрал длинные полы кафтана и сел в мягкое кресло. — Вот собираешься ты в Казань-город ехать да в Ренбур...

Смотри, брат, не влопайся в оказию. Тамтка сугубая волноваха заварилась, головы с плеч, аки кочаны, летят, народ вешают, кровь льется.

— Откудов ведаешь?

Старик-раскольник, как бы опасаясь чужих ушей, огляделся по сторонам — и тихо:

— От игумена Филарета, настоятеля нашей обители в Мечетной слободе, что на реке Иргизе. Он впервые и Пугачёва обогрел...

— Какого Пугачёва, отец?

Старик пристально из-под седых бровей посмотрел на Долгополова и, ничего не ответив на его вопрос, продолжал:

— А в генваре месяце года сего игумен Филарет прибыл в Казань хлопотать, чтобы с иргизских скитов рекрутов не требовали в набор. И прислал оттудов нашему рогожскому протопопу грамотку. И пишет в ней игумен Филарет, что был он самовидцем, как в городе Казани предали лютой казни некоего Пугачёвского главаря и что-де войско генерал-майора Кара разбито Пугачёвым, а сам-де Пугачёв на Москву идёт... Впрочем сказать, ступай, Остафий, верши дела свои... Вижу, невтерпеж тебе... Иди. Да приглядишься позорче, что на Москве-то деется. Шумки по Москве идут... Народ пришествия государя ожидает...

Остафий Трифонович смутился, сказал, виновато улыбаясь:

— Да уж не Петра ли Федорыча Третьего? — и, не получив ответа, продолжал:

— А я все ж таки в Казань поеду и в Ренбург поеду... Я смелый.

Уж ты, пожалуй, не отговаривай меня, отец Нил Сидорыч, не застращивай, пожалуй...

...Часа через два Остафий Долгополов подкатил на хозяйском рысаке к обширному дому купца Серебрякова, что в Замоскворечье. Долгополова радушно встретил у железных ворот знакомый кудряш-приказчик и провел в дом.

В большой горнице обедали двое: молодой хозяин с курчавой бородкой на нежно-розовом лице и его жена, широколицая, грудастая Машенька. Хозяин встал, Машенька облизала ложку и тоже встала. Долгополов истово покрестился на богатый кивот, уставленный с потолка до полу образами в позлащенных ризах, и отвесил поклон хозяевам.

— Добро пожаловать, — приветливо проговорил тенорком хозяин. — Сдается мне, что вы Абросим Силыч Твердозадов из города Ржева будете? Мне наш Василий сказывал...

— Так и есть. Я — Твердозадов, ржевский фабрикант, — развязно сказал Долгополов, испытующе поглядывая на молодого купчика. — А вы Силы Назарыча сынок?

— Так точно. Угадали. Митрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, Марья Карповна. Будемте знакомы напередки.

Машенька, покраснев, заулыбалась и, стараясь скрыть в огромной цветной шали

свою беременность, проворковала Долгополову:

— Да вы разболокайтесь, пожалуй, да залазьте за стол потрапезовать с нами, чем бог послал.

— Благодарствуем-с на приглашеньи, — и Долгополов важно снял с плеч богатейшую с бобровым воротником чужую шубу, аккуратненько положил её на парчевый диван, еще раз покрестился и сел за стол. Ему подали на оловянной тарелке лецца с кашей.

— Тятенька не единожды говаривал: сколь годов, говорит, с фабрикантом Твердозадовым торговлю веду, а в глаза-де человека не видал. А вот вы и пожаловали. И что ж, большая ваша фабрика канатная? — И хозяин положил гостю две доли пирога.

— А так ежели без хвастовства, первая по городу.

— А вот у Лукьянова Никандра Тимофеевича, у того как?

— Много гаже-с. И пенька второй сорт. Браку много-с. А я делаю канаты с веревками даже против заморских без охулки... — Долгополов обсосал жирные после рыбы пальцы и, незаметно закорячив ногу, обтер их о голенище.

— Ах, чтой-то вы, — заметив это, сказала Машенька и протянула гостю полотенце:

— Вот извольте рушничок.

После пирога с изюмом, после клюквенного киселя с миндальным молоком хозяйский сын, сыто рыгнув и приказав жене: «Покличь-ка Ваську», повел гостя в контору.

Дело при участии кудряша-приказчика Василья быстро завершилось.

Долгополов отобрал по образцам красного товару на две тысячи, дал письменное обязательство погасить долг на тысячу рублей веревками своего производства, а на остальную тысячу выдал вексель. Оба документа подписал:

«Города Ржева канатных дел фабрикант Абросим  
Твердозадов».

Помолившись богу, ударили по рукам, на прощанье поцеловались.

В ночную пору, когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука.



— Восстань, Остафий, — тихо, но внушительно сказал старик Титов. — Обряжайся, едем в Рогожскую часовню, соборное бдение у нас тамотко. Велено тебе быть...

По темной Москве ехали долго. Легким морозцем сковало грязь. Кой-где колеса тарахтели по деревянному из накатника настилу. Ночная Москва тиха.

Разве-разве какой гуляка прокуралесит с тоскливой песней, пока не свалится где-нибудь на куче навоза и, ядрено обругавшись, не заснет. Да у кабаков то здесь, то там гуднет-расшумится драка с поножовщиной, с диким криком:

«Спасите, режут!»

Опаски ради у старика Титова меж коленями трехфунтовая на веревке гиря, а в передке у толстозадого кучера-богатыря под рукой безмен. Но, слава богу, странствие завершено благополучно.

Рогожская часовня чернела неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтоб не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь.

— Господи Исусе Христе, помилуй нас.

— Аминь, — ответил изнутри голос, и обитая железом дверь отворилась.

Горело паникадило, топились изразцовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафий Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона: восседавшему на кресле, спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику в скуфейке и с лестовкой в руке, затем вправо-влево и назад сидевшему на скамьях и на полу народу.

Здесь на ночной совет были собраны надежнейшие старообрядцы, старики.

— Друже Остафий! — окончив совещание, строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп Савва. — Мы известны, собрался ты в Казань-город по торговым делам своим. Мы радеем о душе твоей и бранных телах твоих.

Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих каменьях. Старцы, шевеля белыми бородами, широко зевали, закрепчивая рты.

— Может статья, — снова заговорил Савва, — встретишь ты в скитаниях своих старца Филарета с Мечетной слободы, что на Иргизе-реке. Был он допрежь из московских купцов второй гильдии, мелочную торговлю вел, а теперича, соизволением Божиим, игумен. А не его, так,

может, Гурия встретишь, тоже скитский старец с Иргиза, а допрежь был нижегородским купцом Петелиным...

— Я, святой отец, не токмо в Казань, а и подале правлюсь, — перебил Остафий протопопа Савву. — А куды, о том желательно, отец, перемолвиться в тайности с тобой.

— Изрядно хорошо, — ответил Савва и, восстав с седалища, вошел вместе с Долгополовым в предстанье алтаря.

— По тайности, сокровенно глаголю тебе, отец всечестной, — зашептал Долгополов, — чаю я повстречать самого батюшку Петра Федорыча...

— Сие ведомо мне... — При тихом сияньи огоньков Долгополов заметил, как седобородое, с румянцем, лицо старика заулыбалось. — Езжай, езжай, — зашептал он жарко, — толкуй государю: мол, евонное знамя голштинское добыто в Ранбове нашим старанием через великий подкуп... И послано то знамя голштинское в царское становище с неким знатным ляхом Владиславом.

Подержи, Остафий, сие в памяти... Можешь?

— Завсегда могу, памятью бог меня взыскал.

— Клянись — ниже под пыткой, ниже при смертном часе никому не поведаешь тайны сей, как токмо государю, — возвысил старец голос, и глаза его засверкали. — Клянись!

— Клянусь!

— Стань на колени... Клянись пред святым евангелием и крестом господним...

— Клянусь, клянусь! — преклонив колена и воздевая десную руку, восклицал купец.

Вынув из-за пазухи записку, старец передал её поднявшемуся Долгополову.

— А сию грамотку сокровенную отдай Гурию алибо Филарету с рук на руки. Послание изображено цифирью, ключ к пониманию вестен им.

Тут загудел колокол к заутрию, и Савва рек:

— Изыдем, чадо, к братии, сотворим молитву... А государю молви: старозаветная Москва ждет его и сретение ему готовляет.

И они вышли к народу.

Беседой с протопопом Долгополов был ошеломлен. Сердце его билось, мысли путались. Вот так чудеса в Москве!

Дома старик Титов секретно сказал ему:

— Токмо, чур, не обидься, Остафий. Гадала наша община денег тебе вручить для государя, да я, грешный, отсоветовал: зело легкомыслен ты и

весь в мечтаниях. Уж не прогневайся, Остафий.

На другой день Остафий Трифонович купил в долг у знакомого купца Волкова красок на триста восемьдесят рублей, а все свои деньги, серебро и медь, поменял на золотые империалы, зашил их в штаны и шапку. В шапку же зашил и тайную грамоту протопопа Саввы. А с обеда выехал в путь с целым возом красного товару, что взял у купеческого сына Серебрякова.

В конце апреля Русь зазеленела, одевались листвой деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, всюду палило солнце, дороги подсохли, товары Долгополова помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось все веселей, все легче.

Давно ж вернулся из Троице-Сергиевской лавры Сила Назарыч Серебряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, омыв душу в святоотеческой лавре слезным покаянием, и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын Митрий Силыч, похваляясь успехами торговых дел в отсутствие родителя, сказал отцу о доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, Сила Назарыч с суровостью спросил:

— Это чья рука?

— Фабриканта Твердозадова, тятенька.

— А паспорт глядел у него?

— Нет, тятенька, поопасался требовать...

Тут Машенька вовремя ввязалась:

— Они даже у нас трапезовали...

— Молчать! — топнул на нее Сила Назарыч. — Ишь ты, растопырилась с брюхом-то со своим... Пошла вон! — И, обратясь к растерявшемуся сыну:

— Каков он из себя?

— Шуба с бобровым воротником, прямо тысячная шуба. А сами они, тятенька, не всякого большого росту, худощавые с бородкой, лицо рябое.

— Твердозадов-то худощав? Дурак ты, черт... Да у Твердозадова спинуца — как этот шкаф, и росту, почитай, сажень...

— Да ведь он же в Москве сроду не бывал, тятенька.

— Зато я у него во Ржеве-городе бывал. Эх ты, дубина стоеросовая!

Жулику товар продал! — заорал косоглазый и тщедушный Сила Назарыч, уцапал с горсть кудри широкоплечего Митрия, стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку.

Митрий Силыч, могший одним щелчком убить папашу, даже и не пытался вырваться, только молил:

— Тятенька, простите великодушно... По молодости по моей... Васька меня уверил...

Хозяин разбушевался, сшиб ладонью блюдо с пирогом, схватил нагайку, опоясал ею сына, побежал пороть сноху, что принимала с честью жулика, но был схвачен женой своей:

— Машенька на сносях, дурак плешивый!

Хозяин ударил жену по щеке, грохоча подкованными сапогами, сверзился по внутренней лестнице в «молодцовскую» и таки порядочно измордовал кудряша-приказчика. Утомленный столь резкими и многими движениями, лег спать, бормоча:

— Господи, прости ты мое великое прегрешение... Вот тебе и лавра...

А как назначена была после Пасхи свадьба его дочери Клавдии и поручика Капустина, то он и положил в мыслях — оба темных документа на две тысячи всучить будущему зятю в приданое за дочерью совокупно с наличными деньгами: зять — человек военный, с кого надо и не надо взыщет денежки свои.

Долгополов все ближе и ближе подавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно: крестьяне стали дерзки, на улицах гуртовались кучками, перешептывались, а то и громко говорили: вот и к ним-де скоро препожалует царь Петр Федорыч, велит всех дворян передавить, а землю мужикам отдаст. Долгополов всячески поддакивал.

Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шелковый для кисета лоскут, посверкал на Остафия острыми глазами, молвил:

— Торгуй, торгуй, купец, да поскорейча, а то нагрянет царь-государь, еще неизвестно, будет ли миловать торговых... Тоже кровушку-то нашу ладно высасываете, сальные пупы!

Толпа поддержала парня недобрый смехом. Долгополов наскоро задернул воз дерюгой и с шуткой, с прибауткой тронулся на большак, на главный тракт: там все-таки воинские разъезды рыщут, на мужиков наводят страх.

Однажды застиг его в лесу вечер, быстро смеркалось, дождь накрапывал.

Навстречу — ватага крестьян, все — вполпьяна. За кушаками топоры, в руках дубины, у иных за голенищами ножи, за спиной смотанные кольцом веревки.

Долгополов заорал вознице:

— Гони!

Лошади помчались. Внезапно схваченный веревочной петлей, Долгополов, под дружный смех толпы, перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал, его мотнуло в сторону, кой-как скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячьим, с подвойкой, голосом: «Ой, ой, ой...»

Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем, в лаптях, усищи сивые, горбатый нос разбит.

— Кто таков? Кому служишь? — сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. — Государыне али государю?.. Держи ответ.

Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул:

— Вестимо — благочестивейшей государыне Екатерине! — и отвесил солдату поясной поклон.

— Ребята, вешай торгового по указу его величества императора Петра! — скомандовал набежавшим мужикам.

Душа Долгополова наполнилась ужасом, он пал на колени, завопил:

— Вру, вру, вру... Ей-богу, вру! Со страху я... Петра Федорыча законным государем почитаю! А от Катьки давно отшатнулся... Она, ведьма заморская, извести хотела государя нашего, да бог...

— А-а-а, — перебил солдат и в свирепой улыбке оскалил зубы. — Слыхали, ребята, поносные речи на государыню Екатерину Алексеевну?.. А подайте-ка сюда, ребята, нож повострей, пороху на эту гниду жаль тратить...

Мужики весело заржали. Долгополов затрясся, окинул толпу отчаявшимся взором, прошамкал, утирая слезы кулаком:

— Братцы, сударики! Дак кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого — за Петра Федорыча Третьего алибо за государыню Екатерину?

— А тебе пошто знать?

— Ах, братцы... за кого вы, за того и я...

Ватага еще пуще захохотала.

— Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек, я вам, братцы, каждому на рубаху самолучшего канифасу оторву... Дарма!..

— Да мы и сами возьмем... В долг... Поди, поверишь? Ребята, хватай! — И толпа, пыхтя, бросилась к возу. Впереди всех бежал солдат в лаптях. — Токмо на саван, ребята, оставьте старичонке-то. Ха-ха!

Хлынул дождь. У воза жадная свалка началась. Долгополов, спасая жизнь, невидимкой юркнул в гущу леса. «Грабьте, грабьте, сволочи, товару там безделица, да не шибко дорого он и достался-то мне...» — мелькало в мыслях беглеца. Он утекал, куда глаза глядят, прислушиваясь к драчливым

крикам полухмельной ватаги. Пробежав с полверсты, он изнемог, пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел, вот раза и два из ружья пальнули, и все смолкло.

— Батюшки! — не своим голосом, как настигаемый волками заяц, пропищал Долгополов. — Батюшки! Шапка! Шапку потерял...

Он вскочил, схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали, он снова упал в ельник и, хныкая и боясь громко кричать, давился слезами и повизгивал: ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство, паспорт там, скрытная бумага протопопа Саввы... Боже мой, боже мой, что же ему делать?.. Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдержали с телеги.

И, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять воз.

— Максим! Максим!.. — кричал он и прислушивался, не ответит ли возница. Но всюду тишина. Тьма сгущалась. Шел, шел, натываясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, вконец закружился, потерял остатки сил и, внутренне раздавленный, сел на пень. Рукой ограбленного скряги он прощупал зашитые в штаны империялы, освидетельствовал все тайные и явные карманы, в них серебро и медяки. Тут скаредные мысли поослабли, от сердца отлегло, и Долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности: разбойники, глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками, лешими. Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина, слух обострился, душа сжалась. Долгополов сроду не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели.

— Максим! Макси-и-им! — неистово взывал Долгополов.

Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Дождь давно перестал, ночные ветерки шумели по верхушке леса.

Мало-помалу успокаиваясь, купец начал подремывать. «Нет, спать не можно, черти замучают, лесовик придёт — душу вынет...» Покряхтывая и разминая поясницу, он встал, отломил сук, обвел им по земле вокруг себя черту, приговаривая: «Бог в черте, черт за чертой», — опять сел на пень, окрестил воздух со всех четырех ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услышал: «Максим, Максим!» — будто спустя большое время передразнили его. Он открыл глаза и во весь голос закричал:

— Макс-и-м!.. Я ту-та-кааа!!!

Только эхо сонно пробубнило, и никто не ответил Долгополову. Он слабо удивился, но испугаться не успел: глаза его опять смежились, все исчезло вокруг.

## Глава 2.

### Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полужержавный властелин.

#### 1

Узнав, что Пугачёв оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды к крепости Ново-Сергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками слободы:

Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачёв этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался.

Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачёва.

— Нет, други мои, — сказал он, — этим местом нам не пройти, видно и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.

Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убойные: то раздраные сугробы, то по колено коням грязь.

Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачёва были грустны.

Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполоусерьез, вполошутку:

— Если нам в здешнем краю не удастся, пойдем, детушки, прямо в Питенбург. Чаю, наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там...

Атаманы упорно молчали. Их даже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армией ночевали на хуторе проводника казака Репина.

Снег быстро таял. Всю ночь с крыш дружная капель била. По оврагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.

Пугачёвцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами.

— Теперича мы, Петр Федорыч, словно бы в шашки с Голицыным

играем, — чрез силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате за столом, ели кашу.

— Как бы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер Голицын-то...

— Не моги ты, Григорьич, об этом и думать, — угрюмо возразил Пугачёв.

— Лучше прикинем-ка, детушки, куды таперь пойдём.

— Пойдем в Каргалу, Сакмару да на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев городок, там добудем провианта, — отвечали ближние.

— Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? — усомнился Пугачёв.

— Конешно дело, долго там сидеть несподручно будет, — отвечали атаманы.

— Я бы вас на Кубань провел, — раздумчиво сказал Пугачёв, — да таперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти, врагом заняты, в степу еще снега, да и провианту маловато у нас... Пожалуй, и не пройдешь таперь...

Никто не знал, куда идти, как от беды спастись. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен наособицу, он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни её брата джигита Али, ни Шванвича...

Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу?

Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство Пугачёвских атаманов, спросил Пугачёва чрез переводчика Идорку:

— Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?

— А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо еще куда подале... Пробудем там до весны, а коль скоро дождемся хорошего времени, поведу я свое воинство на Воскресенские Твердышева заводы.

Кинзя вдумчивыми глазами воззрился в похудевшее лицо Пугачёва и бодрим голосом сказал:

— Ну, ежели вы на заводы придёте, в нашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.

— Благодарствую, Кинзя Арсланыч, спасибочко тебе!.. Верный ты, — растроганно сказал Пугачёв, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.

Он тотчас приказал Падурову и Почиталину написать воззвание к башкирскому народу. И письмо князю Голицыну.

— Пускай князь пораздумает, с кем воюет, супротив кого идёт, — приподнято говорил Пугачёв, сияясь произвести впечатление на ближних. — Да не забудьте, господа писаря, напомнить ему, что, мол, отцы



и деды его верой и правдой служили моим приснопамятным предкам.

Уходя спать, Пугачёв уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой, да Горбатов офицер с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?».

26 марта Пугачёв с войском был в Каргале, он занял её без боя, так как Рейнсдорп и не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атамана Мусу Улеева и всех каргалинских старшин насмерть переколоть, дома их сжечь.

Две красавицы-татарки — Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачёва помиловать их мужей — сотника и атамана. Но Емельян Иваныч в раздражении сказал им:

— Ваши мужья — не люди, а собаки! Они, изменники, наивернейшего слугу моего погубили — Хлопушу.

Учиня быструю расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было 300 человек башкирцев и крестьян.

Наконец-то и краснощекий Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.

В тот же день Пугачёв занял Сакмарский городок, а так как провианта в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось, чего не то там сыщешь».

Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:

— Когда ты свою Стешу отправлял домой, не заметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?

— Нет, Тимофей Иваныч... За суетой и ни к чему мне было... Не до баб теперь.

Творогов быстро налетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл провианту, но, приметя, что к слободе подступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьма на своих конях. Невзирая на весенние, радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем, с тоской в глазах ехала к своему Падурю.

— А где Шванвич? — спросил Творогов.

— Мы искали его, нету, — ответил Али и переглянулся с сестрой.

Губернатор Рейнсдорп, чтоб как-нибудь оправдать свое ротозейство, в донесеньи по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было

произведено «злодеями» под прикрытием густейшего тумана: «Внезапу подкralись и ударили». Но член-корреспондент Академии Наук Рычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал: «Могло статься, что в оной слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было».

Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачёва крупный отряд полковника Хорвата. Сам выступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему, Мансурову, на Яик.

Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачёв снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианту и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.

Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвоном, пушечной пальбой и радостными криками обывателей.

Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачёва.

Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед.

Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады, коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знает, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам.

После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как и все гости, князю Голицыну был представлен в виде курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со «злодеями», о поездке к Пугачёву и страшном разговоре с ним.

Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости немало смеялись.

— А господин Пугачёв-то, смотрите-ка, остроумец изрядный, — говорил князь и обратясь к купчику:

— Так кто ж вы теперь, Полуехтов или Полуухов?

— Ухи целы, ваше сиятельство... Стало, я, как и допрежь, Полуехтов, — захлебываясь, бормотал купчик.

— Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! — восторгался Рейнсдорп. — С одной крошка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!

Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил её на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:

— Носите с честью, молодой человек. Такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.

Первого апреля, в два часа утра, Голицын двинулся из Берды.

Приближаясь к Каргале, князь узнал, что ему навстречу выступил из Сакмарского городка Пугачёв с двумя третями своего войска.

Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборужденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления.

Пугачёв приготовился к защите своей сильной позиции и на «самонужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.

Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели Пугачёвские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила Пугачёвцев бросить свои позиции и начать отступление. Они отступили за три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.

Голицын, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника.

Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте.

Пугачёв тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских испытанных и приносившихся к боевой обстановке солдат. Пугачёвская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного, хорошо вооруженного врага с внутренним шатанием.

И, действительно, после нескольких удачных выстрелов голицынских пушек среди Пугачёвцев возникло замешательство.

Пугачёв скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня:

— Грудью, детушки! Не трусь! Стой на месте!.. — но в его голосе уже не слышалось разжигающего задора.

Суетились в своих частях и Падуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев.

«Ну, до чего жаль, что нет Овчинникова», — скучал сердцем Пугачёв.

Сердце Фатьмы было тоже беспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Ивановича Падурова. Ей чудится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова... Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под мерлушковую шапку; и помутившиеся, словно пьяные, глаза?

Скверно на душе у Фатьмы.

За Емельяном Пугачёвым скачет Ермилка, у него в поводу — три заводных коня «на всяк случай для батюшки, он — бог с ним — хоть и нетолст, да дюже грузен — как из железа сбит, под ним любой конь живо зашатается».

Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицынская картечь, как градом, стегает по Пугачёвцам. Вот засвистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь, то там кидается врассыпную, но, воодушевляемая личной отвагой Пугачёва и полковника Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собою.

Оренбургские и яицкие казаки спешили. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».

Стремясь отрезать отступление противника, голицынские гусары спешат охватить фланги Пугачёвцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Её конь храпит и кружится. Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где пестреет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.

— Казаки! Вперед! Не робей! — размахивая саблей, командует с коня Падуров.

Казаки выхватывают сабли, берут наизготовку пики, кричат воинственно «ги-ги-ги!» Но под ударами вражеской картечи, не принимая боя, отступают.

Падуров растерялся. Чтоб не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вслед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый с желтым иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым

громоздится на коне тучный мулла с белой чалмой на голове.

— Глянь, Падур! — прокричал испуганно Али. — Мулла с купцом... Ой, алла-алла, они Фатьму ищут...

— Не государя ли?

— Нет, Фатьму!.. Давно её ищут... Худой дела... — И Али, взмахнув локтями, поскакал.

Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют Пугачёвцы и голицынцы. И не понять было, где свои, где чужие, — все смешалось.

Еще немного, и под жестоким натиском голицынцев, под грохот их пушек Пугачёвское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку.

Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачёв скакал среди отступающих и в гневе голосил:

— Гей, гей! Гуртуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Кроши их!..

Отделясь от толпы, он поскакал с Ермилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтоб ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.

Гусарский офицер-рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачёва, заорал своим:

— Лови Пугачёва! Кто словит — десять тысяч!

И вот изюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали напересек Пугачёву.

— Государь! Эвот, государь! — вырвавшись из перелеска с горстью храбрецов-казаков, пронзительно закричала Фатьма. — Спасай бачку-государя!..

И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы её плескались по спине, в сильной руке сабля.

А позади нее, догоняя сестру, спешил молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на притоптанное место. Али бьет его плетью, надрывается в крике:

— Фатьма, назад!.. Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов... — но смертельно сраженный пулей, он, круто качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает.

Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрякнув, рассек ретивого офицера пополам и, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику.

Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, похрапывая, взвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные

гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Иванович успел скрыться из виду.

Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется — одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.

Падуров вдруг усмотрел свою татарку.

— Фатьма! Фатьма! — во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.

За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать её коня в глубокую снежную застругу.

Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительной белой чалмы.

— На по-о-мощь! — кричит обезумевший Падуров. — Братья казаки, на помощь!

Но казаков нет вблизи, — спасаясь от гибели, они прыгнули в лес.

И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова.

— Алла! Алла! — визгливо вопил старик, настигая Фатьму.

Коня татарки загнали по грудь в сугроб. Из её рук гусары выбили саблю.

— Падур! Падур! — кричит Фатьма.

Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит её с коня. С гортанными криками, подобными клекоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.

И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подгоняя ударами плеток; он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами.

Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей.

— Сто-сто-стой! — неистово завопил подскакавший мулла. — Ля илля!

Именем Мухамеда, стой!

В пухлой руке муллы — грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возводит налитые

кровью глаза к небу и сильным голосом бросает Фатьме:

— Проклятая! Закон аллаха повергла!.. Так умри же, дочь шайтана! — и, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы.

Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, пала.

Изо рта её хлынула кровь. Мулла весь дрожит, затем начинает громко икать, двойной подбородок его, обтянутый лоснящейся кожей, колышется.

— Руби!

Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрываются.

Все кончено. Цвела жизнь, и не стало жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за других, идет мимо смерти — в память народную.

Голова воткнута на копье и вознесена над всеми. Иссиня-черные косы повисли, как ветви плакучей ивы. Указывая на мертвую голову, мулла поучающе молвит:

— Великий аллах и Мухамед, пророк его, дали мне мощь сразить цвет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме... Проклятье человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших!.. Ля илля!..

Он заунывно поет из корана, к его голосу хором пристают татары.

## 2

Тем временем отступавшие Пугачёвские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно: изюмские гусары и чугуевцы с двух сторон налегали на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы, солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падах, по дну которых стремились потоки вешней воды, была гибельна для отступающих.

Преследуемые, утратив в конце концов всякий порядок, бежали пешими и скакали на конях, не помня себя. В узком междугорьи они стеснились так густо, что давили друг на друга. Лишь отдельные кучки удалцов с последней яростью продолжали обороняться, но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался — бежал в городок прятаться в подпольях, в банях, на чердаках.

Емельян Иванович скакал на свежем коне к Пречистенской крепости.

Пугачёвцы были разбиты и рассеяны.

Сакмарский городок оцепили воинские части Голицына.

Производились повальные обыски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников.

Связанного Падурова с арканом на шее вели через опустевшее поле. У него темно в глазах, мутились мысли, звучал в ушах непрерывный пронзающий душу голос татарки: «Падур, Падур...»

Возле него стонут, ползут, кой-как движутся раненые, он шагает словно в бреду через трупы своих и врагов, и все вокруг него захлестнуто дымкой.

Вдруг он видит — лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов — руки раскинуты, глаза в небо, безмолвствует.

— Андрей Иваныч! Витошнов! — вскричал Падуров и приостановился. — Господа гусары, дозвольте... Он нашей Военной коллегии главный судья.

Может, старичок жив еще.

— Иди! Иди!.. Жив, так приколем... — закричали гусары, и один даже слегка стегнул Падурова плетью.

В станичной избе, куда ввели Тимофея Падурова, сидели на скамье связанные: близкий друг Пугачёва — Максим Григорьич Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин и главный писарь Военной коллегии Максим Горшков.

Они сидели понурые, сгорбленные, с низко опущенными головами. Холеная, обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой.

Ваня Почиталин, уставясь в пол, часто взмигивал, утирал глаза рукавом изодранного в свалке чекменя.

Падуров взглянул на товарищей, остолбенел, покачнулся. Измученным голосом сказал:

— Братья казаки, старик Витошнов убит, Фатьма убита... Жив ли батюшка?

Ему никто не ответил. Кровь разом отхлынула от его мозга, задрожало, остановилось сердце, он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол.

С толпой в пятьсот человек Емельян Пугачёв, как гласят показания сообщников его, бежал «не кормя, во всю прыть до Тимошевой слободы. По приезду в ту слободу, только что накормили лошадей, то поскакали опять и, приехав в село Ташлу, ночевали».

Избежав прямой опасности, Емельян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли. Он не досчитывался многих соратников



своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знал о судьбе друга своего Шигаева, Вани Почиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витошнова.

Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачёв, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть — во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»

Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиби-Нос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачёва по степи.

Но вот наконец-то они напали на его след, вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, едва державшийся на ногах от пережитого им в скитаниях голода, холода и треволнений, входит к Пугачёву в дом.

— А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? — вскакивает Пугачёв, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. — Ну, как да что?

Братски поздоровавшись с Пугачёвым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.

Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил её веревками к заводному коню, чтоб не упала, и примчал вместе с попом расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачёву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!

Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачёв принялся в свою очередь рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода.

— Как видишь, я всех растерял своих, один остался... Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка полководец, да Ненила генеральша. Да еще, кажись, поп Иван. Вот и все свитские мои... — пробовал шутить Пугачёв, но это ему на сей раз не удавалось. — А не знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим Павлом Носовым, бомбардиром? Убит, поди?

— Нет, государь, не убит...

— Ранен, что ли?

— Ни то, ни другое...

— Так чего ж с ним?

— Повесился, государь. Перешибиде-Нос видел это...

— Ой ты!.. — выдохнул Пугачёв и рванул рубаху против сердца.

Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачёва о судьбе Павла Носова насквозь прозябшим хриплым голосом заговорил:

— Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкие, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить... Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня.

Глядь-поглядь — направо пушка стволиной над обрывом свесилась, на пушке, на стволине, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах... Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут... Я кричу во всю глотку: «Дедушка, дедушка!.. Что ты надумал... Побежим!» А он: «Батюшку побереги!..» — да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти, беда!..

А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах... Я на коня, да и укатил.

А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз... Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... это, как его... — вдруг осекся Варсонофий. — Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знавал.

Пугачёв слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:

— Превечный покой его головушке... Верный был.

Емельян Иваныч еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отсморгнулся на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.

— Благодарствую, — каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:

— Скажите-ка отцу Ивану, чтоб поминал старика Носова... Павла Носова.

Да и других прочих, которых... Э-эх! — отмахнулся он рукой, ссутулился и повернул голову вниз и вправо, как будто сию секунду что-то рассмотреть в темном углу избы. Затем тихо проговорил:

— В Яицком городке слепой старик такой есть, Дерябин прозвищем,

он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина, — и Пугачёв, приподняв руку, посверкал кольцом. — Ну так вот старик пел: «По боярам панихиду ворон каркает...» Страшусь, как бы не по боярам, а по нам по всем ворон не скаркал панихиду-то... Мы здесь люди свои, да пряма говорю, без обиняков, в открытую... Истомилось сердце-то мое... Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши...

Горбатов, видя расстроенные чувства Пугачёва, воскликнул:

— Не унывайте, государь! После ненастья будет и солнышко.

Эти идущие от сердца слова сразу озарили озябшую душу Пугачёва.

— А я, ведаешь, и не унываю, — вскинув голову, ответил он. — В военном деле, ваше благородие, удача переменчива: сегодня он меня за бороду, а завтра я ему ногой на брюхо да и кровь сосать! Еще мы, ведаешь, этим Рукавицыным-Голицыным пятки-то к затылку подведем. Кабы я тогда поболее народу из Берды захватил, под Татищевым-то мы смяли бы князя. Поди, сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились.

Пугачёв то подбоченивался, то пристукивал ладонью по столешнице.

— А скажите-ка, ваше благородие, где Шваныч? — вдруг обратился он к Горбатову.

— Не ведаю, государь, — ответил тот. — Только знаю, что в Татищевой его не было.

— Хм, — сказал Пугачёв и призадумался.

Как раз в это время в Оренбурге снимали с Михаила Шванвича второй допрос. Между прочим, он показывал: «А как Пугачёв по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько возов, неизвестно — с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставя в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали? А как отвечал: „Почти все“, то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки, человек восемь, которых спросил я: „Куда вы едете?“ А как они отвечали, что „гонят нас насильно за Пугачёвым“, на то я им сказал: „Лучше поедемте не за Пугачёвым, а в Оренбург“, почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом, и передан офицеру».

В этом показании, ради облегчения своей участи, Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так. Когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать: следовать ли безоглядно за самозванцем, или, спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все Пугачёвцы из Берды

уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы, и ясность мысли затмевалась. О, если бы был с ним Падуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев Фадей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете, но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный, хехекающий голос:

«Здесь, здесь, берите его, я видел...» Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет.

— Хе-хе-хе... С праздничком, ваше благородие! — с подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь, барашком проблеял в лицо Шванвичу «чиновная ярыжка».

Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный, он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова, обращенные к пропойце чиновнику.

— Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одураченному мужичью и внушай сим скотам бессмысленным, чтоб шли в Оренбург с повинной.

Емельян Иваныч все чаще и чаще вспоминал пропавшего без вести главного атамана своего Овчинникова, жену-государыню Устинью и непокорный Яицкий городок, к которому уже подступал генерал-майор Мансуров.

Положение Симонова с гарнизоном было тяжелейшее. Солдатам выдавали по четверти фунта муки на день при изнурительной работе. Половина людей всегда была «в ружье», другой половине дозволялось дремать сидя.

Девятого марта полковник Симонов произвел вылазку, но был мятежными казаками разбит и надолго заперся в ретраншементе. Спустя после этого пять дней над крепостью взвился бумажный змеек, к мочальному хвосту его был привязан конверт с пакетом. То было письмо казаков к полковнику Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в том числе Ваня Неулыбин, клеили змейка, с увлечением равняли «подхвостницу», крепили «репицу», устраивали «трещотку». Как только змей поднялся над крепостью, мальчишки подрезали нитку, и он, давая «курны», упал в расположение ретраншемента.

В письме казаки советовали Симонову, во избежание напрасного кроволитья, от вылазок на будущее время воздержаться, а лучше отворить ворота крепости, угрожая в противном случае «зверояростною мезтью». В ответ на это Симонов отправил к атаману Каргину увещание с требованием покорности и прекращения смуты. Каргин со старшинами, прочтя увещание, стал обдумывать, как бы поскладней да «позабористей» ответить Симонову.

Составление ответа было поручено писарю Живетину.

А в это время проживал в подизбице Устиньиного дворца изгнанный с Иргиза игуменом Филаретом раскольниковый старец Гурий. Этот лохматый и черноволосый пьяница, похожий на старого цыгана-конокрада и выдававший себя за Христа ради юродивого, был нравом буйный, на слова дерзкий, до баб охочий. Священник, который венчал Устинью, внушал ей, что сама государыня Елизавета Петровна всегда привечала Христа ради юродивых, кликуш и всяких людей божьих, то и вам, мол, матушка-царица, надлежало бы сим богоугодным обычаем не брезговать.

И старца Гурия стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол: достаточно ли выставлено выпивки, вкусна ль закуска. Преподав благословение и выпив, «любожорный» старец начинал грубым голосом, благовествовать. Он застрашивал Устинью и всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры по мытарствам или рассказывал «житие» святого пустычника Исаакия Долматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и, наигрывая на дудках, восклицали: «Наш Исаакий! Да воспляшет с нами!» Когда на слушающих накатывалась дрожь и воздыхания, старец начинал увеселять их, не стесняясь в выражениях, побасенками о блудных деяниях монастырских и раскольниковых. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбалась и Устинья. Затем старец, паки преподав благословение, уходил «еле можаху» к себе в подизбицу, уманив с собой, аки шаловливый бес, и мягкотелую бабищу Толкачиху, главную опекуншу над здоровьем государыни.

Вот этот старец праведный и был привлечен атаманом Каргиным в помощь к писарю Живетину. И старец Гурий постарался. Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матерые, выдавшие виды казаки ахнули. В письме были включены разные непристойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин, под давлением богобоязненного атамана Каргина, решило, что «не должно священную особу государыни так поносить, что это не только дурно, но и противно

богу». В конце концов был позван сидевший в арестантской избе «шибкий грамотей» беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурия.

«Всем уже не безызвестно, — начиналось послание, — на каких основаниях российское государство лишилось всемилостивейшего своего монарха от злодеев нашего возлюбленного отечества». Далее, после своеобразного описания, как сие произошло, в письме говорилось: «Егда императрица Елизавета Петровна, отыде на вечное блаженство, соизволила скипетр российского государства вручить природному наследнику, великому нашему государю Петру Федоровичу, и все государство ему присягало. И вы не причастны ли были той же присяге? И равным образом той же казни божией будете достойны, яко отступники-нарушители христианского закона, что изгнала государя своего». Письмо заканчивалось так: «Да полноте нас стращать и угроживать. Мы страстей ваших очень не опасны. Ежели хотите вы идти против нас, то мы давно милости просим, идите, а по вашему предложению быть ничего во удовольствие вам не может и переписка никаких больше принимать от вас не хотим. А от государя нашего прислано полное наставление, чтоб с вами поступать сперва сердечно, по-христиански. А видно, вы не хотите совсем его величеству служить и повиноваться, так и полно вами более дорожить».

Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам:

— Эй, служивые! Довольно вам голодать, сдавайтесь! Все царицны войска батюшка побил. Уфа батюшкой взята, Казань с Самарой взяты! А Оренбург, в самой крайности, с голодухи пухнет. Сдавайтесь подобру-поздорову.

А солдатики, имевшие жительство в городке, по наущенью казаков голосили:

— Эй, мужнишки, кисла шерсть! Сажайте своего коменданта с офицерами в воду да вылазьте из крепости!

Чтобы поднять среди гарнизона смуту, подсылались в ретраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что от мятежников нельзя ожидать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги.

На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман Овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих

значительно возросли, силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их донимал голод, холод. Солдаты вываривали лошадиные обглоданные собаками кости, даже ели мясо лошадей, павших сапом. А когда все было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались.

А весна все ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам. Всюду дружная капель и солнце, на деревьях набухали почки, воробьи и разные птички-свиристелочки словно с ума сошли, голосистый жаворонок завел свою нескончаемую песенку, в лесной чащобе закуковала кукушка.

Трудно душе человеческой по весне в неволе быть, в окруженной врагами крепости... Еще труднее умирать...

...Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаряя весенние небеса, выплывало из-за горизонта, дозорный приметил с крепостной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот все начальство и кто мог держаться на ногах высыпали на вал крепости.

С вала видно было, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности — с пиками, с ружьями, с двумя знаменами. Их провожают женщины и дети.

— Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилыч! — обращаясь к Симонову, радостно кричит капитан Крылов. — И пушки за ними... Раз, два, три... Пять! А ведь это неспроста, ей же богу, неспроста!..

— А знаете что? — взволнованно бросает Симонов рядом стоявшему с ним Крылову. — Это значит, что к нам выручка идёт... А казачишки навстречь...

Уж поверьте... Слава богу, слава богу! — Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синеет.

Все защитники сразу взбодрились. «Как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали, и это укрепило наши силы», — вспоминали они впоследствии.

Симонов не ошибся. Накануне, в начале ночи, разъезды донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к Яицкому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман Овчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из пятисот казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из городка в поле, чтоб задержать врага.

Тем временем генерал-майор Мансуров, совместно с Г. Р. Державиным, 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок, в котором разогнали толпу мятежников и захватили четырнадцать пушек. Подойдя к Иртетскому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд яицких казаков, Мансуров

принужден был остановиться. «Ведь транспорт мой, будучи на санях, стал, — доносил он Голицыну. — Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак не можно».

Не дожидаясь формирования колесного транспорта, Мансуров пошел вперед и возле тесного прохода у речки Быковки, недалеко от Рубежного форпоста, встретил Овчинникова.

Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дегтярев.

Генерал Мансуров, выставив на берегу Быковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправились выступивший из Оренбурга Мартемьян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для Пугачёвцев бой был неудачен: артиллерия Мансурова работала прекрасно и действия частей его отряда хорошо согласованы, тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны: на каждого Пугачёвца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжими попался в полон, Овчинникову же с Перфильевым с частью казаков удалось прорвать окружение и скрыться в степи.

С вала Яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты с офицерами чутко прислушивались к отдаленным раскатам боя. Под конец дня осажденные заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольни набат, что означало «собраться в круг».

Спускались сумерки. В городке началась невиданная суматоха. Всюду слышалось: «Наших побили, генерал идёт!» Зажиточные и степенные казаки подняли головы, издевательски кричали: «А-а-а, достукались со своим царем-то, сучьи дети!» Ударили два выстрела. Богатенький упал, свалился и пробежавший Пугачёвец.

Богатенькие со степенными рыскали по городку, ловили поставленных Пугачёвым атамана и старшин. Были схвачены старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и другие.

В подизбице Устиньина дворца грохот, звяк выбиваемых стекол, приглушенные крики: «караул». Там вяжут пьяного, лютого на драку старца Гурия. Прислушиваясь к нарастающему уличному шуму и гвалту в нижнем этаже, Устинья хватается за голову, всплескивает руками, носится взад-вперед по горнице. Вот, вскинув брови, она упала пред образом, с жаром молила:

«Господи, спаси нас!» Затем вскочила, сорвала с себя дорогое



ожерелье, швырнула на пол. Глаза её пылали, ноздри вздрагивали, грудь тяжело вздымалась. Две девки-фрейлины вязали узлы с добром, подвыпившая баба Толкачиха, опрокинувшись на диван, рыдала в голос. Петр Кузнецов посунулся было к дочери: «Устиньюшка, дитячко...», но она оттолкнула его. Вихрем ворвался с улицы брат Устиньи, Адриан, и зашумел:

— Беги скорейча! Казакишки поскакали уж.

— Лошадей! — закричала Устинья и выбежала во двор. — Стража, лошадей!

Тройку! Сани!

— Дороги рухнули, ваше величество, — с обидным хохотом откликнулись люди. — Казаки, хватай царицу!

Устинья метнулась в сени, поднялась наверх, за нею громыхали богатенькие, шумели в её горенке:

— Будет, Устинья Петровна, поцарствовала! — Они подхватили Петра Кузнецова под руки:

— Идем, идем, старик, не упирайся...

— Куда?

— К Симонову, вот куда.

Устинья сгребла со стола остро отточенный хлебный нож и, закричав:

— Вон отсюда, гадюки, вон, предатели! Геть, геть! — кинулась на казаков. В безудержном порыве своем она была страшна.

Безоружные богатеи, сразу перетрусив, побежали к выходу и, подталкивая друг друга, с руганью скрылись за дверь.

— Не поддамся вам, гадюки!.. — буйно выкрикивала она и никого уже не примечала: ни плачущего отца с Толкачихой, ни брата Адриана.

— Господи, боже наш... Что с нами будет, что будет! — скулила Толкачиха, ей вторил старый Петр.

Адриан надрывался из сенец, наваливаясь плечом на дверь:

— Родитель-батюшка, сестрица! Заперли нас...

Устинья, не выпуская из рук ножа, металась от стены к стене, искаженное отчаяньем лицо её то вспыхивало, то белело. Вдруг она увидела в окно привязанную у прясла лошадь под седлом, сильным ударом распахнула раму, выпрыгнула из второго этажа на улицу и, доскочив к коню, занесла в стремя ногу... Крепкие руки схватили её сзади:

— Стой, баба!

И еще набежали казаки. Устинья, ослабев в неравной борьбе, взмолилась:

— Батюшка! Царь-государь! Пошто ты оставил меня? Пошто спокинул

свою молодешеньку?!.

Только тут она пришла в себя, из глаз её разом хлынули слезы.

Когда сумерки сгустились, шумная толпа, главным образом зажиточных и степенных казаков, подступила с ретраншементу. Симонов скомандовал:

«Огонь!», и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали:

— Не стреляйте!.. Мы с повинной! Признаем её величество государыню Екатерину...

— Выдавайте главных предводителей! — в свою очередь закричал с вала немало изумленный Симонов.

— Ведут, ведут!.. Из кузни всех наших смутьянов ведут... — откликнулись казаки. — Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому Устиньи Кузнецовой мы караул приставили!

Вот, в сопровождении казачьего отряда, показались скованные десять человек: атаманы — Каргин, Михайло Толкачов, Денис Пьянов и прочие.

Гарнизон подкрепился пищею, доставленною сложившими оружие казаками.

На следующее утро, 16 апреля, вступил в Яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимый бедняцкой стороной старшина, полковник царской службы, Мартемьян Бородин, или, как его звали в народе: «жирный Матюшка».

Один из участников обороны в своих записках говорил: «Радость освобожденных от осады трудно описать. Самые те из нас, которые от голоду и болезни не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Все было в движении: разговаривали, бегали, благодарили бога и поздравляли друг друга».

Из Яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались: с ними утекли все жившие в городке бродяги беспаспортные. Но старец Гурий и беглый солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову, были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину.

Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки «ушлецов» генерал Мансуров сформировал два отряда — Муфеля и Державина.

Тем временем в конце Страстной недели атаманы Овчинников и Перфильев, с ними сорокалетний Изюмов и около двухсот яицких казаков, перейдя речку Чаган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего

все пути-дороги, и толкают в пропасть, в темное провалище.

Овчинников, разыскав образ спаса у жившего на берегу скрытника, сделал закличку «в круг». Образ был прикреплен к столетнему осокорю.

Овчинников обратился к кругу:

— Вот, братья казаки, сами видите, положение наше хуже некуда. Нам всем предлежит государя отыскать, к нему, отцу нашему, прилепиться. Без него пропадем мы, с ним жизнь увидим и дыхание наше не скончается. Братья казаки! Не отставайте от меня, следуйте за мною, я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласьи, целуй образ спасов со усердием, кто не в согласьи, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ!

Казаки кричали:

— Идем за тобой! Только ты, Андрей Афанасьич, не спокинь нас! Нам один путь: либо к царскому самодержавству, либо затыкай хвосты за пояс, да и за Кубань!

Все, как один, они обнажили головы и двинулись чередом лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев.

Переночевав, все двинулись по бузулукской дороге.

Длиннолицый, горбоносый Овчинников взглянул умными глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал:

— Вот видишь, дружок Перфиша, дела-то какие. А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся, да мы с тобой за чарочку держались.

— Да, брат, да-а-а, — вздохнув, протянул Перфильев.

— Был Яицкий городок, и нет его... Был царь-батюшка, и того затеряли мы... В аккурат, как лягушки: болото высохло — и мы во все стороны поскакали.

Вскоре отряд переправился через реку Сакмару и вступил в Башкирию.

Здесь Овчинников стал чрез башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачёва.

Весть об освобождении Яицкого городка уже не застала генерал-аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Наладив наступление на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачёва, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий. Для окончательного

успокоения края Бибииков создал несколько отрядов, составивших вторую, тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Кичуевский фельдшанец.

Условия жизни здесь были бивуачные, весьма тяжелые, главнокомандующий квартировал в плохом и сыром помещении, без нужных в обиходе вещей (обоз с его имуществом еще не приходил). Бесперывная работа днем и ночью, напряженное состояние духа надломило здоровье Бибиикова, и в конце марта месяца он тяжело захворал. «Лихорадка, посетившая меня в сие время, — писал он, — мучает меня, и я неподвижно лежу в постеле».

Превозмогая болезненное состояние и почувствовав себя бодрее, Бибииков переехал в Бугульму. Дорогою он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно.

Из Бугульмы Бибииков отправил Екатерине через силу написанное прощальное послание. Между прочим он сообщал: «Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобожденный ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которою в такое изнеможение приведен, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне генерал-майору Ларионову, который, повеления мои подписывая, в разные места рассылает...»

9 апреля Бибииков скончался.

Тело генерал-аншефа, под прикрытием эскадрона карабинеров, было перевезено из Бугульмы в Казань и поставлено в приделе собора впредь до отправления, согласно воле покойного, Волгой в его костромское имение.

Бибииков не оставил своему семейству никакого состояния, небольшое имение его было заложено. Екатерина пожаловала его семье в Могилевской губернии несколько деревень с угодьями. Она очень сожалела о его кончине.

Однако глубоко переживать эту утрату Екатерина была не в состоянии: вся её душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, своего нового кумира.

На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку, она в своем выборе не ошиблась: Григорий Потемкин представлял собою персону крупного государственного размаха.

Во время переворота 28 июня 1762 года, то есть двенадцать лет тому назад, когда Екатерина была возведена на престол, Потемкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии.

После этого он был замечен императрицей, стал ей лично известен, быстро пошел вперед по службе. Вскоре Екатерина писала ему: «Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих».

На заседаниях Большой комиссии в 1767 году, в Грановитой московской палате, камер-юнкер Потемкин являлся представителем интересов инородцев.

Двадцать два депутата башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вел остроумные беседы с Екатериной.

Князь Григорий Орлов усмотрел в этом «марьяже» прямое посягательство на свое личное достоинство. Хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвинут на задворки в сердце коварной императрицы, хотя невзирая на все попытки, он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной, тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством её величества. И вдруг новое, неслыханное вероломство... Он почувствовал себя в высшей степени оскорбленным и устроил Екатерине сцену ревности. С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить:

— Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом! Выбирай.

Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор... Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регентшей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предложениями на время удалить Потемкина от своего двора.

Не принадлежа ни к одной из враждующих партий — ни Орлова, ни Панина, — Потемкин, будучи человеком военным, решил посвятить себя делу начавшейся Турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины: «нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в армию», — писала она графу Захару Чернышеву.

Под руководством фельдмаршала Румянцева Потемкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военачальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потемкин, по свидетельству Румянцева, «был виновником одержанной тут победы». Почти на протяжении всей войны Потемкин, командуя крупными отрядами, то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Силистрия

с кавалерией и легкими войсками, он опрокинул неприятеля, «отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведенного из города Осман-Пашою».

Фельдмаршал Румянцев назначал Потемкина на самые ответственные места как человека энергичного, с отличной военной репутацией. «Со всей охотой, — отвечал Потемкин, — желаю я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью останусь, где угодно будет меня определить». Всю осень Потемкин провел со своим корпусом против Силистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражал вылазки, нанося туркам превеликий вред и страх.

Вдруг... неожиданное собственноручное письмо от императрицы:

«Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприимлите, ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею ответить: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».

Потемкин тотчас догадался, «к чему сие письмо писано», и, бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское Село, куда случайно в разгар зимы выехала Екатерина, и был принят ею с честью.

Полтора месяца спустя Потемкин был пожалован в генерал-адъютанты «ее императорского величества», то есть облечен наивысшим доверием женщины-императрицы.

С этого момента начинается «царствование» Потемкина, или, вернее, его соцарствование с Екатериной.

Счастливая Екатерина не преминула поделиться своей радостью с Бибиковым, которому в то время было вовсе не до этого.

«Во-первых, скажу вам весть новую, — писала ему императрица. — Я прошедшего марта 1 числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты, а как он думает, что вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к вам и пишу». Заканчивалось письмо так: «А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

Она написала было: «хотя одного подданного», но, подумав,

переменила «подданного» на «человека».

Бибиков получил это письмо за три недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды «всемилоливой матушки».

Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал: «При дворе начинается разыгрываться новая сцена интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потемкина своим генерал-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которую он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения».

Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии — великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партия братьев Орловых — были поражены каждая по-своему и недовольны новым выбором.

Но, с другой стороны, хотя Потемкин и стал твердой ногой между интригующими партиями, однако он считал для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потемкин прекрасно понимал, что Никите Панину приятно все то, что способствует уменьшению власти Орловых и влияния князя Григория Орлова на Екатерину.

Вскоре, к обоюдному удовольствию Потемкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потемкина по служебной лестнице. Так, 5 мая Потемкину было повелено заседать в Государственном совете, 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернышеву в звании вице-президента Военной коллегии, а 31 мая — генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск, там поселенных.

Словом, ревность и оскорбленное достоинство переполнили чашу Григория Орлова. После бурного объяснения с Екатериной он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено.

Навсегда освобожденная от Орлова, Екатерина писала Потемкину: «Только одно прошу не делать — не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны... Он тебя любил, а мне они друзья — я с ними не расстанусь».

Впавший в мрачное отчаяние Орлов ударился в пьянство. Окруженный сочувствующими ему бражниками, он злобно кричал по адресу Потемкина:

— Я знаю, что с ним сделать! Я разотру его, как пыль! Гог-магог и тот не смеет против меня идти!.. Меня Европа, вся Европа меня трепещет... Ко мне бог милостив...

Вскоре выехал из дворца и последний неудачный фаворит Васильчиков.

«Васильчиков, — писал Роберт Гуннинг графу Суффольку от 4 марта 1774 года, — любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени».

В дальнейшем Потемкин назначается командующим всей легкой кавалерией и всеми казачьими войсками, влияние графа Захара Чернышева сходит на нет, он подает в отставку. Президентом Военной коллегии вместо него становится Потемкин.

И почти все дела по борьбе с Пугачёвским восстанием (с конца августа 1774 г.) переходят в руки этого человека.

Петербург был в радости. Петербург то и дело получал с востока обольщающие известия: главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой, Пугачёв из Берды бежал, Оренбург освобожден. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остается лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишенные общей между собой связи.

Поэтому, назначая после кончины Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные, действующие против Пугачёва силы, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам, каждому в своей губернии.

Таким образом неограниченная власть, которою обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось сто семьдесят колодников-Пугачёвцев, в Оренбурге — до четырех тысяч семисот.

Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому вместо одной были образованы две секретных комиссии: одна в Казани, другая в Оренбурге.

Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина



в своем указе, между прочим, писала, чтоб они «при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали». А между тем в самой столице, охраняя престол Екатерины и не без ее, конечно, ведома, свирепствовал воевода обер-секретарь Сената, палач «кнутобойник» Шешковский.

Уезжая из Казани в Оренбург, князь Щербатов доносил Екатерине, что в Казанской губернии «волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве — в законном повиновении находятся». Такого же мнения был и престарелый Брант.

Однако в казанских краях было не так уж спокойно, и «волнование народное», погаснув в одном месте, внезапно вспыхивало в другом. Между городами Мензелинском и Осою свободно бродили мятежники. Против них Брант отправил секунд-майора Скрипицына. Другой отряд под командой Берглина преследовал восставших башкирцев по реке Тулве. Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске «колобродили» казаки, поджидавшие к себе Салавата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой.

Как только генерал Мансуров занял Яицкий городок, ставропольские и оренбургские калмыки с женами, детьми, скотом, в числе шестисот кибиток, бежали в сторону Башкирии на соединение с Пугачёвым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмыки всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были настигнуты и разбиты на переправе через реку Ток. От полного пленения они спаслись чрез хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь. И вот степь за клубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов высланный генералом Мансуровым из Яицкого городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешно отступая, бросали на пути усталых лошадей, верблюдов и даже своих жен, спешили укрыться в вершинах Иргиза. Произошел бой, многие калмыки попали в полон и были отправлены в Оренбург; раненый их вождь Дербетов дорогою умер.

Тем временем князь Голицын, получив известие о бегстве Пугачёва в Башкирию, сформировал для преследования мятежников два сильных отряда — генерал-майора Фреймана и подполковника Аршеневского.

Подполковник Михельсон, освободивший Уфу и пленивший Зарубина-Чичу, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался выступить к

Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с тысячной толпой и неподалеку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал, уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился Пугачёв.

Наступившая распутица значительно задерживала движение всех правительственных отрядов.

Военачальники Щербатов, Голицын, Мансуров и прочие, разъединенные между собой пространством, раскинув каждый на своем месте топографическую карту, судили и рядили, каждый на свой лад, куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачёва, попутно пресекая на местах волнение народное. Но беда военачальников заключалась в том, что сам Пугачёв был как бы прикрыт шапкой-невидимкой — где он, кто с ним? И военачальникам волей-неволей приходилось бороться с ветром, с пустотой, с неуловимым призраком. Одни из отрядов спешно посылались выставить заслоны на таких-то и таких-то реках, чтоб самозванец оказался в ловушке, другие отряды спешили занять те или иные населенные пункты с той же целью окружить Пугачёва, но Пугачёв в это время находился от них за сотни верст. Третьи военачальники, например, Михельсон, отыскивая затерявшийся след самозванца, тянули, попросту говоря, «верхним чутьем», как породистые собаки. Они свои действия зачастую основывали на ложных показаниях и бесплодно бросались то в одну, то в другую сторону. Вся эта, естественная в тех условиях, неразбериха была на пользу Пугачёву, позволяя ему осмотреться и усилиться.

Мы знаем, что вместе с Кинзей и остатками своего воинства Емельян Пугачёв направился из села Ташлы в Башкирию. По дороге он получил известие о занятии Уфы Михельсоном и пленении Чики-Зарубина.

Как ни старался Пугачёв взбодриться, это ему не всегда удавалось.

Легче, кажется, пережить потерю отца-матери, нежели лишиться таких своих верных помощников, как Падуров, Шигаев, Горшков, Зарубин-Чика, Ваня Почиталин, старик Витошнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, но, главным образом, потому, что люди были для него как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче, спокойней сердцу.

— Не унывай, детушки! Не клони головушек своих... Весна идёт, а там и летичко. Бог велит, во здравии будем и с победой...

Небольшой Вознесенский завод, куда они прибыли, встретил царя-батюшку с честью. Чтоб снова «поставить на колеса» свою Военную

коллегию, лишившуюся нескольких руководителей, Пугачёв пожаловал в секретари казака Шундеева, а в повытчики — заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников — Григория Туманова.

Чернобородый, приземистый, с большими глазами и широкими крылатыми ноздрями, Туманов сразу внушил к себе доверие Пугачёва.

— Горные заводы наши рады будут, что вы припожаловали на Урал, батюшка, — было первым словом этого человека. — И помощь вам окажут в людях и в оружии.

— Верю, брат Туманов, верю! Да ведь и я так разумею. Люди заводские из крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда: как сражение, так и отхватят у меня сотни две. А пошто так? Ан дело-то, видишь ли, выходит просто... Как сшибка, иные помашут дубинками да и бегут врассыпную, как цыплята. Ну, а заводские, те до последнего бьются: кои ранение получают, кои смерть. Эх, кабы не они, заводские, да не казаки-молодцы, не выдюжить бы нам. Ась?

— Справедливы ваши речи, батюшка.

Повелением Пугачёва новые члены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооруженных людей и о присылке их в стан государя. Указы подписывал Иван Творогов, к ним ставились сургучные печати с изображением Петра III.

Были также разосланы указы с требованием, чтоб население в окрестностях Челябинска и Чебаркуля готовило фураж и печеный хлеб «для персонального нашествия его величества с армией».

Пугачёв, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешел на Авзяно-Петровский завод, покоренный прошлой зимой Хлопушей-Соколовым. Здесь он осмотрел тринадцать отлитых для него чугунных пушек, поблагодарил работных людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как, например, дяде Митяю, и медали.

Вешая медаль на грудь дяди Митяя, Пугачёв говорил:

— Я тебя помню. Ведь ты у меня в Берде был. Сказывал мне про тебя Хлопуша, как ты с медведем да с капралом бился в тайге. И про то сказывал Хлопуша, как ты у старца праведного в землянке жил. А теперь вот ты главный здесь.

— Твоим веленьем, батюшка... Стараемся...

— Служи!

Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иваныч двинулся дальше, к Белорецкому заводу. По причине весеннего бездорожья пушек он не взял, приказал доставить их в армию при первой возможности.

В Белорецком заводе Пугачёвцы провели всю пасхальную неделю.

Первые два дня праздника было вдосыт попито-погуляно. Затем Пугачёв с горячностью взялся за дело. Кой-как налаженная Военная коллегия продолжала, с помощью старшины Кинзи Арсланова, рассылать по Башкирии манифесты и указы.

Отовсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачёв приступил к комплектованию и устройству новой армии. Ему усердно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов.

Однако, после Берды, с Твороговым начало твориться что-то неладное: он принялся почасту выпивать, даже под выговор батюшки себя подвел.

Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой затее. Эх, видно, сам черт бросил его в руки «батюшки»! Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой-женой в собственном, крепко налаженном доме, ведь достаток у него не малый, ведь он сотник был, а вот на, вот видишь, что подеялось. Ради каких это выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь? Людям во вред, своей безрассудной голове на погубу. Мало ли у них сгинуло народу: где Шигаев, где Падуров да Горшков Макся, где Витошнов с Ваней Почиталиным. Эхма!..

Да и Стеша... Удавить бы ее, непутевую, только жаль... ведь она к его сердцу живой кровью приросла... Ну, допустим, батюшка есть прирожденный царь-расцарь, Творогову-то от этого не легче, нешто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала батюшку и навовсе согласна бы уйти к нему... Не зря же при всей любви его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колошматить, трепать за длинные косы вероломную, ветреную Стешу. Да... Только тридцать два года ему стукнуло, а глянь — в черные кудри его стала вплетаться седина, и весь молодеватый вид его начал как-то блекнуть, как в знойное лето степь.

Однажды в минуту душевного волнения подвыпивший казак непрошено вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и, задвигав бровями, молвил:

— Слышь, офицер, ваше благородие. Душа у меня чегой-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде истинной: царь ли он, наш батюшка?

— Что ты, Иван Александрыч! — с возмущением вскинул Горбатов свое открытое чистое лицо, обрамленное волнистыми белокуроыми, подрубленными по-казацки волосами. — Без сомнения, царь... В противном случае ужли ж я пошел бы за ним? Самый доподлинный Петр Федорыч.

— На мою статью, ежели он, верно, Петр Третий, уйти бы ему опять к

римскому папе в сокрытие... Тогда и мы бы разбрелись по домам. А то ему и нам худо будет.

— А ты почему же, скажи-ка, пошел за государем?

— Я? А по глупству!.. Овчинников с Горшковым подзудили — иди да иди... Ну, а ты пошто из офицерского звания приник к мужичью?

— Отнюдь не по глупости, Иван Александрыч. Я, так сказать...

— С высокого барского ума? — насмешливо и раздраженно перебил Творогов, потеревливая свою темную бороду.

— Ну, уж с барского, — обиженно проговорил Горбатов. — Просто душа потянулась к государю, поскольку он свое знамя за бесправный народ поднял.

— Стало, народ ты пожалел? — Серые, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. — А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как осу на мед: всласть поесть да попить, в веселый марьяж с девками позабавиться... Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку... А теперь вот...

— Что?

— Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!

Горбатов неприязненно прищурился на Творогова.

— Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрыч! Ей-ей, обидно.

Ведь ты Военной коллегии судья и должность главного писаря до сей поры правишь. Нешто не ведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут? Да и зазорно было бы свою голову класть за такое добро... Ведь головы-то наши считаны, Иван Александрыч, расплаты не избежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли с тобой. Так ли?

В офицерскую избу вечерние сумерки врывались. На столе — склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница, исписанные листы бумаги — списки новоприбывших: кто с чем пришел, есть ли конь, каково вооружение.

Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударами его слов — «не избежать расплаты», сел на скамью, опустил голову. Вздохнув и раз, и два, он уныло сказал:

— Все в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим...

Дермо наше дело, собачье дермо на лопате... От веселой нашей игры эвот я сесть зачал, — казак уставился напряженным взором в пол, омраченное лицо его окаменело.

— Не печалуйся, Иван Александрыч, на нашем пути еще не одна гора и не одна удача будет. Силы накопим, по России с дымом, с грохотом

пойдем! А крестьянства там, в России-то, да всякого обиженного люда великое множество... Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он, бездольный, может голову поднять да правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрыч?

Творогов вскочил с места.

— Ты, господин Горбатов, точь-в-точь как Падуров говоришь... Эх, ни в ком в вас разума настоящего нет, ни в ком! — выкрикнул он, насупился и, не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон.

На улице рабочего поселка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода почти та же картина, что и в Берде: пестрые толпы народа, верблюды, кони, сияющие сквозь сутемень златогривые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казаки вприсядку пляшут.

Двигается шагом конная сотня башкирцев, лошади вспотели, над ними легковейное облачко, они притомились в быстрой, недавней дороге.

— Эй, котора место бачка-осударь? Кажу дорога! — вопрошает вожак башкирской сотни.

С презрением поглядывая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно перекликаясь, ставят свои «дюрты» из серой кошмы и решетчатых щитов, сколоченных из деревянных реек.

Четверо конных казаков, в их числе палач есаул Иван Бурнов и Ермилка.

Вот они разъезжаются в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают:

— По приказу его величества, завтра с полден в поход!

Ермилка, подбоченившись, трижды играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поп Иван венчал их с Ненилой в церкви. Ненила теперь пишется: «казацкая женка Ненила Недоскокина».

Отец Иван, не отстававший от Пугачёвской толпы, на масленой неделе «соскочил с зарубки», снова ударился в пьянство, пропил обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым, тот поучил его кнутом и пригрозил повесить. Но все обошлось благополучно.

Итак, над Уральскими горами предвесенние полыхают звезды, всюду немая, от земли до неба, тишина: птица не взлетит, собака не взбредет, все погрузилось в непробудный сон — завтра выступить. Все живое спит, но по окраинам и при дорогах дозорят люди: где-то и, может быть, очень близко коварный враг скрадом бродит, а где он, кто он — никому не известно: то

ли князь Голицын, то ли Мансуров с Деколонгом, то ли Михельсон?

Карауль, казак, не-больно-то любуйся звездами небесными, не клони на грудь отпето́й головы своей, не верь могильной тишине — она обманна, чутко лови ухом каждый шорох, каждое дуновенье ветерка: из ветра родится буря.

Три всадника: Кинзя Арсланов, Горбатов, Чумаков под лучистыми звездами едут проверять дозоры.

## **Глава 3.**

### **Пугачёв на Воскресенском заводе.**

#### **1**

Как только узналось, что царь-батюшка прошел Малые Ярки и приближается к Воскресенскому заводу, все работные люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от заводских построек. Народ бежал, шел и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотиную, а также из рабочего поселка, расположенного внутри завода.

Поселок, состоявший из немудреных хибарок, среди которых, впрочем, высились и обширные, изукрашенные резьбой избы, растянулся от земляного вала с деревянной стеной до так называемого канала. Хотя, в сущности, это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стены речка была запружена плотиною, получилось многоводное озеро — «скоп воды», а дальше, в пределах заводского участка, речку Тору выпрямили, одев берега её в бревна и доски, — получился канал.

Ежели залезть на высокую сосну, можно видѣть, как вся заводская площадь, огражденная земляным валом, разрезана каналом на две части: на одной — рабочий поселок, на другой — управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и церковь во имя Воскресения христова, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же канале стояли две вододействующие мельницы — лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем поселке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всем заводе не имелось никакой растительности — ни деревца, ни зеленой травки, и единственная сосна была мертвая. Эта пустынность участка — результат тлетворного действия смертоносных газов, изрыгаемых «домницами» и «штыковыми» горнами. И сами люди, жившие в поселке, немало хирели от газов. Испитые, бледные, с лихорадочно

блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически еще сильны, но оставляли впечатление людей болезненных, как будто на солнечном Урале никогда не ласкало их горное солнышко.

...Народ бежит, бежит навстречу царю-батюшке и выстраивается по обе стороны дороги. Весь снег давно ушел в землю, деревья обтрясло ветром, на дороге старая хвоя, шлак, угольная пыль, песок.

— Едут! — дружно заорали парнишки.

Тысячная толпа зашевелилась, бородачи пятернями расчесали бороды, бабы оправили платки и полушалки, старенький попик в ризе вышел с клиром на средину дороги, две красивые молодайки в ярких сарафанах держали блюдо с хлебом-солью.

Показались желанные гости. Впереди полсотня казаков со значками-хорунками, за ними, окруженный близкими, сам царь-батюшка на крупном жеребце в наборчатой сбруе, возле него распушенное большое знамя.

А позади — казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочее войско. В хвосте — далеко растянувшийся обоз. И лишь только показался царь в своем зеленом суконном полукафтаны с позументами, толпа опустилась на колени.

— Встаньте, ребяташки! — крикнул Пугачёв. — Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас, нуждицу вашу посмотреть, какво живете. Не творят ли вам, рабочему люду, утеснения. Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова.

Лица у всех просияли довольными улыбками. Раздались бодрые выкрики:

— Яковом Антипычем мы не обижены... Тухлятиной он, как допрежь бывало, не кормит!

— И жалованья он, Яков-то Антипыч, по копейке на день набросил. И харч подешевле супротив прежнего отпускает...

Слезать с коня Емельяну Иванычу помогли рыжебородый с хохлатыми бровями Яков Антипов, поставленный управлять заводом, и мастер-литейщик Петр Сысоев. Емельян Иваныч приложился ко кресту, принял хлеб-соль от двух пригожих теток, пошутил с ними, затем спросил:

— Далече ль до завода?

— Да версты полторы, царь-государь. Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-к, там.

— Гарно. В таком разе я пешком пойду. Поразмяться... А на моего коня, — усмешливо прищурившись, проговорил Пугачёв, — посадите какого не то старичка почтенного. Кто из вас самый старей-то?

— Да старей нашего батюшки, отца Панфила, никого нетути.



— Отец Панфил, садись, — сказал Пугачёв. — Ермилка, подмогни попу вскарабкаться, — и пошагал по дороге.

Маленький попик, не сразу поняв, в чем дело, вытаращил глаза и со страху пошатнулся, затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попик закричал, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке.

Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачёв шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут — да вприпрыжку.

У людей и хворь, какая была, кончилась; бабы с девками от быстрого хода раздурманились, похорошели, как вешние цветы; ребяташки, поспевая за пешим государем, сверкали голыми пятками, вполголоса перекликались меж собой.

По плотной дороге раздавался дробный цокоток кованых копыт и звяк оружия: то мерно двигалась Пугачёвская конница. Вот начался обоз: проехал фаэтон с какими-то красотками, возы сена, несколько телег с мукой и крупой, тарантас с Ненилой и расстригой попом Иваном. Поп курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадью. Он в трезвой полосе теперь и на все руки мастер: приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях:

— «Помяни, господи, во царствии твоём нашего казака-воина Сергия, нашего есаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея». Помяная их в молитвах, он упирает на слово «нашего», дабы в небесах не произошло путаницы, не смешали бы там за великими делами душу какого-либо голицынского злодея с праведной душой павшего за веру, царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витошнова. Помогает он также на кухне, учит Ермилку и Ненилу азбуке, чистит царю-батюшке сряду, ловит для царского стола рыбу.

Пугачёв, бывало, нет-нет да и пошутит с ним:

— Ты, поп Иван, вижу, стараешься... И прилепился ко мне крепко!

— Все упование мое в тебе, царь-государь.

— Ну, так я тебе попадью приглядел. Правда, что она из татарок, жена муллы, а муллу я повесил.

— А пригожа ли татарка-то, царь-государь, да молода ли?

— Прямо красавица! И не перестарок, а в самом прыску.

— Не подходящее дело, царь-государь. Мне бы какую кривоглазую бабу-раскорячку.

— Ха-ха-ха... Пошто так?

— Молодую да красивую Ванька Бурнов себе приспособит.

Загудел, залился, рассыпался по всему лесу трезвон колоколов, и вслед за тем грянул с заводской батареи пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника, по-царски.

Пока Пугачёв ходил с атаманами и отцом Иваном в баню, да после бани отдыхал, Андрей Горбатов готовился чинить государю подробный доклад о заводе. Он побывал в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штейгерами, затем, уже вечером, направился в управительский дом, где остановился Пугачёв.

Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кондовых сосен.

Пугачёв со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зальце. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кенкеты, шандалы — все эти отличные, тонкой работы, вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой, из латуни, самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой веник, когда им с усердием метут полы. Пугачёв с атаманами и Кинзей Арслановым, держа зажженные в подсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпускали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красоти.

— Слышь, Чумаков, — прыская в горсть, шутил Творогов. — Да уж не твоя ли это духовная? Вишь, развалилась, и левая ножка у нее кабудь покороче...

— Ты тоже брякнешь, — притворно обидчиво возразил Чумаков, уткнув в грудь широкую, с проседью, бороду.

— А до чего гладка, до чего гладка! — восторгался Творогов, рассматривая картину. — Не ущипнешь...

— Я видел девку, — проговорил хмурый усатый Данилин, — ну, так та горазд поздоровше этой будет. Она щеки да шею жиром смазывала, ее, вишь, застращали, что, мол, кожа лопнет...

— Стой! Я знаю, кто это срисован, — сказал Пугачёв, освещая картину свечой. — Это либо Апраксина графиня, либо Строганова Танька в пьяном положении. Я их знавал. Их, бывало, приоденут, приоденут, а они все с себя до нитки промотают, нагишом и сидят по неделе в горнице. Вот те и графини!

— Нет, государь, — сказал вошедший Горбатов. — Здесь изображена богиня Венера... Вот и серпик месяца в её волосах запутался. Это из греческой древней религии.

— Верно, верно! — вскричал Пугачёв. — Я в Греции бывал, и у турецкого султана. Да вот, послушайте...

Все обратили улыбчивые взоры к Пугачёву. После баньки, после сытой трапезы, а впереди — самовар кипит, настроение у батюшки хорошее, уж он что-нибудь да «отчубучит». Когда на душе у Емельяна Иваныча спокойно, он мог порассказать о всяких занятных в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемешивал бывшее с небывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или взаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верят, и все же в немалом восхищеньи думали: «Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, а под конец, глядишь, и на всамделишную жизнь повернет, людям на поученье... поистине, у батюшки ум густой, охватистый».

Вот Емельян Иваныч поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и, не спеша расхаживая по горнице, начал:

— Как-то заходим мы с султаном к нему в гарем, оба выпивши. Ну, там всякие цветочки, деревеса разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские жонки в водоеме плавают, аки белорыбицы. И показывает султан пальцем: «Вот, говорит, ваше самодержавное величество, Петр Федорыч Третий, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она, говорит, ко мне трех пудов весу, и кажинный год, говорит, по пуду надбавляет, а живет семь лет у меня в гареме и вес имеет десять пудов без трех фунтов». Вот султан команду подал ей: «Вылазь на сухое место!» Как она из воды вылезла, да трепыхнулась, так у меня, верите ли, аж в голове круженье сделалось.

Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: «Как это, ваше султанское величество, могло стать, чтоб молодая красотка этаким пышным телом обросла?» Султан отвечает: «А чего же ей, ваше самодержавное величество, белые тела не растить, ежели она проснется, в водичке поплавает, полбарана умнет, кофею запьет, да опять на боковую». Ну, султан, конечно, старей, я молодой. И спознался я с ней ночью, стражу подкупил. «Откудов ты сама-то, красавица, будешь?» — спрашиваю её по-французски. А она мне по-русски: «Я, говорит, не понимаю, чего вы, ваше императорское величество, лопочете...» Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает: «Я, говорит, девушка Федосья, а теперь Фатьма называюсь, двадцать два года мне, и весу тяну пять пудов три фунта, а не десять пудов, султан наврал вам».

«А как же ты, разнесчастная, попала сюда?»

«А я, говорит, крепостная крестьянка распроклятого князя Голицына,

он, говорит, злодей, променял меня султану на двух туркинь да на ефиопа с халдеем, да еще ученого журавля о трех ногах в придачу выпросил, вроде чуда».

Тут она причмокнула меня и горько заплакала.

«Ах, говорит, ваше императорское величество! Вызвольте меня отсель.

Хоша тут и распрекрасно, хоша султан меня ни разу за волосья даже не трепал, иначе шибко я по Расеюшке тоскую, по отце-матери, по роду-племени. А как вспомню про леса, да про березки белые, про малых пташек да соловушку, сама не своя, руки на себя наложить готова... Ой, спасите вы меня, спасите!»

Я тут едва передохнул, дюже жалко мне её стало. Говорю ей:

«Лишь бы мне снова престолом завладеть, я бы Голицыну князю ноги из спины повыдергивал».

А она мне:

«Ой, повыдергайте ему ноги-руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла!»

— Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татищевой супротив вас шел? — спросил, улыбаясь, Горбатов, присаживаясь к самовару.

— А кто же? Он и есть! — подмигнув, воскликнул Пугачёв. — Голицын-то один у царицы, князь-то. Он, собака, этот самый Голицын-Рукавицын, дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему как кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас — мы-де разбойники, народ грабим. Те сдуру и поверили!

Затем все уселись за стол. Творогов разливал по расписным гарднеровским чашкам чай. Ненила притащила пышек да густого меду.

— Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как? — обратился Пугачёв к Горбатову. — В коем году завод-то обоснован?

— В тысяча семьсот сорок шестом, государь, — ответил Горбатов, раскинув пред собою исписанный им лист бумаги.

— Стой-ка ужо... Слышь, Яков Антипов, — сказал Пугачёв. — А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы слали?

— А его, батюшка, повесить довелось, — встав и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корпусный Яков Антипов.

— Чем же он не угодил тебе? Делу нашему, что ли, прилежен не был?

— Не токмо николикой пользы не приносил, но делу вред творил!

Стакнулся он, приказчик-то, с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и механиком, да и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек, портить: не ту плепорцию олова в медь давал. Через что изьян

получался и делу пагуба: как поставят отлитую болванку на станок да учнут сверлить стволину, весь сплав в раковинках да в трещинах.

— Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плепорции? — спросил Пугачёв.

— А сам Беспалов показал... Как присудил народ покончить с ним, он на колени, да и ну каяться.

— Народ, говоришь, присудил-то? — вскинул Пугачёв голову.

— Народ, народ, ваше величество! — воскликнул Яков Антипов. — Весь работный люд... Уж очень большая охота у мастеров да работников угодить тебе, царь-государь, пушек да mortиров-то поболее отработать...

— А с немцем Мюллером как? — прищурился правый глаз, по-строному спросил Пугачёв.

— Сохранили Мюллера мы. Хоша народ и шумел «повесить немчуру», да я не дозволил.

— То-то же, — и Пугачёв с шумом передохнул. — Немца, ежели он знатец дела, обласкать надо. Покличьте-ка его.

Побежали за Мюллером. Антипов сказал:

— У него, у немца-то, голова дюже смекалистая... Ведь по его плантам пушки да mortеры-то делались, кои перекидным огнем палят. Правда, что не он один, а с ним вместях другой знатец работал, наш...

Явился тучный шихтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, подпертый толстыми ногами в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинутая, тоже клетчатая куртка-распашонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые, с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На ходу немец задыхается. Вошел и со спесью небрежно кивнул головой.

— Здравствуй, Карл Иванович, — произнес Пугачёв, воззрившись на немца.

— Мой — Генрих Мюллер, — хрипло промямлил мастер, не выпуская изо рта трубки.

В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола. А вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведет войну против царицы. По крайней мере так толкуют заводские работники, но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что оный человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник, лжецарь Пугачёв. Мюллер поглядывал на Пугачёва и гадал: кто он?

Пугачёв в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот

несколько поежился, стал усиленно попыхивать трубкой.

— Умеешь ли по-англицки, Карл Иваныч? Либо по-гишпански? — приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачёв.

— Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленько по-русски.

— В таком разе балакай по-русски, как умеешь, — сказал Пугачёв, скользом взглянув на Горбатова, внимательно следившего за разговором. — Отвечай: знаешь ли, что я — Петр Федорыч Третий, царь всея России?

— Нет, не знайт, — потряс головой и щеками немец.

— Ну, так знайт! — с сердцем сказал Пугачёв. — А когда этак мне русский человек отвечает — не знаю, мол... так я, чуешь, приказываю тому человеку голову рубить! — И Пугачёв пристукнул ребром ладони по столу.

Позади Емельяна Иваныча стоял широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами, и свирепо смотрел в густо покрасневшее, щекастое лицо немца.

Мюллер явно испугался слов царя и задышливо произнес:

— Мой голова рубить не можно есть... Голова Генрих Мюллер подданный великий король Фридрих Прусский.

— А ты не фырчи... Не то, мотри, у меня недолго и с перекладиной спознаться... Тогда узнаешь, чей ты верноподданный... Ты, с Беспаловым сговорясь, вред чинил моему императорскому делу... — сказал Пугачёв, пронзая Мюллера суровым взором.

Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся. Затем выхватил изо рта дымящуюся трубку и, выбив её о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачёв сказал помягче:

— Ну, Карл Иваныч, как ты угодил мне своими пушками, кои под Оренбург присланы были, я все твои вины передо мной прощаю. Пушки новые есть?

— Есть два пушка, два мортир, кайзерцар...

— Приготовься назавтра пробу учинить. Иди, Карл Иваныч.

Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаркнул ногами вправо, шаркнул влево, дважды притопнул каблуком, изогнулся корпусом вперед, подобрал брюхо и с подобострастием на лице выпятился оттопыренным задом в дверь.

Все с веселостью заулыбались, посматривая на «батюшку».

— Ну, Горбатов, докладывай таперь, — приказал Пугачёв офицеру.

Заглядывая в свои записи, Горбатов начал:

— Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад симбирскими купцами братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Выпытав у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало, как в пятьдесят тысяч десятин, с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину.

— Во-во! — проговорил Пугачёв, обжигаясь горячим чаем. — Мне об эфтом самом и полковник Падуров, бедная головушка, когда-то сказывал.

— Яман, яман, дермо дело! — закричал тонким голосом Кинзя Арсланов и стал лопотать наполовину по-башкирски, наполовину по-русски.

Толмач Идорка, переводя его речь, говорил, что купцы спаивали башкирских старшин вином, одаривали их разными вещичками и подсовывали им купчие. Старшины в пьяном виде ставили на купчей свою тамгу (подпись), и законная сделка таким образом считалась совершенной.

Кинзя Арсланов через переводчика сказал:

— Поэтому наша башкирь и пошла к тебе, бачка-осударь... За правдой пошла, верит, что ты обидчиков нашего народа покароешь, а землю опять вернешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам.

Пугачёв подумал, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил:

— Перетолмачь: мол, с землей дело прошлое; что с возу упало, то пропало. А то выходит, — лежит собака на сене, ни себе, ни людям. Стой, погоди, Идорка! Насчет собаки не перетолмачивай, а толкуй тако: ныне, мол, завод со всеми землями в нашу государеву казну отошел, а земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются, им той земли хватит, коей владеют. И еще башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять: заводы пушки с ядрами льют, оружие сготовляют. А то придёт враг со стороны и заберет всю землю — башкирскую и русскую. А без русского народа малым-то народцам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до ребер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им.

Сам на всю землю сядет и распространится. Горе тогда всем вам, малым!

Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлицей застрелены. Ты только покрепче подумай, Кинзя Арсланыч, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы да Демидовы, замест пользы один вред приносили вам, обиды да притеснения сотворяли башкирскому люду простому. А я тебе, Кинзя, говорю своим великим царским словом — впредь этого не будет. Кто башкирцев на заводской земле обижать станет, голова тому будет рублена!

Идорка перевел. Кинзя, выслушав, кивнул головой, сказал:

— Якши.

Горбатов, прислушиваясь к резонным речам государя, сказал:

— Это вы правильно, государь, рассудили, умственно.

— Ну, а как инако-то?.. — возразил Пугачёв. — Тут само дело указывает.

— Для полного уяснения обстоятельств, — продолжал Горбатов, — надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы еще при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до петровских времен в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень. Далекая Башкирия никому не нужна была. А вот, когда Петр Первый новые порядки на Руси заводить начал, тогда все круто переменялось. Петр укреплял государство силою оружия. При нем постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия, значит, занедавились и медеплавильные и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился, расходы на войны были чрезмерны, довелось усилить торговлю с заграницей хлебом — стало быть, потребовались под пашню новые земли. И вот потянулись в Башкирию купцы вроде Твердышевых, да на придачу им — помещики: пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много и земля та чернозем. — Горбатов сделал паузу и продолжал:

— Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела Твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь, ежели от башкирцев да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность.

— Эх, напрасно это, — крутил головой Емельян Иваныч. — Этакую тетушка моя, блаженные памяти, промашку допустила. По-бабски это! Тут полюбовно надо было, полюбовно, говорю. А народ на народ неча, как собак, натравливать. Она бы лучше, тетушка Лизавета, вечная память преславному её имени, указ-то издала, чтобы купцы Твердышевы



недоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна, по справедливости. Да их бы, Твердышевых-то, надо было, сукиных детей, не в потомственное дворянство, а на каторгу! А такие указы давать станешь, кого хошь озлобишь.

— Вы правы, государь, — вновь выговорил Горбатов. — С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков, тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели.

Пугачёв расправил бороду, откинул со лба челку и, подумав, сказал:

— Идорка, перетолмачь, а ты, Кинзя, слушай... Мы решили тако, и наша императорская Военная коллегия не единожды о том манифесты выпускала — бедноте башкирской я слезы вытру, а что касаемо, чтобы русских мужиков изобижать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни! Уж не прогневайся, Кинзя Арсланыч. Наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наущаемые муллами да богатыми баями, мужиков беззащитных забижают... Да нешто мужики виноваты, што господу сюда их перевезли, в Башкирию?

Когда Идорка перетолмачил, Пугачёв, хмуро насупясь, спросил башкирского старшину:

— Понял ли, Кинзя Арсланыч? (Тот кивнул головой.) А понял, так на ус покрепче намотай... Идорка, перетолмачь.

Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал:

— Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов.

Пугачёв встал, подошел к поднявшемуся Горбатову и, похлопав по плечу, сказал:

— Благодарствую. Мастер докладывать. Таперь мне все явственно. А вот что это такое, ваше благородие, в трубке-то у тебя свернуто?

Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры, по бокам чертежа пестрела рябь мелких цифр.

— Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, государь, — сказал он. — Хотя нешто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну.

Все сгрудились подле чертежа. Пугачёв влип глазами в рисунок, наморщил нос, посапывал. Яков Антипов сказал:

— Не один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то молвить, не Мюллер, а наш мастер-пушкарь, по прозвищу Коза, пушку-то эту выдумал. Он знатец великий. У него два сундука разных книг с

цыфирью, у Козы-то... Вот те и Коза! Он и зовет себя «механикус». Только пьяница — не приведи бог!

— Где он, Коза ваш? — оживился Пугачёв.

— Нетути его, ваше величество, — ответил Яков Антипов. — Он, пьянь горячая, на Каму нивесьть зачем подался. Нешто его, Козу, удержишь?

Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой — в полтора ведра — с клеймом Воскресенского завода. Стало темновато. Зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры не смолкали.

Старый заводской мастер, литейщик Петр Сысоев — человек высокий, со впалой грудью, лицо сухощавое, скуластое, в небольшой темной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят, он стал рассказывать о Тимофее Иваныче Козе.

История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрым и затейливым, он почасту играл со своим сверстником барчонком, был вхож в господский дом, затем отобран от родителей и помещен в людскую. Барчонка обучал разным наукам гувернер из отставных офицеров-артиллеристов. На уроках всегда находился и Тимошка, барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовода и вообще на все руки мастера. Но выходило так, что Тимохе наука давалась легко, а барчонок ни в зуб толкнуть. Тимоха стал по-немецки говорить и «всю рихметику произошел». Барин, присутствуя на уроках, злился на сына, что ничего не может усвоить, тряс его за вихры, давал подзатыльника, а Тимоху за то, что отвечает бойко, без заминки, отсылал на конюшню драть.

Когда Тимохе исполнилось двадцать лет, на него начала заглядываться пятнадцатилетняя барская дочка Танечка. Однажды родители нашли у нее под подушкой Тимохино письмо: «Ненаглядная, золотая, дорогая. Бежим, не бойся, будет хорошо. Бери денег. Поженимся, а после заявимся к родителям. Меня избьют, выдерут и тебя такожде, а тут — простят. И жизнь пойдет не надо лучше». Ну, словом, что-то в этом роде, сам Коза сколько раз Петру Сысоеву об этом толковал. Хоть и жаль было расставаться барину с Тимохой, а ничего не поделаешь; продал он его за хорошую цену на Воткинский завод, разлучив дочь свою с крестьянским сыном, а крестьянского сына с родителями его. И заделался он на заводе подмастерьем, а через четыре года мастером. Вошел в доверие. Хозяин послал его с железным товаром на Макарьевскую ярмарку. А в те поры проживал в Нижнем-Новгороде великий изобретатель, механикус Кулибин, самой государыне ведомый. Тимофей Коза направился к нему, прожил у

него двое суток, насмотрелся всяких диковин: видел он у Кулибина золотые, с гусиное яйцо, часы, им изобретенные, дивные-предивные, еще видел «ликтрические машины» со стеклом и трубу длиной в сажень луну рассматривать.

— Много Коза рассказывал о премудрости всякой, кою видел у Кулибина.

И книжиц охапку оттудова привез, — говорил Петр Сысоев. — Яков Антипыч, нет ли у тебя какой из его книжек?

Антипов сходил к себе в спальню и принес в кожаном переплете измызганную книгу: «Георг Крафт. Краткое руководство к познанию простых и сложных машин, сочиненное для употребления российского юношества.

Переведена с немецкого языка чрез Василия Ададунова, адъютанта при Академии Наук, 1738 год».

Книгу полистали и Горбатов, и Чумаков, и сам Емельян Иваныч.

— Ах, добро! Ах, добро!.. Замысловатая книга! — восторгался он. — И картинки. Ну-к, а что же дальше-то с Козой?.. Толкуй, Петр Сысоев... А ты, Творогов, нацеди-ка мне еще чашечку покрепче.

— С этих пор, — продолжал Сысоев, прищуривая то один, то другой глаз, — с этих пор Коза полез в гору на Воткинском заводе, и его за большую цену купили братья Твердышевы, купили и, видя в нем старание, а от сего большую для себя корысть, в награждение дали ему вольную. И определили его на Воскресенский завод, сиречь сюда, в помощники немцу. Старший-то из Твердышевых, Иван Яковлич, хотя и совсем стариком сделался, а ума палата, он пекся о процветании дела своего, и было у него устроено здесь вроде школы: ребята обучались грамоте, штейгерскому и всякому ремеслу. Школу вел немец Мюллер. Только та беда, что главных секретов он ученикам не передавал, чрез что хозяин был им недоволен. Поэтому он и Козу-то Тимофея к нему определил, в мыслях у хозяина было немца прогнать, а Козе препоручить весь завод. Пронюхав это, немец, проклятая душа, принялся Козу вроде как бы спаивать. И стал Коза на работу пьяненький являться. А напьется — плачет, слезами разливается, все Танечку свою вспоминает, забыть не может, волосы на себе рвет. И было ему в те поры под сорок годков...

— А теперь-то сколько же? — спросил Пугачёв.

— Теперича, ваше величество, к шестидесяти подходит... И образовался он вроде как запойный: месяц работает, неделю пьет, четыре месяца на деле, два в гульбе. До зеленого змия допивался. И чрез сие содеялся плотию немощен, ну, а разумом, как и допреждь, крепок. Хозяин,

Иван Яковлевич, зело скорбел о нем, потому — мастер золотые руки. Ему сверхурочное жалованье шло. Одначе он завсегда пропивался до ниточки и все Танечку свою вспоминал, еще до сей поры жениться на ней мыслит. Мы, бывало, говорили ему: «Сдурел ты, Тимофей Иваныч... Да твоя Танечка-то ненаглядная давно старухой сделалась, а может, богу душу отдала». А он: «Над ней смерть власти не имеет, Танечка ко мне, пьяному горемыке-бражнику, завсегда во образе прекрасной юницы появляется. О мучения мои великие, о распятая на кресте жизнь моя!..» — скажет так, схватится за голову и горько-прегорько восплачет. И нам-то досмерти становится жаль его, и у нас-то зачинает в носу свербить.

— Скажи на милость, скажи на милость, до чего прочная любовь! — рывком поставив на стол блюдце с чаем, восклицал Пугачёв и приударил себя ладонями по бедрам. Он вдруг вспомнил недавнюю жену свою, государыню Устью, вспомнил Катерину, с которой слушал на Каме соловьев, вспомнил дворянскую дочь, ненаглядную Лидию Харлову, замученную христопродавцем Митькой Лысовым, еще вспомнил, наконец, красавицу Стешу Творогову, последнюю разлуку с ней в Берде. Все милые его сердцу женщины пришли на память вдруг, как слетевшие с облаков райские жар-птицы. Вихрем крутнулись в мыслях, опалили сердце и исчезли. Пугачёв вздохнул.

И все вздохнули. Под влиянием рассказа внезапно родились у всех воспоминания о счастливых днях юности, о звездных ночах, о жарких поцелуях, о горьких слезах, пролитых при разлуке с милой. Да, хороша незабываемая юность, вся в цветах, вся в хмельных соках жизни! Но лучше не вспоминать о ней — она неповторима.

Старообрядцу Петру Сысоеву даже пришла на ум старинная стихира, которую он и произнес вслух: «Увы мне, увывы мне, на горе рожденному: вот грядет юность, за юностью младость, за младостью старость, за старостью — смерть».

После бани, после пеннику и соленой рыбки чай пили с неослабевающим азартом и никак не могли утолить жажду. За самоваром чайничали ввосьмером, на месте же всегда сидело только семеро, восьмой, в порядке очередности, отсутствовал. Огромный самовар вдруг зафырчал, зашумел и неожиданно осел на бок.

— Глянь, распаялся! — с удивленной веселостью вскричал Пугачёв, ткнул рукой в похилившийся самовар.

— Ах, беда! Должно, воды нет, — взволновался подскочивший к самовару Творогов. Он торопливо потянул вверх крышку и вместе с ней вытащил из самовара распаявшуюся трубу. — Ишь, ты, вся горловина

рухнула...

— Вот это попили чайку! — со смешливостью и сожалением подхватила вся застолица. — Эх, самовар жаль!

Часы пробили двенадцать, все принялись укладываться спать.

### 3

Выждав время, когда вокруг заснули, Пугачёв оделся и вышел. Была холодная весенняя ночь. В небе серебрился полумесяц в окружении ярких звезд. Плавные очертания поросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть охваченных голубоватым светом, мутно темнели вдаль. Из двух медеплавильных печей валили густые клубы дыма, то черного, как сажа, то желто-грязного. Из открытых дверей и окон мастерских неслись мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, ниспадающей из обширного пруда чрез приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок — большая куча хат с остроконечными кровлями. В поселке один за другим горласто перекликались петухи. Из лесу наплывал хищный пронзительный писк сов и всякой ночной твари.

К заводским, окованным железом воротам подходил обоз: поскрипывали телеги, отфыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо.

Привратник прокричал:

— Кого бог дает?

Из голубоватой сутемени загалдели:

— Углежог с угольком!.. Да още известкового камня на сорока возах. Отворяй, Макарыч!

Ворота распахнулись. Обоз потянулся к складам, часть телег стала разгружаться возле литейной мастерской. Старший обозный и еще два углежоба вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачёв. Он был в будничной казачьей сряде, с простоволосой головой. Мастерские люди — литейщики и сварщики — за недосугом встречать с народом «батюшку» не выходили и поэтому не знали, каков он из себя.

— Любопытствуешь, господин казак? — спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стеклами.

— Любопытствую, — ответил Пугачёв, — из государевой армии я.

— Не заспалось, должно?

— Не заспалось, братец.

— Слых есть — быдто царь-отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками.

— Похоже — будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?

— А сам я первой руки токарь по меди, Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государева экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут, в уголке-то, столик мой, я тебя молоком угощу. Желаешь?

Они сели у засаленного, прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.

— Добрецкое молоко, — начал Пугачёв. — Вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?

— Две коровы, да две телки, да лошадь, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.

— Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?

— Да как сказать, — ответил Осиноватиков, снимая синие очки. — Нас в семействе шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все получаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого...

— Что же, маловато тебе, ай нет? — спросил Пугачёв, прищуривая правый глаз.

— Да нет, господин казак, — откликнулся мастер. — Оно и не так мало на поверку-то... Ведь ржаная мука пятнадцать копеек пуд, стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, кажинный человек. А как полковник Зарубин-Чика Иван Никифорович от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу.

— Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то? — спросил Пугачёв.

— Да ничего... Только дюже строг. Правда, что не штрафует и по зубам не бьет, а требовать дело — требует.

— Он царские антиресы блюдет, — сказал Пугачёв, — ведь, поди, ныне работаете не на купца.

— А мы нешто не понимаем. Да мы и ране работали не худо, на Турецкую войну лили не мало пушек-то. Мы с понятием. И совесть в нас есть.

— Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так почто же себе заступника народного поджидаете, избавителя?

— А вот пошто, господин казак, слухай, — проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачёва. — Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много работных людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не вовсе голодно, одначе промеж крестьянства и бедности достаточно и земли у многих маловато. Только, говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!

— Верно, верно! — с горячностью воскликнул Пугачёв, а надсмотрщик продолжал:

— Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждёт, такожде и по заводам. Добер ли до нас, сырых, государь-то, господин казак?

— К барам строг, к народу-труднику — милостив.

В это время дверь распахнулась, раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов.

— Ну-ка, плавка готова? Скоро ли выпускать?

— Нет еще, Яков Антипыч, — сказал, подымаясь ему навстречу, надсмотрщик. — Часика этак через два...

— Ой, ваше величество! Так вот ты где... А мы-то тебя, свет наш, ищем, — удивленно воскликнул Антипов, приметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Пугачёва.

— Что?! Так это кто же будет? — перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.

— Это владыка наш! Петр Федорыч Третий, — торжественно сказал Яков Антипов.

Надсмотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачёву и кувырнулся ему в ноги.

На другой день рано поутру Пугачёв с Яковом Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от 5 до 25 сажен глубиной. Пугачёв видел, как руду засыпают в большие бадьи и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена «водяная

машина», приводимая в движение конной тягой.

— Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, — говорил Антипов. — На прочих заводах медная руда из рудников идёт напрямик на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.

— Какой же? — спросил Пугачёв.

— А вот вздымемся на пригорок. Оттуль видать.

С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине.

Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать её мягкой, годной к проплавке.

— По первоначально разжигают кострище из сушняку и в огонь руду валят, — пояснил Антипов. — Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».

— При обжиге, — сказал Петр Сысоев, — руда исходит ядовитым газом, самым зловредным для здоровья. Газ по земле стелется, и, ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки... А то — смерть неминуемая.

От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, елки на большое пространство вокруг стояли оголенными, без листвы и хвои.

— Когда руду здесь обожгут, — продолжал мастер, — привозят её на завод и разбивают по сортам. А крупные-то куски в толчее толкут да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготавливают «флюс»: это известной камень, белая глина да песок. Перемешают все с дробленой медью, получится «шихт». Ну, а теперича, батюшка, поедемте не то на завод к домницам.

Вернувшись на завод, первым делом зашли в «пробницу» — лабораторию.

Это светлая изба, в середине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тиглы, пробирки, весы грубые и весы точные под стеклянным колпаком, пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб.

— Здесь-ка орудует немец, — пояснил Антипов, — а иным часом и Тимофей Коза.

В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками.

— А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их.

Бывало, зайдут сюда с Козой, да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, Коза чахнет.



В плавильном цехе, куда вошел Пугачёв с провожатыми, было жарко.

Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами.

— Мы зовем их домницы, а немец называет — крумофены, — сказал Петр Сысоев.

Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и «флюс» с толченой медью, то есть «шихт». Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрикивает на тачечников:

— Эй, вы, гужееды сиволапые! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!

Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов, и снова пласт угля, пласт руды и флюсов. Донельзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» как будто ради озорства вымазан жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе — его держит на месте непрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.

— Слышь, Яков Антипыч, — обратился Пугачёв к управителю. — И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»; работа их, ведаешь, из трудных трудная...

— Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый крепкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калека, либо на погост...

— «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах — одна честь, — продолжал Пугачёв, от нараставшей жары пятась к двери. — Я на Авзянском самолично спускался в бадье — на лычной веревке, она у них в глыбь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно, в тележке. — Он ухватил управителя за руку, пониже плеча; управитель поежился от боли. — Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязищи да сырости грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то — золото, ей-ей... И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка — как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет божий из штольни ихней да и взмыслил: эх, вот бы народа какого державе нашей, да поболее!.. — Помолчав, он строго продолжал:

— Вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять «засыпок» — то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кои покалечены в работе, тех на безденежное кормление взять, навечно... Моим царским именем!

— Сделаю, батюшка, постараюсь, — ответил Антипов.

Пугачёв, видимо, волновался; он то засовывал руку за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял на голове шапку. В цехе было шумно: гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в домны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там всюду пытели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывается в поддувало, в печную утробу и разжигала угли. Через кривошип и колесный вал мехи приводились в движение шумевшей за стеной водою, она падала на водоемные колеса.

Людей в цехе было десятка полтора. Бороздниками и веничками они прочищали вырытые в земляном полу небольшие ямки, соединенные между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет-потечет огнежидкая, расплавленная медь. Все, вместе с Пугачёвым, надели синие очки, а рабочие и мастера — кожаные фартуки да кожаные голицы. Старший мастер проверил, правильно ли наклонен желоб от печной лещади к канавкам. Работники похватили железные лопаты. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, через слюдяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе её гудит и клокочет расплавленный металл, и поднял руку:

— С богом, ребята! — Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанное глиной выпускное оконце.

— Пошла, матушка, пошла, пошла! — закричал он, ударяя второй и третий раз.

Глиняная пробка вылетела из брюха домницы, хлынул огненный, ослепительно белый поток. Расплавленная жижа потекла по желобу вниз, в канавки, в ямки.

Мастера и подмастерья суетились с лопатами; они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко.

Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на ходу, на них выступила соленая пыль, как иней. Пугачёву показалось, что от жару у него затрещала борода, он вскинутыми ладонями заслонил лицо и попятился к выходу.

— Готово! — прокричал старший; он снова вбил затычку в спусковой продух опустошенной домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья.

— Самое главное, знать, когда медный сплав в домнице дозрел, — пояснял Пугачёву сопровождавший его Сысоев. — Знатецы нюхом чувствуют. Зевать уж тут не приходится, а минута в минуту чтобы. Таких мастеров-знатоков хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен, чтоб мастер не сбежал к другому заводчику да секрет свой не передал.

Один из мастеров плавильного цеха подошел к «батюшке» и низко поклонился ему.

На расспросы Пугачёва мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилась черная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтоб окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод и там будут плавить сначала в особых печах — «сплейсофенах», а затем еще раз переплавлять в штыковых горнах. Тогда получатся бруски или «штыки» чистой меди. Затем раскаленные докрасна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющивать в «доски» весом до пятидесяти фунтов.

Тем временем ко второй печи начали подтягивать висевший на цепях, перекинутых через блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и «рыльцем». Подошедший мастер сказал:

— Теперича сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краев, переведут его вон к тем глиняным формам, к опокам.

Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в сверлильный цех потянут стволину делать. Сплав этот с примесью олова — бронза.

Пугачёв попросил напиться. Ему подали подсоленной воды.

— Это пошто же с солью? — спросил он.

— А чтобы жажда не столь долила, — пояснил Сысоев. — Соли-то, ишь ты, дюже много из человека от жарыщи выпаривается, ну так недостаю-то и надбавляют в нутро с водичкой...

Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кричный цех. Пугачёв здесь оставался недолго,ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел, как многопудовые молоты, приводимые в движение водой, обжимают железные крицы. И здесь стояла нестерпимая жарыща. Люди с опаленными бровями и бородами, с покрасневшимися, как бы испеченными, сухощежими лицами и слезящимися глазами ловко и проворно перехватывали клещами раскаленный добела металл, подставляли его то одним, то другим боком под молоты. От удара молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры нагара и окалины.

— Ну, батюшка, а вот это моя фабричка... Здесь-ка твоей царской милости пушки изготовляем, — сказал Петр Сысоев, вводя Пугачёва с Антиповым в сверлильно-обделочный цех. — Уж я тут останусь, спокину тебя, а то недосуг — работка-то не ждёт.

Мастерская рублена из пихтовых бревен, стены грязные, прокоптелые.

Три широких застекленных окна давали нужный свет. На сверлильном станке была укреплена бронзовая стволына для пушки, над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков, с окладистой русой бородой и длинными волосами, схваченными чрез лоб узким ремешком. Когда Пугачёв стал приближаться к мастеру, он нажал ногой деревянный на ремнях привод, вал со стволыной заработал вхолостую.

— Здорово, друг мой! — поприветствовал мастера Пугачёв.

— Здрав будь на много лет, царь-государь всенародный! — гулко и внятно ответил тот, низко поклонившись.

От крайнего окна, где был стол с раскинутым на нем чертежом, отделился немец и, неся впереди себя свой раздувшийся живот, подплыл к Пугачёву.

— О, кайзерцар, кайзерцар! — восклицал он, пыхтя и кланяясь Пугачёву.

— А, Карл Иваныч! Ну, как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было да голубиц с мортирами?

— Мой — Генрих Мюллер, кайзерцар, Мюллер! — с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. — За пять месяц Берда отлит дванасать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра, гранат.

— Верно, а теперь?

— Новий работать трех пушка, этта — четверти, этта — пяти, — ответил шихтмейстер Мюллер, тыча пальцем в стволыну и в бронзовую болванку, которую четверо работников подымали на станок. — Шестой пушка готовый, на улочка, пытанье будет ему при вас, кайзерцар...

— Ту пушку Коза Тимофей мастерил, по его расчислению... — сказал Антипов. — А Генрих Мюллер только помогал ему.

— Я мастериль! Мой пушка! — снова приударил немец себе в грудь и по-злому посмотрел на Якова Антипова.

— Ладно, учиним пробу, — проговорил Пугачёв и, обратясь к мастеру, сверлящему стволыну, спросил:

— Как таперь — без изьяна бронза-то?

— Без изьяна, батюшка, без трещин, без раковин. Добрецкая бронза...

— Благодарствую, — молвил Пугачёв, погладил гладкую стволыну, как

шею любимого коня, и, пошарив в кармане, подал бородачу золотой империал. — Ты, мастер, старайся... На-ка вот... Ни на кого иного, на себя стараешься!

Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода, на берегу пруда. Возле нее толпились казаки, башкирцы и прочий Пугачёвский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Чумаков, Творогов. С башкирцами, сидя на коне, беседовал о чем-то Кинзя Арсланов.

Когда Пугачёв, сопровождаемый немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов объяснил Пугачёву, что пушка должна пальнуть чрез завод и чрез вон тот лесок прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние измерено межевой цепью и равняется двум верстам ста сорока саженьям. Пугачёв сел на коня, вместе с Кинзей Арслановым смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика — два «глядельщика»; они схоронились за сделанным из плитняка укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной стволины, возле «казенной части» была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на девяносто градусов. А к стволине был припаян «указатель», при подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема стволины над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон стволине в двадцать четыре с половиной градуса. По межевому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. И если взять направление выстрела через крест колокольни, а дулу пушки придать правильный уклон, то при удаче ядро должно обязательно ударить в сарайчик.

— Можно пальять, скоро-скоро невидим цел... Дафай скоро! — скомандовал немец.

Пушка стрельнула чрез завод, чрез крест колокольни, чрез лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коне «глядельщик» и сказал, что ядро «прожужжало» над их головами и пролетело выше сарайчика.

— Да на сколько выше-то, парень? — спросил Антипов.

— А кто ж его ведает, може на сажень, може на двадцать саженьев, а може и на два лаптя... Как знать... Только что чик-в-чик не вдарило.

Немец слушал, разинув рот, и двигал бровями. Вдруг (от пруда видно было) к управительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила таратайка.

Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем полез из кибитки, оборвался, упал, с усилием поднялся, посмотрел по

сторонам и, завидя на берегу пруда большую толпу, пошел на нее с громкими криками.

Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе сказал:

— Да ведь это Коза прибывши... Ишь его из стороны в сторону мечет.

Невысокий человек в черном одеянии то бежал, то шел, то частенько падал.

— Он, он!.. Тимофей Иваныч это... — раздавалось в толпе.

И действительно, вскоре стало все отчетливей доноситься с ветерком:

— Я Коза! Тимофей Коза! Встречайте! Коза-дереза приехал!.. Прозвищем — Коза!.. Я Коза, а вы люди-человеки... Коза приехал!.. Я Коза! Прозвищем — Коза! — непрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь.

Пугачёв во все глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу Козе двинулся Антипов.

— Я Коза, Коза! — продолжал кричать тот, не переставая. — Вы люди-людишки, а я Коза! Прозвищем Коза!.. Врешь, немецкая твоя образина, я сам механикус! — взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону, он упал.

— Я Коза!.. Любое число... могу в зонзус и в кубус возвести. На-ка, выкуси, Мюллер!.. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза...

К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачёва. И видно было, как механикус заполошно взмахнул руками, нетвердым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свитку и шляпу, припал к холодной воде на колени и суетливо стал окачивать лысую свою голову. Антипов меж тем встряхивал, чистил его свитку.

И вот перед Пугачёвым остановился протрезвевший механикус. Он — низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами; в них светился ум и затаенная скорбь. Пугачёв с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое, исхудавшее лицо его и хмурил брови.

— Я Тимофей Коза, твое величество! — выкрикнул механикус и, держа шляпу под мышкой, поклонился Пугачёву. — Прости, отец... В ноги тебе не валюсь, не приобык царям кланяться земно. Цари бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут-воздыхают, пресмыкаются. А я, горький, того не желаю — я сам себе царь!

— Цари, друг мой, всякие случаются, — возразил Пугачёв, глядя в упор на механикуса. — Одни, верно, царствуют да бражничают, а есть и другие, кои труждаются и страждут.

Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачёв участливо спросил его:

— Пошто пьешь, Тимофей Иваныч? Мастер ты, слышать, отменный, а этакое погубление себе чинишь. Званье свое мараешь. А ведь ты не мал человек на белом свете...

— Обида, обида, твое величество! — закричал Коза и закашлялся. — Убери не правду с земли, тогда брошу. Чья пушка? Моя пушка! А немец говорит — его пушка. Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот, защуря глаза, влеплю.

— Мой пушка! — брызгая слюной, закричал немец.

— Ну, ладно, твой — так твой... — более спокойно сказал механикус. — Ты её по моим исчислениям сделал, а выдумал её я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами. Для турецкой войны старался.

— Мой пушка! — снова запальчиво воскликнул Мюллер, напирая брюхом на механикуса.

— Царь-государь, дозвожь! — отодвигаясь от немца, заголосил Коза и крикнул пушкарям:

— А ну, ребята, заряди! — Он бросил шляпу в руки малайки-башкиренка, достал из кармана измызганную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика.

Тимофей Коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке нужные расчеты, бубнил себе под нос:

— Я и субстракцию знаю, и что есть радикас знаю... Зензус, кубус...

Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул:

— Враки, немец! Траектория неверна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, черт некованый, двадцать четыре с половиной.

Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачёв, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал:

— Пали!

Ударил выстрел. Пугачёв сказал механикусу:

— Слышь, Тимофей Иваныч. Все едино — утрафишь ты, не утрафишь ли в цель — люб ты мне. Хочешь вольной волей идти в нашу императорскую армию — иди, рад буду... Только допряма говорю тебе: пьянству положи зарок.

— Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь! Сей же день пить брошу. И в армию к тебе вступлю. Авось, мимо нареченные невесты моей путь твой предлежать будет... Я вживе её почасту вижу, она, юница непорочная, до сей поры из своего сердца не истребляет меня. И я, горький, также

верность ей блюду и не творю блуда ниже делом, ниже помыслом своим... — Тимофей Коза говорил жарким, захлебывающимся голосом, глаза его горели безумством, испещренное морщинами желтое лицо покрылось красными пятнами.

— Брось ты нескладицу молоть, Тимофей Иваныч, — отмахнулся Пугачёв. — Опомнись!.. Слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала.

— Отец! — с отчаянием закричал Коза и, скривив рот, заскорготал зубами. — Я думал, ты один поверишь мне, а ты — как все... Сказываю тебе, время не трогает ее, время над ней идёт. До днесь Таня моя в юности обретается. Да вот и сей день, как подъезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, вьюнок плела. «Это, говорит, Тимошенька, тебе». Вот он, вьюночик-то, вот, — механикус, тяжело, с прихлюпом, вздыхая, достал из кармана свитки небольшой венок первых полевых цветов и помаячил им перед Пугачёвым.

— Едут, едут! — вдруг зашумела настороженная толпа.

Не один, а оба глядельщика, настегивая лошадеенок, неслись вскачь, орали:

— Попало, попало, ядрена бабушка!.. В самую крышу брякнуло... Вдрызг разворотило!

Пугачёв сдернул кафтан и накинул его на плечи Козы:

— Премудрая голова у тебя, Тимофей Иваныч, — произнес он громко, и в толпе, как бы подхватив слова его, дружно закричали: «Ура, ура!» Затем он резко повернулся к Мюллеру:

— А ты, Карл Иваныч, ежели хочешь, будь при нем подмастерьем. А не хочешь — валяй себе к своему Фридриху косолапые пушки ему лить... Понял ли?

Немец понял и помрачнел, как ночь. Дымя трубкой и распихивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на Козу и грузно двинулся прочь, как медведь через чащобу.

Емельян Пугачёв всем заводским людям решил сделать угощение.

Работникам были накрыты столы в двух цехах. А в деревню Александровку Горбатов отправил расторопного секретаря коллегии Шундеева с двумя казаками устроить мужикам «царский обед с выпивкой».

В управительский же дом были созваны все мастера и восемь



наилучших подмастерьев. Тимофея Иваныча Козу всюду искали и, к великой досаде Пугачёва, не могли найти.

Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломились от дорогой посуды. Пугачёвские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерьев выделялся исполинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша Маленький. Плечи у него широченные, а кудрявая голова не по корпусу маловата. Рядом с ним кряжистый Чумаков казался карапузиком. Темного сукна, перехваченная цветистым кушаком поддевка парня была туго набита мускулами. В каждый подкованный сапог его могли бы поместиться по мешку крупы. Словно вылитый из чугуна, Миша Маленький давил ногами пол.

Вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иваныч в ленте через плечо и со звездой. Все низко поклонились ему. Тут выступил вперед мастер-сверлильщик при пушечном деле Павел Греков. У него широкое лицо в густой русой бороде и длинные, перехваченные ремешком волосы. Он взял за концы лежавшую перед ним саблю, приподнял её вровень со своими плечами и, передавая «батюшке», сказал:

— Вот, царь-государь... Это подарочек вашей милости от нашего завода, в путь-дорожку тебе и во счастье. Прими, отец, не обессудь!

Пугачёв взял саблю, прищурился и, рассматривая ее, заприщелкивал языком. Сабля была изумительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножны серебряные с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять и в ножны.

— Спасибо, трудники, благодарствую, — сказал растроганный Пугачёв, продолжая любоваться подарком. — Этакое сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал... Чья работа?

— Мастеров-оружейников завода Златоустовского, — ответил Греков, одергивая свою свиту синего сукна. — Твердышевы заказали оную саблю для ради подношения князю Григорию Орлову, да не занадобилась, сказывали — его место Потемкин заступил.

— А, знаю, — ухмыльнулся Пугачёв и поставил саблю в угол. — У Катьки этих Потемкиных-то сколько хошь. Она ведь и сама весь свой век в потемках, как сова, живет да измышляет, кого бы закогтить...

— Спаситель наш, Христос, рек:

— начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю:

— «Не мир я принес на землю, а меч». Вот он — меч!.. Для истребления злобствующих, для защиты праведников.

Пугачёв махнул на него рукой, сказал:

— Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным людом-то!.. Все в походе да в походе...

Стали пить здравицу за государя. Приветствие произносил Петр Сысоев.

И как только закричали «ура», нежданно грянул возле самых окон орудийный выстрел, весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Горбатов успокоил их. Пугачёв, улыбаясь, сказал:

— Это, други мои, зовется салют, не страшитесь.

— Да ведь как, батюшка, не страшиться-то, — раздались голоса. — Время самое тревожное, по заводам начали воинские отряды рыскать. Предосторога не вредит.

Ненила с Ермилкой и стряпухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чаду; хотя и холодновато было, довелось открыть окна.

Пили здравицу за государыню Устинью. Чокнулись, прокричали «ура», ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу, но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве.

Масло, сметочки, белорыбица. Старик Пустобаев, а глядя на него, и Миша Маленький ели блины зараз стопочками, по пяти штук в каждой. Пили за здоровье наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Иван опять схватился за столешницу и напряженно ждал, вот-вот ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала.

Завязались разговоры. Мастера наперебой старались выразить царю-батюшке свою любовь и преданность, любопытствовали о его походах, о здоровье: слых прошел, что батюшка был ранен. Пугачёв отвечал на все с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей об их жите-бытье.

И вот приказал он наполнить чары очищенным крепким пенником, встал (и все поднялись) и внятно произнес:

— Ну, детушки, подымаю я чарочку в честь вашу и всех заводских трудников, какие только водятся на белом свете. Здравствуйте, люди заводские!

Широко улыбаясь и весело между собою переглядываясь, гости чокнулись с государем, громогласно закричали «ура». И вдруг вновь грянула-хватила пушка. Отец Иван привскочил, лягнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки... За государыню молчала, за наследника молчала, а тут... Все засмеялись на

отца Ивана, Пугачёв сказал:

— Ведь ты, батя, кабудь обстрелянный, а лягаешься, как конь...

— Боюсь, ваше величество, боюсь... Сердце у меня, как у кошки у худой.

Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачёва, велико ль на заводе людство, мастер Греков, осанистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему:

— Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола. Из одного числа — тысяча двести крепостных, они куплены Твердышевым у разных помещиков.

— Поди, в вашей деревне Александровке крестьянството бедно живет? — спросил Пугачёв.

— Да не шибко прибористо, а прямо сказать — бедно да грязновато, — ответил Петр Сысоев. — Хозяева-то дали им на каждую семью землицы малую толику, да недосуг людям обрабатывать-то ее.

— Ведь с утра до потух-зари на заводских работах бьются, — сказал старик мастер с густо морщинистым лицом.

— Ну, а идёт ли им плата-то? — спросил Емельян Иваныч.

— Идёт, идёт, — хором подхватила застолица. — От трех до семи копеек на день.

— На эти деньги жиру не накопишь, — вздохнул Пугачёв. — А скажите-ка, кто же здесь, окромя вас да мужиков закрепощенных?

— По вольному найму, царь-государь, иные прочие труждаются, — ответил морщинистый старик. — Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы да всякие беглые беспаспортные людишки. Вольнонаемным выкликанцам плата идёт хорошая. Плотники подряжаются по двадцати пяти копеек на день.

— Был у меня дружок, — начал Греков, накладывая себе в тарелку каши с маслом. — Приехал он сюда вольной волей с бабой да с двумя малыми ребятами плотничать по писаному договору. Сроком на пять лет. Земли ему не дали, стало быть, своего хлеба нет, а хозяева из своей лавки продавали харч с хлебом да одежду втридорога. Вот придёт он в контору за деньгами, а ему там и скажут: «Ты, браток, дюже прохарчился, да шапку купил, да сапоги. Не тебе контора, а ты ей должен». — «Ну, что ж, дайте в долг, пить-есть надо». Контора в долг давала ему с охотой. Сегодня возьмет да через месяц возьмет, ну там с горя винца купит, глядишь — и закабалился человек. И стал он из вольных крепостным. Вскорости спился и умер без покаяния: в деревне Александровке его, пьяного, медведь задрал...

— Как, неужто в деревню медведи-то заходят? — удивился Пугачёв.

— Медведи-то? Еще как заходят, батюшка! — подхватила вся застоллица. — Ведь Александровка-то в самой труппе торчит в тайге. Как-то медведь-набызень едва старуху не задрал, она в лачуге жила, зверь-то на крышу залез, стал крышу разворачивать, да, спасибо, Миша Маленький подоспел...

— Какой такой Миша? — спросил Емельян Иваныч.

— А вот, что супротив вас сидит.

— Это я Миша Маленький зовусь, — проговорил богатырь пискливым мальчишеским, не по росту, голосом и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопата, ладонь.

Все заулыбались, улыбнулся и Пугачёв. Миша возвышался над столом горой и, облизывая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырех поданных Ненилой пирогов и работал над ним самостоятельно. Ненила, поглядывая на него, втихомолку удивлялась.

— Как же ты, Миша, медведя-то? Из ружья, что ли? — спросил Пугачёв.

— Нет, я ружья боюсь, твое величество, — пропищал детина. — А я его по башке стяжком березовым. Стяжок пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за глотку. Он и язык вывалил.

— Наш Миша-то, царь-государь, — сказал Петр Сысоев, скосив оба глаза к переносице, — на себе коня протащить может, сажень с сотню...

— А как-то воз с медной рудой захряс в грязище, позвали тут на помощь Мишу. Он лошаденку выпряг, сказал: «Нешто тут коню совладать?!», да как впрягся в оглобли, да как дернул-дернул, сразу на сухое выкатил.

— Так неужто всякого коня на себе протащить можешь? — спросил Пугачёв, прищурив на парня правый глаз.

— Всякого ношу, твое величество, — пропищал Миша, доедая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу.

— Что ж ты, друг мой, мало пьешь винца-то? — спросил Пугачёв.

— Как мало?! Со всеми вровень пью, — сказал Миша. — Да ведь оно меня не берет. Вода и вода...

— Ну, как это не берет? Ненила, подай-ка нам ковш сюды! — велел Пугачёв, ухмыляясь на Мишу.

Миша Маленький вылил из графина в поданный ковш очищенной водки, долил до краев из другого графина, перекрестился и, не отрываясь, принялся большими глотками пить. Пугачёв, посунувшись вперед и

полуоткрыв рот, смотрел на парнюгу. И все, затаясь, взирали на него. Вот он кончил, крикнул, вытер кулаком губы. Пугачёв вместе со всеми громко засмеялся.

Миша исподлобья взглянул на всех своими дремучими, с прозеленью, медвежьими глазками. Затем, принявшись за баранью ногу, сказал:

— Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит, не грех жижицы попить... А так — водичка и водичка!

Помолчали. Пугачёв задумчиво смотрел перед собой в пространство.

Затем, окинув взором бодрые лица мастеров, сказал:

— Вот, други мои, о чем хочу попечаловаться... Пушек да мортир с ядрами дюже мало льете. Не можно ли, детушки, горазд поболее лить?

— Нет, надежа-государь, — подумав, ответили мастера. — Это дело многотрудное. Уж мы промеж себя еще до твоего царского приезда мозговали так и этак. И меди в достаточности нетути, а пуще всего станков работных нет... Оно, конешно, можно бы, да не вдруг.

— А нельзя ли, детушки, как ни то поскорейча дело повернуть, покруче?

Пугачёв всем налил чарки, ждал ответа. Отец Иван все порывался что-то сказать. Емельян Иваныч грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою.

Наконец мастер Греков, поклонясь Пугачёву, произнес:

— По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спысываем на другие заводы, да, может статья, и станки добудем. Мы, заводские, народ дружный. Приналяжем, царь-государь.

— Твое царское величество! — воскликнул отец Иван, он держался за столешницу не ради опасения пушечного выстрела, а потому, что от выпивки изрядно кружилась голова его. — Царь-государь, прислушайся! Сказано бо:

«Низложу сильные со престол и вознесу смиренные...» Внемли и подумай, отец наш!.. И вы, братия, подумайте, ибо все вы смиренны. А на престоле-то Катерина, великую силу в руках держащая! Творогов! Споем стихру глас восьмый.

Творогов кивнул головой и гулко откашлялся. Вызывающе косясь на Мишу, он загремел баском, поп Иван подхватил усердным тенорком:

Низложу си-и-ильные со престол  
И вознесу смире-е-ные!

...И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку.

После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Шундеев. Люди разбились на кучки, шли песни, плясы, игры.

Царя-батюшку встретили громкими, дружными криками приветствия, благодарили за угощение.

— Гуляйте, веселитесь, детушки! А завтра — на работу.

— Рады постараться тебе, свет наш!

Пугачёв посмотрел на борьбу татар с башкирцами, полюбовался на забавные фокусы, которыми потешал толпу секретарь Шундеев. Принесли большую и глубокую деревянную чашу, почти до краев наполненную жидкой сметаной.

— Ваше величество, дозвоьте рубль серебра, — попросил Шундеев, встряхивая головой. Пугачёв протянул ему рублевик. Шундеев при всех опустил его на дно чаши и сказал гулякам:

— Кто зубами монету достанет, того и рубль.

Все заулыбались. Охотников на такую потеху не было. Однако вызвался низкорослый парень. Он обвел толпу подслеповатыми глазами, виновато всхотнул, забрал в грудь воздуха и погрузил курносое лицо в сметану. На виду остался только рыжеволосый затылок. Толпа, готовая разразиться хохотом, плотно окружила потешную игру. Рыжий затылок пошевеливался и подрагивал, словно плавающий на волне клок овчины: видимо, парень со всем усердием старался поймать зубами рубль. Но вот вынырнула из чаши обляпанная сметаной голова с открытым ртом, с зажмуренными глазами и как-то по-собачьи отфыркнулась. Толпа громко захохотала, ребята с бабами от удовольствия повизгивали. Парень, боднув головой, продрал глаза и продул ноздри. Сметана текла с лица на грудь, на землю. Парень не знал, что ему делать.

— К ручейку ба, к водичке ба, — бормотал он, сбрасывая с себя липкую сметану. Три лохматые собаки облизывали его штаны, лапти, рубаху.

— Присядь, Ванюха, либо ляг на луговину, — в шутку советовали ему, — склонись к собакам-то.

Ванька сел на землю. Собаки в момент умыли его начисто. Он засмеялся и сказал:

— Ну, маленько я его не уцепил, два раза в зубах был, дьявол...

— Дозвольте! — вылез из толпы другой парень. За ним в очередь встали еще три парня. Потеха продолжалась при общем хохоте и с той же неудачей.

Сметана убывала, чашу довелось восполнить. Рублевик, словно заколдованный, лежал на дне. Бородачи в игру не вступали, им казалось ззорным топить в сметане бородачи. Вот подошел к чаше кривоногий, длинноносый мужичок с козлиной бородкой и сказал: «Мы жалаем».

— С твоим ли, Вася, носом? — зашумели веселые зеваки. — У тя нос-то как у журавля. Упрется!..

Но Вася набожно перекрестился, погрузил голову в чашу и быстро вытащил зубами рубль. — Матрен! — крикнул он. — Получай!.. — Матрена взяла рубль. Мужичок сказал:

— Давай еще! И харю утирать не стану. — Емельян Иваныч с готовностью передал второй рублевик. Мужичок нырнул и снова ловко вытащил, как собака тащит из болота утку. — Матрен! Огребай деньги! — Матрена радостно улыбалась и творила про себя молитву: ведь эстолько денег дай бог за месяц заработать.

Когда счастливый мужичок достал из чаши четвертый рублевик, завистливая толпа и смеяться перестала, слышались недоброжелательные выкрики:

— Он, носатый дятел, с чертом знается!

А Ермилка, обратясь к Пугачёву, сказал:

— Ваше величество, этак-то я сотню рублевиков мог бы выловить. Дело бывалое. А вот, дозволять! — И, пошлепав губами, Ермилка закричал в толпу:

— Эй, народы! Зубами всякий дурак вытащит, хитрости в том нет. А надо эвот как! — Он прихватил обеими руками чубастые волосы свои и засунул лицо в сметану. Зрители разинули рты, замерли. И вот вскинулось вверх ермилкино лицо: рубль не в зубах у него, а возле глаза: казак умудрился зажать его между бровью и щекой. Вся толпа ахнула, принялась выкрикивать Ермилке похвалу. Похвалил его и Пугачёв. В это время ребятишки закричали:

— Миша пришел! Миша пришел!.. Миша, пошто ты такой маленький?

— Бог росту не дал, — пицал тот, пробираясь к государю.

— Что, Миша, пехтурой, никак? — спросил его Емельян Иваныч.

— Пешечком, ваше величество... Лошадки подходящей нетути.

Обнаковенный коняга сразу сомлеет подо мной.

— Ну, и крепок ты... Вино-то не сборило?

— Водичка и водичка.

— Канат тащите, канат! Перетягу устроим! — шумел Шундеев.

Меж тем Миша, закинув руки за спину и чуть ссутулившись, не спеша пошел по луговине, улыбочиво посматривая на мужичков своими

медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него: бросил он взгляд на Митродора, Митродор нырнул в толпу, взглянул на Карпа, Карп скорее в толпу. Вдруг он круто повернулся, сгреб в охапку зазевавшегося мужичка-брюханчика и с легкостью швырнул его вверх. «Караул!» — благим матом завопил брюханчик и упал в мягкие ладони Миши. «Ура!» — заорала толпа.

— Становись, становись к канату! — И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, вцепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша Маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужливому старанию своих противников.

— Надбавь ощо! Давай ощо столько жа! — прокричал Миша.

К канату бросились на подмогу мужики и парни... Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенная в колебание струна. Стал слегка дрожать и Миша, его глядевшие исподлобья узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут из толпы вышел широкоплечий кряжистый старик в овчинной шапке, он вцепился в канат и загайкал на весь лес:

— Ай-ха!.. Давай, давай, православные! Надуйсь!..

Миша Маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками.

— Ай-ха!.. Тяни-тяни-тяни! — шумел старичина, за ним дружно подхватывал народ:

— Ага, Миша!.. Сдал?!

Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напряжился. Круглощекое лицо его сделалось напряженным, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни вареного рака. Канат гудел, толпа противников, выбиваясь из сил, орала. А Миша Маленький все-таки ни с места. Тут откуда ни возьмись пьяненький отец Иван. Путаясь ногами в длинной рясе и поблескивая на солнце наперсным крестом, он вшаг подошел к канату, схватился за его конец и закричал:

— Низложу сильные со престол! — стал внатуг тянуть его.

Вдруг Миша весь затрясся, широко разинул рот и выпустил канат из рук.

И все, кто держался за другой конец каната, разом кувырнулись вверх лаптями. В толпе взорвался хохот.



Пока шло игрище, Емельян Иваныч с Антиповым, сев на коней, осматривали деревню Александровку.

— Деревня обширная, — сказал Антипов. — Мужиков поболее тысячи сволочилось сюды со всех местов, и народ добропорядочный. А хозяева, Твердышева братья, вишь каких хлевов людям понастроили.

Действительно, серенькие, подслеповатые избенки в одно оконце были понатыканы кой-как, без всякого тцания и смысла. Большинство изб стояло без труб, они топились по-черному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса, уж где-где, а здесь-то вся стать быть крепко рубленным высоким хатам с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте и просторе, и зазвучали бы по лесам, по заводам бодрые, веселящие душу песни. Но этим людям лишь во сне, как туманное воспоминание, грезится сытая, веселая жизнь — жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину. И они продолжают тянуть ярмо свое. Втайне они думают, что живут здесь временно, что, может быть, завтра погонят их в Сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину. Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и живут они, словно стая перелетных птиц, от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше, неведомо куда.

Пугачёв глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно сжималось сердце, в голове Емельяна Иваныча крепла мысль, что дело его свято.

Обратной дорогой Пугачёв со свитой ехал шагом. Миша с отцом Иваном тащились на телеге, запряженной парою. Поп, телега и лошадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окруженный мастеровыми, Емельян Иваныч был в праздничном настроении и вел с ними беседу. Яков Антипов сказал:

— Как приедем, покажу тебе, ваше величество, одну штуку. Тимофей Коза сварганил, таясь ото всех, особливо от Мюллера. Только я один знаю.

— Да, други мои, — кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иваныч. — Коза немал человек, такие люди в редкость, им цены нет.

Поберегать его надо. Как придёт он в память, пускай замест немца становится. А этого самого Карла Иваныча закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет, раз иноземец похваляется, что есть он его подданный.

На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с

яицкими казаками. Было шумно, весело, но не пьяно.

День погас. Вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтоб вскрыть замок на амбарушке механикуса Козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в нее отперты.

— Глянь! — вскричал Антипов. — Сам Тимофей Иваныч здесь, нашелся друг сердешный...

Распахнули ворота, но Козы в амбарушке не заметили. Темновато там.

Посредине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошел Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидели на снегу нечто неожиданное.

Большой, сколоченный из байдаку и брусьев деревянный круг, диаметром около сажени, лежал горизонтально на катках и легко мог, как карусель, вращаться в одну сторону — справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии, были размещены восемь малых пушек. Антипов залез в широкую прорезь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его, поясняя:

— Вот надежда-государь, смотри. Допустим, все пушки заряжены. Первая пальнула, круг маленько повертывается. Вторая пальнула, круг опять повертывается. Вот и третья. А в это времечко первую да вторую уже заряжают. А как из восьмой пальнут, уже первая снова к стрельбе сготовлена. И таким побытом, без всякого перерыва — знай себе шпарь.

— Здорово! — восхищался Пугачёв. — А ежели, скажем, неприятель окружил, так и зараз из восьми палить можно картечами. Токмо грузновата махина-то, вот беда.

— Грузновата, батюшка, — проговорил Антипов. — Возить трудно по нашим убойным дорогам. Да ведь колесо-то, впрочем, сказать, разборное.

В это время из амбарушки донесся заполошный голос Петра Сысоева:

— Эй, сюды, сюды! Беда!

Все вскочили в амбарушку. В темном углу лежал ничком, не шевелясь, Тимофей Иванович Коза.

— Он, голубчик, стружками был засыпан. Я думал — пьяненький.

Потолкал, потолкал — молчит, не дышит.

Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать.

— Убит, — сказали все в голос. — Глянь! Затылок-то проломлен...

Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полужакрыты.

— Вот тебе и поберегли, — мрачно сказал Пугачёв, с печалью

вглядываясь в лицо мертвеца.

— Не иначе — немцево это заделье... Его, его! Больше некому, — проговорил Антипов.

Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачёва вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал:

— Выходит, маху мы с тобой, Антипов, дали, что загодя не повесили иноземца-лиходея. — И закричал, сжимая кулаки:

— Подать мне его! Из земли выкопать!

Ударили в набат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровку поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немца. Обьездчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтоб искать исчезнувшего Мюллера.

По армии было объявлено: завтра выступить в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовлениях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно.

Наступило солнечное утро. Отец Панфил служил заупокойную литургию по убиенном рабе божием Тимофее. Гроб с телом механикуса стоял в церкви.

На заводском дворе собрался весь работный люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной волей следовать за «батюшкой». У многих за плечами ружья. Тут же поблескивали свежей бронзой новые, только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадами. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне.

Когда окрепло солнце, Емельян Иваныч выехал к народу в богатой сряде, с лентой, со звездой, при драгоценной сабле (подарок Воскресенского завода). Пугачёв поднял руку с платком, взмахнул, и все затихло.

— Детушки! — прозвучал в тишине властный голос. — Приспело мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь и мне, государю, порадейте. Поспешайте пушки лить да ядра, в них шибкая нуждица у меня! По жительствовам вашим покамест не распускаю вас, воли не даю вам и не дам, покуда не воссяду на прародительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут. Работное время сбавлю, жалованья набавлю, харч положу сытный. И воздыханиям вашим придёт окончание (многие в толпе стали осенять себя крестом). И распущу вас по домам вашим, объявлю волю всему крестьянству во всеуслышанье. А впредь укажу набирать по заводам выкликанцев, по вольному найму и

хотению. И заводы расширю, и новые выстрою, и управлять заводами будут выбранные вами люди. Еще вот чего.

Управитель ваш Яков Антипыч, по моему указу, выдаст в награждение всем семейным работникам, мужикам и бабам, по рублю серебром на человека, а холостякам по полтине. («Спасибо, царь-государь!» — дружно закричали в толпе.) Ну, детушки! Век бы жил с вами, да ничего не поделаешь: разлученый час настал. Прощайте покудов! Живите в труде и во счастьяи.

И заорала толпа, замахала шапками. Окруженный ближними и провожаемый народом, Пугачёв двинулся в путь-дорогу.

## **Глава 4.**

### **Встреча Белобородова и Пугачёва. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон.**

#### **1**

8 мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иванович.

Приказчиков, «как людей весьма усердных», Фрейман отправил в Табынск, чтоб «их здесь не убили», а двух человек, верных Пугачёву, повесил. Многие работные люди бежали в горы.

Дядя Митяй сплеховал, был пойман и тоже повешен. Пред смертью вспоминал старца праведного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете.

Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхне-Яицкой крепости, полагая найти там Пугачёва. Где находятся отряды Деколонга и Михельсона, Фрейман не знал, лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую.

Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для переправы через разлившиеся реки ему пришлось делать паромы, строить снесенные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убегали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О

происшедшем бое Михельсон доносил:

«Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли навстречу. Однако, помощью божию, по немалом от них сопротивлении, они были обращены в бег».

Куда же идти Михельсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Пугачёв покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости, Белобородов ушел с Саткинского завода в неизвестном направлении, в окрестностях Симского завода бродят толпы башкирцев со старшиной Аникой — они шли на помощь Салавату, но опоздали. Михельсон разбил Анику с его толпой, привел эту местность в повиновение и двинулся к Катавскому заводу, окруженному мятежниками. Он их опрокинул и рассеял, атамана Сидора Башина в «страх другим» повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинной.

На подмогу Пугачёву спешил разбитый под Екатеринбургом атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук, собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещерятских старшин с призывом к их сородичам, давая указания собираться людям к Саткинскому заводу.

Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер:

«Наперед всего, данным от меня, тебе, Коновалову, повелением велено собрать разбегшихся и прочих казаков, явиться к соединению в один корпус.

Накрепко подтверждаю — с имеющейся при тебе командою следуй ко мне, Белобородову, в Саткинский завод для соединения, ибо батюшка наш великий государь Петр Федорович изволит следовать в здешние края».

Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачёв. О месте пребывания самозванца не знали и Екатерининские военачальники; Михельсон полагал, что Пугачёв на Авзяно-Петровском заводе, князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал, в Сибирь. Трусливый генерал Деколонг доносил, что «злодей свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет» под Челябину на его, деколонговы, войска.

И снова — уже который раз — в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.

Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание; он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это

башкирцы призадумались.

Они собирались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.

Но вот появились посланцы Пугачёва, они привезли с собой башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком.

Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

— Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! — бросал в толпу новый Пугачёвский повытчик Григорий Туманов.

Изувеченный, с непомерной печалью в глазах, показывал окружившим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, в черной щетине, подбородок его дрожал, и широкая грудь надсадно дышала.

Чернобородый, приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумажку, вздернул вверх голову и вновь заговорил:

— А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей Ступишин, комендант Верхне-Яицкой дистанции...

«Башкирцы! Я знаю все, что вы замышляете. Ежели до меня дойдет хоть какой слух, что вы, воры и шельмы, ждете к себе вора Емельку Пугачёва, величающего себя царем, и всей его сволочи корм, и скот, и стрелы с оружием припасаете, я пойду на вас с пушками, тогда не ждите от меня пощады: буду вас казнить, буду вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь!».

Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.

«Возле Верхне-Яицкой, — продолжал Туманов, — я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачёва письмами.

Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь, а тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, вора, с сим листом, от меня посылаю!..»

Толпа в ответ шумела еще громче.

— Не с вами ли оный Мусин? — спросил Туманов.

— Нет, бачка-начальник! — закричали башкирцы. — Зеутфундин Мусин помрил горлом себе резал, сапсем кончал. Срамно был свой наслег

показаться, свой дюрта.

Многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седла. — Веди нас к бачке-осударю!.. Вот уж Салават-батырь придёт, вот уж-ужо Юлай придёт!

Постоим за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры.

Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады...

И уже не слушали Григория Туманова, только вопили:

— Веди!

Так было во многих скрытных местах, во многих селениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступишиных с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплему солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.

К началу мая скопилось у Пугачёва до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Яицкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции самая большая была Верхне-Яицкая. Пугачёв прошел мимо: он знал, что всякий его неуспех мог губельно отразиться на его деле, тогда как удача в овладении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном.

И Пугачёв, подойдя к более слабой — Магнитной крепости, окружил ее.

Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе: «наистрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».

Комендант крепости Магнитной капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, успешно до вечера отбивал все атаки наступавших.

У Пугачёвцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачёв.

— Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. — подбадривал он свою рать.

В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку — кость цела — и, как умел, перевязал ее.

С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, Пугачёвцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как

зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.

Капитан Тихановский с женой и жена убитого поручика были повешены.

На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородов с отрядом в шестьсот человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачёву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта — в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.

Дежурный Давилин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот опирался. Белобородов еще более оробел.

В кибитке, куда он с яркого света вошел, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачёвым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи, Емельян Иваныч сидел в кожаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел — крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.

— Встань, Иван Наумыч, — обратился он к Белобородову и насупил брови.

— Скажи мне, — отделиться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Не гоже это!

— Облыжно оклеветали меня, ваше величество, — опираясь на палку, поднялся Белобородов. — Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твердое имею. А это я знаю, кто это, — Шibaев казак клеветлет на меня.

— Верно, он... Стало, ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?

— Ваше величество! — ударил Белобородов кулаком себя в грудь. — Я весь перед вами. Верьте мне! И дозволейте молвить...

— Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-кось сюда какое не то стуло! Ну вот, садись, атаман, да сказывай.

Ободренный милостивым обхождением, Иван Наумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачёв попутно ставил ему вопросы, Белобородов поумному отвечал на них. Беседа тянулась долго. И вот она идёт к концу.



— В бытность же мою на Саткинском заводе прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.

— Голев Михайло под Татищевой убит, — вздохнув, молвил Пугачёв.

— Царство ему небесное, — перекрестился Белобородов. — А когда пришел я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух казаков да атамана я велел повесить.

— Гарно, — сказал Пугачёв, и суровые складки над его переносицей распрямились.

— Вскорости после того прибыл от вас илецкий казак есаул Иван Шибает, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода известие, что Иван Шибает в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек поймать его и заковать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибает скован, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой Шибаета Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.

Пугачёв встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.

— Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою.

Он вынул из кармана большую медаль — рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом — и, наморщив нос, приколот её на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал её.

— Давилин! — позвал Пугачёв. — Подай нам с атаманом по чарке сладкой водки.

По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая широкую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его:

— Узнал ли ты государя? Ведь в Питере видывал его, поди, не раз.

Щеки Белобородова вспыхнули, сердце защемило; помедля, он твердым голосом сказал:

— Узнал.

— Гм, — неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос.

...И — радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие:

Овчинников, Перфильев, Пустобаев — старые верные друзья, испытанные соратники! Овчинников привел с собой триста яицких казаков да двести заводских работных крестьян.

Встреча была самая душевная. Емельян Иваныч рад был на особицу. Еще бы! Его боевой любимый атаман Овчинников вернулся из опасного похода цел-невредим. Все трое по очереди валились Пугачёву в ноги, спрашивали наперебой: «Рученька-то, рученька-то у тя што?» Богатырь Пустобаев, уже успевший «клюнуть», обливался слезами. Так встречаются долго не видавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж, хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься.

Под звездным уральским небом песни гремели во всю ночь, раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездие огромных костров — здесь сухостоя сколько хочешь — огненными взмахами опаляло нависшую над землею плотную тьму. Пой, казак, полным голосом боевую песню, швыряй во все концы земли свой победный зык! Только бойся дремать, удалой казак, чутко вслушивайся в мертвенные дали: враг, как сова в ночи, крадучись, ищет тебя всюду.

Наутро был смотр пришедшим людям и торжественный прием башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачёва. Он стоял, окруженный свитой, знаменами. На нем парчовая бекеша троеклином, красные сапоги, золотая, из кованой парчи, шапка. Он обошелся со старшинами ласково, разрешил им, по их неотступному хотенью, рушить и жечь дотла крепости, чтоб не давать царицыным войскам в них обосноваться.

— Объявите верным моим башкирцам и сами ведайте, — взволнованно сказал он, — вся Башкирь будет отдана вам, яко хозяевам. И ни губернаторов, ни иного прочего начальства у вас не станет. И будете вы управляться сами собой, чрез выборных своих людей, коим довериться можно.

Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казацкий, без солдатчины, без рекрутчины. Довольны ли, детушки?

Старшины упали Пугачёву в ноги, а толпа башкирцев закричала:

— Урра-аа!! Само якши есть! Пасибо, бачка-осударь!..

Находившийся возле Пугачёва Горбатов заметил ему:

— Мудрым словом, государь, одарили вы башкирский народ.

— С народом, ваше благородие, разговор надо вести уменючи, — приняв осанистый вид, откликнулся Пугачёв. — А то: будешь сладок — разлижут, будешь горек — расплюют.

Горбатов посмотрел на Пугачёва с чувством большого уважения.

Белобородов и донесший на него илецкий казак Шибаетов помирились.

Пугачёв обоим содружников своих произвел в полковники. Белобородову дал он четыреста заводских крестьян и полсотни илецких казаков.

Забрав в Магнитной четыре пушки, Пугачёв 19 мая овладел довольно сильной Троицкой крепостью. Крепость упорно сопротивлялась, но Пугачёвцы все-таки взяли её после трех отчаянных штурмов. Комендант крепости бригадир Фейервар и четыре офицера были убиты, супротивные солдаты и жители переколоты копьями. Жену Фейервара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улицам. Жилища состоятельных подвергались ограблению.

Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салотопенный и кожевенный заводы сожжены.

Пугачёв недолго оставался в крепости, он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настигающий его Деколонт доносил о ту пору Рейнсдорпу:

«Шельма самозванец проклятые свои силы имеет конные и несказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блесирования, так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно».

Сады в цвету. Луга позеленели. Уже степной ковыль — краса весны — распускает свои пышные кивера. Всюду неумолкаемый бубенчик — песня жаворонков. Воздух гудит, трепещет от их трелей. И сердца собравшихся у костров людей охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка-осударь, воля! Никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца!

А бачке-осударю, а Юлаю с Салаватом честь и прославление из края в край!

Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки, с любопытством осматривают ожившую степь.

Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут: неведомо откуда пришли какие-то, пригнали лошадей, и вот их гнезда с малыми птенцами обречены на гибель. И обиженные птицы по-своему плачут, по-своему жалуется царю жизни — солнцу.

Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их сосцы набухли живительной влагой, турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки.

У дальнего костра семеро заводских крестьян. Тюмин варит кашу.

Мажаров с Ильиным пекут по башкирскому способу, на раскаленных камнях, житные лепешки. К костру подходит рослый белобрысый парень Дементий Верхоланцев, секретарь Белобородова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроение людишек.

— Мир честной компании!

— Спаси бог, присаживайся. Каша живчиком упрееет. Ложка есть?

— По горло сыт, — отвечает он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищены, рубаха новая, синяя, с кумачовыми ластовками, ворот высокий, на горловине семь пуговок. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет: заводские. У одних босые ноги в чирьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли — эти люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезли волосы, гноящиеся воспаленные глаза — эти работали у домниц, выпускали чугун. Вот тот, сутулый, кривоплечий, надрывался у кричного молота, а эти двое с неотмываемыми, изъеденными копотью и угольной пылью исхудалыми лицами — углежоги.

— С каких да каких заводов вы, старатели? — спросил Верхоланцев крестьян.

— С Златоустовского, желанный, все семеро оттоль, с Златоустовского железно-чугунного... А ты, чистяк такой, откуда?

— Я с Билимбаевского.

— Ну, знаем. Из писарей, поди, сам-то? Форсистай этакой, гладкой.

Еще перекинулись кой-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор.

— Вот я и толкую, — заговорил Тюмин, — он жидковолосый и безбровый, глаза добрые. — Пошто беззащитных людей мучать? Я воевать воюю, в драчке кого хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласия нет. Совесть воспрещает! — выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с кашей.

— Не совесть, а душа, — поправил его седоусый Мажаров с острыми слезящимися глазами.

— А я тебе говорю: не душа, а совесть воспрещает разбойничать! — осердился Тюмин.

Верхоланцев сказал:

— Я самолично видел, как комендантшу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали да по улицам волокли...

— Я тоже видал, — сказал Тюмин, бросая в кашу масло. — А царь-то

батюшка, дозрив оное убийство, зараз запретил. А калмыка-то, мучителя-то, кажись, повелел казнить...

— У батюшки не долго с петелькой спознаться, — проговорил Мажаров, — батюшка всегда справедлив.

— Он, когда осердится, лютует, сам не свой, а несчастный да обиженный за всяк час у него заступенье сыщет, — сказал Тюмин. Он постучал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. — Я ведь с батюшкой-то сызначала хожу. И вот, как-то по зиме, плетусь Бердой — мимо государева жительства. Гляжу — брыластый этакий парень, казачина, у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему времю. — «Неужели на морозе-то взопрел?» — спрашиваю его. А он мне: «Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой чижолый разговор имел...»

Вот каков батюшка-то наш. Дай бог его царскому величеству здравствовать...

Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу не жевавши.

— Эвот у того дальнего костра, — сказал Верхованцев, — слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отрекнулась.

— Истина, истина это! — воскликнул Тюмин. — Она, царица-т, на покой ушла. На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Жоржем десять полков на помощь батюшке ведет...

— Да уж полно, так ли? — и глаза Верхованцева вспыхнули от любопытства.

— И не сомневайся, и не сомневайся! — замахал на него ложкой восторженный Тюмин.

Вскоре Верхованцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живет, чем дышит его, белобородовская, армия.

В конце доклада Верхованцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, — вот-то обрадует полковника! — сообщил о том, что ныне-де предвидится скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему, ибо царица передала престол сыну своему, а сын идёт-де с войском восстановить поруганные права своего великого родителя.

Белобородов, слушая его, сначала улыбнулся, затем нахмурился и бросил:

— А и дурак же ты, братец мой...

Верхованцев крикнул, одернул рубаху и выпучил на полковника удивленные глаза.

Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть зорька в небе, примчались на взмыленных конях дозорные.

— Вставайте, вставайте! — с шумом, с криком скакали они по мертвецки спавшему лагерю.

Засвистали медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный Ермилка, надув толстенные щеки, со всех сил наигрывал в начищенную трубу, Чумаков пальнул из сторожевой пушки — по степи раскатистые гулы пошли, суслики испуганно нырнули в норы, из кибитки выскочил в одном белье встрепанный, нечесаный Емельян Иваныч.

21 мая, в семь утра, генерал Деколонг, сделав со своим сибирским корпусом трудный марш, подошел к Пугачёвскому лагерю вплотную.

Чумаков с Варсонофием Перешибиди-Нос и с канонирами из заводских мастеров открыли по врагу дружный огонь из пушек. А Пугачёв с Овчинниковым и Белобородовым атаковали Деколонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна: Деколонг пятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Деколонг перешел в наступление. После упорного боя нестройные толпы Пугачёвцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы — их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии — казаки и крестьяне обратились в бегство.

Пугачёв был узан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера — Беницкий и Борисов — с отрядом драгун бросились его преследовать... И вот он, вот он, Пугачёв!.. Беницкий был от него в каких-нибудь пятнадцати шагах, уже рослый конь Пугачёва швырял копытами в лицо офицеру комьями земли с зеленой травкой... Но лошади драгун истомились, конь же Пугачёва был свеж, рысист... взмах плетки, еще, еще, — и Емельян Иваныч скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от пленения не одну тысячу пеших и всадников.

Подобно дробящимся до бесконечности шарикам ртути, все Пугачёвцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они снова стекутся к «батюшке». Они найдут его, куда бы он ни скрылся.

В этой несчастной битве потери Пугачёва были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие Пугачёвцев, впоследствии доносили, что «лежащих мошенических трупов на четырех с лишком верстах перечесть было невозможно». В бою погибли новый секретарь Военной коллегии Иван Шундеев и новый повытчик Григорий Туманов. На глазах Пугачёва оба они с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачёв впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно

наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их, слава им! Они либо бьются до смерти, либо, лишившись последних сил, попадают в пленение.

Они, эти крестьяне с уральских заводов, да еще вот природные казаки — первый оплот его, Пугачёва, армии. Только одна беда — маловато их.

Потери Пугачёва под Троицкой крепостью — двадцать восемь пушек, около четырех тысяч убитых и раненых.

Печальный, но все еще твердый духом Пугачёв неизвестно куда скрылся.

Екатерининские воинские части надолго потеряли его из виду.

## 2

Леса. Хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково пригревает и какой духмяный, смолистый воздух течет по узкой лесной дороге!

Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачёв со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иваныча нет больше армии. Она разбежалась, рассыпалась по непролазным лесам и потеряла след своего владыки. Пугачёв один. Возле него нет ныне армии. И хвойные леса сопровождают его загадочным шепотом: то ли удачу сулят ему, то ли пророчат конец его грозным деяниям, предрекают всякие бедствия. Ветру нет, а лес шумит-пошумливает шелковым шелестом. Ветру нет, и нет возле батюшки армии.

Армии нет!

Навстречу Пугачёву попадаются захудалые деревеньки в десяток-другой домков. Бродят в перелесках коровы и овцы, при них то старуха с хворостиной, то пузатенький на тонких ножках парнишка с кнутом — пастух.

Вот, завидя едущих рысью всадников, малыш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и начинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человеческим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутешно плачет без слез.

Лесная русская песня берedit душу всадников, они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня! Играют тебя и на разгульных свадьбах и на

печальных похоронах, когда правят тризну... Нет у Пугачёва армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрузить бы возле тебя, поднять с души всю горечь...

Пугачёв протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру и — дальше, дальше...

А вот движется навстречу малая девчоночка. Она издали похожа на крохотную старушку-карлицу. В руках — батог, через плечо холщовая торба под куски.

— Здравствуй, девочка! — приветливо крикнул Пугачёв с седла, и всадники остановились.

— Здорово, дяденьки! — Девочка тоже стала среди дороги и воззрилась на всадников. Она — щупленький заморыш, ноги в потрепанных лапотках и руки худы, личико бледное, вытянутое, темно-русые волосы растрепались, сзади косичка. Глаза большие, серые, они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка, и детское личико приобретает выражение большой заботы.

— Куда ты летишь, пчелка? — спросил Пугачёв.

— До царя лечу, — охотно и доверчиво ответил ребенок. — Только не ведаю, в коей стороне царь-то живет. Велели мне до царя идти, правды-матки искать... А вы кто такие, дяденьки?

— Вот я — царь. А со мной атаманы да полковники...

— Нет, уж ты, дяденька, не загибай... Врачек-то я слыхала на своем веку много...

— Ой, да век же твой долог... Ха-хи... — засмеялись атаманы.

— А пошто же ты за царя-то не хочешь меня признать? — улыбаясь, сказал Пугачёв и подбоченился; он был в простой казацкой сряде, без ленты, без звезды.

— Да нешто цари такие? — проговорила девочка. — На царях злат венец и одежина из бархату... Ведь, поди, я знаю сказы-то... И про Бову-королевича знаю. Вот подай грошик, либо хлебца кусок, и тебе сказку расскажу.

Дяденьки, миленькие, где же мне царя-то искать? — и девочка, крестообразно сложив на груди тонкие руки, низко поклонилась всадникам.

— Царь перед тобой, — сказал Овчинников и кивнул головой на Пугачёва.

— Вот он — царь.

— О-о-о, — протянула девочка и, вложив в рот палец, недоверчиво



установилась в лицо ласково улыбавшегося всадника с черной бородой, на его рослого выхоленного коня в дорогой упряжке.

— Как звать тебя?

— Акулькой звать, — ответила девочка Пугачёву. — Я сирота. Добрые люди сказали мне: иди в куски. А я спрашиваю: куда же? А они мне: иди хошь куда, везде доля худа, — проговорив так, она замигала, потупилась, из глаз её закапали слезы.

Атаманы переглянулись, вздохнули, закрутили головами. Пугачёв, обратясь к ним, тихо спросил:

— Возьмем?

— Возьмем, — ответили они.

И сразу всем стало легко. Будто услышали, как небо сказало им:

— «спасибо», и лес сказал: «спасибо», и воздух сказал: «спасибо вам».

И натруженные сердца их обмякли.

Тут вывернулись из-за леса четверо встречных всадников и, взвевая на дороге пыль, подкатили к Пугачёву. Это Ермилка со значком в руке, два рядовых казака и сотник Дегтярев. Они на сутки опередили батюшку, ехали, не смыкая глаз, всю прошлую ночь, в попутных селениях Дегтярев вычитывал народу государев манифест, приглашая крестьян гуртоваться возле села Заозерья, куда самолично должен прибыть батюшка.

— Царь-государь, — сдернув шапку, выкрикнул Ермилка, и все приехавшие с ним тихо обнажили головы, а девчоночка, теперь уверившись, что действительно перед нею государь, воззрилась на него, как на икону.

— Место для тебя, ваше величество, выбрали у села Заозерья, палатки разбиты, народишко скопляется. Отсель верстов десяток...

— Знатно, — похвалил Ермилку Пугачёв и, переговорив с Дегтяревым, сказал:

— А ну, казаки, посадите-ка сироту позади меня. Мы её в стан берем. В согласи, девочка Акулечка?

— В согласи, светлый царь, в согласи! — пропищала девочка и, подхваченная Ермилкой, закрасовалась позади батюшки.

— Держись крепче, а то ляпнешься, — сказал ей Пугачёв.

— Ну, ляпнусь... Я-то не ляпнусь, я цепкая... Сам-то не ляпнись, мотри, — запищала девочка. — А ты ляпнешься, тады и я ляпнусь.

И вот все тронулись в путь тихой трусцой — кони утомились. Девочка достала из своей торбы кусок завалящей лепешки, сдунула сор с нее, принялась есть. Улыбка не сходила с лица ее. Ермилка подал ей кусок свиного сала с хлебом. Она съела. Овчинников дал две большие ватрушки с

творогом. Она обе съела. Дегтярев протянул девочке с десяток тонких овсяных блинов, свернутых в трубку, и два печеных яичка. Акулечка с удовольствием съела и блинки с яичками. Стала веселенькой. Вытрясла на дорогу из своей торбы крошки и кусочки:

— Это птичкам да собачкам. Пуцай едят да богу за нас молятся, — сказала она, оправивла волосы и звонким голосом принялась рассказывать:

— Дедушка мой недавно похарчился, умер, сердешный... Схоронили добрые люди. А тятю в Сибирь барин угнал, а маменька занемогла да и умерла от горя. Я как есть одна осталась. А промеж народу-то волновашка зачалась, царя народ-то ждет, помещикам грозит.

— Да ты откуда? — спросил Овчинников, ехавший трусцой рядом с Пугачёвым.

— А я, дяденька, тамбовская, села Лютикова, мы барина секунд-майора в отставке Кулькова-Перетькина крепостные. Вот я кто. Только вы, дяденьки, не подумайте, что я обжора... Я не объём вас... Это я с голодухи ноднаперлась-то. А так я шибко мало ем, не бойтесь...

Всадники засмеялись. Пугачёв сказал:

— У меня армия-то двадцать тысяч, и всяк сыт... А уж тебя-то, цыпленка, как не то прокормим...

— Ой, спасибо, царь-государь!.. Я кашки лизну ложки две, мне и будет... Ну, хлебца еще корочку... А уж я отработаю, я, мотри, управная: и бельишко постирать, и латки положить, и чулки заштопать, нужда-то всему научит. Опять же сказки умею, песни.

— О, ишь ты!.. Ну, как же ты жила-то, расскажи?

— А жила я в барском доме, за щенятами полы замывала. А щенят-то по всему дому, по всем горницам более двух дюжин. Ой-ты, какая срамота, страсть! Старик барин-то собачник. И злой-презлой, ой да и злюка же...

Мужики говорят, как царь-батюшка придёт, мы барина-т задавим... Хворь какая-то перешибла ему поясницу, дюже на охоте простыл, волков гоняли.

Вот, ладно... Пересекло, значит, старику барину поясницу, он в кроватку слег, хворь мучает его, шевельнуться больно. Вот, ладно. Я чегой-то набедокурила, кажись, щенку на лапу наступила. Щенок взвыл. А барин-то дозрил, да ну реветь на меня, ну реветь, ругаться, а встать не может.

Кричит: «Подойди сюда, чертенок». А сам палку в руки взял. Я знаю, что он бучу мне даст, не иду, а еще грублю ему: «На-ка, выкусь! Не возьмешь меня!» Он тогда застонал, да на подушку этак опрокинулся, да как завопит:

«Ой, дурно, дурно мне!.. Ой, чичас умру!» Я тогда испужалась. «Ой,

матушка Акулюшка, не серчай на меня, прости меня, христа-ради, подь скорейча, да поправь мне подушечку-то, ох, ох, ох...». Мне жалко стало старика барина, подбежала я к нему, принялась изголовье оправлять, а он, не будь прост, сгреб меня за волосенки да давай палкой по спине возить, давай палкой охаживать меня.

— Какой же годок тебе втапору был? — спросил Творогов.

— Сказывали, семь годов, а сейчас восьмой идёт, — ответила девочка.

— Ну, а как же ты попала-то сюда из Тамбовской-то?

— А с народом, батюшка царь-государь, с мужиками. По первоначалу-то пешая шла верстов сто, а то двести, дюже волков боялась. Опосля того мужики меня подсаживали, то один, то другой... К тебе, батюшка, мужики-то правятся, тебя ищут...

Вскоре подъехали к лагерю. Сотни крестьян сбежались навстречу, пали на колени. Пугачёв перемолвился с ними ласковым словом и проехал к своей палатке. Акулечка покарабкалась с коня на землю. И такая тщедушная, такая несчастненькая, остановясь в сторонке, вопросительно взирала снизу вверх на могучего «батюшку». Подошедшей Нениле он сказал:

— Вот тебе дочь наша всеобщая... Возьми к себе, береги ее.

Приодень. Вишь пестрединный сарафанишко-то на ней поистрепался как...

...И стала девочка Акулечка среди Пугачёвского народа любимой «всеобщей дочерью».

О разгроме под Троицкой крепостью Михельсон сведений не имел. Он лишь догадывался, что Пугачёв «путается» где-нибудь поблизости, по ту сторону Уральских гор. Поэтому на заводе он не задержался и 17 мая был уже в вершине речки Ай.

Разведка донесла, что в восьми верстах, в глубине Уральского хребта, стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешили и, карабаясь по кручам, заняли высоты, чтоб задержать врага в тесном проходе между гор. Подскакав к чугуевским казакам, Михельсон крикнул:

— Поручик Замошников! Потрудитесь с эскадронам зайти неприятелю в тыл.

И полтора сабель помчались в обход горы. Как только казаки

показались в тылу повстанцев, Михельсон ударил в наступление. Башкирцы очутились между двух огней, но, к удивлению Михельсона, дрались отчаянно.

Когда башкирцами выпущены были все стрелы, израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись врукопашную. Вспоров врагу живот, вонзив в грудь нож, смертельно раненные, они валились на землю, судорожно переплетались руками и ногами, с визгом грызли один другого и, уже мертвыми, сцепившись в обнимку, парами скатывались с круч в пропасть.

Многие башкирцы в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести. Оставив триста бойцов убитыми, башкирцы скрылись в горах.

Михельсон заметил: в версте от него разубаваются пятеро солдат, лезут в глубокое болото, где, по пояс завязшие, два башкирца, молодой и старый. В руках по кривому ножу, бронзовые лица в крови, зубы оскалены яростно.

— Сдавайтесь! Бросайте ножи! — надвигались на башкирцев солдаты.

— Вам я не сделаю худого! — кричал, подъехав, Михельсон. — Я начальник. Накормлю вас, отпущу к своим...

— Шайтан, бачка, шайтан! — выплевывал старик. — Смертям будем себе делать, башкам крошить, сдавать не будем...

По знаку Михельсона солдаты со всех сторон бросились к башкирцам.

Старик успел перерезать себе горло, молодой был схвачен. Но ни слова не говорил или не желал говорить по-русски, дрожал и озирался. Солдаты предложили ему хлеба, каши. Он тряс головой, шептал: «Шайтан». Михельсон, подавая ему серебряный рубль, сказал:

— Иди домой, в свою юрту, да передай людям, что повинившихся мы милуем!

Башкирец швырнул рубль в траву, глядел на Михельсона зверем.

Михельсон пожал плечами, двинулся к сопкам, где подбирали раненых солдат: их сорок пять, да восемнадцать человек убиты. Среди них поручик Замошников, пронзенный тремя стрелами. Была вырыта братская могила, прогремел прощальный залп. Все так обычно и просто.

Отряд выступил дальше. На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон.

— Дивлюсь, господа офицеры, — говорил он глуховатым голосом, — не могу понять, отчего такое упорство в этих народах? Ни в плен не сдаются, ни в службу к нам не идут. Ну, правда, что злодей Пугачёв манит их многими посулами да застрачивает их: мы-де пленных мятежников истребляем...

Однако, господа, я всегда стараюсь показать противное. Сами ведаете: попавшихся ко мне я частенько не только оставлял без наказания, но и давал им несколько денег и отпускал оных нехристей с манифестами и печатными увещаниями в их жилища.

Потрепанный сюртук на нем расстегнут, грудь с золотым нательным крестом обнажена, из-под шляпы выбиваются белокурые волосы, сапоги стоптаны, до самого верху заляпаны грязью.

— Эх, Иван Иванович, — начал седоусый майор Харин; он ехал, сгорбившись, рядом с Михельсоном, — по первоначально вы этак-то, не озлобились еще шибко... А вот полковник Фок нынешней весной одному пленному башкирцу приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

Фу, черт... И, вот, так оболванив человека, прогнал его домой и сказал ему: «Объяви, мол, своим, пускай-де прекратят буйство, иначе жестокой казни не минуют». Ну что это такое?..

Михельсон, насупившись, откликнулся:

— Сидят по крепостям, ничего не делают, пороху не нюхают, свою шкуру берегут да пакости чинят нам ежечасно... Сие действие их — вред, великий вред!.. Так мужика не усмиришь! Надобно — где плеткой, а где и пряничком...

Бойцы-офицеры ухмыльнулись.

— Прахов, а ну-ка, огонька, — обратился Михельсон к денщику, выехал в бок дороги, остановив лошадь, сказал офицерам:

— Продолжайте, господа, я нагоню.

Денщик огнем высек искру, зажег трут, выпучивая глаза, раздул его, подал барину. Михельсон закурил трубку, стал лицом к проходившим войскам.

В отряде молодец к молодцу, стариков очень мало. У солдат не было сзади обычных косичек с воткнутой в них до затылка лучинкой: на летнее время Михельсон, пренебрегая уставом, приказал всех под гребенку остричь. Вот прошли, блестя длинными штыками, команды Томского, Вятского и Фузилерного полков. За ними эскадрон изюмских гусар, три эскадрона карабинерных и казачьих полков, за ними эскадрон, сформированный казанским купечеством.

Далее двигалась небольшая команда мещеряков под начальством старшины Султана Мурада Янышева. Мещеряки вооружены самопалами, ножами и длинными нагайками со свинцовыми гирьками на концах. Одеты кто во что горазд, на головах овчинные шапки.

— Спасибо, мещеряки-молодцы, за работу! — громко поблагодарил их

Михельсон.

— Ур-ря! Ур-ря!.. — тонкоголосо ответили мещеряки. — Давай, казьян, отдыха! Коняки пить хочет, люди жрать... Бульно жара.

Действительно, было жарко, дорога шла лесом, густая пылища висела в воздухе, взмыленных лошадей кусали слепни. Вот прогрохотала артиллерия, в телегах — снаряды, порох. Потянулся обоз; возницы из слабосильной команды — остроплечие, худые, с опухшими ногами, обмотанными тряпьем. Зорко оглядывая свой отряд, Михельсон покрикивал:

— Эй, Сидорчук! Подтяни постромки! Пластунов! Глянь, лошадь холку стерла. Нешто не видишь? Подверни шлею. Эх, ты, баба! Потник потерял. А еще казак зовешься... Федоров! Почему босиком! Где сапоги?

— Выбросил, вашескородие... Дрызг один. Мне бы хоть лапти пожаловали.

Таперича лето.

Затем стал поскрипывать обоз больных и раненых: десятка три подвод; по бокам — несколько всадников; среди них — три военных фельдшера.

Больные, по три человека на телеге, лежали на голых досках; они, с головой укутанные шубами, мешками и всяким барахлом, задыхались от жары.

Обоз двигался, лесная дорога в корнях, телеги подскакивали, встряхивались, лес наполнялся протяжным стоном и резкими криками раненых.

Михельсон опустил голову, вздохнул.

К нему подъехали из лесу трое. Впереди рослого бородача казака с пикой, взгромоздясь почти на шею коня, сидел связанный по рукам парень.

— Языка нашли! Языка нашли! — еще издали кричали казаки. — Пугачёва Деколонг побил...

— Снимите его. Чу, парень, сказывай! Только не ври, а то пытатъ учну.

А правду скажешь — награжу...

Рыжий рябой парень, скосоротившись, повалился Михельсону в ноги:

— Ой, не вели ты меня вешать, барин дорогой! По глупости я... Все мужики к царю приклоняются. Вот и я... Вестимо, дурак.

— Ладно, ладно!.. Где Пугачёв, где царь твой. Сказывай.

— Ой, барин, добрый! Побито народу страсть. Дядьку моего ухлопали, отца да брата в полон взяли. Ой, господи... А Пугач ли, царь ли, бог его ведает, утек.

— Да где было дело-то?

— А дело, вишь ли, было вот где-ка... Ой, в соображенье не возьму,

забыл, всею память отшибло... Ядра, сабли, пики... Ой ты!..

Парень жмурился, тряс рыжей головой и хныкал.

— А ну, Прахов, дай ему водки.

Денщик из оловянной фляги налил стаканчик. Парень, стуча зубами, выпил, крикнул, утер губы подолом рваной рубахи.

— Вот где было дело-то... Вспомнил! — повеселев, сказал он и сел на землю.

— Встать! — крикнул Михельсон.

Парень вскочил.

— Под Троицкой крепостью буча нам была, вот где... Верстах в двух, поболе, от крепости-то.

— Много вас?

— У-у-у... Видимо-невидимо! Особливо гололобой орды, башкирцев. С утра до полдень драчка была. Опосля того наутек пошли, кто куда, дай, боже, ноги!

«Значит, если парень не врет, главные силы Пугачёва под Троицкой крепостью разбиты. С нами бог!» — торжествовал подполковник Михельсон.

В это время в слободе Кундравинской, куда подходил отряд, били на колокольне всполох, по улицам из конца в конец бегали ребятишки, орали:

— Енарал идёт!.. Енарал идёт с солдатней!

Слобода оживилась, как на пожаре. Бабы прятали холсты, ловили кур, гусей, старики загоняли телят, кричали парнишкам:

— Васька, Федька, Степка! Дуй на конях в лес! Да подале, в трущобу, коней прячь, а то сыщут.

В Кундравинскую, расположенную в семидесяти верстах на юго-восток от Златоуста, Михельсон с конвоем въехал ранним вечером: возле скворешен еще напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением, в церкви началась всенощная. Солдаты и казаки табором расположились за слободой.

Задымили на лугу костры, солдаты стали таскать из колодцев воду, варить кашу, похлебку с бараниной, на воткнутых внаклон к огню кольях развесили прелые онучи, началась стирка белья, охота за вшами. Расседланные, распряженные кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шел гул, смех, перебранка и, на соблазн слободским

девкам, песни с трензелем и бубном. Малые ребяташки гурьбой повалили в табор. Подросток Дунька стращала четырехлетнего плачущего братишку:

— Не ходи, не ходи с нами, Петька! Солдаты зарежут тебя, съедят. Беги к дедушке... Ты думаешь, это царь? Это солдаты... Стра-а-шные!

Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери приперты бревешками. Улицы пустынные.

Михельсона встретил староста Ермолай, с ним человек с десяток стариков, старух, баб, кучка любопытной детворы.

— Слышали что-нибудь про злодея Пугачёва? — спросил Михельсон и слез с коня. Тотчас спешили и все конвойные.

— Был слых, был слых, — стал кланяться, сгибаясь в три погибели, чернобородый староста, глаза его недружелюбны, хитры. — Прибегали тут на лошаденках из евонной силы старый солдат да башкиренок молодой, объявили нам: побил-де их великий начальник... Вот, твое происходительство, дела-то какие... В пух, говорит, расхвостал. Много-де тыщ полегло... Под Троицкой крепостью быдто. Вот!

— А почему избы заколочены? Где народ?

— А кто же их ведает. Пыхом собрались и — тягу... Уж недели с две.

— Куда же?

— Вестимо куда, к нему, к нему... Боле некуда. Вишь ты, отряд от него прибегал на нашу слободу. Отряд, отряд, кормилец... Манихвест вычитывал набольший-то: покоряйтесь-де государю Петру Федорычу, а то все жительство огню предам... А мы, знамо, люди темные, боязливые. Вот многие и приклонились к нему.

Михельсон нахмурился.

— Чем же оный вор и злодей Пугачёв соблазняет-то вас, дураков?

— А поди знай, чем, — переступил с ноги на ногу староста и многодумно наморщил лоб. — Да вы пожалуйста в жительство, барин. Правда, что пакостно в избенках-то наших, тараканы, срамота. Живем мы скудно. Одно слово — мужичье.

Михельсону было ясно, что староста хитрит.

— Что ж он, злодей и преступник государынин, поди, всю землю вам обещает? Подати не платить, в солдаты не ходить?

— Это, это! — в один голос ответили крестьяне.

— А бар да начальство вешать?

— Так-так... Да ведь мы — темные. Може, он обманщик и злодей, как знать. А може, и царь... Где правда, где кривда, нам не видать отсель. А ты-то как, барин, мекаешь?

— Мне думать нечего, я отлично вижу, где правда, где кривда, — все



более раздражаясь, отрывисто проговорил Михельсон. — Да и вы не хуже меня это ведаете, только прикидываетесь.

Он подозвал к себе старосту, поднялся... Брови его хмурились, взор сверкал.

— Вот что, староста. Ведомо мне, что у вас много добрых лошадей. Я намерен сменить своих истомленных на свежих, дабы удобнее воровскую шайку преследовать.

— Коней у нас нетути, твое происхождение. Сами бьемся, — кланяясь, сказал староста Ермолай и часто замигал.

— Где же ваши кони?

— Коих волки задрали, а большая часть к самому уведена, евоный отряд забрал. А достальных лошадушек наши утеклецы с собой прихватили.

— Врешь! — крикнул Михельсон и погрозил пальцем старосте. — Мне ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Тотчас прикажу гусарам оцепить ваш лес, искать коней, и ежели ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен! — И, обращаясь к конвою, Михельсон бросил с небрежностью:

— Сказать плотникам, чтоб возле церкви два столба с перекладиной изладили.

Староста Ермолай побелел, переглянулся со стариками. Тогда, неожиданно, выдвинулся вперед древний дед Изот — во всю голову прожженная солнцем лысина, борода с прозеленью, правый глаз с бельмом, посконная рубаха — заплатка на заплате, ворот расстегнут, на волосатой груди деревянный, почерневший от пота крестик. Когда-то был он высок, широкоплеч, время сломало человека пополам. Наморщив брови, с печалью смотрел Изот в землю, будто стараясь найти нечто драгоценное, давным-давно утерянное, чего никогда никому не сыскать. Опираясь на длинную клюшку, с трудом отдирая босые ноги от земли, дед тяжело пошагал внаклон к Михельсону. Тому показалось, что сгорбленный старец валится на него, он подхватил деда под руки. Тот мотнул локтями, как бы отстраняя помощь, приподнял иссеченное глубокими морщинами лицо, глухо прокричал:

— Реви громчей, я ушами не доволен, глухой я! — И — помолчал:

— Чего же ты? Вешать людей хочешь? Ну, дык вот меня вешай перьвова... Мне за сотню лет другой десяток настигает... Я Петрушу, государя моего, Ликсеича, мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нес. Опосля того Азов с Петром вместях брали. А ты кто будешь? А?

— Я слуга её величества государыни Екатерины Алексеевны, —

наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон.

— А-а, так-так... Слышу! — закричал и дед, елико возможно, распрямляя спину. — Катерина-то соромно на престол садилась, через убивство. А муж-то ейный Петра-то Федорыч, бают, опять ожил... Аль не по нраву тебе слова мои? Ежели не по нраву — вели вешать, али так убей, ты этому обучен.

Глаза Михельсона все шире, шире.

— Уведите прочь сумасшедшего, — не стерпев, отдал он приказ глухим голосом.

Старика взяли под руки, повели. Горбя спину, он волочил ноги, как паралитик, упирался, норовил обратить взор к Михельсону, кричал надсадно, с хрипом:

— А ты, барин, набольший, вникни, не будь собакой, как другие прочие!

Мы, слышь, мертвый народ, мертвяки! Никто за нас не вступится.

— Мертвяки и есть... — подхватили старики. — Бездыханные... Ни на эстолько вздыху нам нет. Тьфу!

Михельсон смутился.

— Коня! — велел он денщику и вставил ногу в стремя.

Отдернутый в сторону, дед Изот все еще шумел:

— Погодь, ироды! Мы, хрестьяне, может статья, навскрес мрем. Мы навскрес мрем, вот чего. Петра Федорыч, царь-государь, поспешает к нам...

Не страшусь вас, разбойники, не страшусь!..

Михельсон резко стегнул коня. Было бессмысленно упускать время со стариками.

На ночь раскинули палатку в обширном огороде старосты. Было всюду тихо, но Михельсону не спалось: думал о том, где теперь враг его, неуловимый Пугачёв, где войска Деколонга и, вообще, регулярные отряды других военачальников. Ни одна собака не идёт ему на помощь, бросили его, совсем забыли о нем... И вновь обрывал себя: «Стоп, стоп... Я воин... завтра подыматься чем свет, а сейчас спать... Мертвяки!.. Ну, и что же? У меня у самого ежечасно за плечами смерть». Он вытянулся, заложил руки за голову, напряг волю, приказал себе: «Спать, спать, спать», — и быстро накрепко уснул.

В пять часов утра его разбудил барабанный бой. По заре доносилась из лагеря хоровая молитва войск. Михельсон вышел умываться. Денщик смазывал дегтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве,

на травах сверкала под солнцем алмазная роса. В борозде возилась с котятами рыжая кошка.

В шесть часов явились с докладом офицеры, хорунжие.

Михельсон с офицерами сели за общий завтрак.

— Ну, как, красная девушка, чувствуешь себя? — обратился Михельсон к Игорю Щербачеву.

— Ничего, господин подполковник, — щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. — Рад служить её величеству и вам...

— Добро... Токмо и о матери своей подумывай, зря не лезь на рожон-то, — и Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. — На, красная девушка, полакомься.

Офицерик еще больше покраснел. Все поглядывали на него с приятностью.

В семь часов утра отряд выступил в поход.

## 5

Дорога все еще тянулась лесом. Но вот к полудню распахнулись широкие поля и степи с ковылем. Вдруг все увидели: верстах в пяти, на открытом месте, темнеет огромный воинский отряд.

— Деколонг! — от радости подскочив в седле, закричал Михельсон. — Ребята! Корпус генерал-поручика Деколонга...

— Урр-ра!! — заорали солдаты.

Михельсон перекрестился, на глазах навернулись слезы.

Наконец-то истощенный отряд его усилится свежими войсками: ведь люди Михельсона сорок дней преследуют врага без отдыха, у многих опухли, стерлись ноги, иные на ходу валяются от слабости.

Подзорная труба в руках Михельсона плясала.

— Треногу! — приказал он, живо слез с коня и, пристроив трубу на треноге, жадными глазами стал прощупывать толпу.

— Не вор ли это, васкородие? — заметил бородатый казак. — Сдается, злодейские то войска!

— Какой, к чертовой матери, вор! — и Михельсон, чтоб лучше через трубку видеть, сдвинул шляпу на затылок. — Пугачёв разбит и бежал. Тут тыщи две-три... Хорунжий Попов! Бросьте полсотню в разведку.

Казачий разъезд на рысях двинулся вперед. Михельсон на всякий случай построил войско к бою.

Вдруг, к немалому удивлению всего отряда, из толпы вырвалась сотня

всадников и поскакала навстречь казачьему разъезду. А вся толпа с двумя развернутыми знаменами устремилась в боевом порядке на отряд Михельсона, стараясь обогнуть его левый фланг.

— Ребята, Пугачёв! — громко крикнул Михельсон, проносясь на коне перед своими войсками. — Не трусь, молодцы! Подтянись! Жарко будет.

Он быстро перестроил отряд лицом к врагу, ввел в дело артиллерию, дружно загремели пушки. От Пугачёвцев тоже раздался единственный орудийный выстрел.

— Очень хорошо, — сказал Михельсон адъютанту, — либо у них пушек черт-ма, либо в порохе нехватка.

У Михельсона шестьсот человек регулярных войск, небольшую часть он отделил для прикрытия обоза.

Пушки гремели. Густая толпа Пугачёвцев, поражаемая картечью, ядрами, наполовину спешила в версте от врага и, невзирая на сильный урон, бросилась на орудия, ударила в копья. Все заволокло дымом, завоняло тухлыми яйцами.

В этот миг Емельян Пугачёв, в обычном своем сером казацком кафтане, на черном диком скакуне неся с конницей на левый фланг врага, тенористо кричал, размахивая саблей:

— Де-е-тушки! С нами бог! Кроши!

Его конница живо смяла, опрокинула команду мещеряков. Те, как цыплята от стаи ястребов, с писком бежали и замертво падали.

— Пушки, пушки забирай, атаманы! Артиллерию! Кроши! — кричал Пугачёв, подбадривая своих.

Большинство — башкирцев, заводских крестьян, мужиков — видя, как дрогнул и бежит левый фланг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом бросились врассыпную на обоз. Ни гневный окрик Пугачёва, ни отчаянные попытки Горбатова, Белобородова, старшин и яицких казаков-Пугачёвцев задержать их, сгрудить в один кулак не помогли: вновь набранные толпы народной армии плохо подчинялись дисциплине.

Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадронам изюмских гусар, сразу оценил положение врага и воспользовался моментом. Встав во главе эскадрона, он приказал всей кавалерии немедля ударить на Пугачёвцев с разных пунктов.

— Изюмцы! — скомандовал он своему эскадрону, высоко подымая блеснувшую на солнце саблю. — Помни присягу, изюмцы! Рази врага, лови злодея Емельку и — по домам... Кто живьем словит врага, тому десять тысяч.

— А где он? — неслоь по рядам. — Они все на одну рожу.

Эскадрон гусар ринулся сквозь сизый дым, сквозь дробную трескотню ружей, сквозь крики, стоны, рев, прямо на отряд яицких казаков, окружавших Пугачёва.

Взбешенные лошади сшиблись грудь с грудью. Ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-Пугачёвцы дрогнули и, окружив своего вождя, с гиком помчались в степь.

Воздух в степи чист, ковыль-трава мягка. По всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят, как птицы, всадники.

— Держи, держи!.. Вот он скачет... От своих отбился...

— Пугачёв!.. Пугачёв!.. — орали изюмцы, настегивая своих уставших лошадей.

Впереди них шибкой рысью бежал рослый черный жеребец, унося на себе широкоплечего мужицкого царя, золотую десяти тысячную приманку.

— Лови! Чего ж отстали? — закричал Пугачёв, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой. — Эх, детушки! Видать, Михельсон плохо кормит вас и ваших клячонок... А ну!.. — и всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар, как ветер, умчался вдаль.

Изнуренные кони, в мыле, выбиваются из сил. Молоденький щуплый прапорщик Игорь Щербачев, позабыв и смерть и жизнь, лупил нагайкой свою кобылу-полукровку, голосил:

— Настигай, настигай!.. Дави его! Дуй с боков, бери напересек!

Он всех опередил, вот-вот подскочит к Пугачёву, в руках пистолет, метит в спину — раз!

Пугачёв резко повернул к нему коня, несколько секунд проскакал рядом с офицером.

— Худо, барин, целишь... А ну! — и, распустив поводья, с гиком унесся прочь.

Оглянулся и опять остановил коня.

На пригорке возле леса отряд яицких казаков, от которых только что отбился Пугачёв, с любопытством наблюдал за своим вождем.

— И чего это он игру завел? — сквозь зубы проворчал Белобородов. И — громко:

— А что, казаки-молодцы... не ударить ли нам на выручку государя-императора?

— Ни черта! — успокоил Творогов. — У него конь ученый, не дастся.

Меж тем сзади, на позициях, снова гремели пушки, пуская картечь вслед пешим Пугачёвцам. Батареей командовал и наводил орудия сам

Михельсон.

А погоня за Пугачёвым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с ними скакал и волонтер-поляк Врублевский.

Горячий офицерик Щербачев надрывался в крике:

— Братцы! Неужели упустим?.. Нажми, нажми!

Пугачёв вымахнул в сторону и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони.

— Детушки! — вопил он на скаку; черный жеребец храпел под ним, ярился желтым глазом. — А нет ли среди вас, детушки, барина Михельсона? Нетути?

Ну, так сказывайте ему поклон от государя-императора. Шли бы, детушки, ко мне... Я до простого люда шибко милостив!

Всадники, как охотники за волком, раздувая ноздри, тараща закровенелые глаза, наскакивали на Пугачёва, до сипоты ревели:

— Имай! Имай!.. Стреляй в коня!

Но черный жеребец, топча ковыль, копытами швыряя землю, карьером мчал по степи, как разъяренный волк. Погоня сразу осталась позади.

Зазеленели перелески, засинел огромный лес. Щербачев, с турецким пистолетом наготове, визгливо кричал:

— Упустим!.. В лес уйдет!

Его глаза безумны, кровь бьет в виски, весь мир для него пропал, и сумасшедший взор лишь неотрывно ловит дьявольскую спину врага на черном жеребце. Вот вылетел он на быстроногой кобыле далеко вперед, вот настиг ехавшего шибкой рысью Пугачёва, сыпнул на полку пороху, прицелился, спустил курок. Емельян Пугачёв болтнул головой, схватился за плечо.

Повернув жеребца, он стал делать коварный круг возле скачущего офицера.

Бронзовое лицо Пугачёва помрачнело, в черных глазах огонь.

— В царя стрелять, лиходея? Я те! — и Пугачёв приподнял нагайку.

— Вор! Собака! — гремел в пламени задора обезумевший офицерик Щербачев. Но вдруг сердце его остановилось: не человек, страшной силы зверь скачет рядом. «Назад, назад!» — кричали ему в уши небо, степь.

Щербачев втянул голову в плечи, разинул рот, зажмурился и, леденя, оцепенел.

— Ха-ха! — играл с ним Пугачёв, гикал, присвистывал.

Стараясь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал поводья вправо-влево, его кобыла скакала вмах зигзагами, но рядом, не

отпуская, скакал, храпя, черный жеребец.

И вдруг взвился в воздухе аркан. Черный жеребец резко скакнул вперед.

Офицерик Игорь Щербачев, сдернутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко ударяясь о землю. Пугачёв внатуг держал аркан, во весь опор мчался, посвистывая, к лесу. А вот и лес — березы, липа, осокорь. Вдруг в чаще леса аркан ослаб. Пугачёв остановил коня, подтянул окровавленную петлю, прищурился, сам себе сказал:

— Петля целехонька... Стало быть, башка оторвалась.

## Глава 5.

### Салават Юлаев. Стычки. В кабинете императрицы. Пугачёв «скопляется».

#### 1

Конница Михельсона на пятнадцать верст преследовала уходивших Пугачёвцев.

Эта легкая победа не дала Михельсону полной радости: он огорчен мучительной смертью офицера Щербачева. Тело безрассудного храбреца нашли завязшим между двух берез, а голову — по кровавому следу — сажень на двадцать в стороне.

Предполагая, что Пугачёв снова бросится к заводам, Михельсон переночевал на поле сражения и спешно выступил к Чебаркульской крепости.

Получив сведения, что Пугачёв копит силу в двадцати верстах от Чебаркульской, Михельсон свернул за Златоустовский завод.

25 мая возле Златоустовского завода Михельсону донесли, что недавно приезжала на завод сотня яицких казаков-Пугачёвцев набирать ополчение и что оные казаки объявили: государь с двухтысячным войском идёт-де на Саткинский завод, где его ждет с башкирцами походный полковник Салават Юлаев.

Михельсон тотчас двинулся на Саткинский завод. Ранним утром 27 мая, как только его отряд появился под заводом, огромные толпы башкирцев, сев на-конь, хлынули наутек.

Через захваченные «языки» вскоре выяснилось: башкирцы, отступив от

Саткинского завода, вновь сгрудились, и Салават Юлаев повел тысячную толпу башкирской конницы на Симский завод.

Двадцатидвухлетний Салават — бронзовый, скуластый, краснощекий, с горящими задором глазами, в цветном полосатом халате, на голове зеленый тюрбан. Он молодецки сидел в серебряном с бирюзой седле на быстрой степной кобылке. Башкирское население чтит своего героя: в селениях, чрез которые шли толпы башкирцев, Салавата встречали шумными криками, выносили в турсуках кумыс, мед, бишбармак, крут, салму, падали ниц.

— Встаньте! — приказывал Салават, кланяясь народу. — Бачка третий государь Петр Федорыч под Троицкой крепостью побил наших врагов. Все войско сибирское полегло, как цвет-ковыл под копытами степного табуна.

Немчин Михелька, уж вот сколь хитрый, прямо шайтан, — а и его бачка-государь смял. Немчин едва ноги уволок. Кто поймает Михельку, тому жалую триста рублей. Пусть об этом знают все родичи наши: усергане, донгаурцы, бурзане, и помогают нам святое дело делать...

— Ой, ой, это больно славно! Велик аллах и Магомет, пророк его! — радостно ответствовали ему со всех сторон старики и женщины, но тут же лица их омрачились:

— Салават, Салават! Много мы терпим напастей всяких от русских солдат, и от своих терпим. Коней у нас поубавилось, коров да овец поубавилось, сыновья наши бросили нас, на войну сбежали. А травы по колено стоят, а хлеба колос наливают, кто работать будет? Некому. А солдаты скот режут, юрты жгут, непокорных вешают. Скоро ли проклятой усобице конец?..

Пожалей нас, Салават, ты умный, ты сильный!

Бритые бронзовые черепа стариков лоснились на солнце, у женщин — головы в накинутых цветистых платках, на груди обшитая монетами, унизанная бисером «сакома».

Салават повел строгим глазом по толпе.

— Не слышать бы мне ваших речей, старики и женщины, не видёть бы вас!

— громко сказал он, оглаживая серебряные с золотыми насечками ножны изогнутой своей сабли. — Разве забыли времена славного батыря нашего Батырши? Ведь только два десятка лет прошло. Большие годы бился наш народ за свои земли, за вольности свои. И таких речей, как ваши, тогда Батырша не слыхал...

— Шесть годов дрались мы тогда с неверными, правду говоришь! —



закричали в ответ старики. — Почитай, двадцать тысяч казней было, всю землю кровью своей полил наш народ, а что получили взамен? Подумай, Салават, ежели аллах не отнял у тебя весь разум...

— Ха! Что получили, что получили! — заерзал в седле Салават и натянул поводья: застоявшаяся кобылка его начала выплясывать. — При Батырше мы шли один на один против притеснителей, и они нас побили, а ныне с нами такие же, как и мы, обиженные русские. Их сила неисчислима. И вот заодно с ними правду мы ищем. И найдем!..

Старики, вздохнув, надели тюбетейки. Молодые девушки и подростки, загораясь волнением, улыбочиво подталкивали друг дружку локтями, не спускали с Салавата глаз. «И найдем, и найдем, Салават! Мы с тобой, Салават Юлаев, все, как один!» — хотелось крикнуть им молодому витязю.

Восемнадцатилетняя женщина, вдова старшины, убитого в схватке под Уфой, порывалась кинуться Салавату в ноги, обнять его, сказать ему громким, во всю грудь, голосом: «Салават! Возьми меня в жены, люблю тебя.

Дай мне кривой нож, плечо в плечо с тобой брошусь на врагов наших...» Но она безмолвствовала, она лишь обнажала в печальной улыбке свежие зубы, а в черных глазах ее, в грустно приподнятых бровях сквозило горе, мучительное одиночество. На голове её соболя высокая, с серебром, калябаш-кашмау с изогнутым наподобие каски верхом. На запястьях золотые блязкы, в маленьких ушах серебряные с самоцветными камнями — алки, в двух черных тугих косах — звонкая нанизь империалов. Сердце Салавата сладко замерло. Салават улыбнулся про себя, подумал: «Какая же ты красавица... У меня две жены, двое детей, но если б не война, тотчас же взял бы тебя третьей». И уж было с неохотой тронул он коня, чтоб ехать дальше, как бросилась из толпы к Салавату простоволосая, лет десяти, девчоночка. Косолапо загребая пыль и быстро помахивая левой, согнутой в локте, тоненькой рукой, она пересекла пространство и, привстав на цыпочки, подала Салавату берестяной туесок, наполненный спелой земляникой.

— На, батырь!.. — сказала она и — бегом прочь в толпу.

И не успел Салават рта разинуть, чтоб поблагодарить за подарок, как к нему со всех сторон кинулась черноголовая детвора. Отстраняя друг дружку, малайки и апайки совали смущенному Салавату: кто горстку ягод, кто пучок зеленого луку, кто цветы или кусочек сотового меду на листке лопуха.

— На, Салават!.. Поешь, Салават!.. Понюхай, Салават!.. — звенели детские голоса, как беззаботный щебет птиц.

Толпа улыбалась, причмокивала языками, хвалила детей: «Якши, якши, якши!..» А какой-то древний старик загнул подол длинной рубахи, поднес к лицу и, всхлипнув, принялся утирать слезы.

Благодарно улыбаясь детям, Салават подал знак седобородому всаднику принять дары, кивнул толпе, сдвинул брови, поднял голову и двинулся в путь, за ним вся свита. Толпа закричала: «Прощай, батырь наш, прощай!»

Старики махали тубетейками, женщины плакали.

Ребятишки, сопровождаемые собачонками, долго еще бежали за всадниками.

Салават то и дело оглядывался на провожавшую его толпу. По дороге и лугам тянулись конные башкирцы, иногда на одной лошаденке по два, по три, иные ехали одвуконь, ведя запасного в поводу. В беспоясных рубахах, в бешметах из верблюжины, в разноцветных хилянах, похожих на халат, на бритых головах сверх тубетейки — остроконечный войлочный тельпек, за плечами колчан со стрелами; лук, редко-редко самопал; у многих тесаки, кривые ножи, пики, тяжелые безмены, вокруг сиденья — спущенные с плеч овчинные тулупы. Кто в лаптях, кто в сафьяновых или суконных сапогах с загнутыми носами. Пеших мало, огромный обоз скрипучих двуколок с поклажей и с народом, две чугунные пушки, но ни пороху, ни ядер. Толпа оживлена, воздух звенит хохотом, слышатся выкрики, взвывается под свирельную дудку песня, то веселая, то грустная. Молодежь взад-вперед носится на скакунах вперегонки: «аля-аля-аля!» Всюду раскатистый смех, визг, посвисты, гиканье, дружеская с перцем перебранка и — снова хохот.

Тысячная толпа растянулась версты на две, было жарко, пыль клубилась от земли до неба, пахло лошадиным потом, свежесрезанным медом, кумысом в турсуках, дегтем. Со всех сторон подъезжали на взмыленных конях группы новых всадников. Поприветствовав Салавата прикладыванием правой ладони ко лбу, к сердцу, переговорив с ним, отъезжали, смешивались с толпой. И снова начинались разговоры без конца, спросы да расспросы, смех да крики.

Вот на трех верстах две разрушенные русские деревни, все выжжено, все сровнено с землей.

— Эта земля издревле нашего рода, моего деда, моего отца Юлая и моя, — говорил Салават, кивая головой направо-налево. — Большие земли у нас были, а лет двадцать тому отобрало начальство, отдало наши природные уголья купцам Твердышеву да Мясникову. Я весной был здесь с батькой, обе деревни разрушил, мужиков, кои передались мне, отослал к государю в стан.

Нынче пришел черед Симскому заводу. Все попалю огнем!

— Э-э, — поддакивали башкирцы.

— О, если б мне достать тех двух купцов-заводчиков, привязал бы их за ноги к лошадиному хвосту, целый день волочил бы их по степи нешибкой рысью, чтоб не сразу сдохли... — и Салават, шумно дыша, заскрежетал зубами.

— Не в этом дело, дружок, — возразил седобородый Илчигул. — Двоих смерти предашь, десять новых на твою землю сядут. А надо права наши кровью утвердить... э!

— Ты верно, Илчигул, сказал. Пусть будет имя твое свято, — в раздумьи молвил Салават. Вдруг вскинул голову, схватил за руку пониже плеча ехавшего с ним рядом Илчигула, со всех сил встряхнул старика, сам затрясся, закричал на весь народ:

— Всю землю огнем пройду!.. Все пожгу!

Всех посеку, в полон изловлю! На срубленных башках врагов моих степные птицы будут вить гнезда, на щеках их станут размножаться мухи и комары!

Илчигул взглянул в освирепевшее лицо его, изумленно разинул рот, седая козлиная борода отвисла.

— Успокой свое сердце, Салават, — тихо сказал он. — Башке верь, сердце — тьфу... э!

Салават опять задумался, поник головой, завздыхал шумно. Долго ехали молча. И вдруг в мыслях Салавата мелькнул образ той женщины в богатом наряде, что так ласково улыбалась ему. Какая красавица! И как звать ее, кто она, что с ней сейчас? Не сидит ли возле озера с крутыми берегами, не думает ли думу? Не складывает ли «баит» о нем, о храбром Салавате? Эх, если б не такое время, он, прославленный певец степей, сам сложил бы про нее песню!..

Да, она складывала песню и тихим вздрагивающим голосом напевала:

Пою я не от охоты,  
От множества дум, от горя...

Как только скрылся от взора Салават, она подобрала шитый бисером безрукавый зюлень-платье и, быстро перебирая стройными ногами в ярко-красных широких шароварах, побежала через ельник, через поляны к озеру. Села на крутой зеленый берег и задумалась.

Наслаждений, удачи нет и тени,  
А тоски много в этом безжалостном свете... -

Вновь швырнула Шаккур над степью и над озером запавшую в её сердце жалобу.

По ту сторону плескучего озера расстилалась степь. Далеко-далеко на горизонте, докуда глаз хватал, в стороне от проезжей дороги клубились бесчисленные дымки летних кочевий-кошей. Туда удалились старики, женщины и дети, и еще те из башкирцев, которые не желали пристать ни к Салавату с Кинзей, ни к Каравату с Крюкаем, ни к прочим башкирским старшинам-воителям.

Молодая Шаккур подносит к пунцовым губам тростниковую свирель и, перебирая тонкими пальцами, начинает высвистывать что-то тоскливое.

Свирель стонет над простором, как живая, свирель горько оплакивает несбывшиеся мечты Шаккур и навеки утраченную радость. Прощай, милый муж, убит ты русской пулей, прощай и ты, Салават-батырь, умчавшийся в неминуемую погибель, в смерть. От тоскующих звуков свирели зарождаются мрачные мысли, из мыслей растут слова, песни. И вот, положив свирель к ногам и скрестив руки на груди, Шаккур начинает:

Ах, буран, буран, ветер свирепый,  
Времена тяжелы, сердце одиноко...  
В молодое время беги быстро,  
Подобно промчавшемуся по степи оленю.

Дымки клубятся, солнце село. Вот и вечерняя звезда зажглась, даль призакрылась сизо-молочною завесой, на западе погасла желтая, с прозеленью, с алым отблеском заря.

Молодая Шаккур быстро поднялась, с хрустом переломила через колено свирель, забросила её в озеро.

Беги, беги скорей, конь чубарый,  
Неси, неси меня к Салавату!

Шаккур всплеснула руками и заплакала. И раздался тут отчаянный голос:

— Шаккур, Ша-а-акку-ур! Эге-ге-ей...

Это старая мать кличет единственную дочь свою: уже лег на землю поздний вечер, и месяц стал серебрить ковыли степей, а в степях вот-вот схватит Шаккур злой дух — шайтан.

## 2

Негодую на бездеятельность сибирского корпуса генерала Деколонга и не имея сведений о действиях отряда князя Голицына, подполковник Михельсон все-таки решил со своим малочисленным отрядом двинуться на Красноуфимск для преследования толп Салавата Юлаева.

30 мая он пошел к Симскому чугуноплавильному заводу, что в живописной котловине среди лесистых гор.

Ненавистный Салавату этот завод вместе с поселком весь был башкирцами разрушен, разграблен, выжжен, и около сотни жителей умерщвлено.

Михельсон увидел зарево и поспешил на пепелище. Однако переправа через реку Ай была уничтожена, паромы сломаны, лодки угнаны, а крутые горы за рекой заняты толпами Салавата.

31 мая на рассвете Михельсон выставил вдоль берега все орудия и, под прикрытием их огня, переправил свой отряд. После короткого боя башкирцы рассеялись, сто пятьдесят из них убито, в плен попало трое, четвертый русский. Где находился сам Пугачёв, пленные не знали. Крестьянин был повешен, башкирцы оделены деньгами, продуктами и пущены на свободу.

— Идите по домам, — сказал им Михельсон, — толкуйте своим, чтоб сидели смирно, чтоб не слушались разных врак злодея Пугачёва Емельки.

3 июня, ранним утром, возле деревни Киги, Михельсон внезапно был атакован двухтысячным войском Пугачёва. В первую минуту Михельсон растерялся:

— И откуда в такое короткое время спроворил злодей набрать столько сволочи? Да, поистине зверь сей неистребим.

Замешательство унялось. Загремели пушки. Поражая Пугачёвцев огнем, Михельсон бросил силы в контратаку. Вскоре враг был сломлен, бежал.

Кавалерия преследовала отступавших. Михельсон с двумя адъютантами ехал рысцой позади кавалерии. Отдаляясь от обоза версты на две, он остановил коня.

— Глядите... Что это? Башкирцы, никак... — и Михельсон вскинул к глазу зрительную трубку. — Ну да, они!

Отряды башкирской конницы, скатываясь с гор, выскакивая из ущелий, мчались на поддержку отступавших.

— Слышь, дружок, — подъехал Михельсон к майору Харину. — А двинь-ка ты в эту нечисть картечью.

Тут подскакал к Михельсону на взмыленной лошади казак, глаза выпучены, весь он потный.

— Вашескородие!.. Так что сам Пугачёв!.. С тыла!.. Обоз атаковал!.. — заикаясь, прокричал он, как в лесу.

Положение Михельсона было не из легких. В эту опасную минуту его боевая натура вмиг преобразилась. В голове молниеносно созрел весь план предстоящего сражения.

Приказав Харину удерживать с частью отряда наступление башкирцев, Михельсон с кавалерией и остальной пехотой бросился к атакованному неприятелем обозу. Визг стрел встретил скачущих михельсоновских всадников.

Трое свалилось с седел.

— Изюмцы! Сабли вон! — закричал Михельсон, опережая кавалерию. — Казаки, не подгадь!.. По полдюжинке на пику, братцы!

Изюмцы и казаки на всем скаку взяли рассыпным строем неприятеля в обхват. Но Перфильев с яицкими казаками и Салават Юлаев с башкирцами, не страшась смерти, всюду поспевали, поощряя своих боевым кличем и личным примером храбрости.

Пугачёв с сотней яицких казаков стоял чуть поодаль, наблюдая разгоравшуюся сечу. В моменты успеха он привставал в стременах, пронзительно кричал!

— Детушки! Вали, вали, вали!.. Так их!

То вдруг бросался с казаками в то место, где враг одолевал.

— Детушки!.. Грудью, грудью!.. Спину береги, детушки! — и вновь выбравшись из схваток, вихрем скакал вдоль фронта, останавливая бросавших оружие и бежавших, вдохновляя колеблющихся, разжигая победителей.

Всеобщая резня и суматоха длится час и два. По степи, скрываясь в перелески, уже удирают пешие мужики, мчатся конные башкирцы. Опять загрохотали смолкшие было пушки. Вонючий дым, лязг металла, неистовые крики. Вот пан Врублевский с высоко поднятой саблей, с ножом в зубах, сильно подавшись корпусом вперед, скачет к кучке башкир, отбивавшихся вместе с Салаватом от изюмцев.

— Алла!.. Алла!.. — поражая врагов своих, дико визжат башкирцы.

Салават с силой рубит саблей направо и налево. Его халат изодран, рубаха окровавлена. Он круто поворачивает коня и с гиком налетает на Врублевского. Их сабли, скрещиваясь, звякая, сверкают в воздухе лишь несколько мгновений. Враги вцепились один в другого руками, и с резким воем оба брякнулись с коней на землю. Через момент пан Врублевский был поднят на пиках, он извивался в воздухе, как на остроге налим.

— Детушки! — вопил Пугачёв. — А ну, за мной!.. Кажись, Салаватку прикончили.

Он вытянул черного коня нагайкой и вместе с казаками ринулся вперед.

— Чугуевцы!.. Казанцы!.. — командовал Михельсон. — Марш, марш на выручку изюмцам. Враг бежит!.. С бо-о-гом!..

Вскоре по всему фронту Пугачёвцы были отбиты. Они отступали к вершине реки Ай.

На другой день, едва пройдя пятнадцать верст, Михельсон вновь был атакован.

— Ну, брат, ваше окаянское величество, — пробрюзжал Михельсон:

— вы изволите надоедать мне пуще комаров.

Схватка была горяча и непродолжительна. Пугачёв, потеряв около сотни бойцов, отступил.

И обычная комедия: Пугачёв дерется с Михельсоном, а в этот самый час, в ста пятидесяти верстах от боя, коменданту Верхне-Яицкой крепости Ступишину грезится, что Пугачёв семитысячной громадой стоит в десяти верстах от его крепости. Перепуганный Ступишин шлет к бездействующему в Кизильской крепости генералу Фрейману гонца с отчаянным воплем выслать немедленную помощь.

Главнокомандующий князь Щербатов, в Оренбурге пребывающий, получил сразу два рапорта: от генерала Фреймана, что Пугачёв с армией в семь тысяч человек 4 июня осадил Верхне-Яицкую крепость, а другой от Михельсона, что того же 4 июня он разбил Пугачёва вблизи деревни Киги. Взглянув на карту военных действий («ха, полтора верст!»), князь Щербатов долго чесал за ухом, тщетно ломал голову, который же из военачальников бредил? Он грыз в раздумьи ногти и, поплеывая, говорил в сердцах:

— Дураки... Все мы дураки, все больны. Пугачёв в десять раз умней нас, во всяком случае — расторопней.

Разгневанный на себя и на всех, главнокомандующий тотчас же отправил к Фрейману гонца с приказом точно выяснить, где обретается

«мерзкий самозванец», и немедленно выслать отряд для скорейшего уничтожения «бунтующей сволочи».

Отряд Михельсона численно слабел, в боевых припасах ощущался великий недостаток, лошади наполовину покалечены. Михельсон прямым путем двинулся к Уфе в надежде укомплектовать там свой отряд людьми и лошадьми.

В Петербург все чаще поступали с востока известия о поражении Пугачёвцев. Но наряду с этим стало правительству ведомо, что в середине мая в Воронежской, Тамбовской и других смежных с ними губерниях возникли сильные крестьянские волнения. Внезапно «волнование» возгорелось и среди крепостных крестьян смоленского «новоявленного барина» Барышникова.

Императрица Екатерина собрала у себя совещание из ограниченного круга лиц. Были: новгородский губернатор Сиверс, Григорий Потемкин, Никита Панин, генерал-прокурор Сената князь Вяземский, граф Строганов, неуклюжий, большой и пухлый Иван Перфильевич Елагин, когда-то влюбленный в Габриельшу, и другие. Беседа велась в кабинете Екатерины за чашкой чая, без пажей и без посторонних. Чай разливала сама хозяйка.

Высота, свет, простор, сверкание парадных зал. Всюду лепное, позлащенное барокко, изящный шелк обивки стен, роскошь мебели на гнутых ножках, блеск хрустальных с золоченой бронзой люстр. Всюду воплощенный гений Растрелли, поражающий пышность царских чертогов. Но кабинет Екатерины уютен, прост.

Теплый, весь в солнце, майский день. Окна на Неву распахнуты. Воздух насыщен бодрящей свежестью близкого моря.

Все пьют чай с вафлями, начиненными сливочным кремом. В вазах клубничное и барбарисовое варенье. Граф Сиверс ради здоровья наливает себе в чашку ром. А князь Вяземский, также ради здоровья, от рому воздерживается. Григорий же Александрович Потемкин, опять-таки здоровья для, предпочитает пить «ром с чаем». И пьет не из чашки, а из большого венецианского, хрустального, с синими медальонами, стакана, три четверти стакана рому, остальная же четверть — слабенький чаек. Впрочем, ему все дозволено...

Екатерина начинает беседу. Хотя она и спряталась от солнца в тень, но, если пристально всмотреться в её лицо, можно заметить легкие недавние



морщинки — следы сердечных страстей и неприятных политических треволнений.

Подбородок её значительно огруз, лицо пополнело, вытянулось, утратило былую свежесть.

— Теперь, Григорий Александрович, доложи нам по сути дела, — обратилась она к Потемкину.

Тот порылся в своих бумагах и, уставившись живым глазом в одну из них, начал говорить:

— Итак... прошу разрешения вашего величества. (Екатерина, охорашиваясь, кивнула головой.) Воронежский губернатор Шетнев доносит, что меж крестьянами вверенной ему губернии стали погуливать слухи, что за Казанью царь Петр Федорыч отбирает-де у помещиков крестьян и дает им волю.

Раз! Второе: крестьяне Кадомского уезда, села Каврес, в числе около четырехсот душ, собрались на сходку и порешили всем миром послать к царю-батюшке двух ходочков с прошением, чтобы не быть им за помещиками, а быть вольными... «Требовать от батюшки манихвесту...»

Он привел еще несколько подобных же примеров и, отхлебнув обильный глоток рому с чаем, сказал, словно отчеканил:

— Вот-с каковы у нас дела.

— Да... И впрямь дела не довольно нам по сердцу, — отозвалась Екатерина, тоже отхлебнув маленький глоточек чаю с ромом.

После недолгого молчания Потемкин вновь заговорил:

— А тут еще милейший губернатор Шетнев вздумал с бухты-барахты обременять население излишними работами и тем самым неудовольствие в народе возбуждать. В этакое-то время, во время столь жестокой инсurreкции, он взял себе в мысль приукрашать подъезд к городу Воронежу дорогой перспективой, обсаженной ветлами. И для сего согнал более десяти тысяч крестьян. Сие некстати в рассуждении рабочей поры, а еще больше не по обстоятельствам. Не с перспективы губернатору начинать бы нужно, а есть дела важнее в его губернии, которые требуют поправления. А посему, — поднялся Потемкин и, закинув руки за спину, принялся мерно и грузно вышагивать, — а посему, смею молвить, надлежало бы губернатору написать построже партикулярное письмо... А еще лучше вызвать его к нам да немного покричать на него... Покричать! — резко бросил Потемкин. Голос у него — могучий, зычный. Когда он говорил, казалось, что грудь и спина его гудят.

И голос, и его властные манеры вселяли некий трепет не только в сердца обыкновенных смертных, но даже сама Екатерина, преклоняющаяся

перед своим любимцем, за последнее время стала испытывать в его присутствии чувство немалого смущения, граничащего с робостью.

— Александр Андреич, — обратилась Екатерина к князю Вяземскому. — Что вы имеете на сие ответить?

Вяземский поднялся, развел руками и, как бы оправдываясь, заговорил:

— Ваше величество и господа высокое собрание! Поскольку мне не изменяет память, губернатору Шетневу был заблаговременно послан высочайше опробованный план прокладки скрозь густые леса новой дороги шириной не более не менее как тридцать сажень, дабы воровские люди не имели способа укрыться и делать вред и грабеж жителям.

— Ваше сиятельство, — на низких нотах проговорил Потемкин и остановился среди кабинета, на щекастом лице его играла умная ухмылка. — Я, если мне будет дозволено её величеством, нимало не дерзаю возражать против сего полезного прожекта... Но поймите, князь! Горит Россия! С востока летят головешки и падают чуть ли не в колени нам, князь. А вы тут... А вы... Россия горит! — подняв пудовый кулак, крикнул он так громко, что голос его, наверное, был слышен за Невой.

Князь Вяземский втянул шею в плечи, будто его пристукнули по темени, и завертел во все стороны немудрой головой своей.

— Ваше высокопревосходительство, — адресовалась Екатерина к Потемкину, — приглашаю вас чуть-чуть умерить пыл и пощадить хотя бы мои уши.

Их взоры быстролетно встретились. Потемкин, почувствовав себя виноватым, приложил руку к сердцу, почтительно императрице поклонился, подошел к круглому столу и сел. Он был к Екатерине весьма предупредителен, особенно при посторонних, но он иногда вдруг весь вскипал и тогда терял самообладание.

— Александр Андреич, — снова обратилась императрица к Вяземскому. — Вызывать сюда губернатора Шетнева в такую пору мы считаем бесполезным, а пусть Сенат заготовит, пожалуй, указ ему, чтоб он подобные работы тотчас прекратил, жителей распустил и в дальнейшем принял меры к тому, чтобы не раздражать их. Вы сами, господа, понимаете, — повела Екатерина взором по лицам присутствующих, — что нам подобает изыскивать меры к отвращению елико возможно населения от маркиза Пугачёва. Особливо же нам надлежит ласкательными мерами удержать от злодейской прелести казаков на Дону. А посему мы постановляем... Потрудись, Александр Андреич, записать.

Постановляем тако: обер-коменданту крепости святого Димитрия

генерал-майору Потапову сообщить письменно наше повеление — прекратить все следственные дела над донскими казаками, выпустить всех арестованных и объявить им наше милостивое прощение и оставление дальнего взыскания, в рассуждении верных и усердных заслуг сего войска, в нынешнюю войну с Турцией оказанных... — Отвратив взор от своей записной книжки, Екатерина вскинула голову и спросила:

— Не имеет ли кто высказаться по сему за и контра?

Желающих не нашлось. Разумное отношение в данное время к населению все считали необходимым и на вопрос Екатерины согласно ответили, что решение императрицы почитают мудрым.

Потемкин, сдерживая голос и улыбку, сказал:

— Кстати о казаках... Вам всем ведомо, господа, что до Петербурга дошли слухи, якобы Пугачёв отправил к нам, в столицу, трех своих казаков с ядом для отравления императорской фамилии...

Новгородский губернатор Сиверс, выразив удивление, сказал, что он лишь сегодня утром прибыл из деревни и о «сем неслыханном изуверстве» впервые слышит. Потемкин охотно сообщил ему, что поручик Державин чинил в Казани допрос некоему беглому солдату Мамаеву, пойманному на Иргизе в числе мятежников. При этом Державин доносил с экстрой в Питер, что «тайность души Мамаева открыть не мог, но только по всему видать, что он весьма не дурак, хранящий великое таинство, и самый важный». Мамаев на допросе якобы говорил, что он-де был секретарем самозванца и знает, что яицкие казаки отправили-де в Петербург для покушения доверенных с ядом. И даже приметы оных мизераблей сообщил.

По выражению лица Потемкина было заметно, что он тоже хранит в себе некое «великое таинство». И, насупив высокий и гладкий лоб, он сказал:

— Вот тут-то у нас сыр-бор и загорелся... Хотя я и наперед знал, что сие больше на вздор, нежели на дело походит... (Тут Екатерина и все присутствующие насторожились.) Однако в столь важнейшем пункте, как драгоценному здравью касающемуся, счел нужным сделать строгое изыскание.

Да к тому же и его сиятельство князь Вяземский добавил рвения: ищите, говорит, промежду челобитчиками, бродягами, так и между работниками. Ну уж, тут и-и-и давай хватать без разбору всякого! Очевидцем я был, как в Царском Селе, куда всеблагая государыня изволила на три дня выехать, сграбастали какого-то парнюгу. Его волокут под мышки, а он орет блажью:

«Ой, не хватайте меня под пазухи, чикотки страсть боюсь!»

Все засмеялись, улыбнулась и Екатерина. Потемкин достал из камзола простую берестяную тавлинку, понюхал табаку и продолжал:

— Оный Мамаев, по воле её величества, доставлен был в Петербург.

Сегодня я спросил Шешковского в шутку: «Ну как, Степан Иваныч, хорошо ли кнутобойничаешь»? (Тут Екатерина, сделав на лице брезгливо-возмущенную гримасу, откинулась в кресле столь стремительно, что шелк на её роброне зашуршал.) А он мне: «Да не худо, говорит. С Мамаевым, говорит, малую толику минувшей ночью перемолвился». И Шешковский поведал мне, что Мамаев вовсе не Мамаев, а дворовый человек помещика Ржевского Смирнов, был в шайке Пугачёва, но секретарем самозванца никогда не состоял, что посылка казаков с ядом им измышлена, он-де в Казани лгал и болтал от страха, видя, что поручик Державин грозитя его сжечь.

Известие о признании Мамаевым своего лганья было для всех новостью.

Все весело переглядывались друг с другом.

Екатерина сказала:

— Для чего ж ты, Григорий Александрович, меня о сем казусе не предуведомил?

— По причине того, матушка, что я не считал эту пустяковину делом государственной важности и не осмеливался до времени беспокоить ваше величество.

Сидевший в подчеркнуто небрежной позе Никита Панин, переглянувшись с директором императорских театров Елагиным, сказал:

— Сей сюжет, я чаю, сгодился бы нашему комедиографу Денису Иванычу Фонвизину.

— Речь о сюжетах пока отложим в сторону, — с оттенком явного высокомерия обратилась Екатерина к Панину, — из сего же мы усматриваем, что следственным комиссиям, одной в Казани, другой в Оренбурге, быть не вместно. Мы склонны к тому, и от вас, господа, совета ищем, чтобы обе комиссии соединить в одну и назначить им общего руководителя...

— Каковым и мог бы быть, — выждав время и ласково уставившись в лицо всесильного фаворита, произнес князь Вяземский, — каковым для общего руководства и мог бы быть Павел Сергеевич Потемкин, с отменной радостью изъявивший на то свое согласие.

— Быть по сему, — скрепила, чуть подумав, Екатерина. Скрывая в ясных и по виду откровенных глазах что-то свое, она раздраженным тоном

продолжала:

— Губернаторы Брант и Рейнсдорп не имели возможности всецело посвятить себя следственным делам, и оные дела перешли в руки молодых, преданных нашему престолу, но малоопытных офицеров. От сего, под влиянием страха и угроживания, происходили оговоры невинных лиц. Паче всего мы опасаемся, чтоб не были пущены в ход истязанья и пытки. Сие иметь в виду при составлении инструкции Павлу Сергеевичу Потемкину... Пытки есть дело противное нашему матерьнему сердцу, — закончила она, опустив глаза подобно школьнице, ожидающей похвалы.

Князь Вяземский слушал её с немалым возмущением. В его памяти вдруг возникло недавнее письмо к нему императрицы. «Я весьма любопытна, — писала она, — еще раз перечеть вздорное показание арестованного злодея Мамаева.

Нужно его самого сюда взять, дабы он противоречиями комиссию тамошнюю не сконфузил. А для примера и без него *есть у них кого повесить*».

Особенно любопытной показалась Вяземскому последняя фраза письма императрицы, бывшая в кричащем противоречии с только что сказанными ею словами касательно пытки. И он с желчью подумал про Екатерину: «Ах, ах, сколь много в тебе, матушка, великого лицемерия!»

Подумав так, он до смерти сразу же перепугался: а не спрятался ли где-нибудь за портьерой, или не сидит ли под столом заплечных дел мастер, страшный человек Степан Иваныч Шешковский, и не читает ли в его, князя, голове крамольные эти мысли? Поддавшись страху, Вяземский безотчетно покосился назад через плечо и даже пошарил под столом ногою.

Совещание продолжалось. Лучи солнца передвинулись на Екатерину.

Пролетающая белоснежная чайка мочила в Неве свои упруго очерченные крылья.

С барабанным боем, с песнями прошли строем солдаты, отбивая шумно прусский шаг. По реке скользили челны, рябики, лодки. Две неуклюжие баржи с сеном поднимались на завозных якорях по теченью вверх к Стрелке. Над Петербургской стороной нависала сероватая хмурица.

Потемкин, прикрывшись широкой ладонью, позевывал.

После неудачного боя под Кундравинской Пугачёв через леса и горы пробрался с яицкими казаками на реку Миас и стал здесь «скоплять» народ.

Вскоре присоединились к нему сотни три башкирцев, бродивших воинственной толпой между Челябиной и Чебаркулем.

В живописной долине Миаса, где бурная речка кипела меж камней, башкирцы поставили Пугачёву из кошмы и ковров юрту.

Было пасмурно, дул холодный ветер. В юрте шло совещание.

— Надо указы писать, а секретаря нету... Ни Горшкова, ни Шигаева с Почиталиным. Федор Федотыч, займись-ка ты, — сказал Пугачёв атаману Чумакову.

— Я не шибко горазд, ваше величество, — с преднамеренной грубостью ответил хмурый Чумаков. — Мое дело воевать, а не пером водить. Обмарались мы с войной-то! Как зайцы по кустам: пырх, пырх! Этак на край-свет загонят нас...

— Помолчи-ка ты, Федя, без тебя тошнехонько! — крепко проговорил Пугачёв, сверкнув глазами. — Лучше пиши-ка, что велю. А Творогов пособит...

— Сказываю тебе, не горазд я! — Чумаков отвернулся. — Вот народ сгуртуется, нужно артикулу его учить да стрельбе. Порядку нет у нас, вот чего...

— Заладил, как ворона на падали: кар да кар, — вспыхнул Пугачёв. — Баешь, народ сгуртуется? А того не ведаешь, что для оногo дела треба зазывные грамоты слать по жительствовам. Эх, ты, тетерья башка...

Обиженный Чумаков скосил на Пугачёва сердитые глаза, тряхнул бородищей, крикнул:

— Вот сам и пиши зазывные-то! Раз ты царем назвался...

— Я не назвался царем, а я царь есть!.. Сукин ты сын! Пошел вон, дурак!

Чумаков тотчас встал и, сутулясь, молча вышел из юрты. Афанасий Перфильев, вздохнув, молвил: «Эхе-хе...» и покрутил головой. Творогов успокоительно сказал:

— Брось, ваше величество, чего зря карактер себе портишь? Я бы приказы написал, да, вишь, правая рука болит. И я вот, слушай-ка, добрецкого тебе секретаря подыскал.

— Кто таков?

— Забеглый купецкий сын, из Мценска города, Иван Трофимов, а прозывает он себя — Алексей Дубровский. Парень выше меры смышленный. И, чаю, предан тебе по гроб. Он давненько с нами ходит.

— Проверку учинял?

— Говорю, парень самый наиверный. Одно слово — наш!

— Ладно, — повеселел Пугачёв. — Ужо пришли его. Ну, ин иди, Иван

Александрыч... И ты, Афанасий Петрович. Голова чегой-то болит... Тот черт-то перечит все, умней царя хочет быть, черт... Втолкуйте ему... Что ж это, царь я или не царь?

— Вестимо, царь-повелитель, ваше величество. Ну, отдыхай не то. — Творогов с Перфильевым встали, поклонились и бесшумно вышли.

Пугачёв тоже вышел на волю — ветер унялся, опять пекло солнышко, — присел на горячий камень у реки, задумался. Подошел приятного вида человек лет тридцати, низко поклонился Пугачёву, стал в отдалении.

— Кто ты?

— Алексей Дубровский, ваше императорское величество, — с готовностью гаркнул человек, держа руки по швам. — Господин Иван Александрыч Творогов к вашей милости послал меня.

— Ладно. Подойди! — Дубровский подошел. Он был высок, сухощав, лицом бел и чист, русые вьющиеся волосы, маленькая бородка. — Слых идёт — шибкий грамотей ты. Так ли?

— Совершенно так, ваше величество, грамотой господь да добрые люди вразумили меня изрядно да и по письменной части зело успешен. И в жизнь свою немало предивных книг прочел.

Пугачёву понравились быстрые и складные ответы молодого человека. Он снял казацкий простой кафтан, одернул шелковую с серебряными пуговицами рубаху, сказал, ласково поглядывая на Дубровского:

— А ну, поведай, молодец, кто ты, каким побытом прилепился ко мне? Только правду молви, я врак не люблю.

Алексей Дубровский кивком головы откинул назад русый чуб, откашлялся и, все так же держа руки по швам, заговорил:

— Как на страшном христовом пришествии, так и перед вами, всемилостивейший государь, поведаю о всем чистосердечно, не утая и не скрывая ничего, чинимого мною в свете. Сначала находился я при родителе моем, мценском купце Стефане Трофимове; служил родитель по обнищанию своему у разных господ и четыре года тому назад помре своей смертью. Став сиротою, вступил я во услужение московского богатейшего фабриканта и обер-директора Гусятникова, а служба моя на все руки: и приказчик я, и письменных дел заправило. Краше меня, бывало, никто прошенья в приказ или письма должнику не сочинит. Дар такой во мне, ваше величество. И был послан я фабрикантом в город Астрахань для взыску по векселям одиннадцати тысяч рублей. А на получении истрачено было мною на свои мотовские нужды тысячи с три... — закончил он, потупившись.

— Эге-ге! — оживился Пугачёв. — Хмельвинцом шибанул, да с девчонками, поди?

— Был грех, ваше величество, не смею утаить...

— А бабы-то в Астрахани как — матерые, поди?

— Как на страшном христовом суде показывают, разные бабы суть: есть и в телесах.

— Так, так, — улыбаясь, молвил Пугачёв. — Ну, поди, водятся и сухоробрые?

— Водятся, ваше величество, и сухоробрые, — не дрогнув ни голосом, ни мускулом лица, складкопевно повествовал начитанный, книжный Дубровский, надеясь красноречием своим повеселить государя. — Они для нашего мужеска пола, аки мед для мух. Подобно облаку небесному, зрак их легок, руки в лобзании охватисты, уста — что розов цвет, сладостью напитанный; голос аки свирель, призывающая к тихому отдохновенью. Ох-ти мне...

Пугачёв не прочь был позабавиться шутливым разговором. Похихикивая, он прыскал в горсть или, будто спохватившись, проводил ладонью по лицу от закрытого челкой лба до бороды и, подернув книзу бороду, старался напустить на себя важность. Когда Дубровский, осмелев, принялся живописать о многих астраханских грехопадениях своих, Пугачёв внезапно всхотнул и замахал руками.

— Брось, брось, Лексей! Не гоже мне это слушать, — утирая рот, бороду и взмокшее лицо, строго сказал он, помедлил мало и снова спросил:

— Ну, а рыжие под Астраханью есть?

— Ох, есть, ваше величество... Всякие... И рыжие и чернявые, и совсем чернущие, аки фрукта чернослив. Сии зовутся — персианки...

— Во! — ткнул ему в грудь Пугачёв пальцем. — Слышал, поди, про Степана Разина, старики песни про него певают? Вот у того Степана персианочка была пригожая... Я, слышь, тоже лажу по делам государственным на Астрахань путь принять...

— Ежели дозволите мне, ваше величество, слово молвить, я бы присоветовал, скопив силу, на Москву вдарить. Отворив сию дверь, вы шагнете прямо в Питер.

— Знаю, знаю, Лексей, где раки-то зимуют, — сразу переменяя тон, нахмурился Пугачёв и посмотрел в глаза Дубровского испытующе. — А ты, я гляжу, не глуп, молодец. И в лице твоём хитрости не зрю. Да ты, Лексей, садись.

Дубровский торопливо подошел к соседнему с государевым окатному



камню и присел. Внизу, под обрывом, река Миас лениво журчала меж камней.

— Ежели дозволено будет мне, скудоумному, слово молвить, я бы сказал так: посулить бы народу великие обещания и войску, противу вас прущему, такожде. Насчет рекрутского набору да податей, насчет бар и прочих утеснителей...

— Все оное в указах моих прописано, Лексей. Поди, читал... А вот надо иноверцам — указ. Сам я хотел писать, да чего-то не клеится. Турецкому султану послал намеднись грамоту по-турецки, своеручно писал, чтоб братскую подмогу оказал мне. А шведскому королю писал по-шведски, а немецкому Фредерику Второму по-немецки, ведь мы в закадычные приятели с ним подыгрывали. Бывало, пьяненькие целовались с ним: «Не плачь, говорит, Петруша, а я чую, на прародительский престол воссядешь ты, как пить дать, уж я тебя не оставлю». — «Спасибо, отвечаю ему, на царском верном слове твоём, Федя». Ведь я у него, почитай, три года гостил, как Катька-то с боярами пообидела меня. — Пугачёв говорил взахлеб, но не без лукавства в глазах. Потом он вскинул голову. — А вот сын мой, наследник Павел Петрович, дай бог, не оставляет меня, с сорокатысячным войском сюда идёт, на подмогу мне, старику. Да храни его бог и божья мать! — Пугачёв перекрестился, глаза его увлажнились.

Дубровский растроганно вздохнул, прижал к сердцу руку и так низко склонился, словно собирался упасть государю в ноги.

В полуверсте от них, на просторной, в редких кустарниках, долине шла потешная война: Перфильев, Чумаков, офицер Горбатов обучали ратному делу башкирцев, а заодно и вновь прибывших заводских крестьян. Были тут и те, что отстали от Пугачёва в последней схватке с Михельсоном, а потом, напав на след, вновь влились в народную армию. Потрескивали ружейные выстрелы, скакали всадники — парами и общим строем, сшибаясь друг с другом и как бы пронзая один другого деревянными, вместо пик, кольями, иные на всем скаку рубили саблями чучело из соломы и с криком «урра, алла» бросились в штурм на воображаемые города, крепости.

— Ишь, шумят, ишь, храбрятся! Кабы на войне так-то. Это Перфильев с Горбатовым стараются, — сказал Пугачёв, поглядывая на задорную войнишку.

— Добре, добре, — сказал он и поднялся. Вскочил и Дубровский.

Желая укрыться от боевого шума, они пошли вдоль берега, к серо-красной обрывистой скале. Дубровский нес государев кафтан.

— Сказывай-ка про себя дале.

— А дале так. Промотал я все одиннадцать купеческих тысяч, ваше величество. Как и не бывало их... А промотав, убоился возвращаться к толстосуму Гусятникову и сочел за благо удариться в бега. Дав мзду, поплыл я на кашкурской кладной вверх по Волге до городу Сызрани, оттуда прошел пеш через Казань, Кунгур, Екатеринбург, полковника Тимашева на винокуренные заводы. Здесь, каюсь, состряпал я фальшивый паспорт на имя Алексея Ивановича Дубровского, переведя на оный с просроченного своего паспорта Мценского магистрата сургучную печать.

— Мастер, значит, — подал голос Пугачёв, пряча в бороду ухмылку.

— И был с тем паспортом допущен я в контору заводскую для письменных дел, — продолжал Дубровский живо. — Не учинив никаких пакостей, а видя лишь пакости начальников и служащих, оттуда через год сбежал я на Златоустовский завод. В октябре же прошлого года был отправлен с работными людьми на медный рудник. Вот уже где хватил я поту соленого! На заводе да в руднике-то, работным человеком бывши, я все жилы надорвал... О ту самую пору приехали башкирцы с командиром Мраткой Батырем, всюду разглашая, что явился-де под Оренбургом истинный государь Петр Федорыч Третий. И со оными башкирцами отправился я под Оренбург, в Берду. С той поры неотлучен от вашей, государь, великой армии.

Пугачёв, остановившись, круто повернулся к Дубровскому, в упор взглянул на него, сдвинул брови:

— Верить ли, Лексей, что есть я истинный государь Петр Федорыч?

Дубровский сшиб щелчком букашку, ползущую по царскому кафтану, который бережно нес он, и повалился Пугачёву в ноги.

— Верю, аки в самого господа, и служить вам клянусь до самые до смерти!

Пугачёв поднял его, проговорил:

— Жалую тебя главным секретарем моей Коллегии и еще богатым кармазинным кафтаном с золотым позументом. Верь мне, верь, Лексей, в великих чинах будешь, как сяду на престол. В путь мой престолодержавный, народу угодный, все таперь поверили. Взять Деколонга генерала. Шепнул я ему под Троицкой крепостью, он сразу же и повернул с сибиряками в Челябину, сидит таперь там смиренно, не рыпается. А командующий князь Щербатов, письмо получив от меня за царской печатью, такожде без шуму в Оренбурхе сидит: я-де противу государя своего воевать-де не могу. Один немчин Михельсон Фан Фаныч супротивится. А и он долго ли, коротко ли, низринут будет... Какая да нибудь береза давно по Михельсонишке, по собаке, плачет. Ну и

закачается! У меня все вороги закачаются! — взмахивая рукой, закончил Пугачёв. — Весь свет закачается! Все раскачаю и оземь грохну... На! Вот кто я есть. — Он тяжело дышал, глаза его сверкали. Дубровский разинул рот, попятился от государя. Вдруг, оглядевшись по сторонам, Пугачёв тихо сказал:

— А ты, Лексей, нет-нет да ухом и приклоняйся, и вслушивайся, что вокруг бают... графья-то мои да атаманы... Они тоже в присмотре нуждаются... Мало ль их вьется возле. Языком треплют ладно, а что на душе — сами, поди, иной час не ведают. Ну, да я ведь крут. Я ведь в обиду не дамся...

Шли медленным шагом, обсуждали разные дела: как писать, кому направлять указы. Затем, отпустив Дубровского, Пугачёв накинул на плечи кафтан, легким скоком подбежал к пасущейся на луговине незаседланной чьей-то лошади, поймал её за гриву, мигом вспрыгнул на нее и помчался в поле, на ученье.

— Здорово, детушки! Помогай бог работать!

— Здоров будь, бачка-осударь!.. Здравия желаем вашему величеству! — дружно несло со всех сторон.

Пугачёв подъехал к хмурому Чумакову.

— Вот что, Федя. Неча на меня губы дуть. Ежели обидел, не взыщи...

Слышь-ка, сколь у нас пушек?

— Три, — сквозь зубы заговорил Чумаков. — Одна с боку трещину дала, бросить доведется. Я людей на завод спосылал, обещали восемь пушек отлить.

— Где пушки?

— А эвот на пригорке.

Пересев с клячи на своего заседланного жеребца, Пугачёв нахлобучил поданную шапку и подъехал к пушкарям.

— А ну, стрельцы-молодцы, как вы пушки заряжаете да наводите?

Григорьев, ты, кажись, канониром себя считаешь. Эвот сосна на скале. С версту, а то с гаком будет. Ну-ка, наведи...

Расторопный, с рваными ноздрями, Григорьев Федор сказал: «Слушаюсь», — и стал поспешно налаживать орудие.

— Готово, батюшка.

Пугачёв соскочил с коня, проверил прицел, сказал:

— В небо нацелил... Эх, ты! Больно скор... Ну-ка, Митрий, ты...

Наводил Митрий, наводил Андрей Петров и многие другие. И всякий раз Пугачёв поправлял их, давал прицел сам.

Засыпали пороху, вложили ядро. Пугачёв старательно нацелился по

дереву на скале: «Прощай, матушка-сосна, только тебя и видели», — и велел запаливать фитиль. Пушка грохнула, сосна кувырнулась в реку, от верхушки скалы пыль-каменья полетели.

— Вот как надобно, пушкари! — подморгнул Емельян Иваныч восхищенным артиллеристам и заломил шапку набекрень.

К вечеру, рядом с юртой государя, стояла юрта Военной коллегии. Там Дубровский, обливаясь от жары потом, доканчивал указы к русскому населению, к башкирцам, к мещерякам. А кончив, понес на провер царю. Над юртой развевалось государево знамя, при входе стояли вооруженные бородачи-казаки. Дежурный Давилин ввел секретаря к государю. Пугачёв сунул полупустую бутылку под стол. Он в свежей шелковой рубахе сидел на ковре за низеньким башкирским столиком, трапезовал. Дубровский подал указы, приметно волнуясь. Пугачёв, говоря:

— «Давай, давай, давай», — стал внимательно рассматривать исписанные кудрявым почерком листы. Сопел, хмурил брови, то близко поднося бумагу к глазам, то отстраняя, усердно шевелил губами.

— Ах, добро!.. Ах, добро! — сказал он. — Знатно, красиво пишешь...

Мастер... А ну, прочти сам, не борзясь. Указы-то народу будут читаться во всеуслышание, да вот ладно ли? Я вроде как за народ буду, а ты чти, проверку, значит, сделаем, на слух. Забирай, Лексей, в гул, да погромче, как на площади.

Дубровский поклонился, взял листы, откашлялся и басистым голосом начал:

— «Указ нашего императорского величества самодержавца всероссийского верноподданным рабам, сынам отечества, наблюдателям общего спокойствия и тишины».

— Добавь, отколь указ. Из Государственной военной, мол, коллегии, — заметил Пугачёв.

— Эх, запомятовал...

— «Мы отечески нашим милосердием и попечением жалуем всех верноподданных наших, кои помнят долг свой к нам присяги, вольностью, без всякого требования в казну подушных и прочих податей и рекрутов к набору, коими казна сама собою довольствоваться может, а войско наше из вольножелающих к службе нашей великое начисление иметь будет. Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями

отягчать не будет, понеже каждый восчувствует вольность и свободу».

— Ладно, — похвалил Пугачёв. — Точь-в-точь как толковал я тебе. Токмо надлежало бы насчет подушных, да податей, да вольности, да рекрутского набора появственней, чтоб запомнили, чтоб сразу в башку вдарило да влипло.

— Перебелять буду, покрупней выделю сие...

— Во, во... Такожде и насчет дворянства. Пишешь, что крестьян великими-де работами да податями господишки отягчать не станут... Просто сказать бы: вешать-де дворян к чертовой бабушке, башки рубить! — Взор Пугачёва засверкал. — Еще добавь, Лексей, насчет каткиных войск, чтоб все мои верноподданные истребляли оных злодеев, аки саранчу, и себя тем злодеям в обиду не отдавали бы.

— А это дальше прописано, как вы повелеть изволили. Дозвольте огласить указ главному над мещеряками полковнику Канзафару Усаеву, как вы внушали мне утресь, когда учиняли променаду.

— «Усмотрев, государь, твои прежние справедливости службы, так и ныне повелевает тебе ниже сего повеленные приказы исполнять. Во-первых, получа тебе сей указ и приложенный при сем именной манифест, во объявление не склоняющемуся народу во всех жительствовах, в которых ты склонение иметь будешь... дабы они под скипетр его императорского величества склонялись...»

— Прибавь: «доброупорядочно».

— «...склонялись доброупорядочно, который по получении всероссийского престола от всяких прежде находившихся податей...»

— Прибавь: «от бояр и завистцев несытого богатства».

— Слушаю. — Дубровский взял из-за уха гусиное перо, обмакнул в походную, привязанную к поясу медную чернильницу, вписал.

Вошел дежурный Яким Давилин.

— Творогов, ваше величество, желает твою милость видеть...

— Чего без зову лезешь? — вспылil Пугачёв. — Видишь, государственными делами занимаюсь... Ну, что Творогов?

— Творогов Иван Лександрыч привел нового повытчика...

— Нет нового повытчика, пока я не поставил! — опять вспылil Пугачёв.

— Ну?

— Ощо привел он писчиков да толмачей, указы твои на татарскую речь поворачивать...

— Пусть торчат в Военной коллегии, зову ждут. И с Твороговым вместех.

И ты не лезь, стой за дверьми, пока не покличу. Да пущай Творогов сготовит башкирцев да русских человек с двадцать, пущай на конь сядут да указы, да манифесты мои в ночь развезут по жителям. Чтoб стрелой летели, вмах!

Слышь, Давилин, дакось какую тряпицу почище, рожу утереть, взопрел. Дежурный подал рушник. Пугачёв, принудив себя, сказал:

«Благодарствую» и обратился к Дубровскому:

— Ты не дивись, Лексей, что я другой раз по-мужицки толкую: «рожу» да «взопрел». Мне ведь много лет с народом простым довелось путаться, от царского-то побыта отвык.

Дослушав со вниманием все указы и повеления, Пугачёв сказал:

— Ну, таперь, Дубровский, припечатать треба указы-то, смыслишь, поди, как? Смолка-то есть?

— Сургуч при мне, ваше величество, царскую печать дозвольте.

Сидя по-татарски на ковре, Пугачёв вытянул правую ногу и отвалившись назад и влево, полез в карман штанов. Вытащил полную горсть всякого добра и высыпал на низенький, по колено, столик. Тут были золотые и серебряные монеты, огниво с кремнем, сахарный леденчик, две свинцовые, не правильной формы пули, волчий клык, женская подвязка с медной пряжечкой, огарок восковой свечи, какая-то медаль в прозелени, маленький шитый бисером сафьяновый кошелек и, наконец, сердоликовая печать с княжеской короной и буквами П. Н. В. Секретарь Дубровский с удивлением и доброжелательной улыбкой глядел на этот пересыпанный хлебными крошками хлам, по-видимому, и сам Пугачёв был удивлен такому в своем кармане беспорядку.

— Это зовется по-персиански шурум-бурум, — ухмыльнулся он и подал секретарю печать. — Поганенькая печатка, не хворменная, надлежит с моей императорской личностью, да вот настоящего знатеца не усчастливлюсь добыть. Ты, Лексей, учнешь печати ставить, как можно слюнь печатку-то, не жалей слюней-то...

Он был в хорошем настроении, вполне довольный и Дубровским, и указами. Секретарь принялся ставить печати. Пугачёв, плутовато таясь, взглянул на него, вынул из шитого жемчугом кошелечка пучок волос, перехваченных маленьким колечком, легонько провел ими по щеке, понюхал и, покивав головой и вздохнув, спрятал.

— Оные власы, — сказал он Дубровскому печально и тихо, — отхвачены мной своеручно ножницами от косы супруги моей, великия государыни всея России Устиньи Первой...

— Поскольку мне ведомо, — приятным голосом заговорил

Дубровский, капая на бумагу сургуч, — великая государыня Устинья Петровна не первая, а вторая супруга ваша... Первая-то Екатерина Алексеевна... сколь помнится, — и, посплюнув печать, он пристукнул ею по кипящему сургучу.

— Врешь, Лексей, врешь, — прищурился Пугачёв на секретаря и облизнул губы. — Катька не первая, а вторая пишется. Так и в манифестах её поганных пропечатана: вторая. Ась?.. Не спорь, Лексей... Ведь я катькины волосы тоже таскал в ладонке при кресте, да в Цареграде в печку швырнул. Тама-ка султан свою дочь султаночку за меня сватал. — Пугачёв говорил плавно, не торопясь, не скрывая, однако, улыбчивого блеска в глазах. — А султаночка — раз взглянешь, век будешь помнить девку; поди, покраше твоих астраханских присух. Тут разум мой закачался, грусть пала, тоска-кручина забрала меня.

Вот втапору катькины-то волосы я и выбросил. А с его величеством, султаном, в цене не сошлись мы. Я требовал за дочь полцарства, да еще Русалим-град, с гробом господним, а он, собака, сулил мне одно Черное море со всей рыбой, какая в нем есть, а сверх того ни хрена. Тут я его величеству, турецкой образине, и плюнул в бороду. Ась?

Дубровский прыснул, затем откинул кудрявую голову и, боясь неудовольствия государева, но не в силах сдержаться, громко засмеялся.

Захохотал и Пугачёв.

Наступили густые сумерки, в юрте серело. Зажгли фонарь.

— Слышь-ка, Лексей, пошарь-ка, пожалуй, эвот в той суме, бутыл там, давай опрокинем по чарочке. Пьешь?

— Грешен, ваше величество, как на страшном христовом суде показываю, ваше величество, пью. И пью, и лью, и в литавры бью...

— О-о, весельчак ты... А я вот не пил бы, не ел, все на милую глядел... Эхма!.. Давай, что ли, за Устинью! (Он поднял над головой чару.) Здравствуй, великая государыня, Устинья Петровна! Пей... (Выпили.) А я вот все сохну и сохну по ней, по её величеству... Ась? (Дубровский стрельнул глазами в румяное, щекастое лицо Пугачёва и, мысленно ухмыляясь, подумал:

«Оно и видать... Сохнешь, как в омуте рыба-сом».) Сохну и сохну. А ни хрена не поделаешь, у меня Россия на руках, несусветная война, а у ней что? Кончил, Лексей? Благодарствую. Ступай в Военную коллегию, пуццай писчики строчат копии проворней, чтоб в ночь указы были разосланы...

Головой отвечаешь!.. Вся коллегия головой отвечает! — крикнул он изменившимся, властным голосом. — Да послать сюда Творогова!

На указы и воззвания Пугачёва народ откликнулся с готовностью:

башкирцы и заводское население восстали как один человек.

Начался в Уфимской губернии разгром заводов: Вознесенского, Верхотурского, Богоявленского, Архангельского, Катавского и других.

Хозяева, или управляющие, спасаясь бегством, сидя в городах, еще не охваченных восстанием, просили у главнокомандующего князя Щербатова быстрой помощи. Князь Щербатов резонно отвечал, что не может на каждый завод поставить воинский отряд и что если заводы разорятся, то в этом более всего повинны сами заводчики, ибо «жестокость заводчиков со своими крестьянами возбудила их ненависть против господ».

По дорогам, по горным тропам стали прибывать к Емельяну Пугачёву толпы заводских крестьян; с проклятьем побросав свои немилые деревни, они бежали сюда с семьями. Были доставлены две пушки, свинец, порох, ружья.

Пугачёв «скоплялся» в долине реки Миаса восемь суток. Под его знамена собралось ополчение более чем в две тысячи душ.

А военачальники правительственных отрядов потеряли и самый след его.

Покидая свои семьи, бросая родимые места, народ сознательно обрекал себя на всякие лишения, на голод, болезни, пытки и даже смерть. Народ ничего не страшился, им руководило единое желание — поскорей сыскать вождя, хотя бы атамана, старшину, либо государева полковника, всего же лучше самого батюшку Петра Федорыча, мужицкого заступника.

Меж тем на реке Миасе вожди мещеряков и башкирцев — Рахмангула Иртуганов, Кинзя Арсланов и другие — вели с Пугачёвым переговоры.

— Когда же твоя царства будет? — вzywали они. — Бьемся, бьемся, а толку нет. Уфа, да Казань, да Москва брать надо, на царство залазить надо, а то мы спокинем тебя! — кричал Иртуганов. — Жизнь своя всяк собак жалеет, мы помним, какой казня был нам при государыне Лизавет. Ты тоже нас в беду хочешь бросить? Ты вскочил на конь да и был таков, а мы оставайся.

Сидели в юрте государя. Пугачёв был мрачен. «Опять зачинается непокорство, как и там, в Берде», — горько раздумывал он.

— Детушки, верные мои мещеряки и башкирцы, — заговорил он уветливым голосом. — Послушайте, что скажу... Поддержите меня таперича. Наш бог, да ваш бог аллах, авось, помогут мне одолеть врагов и воссесть на прародительский престол всероссийский. Тогда утру вам слезы и возвеличу вас.

Иртуганова он пожаловал в генералы, другого старшину — в бригадиры, а человек пять произвел в полковники.



## Глава 6.

### Путь-дорога. Пред лицом царя.

#### 1

Наконец-то купец Долгополов добрался до Казани. Здесь проведал, что бунтовщики стоят в Берде, под Оренбургом. А другие толковали, что самозванец у Троицкой крепости.

Долгополов немедля пошел на толчок, купил там разные интересные вещички: шляпу с золотым позументом, красные козловые сапоги форсистые, еще кой-что, нанял надежного провожатого Гаврилу (кузнец и крашенину красил) и, помолившись усердно Казанской богородице, выехал на Оренбургскую дорогу.

Гаврила поругивал Пугачёва, говорил, что он самозванный вор, послушай-ка, мол, что про него, злодея, казанский архиепископ Венимин в бумагах пишет... Тогда Долгополов разоткровенничался, сказал:

— По правде-то, я не сына еду искать, как тебе сказывал, а этого злодея. Я покойного государя знавал, он мне за овес должен остался сот семь, поболее... Ежели оный злодей доподлинный государь, спрошу долг, а ежели нет, назовусь купцом, так, полагаю, вешать меня будет не за что...

К вечеру встретили запряженную четверней карету. В карете старый барин с седыми усищами трубку курит, рядом с ним старуха в чепце, на запятках лакей. А сзади — обоз, на пятнадцати подводах барское добро везут. На переднем возу девка с двумя кошками.

— Откудова, куда? Кто такие? — не утерпел Долгополов.

— Барин Зотов, секунд-майор в отставке, в Казань перебирается, — ответил с воза рыжий мужик.

— А пошто в Казань?

— Животы спасаем. Лихо у нас, — и мужик махнул рукой в сторону Оренбурга.

Долгополов переглянулся с кузнецом Гаврилой, вздохнул, прочел про себя «умную» молитву. По дороге — гонцы взад-вперед на взмыленных лошаденках, надетая через плечо кожаная с медными бляхами сумка бьет по бедру.

— Дорогу, дорогу! — кричат они.

Попадались в кибитках — во весь мах — офицеры, трусцой пылили на двуколках сельские попики в поярковых, порыжевших от времени шляпах

грибом. Вышагивали, подоткнув подолы, странницы по святым местам. Плелись слепцы, калеки, нищоброды.

В татарской деревне Долгополов нанял возницей татарина. Поехали дальше. Стали встречаться кучками человек по полсотне и больше пешие русские мужики, башкирцы, татары. Вид их необычен: загорелые, обросшие волосами, в лохмотьях, с топорами, пиками, дубинами.

— Откудова бог несет, братцы?

— Из-под Берды, — отвечали Долгополову. — Царя-батюшку злодеи осилили там, с малым войском в горы батюшка ушел, а мы по домам вот разбреемся... Отвоевались!

— С чем же воевали-то? У вас и оружия-то нет.

— Ха, с чем!.. С кулаками!.. По тому по самому наших там густо полегло. Кои в плен забраны, кои побиты... Прямо тысячи... А мы утекли.

— Что ж, виниться будете? — спросил кузнец Гаврила.

— Пошто виниться... Мы за правду стояли, за землю, за вольности...

Нам так и так пропадать.

— Супротив кого же, православные, воюете вы? — улыбаясь, спросил Долгополов.

Его телегу окружили. Высокий широкогрудый старик сказал гулким басом:

— Мирских супротивников много, мил человек... Господ будем щупать да начальников. Вся Русь вскорости возьметса полымем, уж поверь. Либо наш верх содеетса, либо миру окончание наступит.

Долгополов тронулся вперед. Из толпы закричали:

— Эй, проезжающие! А что, солдатишек не чутко там?

— Нет, — ответил кузнец, — шагайте смело.

Вскоре попалась путникам ватага арестованных крестьян, человек в сорок. Все они связаны общей длинной веревкой, идут в две вожжи, непокрытые головы наполовину выбриты, руки скручены назад, в глазах хмурь и злоба.

— Куда, солдатики, гоните? — спросил Долгополов.

— В Казань, в Секретную комиссию, — неохотно пробурчали конвойные.

— В чем проштрафились?

— За царя-батюшку постоять хотели, родимый, вот и казнимся, — с надрывом прокричал тоненьким голосом широкобородый дядя.

На третьи сутки, поздним вечером, путники увидели, как горит в версте от дороги барский дом со службами. Со всех сторон на подводах и вскачь мчались к пожарищу мужики соседних деревень, весело

перебрасывались докрасна раскаленными словами:

- Зачинается и у нас хвиль-метель!.. Ха-ха!
- Четвертое поместье на сей неделе пластает.
- Ой, и лихо ж будет барам!

Долгополов с Гаврилой решили остановиться в большом селе Мазине, недельку отдохнуть, переждать тревожное время. Поселились у старого попа — отца Нила. Поп жил, как мужик, грязно, с клопами, с тараканами, ходил в лаптях, в холщовых портках и рубахе, а сверху — ветхая ряса из домотканой крашенины. Церковную землю обрабатывал сам-друг с поповичем, возил навоз, пахал, сеял, косил траву. Гаврила помогал отцу Нилу, Долгополов слонялся без дела, высматривал, вынюхивал, чем пахнет сегодняшняя жизнь. Повадился он к старому пасечнику Прову, на речке возле леса пчел держал, сорок колодок барских да пять своих. Даст купец деду копейку или две, а тот ему меду в угощенье.

— Пчела ныне медиста, — говорит согбенный дедка Пров, — гляди, господь батюшка цветов-то што насеял да уродил.

Разведут костер, Долгополов щепоть чайку принесет, попотчует деда невиданной травкой. Дед доволен: с медом, да при речке, да за разговорами целый котелок опорожнят с гостем.

К деду частенько хаживали крестьяне. Как-то под вечер собралось десятка полтора молодых и старых мужиков, среди них беглый солдат, бывший в лагере Пугачёва, и еще барский конюх-парень, — он накануне, по приказу управляющего, был выдран. Появилось вино. Дед речист. Подвыпив, стал небылицы говорить.

— Доподлинно это Петр Федорыч, своего прародительского добивается престола. Уж так, ребяташки, уж так, — шамкал Пров; лицо и лысый череп крылись потом. — Петешествовал он по всему своему государству в тайности, разведывал обиды да отягощения мужикам от бар. И желал он еще три года не объявляться, что жив, а токмо не смог стерпеть: уж больно в шибкой пагубе простой люд живет. Он теперича, наш надежа-государь, многими городами завладел, на Москву для покорения сто полков отправил, а под Кунгур собственный его полковник Белобородов двадцать полков ведет. Два завода государь в степу построил, белый да черный порох вырабатывать чтобы...

Белый порох, сказывают, шибко палит, а огоньку не дает ни на эстолько...

— Враки... это... как его... Уж я в точности ведаю, враки, дедка, — перебил беглый солдат-Пугачёвец; левая рука его подрублена под пазухой

саблей, на перевязи; он лежал у костра, курил трубку, поплеывал в огонь.

— Белого пороху вовсе нет, дедка, а черный, это... как его... есть. Много.

И пушки есть. Пушек без счета. У Ново-Троицкой крепости они в шесть ярусов понатырканы. А зовется тая крепость Петербургом, а Чабаркуль — Москвой.

Пасечник Пров озлился на беглого солдата, зафырчал:

— Есть белый порох, есть! Мне верные люди сказывали, тоже самовидцы... И еще сказывали: приехали-де в Оренбург его высочество наследник Павел Петрович с супругой Натальей Алексеевной, и сам граф Захарий Чернышев с ними. Ну, знамо, и главный командующий, генерал-аншеф Бибииков Александр Ильич, прикатил. Да как съехался Бибииков с государем, да как увидел точную его персону, зело утравился. Вовсе это не Пугачёв Емелька, как в питерских манихвестах врут, а сам государь Петр Федорыч перед ним. Что делать, как быть? Тут Бибииков глотнул из пуговицы лютого зелья, крикнул: «Прости меня, дурака, ваше величество!» и умер. Вот как было дело-то... А ты баешь, служба, белого пороху нет... Есть белый порох!

Эй, ребята! Давайте-ка винца чуток.

Мужики не знали, кому верить: сухорукому солдату или Прову, однако они ловили каждое слово с упоением, поощрительно перемигивались друг с другом, с охотой поддакивали и Прову и солдату, — они в душе верили им обоим.

— Хоша белого пороху на свете и нет, — упрямо сказал солдат, с раздражением посмотрев на старика, — одначе, это... как его... Одначе ты, дедка...

— Не может тому статья, — оборвал солдата подвыпивший Долгополов, — чтобы сам Павел Петрович с супругой прибыл из Петербурга. В газетине печатали бы, гонцы бы скакали, скороходы, скоморохи... Я из Москвы недавно, в известности был бы об этом самом.

— Ну вот, толкуй, кто откуль, — недовольно перебил купца пасечник Пров. — А я-то знаю доподлинно. Нашему мельнику отписывал про это Гаврило Ситников, служитель Юговского завода, он ныне при армии государя в атаманах ходит. Ему ли уж не знать!

— Да уж это так, — поддержали деда со всех сторон. — Мимо нас беглые то и дело сигают: кто к царю в войско, кто от царя... Много верных толков идёт в народ... Ну и приврут когда, уж без того слово не молвится, а все же таки...

— Да и каждому разуметь можно, — опять начал пасечник Пров, —

ежели б то был не подлинный государь, давно бы царица против него полки прислала... А где они, полки-то? Пришлют роты две-три, и те без вести пропадут...

— Ну, а кто же царя под Бердой-то разбил? — прищурился на старика Долгополов. — Мне повстречались давеча мужики в дороге из его армии, сказывали.

— Врут мужики твои, либо ты врешь! — закричали на Долгополова. — А мы все с часу на час ждем, чтоб быть за государем. Хоша Катерине Алексеевне присягу и принимали, токмо не от чистого сердца, а поневоле. Раз она бабского званья, так пущай бабы и служат ей.

Разговоры велись до глубокого вечера. Вот и заря угасла, пчелы спать легли, перекрякивались утки в камышах, потянуло из лесочка смолистым запахом. Выпито компанией изрядно. Конюх Гараська, что вчера выпорот на конюшне был, слетал к целовальнику за водкой. Долгополов на это дело три гривенника дал. Гулянка продолжалась. Костер жарко потрескивал. Гараська плакал, бил себя в грудь, скрежетал зубами:

— Вот токмо пусть, токмо пусть государь придёт али гонец евонный, кишки управителю выпущу... Не трог мужиков!

— А помещика-то, барина-то своего, будешь вешать? — глядя на его буйство, хохотал народ.

— Пошто?! — крикнул Гараська и перестал плакать. — Барин у нас добрецкий, худа от него нет никому... Да и наезжает к нам редко...

— Это все едино, — шумели мужики. — Худ ли, хорош ли, а вешать неминуемо. От царя-батюшки указ: дави!..

Пьяный солдат совался у костра носом, приплясывал, падал на землю, шумел:

— При государыне Анне Ивановне служил! А вот теперя батюшке Петру Федорычу этого... как его... довелось служить... мирскому печальнику. Он до простого люда жалостлив!

— Эка штука — Анна Ивановна твоя, — перебил его дед Пахом. — Я при самом Петре Перьвом службу нес, да и то молчу, — кряхтел старик, стараясь приподняться с четверенек. — Он, царь-отец, может, своеручно дубинкой меня на смотре вдоль спины огрел... Да и то молчу... Он крут был, покойничек...

А белый порошок есть. Без полымя палит... Есть белый порошок, есть!..

Пьяный Долгополов шел домой один.

— Ур-ра, царю Петру Федорычу!.. Ур-ра!! — не помня себя, вопил он.

Тут на него наехал всадник, нагайка с визгом опоясала его вдоль спины, он сверзился под изгородь в крапиву и потерял сознание. Как сквозь

сон чувствовал: волокут его за ноги по земле и накладывают в зашиворот.

Ранним утром Долгополов сидел в поповской избушке против офицера и трясся, как в лихорадке. Все вчерашнее вылетело из головы, в мыслях мелькало: «Фальшивый вексель, фальшивый вексель, купец Серебряков погоню из Москвы послал... Пропал я...» У печки седовласый поп в лаптях трубку курит, на пол поплеывает, взглянет исподлобья на купца — улыбнется, взглянет на офицера — нахмурит брови. Попович курицу щиплет, матушка блины печет. А в церковной ограде восемь под седлами коней пасутся, солдаты вразяжку на траве лежат.

Начался допрос с острасткой, то есть с поднесением офицерского кулака к бороденке Долгополова и с угрозой выбить зубы, на что Долгополов смиренным голосом отвечивал, мол, зубы у него давно выбиты, а что касемо векселя...

— Какого векселя?.. Отвечай на вопросы, мерзкий дурак! Мне возиться некогда с тобой.

Долгополов тотчас смекнул, что дело тут не в векселе, значит, все слава богу, из остального всего можно, как ни-то, выкрутиться... Паспорт есть, денежки в штанах. Он сразу взбодрился.

Стал показывать, что он ржевский купец Остафий Трифоныч Долгополов, стал густо врать, что у него во Ржеве две мельницы, фабрика канатная, на три раствора лавка с красными товарами, он при дворе бывал, овес для царских конюшен доставляет, саму матушку-государыню, её императорское величество, Екатерину Алексеевну не единожды видывал. А ищет Долгополов распутного сына своего Ваську: он, наглец, с красным товаром в орду поехал, да, надо полагать, и товар и деньги пропил... Ах, как наказан он сыном от господя!

Узнав о богатстве Долгополова и просмотрев подорожную его, офицер тотчас изменил свое отношение к нему:

— Вот что, господин купец... Поелику пред законом её величества все равны, то я вас, в силу долга и присяги, обязан привлечь за ваши крамольные вчерашние кличи... Кому вы кричали «ура»?

— Не помню-с. Зело пьян был, васкородие. В забвении-с... Хоть убейте, ей-ей, ничего не помню-с. Окромя сего, не угодно ли в картишки со мной, васкородие, на золотце?

Офицер был умягчен питательным обедом, крепкой выпивкой и

золотой игрой. В игре офицеру дьявольски везло. Долгополов от подозрения был освобожден, офицер перепорол на соседнем селе восемь человек да двух поджигателей повесил, в селе же Мазине, где квартировал купец, наказал розгами двенадцать крестьян и увез с собой закованного в кандалы солдата-Пугачёвца.

По отъезде офицера с карательным отрядом отец Нил перекрестился, взял Долгополова за плечи, сказал:

— Ну, чадо Остафие, возблагодарим господа, еже избавил еси тя...

Оба встали на колени и кланялись в землю с усердием.

На другой день Долгополов заторопился ехать дальше. Кузнец Гаврила в ночь от него сбежал, сказывают — поймал в поле барского коня и махом утек в Уфу, будто бы в стан самого Емельяна Пугачёва.

Долгополов двинулся с верным татаринном Махметом. Стали попадаться частые Пугачёвские разъезды. Татарин присоветовал сказывать встречным, что едут-де они к государю. Долгополов так и делал. Поэтому обиды от Пугачёвцев путникам не было. Из разговора татар да башкирцев Долгополов примечал, что были те к Пугачёву весьма усердны.

— Царь-бачка на реке Миас пошла, оттуль побежит крепости брать, воевод крошить. Красноуфимск заберет да Осу. Оттуль на Казань...

— Ну, а что, — любопытствовал Долгополов, — доворян-то много извел царь-батюшка?

— У-у-у... Борони бог! — защуриваясь, причмокивая, взмахивали татары руками. — Бульно много... Что дворян, что офицеров...

— Ну, а купцов не вешает?

— Нет, — сказал татарин.

— Ну, слава богу. Я купец.

— Купцам он... секим башка! — Татарин, ударив ребром ладони себе по шее, вытаращил глаза на купца.

Долгополов съежился, испуганно передохнул.

В селе Яныч Долгополова окружили мещеряки и татары: «Куда едешь? Пошто едешь?»

— А еду я к великому государю Петру Федорычу искать приказчика... С товаром поехал, без вести пропал. Пущай государь по своей великой милости сыск учинит подлецу!

Бывший тут «походный мещерятский полковник», мулла Канзафар Усаев, увидя в телеге Долгополова туго набитую кису, строго спросил его:

— Куда едешь? Какой дела? Какой прикащик? Чего врешь?..

Он вытащил кинжал, раскосыми глазами стал рассматривать клинок, стал щупать на ноготь лезвие.

Долгополов оробел, подумал: «Влопался, никак. Кажись, бунтовский начальник?» И, запинаясь, ответил:

— Я везу государю подарок из Питера.

— А ну, кажи! — еще строже приказал видный, дородный Канзафар и посверкал кинжалом.

Долгополов нехотя развязал кису.

— Карош подарок, шибко карош, — проговорил Канзафар.

Он был очень подозрителен и решил сопровождать купца до царской ставки. Приняли путь к городу Осе. Разъезды попадались еще чаще, но путников никто теперь не останавливал.

На другой день Канзафар стал настойчиво приставать к купцу, от кого он везет подарки государю. Долгополов сначала мялся, потом не колеблясь объявил, что едет он с дарами от великого князя цесаревича Павла Петровича. Жирное скуластое лицо Канзафара растеклось в сладостную улыбку.

Прикряхтывая, он зачистил: «Якши, якши, якши!» и послал сына своего предупредить государя о радостном известии.

### 3

Через три дня Долгополов прибыл в войско. Пугачёв стоял в сорока верстах от Осы. Сын Канзафара Усаева, присланный своим отцом, успел прискакать сюда еще вчерашний день. Весть о гонце от наследника престола стала известна многим.

Долгополов был позван к Пугачёву. С немалым трепетом он подходил к царской палатке: вот сейчас увидит государя императора, бритого, напудренного, в буклях, в треуголке, в высоких тугих ботфортах. Но, войдя к царю, он остолбенел, едва не крикнул: перед ним сидел на ковре, поджав по-татарски ноги, чернобородый дядя в шелковом халате, лицо крепкое, румяное, с загаром, темные глаза, выпуклые, быстрые, почти весь лоб закрыт в кружок подрубленными, наперед зачесанными волосами. Все же Долгополов низко поклонился.

— Здорово, дедушка, — ответил Пугачёв. В палатке никого больше не было. — Что за человек, откуда прибыл, к кому и зачем? — спросил Пугачёв негромко, усталым голосом.

— Я ржевский купец Остафий Долгополов, прибыл к вашему величеству с подарками от великого князя, наследника Павла Петровича.

— Гм, — промычал Пугачёв, и под его усами мелькнула едва



приметная улыбка. — От наследника, говоришь?

— Так точно, ваше величество... Павел Петрович приказал вам кланяться и вот подарочки шлет, — и Долгополов, развязав черную козловую кису, вышитую мишурой, стал подавать дары: шапку с золотым позументом, сапоги красные, отороченные серебром и мишурою, перчатки замшевые, шитые шелком.

— Благодарствую, — сказал Пугачёв, — и тебе и Павлу Петровичу! Ну, каков он, все ли благополучен?

— Он молодец хороший, ваше величество. На немецкой принцессе изволил обвенчаться.

— Как звать принцессу?

— Наталья Алексеевна... У меня и от нее есть вашему величеству подарок, два, многой цены стоящие, камня, — и, привстав на колени, Долгополов подал государю два самоцветных камушка: восточного хрусталя сердечко и четырехугольный желтоватый.

Взяв на ладонь, Пугачёв полюбовался ими, лизнул один, сунул оба в карман за пазуху.

— Гм, — крепко сказал Пугачёв и сдвинул брови.

По спине Долгополова забегали мурашки. Запинаясь и отвешивая низкие поклоны, он зашамкал:

— А я служил при вашем величестве и ставил овес для лошадок ваших в Рамбове. Я сразу узнал вас... Вы были еще великим князем тогда, и за пятьсот четвертей мне контора не заплатила.

— Ага! Помню, помню тебя... Знаю и то, что должен тебе.

— А я теперича в несчастьи, ваше величество, дорогой-то ограбили меня.

— Молись богу, старче, вот разбогатею, все уплачу, да, сверх того, и награду примешь.

Надо платить. Пугачёв сразу понял, что перед ним плут и проходимец.

Он лихо посмеивался в бороду, щурил глаз, побрякивал.

Долгополов в свою очередь понимал, что бородатый казак, прикинувшийся императором, ни капельки ему, Долгополову, не верит, только ловко прикидывается, что верит.

Вслушиваясь, как сдержанно шумит и топчется за палаткой народ, Пугачёв что-то про себя решил. Он похлопал в ладоши. Вошел Яким Васильевич Давилин. Пугачёв приказал приподнять полы палатки и, увидав стоявших сзади казаков: атамана Овчинникова, Перфильева, Творогова, Канзафара Усаева, Ильчигула, Чумакова и других, велел им войти в палатку.

— Садитесь на чем стоите, господа, — шутливо сказал он.

Все сели на ковер, плечо в плечо.

— Вот, прислушайтесь, господа генералы, и вы, атаманы... Сей день бог великую радость послал мне, — и Пугачёв, указав на Долгополова, спросил его:

— Ты с чем, дедушка, прислан? Говори!

— А прислал меня, ваше величество, наследник Павел Петрович. «Поезжай немедля, — говорит, — посмотри хорошень, доподлинно ли то родитель мой, да вертайся, — говорит, — обратно с отповедью».

— Узнал ли ты меня? — ликующим голосом воскликнул Пугачёв и вскинул голову.

— Как не узнать! — захлебнувшись восторгом, воскликнул и Долгополов.

— Вы в Санкт-Петербурге жаловали меня, ваше величество, вот этим самым зипуном и шапкою... — Купец дернул за лацкан у своего купленного в Казани на барахолке коричневого зипуна, тронул бархатную, с мерлуцатым околышем шапку и убежденно сказал собравшимся:

— Вы, господа великие начальники, не сумлевайтесь: есть он доподлинный император Петр Федорыч, уж я точно знаю, много раз в Питере видывал их особу.

Пугачёв показал старшинам подарки, затем сказал хмуро:

— Сделайте народу объявление о сей радости нашей. И пускай прочь расходятся, каждый ко своему месту!

Все вместе с Долгополовым ушли. Остался один Перфильев. Полы палатки опустились. Корявый Перфильев, крутя ус, проговорил:

— Сдается мне, не высмотрень ли это подосланный... Помнишь, государь, как граф Орлов подослал меня схватить? Надо глаз да глаз за ним!

— Нетути, — молвил Пугачёв рассеянно, — этот человек верный! Он в Рамбове у меня бывал.

— Ну, как хошь... Тебе с горы виднее, — грубовато сказал Перфильев.

Свидание и весь разговор государя с Долгополовым облетел за ночь все войско. Большинство уверилось, что старик прибыл послом от цесаревича, стало быть, царь-батюшка есть воистину Петр Федорыч Третий, не для-ча и мозги ломать.

И были среди яицких казаков, старшин и есаулов такие, кои в другой раз приступили к Пугачёву:

— Веди нас, ваше величество, на Москву! Непокорных князьев да графьев мы переловим, а простой люд за тебя весь горою! И наследник престола там с войском... И все прочие близкие твои!

Пугачёв не очень-то надеялся на «близких» своих в Москве и отвечал людям с хитринкою:

— Время, время детушки, не пришло еще мне! Яблочко созреет, само упадет... Вот втапоры и царь-колокол подыдем, и из царь-пушки пальнем по супротивнице моей Катке... Расходитесь, молодцы, с богом по местам. Сам ведаю, когда нам милостью божией на Москву идти.

## **Глава 7.**

### **На берегах реки Камы.**

#### **1**

Оса стояла в трех верстах от Камы, на главном Казанском тракте. С падением Осы мятежникам открывался свободный путь на Казань. Узнав, что к Осе приближаются толпы Пугачёвцев, казанский губернатор фон Брант забил тревогу.

В распоряжении губернатора военной силы было слишком мало. Он послал гонца в Сарапуль с приказом находившемуся там майору Скрипицыну немедленно выступить со своим отрядом на выручку Осы.

По дороге Скрипицын присоединил к себе отряд капитана Смирнова, а также воинскую команду Рождественского завода; всего скопилось двести солдат и сто вооруженных крестьян. С этой горсткой бойцов Скрипицын 18 июня пробился без потерь в крепость. Всего защитников Осы было тысяча человек, при тринадцати пушках.

Едва успел майор Скрипицын осмотреться и принять общее командование, как к пригороду подступил сам Пугачёв. Он расположился станом в трех верстах от Осы и послал в крепость приказ: «Сдавайтесь на милость». Ответа он не получил и велел расседлывать коней, идти на штурм.

Пригород Оса имел тесную крепостцу: вал, деревянные стены с башнями, за стенами жались друг к другу Успенская церковь, канцелярия, воеводский дом и склады.

Дозорные увидели движение в стане Пугачёвцев. В пригороде поднялся переполох: женщины, старики, чиновный люд ломались в крепость спасать животы свои. Майор Скрипицын, воевода Пироговский и унтер-шихтмейстер Яковлев всячески ободряли жителей. Капитан Смирнов даже вышел с отрядом из крепости, чтобы отбросить башкирские толпы. С

крепостных батарей открыли огонь картечью, осажденные стреляли из бойниц по врагу без умолку, лили с навесов горячую смолу, скидывали бревна, швырялись камнями. Однако Смирнов был сломлен, бежал за стены, часть его людей ушла в стан мятежников.

Пугачёв наблюдал штурм издалека. У него только три пушки, одну пушку разорвало. Он не хотел зря терять людей, приказал дать отбой, чтоб назавтра увеличить штурмующие силы и сразу раздавить Осу.

Яицкие казаки кучкою гарцевали вокруг крепости, кричали:

— Сдавайтесь, сдавайтесь! С нами сам батюшка Петр Федорыч...

Пугачёв со старшинами ехал берегом Камы, хозяйским глазом осматривал течение реки, выбирал место для переправы войск, чтобы в скором времени двинуться дальше, к Казани. Дорога плоха, шла нагорным лесистым берегом, в логах она спускалась в мочажины, мосты через речушки ветхи.

— Наумыч, — обратился Пугачёв к ехавшему рядом колченогому атаману Белобородову. — Пошли ты по деревням, пуцай мужики день и ночь мосты ладят, в топях гати мостят, дороги ровнят.

Возле деревни Пристаничной, пониже острова, ватага рыбаков бродила у берега с сетью. Увидав на горе всадников, рыбаки приостановились, защищаясь ладонями от солнца, задрали вверх бороды.

— Здорово, детушки! — крикнул Пугачёв и стал со свитой спускаться к воде: с откоса посыпался песок и галька. — Ну, как рыба, ловится?

Голоногие, без порток, рыбаки, спешно подтянув сеть, вылезли на берег, подолы посконных рубах у них взмокли. Дед прищурил на гостей белесые глаза, сказал:

— Рыба ничего, рыбы довольно живет в нашей реке. А вы кто такие?

Белобородов, улыбаясь глазами, пробасил:

— Нешто не видишь, старый хрен? Вот — государь наш, — и кивнул головой на Пугачёва.

Государь был в обшитом позументами шелковом бешмете, в высокой мерлушковой шапке, за зеленым кушаком у него два пистолета, вдоль бедра сабля, в руке подозрительная труба. Черный рослый конь плясал под ним. Разинув рты, вся ватага бросилась, как встрепанная, надевать портки. Приведя себя в порядок, народ повалился в ноги Пугачёву:

— Встаньте, детушки, не страшитесь: я защита ваша!

Четырехлеток Фомка, стоявший у куста в драной рубашонке, — в прореху большой синеватый пуп торчал — увидав, как мужики пали на колени, вдруг заорал блажью: «Ой! Ой! Ой!»

— Брось выть, пошто кричишь? — сказал Пугачёв. — Заедку, малец,

хочешь? Скусная заедка... Держи! — и бросил примолкшему Фомке розовый пряник.

— Кланяйся, сукин сын, — строжились повеселевшие крестьяне. — Скажи: спасибо, надежа-осударь!

— Па-а-си-бо, — хрипло протянул Фомка и, тоже повеселев, принялся грызть подарок.

— Пошто, пузан, плакал? Испугался, что ли? — опять проговорил Пугачёв, улыбаясь на мальчонку.

— Спужа-а-а-лся, — пыхтел, усердно жуя, Фомка. — Думал: ба-а-рин... мужиков драть бу-ди-и-шь...

Все засмеялись — всадники и рыбаки. А Фомка еще сильнее запыхтел, из левой ноздри его выскочил пузырь.

— Откуда будете, крещенные? — спросил Пугачёв крестьян.

— Кои из Пристаничной, кои из Зубачевки, а вот мы с Назарием, два старика, государственные, твоей милости, крестьяне села Дубровы, уж прости нас, дураков, твое царское величество...

Пугачёв попросил крестьян указать удобное место переправы: два старика вскарабкались на запасных лошадей, и все двинулись вперед. Дорогой Пугачёв расспрашивал стариков про помещиков, про тяготы... А знают ли крестьяне, что он, великий царь, жалует их землей, и вольностью, и честью?

Старики радостно поддакивали, кивали головами, утирали кулаками слезы.

Обласканные, взволнованные, они наперебой рассказывали государю про свое житье-бытье. Народишко зашевелился в ихнем месте еще в прошлом году о Рождестве. Прикатил к ним напыхом отряд башкирцев, коней в пятьсот.

Набольший указ вычитал, что царь Петр Федорыч жив и стоит-де силою под Оренбургом. Мужики враз поверили, и набольший приказал слать выборных крестьян под Уфу, к графу Чернышеву, с объявлением о своей государю покорности.

— Как нам было сказано, мы так и повершили. А нынешним годом о масленице нагрянул к нам твоей царской милости атаман Носков с шайкой, и наказал он нам быть сторожкими от набегов казенных отрядов солдатских, велел расставить бекеты, караул держать. Опосля того наехал Федор Шмотин со своей шайкой, велел делать по селам заборы из жердья с двух сторон, чтобы солдатишкам препону положить. И был в его команде Воткинского завода мастеровой Тимофей, по прозвищу Коза...

— Знаю, знаю Козу. Изрядный мастер. Он при мне сейчас, — сказал

Пугачёв, вздохнув при мысли о злой гибели механикуса.

— Во-во! — оживились старики. — Сделал тот человек деревянную пушку, не хуже чугунной. И краской выкрасил. А первого апреля, как сейчас помним, подошла к нашему селу казенная команда смуту прекращать: «Пли да пли!»

Тимофей Коза из деревянной пушки два раза и ахнул. С ружей палили, камнем швырялись. Одначе команда казенная верх взяла, вломила в село, многих наших порубила и село огню предала. Мы в бег ударились, а кой-кого заграбастали да в Казань на расправу увели... Вот, твое царское величество, как дела-то у нас вершились.

Пугачёв слушал со вниманием, то вздыхал, то покрикивал: «Ой, черти, ой, черти!» Потом сказал:

— Казань возьму, всем верным моим крестьянам, что в тюрьме маются, свободу дарую. А на место их, в тюрьму-то, врагов наших упрячу!

Место переправы выбрано было против Рождественского завода. Завод стоял на том берегу, за сосновым бором, попыхивал дымом и копотью.

— Белобородов! — крикнул Пугачёв и насупил брови. Тот быстро сдернул шапку с черной головы. — Скажи Дубровскому, пуцай писчики экстренные приказы пишут моим именем, чтоб все деревни оповещены были: на сем месте плоты ладить, лодки да челны гуртовать, баржи гнать сюды со всех местов.

Все оное повершить в трое суток!

Казачи спешили, воткнули в песок пики, прислонили к кустам самопалы, чтобы разводить костер. Ординарец, казак Ермилка, поскакал к рыбакам за котлом и рыбой.

День ясный, теплый, на душе Пугачёва хорошо. У него опять большая армия, и народ все прибывает к нему. Он знал, что Оса завтра же будет взята, путь на Казань свободен: Михельсонишка где-то закрутился в горах, отстал, князя Долгоруковы да Щербатов сидят в Оренбурге с солдатишками, Деколонг в Челябине... Самый раз дело творить.

Перестрелка продолжалась. Казачи возле стен горланили:

— Ежели не верите, что истинный государь, посылайте к нам знатеца, пусть дознается!

После обеда того же дня пойманный башкирец показал: у царя-то восемь тысяч войска, много пушек, вдосталь пороху. Население приуныло.

Воевода собрал народ в крепость, все начальство появилось на паперти Успенской церкви.

— Пригород наш окружен со всех сторон, — говорил воевода, — помощи ждать неоткуда. Вот, решайте. А мое слово — биться до последа.

Народ разделился на два лагеря. Одни настаивали, что надо защищаться против вора, другие, — что надо сложить оружие: Пугачёв не вор, а истинный царь Петр III. Страсти крепки. Попахивало дракой.

Тут вышел из толпы отставной сержант гвардии Анцыферов. Старый, с торчащими, как у кота, усами, с седой косой, лежавшей на спине, он был в ветхом мундире, подпирался палкой с завитком, семенил мелкими шажками.

— Его величество покойного государя Петра Федорыча я самовидцем был.

Я у его величества на карауле стаивал. Дозвольте во вражий стан сходить, дознаться!

Тогда написали на имя Пугачёва предложение, сунули записку в зеленого стекла штоф, и, как подъехали к стене яицкие казаки, силач-целовальник Михайло Калач швырнул в них этим штофом:

— Лови!

Царский стан в трех верстах, на берегу Камы. Когда прочли Пугачёву бумажку, сказал он:

— Ага, смотрины! Ладно... Седлай коня под хрыча-сержанта. Пускай едет сюды.

После обеда он был навеселе, приказал адъютанту скликать в круг сотни две казаков, созвать старшин, сотников, есаулов, хорунжих.

— Вот, детушки, — сказал, посмеиваясь, Пугачёв. — Сейчас смотрины мне будут, вдругорядь удостоверитесь, что есть я истинный царь Петр Федорыч Третий. Нуко-ся, детушки, дайте мне казацкую одежину, коя погаже, оболокусь в нее, пускай по обличью узнает.

Одетый простым казаком, Пугачёв вышел из палатки, спросил:

— Что, не приехал еще?

— Едет.

— Двадцать казаков-молодцов — становись в ряд. Я в середке стану двадцать первым.

Шеренга бородатых казаков построилась. Гвардии сержант Анцыферов, сухопарый, высокий и согбенный, в застегнутом на все пуговицы мундире, с тремя медалями и в напудренном парике, подведен был к кучке старшин.

Указав на шеренгу, главный атаман и походный полковник

Белобородов сказал ему:

— Вот, старичок служивый, посередь этих казаков его императорское величество изволит упомещаться. Присмотрись и узнай владыку своего. Он нарочно облик простого казака принял, без обману чтоб...

Гвардии сержант кивнул головой, покашлял, пожевал губами, ссутулился и, подпираясь палкой, мелкими шажками подсеменял к живой шеренге. Солнце било ему в оловянно-блеклые, обморщиненные глаза. Он прикрыл их, как козырьком, ладонью, прищурился, подал корпусом вперед и, пристально всматриваясь в лицо и фигуру каждого казака, не спеша прошел весь строй. В конце сам себе скомандовал. «Кругом! Ать-два», и круто повернулся. Его от дряхлости качнуло в сторону.

Вдруг взгляд его столкнулся с хмурым взором Пугачёва. Старик враз остановился, его как бы толкнул кто назад и вбок, для устойчивости он растопырил ноги, уперся палкой в землю и выпучил глаза.

— Что, гвардии сержант, узнаешь ли меня? — властно, громко, чтоб все слышали, спросил старого служаку Пугачёв и тяжело задышал, нахмурил брови.

— А господь тебя ведает, — зашамкал тот. — Ежели истинно ты ампирактор, так дивно помоложе втапоры был и... бритый. А теперича в бороде вон.

Все присутствующие, сразу оробев, водили взглядом от Пугачёва к старику. Стоявший тут любопытства ради Остафий Долгополов приоткрыл рот и, шевеля ноздрями, обнюхивал воздух, как лисица. Пугачёв еще строже насупился, еще шумнее задышал.

— Смотри, дед, лучше! Узнавай, коли помнишь меня.

Народ затаил дыхание. Задние приподымались на цыпочки, чтоб лучше видеть. Всяк понимал, что, ежели сержант не угадает, будет худо ему.

Понимал, надо быть, и старик это. Но не страх, а глубокое раздумье было на лице его. Сугорбясь и покашливая, подошел он вплотную к Пугачёву и, прищурившись, пристально, как в зеркало, вглядывался в прихмуренное лицо его. Сделалась глубокая кругом тишина. И вдруг негромко, так, что Пугачёв едва расслышал его, негромко, но строго старик спросил:

— С Катериной-то, царицей-то, как? Уймешь, да рядком и сядешь, нам на погибель... Ась?..

Голова сержанта тряслась, он пуще сощурил глаза, наморщил нос — кошачьи усы его встопорщились. Враз ухватив все, что сказал и не досказал старик, Пугачёв одну руку опустил ему на плечо, другую вскинул в сторону



бугорка, где, темнея в голубине небесной, стояла виселица-глаголица:

— Видишь? Это ей со дворянством, Катке моей, гостинец... Чуешь ли меня, старче?

— Чую... Чую... ваше... величество! — гаркнул внезапно старый сержант, отступил на шаг и — руки по швам — замер, как в строю.

— Значит, признаешь, друже? — поднял Пугачёв голос и выиграл глазами.

— Признаю, ваше величество!

Вся толпа вдруг разрядилась дружным выдохом, все заулыбались. Пугачёв неторопливо стирал с побелевшего лица пот. Затем он шагнул к старику и крикнул ему в рот, как глухому:

— В таком разе иди к своим да толкуй, чтоб не противились мне, государю вашему, а я уж позабочусь о всех!..

Воевода Ф. П. Пироговский, тот, что был в гостях у Зарубина-Чики в Чесноковке, еще майор Скрипицын, духовенство и народ, бывший в Успенской церкви, набросились на возвратившегося сержанта: ну что, ну как, похож ли?

— Ежели по волосам да по глазам, быдто он и не он, — ответил сержант:

— а по слову своему правильному — царь и есть... Полагаю я, старый, так: неча нам кровь своевольно лить, покоряться нам ампиратору без бою!..

После минутного молчания майор Скрипицын, потупив глаза в землю, сказал:

— У нас весьма мало патронов да и пороху. И силы наши ничтожны. Мое мнение — пока не поздно, сложить оружие.

— Как же это можно?! — сверкая глазами, воинственно проговорил унтер-шихтмейстер Яковлев. — За сдачу без боя государыня не похвалит нас.

— Государыня не похвалит, зато государь скажет спасибо! — с горячностью выкрикнул низенький, быстроглазый подпоручик Федор Минеев.

Все головы разом повернулись к нему. Воевода застучал в пол шпагой.

Начальник гарнизона майор Скрипицын вскочил, закричал:

— Арестовать, арестовать мальчишку! Вы, подпоручик, какого же государя в виду имеете?

— Петра Федорыча, вот какого! — неожиданно прогудел вместо Минеева тучный, красноносый протопоп. Он поднял обе руки и, потрясая ими, гулко говорил:

— Сон видел аз, грешный. Сама богородица явилась, рекла: понудь, протопоп, возлюбленный народ мой: да преклонятся Петру, восставшему супротив жены прелюбодейные...

— Сдаваться, сдаваться! — громкогласно поддержали протопопа в толпе.

Народ опять пришел в волнение. Начальство растерялось. Арестованный офицер Минеев передал шпагу Скрипицыну и был уведен солдатами на гауптвахту. Воевода тянул бесновавшегося протопопа за рясу:

— Опомнись, отец Панфил.

Тот вырывался, тряс кулаками, вопил:

— Оставь, куда тянешь!.. Сон видел я. Богородица...

— Сдаваться, сдаваться! — орал народ.

Майор Скрипицын и капитан Смирнов, чтоб положить конец шумной распре, сказали:

— Давайте нам срок, будем за всех обсуждение иметь, как быть.

День клонился к вечеру. Над лесами, за Камою, поднялись туманы.

У царской палатки, называемой башкирцами кибиткой, стояли со знаменем часовые и группа спешенных казаков с пиками, на пиках разноцветные флажки.

Сам Пугачёв со старшинами и дежурным Давилиным ожидали в палатке, какой ответ даст Оса, обсуждали план штурма. Пугачёв был в цветном платье — кафтан в позументах, на груди звезда, сапоги красного сафьяна.

— Я полагаю, — говорил Белобородов, — надобно набить десятка два возов сена, да соломы, да бересты и двигать их фрунтом к крепости, а за ними казаки да люди наши. А как придвинем ближе, зажжем и в штурм ударим... Я таким побытом взял Уткинский завод.

Неожиданно ввели гвардии сержанта. Пугачёв подбоченился. Увидав его, старик пал на колени.

— Ваше ампирадорское величество! Как есть вы царь-государь, народу богоданный, об одном докладую вам: выжди время, крепость твоя будет.

Пугачёв милостиво протянул ему руку. Сержант зажмурился и облобызал пахнущую чесноком и бараниной руку государя.

— Давилин! Поднеси-ка старикану вина. Пей, гвардии сержант! (Старик выпил изрядный стакашек крепчайшей водки и закашлял.) Пей еще! Редко гостишь у меня...

— Какое редко! Докучаю ежечась... Урра-а-а!.. — завопил сержант и выпил вторую чару, вслед третью, забодал головой, стал отфыркиваться, как конь в воде.

— Ну, гвардия сержант, теперь езжай обратно вспять. Толкуй офицерам, чтоб ворота отворяли да с честью встречали меня. Да мотри — с коня не ляпнись, как поедешь: вино дюже забористо, сам наследник в дар мне дослал его.

Старик стал от трех чарок багровым, едва взобрался на коня и обратной дорогой ехал в великой радости. Вез его губастый казак Ермилка, сидели они верхом двое на одном коне: впереди казак, сзади, крепко охватив казака под мышки и припав к его спине, трясся сержант. Треуголку и палку с завитком он потерял, седая коса моталась по спине, как маятник. Закрыв глаза, он сплевывал, что-то бормотал, потом задудил по-стариковски жалостливую песню:

Ах вы, бедные головушки солдатские,  
Как ни днем, ни ночью вам покою нет,  
Что со вечера солдатам приказ отдан был,  
Со полуночи солдаты ружья чистили,  
Ко белу свету солдаты во строю стоят...

В крепость вели его под руки. Он кричал:

— Господа офицеры! Полно, не противься... Ниспослан нам подлинный царь-государь Петр Федорыч... Уррра-а-а!..

Однако и весь следующий день прошел у осажденных в совещаниях: сдаваться или нет? Пугачёв выжидал. Но вот, 20 июня, поутру, не получив ответа, Пугачёвцы стали приближаться к пригороду. Впереди двигалась вереница возов с горючим. Из крепости прогремело несколько пушечных выстрелов, башкирцы в ответ пустили из луков рой каленых стрел. Войдя в пригород, лошадей выпрягли, возы подталкивались людьми, за возами шло войско с горящими факелами. Опасаясь пожара, жители кричали с крепостных стен:

— Стой, стой! Дайте нам сроку до завтрашнего дня, без драки сдадимся.

Наступление приостановилось.

Ранним утром 21-го ворота крепости распахнулись. Войска с воеводой Пироговским и прочими офицерами, а также духовенство и вся масса

горожан при колокольном звоне вышли из пригорода с крестным ходом, с хлебом-солью.

Обезоруженные солдаты, распустив по плечам длинные волосы, уныло шли с боевым знаменем.

Вдали показался со свитой Пугачёв.

Огромная толпа, предшествуемая духовенством, вразноголосицу пела: «Спаси, господи, люди твоя». Гвардии сержант Анцыферов нес пред собой запрестольный слюдяной фонарь с зажженной свечой; кашляя и посовываясь носом, он тоже подпевал за толпой дребезжащим старческим баском: «Победы благоверному императору нашему Петру Феоодоровичу на супротивныя твоя да-а-руяй!» А шедшая впереди старушонка, забыв наставление попов, по старинке верещала фистулой: «Благоверной государыне нашей Катерине Алексе-е-евне...» Сержант крикнул: «Дура!» и, поддав ей коленом «киселя», надсадно и зычно, чтобы все слышали, запел: «Императору нашему Петру Федоровичу...»

— На колени, братцы! Шапки долой! — раздались голоса.

Все стали на колени. Тучный, в золотых ризах, протопоп, с крестом и евангелием в руках, опустился возле воеводы, прямо в пыль.

Тихим шагом подъехал Пугачёв, взглянул хмуро на лежавшую у ног своих толпу. Под взором его жители сникли, многих прохватила дрожь; в страхе ждали, каким судом осудит их грозный царь.

Только ребяташки бесстрашно столпились возле нарядного всадника. Две собачонки, побольше и поменьше, яростно облаивали царского коня. Проворный казак Ермилка ловко поддел на пику лохматую дворнягу и швырнул через плечо, а ребят разогнал, помахивая плеткой.

Начальник гарнизона майор Скрипицын, униженный и растерявшийся, скомандовал преклонить знамя. Пугачёв милостиво взглянул на майора, громко проговорил:

— Бог и государь прощают тебя. Ежели будешь верно служить мне, награждение примешь... Белобородов! Шпагу не отымать у его. Что касася остальных офицеров — отнять!

Пугачёв слез с коня, приложился ко кресту и приказал — солдат и жителей привести к присяге, воинскую команду отправить в лагерь, солдат остричь в кружальце, одеть по-казацки, в крепости забрать все ружья, порох, пушки, а крепость сжечь.

В этот миг тарарахнул с крепостной стены пушечный выстрел. За ним — другой... Картечь трижды метко стегнула по толпе. Начался переполох, крики: «Измена!» Старый сержант бросил фонарь в пыль, со стоном свалился.

Вместе с ним упало с десятков жителей Осы. Сидевший на коне Остафий Долгополов, ахнув, пронесся прочь, сослепу налетел на всем скаку на всадника-башкирца, перемахнул через голову своего коня и ляпнулся в кусты.

Пугачёв вскочил в седло, насупил брови, обернулся к своим, махнул рукой. Башкирцы и казаки бросились к крепости. Унтер-шихтмейстер Яковлев, а с ним два престарелых солдата, отказавшиеся пойти на поклон к «злодею», были захвачены на крепостной стене, у дымящихся пушек. Их тут же подняли на пики.

Крепость запылала в трех местах. Начался вольный грабеж пригорода.

Вернувшись в ставку, Пугачёв произвел майора Скрипицына в полковники.

— Ведомо мне, что ты стоял за сдачу крепости без бою. Из твоих солдат я божией милостью делаю Казанский полк. Ты будешь командиром...

Бывший тут подпоручик Минеев, завидуя внезапному возвышению Скрипицына, мстительно посверкал глазами на своего обидчика.

Наутро были собраны яицкие казаки с башкирскими старшинами. Пугачёв объявил им:

— Ну, детушки! Получил я с нарочным от наследника, от сына своего великого князя Павла Петровича, богатые дары с письмом. Назначает он мне свиданьице на Волге. Многое множество войск у него. А посему мы, божией милостью, решили сегодня же выступить во город во Казань со всем воинством своим верным.

Под вечер, когда крепость вместе с церковью догорала, забили барабаны, затрещали трещотки, с гиком рыскали по стану вестовые — Пугачёвцы выступили походом вдоль реки.

Ни офицерам, ни даже Скрипицыну верховых лошадей не дали, их рассадили по отдельным повозкам, за ними негласный учинили надзор. Погода стояла отличная. Скрипицын верст пять прошел пешком. Он видел, что у вольницы мало дисциплины: башкирские толпы слабо вооружены и плохо обучены, у мужиков рогатины, топоры да вилы, дороги убойные, в походе полная неразбериха, тыл брошен на произвол судьбы, лишь Пугачёвское имущество да свитские «дамы» в карете воеводы и сам Пугачёв сопровождаются сильным отрядом яицких удальцов-казаков. Скрипицын пред походом приметил, как выгоняли нагайками пьяных бражников из оврагов, из кустов, как вышибали днища у бочонков с вином, — крики, перебранка, гвалт... Нет, какое же к черту войско это! С

таким войском долго не нагуляешь.

Сердце Скрипицына сжималось. Да, прав был воевода Пироговский: Оса могла продержаться некоторое время, а там подоспел бы Михельсон. И вечная память офицеру Яковлеву.

— Где полковник Скрипицын? Эй, где полковник Скрипицын? — продираясь чрез встречные толпы, ехал ординарец Пугачёва, губастый казак Ермилка, в поводе у него незаседланный конь.

— Здесь я. Что надо?

— Господин полковник! — подъехал к Скрипицыну Ермилка, широкая рожа его растеклась в улыбке. — Его величество приказал вас сыскать, все ли вы в добром здоровье, и пушай, говорит, на конь сядет да со свитой вместе едет.

Скрипицын с неохотой поехал с казаком подле дороги, лесом. Казак спросил:

— Ну, глянется ли вам здесь?

Скрипицын посмотрел в хитрые глаза Ермилки, подумал: «Подослан, черт... выпытывает», — и ответил:

— Порядку маловато. Я государю служить стану верой, правдой и, ежели дозволено будет, порядок наведу.

Ермилке понравился ответ, он был искренне рад, что в их войске, слава богу, имеется теперь всамделишный вояка-полковник. Курносый Ермилка утер ладонью рот, опять заулыбался, хвастливо сказал:

— Ха! Да это ж мы просто переезжаем, тут всячинки с начинкой. А вот вы уже на деле поглядите нас... Мы на драку лютые!..

Впереди во много глоток заорали:

— Стой! Стой!

Скрипицын вымахнул из леса и поскакал вперед. На круто спускавшейся дороге — треск, грохот, черная ругань, лошадиный визг. Многочисленные кони; впряженные в тяжелые орудия, карьером мчались с кручи, сшибали друг друга, путались в построюках. Пушки, на резком повороте, одна за другой кувыркались под скалистый обрыв, увлекая за собой лошадей.

— Стой! Держи коней! Тормози! Руби построюки! — что есть силы закричал Скрипицын.

Люди лавой бросились напересек остальным, мчавшимся с горы, орудиям и, не щадя себя, кой-как остановили лошадей. Пять человек затоптано тут было насмерть, с десятков изувечено. А под откосом — вверх колесами четыре чугунных пушки и мортира. Две лошади раздавлены, многие с перебитыми ногами, с распоротыми животами жалобно стонали,

повизгивали. Их пристрелили. Скрипицын созвал своих людей, и под его умелой командой пушки волоком потащили вдоль реки к низменному берегу. Прискакал второй ординарец:

— Чего стряслось? Пошто стреляли?

— А вот, гляди! Коней покарябали.

Узнав от ординарца о случившемся, Пугачёв нахмурился, повернул жеребца, хотел сам наводить порядок, однако передумал.

— Кто вожатый? Подать сюда вожатого, — приказал он, а красотке Василисе пригрозил нагайкой за то, что не вовремя при всем народе понахальному подмигнула ему из экипажа.

В той же карете с красотками торчал на облучке Остафий Долгополов.

Видом был он несчастен и жалок: ссутулился, шею втянул в плечи, голову обмотал тряпицами, уши и левую ноздрю заткнул куделью, дабы в мозги не проникла дорожная пылица. Голосом умирающего он повествовал свитским девкам, как поранен был под Осой двумя картечинами, из коих одна ударила ему в грудь и, как черт, отскочила от святого нательного креста, другая прошибла череп и благополучно вылетела вон. Дамы, подпрыгивая, хохотали, били в ладоши.

— Ах, какой вы, папаша, веселенький!..

Сзади кареты, на поповских дрогах — колокольчик под дугой — двигалась семья атамана Белобородова: жена Ненила и малые девчонки — Авдотья с Марфочкой. Белобородов вывез их из родного села Богородского. Жена недавно прислала в стан гонца, велела сказать мужу: «Пуццай забирает нас к себе: жили вместе и умирать будем вместе». Девчонки с любопытством посматривали вокруг, сосали леденцы, царь-батюшка подарил им целое лукошко сладостей, а Марфочке — цветистый полушалок.

Впереди отряд казаков высокими голосами, под удары тулумбаса, залиристо пел боевую песню. А с противоположного берега плыли поперек реки в челнах, в лодках и на саликах сотни крестьян. Сняв войлочные шляпы и поднявшись дыбом, они кричали:

— Эй, надежа-осударь! Прими нас, отец! Эй, где ты, кормилец?..

Привстав на стременах, Пугачёв махал им шапкой:

— Здорово, детушки! Я здесь! Ладьте к берегу. Айда за мной!

Емельян Иваныч сразу повеселел, и когда рыжебородый вожатый подъехал к нему с повинной (голову вниз, без шапки, губы сияют что-то сказать — не могут), Пугачёв только и всего, что огрел его крест-накрест нагайкой да сквозь зубы прошипел:

— Прочь с глаз моих!

Вожатый, виновник катастрофы, поеживаясь, нахлобучил шапку и нырнул в толпу. А Пугачёв обернулся к Скрипицыну. Тот подъехал, взял под козырек.

— Вольно, полковник! — скомандовал Пугачёв. Ехали они рядом, голова в голову. — Спасибо мое царское тебе, полковник, что стараешься. Доложили мне, что пушки, кои под гору дураки мои кувырнули, поднял ты и опять на колеса поставил... Спасибо, спасибо!

— Рад стараться, — глухим голосом, без всякого подобострастия, ответил Скрипицын.

Ночевали в лесу, на берегу Камы, вблизи Рождественского завода.

Приплыла из-за реки заводская депутация (расходчик Иван Кондюрин да четверо рабочих), поклонились пудом сотового меду: рабочие ждут, мол, царя-батюшку к себе в гости.

Ночь была светлая, теплая. От леса шел хвойный дух. Рыбаки старались наловить к царскому столу рыбы. Всюду костры, шорохи, выкрики, звяки.

Ржали, всхрапывали кони, жировали на сочной лесной траве. Пятнадцать пушек сгружены в одно место, задернуты дерюгами. Возле пушек часовые, чуть подалее — палатка начальника артиллерии Федора Чумакова. Бледная северная ночь опоила блаженным сном всю Пугачёвскую вольницу. Тишина. Высланные во все стороны дозоры охраняли людской покой.

Вновь произведенный полковник Скрипицын, несколько часов тому назад присягнувший Пугачёву, лежал под сосной на войлочном потнике, глядел в небо. На его сухощавом скуластом лице выражение крайней подавленности. Да, ему не до сна теперь. Он — предатель, он — клятвопреступник, он не воин, не защитник российского престола, попросту — подлец. На глазах у него злобные слезы, зубы скоргочут, как во сне у болящего глистами. Да, да, надо отыскать своих... Он вскакивает, озирается по сторонам.

— Господин майор, — слышит он негромкий, но внятный окрик.

Он передергивает плечами, придерживая шпагу и пригибаясь, идёт на голос, садится рядом с капитаном Смирновым, тут же молодой офицер Бахман.

Скрипицын говорит:

— Давайте ляжемте, будет удобнее и не столь заметно. Хорошо, что вы близко. А не знаете, где Пироговский и Минеев?

— Я здесь, — выдвигается из полумглы низенький сутуловатый подпоручик. — Здравствуйте, господин полковник, — говорит он.



— Простите, Минеев, я не полковник, я майор.

— Но вы же сегодня произведены...

— Бросьте, Минеев! Вы на меня все еще сердитесь, да? Простите, пожалуйста. Сами понимаете, долг службы, а вы тогда, в крепости, при всем народе: Петр Федорович — царь. Теперь сами видите, какой он царь.

Ложитесь, Минеев, потолкуем.

— Да я змей тутошних боюсь, я постою.

— Чего ж бояться змей? — озлобленно, как бы издеваясь над собою, говорит Скрипицын. — Мы сами змеи...

— Да, змеи. Однако можем и орлами стать... От нас зависит, — двусмысленно говорит Минеев и садится.

Вздрагивающим голосом Скрипицын дает оценку того положения, в которое они все, по малодушию своему, попали.

— Исхода нет. Мы погибли, — безнадежно шепчет он.

Томительное молчание. Капитан Смирнов сказал:

— Есть два выхода: бежать или пулю в лоб...

— Тсс... потише, — предостерегает его Скрипицын. Вблизи проехал дозор из трех казаков. — Ха, бежать! Разве не видите? Нас караулят. Да и куда? В Осе Пугачёвский отряд, а в лесу, в степи да всюду, всюду рыщут башкирцы и восставшие смерды...

— Мне сдается, — зашептал Смирнов, — Михельсон вот-вот нагонит Пугачёва и расколотит его в прах. Куда мы, изменники, денемся? Ну, куда?

— Нет, господа, — привстав и опираясь рукой о землю, с взволнованной решимостью сказал Скрипицын. — До такого позора нам не дожить. Совесть замучит. Да лучше башкой о камень...

У подпоручика Минеева на бритых губах чуть приметная улыбка.

— А выход есть, — тенорком проговорил молодой Бахман и тоже приподнялся. — Надо написать казанскому губернатору... Так, мол, и так...

Предупредить об опасности...

— А знаете?.. — ткнув офицера в плечо, вскричал Скрипицын и тотчас зажал себе ладонью рот. — А знаете, Бахман, я тоже об этом думал, ей-богу, клянусь вам, — возбужденно шептал Скрипицын. — Значит, решено? А я сумею собрать своих солдат в кучу, и, когда начнется бой, мы ударим Пугачёвцам в тыл. Так и напишем губернатору...

— Да, но с кем и как послать? — уныло спросил капитан Смирнов, вздохнул и задвигал морщинами на лбу.

— Ну, об этом не сомневайтесь, — сказал Скрипицын. — Этим письмом, буде оно дойдет до губернатора, мы облегчим свою вину.

— Хм, — хмыкнул подпоручик Минеев и нервно потянулся, кости в

суставах хрустнули. — Напрасно, господа, делаете себе иллюзию. Какие бы письма мы ни выдумывали, как бы кулаками себя в грудь ни били, все равно все мы будем преданы суду. И, поверьте, пощады нам не будет...

— Следовательно? — посунулись все к Минееву и шумно задышали.

— Выход из сего предоставляю сделать вам самим, — голос Минеева вздрагивал, в глазах неприязненный блеск.

— Пулю в лоб? Бежать?

— Нет, — ответил Минеев.

— Ну, так что же, говорите.

Вести спор и раздумывать было некогда. Обстановка требовала действий.

Да к тому же и Минеев от прямого ответа уклонился.

Рапорт губернатору Бранту составили короткий, «с приложением к оному двух его, Пугачёва, злодейских, о приклонении к нему народа, указов».

Рапорт подписали майор Скрипицын, капитан Смирнов, подпоручик Бахман.

#### 4

Следующим утром Пугачёвцы двинулись в путь. Из-за реки, с лесных дорог, с боков, навстречу продолжали валить толпы конных и пеших мужиков, спрашивали встречных-поперечных:

— Где царь-батюшка? Мы, братцы, к вам... Господ своих порешили под метелку. Вот, всей гурьбой. Послужить желательно... Веди к царю, указывай!

Челом бьем.

Так множилась вольная мужицкая рать Емельяна Пугачёва.

К обеду войско подтянулось к переправе.

У берега красовались чисто струганные «коломевки», плоты, лодки, великое множество челнов, весь берег у Рождественской пристани кишмя-кишел ожидавшими государя крестьянами. Горели костры, варилось в котлах пиво.

Много раскинутых холщовых палаток. Бабы, девки, ребяташки, распряженные телеги с лесом поднятых оглобель.

Пугачёв к народу не спустился. С высокого взлобка он осматривал в подзорную трубу всю переправу (опорой для трубы служило плечо низкорослого подпоручика Минеева), сказал:

— Кажись, дивно хорошо, посуды много, и погоды задалось доброе...

Ну, наперед поснедать надо, а уж после того... Эй, стряпухи, накрывай скатерти в холодке, на травке под сосной... — Пугачёв был весел, скреб обеими пятернями густоволосую, давно не мытую голову. На взлобке они — вдвоем с Минеевым. — Ну, как, ваше благородие, служишь?

— Служу, ваше величество, — стукнув каблук о каблук, вытянулся Минеев.

— Служи, брат, служи, ништо... Бывало, как на престоле сидел, многих вот таких молодчиков, как ты, в чин производил. А иным часом на другого и притопнешь, и оплеуху дашь... Служи, брат, служи. Ась?

— Я завсегда верой и правдой, — козырнул Минеев; глаза его вдруг заискрились решимостью, губы стали кривиться. — И дерзну доложить вам... одну неприятность... с полковником Скрипицыным...

— Царская палатка готова! — под самое ухо Пугачёва заорал подбежавший верзила-казак в бараньей шапке. — Так что пуховики взбиты, мамзели нарумянились, рыбаки живых налимов принесли...

Вздрогнув от громоносного крика, Пугачёв сердито отмахнулся:

— Пошел! — и, нахмутив брови, глянул в смущенные глаза Минеева. — Ну-ну, толкуй: какая еще там неприятность?

Минеев оглянулся, поближе подступил к Пугачёву и тихо, с волнением, забормотал:

— Государственная измена, ваше величество. Скрипицын, Смирнов и третий, немчик, написали казанскому губернатору поносное письмо с изветом на вас, ваше величество.

Пугачёв прищурил правый глаз и зло погрозил Минееву искривленным пальцем:

— Ну, смотри, офицер: Скрипицын в военном деле знатец, к тому же старается... Ежели на Скрипицына ты облыжно показал, — вот эту елку видишь? На ней и закачаешься...

— Верьте мне, государь. Я вам пригожусь. Я всю Казань, как свои пять пальцев... Имею свои соображения, как быстро взять ее.

— Ты богат, поди? Деревни, поди, есть? Сердце, поди, ноет, что царь дворян зорит?.. А как вас, супротивников, миловать-то?

— Из бедных я, государь, ни деревень у меня, ни денег... Мне терять нечего... Я из самого низкого, убогого шляхетства.

Пугачёв быстро ушел в палатку. «А что, ежели Скрипицын уничтожил письмо или успел его отправить? Ведь он шушукался с целовальником и с голицынским приказчиком?» Минеева бросило в жар и в холод. «Что

сделал, что сделал я! — мысленно повторял он, прикрыв лицо ладонью и бессильно повесив голову. Он чувствовал, как ноги его начинают трястись, сердце сжиматься. — Но ведь я же обдумал все, я же сознательно. Это не мальчишеский порыв, а так и надо было».

И, как молния, вломилась в душу дерзость, разгоряченную голову охватил азарт игры в жизнь и смерть...

— К черту! Держись, Минеев Федька! — с задором выкрикнул он. — Либо в герои, либо на виселицу.

...Трех оговоренных офицеров нашли не вдруг. Их привели под конвоем.

Пугачёв кончал с атаманами под сосной обед. Стол был прост; тертая редька с квасом, налимья уха, гречневая с медом каша. Вдовица Василиса в венке из полевых цветов шелковым платочком обмахивала ему взмокшее лицо.

Было очень жарко, душно, от земли подымалась испарина. Пугачёв восседал на пуховых подушках; он в беспоясой, мокрой от пота, желтой рубахе с расстегнутым воротом, в широких штанах.

Офицеры со связанными назад руками стояли возле. Молоденький Бахман дрожал. Полуплешивая голова капитана Смирнова поникла на грудь, безжизненными глазами смотрел он в землю; земля вся в хвоях, мураши бегают, рогатый жук ползет. Майор Скрипицын как бы не в себе, белобрысые брови его нахмурены, покрасневшие от бессонницы глаза смело и ненавистно глядят в лицо Пугачёва.

От места переправы сбегались крестьяне на любопытное зрелище. Яицкие казаки кольцом окружили царскую ставку, никого не пропускают. Дежурный Давилин передал Пугачёву отобранный у Скрипицына пакет с двумя манифестами. Емельян Иванович поспешил пальцы, развернул письмо, приготовился читать. Рядом сидевший с ним Чумаков шепнул ему: «Вверх ногами держишь». Пугачёв перевернул письмо, нахмурился и, водя взглядом по строкам, стал шевелить губами. Затем ткнул Чумакова локтем, сказал ему:

— Да-а, зело похабно написано. Измена... — и крикнул:

— Секретарь!

Дубровской! Где ты? Читай само громко.

Алексей Дубровский, в новой казацкой одежде, с подобострастием принял бумагу из царских рук и начал внятно вычитывать.

— Так-так-так, — протянул Пугачёв, — хорошо, сукины дети, пишут, складно! Все, что ли? Та-а-к... Подпоручика Минеева сюда!

— Я здесь, ваше величество, — выдвинулся вперед Минеев.

Он дрожал всем телом, был бледен, как мертвец.

— Жалую тебя, подпоручик Минеев, чином подполковника. Дубровский, слышишь? Чтоб моя Военная коллегия написала о сем именной указ. — Затем Пугачёв наскоро отер подолом рубахи пот с лица и обратился к связанным:

— Что ж, сволочи, в ступе вас, змей ползучих, истолочь али живьем изжарить?

(У Смирнова вдруг ослабли ноги, он как-то боком повалился на колени, побелел.) Ну, Скрипицын, полковник мой, недолго же ты послужил мне. А ведь я тебя и в князя мог произвести... — Голос Пугачёва, как это ни странно, звучал теперь мягко, глаза подобрели. Минеев неприятно поежился, а Белобородов с Перфильевым поняли, что недаром атаманы за обедом втолковывали царю, что Скрипицын — полковник дельный, опытный, что он может принести еще им большую пользу. Да и сам Пугачёв не особенно-то обескуражен был обнаруженным письмом: хоть сто писем посылай губернатору, все равно Казань будет взята. — Ах, Скрипицын, Скрипицын, — сожалительно качал Пугачёв головой. — Ведь мне доведется лишить тебя полковничьего чина. Уж не взыщи... И как ты мог умыслить этакое против государя своего! Ась?

— Какой ты мне государь! — громко сказал Скрипицын.

Пугачёв в изумлении открыл рот, выпучил глаза, откинулся спиной к сосне.

А Белобородов в досаде махнул рукой, буркнул: «Пропал, дурак» — и отвернулся.

— Ты вор и обманщик, — возвысил Скрипицын голос. — Ты преступник государственный. Ты...

— Замолчи! — Пугачёв вскочил, весь затрясся, швырнул в Скрипицына горшком с кашей.

Скрипицын плюнул в него и закричал:

— Солдаты, казаки, мужики! Чего смотрите на врага государыни?!. Вяжите его!

Пугачёв в бешенстве выхватил из-за пояса Чумакова нож, кинулся к Скрипицыну, чтоб поразить его, но тот увернулся, Скрипицына сгребли в охапку. Пугачёв бросил нож, лицо его стало багровым, он закричал резким, как свист стрелы, визгом:

— Вздернуть! Вздернуть! Немедля!

Мужики прорвали цепь, хлынули к связанным, чтоб расправиться с ними.

Казачи оцетинили пики, гнали толпу прочь. Беспоясый, босоногий Пугачёв, едва дыша от приступа ярости, спешил в свою палатку. Никто еще не видал мужицкого царя в таком исступлении.

Скрипицын, Смирнов и Бахман повешены были на двух тихих соснах-близнецах. По указанию Минеева были схвачены приказчик Ключников и целовальник. Минеев обвинил их в знании и сокрытии предательского умысла Скрипицына.

Вновь прилепившиеся к Пугачёвцам крестьяне, видя впервые, как вешают людей, испуганно похохатывали.

А дед Агафон, пришедший с народом из села Сайгатки, чтоб пристать к воинству батюшки-царя пожалел казненных, перекрестился, прошептал:

«Упокой, господи, их душеньки», взмотнул бородой и плаксиво сморщился.

— За что же это их, сердешных? — утирая слезы, спросил он пробежавшего мимо казака.

— За шею, дед, за шею! Что, жалко господ-то?

— А чего их жалеть, — испугался Агафон и замолчал.

Казак запустил руку в правый карман штанов, вытащил горстку медных денег, запустил руку в левый карман, вытащил алую ленточку.

— На, старинушка. Поди, внучка есть алибо сноха молодая?.. Видел ли государя-то нашего?

— А к чему мне его видеть-то? Царь и царь...

Он поблагодарил казака, закинул за плечо кошель и потащился по лесной тропке в обратную дорогу.

На следующий день, чем свет, войско стало переправляться через Каму.

Все обошлось благополучно. Утонуло лишь несколько лошадей, две негодных пушки да человек десять пьяных мужиков.

Переправой артиллерии руководил сам Емельян Иваныч. Отъезжая от берега в дальний путь, он в последний раз взглянул на сосны, где смирнехонько висели казненные им офицеры. Взглянул и тяжело вздохнул.

## **Глава 8.**

### **«Как во городе было во Казани».**

Как только было получено губернатором Брантом известие о падении Осы, Казань с усиленным рвением принялась готовиться к самообороне.

Вскоре прибыл из Петербурга начальник следственной комиссии Павел Потемкин, вызванный из действующей армии Румянцева и только что произведенный в генерал-майоры.

Мот, форсун, картежник, он с полной уверенностью ждал подачки от высочайшего двора, чтоб хотя отчасти погасить висевшие на нем долги. Да, ему во что бы то ни стало надо выслужиться перед императрицей, завоевать себе её милостивое расположение. Не старый, очень высокий и тощий, лицо круглое, серые, слегка раскосые, глаза с наглинкой. Он приехал сюда повелевать, он готов считать себя выше главнокомандующего, он утрет нос всем этим незадачливым воякам, разным Фрейманам, Деколонгам и Щербатовым, он, Павел Потемкин, троюродный брат «великого» Потемкина, он всем, всему миру покажет, как надо сокрушить набеглого царя Емельку Пугачёва с его «каторжной сволочью». Потемкин со всеми обращался надменно, он любил пускать пыль в глаза, похвалялся своей храбростью и тем, что он наторелый знаток военного искусства. Прочих же военачальников, в том числе и губернатора, он считал бездарью, бездельниками и трусами. «Мне бы только грудь с грудью с Пугачёвым встретиться!» — в открытую бахвалился он.

А между тем распорядительный губернатор Брант при помощи генерала Ларионова принял всевозможные меры к защите города. Но беда его заключалась в том, что средств к обороне было слишком недостаточно. Город располагал всего-навсего семьюстами человек регулярной команды, дальнейшая защита зависела от числа и доблести вооруженных жителей.

Тогдашняя Казань, расположенная между речками Казанкой и Булаком, состояла главным образом из деревянных строений. Она делилась на три части: крепость, город, слободы. Кремль, или крепость, был в состоянии полуразрушенном, он стоял на берегу Казанки и тянулся вдоль Булака, образуя собою замкнутый многоугольник общей длиной около двух верст. В нем помещался Спасский монастырь, над стенами высилась старинная башня Сумбеки, татарской ханши. На восток от кремля раскинулся город с каменным гостиным двором, женским монастырем, многочисленными храмами, мечетями и немногими каменными домами именитого купечества, помещиков, крупных чиновников.

Далее стояли слободы, составлявшие предместья города. На берегу озера Кабана — слобода Архангельская, влево от нее — Суконная, здесь шла дорога на Оренбург. К Суконной слободе примыкало огромное Арское

поле, в западной части его — загородный губернаторский дом, кирпичные заводы и роща; здесь пролегал большой сибирский тракт.

Спешно было приступлено к возведению оборонительной линии вокруг города и слобод общим протяжением пятнадцать верст. Она должна была состоять из девяти земляных батарей, соединенных между собою рогатками. Но к приходу Пугачёва успели сделать лишь пять батарей, да и те вооружены были только одной пушкой каждая.

Отправлены нарочные в отряды Михельсона, Попова и других военачальников с просьбой, как можно скорей поспешать на спасение города Казани и губернии.

Однако между начальниками небольших воинских частей не было согласованности. Старшие в чине старались присоединить к себе отряды младших, возникали ссоры.

Вся эта неразбериха и сумятица была на руку Емельяну Иванычу. Силы его возросли до семи тысяч человек при двенадцати орудиях. Пугачёвцы широко раскинулись по обоим берегам Камы, охватив огромное пространство.

Главные силы армии двигались сухопутьем, вдалеке от Камы, через Ижевский завод, на селение Мамадыш. Затем, переплыв реку Вятку, они взяли путь прямо на Казань.

Меж тем Казань продолжала готовиться к самозащите. Все вооруженные жители были распределены по участкам, каждому назначен свой пост. По орудийному выстрелу и церковному набату всем защитникам города предписано быть на своих местах.

Деятельно готовились к обороне слободы Суконная, Ямская, Архангельская, а также Первая казанская гимназия. Это учебное заведение для дворянских детей находилось в ведении Московского университета.

Начальник гимназии фон Каниц, человек военный и не старей, у него все было поставлено на военную ногу. Еще с появлением в Оренбургском крае Пугачёва фон Каниц ввел обучение воспитанников пешему строю, стрельбе, фехтованию.

Молодые люди занимались этим делом с охотою.

Когда подошло время, фон Каниц сообщил губернатору, что гимназия может выставить семьдесят четыре человека, все они будут вооружены пиками, ружьями, а учителя и два дежурных офицера, как люди «шпажные», будут иметь по паре пистолетов. Губернатор назначил гимназическому корпусу действовать против Арского поля, вблизи Грузинской церкви и гимназии. Гимназисты должны были защищать батарею, поставленную на открытом месте. Ученики принялись укреплять



свои позиции: врывали в землю надолбы, ставили рогатки, копали траншеи. Работали весело, много было пылу в молодых сердцах, но иные из них нет-нет да и вздохнут, и покосятся в ту сторону, откуда должен появиться Пугачёв. У них нет и не было сомнения в том, что Пугачёв душегуб, разбойник, что он кровный враг им. Недаром же, — вспоминают они, — и архиепископ Вениамин несколько месяцев тому назад предавал его «анафеме»; они помнят, как всем строем они стояли на площади возле собора, как заунывно перезванивали колокола и хор трижды пел Емельке Пугачёву «анафема проклят». Их, учеников гимназии, тогда было много, теперь же осталась горстка — почти все разъехались с папеньками-маменьками в укромные местечки.

— Ничего, ничего, — говорит толстяк юнец Мельгунов с шарообразной головой. — Я схватку с разбойником жду с нетерпением. С народом не страшно. Глянь, сколь людей-то!

— Да, — отвечает ему черноглазый красивый юноша Михайлов, отшвыривая лопатой землю. — Я тоже ни капли не боюсь... Начальник у нас храбрый, свои офицеры есть. Да может статья, Пугач-то и не придёт сюда: Михельсон по пятам за ним гонится, авось не допустит до Казани.

— Жаль только, губернатор староват у нас.

— Староват-то староват, зато дочки его хороши.

— Хороши-то хороши... Это верно... Особливо Людмила, а губернатор-то староват.

— Староват-то староват, зато дочки хороши.

— Хороши-то хороши...

— Ха-ха... Ну, заладил!

Они оба бросили лопаты, сели на бревно и, заглядывая друг другу в глаза и улыбаясь, повели разговор про девушек, про беспечальное житье в гимназии. Забыв о Пугачёве, они вспоминали недавние пасхальные каникулы, как три вечера подряд ученики, вместе с приглашенными барышнями, ставили трагедию «Семира», пьесу «Синеус и Трувер» Сумарокова, «Школу мужей»

Мольера. Играли неплохо, даже был балет, на коем особенно отличались своим изяществом две дочери губернатора Бранта и три девушки-польки из семей ссыльных конфедератов.

— Черт! — сказал толстяк Мельгунов и, вытащив из кармана долю пирога, стал закусывать. — Я первый раз в жизни увидел наяву такие хорошенькие женские ножки. Две недели, понимаешь, снились мне.

— А мне и до сих пор снятся, — сказал черноглазый Михайлов. — Отломи-ка мне кусочек пирожка. Спасибо! И как только Пугача разделаем,

в университет ни за что не поеду, гимназию брошу, женюсь. Мне скоро девятнадцать.

— Ты богатый, тебе можно и жениться, — проговорил толстяк, вытаскивая из другого кармана две ватрушки с творогом. — А ты знаешь, в кого я влюблен?

— Господа гимназисты! — прозвучал оклик офицера. — Вы что, баклуши сюда бить пришли? А ну, за дело!

Оба молодца схватили лопаты и с усердием принялись копать землю. Мимо них по Арскому полю громыхали возы с добром, двигались пролетки и дроги со спешно покидавшими Казань помещиками.

Вправо и влево по линии обороны идут работы. Не одна тысяча жителей, множество лошадей с утра до ночи трудятся над созданием надежных позиций.

Бревна, камень, железо, хворост — все пущено в ход. Всюду пыль, костры, перебранка, крики. На шести конях пушку к батарее волокут. Слева, по лугу, маршируют утомленные солдаты. Там — группа проплыла на конях. Женщины с мешками собирают щепки, стружки. На лугу, в нескольких местах, раскинуты палатки торговцев, квас, сбитень, рубленое осердие, копченая рыбешка, «сорок душ на палочке», гороховики. По тайности есть в палатках и сивушное вино, и очищенный «пенник».

— Наливай! — кричит обросший волосами бурлак и бросает торгашу деньги. — Сыпь на все, так и так пропадать.

— Пошто пропадать, — говорит кузнец в кожаном фартуке, похохатывая и поддериывая накинутую на плечи кацавейку. — Пущай баре пропадают, а мы не пропадем... Батюшка нас не потрожит...

— Цыть! Засохни! — нестрашным окриком, по-приятельски, стращает его торговый. — Мотри, живо заметут...

Гурьба ребятишек, разделившись на две стаи, играют в войну: Михельсон в шляпе с петушиным пером, Пугачёв с пикой, со звездой на груди и с наведенной сажею бородицей. Швыряются галькой, тузят друг друга деревянными мечами, колют пиками: «Ура, ура! Бей Михельсона! Защищай царя!»

Старый бритый приказной с длинной шеей, замотанный гарусным шарфом и с берестяным кошелем из которого торчит большая, с сердитым оскалом щука, присмотревшись к игре, ласково кричит им:

— Эй, который здесь Пугачёв? На конфетку!

— Я — Пугачёв, дяденька... — с готовностью выкрикнув, подбегает к нему запыхавшийся мальчонка в черной бороде.

Приказной, сделав свирепый вид, схватывает его за вихры и начинает

трясти:

— Вот тебе, змееныш! Вот тебе Пугачёв, вот тебе царь! Ужо я полицейских сюда, ужо-ужо...

А там, за палатками, возле канавы свалка: толпа схватила двух подозрительных татар и двух русских.

— Вяжи их! От Пугача подосланцы...

— Да что вы, родимые!.. Мы тутошные, казанские...

— Айда, айда! — с криком бегут на скандал мальчишки, спешат солдаты, подкатил на коне офицер.

— Документы! Ах, нету? Забрать!

По луговине ехал верхом долговязый Потемкин.

И так по всей Казани и её пригородам шла суетливая работа. Впрочем, мало кому верилось, что Пугачёв в скором времени придёт в Казань. Не верил этой возможности и недавно прибывший сюда Павел Потемкин. Он уже успел послать императрице Екатерине верноподданническое донесение. Между прочим он писал: «Нашел я Казань в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить о безопасности города. Ложные известия о приближении злодея Пугачёва к Казани привели в неопишную робость, начиная от губернатора, почти всех жителей, почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спасаться. Я не хотел при начале приезда оскорблять губернатора, но говорил ему, что город совершенно безопасен». Далее Потемкин уверил Екатерину, что скорее погибнет, чем допустит разбойника Пугачёва атаковать город. «Я предлагал губернатору, что если он имеет хотя малый деташемент, человек в пятьсот, то я приемлю на себя идти навстречу злодею. По первому известию о приближении его от Вятки к Казани, я тотчас выступлю с помянутым деташементом».

Все это был лишь бахвальный дребезг слов. Еще не успеет донесение дойти до Екатерины, как автор его окажет все признаки подлинной трусости.

— Вот вам, пожалуйста, — говорил Потемкину губернатор Брант, представляя письмо татарина Ахмаметева, уведомлявшего, что 4 июля Пугачёв со своей толпой стоял в экономическом селе Мамадыше. — А сегодня у нас уже седьмое июля.

Разговор происходил в кабинете губернатора. Потемкин, не знавший географии края, тотчас уткнулся в карту и, найдя Мамадыш, воскликнул:

— Не верю! Ложь!.. Господин губернатор, ваш татарин врет. Он или Пугачёвец, или вообще нечестный человек. Да посудите сами: ведь от Мамадыша до Казани по прямой линии полтора верста.

— Ну, по прямой линии Пугачёв вряд ли пойдет... а дорогой до нас верст двести. Это ему на пять, на шесть переходов. Значит, дня через три злодей может оказаться здесь... Как снег на голову!..

В глазах Потемкина зарябило. «А мое донесение! Боже, что подумает императрица?!» Спотыкаясь на гладком ковре длинными, вдруг одрябшими ногами, сказал:

— Что же вы предприняли в смысле пресечения злодею пути?

— Мною послан навстречу detachement в двести человек карабинеров и пехоты при одном орудии.

— Мало, мало, ваше превосходительство!

— Может быть... Но не могу же я оставить город без войска, — ответил губернатор и, пожевав губами, вперила глаза в заметно взволнованное лицо Потемкина. — Я бы мог, конечно, выделить еще человек пятьсот и бросить навстречу злодейской толпе, да беда моя, нет у меня искусных военачальников. Вот вы, Павел Сергеевич, вы вояка... Возьмитесь-ка за сию патриотическую миссию да потрепайте хорошенько злодеев в поле! Впереди вы, позади Михельсон. Прославленным героем были бы.

Потемкин побледнел, ему померещилась злодейская виселица, и сердце его еще более заскучало. Что за черт! Этот старикашка Брант либо колдун, либо... прочел, каналья, его Потемкина, донесение императрице.

— Что я? Идти в поле? — обиженным тоном воскликнул он, и чуть раскосые глаза его заюлили. — Досточтимый Яков Ларионович! Вы изволили запомнить, сколь высокий пост поручен мне её величеством. И уж ежели я буду командовать, то не каким-то жалким detachementом, а воинскими силами всей Казанской губернии. Загляните в инструкцию, данную мне её величеством. Мои полномочия... безграничны!

Губернатор тяжело задышал, ему ненавистен был апломб этого выскочки, он брезгливым голосом молвил:

— Я высочайшую на ваше имя инструкцию пристально смотрел. Там ничего такого нет, о чем вы изволите говорить... Вы, Павел Сергеевич, не более как главный начальник двух секретных следственных комиссий, в одну сливающихся. А главнокомандующим войск, против Пугачёва выдвинутых, суть князь Щербатов...

— Да!.. Но, Яков Ларионович, именныя высочайшия указы надо уметь читать между строк. Да к тому же и мой братец, Григорий Александрович Потемкин, говорил...

— Извините, господин Потемкин, — колко перебил его Брант. — Я сему предмету не обучался — читать высочайшия указы между строк. И

обучаться не желаю.

Местность была лесистая. 10 июля Пугачёв разгромил высланный ему навстречу отряд полковника Толстого, полковник в стычке был убит, солдаты его частью разбежались по лесам, частью передались Пугачёву.

— Дубровский! — обратился к вызванному секретарю довольный успехом Пугачёв. — Напиши-ка жителям мой царский указ, чтоб покорились мне, государю, без сопротивления, да приняли б наше императорское величество с честью, а город сдали без бою.

На другой день Пугачёв подошел к Казани и остановился в семи верстах от нее, на Троицкой мельнице. Его толпа, растянувшаяся на несколько верст до села Царыцына, постепенно подтягивалась к ставке. Армия Емельяна Иваныча никогда не была столь многочисленна: в ней насчитывалось по крайней мере до двадцати тысяч человек. Беда была лишь в том, что большинство крестьян вооружено из рук вон плохо: пики, рогатки, дубины, топоры. Несколько лучше снабжены вооружением горнозаводские крестьяне: многие из них — охотники — имели старинные ружья-малопульки.

Как ни старались офицеры Горбатов и Минеев, атаманы Овчинников и Творогов навести в армии боевой порядок, научить мужиков от сохи ратному делу, это им не удавалось: слишком быстро армия двигалась вперед, толпы крестьян то вливались в нее, то выбывали, чтобы попасть домой на полевые работы.

К таким воякам, наострившим лыжи восвояси, зачастую выезжал на коне сам Пугачёв.

— Детушки! — начинал он стыдить людей. — Гоже ли, детушки, в этакую горячую пору покидать меня? Нивы ваши никуда не уйдут, бабы со стариками да ребятишками без вас там управятся. А ежели помогу не окажете мне — всего лишитесь: опять оседлают вас баре! Уж раз встряли, хвостом трясти нечего! Глянь, сколь народу с нами. А как подадимся к Москве, вся Русь мужицкая подыметя. Тогда мы, детушки, всех сомнем под себя, всех царицыных прихвостней-генералов повалим.

— Рады послужить тебе, надежа-государь! Остаемся! — кричали коноводы.

Тем не менее многие уходили по-тайности.

И вот — Казань. Пугачёв отправил в город атамана Овчинникова со

своими манифестами. Овчинников пробрался в пригороды Казани с четырьмя хорунжими, но вскоре вернулся.

— Не слушают, батюшка, — докладывал он Пугачёву. — Не слушают, а только бранятся.

— А коли бранятся, так мы с ними по-свойски перемолвимся, — гневно сказал Пугачёв. — Готовь, Афанасьич, армию к штурму. Да не можно ли, чтоб сегодня в ночь Минеев с Белобородовым по-тайности побывали в Казани да высмотрели, что надо?

— Слушаюсь, Петр Федорыч, — сказал горбоносый Овчинников, покручивая курчавую, как овечья шерсть, русую бородку.

— А утресь сам я объеду позиции. Да хорошо бы «языков» добыть.

— Перебежчики есть, батюшка, Перфиша с них допрос снимает.

— Ну так — штурм, Андрей Афанасьич! Я чаю, народу у нас сверх головы.

Одним гамом страху нагоним. А Михельсонишка-то кабудь затерял нас...

— Да ведь мы ходко подаемся.

— Слышь, Афанасьич. А чего-то я депутата-то от наследника давно не видел, Долгополова-то Остафья? Не сбежал ли уж?

— Нет, батюшка. Он дюже войнишки страшится, больше по землянкам хоронится. Да шея у него болит... Ему, чуешь, Нагин-Беда накостылял по шее-то.

— О-о-о, пошто же так?

— Да было вздумал Остафий-то с его жинкой поиграть, с Домной Карповной, ну и...

— Ишь ты, старый барсук... А что, хороша Домна-то?

— Да ничего себе, телеса сдобные.

— Ишь ты, ишь ты! Где ж он, Нагин-Беда-то, такую поддедюлил?

— А на Авзяно-Петровском заводе, батюшка, когда с Хлопушей в походе был. Она вдовица управителя завода — Ваньки Каина...

Когда пали сумерки, к палатке Пугачёва нежданно-негаданно подъехала пара вороных, запряженных в широкий тарантас. Из тарантаса выскочили двое: пожилой и парень, оба одеты в длиннополые раскольничьи кафтаны, на головах войлочные черные шляпы. Приезжих сопровождал конный казачий дозор, перехвативший их по дороге как людей подозрительных.

— Не можно ли нам батюшку увидеть? — обратился пожилой приезжий к окружавшей палатку страже. — Мы казанские купцы, отец да сын.

— Зачем не можна, — можна, — сказал увешанный кривыми ножами Идорка.

Тут вышел из палатки Пугачёв в накинутом на плечи полукафтанье с золотым шитьем. Приезжие сняли шляпы и, касаясь пальцами земли, поклонились ему.

— Кто такие? Откуда? — спросил Емельян Иваныч.

— Купцы Крохины, твое величество, отец да сын. Я — Иван Васильевич буду, а это Мишка, оболтус мой...

— Ах, тятенька... По какому же праву... оболтус? — заулыбался кудрявый парень — косая сажень в плечах.

Все вошли в палатку.

— А я за тобой, твое величество. Уж не побрезгуй, бью тебе челом в гости ко мне пожаловать. Отец Филарет с Иргиза поклон тебе шлет, письмо получил от него намеднись, а с письмом и тебе вещицу прислал он зело важную... — напевным голосом говорил Крохин, высокий, здоровенный человек.

Открытое, с крупными чертами лицо его было не по летам молодо и свежо.

Светло-русовая густая борода аккуратно подстрижена, в веселых на выкате глазах светился крепкий ум.

Пугачёв несколько опешил. Уж не подсланы ли от Бранта? Чего доброго, схватят да в тюрьму.

— Уж ты будь без опаски, батюшка, — как бы переняв его настроение, сказал, кланяясь, Иван Васильевич. — Мы люди по всему краю известные.

Крохиных всяк знает.

Пугачёв пристально взглянул в хорошие русские лица купцов и поверил им. Малый развязал узел и подал Пугачёву купеческую сряду, затем подпоясал его цветистым азарбатным кушаком, — и вот он, Пугачёв, купец.

Все же, уезжая, Емельян Иваныч призвал атамана Овчинникова, сказал ему:

— Слышь, Афанасьич, собрался я к купцам Крохиным в гости. Коль к полночи не вернусь, навстречь мне с казаками иди...

— Да заспокойся, батюшка!.. Мы люди верные, свои, — проговорил, улыбаясь, старик Крохин.

Кони подхватили, понесли.

Вскоре замерцала вдали линия сторожевых костров. Возле городских укреплений стали попадаться разъезды Бранта.

— Кто едет?

— Крохин!

— А, Иван Васильевич! Проезжай с богом.

На иных пикетах, узнав издалека купеческую пару вороных, говорили «Крохин это» и без задержки пропускали.

В черте города кони пошли шагом. Емельян Иваныч любопытным взором водил по сторонам. Впрочем, в Казани многое было ему знакомо. Старик Крохин пояснял ему:

— А это вот каменные палаты-те именитого купца Жаркова, Ивана Степаныча. Он нашего же старообрядческого толку и к вере нашей зело прилежен, самолучшая часовня у него.

Большой свежепобеленный дом Жаркова стоял на левом берегу Булака, упираясь огородами и фруктовым садом в усадьбу Егорьевской церкви.

— А это что на цепях-то? Мост, никак? — спросил Пугачёв.

— А это через Булак подъемный мост, чтобы суда с грузом пропускать.

Сам Жарков для себя же выстроил, на свой кошт. Он купец тароватый...

— Да ведь нам, купцам, тятенька, и не можно растяпистыми-то быть, — подергивая вожжами, сказал малый; он сидел вполоборота к седокам.

— А ты помолчи! — прикрикнул на него отец не то всерьез, не то в шутку. — А нет — живо святым кулаком да по окаянной шее... Чуешь?

— Какой вы, право, тятенька! — обидчиво произнес сын. — Да ведь я к слову.

— А это ж чьи суда-то? Его же? — спросил Пугачёв.

— Жарковские, жарковские... С товарами! По Каме да по Волге ходят.

Унжаки, тихвинки, беляны, астраханские косные лодки. Впрочем говоря — тут и других купцов, и моих пара посудинок есть. Вишь, Булак-то многоводен ныне, а вот уж осенью одна тина останется да ил.

— А какие же товары-то грузятся тут? — допытывался Пугачёв.

— А товары — перво-наперво хлеб, ну там еще рогожи, лубок, ободья колесные, кожа, мыло, свечи сальные, холст... Да мало ли! Ведь Жарков-то, мотри, оптовую торговлю ведет по всей России. У него есть расшивы с коноводными машинами: по бокам колесья с плицами по воде хлещут. А это вон амбары, вишь, пошли жарковские, да еще Петрова купца. И мой амбаришка... вон-вон, с краю стоит.

Небо в лохматых тучах, накрапывал дождик. Вдали погромыхивало.

Становилось темно. Сзади золотым ожерельем туманился отблеск костров — то передовые позиции, куда было выведено немало жителей.

А вот и крохинский дом. Заскрипели ворота, подбежали люди с



фонарями.

Хозяева с гостем вошли в горницы.

— Ну, гостенок дорогой, пойдем-ка наперед в баньку, в мыленку, с великого устаточку косточки распарить.

— Ништо, ништо, Иван Васильич, — обрадованно сказал Пугачёв и даже крикнул. — До баньки я охоч.

Провожали в баню гостя и хозяина два рослых молодца с фонарем. Шли огородом, садом. Путанные тени от деревьев елозили, растекались по усыпанной песком дорожке. Пахло обрызнутыми дождем густыми травами, наливавшимся яблоками, волглой, разопревшей за день черной землей.

Обширная бревенчатая баня освещена была масляными подвесными фонарями. Липовые, чисто, добела промытые с дресвой скамьи покрыты кошмами, а сверху — свежими простынями. На полу в предбаннике вдосталь насыпано сена, прикрытого пушистым ковром. На полках — три расписных берестяных туеса с медом да с «дедовским» квасом, что «шибает в нос и велие прояснение в мозгах творит». На особом дубовом столике — вехотки, суконки, мочалки, куски пахучего мыла. Мыловарнями своими Казань издревле славилась. В парном отделении, на скамьях, обваренные кипятком душистые мята, калуфер, чабер и другие травы. В кипучем котле квас с мятой — для распариванья березовых веников и поддавания на каменку.

В бане мылись вдвоем, гость да хозяин, говорить можно было по душам, с глазу на глаз. Купец принялся ковш за ковшом поддавать. Баня наполнилась ароматным паром. Шелковым шелестом зажихали веники. Парились неумно. А купец все поддавал и поддавал, не жалея духмяного квасу. Пар белыми взрывами, пыхнув, шарахался вверх, во все стороны.

Приятно побрякивая и жмурясь, Пугачёв сказал:

— Эх, благодать! Ну, спасибо тебе, Иван Васильич!.. Отродясь не доводилось в этакой баньке париться. На что уж императорская хороша, а эта лучше.

— С нами бог! — воскликнул купец в ответ. — А не угодно ли тертой редечкой с красным уксусом растереться?

— Давай, давай.

Терли друг друга, кряхтели, гоготали, кожа сделалась багряною, пылала. В крови, в мускулах ходило ходуном, и на душе стало беззаботно и безоблачно.

— Ну, как, батюшка, дела-то твои, силушки-то много ли ведешь?

— А людской силы у меня хоть отбавляй, Иван Васильич. Народу, как грязи! Куда ногой вступлю, туда и всенародство бежит по следам моим.

— Слышно, оруженье-то у ты плоховато? Поди, с кулаками да с дрючками больше народ-от?

— Оруженья, верно, маловато, — не сразу откликнулся Пугачёв. — Ну, да ведь я подмогу с Урала жду. Урал мне весь покорился.

— Вестно нам, батюшка, — продолжал, помолчав, купец, — будто под Татищевой-то дюже пообидели тебя царицынские-то генералишки, чтоб им в тартар всем, к сатанаилу в пекло!

Прежде чем ответить, Пугачёв глубоко, всей грудью вздохнул. Тяжелая неудача под Татищевой висела над ним подобно туче, о сю пору давила его сердце. Он тихо сказал:

— Да, Иван Васильич... Верно, опростоволосились мы трохи-трохи под Татищевой. Довелось и оруженья сколько-то побросать, пушек... Что поделаешь!.. Видно, тако господу угодно.

— Хм, — с грустью хмыкнул хозяин. — Ну, вот чего — не горюй, батюшка!.. Судьбы мира сего в руке божией. А мы, старозаветное купечество, подмогу тебе учинить порешили. Как поедем в обрат, я тебе меж кустов амбарушку покажу, черемуха там растет. Пришли-ка ты туда удальцов, у меня там ружей сотни четыре припрятано, да пороху пудов с двадцать, да свинцу.

Больше бы скопили, да ведь не чуяли, не ведали, куда ты путь свой повернешь.

— Благодарствую, Иван Васильич... Старание твое век помнить будем, — растроганно сказал Пугачёв, с проворством работая мочалкой. Пахучее мыло пенилось, играло тысячами глазастых пузырьков.

— Деньжонок ощо дадим тебе, да снеди, да продохту разного. Ну, и ты нас, купцов-то, ину пору уважь, батюшка! Не вели грабить-то да жегчи-то нас, старозаветных. Мы для государства люди нужные... Мы отечественные капиталы созидаем! Иные среди нас даже с заграницей торг ведут, чрез что, слышь, течение капиталов иноземных в Россию усугубляется. Впрочем сказать, о сем мы за трапезой толковать будем. Поснедаем, выпьем — стомаха ради — монастырского да и побалакаем.

— Ахти добро, — ответил Пугачёв. — Только, чуешь, на дело-то не впотребляю я хмельного, Иван Васильич. У меня устав такой.

— А ты, батюшка, слыхал: в чужой-то монастырь со своим уставом не ходят.

— А я и не собирался ходить, сам ты присугласил меня...

— Мало ли бы что... Ину пору можно и выпить. Сказано: год не пей, а после баньки укради да выпей. Ох, господи помилуй, господи помилуй!..

Грехи наши тяжкие, грехи неотмолимые! — купец повздыхал и, чуть

подняв голос, спросил:

— Ну, а како, батюшка, касаемо веры нашей древлей, равноапостольной? Станешь ли берегчи ее, как воцаришься?

— Слых был, — вслед ответил Пугачёв, — архирей казанский клял меня, анафемой принародно сволочил. А вы, старозаконники, за меня богу молитесь.

Так вот и раскинь умом, Иван Васильич, за кого же наше самодержавство стоять будет?

— Да, поди, за нас же, за наших христоробцев, батюшка?

— Верно сказано, правду со истиной... Давай-ка кваску, хозяин.

Выпили раз за разом по три кружки пенного квасу с имбирем, опять стали мыться, париться.

И вдруг с высокого полка, из облаков густого пара загудел бесхитростный голос хозяина:

— Так-то, Емельян Иваныч, батюшка, так-то.

Пугачёв, сидевший на скамье внизу, враз прекратил мыться, его руки с мочалкой опустились. «Уж, полно, не попритчилось ли, не запарился ли я?» — мелькнуло в мыслях изумившегося Пугачёва. А голос продолжал из облаков, с высокого полка, как с неба:

— Нас, чадо Емельяне, тут-ка только двоечка, а третий — господь бог над нами. И ты, родимый, не страшись и не гневайся. Я человек простой, крови русской, души прямой и к твоему делу зело усердный.

— Так, так! — перебил его Пугачёв, сдвигая к переносице брови и приподнимаясь. — Морочить голову мне задумал? Ась? Не распаляй ты моего сердца!

— Будет, будет тебе, Емельян Иваныч. Заспокойся, родной, — все так же простодушно говорил хозяин. — Слушай-ка. Нам во всей России, я чаю, только пятерым старозаветным людям вестно, что ты не того... не царских кровей будешь. Ну, токмо мы, старозаветные, тайну сию крепко блюдем. Мы, слышь, по дорожке Митьки Лысова, атамана твоего, не пойдём ни в жизнь. Видишь, и о сем хриstopродавце осведомлены мы.

Душа Пугачёва закипала. Он хотел показать купцу царские знаки на своей груди, хотел сгрести его за бороду, но сдержался, может быть, баня умягчила его чувства.

— Так, так, — кидал он сквозь зубы. — Выходит, по-вашему, по-старозаветному, не царь я?

— Пусть бы и царь, да токмо еще не самодержавец ты, батюшка, — с тем же спокойствием говорил из облаков купец. — Ведай, заступник наш: царь без престола все едино, что конь боевой без седла, алибо обширная

храмина, у коей замест каменных столбов песок сыпучий.

Купец свесил с полки сильные волосатые ноги, дружелюбно уставился в широко открытые глаза Пугачёва.

— А мы тебе самодержавцем-то стать всякую помощь повсеместно учиняем, — продолжал старик гулко. — У нас и по заводам и по городам свои приспешники. Мы к тому и дело клоним, чтоб тебе престол отвоевать, чтоб тебе, а не Катерине, царем царствовать. Досюльные-то цари, и с Катериной вместях, скорпионы да вервия уготовляли нам...

— Кто это тебе набрякал, что я не царь, не Петр Федорыч? Уж не катькины ли манифесты отуманили тебя? Ась?

— Тьфу, тьфу нам ейные манифесты, батюшка. А сказал мне про это самое купец Щелоков, помнишь, калачи-то он тебе в острог нашивал? Да еще всечестной старец Филарет, у которого гостил ты попутно. Он тебя и в деле видел, в Бердах, под Оренбургом: то ли сам, то ли через своих посланцев.

Зело одобрял он дела твои, и храбрость твою лыцарску, и распорядок. И прислал мне он, рекомый игумен Филарет, вещь тайную, коя зело поможет тебе въяве...

— Чего же такое? — смягчившись, спросил Пугачёв, встал и поддал в каменку два ковша квасу.

— А прислал он тебе, родимый, голштинское знамя покойного Петра Федорыча Третьего, императора.

Купцы Крохины были роду-племени старинного. Иван Васильевич почасту ездил в Москву, водил знакомство с московскими тузами-старообрядцами, маливался в Рогожском кладбище — духовной твердыне русского старообрядчества, заглядывал в Петербург, путешествовал и в скиты керженские, где свел дружбу со знаменитым старцем Игнатием, родственником всеильного Григория Потемкина. Да, знал Крохин многое, что творится на Руси, и был к тому же пытлив, дотошен и умен. Поэтому он тут же и рассказал Пугачёву о всем, что представляет собою голштинское знамя.

— У покойного Петра Федорыча, голштинского выкормка, — начал он, — содержался под Питером, в Ораниенбауме, корпус доверенных телохранителей голштинцев. И было их три тысячи человек. Он им муштру производил, а для красоты и порядка было у них четыре знамени. Егда же Петр Федорович прежде времени кончину воспринял, знамена те схоронены досужими людьми в сундук, заперты и печатями опечатаны. Единое из оных знамен, голубое с гербом черным, путями неисповедимыми похищено, доставлено игумену Филарету на Иргиз, а

чрез одного благоуветного старца-христоролюбца и мне, грешному.

Он кончил. Пугачёв молчал, усердно работал вехоткой. Потом спросил, он уже с тем же, как и у хозяина, спокойствием:

— Коли я с войском своим — самозванный царь, так кто же ты, Иван Васильич, с голштинским тем знаменем притаенным? Ась?

Озадаченный хозяин не понял, смущенно молчал. Пугачёв вскинул шайку и с силой брякнул ею о скамью:

— Эх, купец, Иван Васильич! В знамя поганое, иноземное веришь, а в меня, всея державы царя русского, нет!.. Так-то вот и все вы, сирые, разнесчастные. Зраку своему да ощупи — вера, а что дальше да выше, тому и веры нет... Впрочем сказать, — понизил он голос, — ин, будь по-твоему:

Емельян так Емельян! Мужуку, алибо и вам, купцам-старателям, Петр ли, Емельян ли — все едино: был бы делу привержен да верен...

— Вот, вот! — понял, оживился вновь хозяин.

— Как говорится, — продолжал Пугачёв весело, — сивый ли, пегий ли... лишь бы вез...

— Об чем и речь! Значит, царь-государь, зазря я знамени-то держал-сохранял?

— Как так, зазря? Не портянка, чай. С ним, подарком твоим, и в Казань войду. Благодарствую во как, а пуще всего за верность. Верность — она города берет. Так ли, Иван Васильич?

— Золотые слова, батюшка! Послухать бы их из уст твоих милостивых всему миру нашему, старозаветному.

— Дай срок — всяк услышит, у кого слух-то не помрачен... Не пора ли кончать, хозяин?

— Пора, пора. Телеса омыли, о грешных душах наших попеченье надо сотворить. В моленную ко мне заглянуть бы тебе предлежало, по чину, по правилу.

— От молитвы не бегу, Иван Васильич.

Одевшись, гость и хозяин направились в моленную при доме. Было здесь тихо, благолепно. Стены с полу до потолка уставлены старинными, в дорогих окладах, иконами. Горели восковые свечи в небольшом паникадиле, мерцали кроткие огни лампад. Впереди, у самого иконостаса, стоял аналой, прикрытый атласной, вышитой шелками пеленою. Справа, на стене, янтарные, костяные и кожаные лестовки. На отдельном столике —

медная кропильница с кропилом.

Пахло воском, розовым маслом, ладаном. Пол в ковровых дорожках. Моленная была пуста.

Вздыхая и крестясь, Иван Васильич «сотворил» семипоклонный уставный начал пред Спасовым образом, и оба затем, хозяин и гость, совершили метание. Емельян Иваныч неплохо присноровился к этому обряду, еще когда жил у старца Филарета.

Крохин достал из киотного, что под образами, шкафа запакованный в холст опечатанный сверток и, склонив седую голову, подал Пугачёву:

— Вот оно, знамя-то. Ты его пуще глазу береги! — молвил купец строго.

— Оное знамя не токмо господам офицерам да генералам в великий соблазн будет, а и самое Катерину с толков собьет.

В зальце их поджидало все купеческое семейство: крупная, дородная Василиса Ионовна, в черном повойнике и темно-синем шушуне с золотой травкой, с густыми назади сборками; дочь ее, рослая, миловидная девушка Таня, в косоклинном саяне — сиречь сарафане на пуговках сверху донизу; и уже знакомый Пугачёву хозяйский сын Миша — косая сажень в плечах.

— С легким паром, надежа-государь! — хором возгласило семейство и дружно кувырнулось Пугачёву в ноги. Хозяин благодушно улыбался.

Сердце Емельяна Иваныча будто кто ласково погладил. «Стало, Крохин и впрямь блюдет мою тайну», — подумал он.

Затем хозяин с сыном, вооружившись двумя горящими свечами, повели гостя осматривать хоромы. Крашенные, из широких досок, полы натерты маслом с воском, блестят, всюду постланы пестрые дорожки, мебель хоть и неуклюжая, дедовская, зато из мореного дуба, словно литая из железа. По углам и вдоль стен спряты, укладки, обитые цветным сафьяном или вологодской, «под мороз», жестью. В углу большой шкаф, называемый ставец.

Иван Васильич, загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри библейского содержания картинками, по бокам — райские птицы Алконост и Сирина. Весь ставец набит тяжелыми книгами в деревянных, крытых кожей переплетах.

— Сии книги старопечатные, — сказал Иван Васильич, выкладывая перед Пугачёвым книгу за книгой. — Старопечатные и рукописные, до римского сатанинского нововводства Никона. Вот — малая, глаголемая «Беседословие».

А вот «Святая боговдохновенная, составленная Давыдом-старцем». А вот отреченная тетрадь монастыря Святотроицкого. Слушай, царь-государь,

а ты, Миша, посвети... — Старик надел на нос медные очки, перелистал рукописные страницы и, откашлявшись, прочел чуть-чуть гнусаво:

— «Мрак объял землю русскую, солнце сокрыло лучи свои, луна и звезды померкли, и бездны все содрогаются. Изменились злобно все древние святые предания, все пастыри в еретичестве потонули, а верные из отечества изгоняются — царит там вавилонская любодейница и поит всех из чаши мерзости». Внемлешь, государь?

Сие старцами-христороубцами про Катерину Вторую писано, — захлопнув тетрадь с титлами и сунув её в ставец, пояснил хозяин.

И вступил тут в старика соблазн сделать гостю испытание: грамотен гость или темен? Иван Васильич достал книгу и стал листать ее, от книги пахло плесенью. Испытующе скосив глаз на Пугачёва, он передал ему книгу и сказал:

— На-ка, батюшка, прочти вгул вот энто местечко, стихирку.

Сердце Пугачёва захолонуло. Ах, черт!.. Тут уж не отвертишься...

— Да ведь я без очков-то ни хрена не вижу, а очки забыл, — сказал он.

Хозяин же, как бы не слыша его, велел сыну:

— Миша, посвети!

У Пугачёва зарябило в глазах, запрыгали губы, он влип взором в строчки и напряг память. Ну, слава тебе, тетереву: буквицы знакомые, не зря же старец Василий обучал его грамоте по старозаветным книгам, когда Пугачёв жил у него в келии под Стародубом. И вот теперь, хотя и с большим трудом, Емельян Иваныч, не помня себя от радости, стал разбирать слова и строчки.

— Оную книгу, нарицаемую Лусидариус, сиречь Златой бисер, я без мала всю вытвердил, — говорил старик, нетерпеливо заглядывая в лицо гостя.

И вдруг Пугачёв, насупив брови и откинув рукой волосы со лба, стал медленно, с запинкой, напряженным голосом читать:

— «Идёт старец, несет ставец, в ставце зварец, в зварце сладость, в сладости младость, в младости старость, в старости смерть».

— Вот, батюшка! — воскликнул хозяин и подумал: «Стало, врут манифесты, что самозванный царь безграмотный да темный». — А дале-то тако сказано: «Как на ту ли злую смерть кладут старцы проклятыице великое».

Так-кося, гостенек мой дорогой... Ну, а теперича идем в рабочую мою горницу, где течет жизнь моя земного обогащения ради. Ох, господи, господи!.. Миша, зажги-ка свечи! — приказал он сыну, когда все трое вступили в обширную, комнату, пропахшую кожей, скипидаром, мылом.

Великан Миша привстал на носки и засветил семисвечовую люстру — железный, на трех цепях обруч.

Огромный стол, заваленный бумагами, расчетными книгами, ярлыками.

Большие костяные счеты, чернила с перьями, песочница, недоеденная доля пирога на тарелке, облупленное крутое яйцо, леденчики. По стенам развешаны разной выделки кожи, юфть, разноцветные сафьяны, ящики со свечами, с мылом — образцы производств крохинских фабрик. В стеклянных банках разных сортов крупа, мука — ржаная, пшеничная, гороховая, гречушная, солод для пива. В углу две больших бочки денег: в одной медь, в другой серебро. Купец указал Пугачёву на объемистый холщовый мешочек:

— А это вот, батюшка, твоему царскому величеству от старозаветных купцов помощь: серебряные рублевики да полтины. Унесешь ли?

— Было бы что!

Пугачёв схватил мешок за ушки, играючи подбросил его к самому потолку и поймал растопыренной ладонью.

— Ого! — изумился купец. — Тут серебра три пуда без малого. Ну, поспешим к трапезе.

Придя в столовую, все помолились, сели. На столе: енды, кувшины, пузатые штофики, граненые графины.

— У меня, ведаешь, своя пивоварня. И для себя и для торга, — сказал хозяин, наливая серебряные чары. — Мое пиво пряное, тонкое, для здоровья полезное, крови не густит... Хлебнешь, упадешь, вскочишь, опять захочешь... Ха-ха-ха!.. Вот в этой енде — забористое, зовется «дедушка», в этой «батюшка», а в этой слабенькое, бабий сорт — «сынок».

Угощение было простое и сытное: лапша, ветчина, яишница-верещага, индейка с солеными огурцами, утка с солеными же сливами. Пугачёв ел «по-благородному», оттопырив мизинцы, руки у него чистые, на указательном пальце перстень Степана Разина.

К концу трапезы прибыл именитый купец Жарков, тридцатипятилетний, и такого же, что и у Крохина, осанистого вида дородный человек. Густоволос, бородат.

— Ага. Вот и сам подъемный мост пожаловал. Оптовых промыслов и трех фабрик с заводами содержатель... А мы вот тут, Иван Степаныч, с государем калякаем. Он, отец наш, милостив, не брезгует нашим братом, не гнушается.

Присаживайся.



Жарков помолился в передний угол, низко поклонился Пугачёву, затем хозяевам, сказал:

— Дозвольте присесть, ваше величество, на краюшке...

— Пошто на краюшке... Садись посередке, господин купец, — проговорил Пугачёв, отодвигаясь со стулом в сторону. — Торговым людям, кои не супротив нашего самодержавства, мы милость завсегда творим.

Купцы одобрительно переглянулись. Пили горячий сбитень. Ни чаю, ни табаку — этих сатанинских травок — в доме не водилось. Откашлявшись в горсть, Жарков сказал:

— Торговое сословие, батюшка государь, всякому государству основа.

— Основа-то основа, Иван Степаныч, — возразил широкоплечий хозяин, оглаживая светло-русую бороду, — а главная суть, мотри, в народе обитает: народ богат — и купец богат, народ сир да нищ, и купец ни в тех, ни в сех, середнячком ходит.

— А не можно ли, господа купцы, тако повернуть речи ваши, — встрял в разговор Пугачёв. — Народишко, мол, и беден чрез то, что помещики с купцами чересчур богаты. Ну, правда, купцам-то и бог велит от трудов своих богатеть, а вот помещики — те особь статья. Ась?

— Правда, правда твоя, батюшка! — воскликнул хозяин, и его выпуклые умные глаза заблестели. — Ведь подумать надо, откуда народу-то справным быть, коль у мужичка ничем-чего своего собственного... Все, вишь барское!

Барин захочет, всего лишит, захочет — на каторгу сошлет, а нет, так и продаст, аки скотину рогатую.

— Ломать надо, господа купцы, порядок такой, ломать надо! — сказал Пугачёв. — А сомнем — всем враз вольготно станет. Не так?

Купцы согласно закивали головами. Жарков сказал:

— А нам, торговым да промышленным людям, нешто мало всяких утеснений творят разные там берг-коллегии да мануфактур-коллегии, да магистры с воеводами, с судьями, со всякой строкой приказной. Вот они где, сгинь их головы, сидят! — пришепнул он себя ладонью по загривку. — Ох, батюшка государь, кабы знал ты да ведал...

— Доподлинно сие вестно мне, господа купцы, не сомневайтесь, — подхватил Пугачёв негромко:

— не мало моим царским именем перевешано злоумыслителей таких.

— Взяточка, взяточка сушит да крушит нас, ваше величество, — жаловался Жарков. — Не подмажешь — не поедешь... Замест помощи, что видим мы от начальства-то? Палки в колесья суют! Ежели, скажем, наживешь рубль-целковый, там им гривень семь хабару с рубля-то отойдет,

а нет, так и обанкрутят, в трубу пустят, сгинь их головы! Да вот, извольте послушать, про себя скажу. Тятенька мой, покойна головушка (Жарков перекрестился), оставил мне огромный капитал тысяч во сто. А я оный капитал рвением своим умножил и преумножил. А как? Где не доем, где не досплю, взад-вперед по России гоняю, можно сказать, не дома на пуховиках, в таратайке, да в санях живу. А иначе ничего и не выйдет. Зато салотопенный завод у меня, да свечной, да стекольный, да два мыловаренных. Со Швецией да с Англией торг веду чрез Архангельск. Им, вишь, сало за гроши подавай, а уж они свечи-то да мыло сами наделают, да нам в обрат за тридорога привезут, сгинь их головы! А я по-своему повернул...

— Ну-ка, ну-ка, доложи, как ты их, иноземных, в оглобли-то ввел? — подзуживал гостя Крохин, косясь на Пугачёва.

А тот, помаргивая правым глазом, со вниманием вслушивался.

— А вот как... Я все сало, до фунтика, в Архангельске чрез своих доверенных скупил и в свои склады запер. Иноземцы приплыли на своих кораблях, туда-сюда... Нету сала! Пошумели, пошумели, а податься некуда. И довелось им все свечи с мылом скупить у меня, я невысокую назначил цену, они в своей стороне мой товар не без выгоды распродадут. Так и впредь намерен поступать. Ужо до Риги доберусь, и там таким же побытом дело обосную...

— Вот, ваше величество! — воскликнул Крохин. — А дворяне этак-то деньгу наживать не смыслят.

— Знаю я дворян, — отмахнувшись рукой, сказал Пугачёв и попросил у хозяйки творожку.

— Взять такого Шереметьева, али бо князя Голицына, — подхватил Жарков, — сладко едят, до полуден дрыхнут, живут — палец о палец не ударят, сгинь их головы! Театры по вотчинам позавели, с плясуньями — из крепостных красоток — любовью забавляются, дедовские капиталы прожигают...

Ах, если бы ихние великие капиталы да купцам в руки — нешто такая Россия-то наша была бы! Народ у нас самый работающий, толковый, уветливый народ. Первеющей страной в мире была бы Рассеюшка наша! — Жарков завздохал, заприщелкивал языком и, выждав время, обратился к Пугачёву:

— А ты, ваше величество, окажешь ли поддержку купечеству-то, ежели господь приведет тебе престолом завладать?

Снова прищурив глаз, Пугачёв откинулся на стуле, сказал:

— А я и так уж подмогу даю вам. Нешто не видите? Моим царским

именем вся земля верно моему крестьянству отходит. А ведь вы сами же, господа купцы, толкуете: мужик крепок, так и купцу разворот. Не так?

— Так, так батюшка! — и купцы снова закивали головами.

— Стало, будьте, други мои, без сумнительства. А всех помещиков я с земли сгоню, посажу на жалованье и повелю труждаться. И кликну клич по всей земле люду торговому: а ну, купцы, торгуй! Только... мошенство какое дозрю, либо народу обиждение — голова с плеч летит! — и Пугачёв пристукнул ладонью по столешнице.

— Спаси бог, царь-государь, на ласковом твоём царском слове. А за порядком в сословии нашем сами следить будем.

Купцы, не спеша и с толковостью продолжали жаловаться Пугачёву: на то, что торговлю вести им очень затруднительно, что, первым делом, денег в России в обороте мало, что денежки у великих вельмож да у помещиков в заграничных банковских конторах, либо дома, в кованых, к полу привинченных, сундуках. «Да и двумя войнами — Семилетней да Турецкой, коя ныне в затяжку пошла, много мы золота с серебром за границей растрясли. У крестьянства же, почитай, денег вовсе нет, а ежели и заведутся какие от „оброчного“ заработка, мужик норовит их в землю закопать, чтобы не прикарманил барин».

— И ежели, бывало, поедешь по Руси с товарами, как я в молодости ежживал, так наплачешься, — говорил Иван Васильевич Крохин. — Мужики всего тебе на обмен дадут: масла и сала, овчин и пеньки, а что касаемо денег — не прогневайся.

— Вот, батюшка, ваше величество, такие-то дела, — сказал Жарков, и его молодые, с оттенком удалого ухарства глаза заиграли. — Ежели мужикам волю даровать, все к самолучшему повернется, все в достодолжный порядок придёт.

— Стало, выходит, господа купцы, однодумье у нас с вами? — спросил, подбочениваясь, Пугачёв.

— Однодумье, однодумье, батюшка! — в один голос молвили купцы. — А помещиков, сгинь их головы, от торговли в сторону! Отойди — подвинься...

Пугачёв заулыбался, произнес:

— Благодарствую, голуби мои, — и, хлопнув Крохина по мясистому плечу, воскликнул:

— Ну, Иван Васильич, хоша дал я зарок не пить, а на радостях чару, пожалуй, опрокину. Налей-ка той вон хреновинки с травкой.

Все поклонились Пугачёву, выпили.

— И дозволю уж, царь-государь, на смелиться еще тебя спросить, —

проговорил Жарков, повышая голос. — Ну, а как ты насчет веры, не станешь ли нашу веру старозаветную утеснять да рушить?

— Наше самодержавство веру станет блюсти всякую, чтоб никому ни обиды, ни утеснений не творилось. Вот мое слово.

Тогда все, как по уговору, поднялись и низко Пугачёву поклонились.

Вслед завязалась живая беседа. Емельян Иваныч расспрашивал купцов про город: как укреплена Казань, велика ли в городе сила, с какой стороны сподручней штурмовать укрепления.

К полночи Емельян Иваныч был уже дома. К нему в палатку вошли черноглазый щуплый офицер Минеев и колченогий полковник Белобородов.

— Мы не столь давно, ваше величество, вернулись с Иваном Наумычем из разведки, — начал свой доклад Минеев. — Я татарин был одет, по-татарски мало-мало смыслю лопотать, а Белобородов нищим, с костылем да торбой. — Он подробно доложил Пугачёву о расположении укреплений, о количестве пушек и примерном числе защитников, о настроении народа. — В народе и так и сяк толкуют. Пожалуй, многие намерены преклониться нам. И поголовно все перед армией вашего величества в страхе стоят. Даже солдатство.

— Старик один встренулся нам, из садов вышел, — сказал Белобородов. — Он толковал, что ежели государь придёт, встречать его не станут с крестами да иконами, а побросают оружие да и перебегут к нему. Нам, говорит, объявлено, что ежели с крестами народ выйдет государя встречать, то генерал Потемкин с губернатором Брантом и по крестам учнут из пушек палить. Потемкин-де недавно из Питера прибыл, такая собака, что страсть.

До конца выслушав разведчиков, Пугачёв обратился к Минееву:

— А ты, вот что, ваше благородие... Не ведома ли тебе купца Крохина, Ивана Васильевича, крупорушка, она по сю сторону ихней обороны стоит?

— Знаю, там кустарик и черемушник, это и с версту не будет от дачи с огородами купца Осокина.

— Во-во-во... Ну, так там, возле крохинской крупорушки, сарайчик немудренский есть. Понял ли, ваше благородие? А ежели понял, бери немедля полсотни казаков да башкирцев, либо соитовских татар, и езжай скорым маршем туда. В амбарушке тихо-мирно заберешь ружья, штук четыреста, да порох со свинцом... Караульный хаю не подымет, свой поставлен... Чуешь?

— В точности выполню, ваше величество!

— Ну, с богом!.. Утресь доложишь мне. Иди и ты, Иван Наумыч, спать хочу. Да пришлите-ка мне офицера Горбатова, ежели он близко...

Вскоре вошел Горбатов.

— Возьми-ко-ся, ваше благородие, вот этот сверточек да разверни.

Тута-ка голштинское знамя, мой наследник Павел Петрович прислал мне оное... (Горбатов распаковал сверток, вынул голубое шелковое полотенце, встряхнул его.) Узнаешь ли?

— Не видывал, государь... Слышать слышал про четыре знамени, при голштинском корпусе в Ораниенбауме бывших, а видать не доводилось, врать не стану.

— Мое, мое знамя, самое доподлинное голштинское, уж я-то знаю!.. — проговорил Пугачёв, прищуривая то правый, то левый глаз. — Чтоб завтра с утра прибить это знамя к древку и показать всей армии нашей императорской.

Значит, ваше благородие, весь лагерь с ним объедешь и всем толкуй про знамя то, что да как. Возьми барабанщика, чтоб в турецкий тулумбас бил, народ сзывал. Тебе это, Горбатов, поручаю да полковнику Творогову; поди, уж дрыхнет он... Да и я вот чего-то носом поклевывать зачал, карасей ловить. Ну, поди с богом. А про Михельсонишку нет слухов?

— Его отряда на сотню верст и в помине нет, государь!

Горбатов, уходя со знаменем, немало дивился, откуда оно взялось? Судя по вензелю и по черному прусского начертания орлу, знамя действительно голштинское. Да, много на белом свете всяких чудес бывает...

Вошла давно поджидавшая у входа Ненила, туяс кумысу да жбан сыченого меду принесла. Живот Ненилы заметно округлился, через месяц, через другой, пожалуй, приспееет пора и родить. Взбила горой перину.

— Ну вот, спи-почивай, батюшка, — сказала Ненила печальным голосом, — когда прикажешь будить-то?

— На зорьке, Ненилушка, на зорьке — и, пошарив в карманах, он протянул ей два сахарных леденчика. — На-ка, возьми девочке Акулечке. Да смотри, чтоб Ермилка не сожрал. Он таковский...

— Что ты, батюшка!

Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок. Пугачёв, окруженный полусотней яицких казаков,

подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать: «Матушка Казань! Бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем».

Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы.

Затем Пугачёв говорил с коня:

— Господа командиры и полковники! Творите неусыпный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии не страшась в штурм шел. У кого есть оружие — грудью вперед иди! У кого, окромя дубинок, нет ничего, те пускай самогромко в голос орут, криком да гвалтом помогают штурму.

Затем Емельян Иваныч принялся осматривать в трубу расположение городских укреплений. Вот, на горе кремль. От Спасских ворот его тянется книзу, через весь город, кривая неширокая улица. Идёт она к Черному озеру.

В конце её за погостом Воскресенской церкви, на откосе горы разбросаны там и сям деревянные лари, лавки. Это — «Животный торг». Дальше по откосу, у самого озера, закоптелые курени. Здесь, бывало, с утра до ночи шла оживленная стряпня: блины, студень, лапша, пельмени. А вот вблизи дома купца Осокина — «Серебряный кабак», Пугачёв хорошо помнил это место: не раз он пилил здесь для кабака дрова в паре с арестантом Дружининым, с которым и бежал из казанского острога.

Атаманы помогли Пугачёву подняться на высокое дерево. Вид открылся много шире. Под зарю розовела Волга. По Арскому полю и дальше, к Волге, зеленели рощи с постройками и кой-где фруктовые сады. Золотились кресты шестнадцати городских церквей и монастырей. Тянулись замкнутым четырехугольником каменные гостинные ряды. Из серого месива деревянных домов и лачуг высились там и сям каменные купеческие, не то помещичьи постройки.

Все защитники города были на своих местах. Вот она — гимназическая батарея, о которой говорил вчера Минеев. Недалеко от батареи стоял корпус Потемкина, в нем, на взгляд, сот до пяти солдат да сотни две конных чувашей. Пугачёв подметил — ему об этом докладывал и Белобородов — что город хоть и прикрыт батареями и обнесен на пятнадцать верст рогатками, однакоже укрепления сделаны без уменья, наспех, открывалась полная возможность действовать здесь с тыла и с фланга.

Едва всплыло солнце в небе, к городу стали подходить Пугачёвские отряды. Армия была в полном порядке и построена в пятисотенные полки.

Емельян Иваныч собрал в круг всех атаманов, полковников и держал к ним речь, как сподручнее сделать на город нападение. Офицер Горбатов стоял рядом с Пугачёвым, в его руках развернутое голштинское знамя. После краткого совещания армия была разделена на четыре части. Над лучшей из них, где были казаки, командование принял сам Пугачёв, над второй — Белобородов, над третьей — Минеев, над четвертой — Творогов. Атаман Овчинников, недомогая в это утро, остался в лагере с резервами.

Среди армии разнесся слух, что, как только Казань будет взята, государь пойдет на Москву. Все подтянулись, поокрепли духом, и даже у вооруженных дрекольем обозначился молодцеватый вид.

Из кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжались сердца и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники приготовились к бою, с трепетом взирая на огромные, показавшиеся вдали силы Пугачёва. Дрогнул духом и гимназический «корпус», к коему присоединены были художники и еще ремесленники из немцев, проживающих в Казани. Учителя стояли по крыльям, а в середине, в две шеренги, ученики — передняя шеренга с карабинами, задняя — с пиками. Всего было пятьдесят карабинов.

Потемкин из своего пятисотенного отряда выделил авангард в восемьдесят человек при двух пушках и расположил его впереди рогаток.

По улицам и переулкам житейская суэта еще не закончилась. Весь вчерашний день и всю прошлую ночь горожане стаскивали, свозили свое добро в погреба, в подземелья, в склады, в церкви. Но времени покончить с этим не хватало. И вот, под звуки сполоха, старики, женщины, дети продолжали еще тащить свой скарб в места, которые они считали безопасными. Всюду слышались раздернутые крики:

— Васятка, не отставай, сынок, не отставай! Где у ты корзина-то с едой?

— Дедушка Петрован! Подмогни мне тележку через мостки перетянуть.

— Тяжел у ты сундук-то, — кряхтит дед, налегая на тележку.

— Тяжел, бес его задави, упарил он меня.

И еще в разных местах, вплетаясь в начавшийся общий гул, звучали голоса:

— Поспешайте, поспешайте!.. Ох, вот наказание-то господь послал...

— Теките, православные, в храмы божи. Запирайтесь там.

В широкие ворота женского Покровского монастыря дворня вносит на качалке престарелого генерал-майора Кудрявцева. Ему сто десять лет. Он

отлично помнит Степана Разина, но уже не понимает того, что сейчас вокруг происходит. Он брит, броваст, лицо обрюзгло, на голове огромный парик.

— Подать сюда губернатора! Подать губернатора... Не позволю, — выкрикивает он капризным старческим голосом. — Его казнили. Стеньку Разина! Сам видал, сам видал!.. В Москве... Голову снесли!

Внук купца Сухорукова, тринадцатилетний Ваня, любопытства ради залез на крышу своего высокого дома, что на Арском поле. Рядом — Грузинская церковь, и все поле открыто его взору

(см. Прибавление к «Казанск. губ. ведомостям» за 1843 год, с. 44) — В. Ш.>.

Утро začínалось доброе, погожее, однако ветер из-за Волги все больше набирал силы, не дай бог — пожар.

— Горим, горим! — с писклявым криком пробегает бородатый, в бабьем сарафане, дурачок Сережа-бабушка. — Вся Казань горит!

— Замолчь!.. Эх, что выдумал... Замолчь, Сережа-бабушка! — кричат на него со всех сторон.

Купеческому внуку Ване наблюдать за всем этим с высокой крыши любопытно. Вот ужко он всем, всем порасскажет. Но занятней всего смотреть ему на то, как вдруг зашевелилась вражеская армия. А вот и сам Пугачёв на белом большом-большом коне. Он, он, ей-богу! Его окружают нарядно одетые казаки, да и сам он, как на картинке. Возле него голубое знамя полощется под ветром. Ой-ой-ой, какая же у Пугачёва сила войска-то: подходят, подъезжают! А сколько башкирцев да калмыков с татарвой, у всех луки, копья.

Но вот Пугачёв приподнялся на стременах, огляделся во все стороны, широко взмахнул рукой, что-то крикнул. Затрубили в рожок, ударили барабаны, и все люди, конные и пешие, тотчас направились вперед и в стороны. По Арскому полю местами в пяти двигались длинными линиями огромные телеги с возами сена и соломы. Телеги подталкивались сзади народом. Меж возами тянулись пушки, а сзади возов укрывались сотни Пугачёвцев.

Загрохотали пушки. Крыши начали вздрагивать, и все в глазах Вани закачалось. Воинственный пыл ударил ему в голову. «Вот сейчас слезу, побегу. Кто будет побеждать, к тому и пристану...»

— Ваня, Ваня! Слезай живей! — заполошно кричал снизу его родной дедушка.

И вот они, вместе с дедом, бегут спасаться в ближайшую Грузинскую церковь. Она вся набита народом. Горы сундуков и узлов с имуществом.



Через окна в алтаре льются лучи восходящего солнца. Все духовенство — в простых рубахах, в штанах, босиком, чтоб не узнали мятежники, — сидит на узлах среди прихожан. Слышатся шепоты, стенания, вздохи. Все притаились.

Пушечная пальба сотрясает церковные стены. Народ то и дело падает ниц.

Здесь и там слышится молитвенное:

— Пресвятая богородица Грузинская, спаси нас!

Ваня видит через окно, как над куполом носятся голуби. А дедушка Вани, старик Сухоруков, спешно ушел из церкви в свой дом: там остались на стене занятные часы с кукушкой — дед хочет доставить их в церковь.

Отряды Белобородова и Минеева, под прикрытием возов соломы и сена, прошли Арское поле, заняли рошу помещицы Нееловой и отдельные домики, стоявшие по сторонам сибирской дороги.

Белобородов стал окружать с трех сторон потемкинский авангард, возглавляемый полковником Неклюдовым. Авангард встретил Белобородова ружейными залпами и пальбой из двух пушек. Пугачёвцы падали, но, позабыв страх, дружно шли вперед. На помощь к Неклюдову двинулся сам Потемкин, но, видя, что Пугачёвцы, не боясь урона, заходят с обоих флангов, подал команду отступить за рогатки. Началась горячая перестрелка. Сотни башкирских стрел с гудящим воем летели в защитников. На городских батареях не было при пушках хороших канониров, поэтому пушки стреляли по Пугачёвцам неумело и вяло. Оробевшие солдаты тоже плохо отстреливались.

Потемкин с ротой отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался, в окружении свиты, Пугачёв. Он на крупном белом коне, в красном с позументами жупане, в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали наперекосях к Рыбачьей слободе, где шел жестокий бой. Судя по взятому ими направлению, они должны были промчаться невдалеке от засады.

— Ребята! — радостным голосом закричал Потемкин. — Это Пугач! Пали в него!

— Ррр-о-та! — передали команду офицеры.

Стрелки, лежа грудью на валу и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Острия штыков уставились прямо на переднего всадника.

— Пли! Пли! — скомандовал выскочивший на вал Потемкин.

— Пли! Пли! — подхватили команду офицеры.

Пугачёв скакал впереди своей свиты, совсем близко от засады. Видя

лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане, солдаты враз оторопели. Их сковала непонятная сила и какое-то волшебное очарование. И, словно по уговору, ни один солдат не осмелился выстрелить в него.

— Пли, сволочи! — вне себя заорал Потемкин и грянул по всадникам из пистолета. Пугачёв на всем скаку повернул в его сторону лицо и, грозя вскинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма.

Растерявшийся Потемкин не мог теперь поручиться за своих солдат. Тем временем белобородовские молодцы продолжали наступать на потемкинцев с устрашающим гвалтом, визгом, ревом — качался воздух, звенело в ушах.

Потемкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в кремль.

Отряд офицера Минеева успел занять загородный губернаторский дом и двинулся дальше, к «корпусу» гимназистов.

— Наизготовку! — прозвучала команда. — Не трусь, молодцы! Помни присягу.

«Корпус» защищался отчаянно. Гимназисты, толстяк Мельгунов с черноглазым Михайловым, сначала перепугались, затем позабыли о всякой опасности. Они успели выпустить из карабинов по десятку пуль, затем принялись защищаться тесаками.

— Руби косоглазых! Руби сволоту! — не помня себя, орал юный толстяк Мельгунов, размахивая тесаком. — Михайлов, бей!

Но вот что-то оглушило его ударом в голову, он упал и был тут же заколот копьем башкирского всадника.

Следом за смертью пали два дворовых человека, два учителя, четверо немцев; несколько гимназистов было ранено стрелами, слегка ранен и директор. Вскоре «корпус» дрогнул, побежал, рассыпался по полю.

— Воспитанники! За нами, к кремлю, к кремлю! — сзывал их фон Каниф и двое уцелевших офицеров.

Прорвав цепь гимназических рогаток, отряд Минеева оказался в тылу ближайших к этому месту защитников.

Пугачёв вел нападение на левый фланг обороны, где сражались жители Суконной слободы. Защитники пальнули в нападавших из единственной чугунной пушки, в которую, по незнанию, переложили пороху, орудие разорвало, четверо пушкарей было изувечено. Тогда суконщики схватились за железные ломы, самодельные копья, сабли. Пугачёв приказал открыть по слободе огонь картечью. Слобода была взята, защитники ударились в бегство. Но большинство рабочих-суконщиков тут

же передалось Пугачёву.

Глядя на опрокинутый гимназический «корпус» и на побежавших суконщиков, главные караулы и места защиты, еще не видя на себя нападения впали в такую робость, что побросали пушки, оставили неприятелю весь снаряд и без всякого порядка, опрометью кинулись спасаться в кремль.

Под неослабевающим напором белобородовцев спешно двинулся к стенам крепости и генерал-майор Потемкин с остатками своего отряда в триста человек при двух пушках. Часть его солдат и почти все конные чуваша также передались «царю-батюшке».

Торопливо утекавший Потемкин не имел возможности захватить с собой находившихся в городской тюрьме заключенных, среди которых было сто семьдесят арестованных по многим местам Пугачёвцев, уже побывавших на допросах Секретной комиссии. Общее число арестантов было велико, и Потемкин не напрасно опасался, что, передавшись Пугачёву, они изрядно увеличат его силы. Из этих соображений он проявил необычайную жестокость, приказав караульному офицеру: «В случае опасности, не щадить жизни заключенных и не оставлять их мятежникам». Многие колодники были заколоты, однако большая часть их все-таки вырвалась на свободу.

Толпы Пугачёвцев с разных сторон хлынули в город, опрокидывая, преследуя, забирая в плен остатки защитников. Дома купцов по Булаку — Крохина, Жаркова и прочих, а также купеческие амбары и баржи с грузом царь запретил грабить; возле подъемного жарковского моста стояло множество караульных крестьян. Среди них расхаживали одетые в мухояровые кафтаны вооруженные купеческие приказчики.

— Прочь, прочь! Нет проезду! Государем не приказано! — покрикивала стража на появившихся башкирских и калмыцких наездников. Они останавливались, крутили нагайками и поворачивали обратно.

И как только хлынули Пугачёвцы в город, снова пошла пальба из пушек, ружей, поднялись крики: «Режь, коли!» По Грузинской улице бежал к кремлю отряд генерала Потемкина, отстреливаясь кое-как от наседавшего врага.

Картель барабанила в купола и стены Грузинской церкви. Спасавшиеся там люди пришли в неизъяснимый страх. Ваня Сухоруков сидел на кованом сундуке между плачущей матерью и бабушкой. Так продолжалось часа два.

— Кричат, чу, кричат! К нам лезут! — испуганно говорил Ваня.

В дверь действительно ломились со всей силы, и было слышно:

— Отпирай! Мы вас не потрожим!.. Не то ворвемся, всех смерти предадим!

Началась стрельба в окна. Зазвенели стекла, посыпалась штукатурка.

Тогда решили открыть обитые железом двери. И вот Пугачёвцы, почти сплошь крестьяне, руководимые освобожденными колодниками, вломились в храм.

— Выходите вон! Эй, вы, пленные!.. Вон, вон отсюда! — галдели они, потрясая топорами.

Люди покидали церковь нехотя, оглядывались на оставляемое имущество, тяжело вздыхали и постанывали. Ваня притаился за «казенкой», где обычно торговали свечами. Он видел, как двое взломали сундук, набитый дорогими иконами в серебряных окладах. Они ни одной иконы не взяли, сундук захлопнули.

— Мальчишка, уходи! — услышал Ваня и поспешил вон из церкви. На улице его сразу оглушили шумы. Пальба еще не кончилась. По дворам мычали всполошившиеся коровы, кудахтали куры, крякали утки, рев пешей толпы сотрясал воздух, гортанно гикали и пронзительно свистали разъезжавшие с нагайками калмыки в войлочных остроконечных шапках. Хлопали всюду калитки, дзинькали, сыпали градом из разбиваемых рам стекла, скрипели тяжелые ворота, из окон летели на улицу одеяла, утварь, подушки, скарб. Хозяев выгоняли на улицу, в общую толпу пленных, направляемых под охраной в лагерь. Над Арским полем, над кремлем, над городом темным облаком с граем табунились галки, вороны.

Начинались пожары. Ярко горели гимназия и Суконная слобода. Окрепший ветер подымал по дорогам пыль, гнал пламя на город. Вспыхнули высокие и обширные триумфальные ворота, через которые семь лет тому назад торжественно въезжала в город «казанская помещица» Екатерина. От ворот огонь перебросился на соседнее питейное заведение и на прочие дома Грузинской улицы. Ветер подхлестывал огонь, швырял горящие головни на деревянные кровли. Шумливая толпа, опасаясь пожара, начала подаваться к Арскому полю.

По улице, где проходил мальчонка Ваня, валялось много побитых русских, башкирцев, татар. В переулке, вблизи церкви, он увидел среди дороги убитого дедушку. Старик Сухоруков, одетый в немецкое платье, очевидно был принят за барина и умерщвлен. Мальчик с отчаянием завыл и закрестился, из глаз его текли слезы. Он вскоре нагнал толпу пленных и разыскал там своих. Пленных вели через Арское поле. Горожане, ища спасения, все еще устремлялись к кремлю, но Спасские ворота принимали не всех, а по выбору.

Древнему генералу Кудрявцеву, скрывавшемуся в женском Покровском монастыре, люди говорили:

— Давайте, барин батюшка, мы вас отнесем в кремль. Там все начальство.

Но столетний старичище отказался.

Монастырский собор, как и все церкви города, был полон людьми. У левого клироса особо стояли со своей игуменьей во главе перепуганные монахини. Вблизи генерала Кудрявцева усердно молилась опечаленная Даша, приемная дочь полковника Симонова. Круглое, чернобровое, с оттенком душевного страдания, лицо её в слезах. Даша в темном, траурном платье. Она все еще скорбит о своем пропавшем без вести Митеньке, сержанте Дмитрие Павловиче Николаеве, сердечная рана её не заживала. Если не сыщется Митя, Дашенька твердо решила остаться в стенах этого монастыря, принять постриг, сделаться монахиней. А если судьба вновь приведет встретиться ей с Пугачёвым, она упадет пред ним на колени и в последний раз спросит: где же он, её Митя?

Пугачёв тем временем, окруженный близкими, гарцевал на белом коне. Показывая нагайкой в сторону кремля, он что-то говорил офицеру Минееву.

Вдруг сквозь гул и шум он услышал чутким ухом детский голос:

— Мамка! Глянь, тятенька на коне...

Пугачёв повернул в ту сторону. И видит: Софья, Софья Митревна, жена и все его семейство! Как? Здесь? В Казани? Кровь отхлынула от головы Емельяна Иваныча и снова с силой ударила в виски.

— Ах, змей, супостат лихой, собака... — заругалась Софья, прикрывая ладонью глаза от солнца и уставясь на бывшего в отдалении мужа.

И уже дальше жить было невозможно: баба глупа, болтлива, выдаст его!.. Он рванул узду, вмиг подлетел к Софье Митревне и, сделав страшное лицо, прошипел:

— Помни, я — царь... Не муж твой, а ты не жена мне... — Пикнешь — голову срублю!

И тотчас же отъехал прочь. Софья крепко стиснула зубы и, как пьяная, зашаталась. Подъехав к своим и указывая на женщину с ребятами, Пугачёв, едва сдерживая дрожавший голос, сказал:

— Подайте вон той бабе с ребятами телегу да отвезите к моей палатке.

Она жена приятеля моего, а он, бедная головушка, замучен во имя меня в тюрьме под розыском... Я не оставлю ее.

И обратясь к казачьему отряду и к Минееву:

— Детушки! Айда за мной, в крепость? Как бы зевка не дать. Где Федор Чумаков? Пушки забирай, пушки!..

Все — яицкие казаки, часть башкирцев с татарами, конные горнозаводские работники — вытянув в коней нагайками, поскакали через город за Пугачёвым и Минеевым. Но крепость захватить врасплох уже не удалось. Спасские ворота были заперты, завалены камнями и бревнами. С крепостной стены, навстречу Пугачёвцам, загрохотали пушечные выстрелы.

Пугачёв только за ухом почесал и обругался. Затем, действуя со всей расторопностью и сметкой, он занял гостиный двор, расположенный на удобном месте вблизи крепости, и начал готовиться к обстрелу кремля. Он самолично расставлял и наводил захваченные у защитников, а также и свои орудия.

Минеев же со своим отрядом забрал тем временем девичий Покровский монастырь — удобную позицию для обстрела крепости.

В монастырскую церковь ворвалась толпа: башкирцы, калмыки, крестьяне и мещане из раскольников, все в шапках. Укрывшихся здесь до двухсот монахинь, а также людей посторонних погнали вон. Некоторые из раскольников с калмыками вбежали в алтарь, стали срывать с икон дорогие оклады.

Древний генерал Кудрявцев, видя бесчинство, затопал ногами. Седые, хохлатые брови его оцетинились, выцветшие, потухшие глаза засверкали по-молодому; опираясь на две палки, он кой-как поднялся и, содрогаясь согбенным телом, закричал:

— Злодеи! Изменники! Как смеете вы дерзать против своей государыни, осквернять храм божий?!

В ответ загредел дикий хохот, и старик тотчас был поднят на пики.

Стоявшая вблизи Даша от ужаса всплеснула руками, крикнула, без чувств повалилась на пол.

Минеев приказал — игуменью с монахинями и весь народ отвести под караул на Арское поле. На церковной паперти он поставил две пушки и открыл пальбу по Спасскому монастырю, находившемуся в крепости.

В стены этого монастыря била и батарея Пугачёва. Крепость отстреливалась. Емельян Иваныч с Горбатовым и Перешиви-Нос перебегали от пушки к пушке. Пущенное с крепости ядро ударило возле самой батареи в стену — с шумом и грохотом посыпались кирпичи.

— Метко, — сказал Пугачёв и велел людям перекатить две пушки в другое место. Он залезал на крышу, зорко присматривался к крепости, к разгоравшемуся пожару, но в мыслях то и дело всплывал образ Софьи, и его сердце замирало: баба может головой выдать его и погубить перед народом.

Потемкин сквозь амбразуру стены всматривался через подзорную трубу в то место гостиного двора, откуда громыхали пушки.

— Боже!.. Что такое?.. — воскликнул он, заметив развевавшееся там голубое с черным орлом знамя государя Петра Третьего. — Скорей всего я брежу... — Он, как и все вокруг него, провел бессонную ночь и едва держался на ногах.

Солнце стояло в зените, но его сияние затмевали густые черно-сизые тучи дыма. Почти сплошь деревянный город одновременно подожжен был в двенадцати местах. Раздуваемый крепким ветром, огонь гулял по всему широкому простору, перебрасываясь с жилища на жилище. Едкий дым, насыщенный пеплом и горящими головнями, валил через бушевавшую толпу к горе, прямо на крепость. Да и языки пламени, там и сям возникавшие, постепенно подбирались к кремлю грозным шквалом. Войскам и набежавшим в кремль жителям час от часу становилось тяжелей. Было жарко, дымно, душно.

От перекинутых головешек стали загораться в кремле деревянные постройки. С Черного озера и Казанки ведрами таскали воду. Все деревянное в крепости народ принялся ломать, с кирпичных келий сбрасывать тесовые крыши.

Подвалы Спасского собора, монастырских зданий и присутственных мест битком набиты спасавшимся людом. В соборе непрерывно шло молебствие.

Стрелы, пули, ядра летели через стены в самую крепость. Были убитые, было немало раненых среди солдат и жителей.

Крепостные пушки, сотрясая дымный воздух и стены, продолжали пальбу по Пугачёвцам, солдаты стреляли из ружей. Шла упорная борьба, и все тяжелее становились бедствия осажденных. Слышались стоны, крики о помощи, плач ребят, рыдания женщин.

Горожане, которым за многолюдством уже негде было спрятаться, перебегали с места на место, ища спасения. И только у самой часовни седобородый старик-простолюдин, с длинными волосами и в холщовом фартуке, сидел спокойно на камне, привалившись спиной к стене. Сгорбившись и проворно работая кочедыком, он плел липовые лапти, не обращая ни малейшего внимания на царивший вокруг содом. Вдруг

шальное ядро ударило в стену над головой его, полетела штукатурка, кирпичные осколки, ядро расколосось, упало. Старик вскинул опущенную в работе голову, перекрестился, сказал:

«Да будет, господи, воля твоя», и как ни в чем не бывало продолжал стараться над лаптем.

В этом эпическом спокойствии седовласого человека было столько покоряющей силы, что многие, приглядевшись к нему, вдруг находили в себе способность возвращать сердцу успокоение, голове — ясные мысли.

Губернатор Брант в обществе старших чиновников, двух генералов, членов Секретной комиссии и своего приятеля польского конфедерата помещался в безопасной комнате губернского правления. От старости, чрезмерных забот и треволнений ему нездоровилось, он лежал на кожаном диване, маленькими кусочками глотал лед — против поднявшейся икоты: его испещренную набухшими жилами руку держал доктор, отсчитывая пульс.

На вершине башни Сумбеки стоял со своим молодым адъютантом насмерть перетрусивший генерал-майор Потемкин. Он притворялся храбрым и воинственным, но руки его тряслись, длинные в ботфортах ноги подрыгивали.

Со страхом смотрел он в сторону пожарища.

Пожирая на своем пути все деревянное — дома, мечети, заборы, избы — островки пламени ширились, стекались в один бушующий поток. Дым, дым, дым и, словно потешные огни, фонтаны искр. Кой-где пожар затихал, кой-где занимался с новой силой. Упругий ветер дул на кремль с Волги, не утихая.

По еще не загоревшимся улицам и на Проломе сновали Пугачёвцы. Крепость со всех сторон окружена была башкирцами, калмыками, яицкими казаками.

Укрываясь за ближайшими строениями, они пускали в крепость через неширокую площадь стрелы, пули. Пушки Пугачёва продолжали громить твердыню Спасского монастыря, поражая вместе с тем и ветхие крепостные стены.

Потемкин на башне поворачивался в сторону Волги. Видит: широкая луговина, местами поросшая кустарником и рощами, на зеленом лугу зеркально поблескивают мочажины, озерки, наполненные стоялой водою, пасется бурое издали стадо коров, табун лошадей скачет невесть куда сломя голову. Тихая Казанка извивается, подкатывая свои воды к самой крепости. И еще видит Потемкин: спешит от Волги к городу гурьба людей — пойдут, пойдут да побегут. Он присмотрелся в трубу: бурлаки с волжских



караванов.

Внизу, в набитом людьми кремле, покрывая и путая уже привычный слуху Потемкина гул мятущейся толпы, вдруг раздались бунтовские голоса:

— Мирянушки! Сдавайся! Айда ворота открывать!.. Эй, солдаты!

И среди солдат:

— Братцы! Он так и так нас возьмет... Сгорим здесь! Чего же начальство смотрит?!

— Эй, начальнички! — кричат из толпы зычно. — Надо с крестами выходить, с крестами! Пойдем к владыке Вениамину... Айда губернатора просить...

И по всему кремлю — с крыш, со стен, с камней, из подземелий — гудело:

— Сдаваться, сдаваться! Ворота открывать!

— Гарнизону не защитит нас! Дым очи выедает!.. Огонь, огонь идет!

— Сдава-а-ться!

Потемкин, свесившись с башни, неистово заорал:

— Молча-а-ть! Всех пе-ре-ве-шаю!

Но его брошенные в шум, в гам слова не долетели до земли, их подхватил ветер и понес на опаленных крыльях встречу бегущим луговинной бурлакам.

Только подвыпивший шорник, одетый в опорки, рвань, услышал генеральские слова. Задрал голову вверх, он по-цыгански свистнул и свирепо закричал:

— А ну, слазь! Мы тебя самого вздернем! — Затем, погрозив Потемкину вскинутыми кулаками — мол, на-ка, выкуси! — нырнул в шумливую толпу.

Потемкин, подметив этого раскоряку-мужика, окончательно перестал владеть собою. На соборном крыльце вдруг появилась его долговязая и тощая фигура.

Бледное лицо генерала было страшно: серые раскосые глаза метали огонь, голос пресекался и хрипел:

— Этта-а что? Бунт? Сми-и-ррна! Повесить!.. Двоих повесить! Я вам покажу, так вашу так! — скверно выругался и скоро-скоро пошагал, окруженный конвоем, к зданию присутственных мест.

Провожая Потемкина злобными взглядами, толпа снова зашумела. Урядники и стражники хватали крикунов за шиворот, вязали им руки. На ближнем дереве появились две веревочные петли, а вскоре закачались тут двое: пожилой, суконной фабрики работник, в очках, да молодой кудрявый ямщик с серьгой в ухе. При совершении казни многие падали ниц, иные

стояли, крепко сжимая кулаки. Недобрый, пугающий гул шел по толпе. Сидевший неподвижно у часовни старик поставил возле себя готовый лапоть, перекрестился и сказал:

— Вечная вам память, страдальцы! Это Лукьянов, да Кешка, ямщикок. — И к народу:

— Не бойтесь, не страшитесь, мирянушки, убивающих тело, души же убити не могущих... — Еще раз перекрестился, смахнул слезы и принялся за новый лапоть.

А к Казани поспешали бурлаки.

— Не отставай, робяты! — кричали они, перебегая по мосткам через речку. Вслед, кучками, они поднялись по взгорью, миновали крепость и направились по улице, называемой со времен Ивана Грозного «Проломы».

— Где царь-батюшка, где он, заступник наш? — спрашивали они встречных Пугачёвцев. — Нам вестно, что тута-ка он... Робяты! Эвот знамя-то, флаг-то... Сыпь туды!

Сыскав, наконец, Пугачёва, все, до сотни человек, опустились на колени в дорожную пыль, смешанную с пеплом и остывшими углями.

— Здорово, детушки! — окинув бурлаков приветливым взглядом, прокричал Пугачёв. Лицо и одежда его запачканы сажей. Он в шелковом полукафтаны, на груди звезда. — Встаньте! Кто такие и откуда?

— А мы хрестьяне, батюшка, ваши государственные хрестьяне, — поправив холщовую повязку на голове, ответил плечистый, заросший волосами дядя. — В бурлаках, свет наш, в бурлаках ходим. Дворянина Демидова посудины с товарами вверх тягаем, его, его... На Макарьевску ярмарку, да вот запозднились.

— Какой да какой товар плавите? В каком месте посудины на приколе? — спросил Пугачёв.

— А в наших шести баркасах — железо демидовское листовое, да шинное, да круглое... А вот эти робяты графа Строганова соль везут с Солей Камских. А посудины мы причалили под Услоном-селом, на том берегу, батюшка. Весь караван там — посуды, никак с двадцать. А сами-т на челнах мы сюда, на челнах, отец родимый, на челнах.

— Ну, так чего вы, детушки, удумали?

— А удумали мы, надежда-государь, к тебе приклониться. Как проведали, что здесь-ка ты на раздольице гуляешь, остановили караван да мирской круг скликали. И обсудили на миру — дворянские товары бросить, а тебе всей нашей силушкой подмогу дать! — выкрикивали они, потрясая топорами и железными демидовского изделия, палицами.

— Благодарствую, — сказал Пугачёв, и в глазах его проблеснула радость. — А таперь, детушки, идите в мой лагерь на Арское поле, да ждите моего прибытия. А я немедля человека своего в Услон спосылаю с указом по деревням, чтобы сельчане разбирали соль да железо моим царским именем безденежно...

— Верно, верно, батюшка! — закричали еще голосистой бурлаки.

Подле гостиного двора становилось жарко. Пугачёв приказал Чумакову и Горбатову перенести батарею на другое место, а сам поехал в лагерь передохнуть, собраться с мыслями.

По переулкам и улицам, еще не застигнутым пожаром, гнали пленных, двигались взад-вперед Пугачёвцы, кой-кто из них с узлами и в странных одеяниях. Вот две пары калмыков и пара башкирцев, все одеты в церковное облачение, в ризы, в стихари и рясы, а иные — в женском платье. На голове старого бабая красная, расшитая золотом митра. За крестьянином, прытко шагавшим с наживой, бежала охотничья собака — сеттер, сердито на него лаяла, хватала за портки. Кой-где дрались пьяные или, обняв друг друга, орали песни. По дороге и вдоль заборов валялись убитые.

Навстречу Пугачёву беспоясый белобрысый парень вез на ручной тележке дряхлого старика. Вот он остановился, дает старику из бутылки молока, приговаривает:

— Родной мой тятенька, потерпи. Там полегчает тебе.

— Куда везешь? — спросил с коня Пугачёв, поравнявшись с парнем.

— В церкву, на отсидку... А то, вишь, горит кругом, а родитель-то занедужился.

— Какого званья?

— Кто, тятя-то? Он суконных дел мастер, а я слесарь при заводе, при купецком.

— Заверните-ка сюды телегу! — приказал казакам Пугачёв. И, когда подвода подкатила, он велел парня с отцом отвезти в лагерь и там напоить, накормить их. — Мастера, вишь.

Пугачёв со свитой двинулся дальше. Парень стоял в остолбенении.

— Это кто жа? — спросил он казака.

— А это, дурья твоя голова, сам государь, — ответил казак беззлобно.

Парень вдруг сорвался с места и, суча локтями, со всех сил бросился за Пугачёвым. Но догнать того ему не довелось, Пугачёв подстегнул коня, надал рысью. Парень вернулся к отцу, что-то сказал ему на ухо, и оба закрестились в сторону удалявшегося Пугачёва.

Тем временем Потемкин расположился в присутственном месте, рядом

с комнатой, где помещался Брант. Потемкин был в отчаянии. Он злился на Бранта, на Михельсона, что вовремя не подоспел, злился на казанских жителей, мятежно настроенных, склонных к измене, сильнее же всего злобствовал на самого себя. Да, поистине, нет ему ни в чем удачи, фортуна отвернулась от него, ему никогда не везло и в картежной игре, не везет и теперь, в эту отъявленную смуту. А что, ежели Михельсон промедлит, а черные силы завладеют крепостью? Эх, прощайся тогда, Павел Сергеич, с жизнью. А ведь жизнь-то какая предстоит, подумать только: знаменитый троюродный брат его — любимец императрицы!.. «Несчастливая ж голова моя, — терзался Потемкин, обхватив руками виски и прислушиваясь к шуму битвы и пожара. — Глупая голова, незадачливая голова. И что я наделал, хвастун, в донесении императрице?! Клялся и божился, будто Пугачёв и носу не покажет в Казань, и вот Казань горит. Обещал я также выйти навстречу злодею и поразить его, но вот убегаю сам, трусу подобен. Неужели звезда моя, не успев разгореться, закатилась, неужели позорная на всю Россию — смерть?»

Предвидя полное крушение своей карьеры, а может, и жизни, он приказал подать перо и бумагу, выслал адъютанта, остался в горнице один.

Перекрестился, вздохнул и принялся писать Григорию Потемкину: выгораживая себя, чернить других.

«Я в жизнь мою так несчастлив не бывал, — писал он, — имея губернатора, ничего не понимающего, и артиллерийского генерала дурака.

Теперь остается мне умереть, защищая крепость. И если Михельсон не будет, то не уповаю более семи дней продержаться: со злодеем есть пушки, и крепость очень слаба. Итак, осталось одно средство — при крайности pistolет в лоб, чтоб с честью умереть, как верному подданному её величества, которую я, как бога, почитаю. Повергните, братец, меня к её священным стопам, которые я от сердца со слезами лобызаю. Бог видит, сколь ревностно и усердно ей служил. Прости, братец, если бог доведет нас до крайности... А самое главное несчастье, что на наш народ нельзя положиться».

Имея в своем распоряжении воинскую силу, ничуть не меньшую, чем у Михельсона, этот будущий царский лизоблюд сидел в каменных стенах крепости и поджидал спасения извне.

Однако генерал-майор Потемкин своим письмом прекрасно потрафил в намеченную цель: всемогущий фаворит полученное им послание представил Екатерине, замолвил за родственника нужное словечко, и вот в скором времени, через одиннадцать дней, получился результат. В собственноручном письме-экстре Екатерина сообщала: «Дабы вы

свободнее могли упражняться службою моею, к которой вы столь многое показываете усердное рвение, приказала я заплатить, вместо вас, при сем следующие возвратно к вам 24 векселя, о чем прошу более ни слова не упомянуть, а впредь быть воздержаннее».

Вот и отлично: замест гневного высочайшего выговора, погашены долги, можно делать новые. Да здравствует премудрая Екатерина!

В дверь постучали. Вошел осанистый иеромонах, поклонился, сказал:

— Ваше превосходительство! Владыка Вениамин отпел благодарственный молебен в соборе по случаю некоего затишья злодейского стрельбища и желал бы совершить в кремле крестный ход с крестами и иконами, дабы укрепить дух как защитников, так и богоспасаемого народа...

— Рад слышать... Дальше-с?

— Владыка послал меня предупредить вашу милость, чтобы вы, услыша благовест и большой трезвон, испугу не предались.

— Кто я?! — Потемкин побагровел, поднялся и гневно произнес:

— Передайте владыке, что я не так уж слаб душевно, как он думает... Вы лучше предупредили бы губернатора, чтобы сей кавалер со страху не испустил дух.

— Его высокопревосходительство уже в соборе.

## Глава 9.

### Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном.

#### 1

После торопливого обеда Пугачёв быстро прошел в палатку Софьи, разбитую в нескольких шагах от его собственной.

— Ну, здравствуй, Митревна, — обнимая жену, сказал он, сколь мог, ласково, но с тревожным холодком и отчужденностью. Затем поцеловал ребят.

Они одеты бедно, платишки обветшали, выцвели, ноги босы. Трошкина рубашонка подпоясана лычком. Софья в грязных чулках и старых чоботах.

Когда-то красивая, работающая казачка, она поблекла, захирела. Лицо удлинилось, щеки ввалились, губы утратили сочность. И ранняя седина начала серебрить темные волосы. Да, есть отчего поседеть, поизноситься!

Трошка, чуть набычившись, с любопытством рассматривал большую светлую звезду на груди отца, девчонки, застенчиво ужимаясь, никли к матери.

Пугачёв, насупившись, стал расспрашивать Софью, каким случаем она здесь, в Казани, очутилась? Софья Митревна упавшим голосом отвечала ему, как она с малыми ребятами ходила по Зимовейской станице меж дворов, христовым именем собирала милостыню, как затем её схватили, увезли в Казань и бросили с детьми в тюрьму, потом стали выпускать на базар с приказом «срамить тебя и разглашать народу, что ты муж мой, что ты простой казачишка с Дону, бродяга Емельян Пугачёв»

— Вот что, Софья, — нетерпеливо взмахнув рукой, начал Емельян Иваныч.

— Неисповедимым промыслом Божиим народ признал меня за царя и в том утвердился. Чуешь? (Жена, вздрогнув, опустила голову, из глаз её брызнули слезы.) Не плачь и не кручинься, — подавив вздох, продолжал Емельян Иваныч. — Теперь помни: я тебе не муж, а царь твой, и ты не жена мне. Ты есть вдова Емельяна Пугачёва, казака, дружка моего. Покудов я, низверженный царь Петр Федорыч, в рабском виде скитался по Руси, оный Емельян был схвачен и на пытке замучен замест меня. Крепче запомни, что говорю, Митревна. (Тут, поняв смысл его слов, жена и дети, что повзрослей, изумленно воззрились на него, а у Трошки дрогнул подбородок). А ежели станешь языком брякать, — засверкав глазами, закончил шепотом Пугачёв, — атаманы мои смерти предадут тебя, и ребят твоих с тобою вместе. Поняла ли?

— Поняла, Омельянушка, — побледнев, шепотом же откликнулась Софья.

— А поняла, так помни...

Пугачёв порывисто повернулся и вышел вон. Сердце его дрожало, в ушах гудело, он дышал захлеб, отдувался. Справившись с собой, приказал Давилину позвать Ненилу и в его присутствии сказал ей:

— Слышь-ка, Ненилушка. Бабу с ребятами, кою седни доставили сюда, ну... в палатке... рядом... Ты корми её и ребяток малых, Ненила, от моего царского стола. Она, ведаешь, жена первого друга моего, казака Пугачёва, кой, укрываючи меня, государя, в скитаниях моих, богу душу за меня отдал, царицыны слуги замучили его, бедного... А мне сам господь препоручает толикое попечение о сиротах иметь. Я не оставлю их. Подобное же приказание получил и казак Фофанов, хранитель царского имущества: все сирое семейство одеть, обусть.

Затем Емельян Иваныч, не отдохнув, снова на рысях вернулся в город.

Пожар подкрался к самой крепости, и тут вдруг начал затихать.

Но вот налетел вихрь, рванул, закрутил, зашвырялся огнем и пеплом.

Огонь вновь сразу воспрянул. Стройные минареты пламенными столпами вздымались к задернутому дымом небу. Опаленная пыль с дорог, смешанная с пеплом и дымом, завихаривала, гуляла над пожарищем. Все выло, металось, гудело, все бежало прочь в поисках спасения. Летучие пылающие головни, подобно огненным драконам, расшвыривались вихрем в разные стороны.

Пугачёвцы начали отступать в укромные места, где пожар уже сделал свое дело. Однако пушечные выстрелы, приглушенные общим гулом, слышались как со стороны мятежников, так и ответные — с крепостной стены.

В кремле становилось нестерпимо жарко, душно. В кремлевских зданиях лопались стекла, воспламенялись рамы. Люди валялись на землю. Возле ведер с водой драка.

— Воды, воды глоточек! — зывали истомленные. Кремль то покрывался тучами дыма и становился невидим, как сказочный город Китеж, то, под ударами бури, вновь выплывал на свет.

Вот вихрь крутнул, крутнул в последний раз и так же внезапно, как возник, сложил крылья, замер. Стало тихо. Изнемогший огонь припал к земле и, как пожравшее себя с хвоста до головы чудовище, исходил ползучим дымом.

Пожар, осветив площадь перед крепостью, как бы расширил ее. Теперь можно было вести обстрел из пушек на большое расстояние, и Пугачёвцам некуда укрыться.

Емельян Иваныч, щадя силы, отменил брать крепость штурмом. Он убедился, что крепостная артиллерия стреляет дальше, чем его немногочисленные пушки. Да и зарядов у него не так уж много, их надо поберечь для схватки с Михельсоном, который не сегодня завтра должен подойти сюда: в этом Пугачёв не сомневался.

Конные башкирцы и калмыки с гиком подскакивали к крепости, пускали стрелы и под картечными выстрелами, теряя людей и лошадей, откатывались прочь. В кремле басисто гудел могучий благовест раскаленного большого колокола. Из двух соборов — Благовещенского и Спасского — выходил народ и крестный ход. И вот залился трезвон во многие, еще не остывшие от близкого пожарища колокола. Престарелый Вениамин, окруженный клиром и жителями, чинно шел вдоль крепостных стен. Всем миром пели богородичные тропари.

Люди, усердно крестясь и вздыхая, плакали. Плакали люди оттого, что

не ведали, что им сулит приближающаяся ночь, они ожидали ежечасного нападения, готовились к смерти. Да и вернуться многим было некуда, одеться не во что: все расхищено, все пожрал огонь.

Было шесть часов вечера. Вышел из укрытия воинственный Потемкин, он снова взобрался на башню Сумбеки и чрез трубу осматривал пожарище. Кроме каменных построек, города почти не существовало. По самую Егорьевскую улицу в нем не осталось ни кола, ни двора. Уцелели только части Суконной да Татарской слободы да купеческие постройки по Булаку.

Большинство населения было выгнано на Арское поле. Казань опустела.

Над погорелыми просторами снова стали табуниться галки и вороны.

Пугачёвцы, по приказу командиров, постепенно оставляли город, выстрелы прекратились.

Ваня Сухоруков всем пережитым был подавлен. Особенно поразил его детскую душу невиданный пожар. Вот-то страх! Он забыл и про смерть своего любимого дедушки. Под вечер Ваня да и его мать с бабушкой Ульяной сильно проголодались. Ему, малышу, разрешили выйти из огромного лагеря схваченных, и он пошел гулять по Арскому полю, переходя от костра к костру, в надежде поживиться чем-либо съедобным. Он подошел к трем казакам. Они из глинобитной самодельной печурки вынимали свежий хлеб. Он стал кланяться, просить кусочек. Они сначала пригрозили ему нагайкой, затем смиловались и дали четверть краюхи хлеба.

— Батюшка приехал! Царь, царь! — услышал Ваня раздавшиеся по полю крики. Он отнес хлеб своим родным, взял с собой корку и побежал к царской ставке.

Пугачёв сидел возле своей палатки в кресле, принимал казанских татар.

В его обширную палатку входили и выходили какие-то молодые женщины, одетые в немецкое платье. «Дворянки, должно, а нет — купеческие дочки», — подумал Ваня. (И так впоследствии, уже седовласым, записал в свои мемуары.) У другой палатки сидела на завалинке простая женщина, рядом с ней паренек да две девчонки. Возле Пугачёва развевалось воткнутое в землю голубое с черным орлом знамя, при знамени смиренно стояли два казака с обнаженными саблями.

Татары подходили к Пугачёву друг за другом, — некоторых Ваня узнал: торговцы мехами — целовали его руку, клали пред ним подарки: кто лису, кто цветной бешмет или полукафтаны, что-то говорили ему, жаловались, трясли головами, указывали в сторону сторевшей Казани. Но



их слов Ваня не слышал.

Он и сам хотел подбежать и пожаловаться царю на свою обиду, он даже прикинул в уме, что должен был сказать: «Вот, мол, дедушку моего, ваше величество, приняли за барина и решили жизни». Но подойти не осмелился, только мордочка его плаксиво сморщилась. Ваня часто-часто замигал.

Солнце закатилось, спустился вечер, всюду зажглись костры, из города привезли пятнадцать бочек вина, разделили его по полкам, стали угощаться.

Пугачёв самолично объезжал войска, благодарил народ за взятие Казани, просил и впредь грудью стоять за дело правое, никаких Михельсонов не бояться, брать пример с храбрецов — яицких казаков, не щадить себя, слушаться военачальников, свято повиноваться государю.

Шум, песни, смех не умолкали до полуночи. Казаки плясали у костров.

Лишь далеко выдвинутые секреты и дозоры не принимали участия в гульбе, да под пушками, никуда не отлучаясь, чутко подремывали канониры: им настрого приказано быть готовыми на случай ночной тревоги.

В палатке, отведенной под канцелярию, за топорным, на козликах, столом сидели Творогов, Дубровский, Горбатов с Минеевым и при свете свечей строчили воззвания к укрывшемуся в крепости гарнизону, а также манифесты к крестьянскому населению и еще указы на уральские заводы о скорейшей присылке пушек с зарядами.

Пугачёв заранее приказал приготовить для «высочайшего» осмотра лагерь пленных. В сопровождении Овчинникова и небольшого конвоя он с наступлением сумерек поехал в лагерь. Он знал, что среди пленных много безвинно пострадавшей бедноты, которой надо оказать помощь. Хотя в казне Пугачёва денег много, но он рассчитывал взять еще дополнительно у купцов Крохина, Жаркова и других обещанные ими деньги. Вот он и направится к купцам, да кстати не грех ему и в баньке похвостаться венником, смыть с себя грязь и копоть: ведь у него не токмо полукафтанье, а и рубаха-то исподняя прожжена в десяти местах.

— Едет, едет! — заорали многоголосо в таборе пленных. — К нам, кажись! Царь едет!

Началась сумятица, все сгрудились, опустили на колени.

— Детушки! — во всю мочь взголосил въехавший в толпу Пугачёв. — Вы, люди подъяремные, отныне будьте вольны. Все до единого!

— И так, батюшка, вольные, — угрюмые раздались голоса. — Ни кола, ни двора таперича. Огонь все пожрал.

— А в оном зле сами, детушки, повинны. Ежели б честь-честью встретили меня, государя своего, и Казань бы целехонька была. А вы вот с генералами да с солдатней за рогатки схоронились да моих верных слуг, что волю вам добывают, побили да поранили.

— По принуждению, надежа-государь! Потемкин генерал да Брант. Ведь супротив них никому и рта отворить нельзя.

— Ну, да уж таперь не воротишь, — говорил Пугачёв. — После драки кулаками неча махать... Поди, вам вестимо, детушки, что Катерина-то приезжала к вам пиры задавать, а чего доброго-то она для народа сделала?

Плешь на голом месте, вот чего она сделала! А я для вас, детушки, для ради пользы вашей войной на ваших супротивников иду, грудь свою под пули да под ядра подставляю. Спасибо, народ простой, чернь замордованная, подмогу мне дает, а вы вот не дали... Ну, да уж ладно... Казань сгорела, хибарки ваши, — не кручиньтесь, новая Казань из земли подыметя, краше первой... И объявляю вам, детушки: заутро бедноте будет раздаваться деньгами вспоможение...

В этот миг из большой толпы черничек девичьего монастыря вырвалась молодая женщина и подбежала к Пугачёву. Простирая к нему трепетавшие руки, устремив на него испуганные глаза, она пронзила душу Пугачёва криком:

— Батюшка! Я Симонова, Дарья!

— А-а-а, знакомая, — вымолвил, несколько смутившись, Пугачёв. Его удивило столь внезапное появление Даши. Как могла она попасть сюда и почему этакая пригожая, а одета, как монахиня? Пугачёву в момент вспомнилась его ненаглядная Устя, великая государыня Устинья Петровна, подруга Даши, сердце его больно защемило. Где-то она, горемычная, как здравствует?

— Помню, помню тебя, милая, — с ласковостью в голосе произнес он.

— Ради всего святого, скажите мне, батюшка, не утайте от меня, жив ли сержант Дмитрий Павлыч Николаев, нареченный жених мой?..

Голова Пугачёва опустилась на грудь, быстротечные думы опалили его сердце, он заглянул в хмурое лицо Овчинникова и, обратясь к девушке, спросил ее:

— Можешь ли по-казацки ездить?

— Усижу, батюшка, не раз езжала, — с безоглядной решимостью ответила Даша. Она все на свете позабыла, в её мыслях — лишь незабвенный Митенька.

Ей подвели коня. Она, как во сне, не вполне сознавая происходящее, взобралась в седло.

— Пойдите тут, пождите меня, — сказал своим Пугачёв. И оба с Дашей рысью поехали в царскую ставку.

— Ну, слезай, — сказал Пугачёв девушке, — я сейчас, — и вошел в палатку с канцелярией.

У входа стоял какой-то полнотелый казак с рыжими усами, на рукавах позументы. Невысоко над городом висела серебристая луна, к ней тянулись от потухавшего пожарища легкие дымки. На дальнем взгорке, видимый теперь издали, словно каменный орех, очищенный от скорлупы, высился многострадальный кремль с башней и соборами. Возле палатки, где стояла Даша, пылал костер.

Вдруг полы палатки распахнулись, вышел Пугачёв, он вел за руку рослого, красивого с белокурыми волосами молодого человека.

— Вот твой суженый, — проговорил Пугачёв, подталкивая офицера Горбатова к ошеломленной девушке. — Вот твой любезный, — повторил он и, вскочив на коня, умчался. Движения его сердца были искренни и внезапны. Он был уверен, что Даша и Горбатов, два цветка с одной гряды, встретятся — водой не разольешь. Ну, до чего приятно доставить людишкам хоть какое ни есть счастье!

Конь скакал, как зверь, вокруг вихрились ветерки.

В изумлении стояли один против другого молодые люди. Они всматривались друг в дружку обостренными воспомиающими глазами. И вот...

— Даша!

— Я вас не знаю...

— Даша, Дашенька! Я Горбатов...

— Андрей!.. Неужели ты?!

Все пред ними исчезло, только кусочек тверди под ногами да их двое.

Они разом бросились друг другу на шею.

Пробежавшая беленькая собачонка, хвост калачом, наспех обнюхала их и, слезливо всхлкнув, поскакала дальше — разыскивать своих хозяев.

Подхватив Дашу под руку, Горбатов повел её подальше от людей, в сторонку. Он усадил её на чей-то брошенный сундук. Она все еще не могла прийти в себя, дрожала. Первый её вопрос был о Мите Николаеве. Андрей Горбатов колебался, ему больно было взволновать девушку горестным известием.

— Говори всю правду, — сказала она и подняла на него глаза свои. — Чувствую я, почти что наверное знаю: он погиб. Только ради господа бога не скрывай, Расскажи все, что знаешь...

Горбатов стоял возле нее, она сидела. Луна светила ярко, ему хорошо было видно лицо девушки со страдальчески вскинутыми бровями. Он сказал ей, что сержанта Николаева давно нет в живых, что в его смерти повинен некий злодей, атаман-предатель, тогда же казненный.

Даша со стоном уткнулась в платок, в отчаяньи замотала головою.

Горбатов сел рядом на сундук, взял Дашу за руку и старался успокоить ее.

— Значит, все кончено, — сдерживая глухие рыдания, проговорила Даша.

— Мне теперь один путь — в монастырь.

У Горбатова обмерло сердце, он отстранился от нее, воскликнул:

— Даша! В твои-то годы?

— Я буду молиться за его душу.

— Его душа, чаю, не очень нуждается в чьих бы ни было молитвах. Он мученик.

Даша снова приложила платок к глазам. Горбатов сказал:

— Тебе надо думать о том, как бы устроить жизнь свою, она вся впереди, а не бежать от жизни...

Даша вскинула голову и с особой пристальностью, будто вспомнив самое главное, уставилась в лицо Горбатова заплаканными глазами. Затем спросила:

— А ты-то, ты-то, Андрей, как попал в плен к разбойнику?

Андрей Горбатов, шумно задышав, поднялся. Он вдруг уразумел, что между ним и Дашей — пропасть, что она, из бедных бедная, давно осиротевшая дворянка, ненавидит Пугачёва и все дела его. А ненавидит потому, что обо всем, что касалось Пугачёва, имела самое превратное понятие. И вот он начал исподволь, с одним желанием направить её мысли в нужное ему русло.

У костров по всему лагерю после легкой выпивки началось безудержное веселье. Старик-богатырь Пустобаев, сидя подле бурлацкого костра и потряхивая бородой, рассказывал бурлакам о том, как он однажды вступил в борьбу с медведем — цыганы ручного медведя водили — и как он, понатужившись, перебрал зверя через поленницу; и еще рассказывал, как на царской свадьбе довелось ему «возгаркнуть» многолетие. «Вот было попито-погуляно!» Секретарь Дубровский от нечего делать играл на утоптанном месте с мягкотелым Давилиным в орлянку. Поп Иван, с трудом

воздержавшийся от выпивки, сидел возле палатки Ненилы, обучал девочку Акулечку молитвам и без передыху дымил цыганской трубкой. Атаманы Овчинников и Творогов разъезжали по лагерю с отрядом казаков, следили за порядком, скандальных «питухов» приказывали хватать, тащить к пушкам под караул — на продрых. Брант и Потемкин, независимо друг от друга и как бы сговорившись, писали графу Меллину, находившемуся с отрядом неподалеку, чтобы он немедля следовал в Казань. Монахини, возвратившиеся вместе с игуменьей в монастырь, близки были к отчаянию. Игуменья послала к губернатору трех своих рясофорных стариц с известием о том, что злодей похитил Дашу.

В это время «злодей» вел деловые разговоры с купцами, благодарил их за деньги, за оружие, за полсотни купеческих работников, вступивших в его армию.

...А эти двое, взявшись за руки, неспешно ходят взад-вперед по луговине за палатками и под голубоватым светом луны говорят без умолку.

Изложенные с горячностью, со всей искренностью доводы Андрея показались Даше убедительными, и после резких возражений, переходящих в крик, она постепенно успокоилась.

С нею никто за всю жизнь не говорил так серьезно, так умно и убедительно, как говорил сейчас Андрей. Она со всеми своими мыслями как-то неожиданно для себя подчинилась ему и во многом стала согласна с ним.

Теперь она этого чернобородого человека с открытым к добру сердцем никогда больше не назовет «злодеем». Но как же, как же человек этот не смог уберечь от гибели Митю Николаева!

Впрочем... «да будет, господи, воля твоя», — и Дашенька мысленно перекрестилась.

— Да, наша встреча — чудо, превеликое чудо, — с каким-то благоговением сказала она и на миг подняла свой взор к небу. — Но как ты мог узнать меня, Андрей? Так вот, сразу?

— Какая-то сила шепнула мне, заглядывая в такое милое, знакомое с детских лет лицо. Мои родители, ты ведаешь, были неимущи, а твои еще беднее. Наши усадьбы соприкасались. Яблони вашего сада глядели в наш, и цветы ваших вишен осыпались на нашу землю. Боже, до чего было хорошо существовать! Невозвратимое детство...

— Помнишь, как мы играли в любовь, Андрей? Ты был моим женихом, я твоей невестой.

— Мы играли, — ответил Горбатов, — а наши родители, по крайней мере мои, считали это дело решенным. Мне в ту пору было лет

четырнадцать, а тебе, Даша, восемь... И вот ты, ангелоподобная девочка, на протяжении каких-нибудь двух-трех месяцев лишаешься родителей, и мою Дашу увозят от нас добрейшие Симоновы сначала в Москву, затем в Яицкий городок... И знаешь что, Даша? Я, мальчишка, без памяти был влюблен в тебя, ей-ей! Я места себе не находил после того, как разлучили нас. Я плакал не один день, клянусь тебе, и надо мною все смеялись.

Они остановились, ласково и нежно заглядывая друг другу в глаза.

— А я разве не любила тебя? Ты думаешь, я не плакала? Я помню твои первые письма ко мне... А потом ты замолчал. Почему?

— Потому, что со мной самим стряслось ужасное...

— Ужасное? — передернув плечами, испуганно переспросила Даша. — Расскажи, Андрей.

— Изволь, — согласился Горбатов. — Только допрежь я хочу сказать тебе, знаешь что?

— Нет, не знаю.

— Гм, не знаешь? — проговорил Андрей дрогнувшим голосом, глаза его загорелись. Он стиснул руки девушки и тихо сказал:

— Я люблю тебя.

— Безумный! Сомуститель мой... — простонала Даша, она больше ничего не успела сказать, отдавшись ласкам Горбатова. Впрочем, она вскрикнула:

— Милый!.. Я тоже люблю тебя!.. — И тут же, как бы спохватившись, добавила:

— А как же Митя? Как же память о нем?

— С Митенькой кончено, — проговорил Горбатов. — Живому о живом думать предлежит, а никак не о мертвом. Вот ты встречу нашу чудом назвала.

Верно... Чудо и есть. И я чаю, судьба не зря столкнула нас. Ты, Даша, должна стать моей женой. Согласна ли?

— Безумный! — снова воскликнула Даша и в сильном волнении готова была разрыдаться. — Так быстро решить. Возможно ли?

— Чем скорее, тем лучше. Ты сама видишь, каковы обстоятельства. Надо быстро, не колебаясь. Нерешительность — удел слабых.

Даша посмотрела на него с раздумьем и жалостью, затем вымолвила:

— Довольно, Андрей... После... А теперь расскажи о себе.

И они опять принялись ходить по луговине. Луна обливала их голубоватым сиянием. И под благодетельными брызгами этого серебристого дождя душа девушки распускалась как бы заново. Но в отуманенной голове её копошились беспокойные, раздернутые мысли: то

укорчивые вопросы самой себе и неясные, сбивчивые на них ответы, то запоздалый, может быть, голос совести, что вот она, легкомысленная девчонка, столько хлопот наделала всечестной игуменье Ираклии и сестрам во Христе, принявшим горячее участие в судьбе ее. Ждут, поди, ждут и в великую впадают горесть. А Симоновы, а тень Мити Николаева, а этот неразрешимый для нее вопрос, так настойчиво высказанный соблазнителем её Андреем?..

— Говори, говори, Андрей, я слушаю, — тихо произносит она, стараясь придать своему лицу выражение радости и счастья. Но голова её в тумане и сердце мрет.

Огненный страшный день еще не кончился, Казань еще не догорела. Вдали дремлет голубоватый кремль с соборами, над городским пепелищем плавают лохмы дыма, то приныкая к земле, то седой волной вздымаясь вверх. Воздух пропитан гарью, у Даши заболела голова.

— И вот понаехали к нам гости, — продолжал Горбатов, — мой двоюродный дядя из Воронежа, для закупки или, как он говорил, «ремонта» лошадей его воинской части — усатый с брюшком майор, а другой, питерский чиновник Пятнышкин, вез в губернское казначейство много новых, только что выпущенных бумажных денег. Прожили они у нас с неделю, оба картежники превеликие. Да, кажись, и шулеры к тому же. Словом, обобрали они как следует соседних помещиков, и родитель мой, помню, не мало пострадал. И стали собираться в обратный путь. А я забыл тебе сказать, что заехали-то они к нам по окончании своих дел. Мой двоюродный дядя, этот усач с брюшком, на коротких ножках, и говорит моим родителям: «А отпустите-ка со мной вашего Андрея. Я вскорости перевожусь в Питер и там определю Андрюшу в кадетский шляхетский корпус, по крайности офицером будет. А воспитание мальчика я приму на свой полный кошт, я человек со средствами и бездетный».

Я, признаться, услыша от дяди такие речи, сразу пришел в радость:

«Черт возьми, Питер, офицерство, вот счастье-то!»

Тогда и другой гость, чиновник Пятнышкин, этакий неуклюжий... он тоже взглянул на моего младшего братейника Колю да и говорит: «Знаете, достопочтенные родители, я человек, как видите, известный, в чине партикулярного полковника, и к новому году светским генералом чаю быть...»

А человек тоже бездетный. Отпустите-ка вы в науку и Коленьку, он мальчик премилый. Я замест сына воспитывать его стану, в коллегию определю, в люди выведу».

Родители, жившие в изрядной бедности, подумали, поплакали,

отслужили молебен и нас обоих с братом отпустили. Не доезжая трех станций до Нижнего Новгорода, мы с Колей распрощались и поехали с дядей дальше. А с Колей случилось так...

Даша слушала со вниманием. Луна вздымалась все выше. По луговине ходили женщины с подойниками, бегали мальчишки, разыскивая своих коров.

— С Колей так... Ему шел тогда десятый год. Он был щупленький, болезненный. Чиновник Пятнышкин остался на почтовой станции играть в карты. Денег у него было множество, но он нарвался на шулеров, пробиравшихся на Макарьевскую ярмарку. Он все спустил им, и свои и казенные деньги. Проиграл и Колю...

— Как, Колю проиграл? — с изумлением воскликнула Даша.

— Да, представь себе... Проиграл. Колю купил в рабство содержатель почтовой станции, местный разбогатевший мужик. И с тех пор несчастный братишка перестал быть дворянским сыном Колей, а сделался крестьянским сыном Васюткой. Ну и запродажные фальшивые документы были сфабрикованы — почтарь мужик богатый... — Горбатов снял казацкую шапку-трухменку, провел рукой по своим светлым волнистым волосам и, обращаясь к девушке, с жаром добавил:

— Вот видишь, Дашенька, какие дела творятся под скипетром обожаемой тобой государыни Екатерины.

Даша, опустив голову, молчала, глаза её заслезились: Коля был её сверстник, они вместе играли с ним в куклы и в шармазлу.

— Чиновный изверг Пятнышкин, — продолжал Горбатов, — доехал до Нижнего и там на постоялом дворе застрелился. А ни в чем не повинный Васька, он же бывший Коля, был переодет в крестьянскую сряду, в лапотки. И под жестокими побоями хозяев, обливаясь слезами, стал прислуживать в кухне, исполнять всякую черную, тяжелую для мальчонки работу... «Эй, Васька! Принеси дров да разлей телятам пойло!» — «Эй, Васька! Вычисти господам проезжающим сапоги да самовар поставь!» — в то время уже вводились в моду самодельные, из толстой жести самовары. Мальчик под зуботычинами, под плетью постепенно свыкался со своим положением. Но иногда на него накатывало отчаяние, он при проезжающих кричал: «Я не Васька, я дворянский сын Николай: мой отец Горбатов! Господа проезжающие, возьмите меня с собой, спасите!» Тут врывался хозяин с веревкой, выбрасывал мальчишку вон, а проезжающим говорил: «Вот наказал меня господь... Взял на воспитание сироту, а он с тоски, чего ли, алибо с глазу худого с ума сошел, вроде дурачком делается». Так прошел год с лишком.



Родители встревожились: никаких вестей ни от меня, ни от Коли, ни от Пятнышкина нету. И вдруг случай... Что ты, Дашенька?

— Так, ничего, продолжай, — невнятно ответила Даша, начавшая приметно дрожать, как в ознобе.

— Наша соседка помещица Проскурякова ехала в Петербург и, понимаешь, Дашенька, остановилась она передохнуть на этой самой станции. Она ехала в столицу по своим делам, довольно состоятельная была, и родители упростили её навести справки обо мне и Коле. Она женщина премилая, к нам расположена отменно, она и меня крестила, и Коля был её крестник. Почтарь-хозяин ввел её в горницы, дождик был, высунулся в окно, крикнул: «Васька! Беги, бесенок, сюды, барынин архулук у печки просуши, грязь отчисти». Вот вбежал в горницу грязный, лицо в саже, отрепанный мальчонка в лапотках...

Помещица Проскурякова сидела в тени, голова у нее болела, шалью замотала голову, и Коля не сразу узнал свою крестную. А она, как взглянула на парнишку, так сердце у нее и обмерло. Она возьми да и спроси: «Мальчик!

Как тебя звать?» Он посмотрел в передний угол: «Батюшки, крестна!» — с ужасом взглянул на зверя-хозяина с веревкой в руке и торопливо, взмахнув, ответил: «Я Васька, Васькой меня зовут, вот дяденька купил меня, он добрый...» А Проскурякова и говорит: «Преудивительное дело... Ты точь-в-точь, как сын помещиков Горбатовых, Коля». Тут мальчик как бросился с воем на шею помещицы да как заблажит: «Крестна! Крестнушка! Это я, Коля...» — и залился горячими слезами. И она горько заплакала. Хозяин заорал: «Вон, вражонок!» Коля в страхе убежал, а мужик попробовал было фордыбачить, однако Проскурякова, женщина роста крупного, как вскочит да как затопаёт ногами: «В каторгу тебя, мерзавец, в каторгу!» Мужик кричит:

«Вот вы докажете-ка, что он есть Коля, а я завсегда докажу, что он Васька, куплен там-то и там-то, при свидетелях таких-то и таких-то, эвот документы-то у меня». И вот Проскурякова начала против мужика дело. Многих денег ей это стоило, великих хлопот, но уж ей хотелось завершить сие благополучно и по чувствам человеческим, да и амбицию её задела. Почти целый год тянулись суд да волокита. Злодея-мужика все же засудили, а мальчонку возвратили в прежнее состояние. Но пока шел суд да дело, Коля на той клятой почтовой станции, битый да голодный, захворал и умер... Умер, Дашенька!

— Боже мой, боже мой! — всплеснув руками, воскликнула Даша. — Бедный мальчик, бедный, несчастный мой Коленька... Я как сейчас вижу,

такой тихий, такой нежный, особенный какой-то. Вот такими душеньками праведными и полнится церковь божия на небеси.

— Да, неоцененная моя Дашенька, — глубоко вздохнув и почмыкивая носом, проговорил Горбатов. — На небесах-то душенькам, может статья, и не плохо, а вот каково-то на земле живым жить при наших проклятых порядках? И мне ни мало не удивительно и народа нашего восстание, что потянулся народ за правдой, что поверил в царя-батюшку и идёт за ним, — и, помолчав, добавил:

— Ну, а теперь, ежели желаешь, о себе расскажу.

Как ни любопытно было Даше послушать Андрея, но она заторопилась.

— Ну и растревожил ты меня, Андрей, — оказала она, глядя в сторону и помигивая грустными глазами, опущенными длинными ресницами. — Всю ночь спать не буду... Милый, бедный Коленька... Проводи меня, Андрей. Поздно уж. Расскажешь завтра... ежели встретимся.

— Ты останешься здесь?

— Нет, не проси, меня там ждут.

Андрей не мог убедить её остаться ночевать в лагере. И вот он видит: едут рысью справа и слева от него два всадника, кричат тонкими пронзительными голосами:

— Горбатов! Где Горбатов?!

Андрей выхватил из кармана медную свистульку и резко засвистал. К нему тотчас подкатили оба всадника.

— Господин Горбатов! — проговорил один из них, молоденький и юркий. — Вас требует атаман всей армии Овчинников.

— Что за экстра? — спросил Горбатов.

— Получены вести: подходит Михельсон. Верстах в сорока отсюда.

— Ну, это не столь близко, — несколько успокоился Горбатов. — А где государь?

— За ним помчали, за его величеством.

Горбатов приказал заложить для девушки таратайку.

— Я завтра приду к тебе чем свет, — говорит Даша, сжимая его руку. — А еще лучше, приходи за мной сам, Андрей. Боже мой, что же опять будет?..

Стрельба, кровь, опасности. Как это ужасно!

— Чаю, крепко чаю: ты останешься со мной, будешь моей подругой...

— Не знаю... Подумаю... Буду молиться богу со всем усердием... — и она, вздохнув, добавила:

— А все-таки как я в душе благодарна этому чернобородому, что свел

нас. Господи, прямо чудеса! Опомниться не могу. И о нем помолюсь с усердием.

Горбатов, физически измученный, но душевно бодрый, возвращался домой в настроении необычайном. Сколько потрясающих событий сегодня свалилось на него: горячий бой, взятие и пожар Казани, Даша. Ну что ж!.. Такова жизнь теперь!

### 3

Ранним утром, при восходе солнца, вся армия Пугачёва была приведена в боевой порядок и построена в восьми верстах от Казани, вблизи села Царицына. Все полки, во главе с полковыми командирами, стояли по своим местам. В центре расположены были самые сильные, испытанные части с пятнадцатью пушками. Здесь был Пугачёв с Овчинниковым, Горбатовым, Белобородовым, Минеевым.

Старые и молодые екатерининские солдаты, захваченные в Осе и Казани, были, по совету офицера Минеева, разоружены: «По совести говоря, на них, ваше величество, вполне положиться опасно». Солдат отвели в тыл, по флангам, и замест ружей дали им окованные железные шести, а их ружьями снабдили, по совету Белобородова, уральских горнозаводских крестьян: «Они люди надежные и, будучи охотниками да звероловами, из ружей палить привычны».

— Гарно, гарно, — одобрил Пугачёв. — А храбрости да усердия к делу нашему им не занимать стать. Знаю!

Пугачёв лично проверил все пушки, подсчитал заряды.

— Эх, маловато ядер-то, — сказал он, почесывая за ухом. — Ты, Чумаков, зря ума не пали из пушек, с понятием норови. — И, обратясь к офицеру Минееву, добавил:

— Вот ты, ваше благородие, бахвалился все: возьмем да возьмем крепость. А где она, крепость-то? Зевка дали мы! Поди, пороху-то у них там сколько хошь, да и пушки...

Минеев-что-то забормотал в свое оправдание, но Пугачёв, отвернувшись от него, подошел к Горбатову.

— Ну, как, полковник, сговорился ли с девушкой-то? Осталась, нет?

— Нет, государь... Обещалась прибыть утром, да вот... не сдержала слова.

— Ну и само хорошо, и само хорошо! — воскликнул Пугачёв, прищуривав правый глаз. — Бабское сословие, ведаешь, в нашем деле одна

помеха. Вот и я, как видишь, свою государыню оставил. Где-то она, цела ли, сердешная?

Ведь Яицкий-то городок тю-тю от нас.

— Мне уповательно, — сказал Горбатов, — что атаман Никита Каргин как не то убережет ее.

— Дай-то бог да мать божия... А я, ведаешь, как Дашу-то дозрил вчерашний день, сразу вспомнил: да ведь она верной подружкой моей государыни Устиньи-то была. Эх, только бы отечеством завладать, быть бы Даше у государыни во фрейлинах, а ты — генерал-аншеф. Ась?

— Премного благодарен... До этого далеко еще.

— Верно, полковник, далеко! Глазкам-то видно, да ножкам-то трудно...

— Будем дерзать, государь.

— Эвот пятерых турок из туретчины пригнали в Казань, прямо с войны, тепленькие, как со сковороды олады. Наши казаки вчерась забрали их, в Ивановском монастыре скрывались, нехристи. А как мы учинили им допрос, они показали: Катька-то моя замиренье с султаном ладит заключить... Тады, чуешь, супротив нас целые полки двинут... Ась?

— Сие не так скоро, государь.

— И то верно: улита едет, как говорится, когда-то будет.

Пока шли эти разговоры, Даша сидела взаперти и тихомолком плакала.

Игуменья Ираклия и рясофорные монахини встретили вернувшуюся Дашу радостными криками: «Ой, дитятко наше! А мы уж и вживе тебя не чаяли видеть. Да и как это тебе казанская божия мать помогла от злодея-то вырваться?» Даша в ответ рассказала старухам какую-то мало правдоподобную историю. На совете старицы постановили: во избежание каких-либо несчастий Дашу держать взаперти без выпуска, пока злодейские толпы не будут отогнаны от Казани.

И вот Даша сидит под замком, со строптивостью взглядывает на икону и неутешно плачет. Неужели ей не суждено снова встретиться с Андреем?

Меж тем точных сведений о приближении разведки Михельсона еще не поступало, поэтому армия вела себя вольно. Многие, развалясь на земле, сладко спали, иные варили на кострах хлебово, некоторые, швыряясь вверх медными пятаками, играли в орлянку. Кони паслись на траве, вездесущие собачонки всюду шмыгали.

В лагере, на Арском поле, предусмотрительно грузились воза добром, запрягались барские экипажи под семейство колченогого Ивана Наумыча Белобородова, Софью Пугачёву с детьми, царскую стряпуху Ненилу с девочкой Акулечкой и под временных гулящих жонок Пугачёвской

верхушки, вроде дебелий Домны Карповны. Все эти красотки, одетые по дорожному, грудились возле карет и фаэтонов. То крикливо тараторя меж собой, то с тревогой прислушиваясь, они ждали первого пушечного выстрела, чтоб сесть в экипажи и спешить прочь от страшной кутерьмы.

В стороне ползала на четвереньках по луговине девочка Акулечка и, опустив голову, что-то пристально искала. Одетая в серое чистое платьишко и аккуратные сапоги с голяшками, она походила издали на овечку, которая щиплет зеленую траву.

— Чего потеряла, Акулька? — спросил её подскочивший Трошка Пугачёв.

— Иголку потеряла, вот чего, — ответила девочка Акулечка. — Вишь, казаку на рубаху латки ставила, а иголочка-т мырк! Ах она, проваленная... — и девчонка, продолжая ползать, тоненько залепетала:

— Черт, черт, поиграй да опять мне отдай!.. Потеряли да нашли, подобрали да пошли. Ищи, Трошка, ты глазастый.

Подбежали Трошкины сестренки — Христина с Грунькой, в их руках по тряпичной кукле с льняными косичками, бусинками вместо глаз и алыми губами. Смастерила их Акулька. И вот ребятенки стали ползать вчетвером, искать иголочку. Искали долго, усердно.

— Эти куклы маленькие, — сказала Акулька, подымаясь с четверенек. — А я тебе, Христя, большую куклу смастерю, толстая такая барыня будет, платье с карналином, волосы из кобыльего хвоста. Ужо, ужо я притащу. — И Акулька, подхватив починенную рубаху казака, побежала к себе в Ненилину палатку. И вдруг, волчком крутнувшись на одной ноге, радостно закричала:

— Эвот она, иголочка-т! В рубахе.

Оставшиеся в лагере пожилые крестьяне, исполнявшие службу старост при своих походных деревенских артелях, запрягали телеги, сваливали на них артельное добро. К некоторым телегам были привязаны коровы, сведенные из городского стада. И по всему огромному полю двигались без суеты люди и животные, — лагерь, хотя и неспешно, готовился на всякий случай к отступлению.

Солнце поднялось довольно высоко. В армии Пугачёва, занимавшей большое, пересеченное оврагами пространство, все сразу оживилось. Раздался бой тулумбасов и барабанов, пронзительные высвистки дудок, резкие командные выкрики:

— По полкам, молодцы! Казаки, на конь!.. Канониры, к пушкам!

Вдали, верстах в четырех, начал выдвигаться из леса тысячный корпус

Михельсона. Хотя солдат и кавалерии в отряде мало, но все они натерелые вояки, закаленные непрерывными походами. Народ молодой, отборный, заласканный. Они вошли во вкус сражаться с безоружными крестьянами и одерживать над ними легкие победы. Им обещаны всякие льготы, всякие милости от военачальников и от самой царицы, и они работают на славу, безжалостно, порой без всякой нужды, истребляя своих собратьев. Офицеры отряда отличались умением воевать с огромной, но мало дисциплинированной толпой и были преданы престолу, как и сам подполковник Михельсон.

Боевые качества Михельсона высоко ценились покойным Бибиковым, Брантом, Паниным, Голицыным и впоследствии даже самой Екатериной. Мир дворянства и крупных промышленников видел в нем спасителя отечества. Так, полгода спустя, известный богач, горнозаводчик Прокофий Демидов, посылая Михельсону ценный «презент», между прочим писал ему: «Ты с малым, но храбрым корпусом не утрашился нападать на толпу разбойничью... Ты отвратил злодейское намерение притти на царство Московское... Ты дал мне жизнь и прочим московским гражданам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие прихода его жадно ожидали и разорять, грабить и убивать господ своих желали».

Михельсона знал и Пугачёв. В Кенигсберге ему, молодому казаку, довелось тащить на носилках раненого Михельсона в лазарет и перемолвиться с ним немногими словами, вслух пожалеть его. И вот теперь, через пятнадцать лет — частые встречи на полях непрерывных схваток. Пугачёв яростно ненавидел его, но и, не скрывая, умел ценить в своем враге умную воинственность.

— Эх, ежели б этого вояку да мне в помощники, натворил бы я делов, — с большой душевной скорбью иногда говорил он. — Добрую половину своих атаманов поменял бы я на одного его.

Михельсон тоже немало приходил в изумление от храбрости и умелых действий Пугачёвцев. Он не раз в своих донесениях писал: «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали: злодеи, не уважая нашу атаку, прямо бесстрашно шли нам навстречу, однако помощью божией, по немалом от них сопротивлении, были обращены в бег». И еще: «Злодеи на меня наступали с такою пушечною и ружейною стрельбою и с такою отчаянной храбростью, кою только в лучших войсках найти надеялся».

И вот снова Михельсон и Пугачёв лицо в лицо.

Михельсон, обзрев в трубу стоявшую против него силу, сказал:

— Ого! Да их тут в двадцать тысяч не уложишь. И откудова берется

эта сволота? Ну, как, господа офицеры, отдыхать будем, или на приступ поспешим?

Офицеры, — их человек двадцать, — рекомендовали отдых: солдаты, особенно кони, от длительных непрерывных переходов выбиваются из сил.

— Ежели мы на них тотчас не ударим, то они обрушатся на нас всей лавой, — возразил Михельсон тоном, не терпящим противоречий.

Он приказал майору Дуве обойти с небольшим отрядом левый фланг неприятеля, а майору Харину — правый.

— Сам же я с корпусом ударю в центр расположения, постараюсь разрезать неприятельскую толпу пополам, и тогда станем по частям бить. Ну, с богом!

После осмотрительной, неторопливой подготовки — силы Михельсона стали мало-помалу переходить в наступление. Первые двинулись вперед, в обхват флангов, небольшие отряды Дуве — Харина.

Пугачёв, объехав своих молодцов с бодрящим словом, поместился на пригорке сзади армии и принял команду боем.

Как только михельсоновцы двинулись к центру фронта, вся Пугачёвская армия, в особенности многотысячное крестьянство, подняли оглушительный воинственный рев и крики, а главная батарея открыла по врагу огонь. Общий невероятный рев толпы и грохот пушек, перехлестывая Арское поле, летели далеко за Волгу. Казаки и горнозаводские метко стреляли из винтовок, ружей и мушкетов, башкиры и калмыки наскakивали на вражеские перебежавшие шеренги, осыпали их стрелами. Вскоре михельсоновцы дрогнули, попятились.

— Вперед, ребята, вперед! — раздался голос подскакавшего к ним Михельсона. — Что, гвалту перепугались?

— Не гвалту, а стегает, черт, подходяво! — останавливаясь, отвечали солдаты.

— Детушки! Фланги борони, фланги! — кричал Пугачёв, видя, как на фланги насаждают отряды двух майоров. Он послал туда Горбатова с Минеевым, а сам поскакал к центральной батарее.

— Чумаков! Варсонофий! Пала без передыху! Где у вас заряды? Детушки!

Веселей подноси ядра-то да картузы с порохом!

Возле батареи уже валялось несколько убитых, бежали прочь, в глубину расположения, раненые и оробевшие. Свистали пули. Битва по всему фронту тянулась больше двух часов, но сражающимся время показалось, как одна минута. После ожесточенной перестрелки и

рукопашных схваток середка Пугачёвского фронта заколебалась: пушки, подхваченные сытыми конями, затарахтели, по приказу Пугачёва, на другое место. Вломившимся с криком «ура» михельсоновцам, несмотря на их порядочные потери, удалось разорвать Пугачёвскую громаду на две части. Большая часть, вместе с Пугачёвым и Овчинниковым, повернула направо и наткнулась на отряд Харина, а меньшая — на майора Дуве. После непродолжительной схватки Дуве удалось рассеять неприятеля и забрать у него две пушки. Отряд же Харина, на который с гамом и гиком налетели отчаянные Пугачёвцы, оробел, смешался, стал поспешно отступать.

Пугачёв с Овчинниковым выбрали хорошую позицию. Они остановили свое войско за глубоким рвом, тесным проходом возле мельницы, и открыли по неприятелю убийственный огонь. Майору Харину для поражения врага надлежало спуститься в овраг, затем подыматься открытым местом в гору. Харин, страшась больших потерь, на это не осмелился. Михельсон, подтянув резервы, поспешил ему на помощь. После жестокой схватки ров в трех местах был перейден, Пугачёвцы атакованы. Непрерывный бой длился семь часов, солнце давно закатилось, на землю пали густые сумерки, приближалась ночь.

В конце концов Пугачёвцы не выдержали, бросили шесть орудий и рассыпались во все стороны. Михельсон преследовать их не решился. Все-таки за самим Пугачёвым с Горбатовым и Ермилкой небольшой отряд чугуевцев учинил погоню, но Пугачёв нырнул со своими в лес и там скрылся в темноте.

Когда за ними неслась погоня, Пугачёву попритчилась в кустах на Арском поле всеми забытая девочка Акулечка. Он вымахнул из лесу и, полный тревоги, бросился догонять обоз.

Нагнав, Пугачёв помчался вдоль многочисленных телег с народом и, не переставая, выкрикивал:

— Где девочка Акулька? Где Акулька?

— Я здесь-ка, батюшка, здесь-ка! — пропищала с воза девчонка, выпрастывая из-под дерюги голову. — Я седни иголку потеряла, да нашла!

С сердца Пугачёва — как с души камень. Обшлагом полукафтання он вытер лоб и с облегчением передохнул.

Снова взошла луна. Даша все еще сидела взаперти. На возвышенности громоздился, притаившись, кремль. Там были слышны раскаты битвы, но Потемкин, сказавшись больным, на помощь Михельсону не вышел.

Михельсоновцам досталось несколько пушек и до семисот пленных, главным образом безоружных крестьян, которые не умели прытко бегать, и горнозаводских работников, которые стойко бились. Попал в плен и офицер



Минеев. Отряд Михельсона ночевал на месте боя. Минеев, выданный пленными солдатами, был приведен к Михельсону.

— Ты офицер Минеев? — спросил Михельсон.

— Да.

— Это ты предал на Каме трех офицеров, которые были злодеем казнены?

— Я не предавал. Они сами попались с поличным.

— Мерзавец! — холодно крикнул Михельсон и было бросился на пленника с кулаками, но сдержался. — Повесить эту сволочь.

И Минеев, под лунным светом, на густой опушке леса закачался в петле.

#### 4

Наутро Михельсон двинулся к Казани и остановился на Арском поле. Его ошеломило печальное зрелище: полусгоревший город еще дымился. И не успел Михельсон по-настоящему осмотреться, как заметил надвигавшиеся на него силы Пугачёва. Он послал к губернатору Бранту поручика барона Дельвига с просьбой выслать ему воинскую помощь.

При содействии выведенного из крепости отряда подполковник Михельсон перешел в быстрое наступление и вторично разбил оплошавших Пугачёвцев.

За усталостью своей кавалерии Михельсон не мог преследовать отступавшего врага и ночевал под Казанью, на месте боя.

Пугачёв переправился за реку Казанку и, отойдя верст двадцать от города, начал собирать свои разрозненные силы. Слава о царе-защитнике гремела по всему Поволжью, к нему отовсюду валил народ: крестьяне, бурлаки, городская гольтьба. И уже через два дня под знаменами «батюшки» снова скопилось вместе с основными его силами до пятнадцати тысяч сермяжного воинства.

Сбежавшиеся к нему люди точно знали, что «батюшка» терпит поражения, что ему не дают покоя генералишки и что они, безоружные мужики, плохая ему помощь. Они знали также, что «проклятущие катерининские супостаты» побивают насмерть многие тысячи крестьян, а того больше — забирают в плен, чтобы затем драть плетями, рвать ноздри, вешать. Но преклонение пред именем «батюшки-заступника», неистребимая тяга к земле и воле, лютая тоска по правде-справедливости были сильнее всех страхов: крестьяне, бросая свои засеянные нивы на

заботу женщин, спешат к царю-радетелю и многие из них готовы в схватке с «кромешной силой Катерины» пролить кровь свою.

И чем хуже становилось «батюшке», тем сильнее тянуло к нему народ.

Несколько по-иному складывались дела с башкирцами. По мере того как Пугачёв стал отдаляться от Башкирии, башкирская конница начала помаленьку отставать от Пугачёва. Из-под Осы ушла третья часть башкирцев, после поражения «бачки-осударя» под Казанью их осталось в его армии не так уж много. Это не значит, что они успокоились и навсегда сложили оружие. Нет, продвинувшись к себе в Башкирию, они под начальством своего вождя Салавата Юлаева или самостоятельно, без руководства, толпами, продолжали свое дело.

Но со стороны неустроенных башкирских толп иногда снова проявлялись бессмысленные насилия над русским населением.

Эти неполадки омрачали Пугачёва и его близких.

— Вот непутевые, — брюзжал он, лицо его дергалось. — Это богатые баи да муллы с толков их сшибают... Они, несмысленные, забрали себе в голову, что волю-то с землей только в ихней Башкирии берут... Ан нет, еще до воли-то, мотри, взопреешь, язык-то мокрый станет. А ежели начал положен, работай до последа, не порти путь наш, не сбивай... — И, грозя пальцем, сурово добавлял:

— Еще спокаются они, башкирцы-то, спокаются! Их, одних-то, генералишки замордуют вот как, говори, где чешется. Ихние баи да муллы завсегда правы останутся, а народ-то простой претерпит люто.

И другие немаловажные обстоятельства заставляли призадуматься вождей Пугачёвской армии: чем дальше армия отходила от Урала, тем меньше оставалось надежды получить с заводов пушки, порох, снаряжение.

Шествие Пугачёва теперь уже не могло быть свободным, выбор пути его с каждым днем становился ограниченнее: и здесь и там возникали заслоны из правительственных войск. А сзади заседал неуязвимый Михельсон. Да! Надо было во что бы то ни стало раздавить его громадой, надо было штурмом взять казанскую крепость. Ох и зудят же у Пугачёва кулаки на Михельсона, изомлела вся душа!

Военный совет был скор: единодушно постановлено идти вновь под Казань.

Девочка Акулечка уже успела нарвать полевых цветов для «батюшки», казаки у котлов ели кашу, Ермилка доругивался с Ненилой. По армии пронеслась команда — готовиться к походу.

К вечеру Пугачёвцы подтянулись опять к Казани. Переночевали и чем

свет принялись строиться в боевой порядок.

Михельсон получил от Потемкина подкрепление в двести человек. Этому вспомогательному отряду приказано было атаковать врага во фланг, но Пугачёвцы с такой яростью набросились на атакующих, что половина потемкинских солдат подверглась уничтожению, половина в страхе разбежалась.

Бой с Михельсоном длился более четырех часов. Пугачёвцы метко отстреливались из пушек и ружей, ряды наступавших михельсоновцев редели. В рукопашном бою Пугачёвцы брали верх. Мужики орали, как тысячи медведей, глушили солдат топорами, рогатинами, кольями. Михельсон приуныл духом.

Неужто этот сброд осилит его? Он с минуты на минуту ждал из крепости дополнительной помощи себе — ведь там до тысячи солдат, — однако помощь не появлялась. Но ни тени колебания, иначе — все погибнет. Пугачёвцы в двух-трех местах с превеликим гамом и ревом уже перешли в наступление.

Еще, еще усилие, и они опрокинут михельсоновцев.

— Де-е-тушки! — то здесь, то там гремит голос Пугачёва.

Распаленный Михельсон бросился к своим укрытым в лесу резервам.

— Солдаты! — закричал он, взмахивая саблей. — Нам надлежит либо умереть, либо победить! Вперед, к победе! Матушка-государыня не оставит вас без награды!..

Он верил в силу своего слова, солдаты были отлично вымуштрованы, и во главе с офицерами весь резерв ринулся на Пугачёвцев. В запасе, кроме обозных и раненых, не осталось ни одного человека. Впереди уланского полуэскадрона, рядом с бароном Игельстромом и поручиком Фуксом, скакал польский конфедерат Пулавский. А впереди всех — сам Михельсон.

Натиск был для Пугачёвцев неожидан. Перетянутые на ближний пригорок михельсоновские пушки принялись шпарить по толпе картечью. У Чумакова же с Варсонофием Перешиби-Нос оставались считанные заряды. Крестьянство, поражаемое картечью, опрометью кинулось врассыпную.

Вскоре дело было кончено: Пугачёвцы отступили, потеряв последние девять пушек.

И Михельсон только тут заметил голубое знамя с черным орлом, оно ослепило его.

— Знамя!.. — хрипло заорал он. — Голштинское знамя!.. Ребята, хватай, лови!.. — и он поскакал за Пугачёвым.

Вместе с «батюшкою» мчались на свежих лошадях Горбатов, Ермилка со знаменем, атаман Овчинников. Проскакав верст пять, Михельсон повернул назад, но чугуевцы продолжали погоню. «Нет, не может быть, не может быть, — бормотал Михельсон. — Подделка... Ну, а ежели доподлинное? Откуда же оно взялось? Чудеса в решете!»

Преследование длилось на протяжении двадцати верст. У погони запалилось и пало немало коней. Пугачёв ушел.

Сведений о разорении Казани в Петербург еще не поступало. Но запоздалое известие, что Пугачёв со своей армией, обманув бдительность высланных против него отрядов, повернул в начале июля на Каму и может угрожать Казани, вызвало в правящих кругах большое беспокойство. В особенности известием недовольна была Екатерина.

На военном совещании Григорий Александрович Потемкин, некоронованный властитель империи российской, заявил:

— Нет, это уму непостижимо... Какой-то казак Пугачёв, столь грубый разбойник, славно, однако же, умеет отыгрываться от наших генералов. За нос их водит, аки индюков. И мне сдается: либо генералы у нас плохи, либо Пугачёв изрядный молодец. И по моему мнению, ежели позволит всемилостивая государыня, сей генеральский кризис надо разрешить тако: малорасторопного главнокомандующего князь Федора Щербатова с должности снять и на его место поставить князь Петра Михайловича Голицына. В разгроме толпы под Татищевой крепостью, следствием чего было освобождение Оренбурга, он показал себя сущим героем. А Щербатова вызвать сюда для изустного доклада о настоящих того края обстоятельствах.

Возражать Потемкину считалось опасным, да в сущности и не было причин его оспаривать. Князь Григорий Орлов, как-то невнятно посмотрев на Потемкина, сказал:

— Надлежало бы направить на восток воинское пополнение, ибо...

Но его без всякой учтивости тотчас перебил Потемкин:

— Сие уже сделано и вступило в силу. — Он вынул из кармана составленный им от имени императрицы черновик рескрипта князю Голицыну, высокомерно взглянул на прикусившего язык Орлова, с нескрываемым укором посмотрел в лицо «всемиловитейшей матушки», опрометчиво пригласившей на это совещание своего бывшего «друга», и, встряхнув головой, стал гулко читать выдержки рескрипта:

— «Получа известие, что злодей со своею толпою впал в пределы Казанской губернии, я приказала нарядить полки: пехотный Великолуцкий,

Донской казачий и драгунский Владимирский. Сие войско будет в окружности Казани как обсервационное, которому, по усмотрению пользы, действовать согласно с нами».

Далее в умело составленном Потемкиным рескрипте перечислялись меры к защищению границ сибирских и башкирских, а также давались указания, как удобнее «прижать Пугачёвскую вольницу к которому ни есть неподвижному пехотному нашему посту». Рескрипт заканчивался: «Начинайте с богом! Я ожидаю от усердия вашего ко мне полезных следствий. Екатерина».

При закрытии совещания Потемкин, как бы невзначай, бросил:

— А в конце-то концов надлежало бы отправить туда для командования войсками некую знаменитую особу, вровень с покойным генералом Бибиковым стоящую.

За эту знаменательную фразу мысленно уцепился присутствующий тут министр иностранных дел граф Никита Панин и, не задумываясь, решил в уме:

«Знаменитая особа — это мой родной братец Петр. В лепешку расшибусь, а так оно и будет».

Где-то там бушевало людское море, гремели пушки, пылали города, но молодой столице все нипочем. Богатые дворяне по-прежнему «бесились с жиру», чиновники гнули спины над бумагами, мздоимствовали, купцы торговали, барская дворня (ее было почти половина столичного населения) с привычной покорностью обслуживала своих господ, прислушиваясь одним ухом к народным толкам о мужицком царе-избавителе.

А в общем, все шито-крыто, тишь да гладь. Правительство всего более заботилось о том, чтобы сокрыть от народа грозную смуту на окраине и неуклонно пресекать всякую «народную эху» о пожаре на востоке.

Петербург хорошел, веселился. На проспектах, на одетых в гранит набережных — гением Растрелли-сына, Деламота, Гваренги и других — на удивленье всему миру и на многие века возникали великолепные дворцы и храмы. Был в работе «медный всадник» — бессмертное творенье Фальконета, вечный памятник бессмертному Петру.

Столичные власти негласным повелением Екатерины всячески старались развлекать народ праздничными гуляньями, которым придавалась как бы роль горчишников, втягивающих излишний в подъяремном народе жар. Гулянья устраивались на Царицыном лугу и на обширной площади вдоль Адмиралтейства, где впоследствии разбит был Александровский сад. Петрушка, балаганы, карусели, катанье с искусственных гор. В торжественные дни гулянья кончались «огненной

потехою», то есть фейерверком.

В Летнем саду с двух часов гремела придворная или шереметевская роговая музыка. Хор придворных егерей-рожечников в сто человек был одет в красные кафтаны с белыми камзолами и в черные треугольные шляпы с плюмажем из белых перьев. Музыкальные рожки, от маленького до трехаршинного, неприглядные с виду, внутри покрыты лаком и тщательно отделаны. Они издавали нежные, приятные звуки, и хоровое исполнение на них напоминало собою звучание органа. Послушать эту «ангельскую музыку» сходилось множество народа, секрет и особенность которой заключались в том, что каждый рожок, за отсутствием ладов, мог издавать лишь одну определенную ноту: ре или соль; ля или фа-диез и так далее. Таким образом музыкант не тянул мелодию, как это делается при игре на флейте, а, следя за нотами, ждал своего времени, когда ему дунуть в рожок, ни на момент раньше или позже. В этом состояло все искусство, и пьеса напоминала собою музыкальную мозаику, выложенную из отдельных звуков. Рожечники при продаже из одного рабства в другое расценивались дорого: до двух, до трех тысяч за человека, тогда как обычная рабская душа стоила в среднем рублей тридцать.

Заботу о народных развлечениях взяли на себя отдельные вельможи:

Елагин, граф Строганов, Нарышкин. Они делали это не только в угоду «матушке», но и в целях своего дворянского благополучия. У Строганова в его большом саду бесплатно угощали жителей вином и яствами, во время гулянья «ломались» паяцы, акробаты, пускались потешные огни. Нарышкин имел на петергофской дороге огромный трехверстный сад, при входе висело объявление: «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду для рассеянья мыслей и соблюдения здоровья». В саду были раскинута палатки с закусками, с пивом, дымились котлы со сбитнем. Пели и плясали в цветных костюмах. Здесь же обычно завязывались и первые в сезоне кулачные бои, до которых граф Алексей Орлов был большой любитель.

Иногда сад навещало высшее общество. На особых площадках, под звуки оркестров, затевались танцы, как то: полонез, променад, альман, уточка, экосез, котильон и другие. Под сенью деревьев за ломберными столами дулись в карты: тритри, рокамболь, квинтич, ерошки и пр. Зачастую за этими столами проигрывались целые деревеньки. Не повезло барину в азартную игру юрдон, — как тогда говорили, «проюрдонился в дым». Барин горюет. А мужички в это время сидят себе, не ведая беды, дома, но через месяц им скажут: «Ну, собирай котомки да айда в Тамбовскую губернию: вас барин другому господину проюрдонил».

Сановники и богатые помещики славились широким русским гостеприимством. Обеды, ужины, рауты были почти ежедневно то в одном, то в другом барском столичном доме. Какой-нибудь захудалый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, ежедневно питаясь у знакомых и даже незнакомых лиц. На вечерах гремела музыка, в десятом часу накрывался ужин человек на двести. Толпа слуг в галунах, под началом дворецкого, угождала веселящимся гостям. На одном из столов ставился сервиз серебряный, на другом — из саксонского фарфора. За первым — суетились прислуга почтенная, старая, за вторым служили молодые. Подавались аршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржа из своих огородов, белая телятина, выхоленная в люльках на своем скотном дворе. Персики, ананасы, виноград — тоже из своих оранжерей. Во всем — обилие, роскошь. Так проходил будничнейший приемный день. Торжественные же балы были баснословны. Умопомрачительной расточительностью устроителей они приводили в изумление даже иностранных дипломатов, знавших блестящие версальские пиры Людовика XVI.

Пышность и роскошь жизни вельмож поощрялись сверху не только в тяжелое для государства время, как взбадривающее начало, но и на протяжении всего царствования Екатерины. Лишь Павел I, предпринявший гонение на все вообще екатерининское, положил конец пирам да балам. Он замкнулся в своем семейном кругу, жил в рамках умеренности и, как исторический курьез, назначил своим подданным число блюд по чинам и сословиям, но не свыше трех.

Вся народная Россия знала о том, как «на весь свет пыжится» богатое дворянство. Такие купцы, как Жарков да Крохин из Казани, деньги берегли, каждый грош пускали в оборот, своим приказчикам внушали: «Ты узоров-то глупых с дворян-кутилок не бери, ты человеком должен быть честным, бережливым. Ежели невеста тебе любя, веди в церковь, а пировни там разной не задавай, в этом один грех да изъян». Купечество относилось к «дворянам-бездельникам» с презрением, крестьянство — с лютой ненавистью:

«Баре оладьи со сметаной да сало с салом жрут, а нам собачий хвост сулят».

Но кому пожалуешься? Прежде мужик нес свою обиду богу, ныне — новоявленному мужицкому царю.

## **Глава 10.**

**Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя. Матушка Волга.**

Мужицкий царь со своими малыми разрозненными силами двигался левым берегом Волги в сторону Нижнего Новгорода. Пройдя около ста верст от Казани, он 18 июля остановился и решил переправиться на правый, на горный берег реки, возле деревни Нерадовой и селения Сундырь.

Здесь поджидали Пугачёва сотня бурлаков с купеческими «посудинами» и много плотогонов, сплавлявших с Керженца лес на понизово в степные края.

На иных плотках были разведены большие огороды со всякой овощью.

Волгари вскарабкались на берег, хлынули к царской палатке, но «царя-батюшку» там не нашли, царь стоял среди своих казаков на бровке берега, любовался нагорной стороной, обильными плотами, баржами.

Наконец, разыскав «батюшку», толпа окружила его. Рассматривая огород на ближнем плоту, он говорил стоявшему подле Горбатову:

— Глянь, ваше благородие! Двенадцать гряд. Лучок зеленый... Ну и затейники, вот затейники!

Обернувшись на шум, возникший за его плечами, он увидел, наконец, опустившихся на колени бурлаков.

— Кто такие, откуда? — спросил он.

— Бурлаки, надежа-государь! Бурлаки мы, волгари... Да вкупе с нами — плотогоны.

— Ну, здравы будьте, детушки!.. Вставайте-ка, будет вам кувыркатся-то...

— И ты здрав будь, твое величество! — закричали, подымаясь, бурлаки.

Началась беседа. Пугачёв рассказал о поражении, постигшем его армию.

Ну, да ведь он шибко головы не клонит, Казань-то все ж таки взята, только кремль не покорился, — он, государь, крепко надеется на помощь божию да на свой народ, первым делом на крестьянство: не выдадут, помогут. «Поможем, свет наш!» Бурлаки принялись толковать, что их у Макарья на ярмарке да в Нижнем Новгороде наберется много тысяч. А как тянули они, бурлаки, посудины вверх по Волге, своими глазами видели, своими ушами слышали, как попутные селенья сжигают и громят помещицьи гнезда, помещиков ловят да вешают, а сами всем скопом собираются к «батюшке».



Слушая, Пугачёв вдруг заметил в толпе женщину. Не старая, с загорелым добрым лицом, одетая в сарафан, в чистую, тонкого холста рубаху, она то прикрывала лицо рукой, то опускала руку и умильно взглядывала на «батюшку», подбородок её дрожал, из серо-голубых глаз капали слезы.

— Эй, о чем, милушка, плачешь? — подняв руку, спросил женщину Пугачёв. — Уж не изобидел ли кто тебя?

— Да как же не плакать-то, свет наш!.. От радости, батюшка, плачу. От радости, — часто замигав, откликнулась женщина и сквозь слезы улыбнулась.

— Ты сорви-ка, Матрена, огурчиков батюшке-т, — сказал рыжебородый дядя в беспоясной рубахе с засученными рукавами, по-видимому — муж ее. — Репки да моркови с брюковкой...

— Ужо-тка, ужо я всего с грядок понадергаю, — обрадованно сказала женщина и шустро двинулась к плоту с огородом.

— Стой, Матренушка! — остановил её Пугачёв. — Не рушь зря огорода, вам еще долго плыть, пригодится. А мне бы луку зеленого пучочка три да чесноку малость. Уважаю я чеснок-от...

Пока баба бегала на плот, Пугачёв, продолжая беседу с плотогонами, заговорил о переправе его армии на тот берег, расспрашивал о Нижнем Новгороде. Они сказали, что губернатор Ступишин город укрепил хорошо, есть пушки, есть и солдаты. Что касемо переправы, то лучше этого места не найти, да к тому же у них много челнов, а у бурлаков два порожних баркаса.

Матрена притащила с огорода всякой всячины, передала Ермилке, а «батюшке» вручила вышитое, тонкого холста, полотенце.

— Прими, батюшка!.. — сказала она, кланяясь. — Личико свое пресветлое утирать будешь, да нас, сирых вспоминать.

— Благодарствую, — проговорил Пугачёв и, сняв с руки кольцо, подал его женщине. — Возьми, милушка. Радость ты мне принесла.

— Что ты, что ты, желанный наш!.. Недостойна я твоего царского подарка... Ой, ты!

Она повалилась Пугачёву в ноги.

Он поднял ее, спросил:

— Чьих ты господ?

— Кожевниковых, батюшка.

— Будь отныне вольна! — властно проговорил Пугачёв. — И все вы вольны будьте, детушки! А ежели крестьянство даст нашей императорской армии подмогу, то и вся Русь с землей, с волей будут.

— Спасибо, отец наш! — закричали бурлаки. — Продли тебе, господи, живота да веку!

Вскоре под наблюдением Овчинникова с Твороговым началась переправа на тот берег. Полсотни челнов заскользили по зеркальному течению тихой Волги.

На том берегу уже дымились костры.

Постепенно стягивались к царской ставке части разбитых под Казанью Пугачёвских сил, подходили, подъезжали из ближних селений новые кучки крестьян, иные приводили с собой на царский суд лихих помещиков, бурмистров, старост.

Прибывшие каргалинские татары доложили Пугачёву, что их атаманы Алиев и Махмутов схвачены высланными из Казани розыскными командами. А прискакавший белобородовский писарь Верхоланцев сообщил, что полковник Иван Наумыч Белобородов пленен.

— Да неужто? — схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачёв. Все меньше и меньше становилось у него атаманов. Не стало Зарубина-Чики, рассудительного Максима Шигаева, убит атаман старик Витошнов, без вести пропал Падуров, золотая голова. А вот теперь лютое несчастье поразило и верного Наумыча.

Оправившись от тяжелого известия, Пугачёв ездил по берегу от толпы к толпе, верховодил переправой. К жаре он человек привычный, но волжский раскаленный день и его сморил.

— А поплывем-ка, ваше благородие, купаться.

И вот они вместе с Горбатовым, раздобыв лодку, отправляются вдвоем на середку реки. Лодку поставили на прикол и бросились в воду. Купались не торопясь, со вкусом: поплавают, побарахтаются да опять в лодку, Горбатов сказал:

— Вы, государь, шибко-то не унывайте. Я, как человек военный, несмотря ни на что, считаю, что дело под Казанью было одной из блестящих побед ваших...

— А кремль-то, кремль?

— Взяли бы и кремль, когда бы нам Михельсон не помешал да будь у нас поболее артиллерии.

— Верно! А Михельсонишка-т того... дюже пообидел нас.

— Наша армия сопротивлялась неплохо ему. И о вас, о вашем начале хулы не скажешь.

— Благодарствую... А все ж таки трепку дал нам Михельсон.

— Был момент, могли бы Михельсона раздавить вовсе. Но... — Горбатов развел руками. — Дисциплина у него железная, солдаты

вымуштрованы, да и вооружены как надо. Тысячный отряд его врубался в нашу несметную толпу, как топор... в гречневую кашу.

— Вот то-то и оно-то, — проговорил Пугачёв.

— А все ж таки...

— А все ж таки наша взяла, да только, вишь, рыло в крови! Так, что ли? — выкрикнул Пугачёв и улыбнулся, но голос его звучал невесело, и во взоре было темно, без огонька.

Помолчали. Емельян Иваныч, спустив ногу в воду, смотрел, как мелкая рыбешка льнет к ноге, щекочет кожу.

— Офицер ты на диво! — продолжал он. — А ведаешь, я не знаю, кто ты есть? Было у меня в помыслах, уж не высмотрень ли ты, а таперь, думаю — не-е-т, мы с тобой, ваше благородие, одной глины горшки. Ну, кто ж ты, ась?

— Извольте, государь, с большой охотой поведаю вам о судьбе своей, — ответил Андрей Горбатов и принялся рассказывать сначала об участии своего брата Коли, именно то, что он рассказал уже Дашеньке (где-то она, что-то с ней?), затем повел речь о себе.

— Когда мы разлучились с Колей, мой досточтимый дядюшка, этакий усач с брюшком на коротких ножках, повез меня на юг: «Там мы, говорит, лошадей закупим дешевле и хороших статей». И подъехали мы после долгих странствий к самой, как потом оказалось, турецкой границе. Остановились в корчме у грека. В корчму начали приезжать какие-то богатые толстые люди, оказалось — молдаванские купцы. Все пальцы их сплошь унизаны драгоценными перстнями.

Стала завязываться картежная игра. Дядя прожил в корчме около недели и умудрился спустить двадцать тысяч казенных денег. Когда опамятовался, хотел стреляться, но раздумал. И вот, помню, ужин. Грек вынес из-за перегородки три стакана виноградного вина — мне красное, а себе и дяде белое. Кроме нас, никого в корчме не было. Я выпил, у меня замутилась голова, и я потерял сознание. Был в обмороке, по моим расчетам, больше суток...

— Эго ж!.. Да это они, анчутки беспятые, сонного зелья тебе высыпали, — проговорил Пугачёв, посапывая.

— Очнулся я, и не могу признать ни себя, ни окружающей обстановки.

Довольно приличная, увешанная коврами чужая, незнакомая комната, возле меня старый турок в красной феске с кисточкой, а на сундуке, у двери наш хозяин корчмы, грек. Я лежу на скамье. На мне старые синие шаровары, турецкая заплатанная куртка, на ногах мягкие чувяки. Я приподнялся, спросил: «Что это означает? Куда это меня завезли, где мой

дядя-офицер?»

Грек сказал: «У тебя дяди нет, ты в Турции, ты больше своей России не увидишь. Вот тебе записка от дяди». Я весь затрясся, я едва мог прочесть дядины каракули. Он писал: «Дорогой Андрюша! Я из подлецов подлец. Я лишился всего: денег, чести, родины. Я проиграл и твои золотые часы, и твоё ношеное платье, и все вещи твои. Чтоб перебраться за границу, я принужден был продать тебя. Вырученные деньги дадут мне возможность кой-как добраться до Бухареста, где у меня есть дальний родственник, зажиточный человек. Но думаю, что сего позора не переживу, лишу себя жизни... Прощай, мой мальчик, навсегда».

— Вот видишь, вот видишь, Горбатов, какие есть сволочи помещики-то! — со страстностью вскричал Пугачёв, брови его сдвинулись к переносице.

— Прочитав записку, — продолжал Горбатов, — схватился я за голову, и мне показалось, что со мной продолжается кошмарный бред или я сошел с ума.

Я вскочил, стал кричать, топтать ногами, требовать, чтоб меня тотчас везли домой, к родителям. И в отчаянии ринулся с кулаками на грека. Грек дал мне зуботычину, свалил меня, связал веревкой. «Ты брось буянить, — сказал он.

— На помощь к тебе никто не придёт, а государыня Екатерина воевать из-за тебя не станет. Вот твой господин, — и он указал на старого турка. — У него есть на тебя запродажная бумага, бумага заверена у русского и турецкого начальников». Сказав так, он распрощался с турком и поехал к границе, чтоб ночью перебраться чрез нее к себе домой. Я лежал связанный и тихо плакал. Турок сказал мне: «Имя твоё — Гирей. Будешь работать на моих виноградниках. Подрастешь, примешь нашу истинную веру, женишься на дочери моей, будешь славный турок». Я заплакал пуще. Он развязал меня, велел подать для меня баранью похлебку с кукурузными лепешками. Еду приносила горбатая старуха. Хозяин-турок говорил по-русски кой-как, едва поймешь. Он сказал: «Ты будешь жить на кухне. У меня гарем. Морда у тебя красивая.

Ежели что замечу, знай, сделаю из тебя евнуха. Бойся!» Я две недели каждый день буянил, на работу не ходил, требовал отвезти меня в Россию. Меня били плетью, били кулаками, я изнемог и целый месяц пролежал, как мертвый.

Когда поправился и окреп, в ночное время бежал, но был пойман. И хозяин посадил меня на цепь, как собаку. Тут я на своем опыте познал, до чего худо, до чего унижительно быть человеку в рабском состоянии.

— Во! — крикнул Пугачёв. — А из-за чего и сыр-бор-то весь горит, супротив чего и мы-то с тобой стараемся да страждем?

— Так, государь, так... — согласился Горбатов. — В течение года трижды пытался я спастись бегством, меня ловили и снова сажали на цепь.

Так прошло два года. Я пробовал писать письма отцу, своей крестной, помещице Проскуряковой, даже одно письмо императрице. Посылал, казалось мне, с верными людьми, но всякий раз письма мои попадали в руки хозяина, и он, издеваясь надо мной, швырял их на моих глазах в печку. Тогда я понял, что, ища себе спасенья, надо поступать по-другому. И я начал... втираться в доверие к хозяину. Сделался веселым парнем, на славу, за троих работал.

Хозяин был доволен, подарил мне хорошую сряду — красную куртку со шнурами, с позументом, атласные шаровары, сафьяновые туфли. И стал я красивый турок, участвовал в игрищах, выпивал, ловко плясал, славно пел. К тому же и турецкий разговор кой-как осилил, научился неплохо лопотать по-ихнему.

Как-то хозяин спросил меня: «Ну что, Гирей, бросил по России скучать?» Я весело ответил: «А чего мне скучать! Отвык я от России. Здесь лучше!» Он сказал: «Ты знаешь по-французски, учи мою дочь, а как примешь наш истинный святой закон, женись на ней». Я притворился, что очень рад, и согласился.

Горбатов замолк. Пугачёв вскинул на него взор и проговорил:

— Сыпь дальше, занятно, слышь. А хороша ли турецкая девчонка-то?

— Нет, государь, подслеповатая, кривоплечая, а на правой руке шесть пальцев...

Емельян Иваныч смешливо присвистнул. Горбатов продолжал:

— В конце года хозяин уже доверял мне вполне: я ездил с деньгами в город, вершил там разные дела. Я принял турецкое подданство, получил паспорт, через месяц должна была состояться моя свадьба, мне шел восемнадцатый год. Тут мне улыбнулось счастье. Хозяин тяжело захворал, а меня отправил в городок по денежным делам. Я туда выехал и больше не возвратился. Я купил пару чудесных лошадей и направился верхом прямо в Константинополь.

— В Цареград? Эге ж! Да ты парень пройди-свет, я вижу, — прищелкнув языком, сказал Пугачёв.

Солнце спускалось за Волгу большим красно-огненным шаром. Казалось, оно трепещет, играет, то увеличиваясь в объеме, то сжимаясь. По смирной воде протянулась к лодке прямая самоцветная тропинка с зазубринами по краям. Изжелта-красный цвет её постепенно угасал.

Обманную тропинку эту то и дело пересекали скользящие челны, издали они казались черными ползущими букашками. На горе, в лучах заката, розовела белая церковка села Сундырь, а многочисленные избы с загоревшимися слюдяными оконцами — будто скопище невиданных зверей: вот они вышли из дремучего леса и, развалясь отдохнуть на берегу, уставились пылающими глазами на солнце. Беззвучно пролетали, взмахивая мягкими крыльями, лиловые чайки, парами и в одиночку. Кругом было тихо, благостно.

— Словом, коротко сказать, — говорил Горбатов, — очутившись в турецкой столице, я измыслил пробраться в канцелярию нашего посольства и объявить там стряпчему, кто я такой и как попал в Турцию. Стряпчий отечески потрепал меня по плечу и молвил: «Приходите, молодой человек, через недельку, авось, на ваше счастье, кой-что и наклонется. Есть перспективы». Так оно и вышло. В скором времени Турция объявила войну России, наш посланник, очень почтенный человек, взял меня под свое покровительство, и вот я с русским посольством снова на родине. Ах, государь! Какое великое, какое святое слово — родина! Когда ступил я на родную землю, сердце мое сжалось, и я заплакал. И как бы вновь родился я на божий свет. И подумал тогда, да не перестая и ныне так думать: только тот на особицу любит родину, кто вкусил долгой разлуки с ней, тем паче будучи в неволе лютой.

— Истина твоя... — подтвердил Пугачёв.

— Вскорости прибыл я в свое гнездо, надеясь упасть к ногам бесценных родителей моих... И что же там встретил я? Встретил я там то, отчего на веки вечные померкла, озлобилась душа моя... — Горбатов опустил светло-русую свою голову и часто-часто замигал. — Ставни на окнах в нашем доме закрыты, парадная дверь забита доской. Я прошел на кухню. Наш старый слуга Федотик спросил меня: «Что вам угодно?» Я говорю: «Здравствуй, Федотик! Нешто не признал?» Он бросился мне на шею: «Андрюшенька, Андрюшенька!» — и заперхал стариковским плачем. «Где мои родители, где Коля?» — спросил я не своим голосом. Он перекрестился и, утирая слезы, сказал: «Все они по воле божьей на том свете, Андрюшенька: и барин с барыней, богоданные родители твои, и родной твой братец Коленька». У меня закружилась голова, едва я не упал с лавки. Старик подал мне квасу и, видя, что я пришел в чувство, стал рассказывать о Коле, погибшем на почтовой станции под Нижним. «А мамашенька ваша, говорит, как узнала, что Коленька скончался на чужбине, да и от тебя-то не толикой весточки нет, тронулась умом да в незадолге, сердешная, и преставилась». Ну а с папенькой моим, со слов Федотика,

было так. Наш сосед, помещик Янов, пьяница и скандалист на всю губернию. А капитал у него отменный. Вот этот самый Янов, охотясь со своей псарней за зайцами, собственноручно выдрал нагайкой бедного помещика-одногодворца за то, вишь, что тот не снял пред ним шапки. Мой отец этому злодейству очевидцем был, научил одногодворца подать в суд, а сам пошел в свидетели. Любил отец правду, почасту встречал он за обиженных. Янова суд оправдал, все судьи были им подкуплены, а отца этот самый Янов с тех пор возненавидел и стал искать случая к его погублению. К примеру, обреет полголовы, словно каторжному, какому-либо из своей дворни и велит ему скрытно запереться в бане моего отца. На другой день, по поручению Янова, наедет к отцу полиция: обыск! Ага, укрывать беглых каторжников! Отца в суд. Присудят к отсидке, либо к большому штрафу и на приметину возьмут. Так, в моем отсутствии, было с отцом трижды. Отца уже повезли в острог, да спасла его все та же Проскурякова, крестная моя: взяла его на поруки. А то как-то глубокой осенью приехал этот разбойник Янов со своей шайкой на двадцати подводах, приказал сорвать замок с житницы и весь хлеб, весь урожай, какой там был ссыпан в закрома, увез к себе. Этот разбой происходил днем на глазах у всех. Несчастный родитель мой, когда ему об том сказали, весь затрясся, схватил ружье и в одном халате, по морозу, побежал к своей житнице, да вгорячах и ахнул из ружья в кучу насильников. Кого-то ранил. «Бей его!» — закричал Янов. И отца стали бить. А сердце у него было слабое, не выдержало... не перенесло стыда и боли... отстучалось!..

— Ну, а земля-то за тобой осталась? — спросил Пугачёв. Он сидел насупясь и шумно отдувался, густые усы его шевелились.

— Нет! Какая там земля... — ответил загрустивший от воспоминаний Горбатов. — Отец мой разорился с судами, имение было заложено, и, как не оставалось ни одного наследника, да к тому же и я пропал без вести, пошло имение с молотка, было куплено тем же Яновым. Наша деревенька небольшая, шестьдесят дворов; крестьяне работающие, не пьющие, жили безбедно, имели побочный заработок — мастерили колеса для телег. Отца они уважали, и отец заботился о них. Еще при мне деревня сгорела дотла, отец заложил имение и выстроил им избы. А треклятый Янов начал с того, что всех мужиков насильно переселил в дальнюю Новгородскую губернию на плохую неродимую землю. Такое варварство взъярило наших крестьян, несколько семей в бега ударились.

Оставил новый барин при доме только нашего старика Федотика.

Он примолк.

— Знаешь что, ваше благородие, — сказал Пугачёв. — Ужо-ка я

казачишек спосылаю за этим змеем, пущай сыщут да привезут ко мне, я из него окрошку сделаю!

— Оного помещика уже нет на свете, — убит крестьянами, — отозвался Горбатов, — а наше бывшее поместье в третьих руках... Э, да что там! — прервал он себя и махнул рукою.

— Так, так... Ну, друг, теперь ты для меня как облупленное яичко!

Верю тебе крепко, — оживленно сказал Пугачёв и, помолчав, с некоторой опаской в голосе добавил:

— Вот ты и за государя меня признаешь... — А подметив смущение офицера, торопливо продолжал:

— Глянь-ка, глянь, ваше благородие, зорюшка-то полыхает!

Офицер вскинул голову. Солнце село, волшебная тропинка на воде исчезла. Зато половина небосвода расцветилась оранжевым цветом, густым у западного горизонта, постепенно гаснущим к зениту. Слюдовая гладь воды между Пугачёвской лодкой и закатом, отражая нежное сияние небес, зарделась ровным блеском. Все пространство от земли до неба, от края и до края, наполнилось сумеречной волнующей печалью. Это — последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный далью благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с лугов.

И тут ближе, из-за самой реки, взнялась и поплыла бурлацкая песня:

Матушка Волга, широка и долга.  
Ты нас укачала, ты нас уваляла...  
Эх, нашей-то силушки,  
Нашей силушки не стало!

С надрывом, с жалобным стоном песня то настигала затаившихся в лодке людей, то вдруг куда-то удалялась от них, словно приманивая к себе, в заволжские леса и нивы.

Горбатов чутко внимал самобытной песне, созерцая погасавшую красоту заката. По-иному переживал пышное угасание этого вечера Пугачёв. Уж не казанские ли пожары полыхают над Волгой, не заревом ли от них охватило полнеба? А вот два огненных, невеликих, в шапку, облачка... Уж не дым ли от выстрелов Михельсоновых пушек? А это беспрестанное криканье селезня в камышах — не звуки ли медной трубы горниста Ермилки?

Житель привольного Дона, Пугачёв любил природу и понимал в ней



толк... Но нынче вся душа его потревожена, приплюснута бедами, раздернута, и не до любованья ему закатом... Снова запахло будто бы удушливым порохом, в уши ломятся отзвуки грохота пушек, ржания коней, стоны раненых, а в глаза наплывают призраки: пламя пожарищ, клубы пыли и дыма, блеск сабель, и — бегут, бегут, подобно отарам овец, преследуемых волками, безоружные его скопища... Нет, не до небесных закатов Емельяну Иванычу. А тут еще, как надоедливый комар, зудит и зудит досадливая мысль о соседе Горбатова — помещике Янове: подох, скот, а то вот как бы отыгрался на нем Емельян Иваныч... Впрочем, не в Янове-помещике дело! Всех их, злодеев, не перевешаешь, не угомонишь... Тут, гляди, как бы самому целым остаться...

Вон ведь Михельсонишка-то чего натворил!

## 2

— Двинулись, ваше благородие, пора, — сказал Пугачёв и начал от прикола отвязывать лодку.

В это время к ним подплыла распашная ладья, в ней два рыбака — старик да парень, сеть и много не уснувшей еще рыбы. В носу кучей лежали стерлядки и большой, пуда на два, осетр.

— Здорово-ти живете, удальцы! — поприветствовал Пугачёва с Горбатовым старый рыбак, тормозя веслом лодку.

— Здоров бывай, стар человек, — ответил Пугачёв. — Кто такие?

— А мы, сударик, Лозьевой деревни жители, крепостные крестьяне Табакова господина, рыбаки. Царю-батюшке рыбкой поусердствовать хотим, слых прошел, что здесь он, солнышко наше, а как его найти, не вестно нам, — сказал старик, вопросительно глядя на Пугачёва из-под надвинутой на глаза ветхой шляпки.

— Ну, так поплывем не то с нами, — проговорил Пугачёв. — Мы слуги его величества.

— Ой, робяты, не оставьте нас! — обрадованно улыбнулся в большую волнистую бороду сутулый старик.

Лодки, спарившись, заскользили наискосок реки к берегу.

— Ну, а чего народ-то гуторит о государе? — спросил Пугачёв.

— Давно ждут, мил человек, давно поджидают батюшку. Народишка-т высвобожденья чаёт. Ведаешь, помещики-то с приказными да воеводами всякое нам насильство чинят, кормы от нас берут сверхсильные, податями душат. От этого, мил человек, мир-от и закачался.

Пугачёву эти слова по душе пришлись, он переспросил:

— Так, баешь, закачался мир-от?

— Закачался, мил человек! Как при Разине, шум в народе идёт, — ответил старик. — Мой родитель самовидцем Степана-то Тимофеича был, ну так сказывал мне: запорожцы-то с черкасами пеши да конны берегом Волги шли, а сам Степанушка-то на стругах.

Обе лодки тянулись неторопливо, самосплавом, а встречу им плыли береговые костры, и гул огромной толпы слышался с берега явственней.

— Стенька-т, сказывал родитель, человек многогрешный был, любил погулять, подурить, да и на барскую кровь не скупился, — продолжал старик, затягиваясь из берестяной тавлинки табачными понюшками. — И за грехи его, сказывал родитель, мать сыра земля не приняла, быдто, Стеньку-то, как сказнили его в белокаменной, на Красной на площади. И слых в народе остался, быдто бы он, Степанушка-то, сызнава явится. — На скуластом, сухощекком лице рыбака вновь появилась улыбка. — А вот, замест Стеньки-то, почитай сто годов погодя, сам царь-государь объявился ныне... Только слых идёт, быдто его, батюшку нашего, в Казани-городе генералишки пообидели...

Ну, да горя мало, народ-то, сила-то мужичья, чай, не с генералами! А где народ, там и бог, там и правды истинной крепость! Еще пропущен слых, быдто наследник Павел на помощь батьке-то идёт с превеликим воинством. Поди, и у вас гуторят? Ась?

Пугачёв смолчал, приметно нахмурился, и, как бы разгадав его мысли, подал голос Горбатов:

— Настанет пора, пожалует и наследник. А только народу-то об одном помнить надобно: на царя надейся да и сам не плошай...

— Царь-то, — подхватил Пугачёв, светлея в лице, — без народной силушки — что дуб без корней: вдарит буря — он, глядь, и свалится, дуб-то.

С берега заголосил дозорный:

— Государь, государь! Батюшка плывет!

Люди шарахнулись к берегу. Казаки принялись расчищать в толпе проход к царевой палатке. Пугачёв сказал рыбаку:

— Рыбу у тебя, дедушка, сейчас примут, а ты с мальцом не то в народе побудь, навзадолге и самого государя узришь.

...Пока готовилась стерляжья уха, Пугачёв вел беседу с Дубровским.

— Уразумел ли ты, друг, каков должен быть мой царский манифест к народу?

— Из ваших личных слов, ваше величество, уразумел в полной

мере, — бойко ответил молодой Дубровский. — Само главное, по нуждишкам крестьянским пройтись...

— А коли уразумел, ступай поскорейча, пиши. А как покончишь, вычитку мне сделаешь, да чтоб грамотные казакишки всю ночь напролет оное наше слово множили. Скорей!

К ужину собрались приглашенные командиры: Овчинников, Чумаков, Перфильев, Творогов, Горбатов, Федульев и другие. Вели разговоры о делах народного ополчения. Никто не знал толком, каковы были потери в боях казанских. Не было вовсе командирам известно, что Михельсон переловил около десятка тысяч безоружного крестьянства да старых пленных солдат.

Немалый был урон и среди казаков, и среди горнозаводских, предводительствуемых Белобородовым.

— Шибко жаль уральских работников, вон какой смышленный да отчаянный народ, — сказал Емельян Иваныч.

Потолковав, решил приняться за устройство армии, «во вся тяжкие» мужиков ратному делу обучать. Трудное, прямо-таки маловозможное занятие: ни оружия, ни времени. А ничего не попишешь — надо!

— Пушек да мортиров, господ атаманы, черт ма у нас, — сумрачно сказал Пугачёв. — Последние под Казанью растеряли. Твоя, Чумаков, вина. По шее бы тебя.

— Я свою шею не для чужих кулаков растил, — сдержил Чумаков.

— А для чего ж? Для удавки, что ли? — крикнул Пугачёв, и его рот слегка перекосясь, брови вздернулись.

Чумаков скраснел, рывком накренил к груди голову: широкая, лопатой, борода как бы сломилась надвое. Чтоб замять ненужную перепалку эту, Овчинников громко заговорил:

— Когда мы под Казанью бились, с Камы, вверх по Волге, баржу мимо нас тянули. А в той барже шесть медных пушек с зарядами да немало пороха с ружьями. Пушки сработаны на Воскресенском заводе... И плавают все это оруженье до Рыбинска, а там по Шексне-реке, дальше же на колесах, в Питер.

— Перехватить! — вскричал Пугачёв и пристукнул кулаком по столешнице.

— Взять, говорю, баржу ту!

Овчинников тряхнул густоволосой головой, ухмыльнулся:

— Да уж взяли, батюшка, взяли. Все шесть пушек на лафетах к берегу выкачены.

Пугачёв откинулся, прищурился на атамана и в раздражении крикнул:

— Смеешься ты?

— Правду говорю, — поднял голос Овчинников. — Все дельце спроворили, пока купался ты, батюшка, Петр Федорыч. Не веришь, покличь мастера с Воскресенского завода, Петра Сысоева. Он на барже при пушках спосылыван был, а теперича здесь.

— Добре, добре, — повеселел Пугачёв и крепко, вразмах, обнял Овчинникова.

Позвали Сысоева. Это был высокий, опрятно одетый человек со впалой грудью. Лицо у него сухощекое, скуластое, обрамлено темной бородой.

Глубоко посаженные глаза сильно косили.

— Во! Знакомого бог дает! — вскричал, враз узнав мастера, Пугачёв. — Ну, здорово, Петр Сысоев, здорово, мастер отменный! Садись, друг, да поведай нам, что да как?

Сысоев поклонился, сел и обстоятельно, не торопясь, заговорил:

— Спустя неделю, как ты, царь-государь, удалился от нас, с Воскресенского, нагрянул к нам воинский отряд. Кой-кого похватали, кой-кого кнутьями выдрали, а Якова Антипова в железа заковали, куда-то утащили.

— Ахти беда... Ну, а немец? Отыскался, нет? — спросил Пугачёв.

— Нет, царь-государь, Мюллер как сгинул... Был слух, будто в Екатеринбург он пробрался. Да врут, поди. А что касася пушек, для вашей милости отлитых, так их приказано было доставить до Камы, нагрузить там на баржу и — в Питер.

Сысоев рассказал, что их баржа возле Казани стала в самой середине Волги на якорь — ночь была, ветер, опасались сесть на перекате; а он, мастер, махнул на челне в Казань, с поручением к купцу Крохину, радетелю древлего благочестия. Купец отрядил с ним пять своих молодцов с ружьями да еще приказчика. Приказчик, прибыв на баржу, упросил двух офицеров, дабы те за хорошее вознаграждение приняли к себе на судно молодцов да самый малый груз с товаром, и чтобы тех купецких людей доставили к Нижнему, на Макарьевскую ярмарку.

— Обдурил, значит, офицеров-то? — нетерпеливо спросил Пугачёв, заскакивая мысленно вперед.

— Офицеры деньги, конечно, взяли и на все согласные сделались, а купецкие молодцы с нашими заводскими в пути стакнулись, добыли из купецких тюков бочонок с водкой, потайности ночью споили солдат и ружья у них отобрали. А офицеров, кои вздумали сопротивление оказать, побросали в Волгу...

— Так. А пушки, где пушки? — спросил Пугачёв, приподымаясь.

— А пушки за Волгу перегнали, царь-государь, вместях с баржой. Миша Маленький на берег их выволок, — наморщив деловито лоб, откликнулся Петр Сысоев.

— Как, и Миша здесь? — воскликнул Пугачёв.

— Здеся-ка, здеся-ка, царь-государь, с нами.

— Жалую тебя в есаулы, — взволнованно сказал Пугачёв, вынул из кармана широких шаровар медаль и подал мастеру. — Носи, есаул, в честь награждения за труды, за ловкость, за верность нам — а наипаче — превеликому умыслу нашему... И будь ты, трудник, по праву руку нашу!

Пугачёв был растроган. Велел Овчинникову на барже всех людей одарить деньгами, в знак милости. Затем все направились осматривать драгоценную добычу.

На берегу, укрытом строевым сосновым лесом, к вечеру уже скопилась вблизи царской палатки не одна тысяча народу. Люди прибывали водой и берегом. Пылало множество костров. Шум стоял, говор, крики. Кони всхрапывали, побрехивали вездесущие собачонки. Кто-то истошным голосом взывал на берегу:

— Ванька! Ле-ш-а-ай... Где ты?

Под песчаным невысоким курганом, у костра, артель бурлаков, поужинав ухую, завела складную песню. На кургане стояла телега, на телеге, подмяв под себя сено, притаилась Акулька. Она лежала вверх спиной, опершись локтями о дно телеги и охватив щеки ладонями. Ей давно пора спать, но как же можно пропустить мимо ушей эти бурлацкие, такие складные, такие заунывные песни?!

Бородатый, плешастый дядя зачинал, ватажка подхватывала. Натужив грудь, запевала тянул:

Что на синем славном море Хвалынском  
Сходились мазурушки персидские  
Да низовые бурлаченьки беспашпортные.  
Они думали-гадали думу крепкую:  
«Вот кому из нас, ребяташки, атаманом быть?» -  
«Атаманом быть Степану Тимофеичу!»

Атаман речь возговорил, как в трубу струбил:  
«Не пора ли нам, ребята, со синя моря  
Что на матушку Волгу, на быстру реку...»

Ах, песня... Вот песня! Ну до чего складно, до чего узывисто поют!

Век бы слушать! А тут еще дедушка, степенный такой да приятный, в гусли бурлакам подыгрывает. Струны гудут-гудут, и тренькают, и словно плачут.

Акулька затаила дыхание, у нее тоже просились наружу слезы, только плакать ей хотелось не от грусти-печали, а от злой досады. Она злилась на себя и на дяденек: на себя за то, что ей ни в жизнь длинной такой песни не запомнить и, значит, не повторить её любимому царю-батюшке, а на дяденек — что они вон как голосисто, на всю Волгу, орут: еще, чего доброго, батюшка сам песню-то дослышит, тогда и ее, Акульки, перепев ни к чему государю пресветлому.

Так оно и случилось: долетела эта песня до Емельяна Иваныча, вышел он из палатки на волю, замер один-одинешенек под звездным небом и внимает складному голосу издавна знакомой и оттого вдвойне милой ему песни.

Подошел к нему секретарь Дубровский:

— Вот манифест, ваше величество, согласуемо вашего повеления.

Прикажете за честь?

— Идем в палатку.

Тем временем проворная Акулечка уже успела подкатиться к ватажке бурлаков.

— Ой, дяденьки, ой, миленькие, — засюсюкала она с хитренькой улыбкой.

— Ой, да научите меня этой песне, а я вам свою спою, смеховатенькую.

— Глянь, братцы, девчонка! — оживились бурлаки. И все враз заулыбались.

— Откедова ты в этаким лесу, уж не русалья ли ты дочка? А может, лесная кикимора выродила тебя?

— Ой, полуумные какие, а еще мужики, — с напускной заносчивостью проговорила Акулька. — Я баба, да и то умнее вас.

Бурлаки захохотали: вот так баба — от земли едва видать...

— Глянь, бесенок какой... Хватай ее! — пугающе крикнул бородатый, плешастый запевала и, поймав Акульку, усадил её к себе на колени.

— А давайте-ка из девчонки, ха-ха, похлебку варить! — крикнул толстогубый, в рыжей бороде, лохмач.

— Хм, похлебку, — хмыкнула Акулька и встряхнула простоволосой

головой. — Да за такие паскудные слова царь-государь живо тебя за волосья.

— А откуда он проведает про слова-то мои?

— А я скажу.

— Так и допустят тебя до царя, — откликнулись бурлаки, с любопытными ухмылками поглядывая на девчонку.

— Хм, допустят... Да я, может, царю-батюшке-т кажинный день шаровары да рубахи латаю.

— Ах ты, бабья дочь, теткина племянница! — грохнули бурлаки. — Да нешто ампираторы в латаном ходят?

— А вот и ходють... Пираторы — не знаю, а наш — бережливый. Меня батюшка-т в лесу подобрал, — неожиданно сообщила она. — Я по миру в куски ходила, христарадничала, а он меня, сироту, взял. На его коне я и ехала попервоначалу.

— А не врешь, сопатая? Больно нужны ему сироты!

— А вот и нужны!.. Ненила, стряпуха батюшкина, сказывала: он всех на свете сирот привечает: сиротский царь, говорит, потому что...

Неумолчно болтая, раскрасневшись от явного внимания к себе всей артели, Акулька потянулась к своему узелку, достала из него иглу с ниткой и принялась зашивать бородачу разорванный рукав рубахи.

— Я вас ужо-ужо всех обошью, у меня лоскутьев — во! А кому, так и воши в голове выищу.

— Ой, спасибо тебе, доченька, — перестав смеяться, заговорили бурлаки. — А то, вишь, и впрямь в дороге обносились, при нас баб-то нет.

Кузьма! Дайкось ей заедочку, пряничек.

— Ха! Заедочку... — сморщив нос, сказала Акулька. — Да я кажинный день с пряниками-то щи хлебаю. Не верите, так вот вам! — и, вытащив из своего узелка две заедки, она кинула их в колени Кузьме. — У нас в обозе кажный сосунок с пряниками.

— Сироты все, ай как?

— Всякие! Эвон взять Трошку, парнишка такой, с сестренками, ну-к при них матка. А тятюку ихнего, Омельяном звать, बारे замучали. Да неспроста замучали-то, а зачем он за нашего царя-батюшку вступился... В товарищах он при батюшке ездил, с самого, вишь, с Дона-реки, казак потому што... — пояснила она и так же внезапно, как начала о сиротах, вернулась к песне:

— Ну, так чего же, дяденька, охочи, нет, нашу деревенскую?

Она отерла рукой рот, часто замигала и каким-то птичьим голосом, с прихлюпкой и потешным придыханием, запела:

Как у нас во деревне  
По будням-то дождь-дождь,  
По будням-то дождь-дождь.  
И по праздникам дождь-дождь.

Густой сумрак окутал лес, всю Волгу, лишь цепь костров, поблескивая багрянцем, клубилась дымом. Вдруг справа на кургане, что недалече от костра бурлаков, забил барабан, затрубила труба, и четыре смоляных факела разом осветили вершину кургана. Там, на той самой телеге, где только что лежала Акулька, стоял во весь рост Емельян Иваныч. Он был в парчовом полукафтаны, на голове высокая шапка с красным напуском, при бедре сабля, за поясом два пистолета, в руке медная, начищенная бузиной, зрительная труба.

— Гляньте — царь, сам царь! — закричала, позабыв о песне, Акулька.

Бурлаки ахнули, вскочили, побежали на призыв трубы и барабана. И все несметное людское скопище кругом зашевелилось. Многотысячная толпа, расположившаяся среди сосен, начала сгуживаться и, сминая все на своем пути, бурно устремилась через сутемень к пылавшему в огнях кургану. Старый рыбак с парнем, что приплавили в подарок государю рыбу, попали в костомятку. Толпища, как прорвавшая плотину река, неудержимо хлынула к царю-батюшке. Живым водоворотом она крутилась возле сосен, возле всякого встречного препятствия, подавалась вправо, сваливала влево, откатывала назад, перла напролом вперед.

От растоптанных костров во все стороны летели головешки, трещали опрокинутые телеги, падали сбитые с ног более слабые люди. Всюду неистовый рев, стоны, выкрики: «Легше, легше, дьяволы!..» Старый рыбак, теряя силы, вцепился в своего парня, и они оба отделись живому течению; их, как сухие снопы, много раз перебрасывало с одного места на другое. Наконец людские волны начали униматься, и все скопище подтекло к кургану.

— Детушки! — подал свой зычный голос Пугачёв, зорко осматриваясь по сторонам: вот оно истое, кондовое мужичье царство: широкогрудые, бородатые, багатырь к багатырю, сыны Волги, нив, полей, вековечных лесов ее. — Детушки! Верное мое крестьянство! И вы, люди ратные! Нам божией милостью уповательно завтра с зарей перелазить всюю силою на тот, на правый, берег Волги-матки. А малая часть уже туды и переправилась. И коль скоро мы, оставив Башкирию с землями приуральскими, вступаем в крестьянское царство-государство, то и



положили себе огласить вам, пахарям, бурлакам, лесорубам, рыбакам и прочим, всем трудникам, свой императорский манифест. Прислушайтесь!

Вскинулся одинокий голос, подхваченный в сотни глоток:

— На колени, братцы! На колени!

Народ с глухим шорохом опустился на колени. Возле самой телеги, сложив на груди худенькие руки, приникла на колени и Акулька. А старик-рыбак, пробившись вперед, к самой царской повозке, истово осенял себя крестом и все время, пока оглашали манифест, крестился и всхлипывал.

На телегу, к царю, заскочил ловкий, кудреватый Дубровский, развернул лист бумаги и голосисто начал:

— «Божиею милостью, мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и прочая и прочая...»

Стало слышно, как дышит вокруг взволнованный народ да шелестят под легким ветром ближние осины. Выждав, Дубровский продолжал:

— «Жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короне. И награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей. Такожде награждаем землями, лесами, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем от всех прежде чинимых от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений. Желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни».

Дубровский передохнул, вслушиваясь в незримую жизнь несметной людской громады. И он услышал, как плещется у берега бегущая вода, как взныривает-играет на приплеске рыба, а тут, рядом, пофыркивают голубыми плевочками четыре факела. Невольно он оглянулся на Пугачёва и увидел, как вздымалась волною под парчовым полукафтanjem широкая его грудь, как горели его глаза, устремленные к людям, и тотчас, тайным чутьем почувствовал: то, что хотел и не мог понять и подслушать он, Дубровский, слышал и понимал этот необычный человек в парче.

Встряхнувшись, Дубровский продолжал:

— «А как ныне имя наше властью всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом: кои дворяне в своих поместьях и вотчинах находятся, оных, противников нашей власти, возмутителей и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать. И поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства,

чинили со своими крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века продолжаться будут».

Закончив, он опять оглянулся на Пугачёва и услышал:

— Чти сызнава! Да появственней...

И вновь, смахнув пот со щек, Дубровский звонким, чистым голосом принялся вычитывать то, что было записано им самим, но что уже не принадлежало ему, как перестает принадлежать сеятелю зерно, отданное пашне.

Знаменитому Пугачёвскому секретарю всего больше по душе были заключительные строки о «тишине и спокойной жизни, кои до века продолжаться будут». Для царя и его советников этот день тишины и покоя — лишь присказка к суровой правде о лесах и земле, о податях и помещиках-злодеях. Ну что ж, ведь и добрая присказка нужна страждущим людям, как нужна истомленному путнику на трудной его дороге думка о далекой обетованной стране, где ждет человека сладостный отдых. И не может быть, чтобы сырый народ не понял благостных слов о царстве тишины и покоя.

И, как задушевную песню сердца, как зов к безмятежному будущему, истово, всей грудью, скорее пропел, чем проговорил, Дубровский слова о светлой грядущей жизни, «коя до века продолжаться будет».

Взглянув затем на толпу, он почувствовал, что коленопреклоненный народ до предела насыщен надеждой и ликованием. И у Дубровского вспыхнула мысль, что теперь же, сию же минуту, ему надлежит выразить пред всеми и за всех этот страстный порыв народный. Не помня себя, он вырвал из рук Ермилки багровое в зареве факелов государево знамя и, потрясая им, во всю мочь закричал:

— Да живет вовеки наша правда! Смерть супротивникам нашим!.. Ура, ура, ура-аа тебе, воитель, заступник наш, царь-государь всенародный!

— Ура-а-а батюшке! Урр-а-а! — прынув с колен, заревела единой могучей глоткой толпа — та, что была близко, и та, что тучей залегла средь леса, до самых речных песков.

«А-а-а-а...» — гремучим эхом раскатилось по белесым волжским водам.

И все, кто был тут, позабыв себя, опьяневшие без хмеля, неукротимые в своем порыве, с орущими, разверстыми ртами, с глазами, в которых, казалось, кипела кровь, ринулись к телеге царя, подхватили, подняли ее, как скорлупу широкие волжские волны.

— Стой! Стой! Опрокинете! — вопил царь, топоча и кренясь в телеге

из стороны в сторону, как на палубе в бурю. Он был один теперь со своим знаменем, похожий на мачту под парусом, а вокруг шумные бушевали волны, и вот, со скрипом, с треском закачалось, поплыло сказочное судно нивесть куда.

— Де-е-тушки!.. Черти... дьяволы, опомнись!..

Он кричал в полный голос, взмахивал зажатым в руках знаменем, грозился императорским своим именем, а телега скрипела, трещала, и вот уже вывернулось переднее колесо, хрустнули, посыпались доски в кузове. Телега накренилась, и — Емельян Иваныч очутился в чьих-то любовных, бережных руках.

Дико, будто в страшном сновиденьи, где-то повизгивала Акулька, охал, постанывал зажатый народом бородатый рыбак. Мишка Маленький, Пустобаев и пятеро дюжих казаков пробивались к государю. Но толпа уже качала его: коренастое тело царя летало вверх-вниз, вверх-вниз, вместе с черным градом войлочных шляп, шапок, малахаев, картузов. И торжествующие вопли, и радостные крики «ура, ура» повсюду.

Офицер Горбатов стоял, прижатый к сосне, дрожал в ознобе восторга, заодно со всеми кричал «ура». Он чувствовал себя, как в победной битве, проникая всем существом своим в буйное ликование сердец, не знающих страха. И рядом, плечо к плечу с ним, как свой, как брат по крови, стоял кто-то неведомый, медведеобразный, с глазами, залитыми слезой.

Разгребая плечом дорогу, шумел Овчинников, и, держась за его полу, тащилась за ним, как нитка за иглой, Акулька. Она уже не плакала, она смеялась и что-то бормотала. Заметив у сосны Горбатова, кинулась к нему, схватила за руку, потянула за собой.

— Чу! Батюшкин голос!.. Слышь, слышь?.. Ой, дяденька, ой, миленький, ну и напужалась я... Думала, батюшку-т колотят мужики... — Она лепетала, не выпуская его руку из своей, еще мокрой от слез, и так, вдвоем, они выбрались к реке. Тут было тихо; люди стояли плечо к плечу и, затаив дыхание, слушали заветные царские слова.

Пугачёва в ночном полумраке не было видно, однако голос его звучал повсюду. Услышал его и Горбатов, услышала и Акулька, поднятая офицером на руки.

— Детушки! — выкрикивал Пугачёв горячо и крепко, как всегда в беседах с народом. — Вы таперь ведаете, детушки, мою цареву волю. Только восчувствуйте, что мне одному, без подмоги вашей, ничего сотворить не можно. Один в поле не воин...

— Чуем, отец!.. Поможем, постоим за тебя, батюшка наш! — шумел народ.

— Поможем! Всем миром навалимся!..

— Куда глазом кинешь, и мы за тобой!

И снова голос его, отменный от всех других:

— Ну, так не бросайте меня, детушки! А делайте то, что повелеваю. Мы вознамерились, чтобы в каждом селении, в каждом городе, велик ли, мал ли он, сидело свое выборное начальство — атаманы, сотники, судьи. Отседова и легкость вам доспеется в жизни. И всяк будет равен всякому! — Пугачёв помолчал и снова:

— Слышали, детушки, под Казанью-то погнулись мы, порядка у нас настоящего не было, вот и... — голос его дрогнул, но вслед зазвучал еще сильнее:

— Споткнулись, это верно, а только опять вот на ногах. Как говорится: упал больно, да встал здорово!

В толпе послышались дружные возгласы одобрения.

— А таперь, люди мои верные, уповательно нам, собравшись с силами, на полный штурм двинуться. Не можно терпеть, чтоб земля под барами оставалась, чтоб кровь из мужика всякие мздоимцы сосали. Крепи себе волю, детушки, изничтожай злодеев-помещиков!.. Руби столбы, заборы сами повалятся...

Из-за лесистого крутояра показалась ясная луна. Черная тень опахнула берег. Меж землей и звездами стал разливаться голубоватый свет. По речному широкому раздолью брызнуло огненное серебро, и мокрые весла скользящих по воде челнов блестели, как стеклянные.

Было уже поздно, когда Пугачёв распрощался с народом.

— Дорогу, дорогу государю! — покрикивала стража, расчищая Пугачёву путь. Впереди пер напролом уральский великан Миша Маленький. Умильно улыбаясь, он как бы шутя разводил в стороны руками, но люди слетали с ног, кренились, отскакивали прочь.

Еще долго, до самой зари, толпились на берегу люди, горели костры, ржали кони.

На другой день, едва взошло солнце, началась переправа на тот берег. Зрелище было необычайное. Ничего подобного Волга еще не видала. Поперек её течения шел легкий живой мост, выложенный темневшими над водою человеческими и конскими головами. Мост двигался через Волгу наперекосях, течение сшибало его книзу. Это «перелазили» вплавь казаची

части и небольшие отряды башкирцев, оставшихся верными Пугачёву.

Казачи плавались так: на связанные из жердья легкие «салики» они складывали одежду, ружья, боевые припасы, седла и плыли вперед, держась одной рукой за хвост или гриву коня, а в другой руке у них была лямка от салика.

И все это двигалось лавиной, с фырканием и всхрапыванием лошадей, с людским гамом, смехом, гиканием. Тут же скользили челны и лодки, чтоб в случае нужды подать помощь ослабевшему.

Возле ближайшего села Кокшайского люди и обоз переправлялись через Волгу на пароме. В другом месте сотни набитых людьми челноков и лодок бороздили воду. Бурлаки пригнали четыре купеческих паузка и две емкие баржи. Переправа пошла быстрее.

К обеду на правом берегу уже скопилась не одна тысяча человек. День был невыносимо жаркий, вода — как парное молоко. Множество людей с гоготанием, раскатистым хохотом и визгом принялись купаться. Акулька с Пугачёвскими девчонками барахталась у отмели, учась плавать. Ниже по течению казаки с башкирцами и татарами купали и чистили лошадей. Голые, бронзового цвета, с крепкими мускулами, молодые люди въезжали в воду на лошадиных спинах. Кони подрагивали взмокшей кожей, хватали воду опаленными губами, иные до глаз погружали в воду голову и гулко затем отфыркивались.

Среди конников началась в воде возня, слышались крики, смех.

Какой-то гололобый калмык в шутку накинул сзади петлю на зазевавшегося казака и с силой дернул её в свою сторону. Казак, описав пятками круг в воздухе, слетел с коня и воткнулся головою в воду. Затем он вынырнул, обозленный, стал отплевываться, фыркать.

Весь берег, глядя на казачьи забавы, покатывался со смеху.

Потянуло к воде и Емельяна Иваныча. Сбежав вниз, он прошел направо, в кусты, чтоб быть неприметным народу, снял нарядный чекмень с генеральской лентой и звездой, разделся и кинулся в воду. Поплавал, понырлял один-одинешенек. «А ну-ка, — подумал, — к людям сплаваю; вишь, какой хохот там, — должно, складно врут... А голый и царь — человек. Поди, разбери его!»

Сбросив царский наряд, он враз ощутил в себе свободу, сердце его возликовало: по правде-то молвить, прискучило в царя играть.

Он нырнул и, пройдя под водой порядочное место, выскочил в самой людской гуще.

— Эй, братухи! Ощо борода объявилась, — закричали, смеясь, здоровенные парни. — Давайте и эту бороду топить... — и трое из них, не

узнав Пугачёва, по-озорному полезли на него.

— Еще бабушка надвое сказала, кто кого! — крикнул Емельян Иваныч и, набрав полные легкие воздухом, скрылся под водой.

— Аа-а, испужался, умирнул? — засмеялись парни.

Тут глубина им до подбородка, они из муромских лесов, плавать не умели, твердо стояли на песке. Вдруг один из них, дико вытаращив глаза и взмахнув руками, опрокинулся затылком в воду. Следом за ним забурлили на дно еще двое. Это Емельян Иваныч проделывал свои штучки: он поочередно схватывал под водой парней за ноги, повыше пяток, и сильным рывком опрокидывал на дно. Вот два парня снова выскочили на поверхность, лица у них глупые, осатанелые. Отплевываясь, вздохнув дыша, они вопили:

— Ах, он змей!.. А где Митька-т?

Курносого, с заячьей губой, Митьку Емельян Иваныч несколько попридержал в воде. Но вот вылетел поплавок и Митька. Посиневший, с дикими глазами, он ловил ртом воздух, тряс головой, фыркал и плевался, отхаркивая воду. Эта озорная забава напомнила Пугачёву юные годы, он вынырнул к парням, улыбающийся и счастливый.

— Ах, язва! А и ловко же ты хрещеных топишь, — с хохотом закричали оправившиеся парни, но подступить к нему боялись.

— Это, братцы, суконщик из Суконной слободы. Я его в Казани за приметил, — сказал, придя в сознание, курносый Митька с заячьей губой.

— Ничего не суконщик, — возразил другой. — Татарин это, Балдыхан, маханиной торгует... Хватай бороду! Топи!

Но смеющийся Пугачёв снова скрылся под водой и вынырнул в другом месте, где бултыхались степенные бородачи. Они ни малейшего внимания на него не обратили, возясь меж собою: заскакивали друг другу на плечи, брызгались водой, боролись.

Пугачёв услышал знакомый, приближающийся берегом голос: «Государь!

Где государь?» Против купающихся вырос на берегу Ермилка, протрубил в трубу и опять закричал:

— Государь! Эй, ребята! Нет ли где тут ампиатора?

— Ермилка! Я здесь! — выкрикнул Емельян Иваныч и поднял руку. — Я тут!

Стоявший позади Пугачёва бородач, озлясь, стукнул его по загривку:

— Я те покажу, как государем величаться!

Получив от ретивого бородача затрещину, Емельян Иваныч не захотел

заводить с ним ссору, он нырнул и начал пробираться под водой к кустам, к своей одежде.

Бородачи смеялись. Один из них, весь, как баран, заросший шерстью, проговорил:

— А что, робяты... Мы, голые-то, все государи, ха-ха!..

— Сказал тоже, — встрял бельмастый рябой дядя. — Голым-то всяк родится, да не всяк в цари годится!

Одеваясь в кустах, похихикивая, Емельян Иваныч оценивал случай с подзатыльником. «Гм... Хлестко он по загривку-т мне, мужик-то. А ничего, окромя спасибо, не скажешь... Ведь он за государя своего поусердствовал...

Эх, — вздохнул он, — было бы добро называться мне принародно не Петром Федорычем, а Емельяном Иванычем. Называл же себя своим крещеным имечком Степан Тимофеич Разин...»

Перед ним стоял навытяжку Ермилка, бестолково докладывал:

— Так что прибыл, ваше величество, с казанского трахту гонец с известием.

— С добрым али с худым?

— Да не шибко доброе, ну не шибко худое... Середка на половину вроде.

Впрочем сказать, я толком ни хрена не знаю! — зашлепал Ермилка толстыми губами. — Он Ивану Лександрычу Творогову репортовал, гонец-то...

Атаманом Овчинниковым была налажена крепкая связь с Казанью: начиная от города, через каждые тридцать верст дежурили по два казака. Сведения передавались от пикета к пикету. Нужные вести Пугачёвцы получали от своих «ушей и глаз», оставленных в Казани, а главным образом через купеческого доверенного, которому купец Крохин вменил в обязанность вынюхивать все необходимое, что творится как в губернской канцелярии, так и в Секретной комиссии Потемкина.

Впоследствии Пугачёвцы узнали, что военными действиями и пожаром Казань была приведена в жалкое состояние. Она потеряла убитыми, ранеными, сгоревшими, пропавшими без вести 779 горожан. Из 2900 хозяйств было сожжено и разгромлено 2063 дома. Большинство населения коротало теперь время на Арском поле. Казань опустела. Разбежавшиеся в разные стороны жители начали помаленьку возвращаться на погорелое место. Они не имели пристанища, валялись под открытым небом. Не имелось у жителей ни сена, ни хлеба. Церкви были завалены всякой кладью, пожитками, по свободным уголкам ютились тут люди. На

улицах смрад от тлеющих головешек, от разлагающихся на жаре трупов. Стали развиваться болезни — горячка, лихорадка.

Почти все жители Казани в той или иной степени претерпели несчастье, зато казанский победитель Михельсон со своим отрядом был щедро награжден императрицей. Михельсон произведен в полковники и ему пожаловано 660 душ крестьян с землею. Его офицерам роздано 3146 душ крестьян с землею, а нижним чинам выдано в награду третное жалованье. «Да сверх того, — писала Екатерина Голицыну, — прикажите весь деташемент Михельсона хорошо одеть и обуть на мой счет». Поощренные таким образом отборные михельсоновские солдаты сделались еще более усердными к своей службе и стали преследовать Пугачёва с особым рвением.

Прибывший в Казань граф Меллин соединил свои силы с отрядом Михельсона. Однако люди и лошади у обоих военачальников были чрезмерно измотаны, поэтому о быстром преследовании толп Пугачёва нечего было и думать. Для восстановления в окрестностях хотя бы относительного спокойствия Михельсон направил во все стороны лишь небольшие команды, которые все же успели захватить важных помощников Пугачёва. Так, был схвачен полковник Иван Наумыч Белобородов, татарские сотники Алиев, Махмутов и другие.

Пленные татары показали Михельсону, что, по их сведениям, армия мятежников после переправы разделилась на две части: одна толпа, во главе с Пугачёвым, собирается пойти на Чебоксары и на Нижний, другая — по чувашским селениям и помещичьим усадьбам.

Руководствуясь этими сведениями, губернатор Брант тотчас отрядил нарочных в Нижний Новгород, в Воронеж и Москву с известием об угрожающей центральным губерниям опасности.

Нижегородский губернатор Ступишин немедленно закрыл Макарьевскую ярмарку, всех съехавшихся туда купцов распустил и приказал наблюдать за Керженцем, не волнуются ли там в своих скитах раскольники. Перепуганный Ступишин писал в Москву князю Волконскому: «Несчастье велико в том, что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили и уже без Пугачёва делают разорения, ловят и грабят своих помещиков». Он писал, что у него до смешного мало воинской силы и всего семнадцать малокалиберных пушек. «Дайте мне хотя бы двести человек легких войск, — взывал он. — Ведь я примечания должен иметь на великие тысячи бурлаков, кои на судах к Нижнему приходят».

Главнокомандующий князь Щербатов, не имея известия, что он уже



смещен со своего поста, все еще продолжал сидеть в Оренбурге. Михельсон передал Меллину часть своей команды и отправил его за Волгу для преследования Пугачёвцев, а сам остался в Казани дожидаться какого-либо отряда, «ибо, — доносил он, — весь народ в великом колебании, на моих же руках более 7000 пленных мужиков, кои после присяги хотя и распускаются по домам, но, при отсутствии войск, могут образовать шайки и предаться грабежам».

Взбудораженный опасным положением Казани и её губернии, генерал-майор Потемкин сообщил своему полудержавному родственнику: «Не можно представить себе, до какой крайности весь народ в здешнем краю бунтует, так что вероятия приложить, не видевоное, невозможно. Источником оногo крайнее мздоимство, которое народ разорило и ожесточило...» Главнокомандующему же князю Щербатову, не имея на то никакого права, он писал, в форме приказа, что нужно немедленно идти с воинскими частями в Казань, и заканчивал свое послание так: «Впрочем, вы знаете, князь, что злодей найдет везде шайки, и что он наделает много зла, перейдя Волгу. Я ожидаю ваше сиятельство с крайним нетерпением».

В сущности, князь Щербатов в Оренбурге не бездействовал, но, будучи стеснен недостатком легких войск, он прибегал к полумерам, и то с крайним запозданием. Он приказал Муфелю двигаться к Казани, а князю Голицыну, не останавливаясь в Уфе, тоже идти в Казань. Наконец главнокомандующий сам прибыл в Казань, уже разоренную Пугачёвцами. Первою его заботою было прикрыть Москву от всяких действий мятежников. Он приказал Михельсону идти на фланг Пугачёвской армии и отрезать ей путь к первопрестольной столице.

Михельсон вскоре выступил из Казани и, несмотря на полученное им в пути известие, что Пугачёв повернул на юг, к Царицыну и Курмышу, предписал Меллину не идти прямо по пятам мятежников, а иметь их толпу всегда с левой от себя стороны, то есть препятствовать ей повернуть к Москве.

Михельсон рассчитывал, что Пугачёв в своем движении к югу наткнется на свежие силы Муфеля (до 500 человек), следовавшего с Самарской линии в Казань. В то же время граф Меллин будет наступать на Пугачёвцев слева, а он, Михельсон, угрожать с фланга. Совместными действиями трех отрядов Пугачёв мог быть, по расчетам Михельсона, прижат к Волге и оказаться в безвыходном положении. Соответствующие меры к окружению Пугачёвской армии были предприняты и главнокомандующим.

Но все эти меры и распоряжения сильно запоздали. Емельян Иваныч

не встречал на своем пути ни пришлых войск, ни отпора со стороны местных властей. А потому в течение почти месяца беспрепятственно властвовал он в приволжских губерниях.

## Часть 2.

### Глава 1.

#### Главнокомандующий Пётр Панин. Мир с Турцией. На юг. Курмыш, Алатырь. Суд.

##### 1

Никита Панин не дремал. Как только услышал он оброненную Григорием Потемкиным фразу о «знаменитой особе», тотчас написал об этом брату, а вскоре и сам выехал к нему в подмосковную деревню.

Братья любили друг друга и при встрече прослезились. Время брало свое. Но старший, Никита, выглядел моложе своего брата и был крепче его.

Петр Панин заметно дряхлел, становился тучным, однако жизненного огня было в нем еще довольно.

В беседе Никита сказал:

— Как я уже сообщал тебе, Петр, в виде письменном, фаворит на военном совещании молвил матушке тако: надлежало бы, мол, отправить некую знаменитую особу, вровень с покойным Бибиковым стоящую.

— А и умен этот Гриша одноглазый, ей-ей, умен, — перебил брата Петр, расхаживая с палочкой по горнице.

— Да, охаять его в этих смыслах никак не можно... Человек с принципиями твердыми. И я думаю... — Никита сделал паузу и, уставившись в глаза брата, продолжал:

— И я думаю, что сей знаменитой особой надлежало бы быть никому иному, а тебе.

Петр прищурился на брата, поправил на лысеющей голове голубой колпак с кисточкой, его лицо изобразило ложную гримасу равнодушия, сменившуюся затем выражением властолюбивого тщеславия.

— Что ж, Никита, — сказал он, — я об этом казусе довольно думал.

Но-о-о!..

— Ведь ты пойми, брат, — перебил его Никита под напором обуревающих его мыслей. — Потомки нарекли бы тебя героем, яко благополучно разрешившим сей бедственный народный кризис. И род наш, старинный род Паниных, вознесясь, навеки укрепился бы в истории.

— Да, ты сугубо прав, — высоко вскинув голову, ответил Петр. — Но...

Ты сам ведаешь: матушка на меня зуб имеет и ни за что на свете не отважится создать из меня персону знаменитую. Побойтись! — воскликнул Петр, пристукнув тростью в пол. — Она и Гришки-то одноглазого побаивается, а тут ты меня толкаешь в грансеньоры... Да ведь я царских полномочий себе запрошу.

— Так и надо, так и надо, Петр! Лишь бы ты согласился, а уж там...  
Положись на меня.

— Я согласен... Что ж, ради спасения отечества и пошатнувшегося корпуса дворянского утверждения, я согласен...

Братья снова крепко обнялись и снова прослезились. Петр вдруг почувствовал, что душа его ширится, за плечами как бы вырастают крылья, под ноги подплывает некий пьедестал и вздымает его все выше, выше. Призрак власти реет над ним, захватывает его, зовет на подвиг...

21 июля в Петербурге уже было получено известие о сожжении Казани.

Правительство, в особенности сама императрица, отнеслась к этому известию весьма тревожно: распространение мятежа угрожало не только внутренним губерниям, но даже и Москве.

— Черт возьми! — воскликнула Екатерина. — Все, все, даже Михельсон, не могут угнаться за маркизом Пугачёвым!

— Это ничего, — ответил ей Потемкин, — сие оттого и происходит, что Пугачёв больше не царствует. Он царствовал в Оренбурге, а ныне бежит, как заяц.

Екатерина собрала заседание государственного совета. Она явилась на совет запросто, без пажей, без адъютантов. Открыв заседание, она в своей речи дала общую характеристику восстания, гневно отзывалась о действиях главнокомандующего Щербатова и подчиненных ему лиц. И в конце речи заявила:

— Я весьма и весьма опасаясь за Москву. Пугачёв прокрадывается к первопрестольной, дабы как-нибудь там пакость какую ни на есть наделать — сам собою, фабричными или барскими людьми. А по сему, и ради спасения империи, я намерена сама ехать в Москву и взять на себя все распоряжения к усмирению восстания и ко благу общества клонящиеся! Прошу государственный совет высказать по сему свои суждения.

У нее был столь возбужденный вид и крикливый, какой-то запальчивый голос, что присутствующие сочли нужным, потупив глаза,

отмолчаться. Молчал и Никита Панин. Видя замешательство присутствующих, Екатерине ничего не оставалось, как спросить каждого персонально.

— Скажите, Никита Иваныч, — обратилась она к Панину, — хорошо или дурно я поступаю?

Опасаясь испортить отношения с Екатериной и не теряя надежды возвысить брата до «особы знаменитой», Никита Панин отвечал ей чрезмерно почтительным, даже вкрадчивым голосом:

— Не только не хорошо, ваше величество, но и бедственно в рассуждении целости империи. Она ваша поездка в Москву, увелича вне и внутри империи настоящую опасность, более ежели она есть на самом деле, может ободрить и умножить мятежников и даже повредить дела наши при других дворах. — Считая, что он достаточно запугал императрицу, пожелавшую занять пост «особы знаменитой», Никита Иваныч опустил голову и смолк.

Екатерина прищурила на него глаза и отвернулась. Её поддержал Григорий Потемкин:

— А что ж, а что ж, — сказал он. — Я по сему с Никитой Иванычем не согласен в корне. Поездка вашего величества в Москву навряд ли повредит империи внутри и вне ее.

Был опрошен князь Орлов. Он сидел с презрительным ко всему равнодушием, хмуро косился на Потемкина и, ссылаясь на нездоровье, на плохой сон, извинился, что по сему поводу «никаких идей не имеет».

«Окликанные дураки», — как выражался про них в письме к брату Никита Панин, — бывший гетман Разумовский и Голицын — тоже твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, он вполголоса вымолвил, что самой императрице ехать-де вредно, и сделал вид, что спешит записать имена тех полков, которым к Москве «маршировать вновь повелено».

В общем, поездка императрицы в Москву была отклонена. Государственный совет постановил: послать в первопрестольную два полка конных гусар и казаков да легкую полевую команду с несколькими орудиями; побудить дворянство к набору и содержанию конных эскадронов по примеру казанского дворянства и, наконец, отправить в Казань для командования войсками знаменитую особу с полной мочью.

Кто будет знаменитой сей особой — ни один из многочисленных присутствующих не знал. Гадали на Григория Орлова, на Румянцева, на бывшего гетмана Разумовского, наконец — на самого Потемкина, но ни у кого и в помыслах не было о назначении на пост главнокомандующего

генерала Петра Панина, столь неприятного императрице.

Вот тут-то Никите Панину и пришло время действовать.

В тот же день, после обеда во дворе, он отвел Потемкина в сторону и не без пафоса сказал ему:

— Дорогой друг, Григорий Александрович, сделай мне, старику, божескую милость, исхлопочи у всемилостивейшей, дабы она позволила мне принять на себя тяготы главнокомандующего для прекращения народных бедствий. Не могу терпеть больше... Ночи не сплю!

— Да что ты, Никита Иваныч... Перекрестись! — отступив на шаг и сцепив кисти рук пальцы в пальцы, с немалым изумлением проговорил Потемкин. И тотчас же смекнул: «Ага, сейчас о Петре зачнет, лисица». — Ты человек сугубо не военный, где ж тебе. Да и как мы без тебя здесь останемся? Подумай...

Никита потупился, в смущении погрыз ноготь, глаза его увлажнились. Он сказал:

— Ведь дело становится там час от часу важнейшим и сумнительнейшим.

Ну... в таком разе, ежели не я, то Петр Иваныч Панин мог бы с честью стать на защиту империи. Сей прославленный воин не столь дряхл еще. Да ежели и на носилках довелось бы его нести, он все едино примет на себя ратный подвиг ко спасению отечества. А ведь он бодр душою и телом. Поди, поди, друг, Григорий Александрыч, доложи о сем всемилостивой государыне.

Потемкин сообразил, что братья Панины ищут случая привлечь его на свою сторону. «Ну, что ж, это хорошо. Они, в случае чего, помогут мне бороться с партией Орловых», — подумал он и направился в кабинет Екатерины.

Она только что кончила с Бецким партию в шахматы. Иван Иваныч Бецкий был первый просвещенный аристократ, долго живший в Париже, где познакомился с течениями по части особого воспитания детей, «дабы создать породу людей новых». Екатерина считала Бецкого своим единомышленником и благоволила к нему, этому гибкому, ловкому царедворцу. Прощаясь с Екатериной, он насмешил её французским анекдотом, поцеловал руку и ушел.

Проводив его, Екатерина принялась переключать с письменного стола на шифоньерку новые книги, доставленные из академической лавки, чтоб захватить их в Царское Село.

— Я сейчас уезжаю, Гришенька, — сообщила она вошедшему Потемкину.

— Куда, в Москву?

— Пока в Царское, — с улыбкой ответила она. — Уже лошади заложены.

— Матушка, тебе надлежит быть здесь ежечасно. Сама понимаешь... Хотя бы дня два-три. Послушайся меня, матушка, — он вскинул брови, брякнул в звонок и явившемуся камер-лакею приказал:

— Её величество остаются в Петербурге. Распорядитесь, братец.

Екатерина насупилась, но вслед за сим на её вспыхнувшем лице появилась прощающая улыбка. Влюбленная в Потемкина, она подмечала, что начинает несколько побаиваться его. Однако, видя в нем государственный ум и сильную волю, старалась оберегать свои отношения к нему, как к человеку ей необходимому. Да, Григорий Александрович — не Гришенька Орлов со своей мягкой, словно воск, натурой... Она сказала:

— Ты, Григорий Александрыч, чересчур ретив.

— Матушка, так надо. Да и глянь, какая туча заходит, — промолвил он, осанисто вышагивая к огромному, как дверь, окну, выходившему на Невские просторы.

— Глупости, — бросила Екатерина, — я в карете... — Она тоже подошла к окну и почувствовала себя возле великана в светло-зеленом, расшитом серебром кафтане не более, как подростком-девочкой. Из-за Невы, действительно, вздымалась туча, и на её свинцовом фоне сверкал под солнцем золоченый шпиль Петропавловской крепости.

— Так в чем же дело? — став рядом с Потемкиным и положив ему руку на плечо, спросила Екатерина.

— А вот, — и Потемкин, осторожно повернувшись к ней лицом и с нежностью целуя её руку, доложил ей свой разговор с Никитой Паниным.

— Что, Петра? Главнокомандующим?! — отступив от Потемкина и зажимая пальцами уши, воскликнула Екатерина. — Нет-нет-нет!.. Не слушаю, не слушаю.

— А все же выслушай, матушка. — И Потемкин усадил её против себя в кресло.

— Это невозможно, невозможно! — отмахиваясь руками и потряхивая головой, противилась Екатерина. — Это ж мой персональный оскорбитель!..

— Матушка, обстоятельства требуют от тебя жертвы. Сложи гнев на милость.

— Но ведь он враг мой, враг! — вновь воскликнула она, пристукнув маленьким кулачком по своей коленке.

— Матушка, — спокойно возразил Потемкин. — Ежели он враг, то... в

первую голову враг Пугачёву, а потом уж тебе.

Этот мудрый ответ заставил Екатерину призадуматься... Да! Григорий Александрыч, как всегда, прав. Петр Панин, конечно же, будет прежде всего защищать интересы дворянского корпуса и этим самым утверждать неколебимые устои государства. Но у нее по сему поводу другое основательное опасение, бросающее в душевный трепет. Ей достаточно известно властолюбие обоих братьев Паниных и их всегдашняя приверженность к наследнику престола Павлу. И вот сама судьба, попустительством ее, Екатерины, дает им, братьям, в руки страшную доподлинную силу: войска и власть. Нет, нет, этого невозможно допустить!..

И она, вновь вся загоревшись, с азартом принялась атаковать Потемкина:

— Ты только вдумайся, Гришенька. Господин граф Никита Панин из брата своего тщится сделать повелителя с беспредельной властью в лучшей части империи, в Московской, Нижегородской, Воронежской, Казанской и Оренбургской губерниях а *sous entendu* есть и прочия. Ведь в таком разе не токмо князь Волконский будет огорчен и смещен, но и я сама нималейше не сбережена, а пред всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя превыше всех в империи хвалю и возвышаю... Что ты на сие скажешь? — Сердце Екатерины усиленно билось, грудь дышала прерывисто, она поджала губы и уставилась в лицо Потемкина, она ожидала от своего друга возражений и приготовилась к самозащите. Но ощущение своей пред ним малодушной робости сбивало её с твердых позиций обороны. Ах, как неприятно, как мучительно сознание собственной слабости...

Потемкин, заложив ногу за ногу, обхватив руками коленку и скосив глаза, внимательно рассматривал изящную пряжку своей туфли, осыпанную бирюзой и гранатами. Он повернул к Екатерине голову и на басовых нотах сказал спокойно:

— На сие ответственую, матушка, тако: ни огромной военной силы, ни безграничной власти у Петра Панина но будет. Не будет! Царем он никогда себя не возомнит, а тебя, матушка, мы сберегчи да оборонить завсегда сумеем... Уж поверь, всеблагая. В этом смысле и указ заготовить прикажи.

Ну, так скликать сюда Никиту-то? Он ждет не дождется.

— А это нужно?

— А как ты полагаешь? — повелительным тоном сказал он.

— Зови.

Переборов себя, она милостиво кивнула вошедшему Панину, усадила



его в кресло, деланно заулыбалась и, не дав ему открыть рта, обрушила на него каскад приятных слов и восклицаний:

— Я очень, очень растрогана вашим патриотическим поступком, Никита Иваныч! А что касается Петра Иваныча, то клянусь вам всем святым, что я никогда не умаляла доверенности к сему славному герою. Более того, совершенно я уверена, что никто лучше его любезное отечество наше не спасет. Передайте Петру Иванычу мой полный к нему респект и что я в оно время с прискорбием его от службы отпустила. А ныне я с чувствительной радостью слышу, Никита Иваныч, что ваш знаменитый брат не отречется в сем бедственном случае служить нам и нашему отечеству.

Потемкин, стоя у окна, наблюдал происходившую беседу. Он с удивлением прислушивался к словам Екатерины, его брови скакали вверх и вниз, губы складывались в язвительную улыбку.

Никита Панин, пораженный столь быстрым и благоприятным решением «жребия» брата, припал на одно колено и, склонив непокорную голову, поцеловал руку императрицы.

— Итак, положась на промысл божий, будем, Никита Иваныч, действовать.

— Будем действовать, ваше величество! — взволнованно откликнулся Панин, вспомнив с острой болью в сердце насильственную смерть шлиссельбургского узника и ту же фразу о «промысле божьем», произнесенную тогда императрицей.

За окнами хлынул дождь, ослепительно сверкнула молния, резко ударил трескучий громовой раскат. Екатерина вздрогнула, приказала задернуть на окнах драпировки, отошла в дальний угол комнаты.

Граф Никита Панин, не мешкая, отправил в Москву к брату гонца — гвардии поручика Самойлова, родного племянника Потемкина. Панин посылал письмо, Потемкин давал словесное поручение племяннику — убеждать Петра Иваныча, чтобы он «просил государыню всеподданнейшим отзывом о желании его служить и быть полезным государству для укрощения беспокойств».

На другой день, 23 июля, было получено донесение фельдмаршала Румянцева о заключении так называемого Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Мир был подписан 10 июля на довольно выгодных для России

условиях. Черноморские портовые города: Азов, Керчь, Еникале и Киндури, а также важнейшие торговые пути — устья рек Дона, Буга, Днестра и Керченский пролив переходили во владение России. Русские купцы получали особое покровительство со стороны турецких властей при плавании купеческой торговой флотилии как по Черному морю, так и вообще по морским путям Турции. Кроме того, Турция выплачивала России 4 500 000 рублей контрибуции в золотой монете.

Таким образом для русской торговли с иноземными рынками как хлебом, так и прочими земледельческими товарами открывались широчайшие возможности. И эти новые ворота чрез Черное море на Запад были прорублены победоносной русской армией, геройски сражавшейся в течение семи лет под начальством прославленных полководцев Румянцева, Суворова, Панина, Потемкина, Каменского и прочих. Им и всему российскому народу — честь, слава и вечная благодарность потомков!

Сам Потемкин да и некоторые вельможи о славном победителе графе Румянцеве отзывались так:

— Фельдмаршал — один из людей, кои в долгих веках счетны.

Английский министр иностранных дел писал посланнику Георга III в Петербург:

«Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы России в торговом отношении. Я разумею плавание по турецким морям. Если взглянуть на карту, очевидно, что Россия может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданельскому проливу, предоставленному её купеческим кораблям. Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное количество кораблей, но это ничуть не помешает торговле русских северных портов...»

Правительство торжествовало. Императрица считала «день сей счастливейшим днем в своей жизни, ибо мир был заключен на таких превосходных условиях, которых ни Петр Великий, ни императрица Анна за всеми трудами получить не могли».

«Теперь, — писала Екатерина в Казань Павлу Потемкину, — осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни единой минуты».

Потемкин отвечал ей превыспренным посланием: «Сей мир не одну только славу оружия возвышает, но перед целым светом доказывает премудрость монархини державы российской и великость её духа. Когда страшная война с Турцией разделила силы российского оружия, объемля

круг от Кавказских гор до Белого моря, тогда Европа чаяла видѣть Россию на краю падения.

Премудрые учреждения вашего величества и высокие предприятия явили всем державам, что может сделать государыня, имея дух столь великий.

Совершенный с Турцией мир возвысил славу пресветлого вашего имени, укротил надменность завидующих держав, обрадовал народ и преподает ближайšie средства к искоренению внутреннего врага. Имея ныне более свободы к истреблению его, уповать должно, что сие скоро кончится. Дело великого духа вашего величества, чтоб наказать неблагодарный народ и миловать врагов своих».

(Екатерина так и поступила: она оказала милость своему врагу Петру Панину и дала ему право «неблагодарный народ» наказывать.) В интимной беседе Григорий Александрыч говорил Екатерине:

— Ну, матушка Катенька, теперь плавай на здоровье. Ныне тебе не страшны ни Пугачѣв, ни Панин, ни кто-либо тре-е-тий! — подчеркнуто произнес он, вскинув мясистую руку и погрозив пальцем.

Екатерина поняла, что под словом «третий» надо разуметь великого князя Павла с его партией. Глаза еѣ увлажнились, она взглянула на Потемкина с чувством глубочайшей благодарности.

— Гришенька, — сказала она. — Я хочу знать о процветании нашей внешней торговли, чтобы связно доложили мне и, елико возможно, обширно.

Пригласи для этой цели, пожалуй, кого-либо из Вольного Экономического общества, ну того же Сиверса, буде он еще не уехал.

С верхов Петропавловской крепости 24 июля загрохотал салют в 101 выстрел. Начались торжества, длившиеся трое суток. Вся Россия особым манифестом была оповещена о благоприятном мире с Турцией. В глухих углах обширнейшей России, где давным-давно забыли про войну, встретили известие о мире как нечто неожиданное, а в иных отдаленных трущобах впервые услышали, что когда-то началась война с «неверными» и что она закончилась.

Многочисленные пленные турки партиями отправлялись к себе на родину по завоеванному Россией Черному морю. Те из них, что кой-где сражались совместно с гарнизонами против Пугачѣва, получили награждение. Некоторые, приняв русское подданство и поженившись на деревенских девках, пожелали навсегда остаться в новом отечестве.

Засим правительство поспешно открыло энергичные действия против Пугачѣва.

На усмирение восстания решено было отправить генерал-поручика Суворова. Семь конных и пеших полков, квартировавших в Новгороде, Воронеже и других городах, получили приказ немедленно двигаться к Москве, причем сильный воинский отряд должен был занять Касимов, как пункт, из которого удобно действовать на Москву и Нижний Новгород. Московское дворянство приступило к формированию боевого корпуса.

В это время в самой Москве и окрестностях её было неспокойно. Простой люд — рабочие, фабричные, крестьяне, многочисленная дворня, а отчасти ремесленники и мещанство — вели себя развязно и с полицией задирчиво.

Нередко между дворовыми людьми и их господами происходили несогласия. На рынках, по площадям, тупичкам и улицам народ гуртовался в толпы. Шли шепотки, а иногда и крамольный разговор в открытую. Имя царя-батюшки, освободителя, было желанным предметом шумных бесед в трактирах, обжорках и на воздухе. С полицией и будочниками случались кровавые схватки. Иногда в толпе появлялось оружие. За последний месяц было схвачено несколько «Пугачёвских агентов». После допроса с пристрастием их вешали во дворе тюремного замка.

Достаточной воинской силы для борьбы с начавшимся народным движением у князя Волконского до сих пор не было. Но с заключением мира с Турцией в Москву уже начали прибывать войска, и обстоятельства резко изменились в благоприятную для правительства сторону.

Волконский всю площадь пред своим домом уставил орудиями, усилил разъезды по городу, приказал полиции зорко следить за сборищами.

25 июля он объявил московским департаментам правительствующего сената, что Пугачёв двинулся на Курмыш и намерен сделать покушение на Москву. Сенат постановил, чтобы все денежные суммы городов Московской губернии немедленно были отправлены в первопрестольную и чтоб сведения о движении самозванца были сообщаемы сенату ежедневно с нарочным. Сенат призывал к самозащите как дворян, так и торговый люд с мещанами.

Провинциальные канцелярии в свою очередь просили Волконского прислать им воинские силы, порох, ружья и орудия.

Нижегородский губернатор сообщил Волконскому, что мятежники уже вступили в его губернию и разделились на две части: одна направилась к селу Лыскову, другая — к Мурашкину, то и другое село в восьмидесяти верстах от Нижнего. Губернатор просил у Волконского помощи. Волконский послал в Нижний двести человек донских казаков, а также сформировал отряд из двух конных полков под начальством генерал-

майора Чорбы, приказав ему охранять подступы к Москве.

Екатерина почти ежедневно писала Волконскому, диктуя ему те или иные указания. Волконский на одно из таких писем отвечал: «Здесь за раскольниками недреманым оком чрез полицию смотрю, но еще никакого подозрения не вижу. Впрочем, всемилостивая государыня, здесь все стало тихо, и страх у слабых духом начал уменьшаться».

Наоборот, Петр Панин смотрел на видимое спокойствие Москвы по-иному.

Ему было выгодно представить состояние дел в самых мрачных красках, чтоб получить более обширные полномочия и, таким образом, увеличить в будущем свои заслуги. Он писал своему брату, что «весь род всего дворянства терзаются внутренне и обливаются слезами, ожидая себе жребия, случившегося в Казани. Видя огромный город обнаженным от войск, не знают, что делать, куда отправлять свои семейства...» «Прошу тебя припасть, вместо меня, к ногам государыни, омыть их слезами благодарности за возобновление доверенности и уверить ее, что никто в ненарушимой моей верности и усердия собственно к её величеству и к отечеству не превосходил и не превзойдет, потому что я не притворством, а существом службы на оное готов был и есмь всегда посвящать мой живот».

В тот же день, кривя, казалось бы, неподкупной душой, он писал к своему вчерашнему врагу — Екатерине:

«Повелевайте; всемилостивая государыня, и употребляйте в сем случае всеподданнейшего и верного раба своего по вашей благоугодности. Я теперь, мысленно пав только к стопам вашим с орошением слез, приношу мою всенижайшую благодарность за всемилостивейшее меня к тому избрание и дерзаю всеподданнейше испрашивать той полной ко мне императорской доверенности и власти, в снабжениях и пособиях, которых требует настоящее положение сего важного дела и столь далеко распространившегося весьма несчастливого приключения».

Екатерина читала письмо с неприятным волнением. Она кусала кривившиеся губы, глаза то победоносно улыбались от сознания, что её враг унижен, то в её взоре отражались огоньки истинного страха за себя, когда она видела, что этот опасный человек настойчиво добивается для своей персоны неограниченных прав. Она еще и еще раз вчитывалась во фразу:

«дерзаю всеподданнейше испрашивать полной ко мне императорской доверенности и власти...» — и лицо её покрывалось розоватыми пятнами.

Петр Панин в дальнейших строках этого письма «всеподданнейше испрашивал», чтобы ему были подчинены не только войска, но все

гражданское население, правительственные учреждения, судебные места, городские управления, и чтобы над всем подчиненным ему населением он имел власть *жизни и смерти*; чтоб он мог по своему произволу и усмотрению распоряжаться всеми войсками, находящимися внутри империи и пр. А сверх того Панин просил об отпуске ему достаточной суммы денег, но не ассигнациями, а золотом и серебром.

Дивясь тому, что «враль и её персональный оскорбитель» столь резко переменил свои отношения к ней, императрица старалась объяснить это изменчивостью человеческой природы и превратностью мира вообще. Она продолжала страшиться Петра Панина, как своего замаскировавшегося врага, но тем не менее, уступая навязчивости его брата и помня изречение Потемкина — «он прежде всего враг Пугачёву, а потом уж и тебе», императрица в конце концов решила назначить графа Петра Панина главнокомандующим. Причем, советуясь с Потемкиным, она подчинила ему только те войска, которые уже были определены для прекращения смуты или находились на театре действий, а также возложила на него право верховодить гражданским управлением лишь трех губерний: Казанской, Нижегородской и Оренбургской. Она отказалась подчинить ему Секретные комиссии и не дала полного права «жизни и смерти». Напротив, зная понаслышке черты жестокости в характере Петра Панина по отношению к «черни», Екатерина в рескрипте от 29 июля 1774 года с тайным, вероятно, двоедушием писала ему:

«Намерение наше в поручении вам от нас сего государственного дела не в том одном долженствует состоять, чтоб поражать, преследовать и истреблять злодеев, оружие против нас и верховной нашей власти восприявших, но паче в том, чтоб поелику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающихся, возвращать их на путь исправления, чрез истребление мглы, души их помрачавшей».

Отвергнув притязания Петра Панина на полноту власти, императрица ограничила его будущую деятельность определенными рамками закона. Подобное действие Екатерины сильно омрачило обоих братьев Паниных. Особенно не понравилось это главнокомандующему, и в его душе снова закипела злоба к порфиноносной немке.

Под команду генерала Петра Панина начали поступать воинские силы. Волконский передал ему отряд генерала Чорбы в 3162 человека при восьми орудиях. Остальные войска подходили к Москве или сосредоточивались в местностях, охваченных восстанием. Так, в Оренбурге, кроме крепостного гарнизона, стояли три легкие полевые команды Долгорукого; на полпути от Оренбурга по Ново-Московской

дороге и в Бугульме находились отряды Юшкова и Кожина. В Башкирии, по реке Белой, от Уфы к Оренбургу, действовал отряд полковника Шепелева. Верхне-Яицкую линию защищал генерал-майор Фрейман.

Уфа была прикрыта отрядом полковника Рылеева. Были защищены войсками города Мензелинск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург. Крупный корпус Деколонга прикрывал Сибирскую линию. После переправы Пугачёва за Волгу генерал Мансуров, оставив Яицкий городок, двинулся к Сызрани.

Преследование Пугачёва возлагалось на Михельсона, Меллина и Муфеля. Сверх того были двинуты полки из Крыма, из-за Дона и с Кубани.

Итак, в распоряжении главнокомандующего находились и еще должны были поступать громадные силы. Екатерина писала ему: «Противу воров столько наряжено войска, что едва ли не страшна таковая армия и соседям была».

На самом деле, на поле действия к концу июля уже находились восемь полков пехоты, девять легких полевых команд, восемнадцать гарнизонных батальонов, восемь полков регулярной кавалерии, четыре донских полка, полк малороссийских казаков и другие более мелкие части.

Таким образом против Емельяна Пугачёва, под конец его деятельности, была выставлена целая армия.

### 3

Народная громада снова была разбита на полки, на сотни. В основу мужицких полков вошли те крестьяне, которые примкнули к Пугачёву еще до Казани и уцелели после трех казанских поражений. Формированием армии были по горло заняты все Пугачёвские военачальники. Особливым же рвением отличались офицер Горбатов, атаман Овчинников и сам Емельян Иваныч. Но все это теперь делалось на ходу, спешно и не так, как нужно бы. Некоторые молодцы купца Крохина, пожелавшие остаться с Пугачёвым, а также казанские суконщики, были причислены к полку заводских работных людей, и команду над ними, вместо плененного Белобородова, принял на себя, по вынужденному приказу Пугачёва («на безрыбье — рак рыба!»), полковник Творогов. В этот полк определились есаулами бывший секретарь Белобородова разбитной парень Верхоланцев и вновь приставший к «батюшке» литейный мастер Воскресенского завода Петр Сысоев.

Пред отправлением армии в поход к Емельяну Иванычу приступили

старшины Яицкого войска.

— Ваше величество, батюшка, — сказали они. — Долго ль нам еще путаться зря, да проливать человеческую кровь? На наш смысл, приспело вам время, ваше величество, на Москву идти и принять престол.

Пугачёв обещал своим приспешникам исполнить и принять их желание. И вот вскоре народная громада двинулась по направлению к Москве в расчете пройти через Нижний Новгород. Однако дело повернулось по-иному. Отойдя от Волги пятнадцать верст, Пугачёв повстречал чувашей, толпа коих, соединившись с народной армией, поведала ему, что Нижний сильно укреплен, что в городе много войска, а из Свияжска движется отряд правительственных войск.

На военном совещании, в присутствии старшин яицкого казачества, после долгих споров было решено от похода на Нижний и Москву отказаться. Пугачёв собрал в круг всех яицких казаков, которых осталось в армии не многим более четырехсот человек, и с хитринкой объявил им:

— Детушки! Вы чрез своих начальников звали меня на Москву. Ну, так потерпите, детушки, еще не пришло мое императорское время. Яблочко созреет, — само упадет. Вот втапору и царь-колокол подыдем и из царь-пушки вдарим по супротивнице моей Катьке. Тогда я и без вашего зова поведу вас на Москву. Теперь же, усоветовавшись с атаманами, я божьей милостью вознамерился идти на Дон, там меня знают и примут с радостью.

Казаки поневоле с «батюшкой» согласились.

И вот армия двинулась на юг, к Цивильску. Крестьянский манифест, в сотнях списков, далеко опередил армию. Пугачёвские люди развозили царскую грамоту по деревням, а там — сами мужики распространяли её от селения к селению. Крестьянство Чебоксарского, Козьмодемьянского и других смежных уездов, подогреваемое словами манифеста, восстало почти поголовно. Начался разгром поместий. Чуваша, вотяки, вооружившись копьями и стрелами, открыто говорили, что ждут «бачку-государя», как родного отца. Народ гуртовался в толпы, шел либо к Пугачёву, либо расплылся по уезду и начинал действовать самостоятельно. Помещики и все начальство разбежались. Оставшееся без администрации население за разъяснением разных бытовых вопросов обращалось к Пугачёву. Так, бурмистр и староста села Алферьева, Алатырского уезда, писали государю: «Ныне у нас имеется господский хлеб, лошади и скот, и что вы об оном, государь, изволите приказать? В вотчине нашей много таких, которые и пропитания у себя не имеют и просят милосердия у вас, великого государя, чтоб повелено было из господского хлеба нам дать на пропитание и осемениться» — и т. д. Таких



прошений подавалось Пугачёву множество, но они, в большинстве случаев, оставались без ответа, так как Военной коллегии при армии больше не существовало и армия двигалась вперед «скорым поспешанием».

Не задерживаясь в Цивильске и переменяя под артиллерию свежих лошадей, Пугачёвцы направились к Курмышу. В дороге Пугачёв узнал, что лежащий на пути городок Ядрин хорошо укреплен и приготовился к обороне.

— А пускай его готовится, — сказал Пугачёв, — нам недосуг воробьев ловить, ежели мы медведя брать идем.

И Ядрин был оставлен в стороне.

Утром 20 июля Пугачёв подходил к Курмышу. Чернь в сопровождении духовенства встретила его на берегу реки Суры. Пугачёв приказал прочесть манифест, жителей привести к присяге. Пугачёвцы забрали из воеводской канцелярии тесаки, ружья, порох инвалидной команды, а также казенные деньги. Вино было выпущено на землю, соль безденежно роздана крестьянам и чувашам. Были повешены два майора, дворянка и канцелярист. Пугачёв взял шестьдесят человек добровольно записавшихся в казаки и, пробыв в Курмыше всего пять часов, двинулся к Алатырю.

Узнав о приближении Пугачёва, жившие в городе дворяне собрались в провинциальной канцелярии на совещание. Решили: ежели в «злодейской толпе» не более пятисот человек — защищаться, в противном случае выйти навстречу с хлебом-солью. Прапорщик инвалидной команды Сюльдяшев доложил, что по его сведениям в Пугачёвской толпе более двух тысяч народу.

— Ну, стало быть — надо лататы задавать, — сказал воевода Белокопытов.

В тот же день все дворяне и лица начальствующие во главе с воеводой из города скрылись.

Возле храма на соборной площади возникла большая толпа. Проходивший Сюльдяшев спросил жителей о причине их скопища.

— Советуемся, как спасти жизнь свою, — отвечали люди. — Начальство сбежало, оружия у нас нет, противиться нечем. Мы согласились встретить незваных гостей с хлебом-солью.

В двух верстах от города армия остановилась лагерем. Здесь встретили Пугачёва духовенство, монахи Троицкого монастыря, купечество и прочие горожане. Тут же был и прапорщик Сюльдяшев. Обычный молебен, обычное целование руки, и Пугачёв, оставив лагерь на попечение Горбатова, в окружении свиты, духовенства и народа, под колокольный трезвон, поспешил в Алатырь. После молебна в соборе он поехал

осматривать старинный, времен Ивана Грозного город, побывал в воеводском доме, найденные под колокольней деньги велел раздать народу, заехал к прапорщику Сюльдяшеву, выпил там со своими сподвижниками очищенной водки — пеннику — и приказал бургомистру раздать народу соль бесплатно, а также немедленно выпустить из тюрьмы колодников.

Вскоре нахлынула из лагеря Пугачёвская толпа, народ бросился из купеческих, «ренсковых погребов» выкатывать бочки с вином. Началась гульба, веселые песни, скандальчики и драки. Среди гуляк озабоченно шмыгала взад-вперед девочка Акулечка. «Ой, дяденьки, не пейте шибко много винища-то, ой, миленькие, не деритесь... А-то батюшка дознается, худо будет», — то здесь, то там слышался её заботливый голос. Она подавала пьяницам оброненные в драке шапки, замывала разбитые носы, либо, с детской наивностью и противоречия самой себе, где-нибудь под окном выпрашивала гулякам солёной прикусочки.

Заметив шум и беспорядки в городе, Емельян Иваныч приказал Перфильеву бочки рубить, вино выпустить. Казаки отгоняли крестьян от вина плетками, иногда трепали за бороды. Да вообще и раньше во все времена восстания казаки относились к мужикам с высокомерием. Крестьян это обижало, они пробовали жаловаться на казаков по начальству, но отношения между сторонами не улучшались. А подобных жалоб до самого Пугачёва не доходило.

После третьей чарки Емельян Иваныч вдруг с гневом спросил гостеприимного Сюльдяшева:

— Ты что, подрядился, что ли, за воеводу остаться в городе? Вот я первого тебя велю сказнить.

Сюльдяшев опустил на колени и сказал:

— Я, ваше величество, человек шибко маленький и, не взирая, что двадцать пять лет служу, чин имею мелкий... Так где ж мне за воеводу наниматься!

— Ну, ладно. Я тебя жалую полковником и ставлю воеводой. Рад ли?

— Не могу служить, ваше величество, за болезнями и ранами.

— Ничего! Я и сам в болезнях и обраненный... А вот собери-ка ты из жителей в мою армию добровольцев.

— Ваше величество, сие уже сделано! До двухсот человек и двадцать гарнизонных солдат изъявили согласие послужить вам верою и правдою.

— Ништо, ништо, ладно, — ответил довольный Пугачёв.

Затем все поехали в воеводский дом, во дворе которого ожидали «батюшку» прибывшие со всего уезда еще три дня тому назад делегации крестьян. Они привезли на подводах схваченных в поместьях дворян,

управителей, бурмистров, приказчиков на государев суд. Народ бежал за царем, кричал «ура». Давилин швырял в толпу медные пятаки.

Проезжая по улицам, Пугачёв заметил Акульку: припав возле пруда на колени, девчонка старательно отмывала грязь с чьего-то сапога. А две пары сапог, смазанных дегтем, сушились на солнце. Тут же на бережку, закинув руки за голову, храпели три краснорожих воина.

Пугачёв приостановился, позвал идущего пьяным шагом молодого казака с подбитым глазом, спросил его:

— Где твой конь?

— В лагере, ваше величество.

— Как ты попал сюда, по чьему вызову? (Казак молчал, опустив взор в землю.) Кто тебе блямбу под глазом посадил?

— Самовольно упал, ваше величество, — виновато моргая, прогугнил казак и вновь потупился.

— А как падал, так на чей-то кулак, видать, наткнулся?.. Давилин!

Арестовать казака. На гауптвахту!

Затем, скликая бородача из своего конвоя, велел ему:

— Домчи-ка ты, Гаврилов, девочку Акулечку до лагеря. Нечего ей здесь околачиваться да пьяницам сапоги мыть.

Девчонка, находившаяся по ту сторону пруда, поднялась и не знала, бежать ли ей к батюшке или продолжать работу. Пугачёв погрозил ей пальцем и поехал дальше.

Обширный воеводский двор был огражден с трех сторон надворными постройками, тут же стояли длинная, приземистая воеводская изба (канцелярия) и «каталажка» с небольшим за железной решеткой оконцем.

В глубине двора на столбах с перекладинами вздымались две петли. На одну из виселиц налетели воробьи, пошумели, покричали, посердились, что людишки мешают им спуститься к свежему лошадиному помету, и, нахохлившись, упорхнули прочь. Тут же стояло несколько телег — оглобли вверх, лошади хрумкали свежее сено, крестьянство и дворня, прибывшие со всего уезда, поджидали выхода батюшки-царя. В каталаге отчаянные крики, визг, плач, стоны. А когда появился из воеводского дома Пугачёв, за железной решеткой все сразу смолкло, народ же закричал «ура», полетели вверх шапки.

Пугачёв сел на обитое сафьяном богатое кресло, поставленное на

площадке каменного крыльца. На ступеньках и по бокам кресла разместились казаки — сабли наголо, сзади — свита.

Крестьян было множество. Иные забрались на крыши, на деревья. В ожидании чего-то необычного, страшного — у всех напряженные лица, кругом полная тишина.

Пугачёв вынул белый платок, взмахнул им, приказал:

— Ведите.

Из каталажки и сарайчика начали выводить дворян, помещиков, управителей, приказчиков — с женщинами и детьми. Выводили долго, всех их около сотни человек. Некоторые шли бодро, иные упрямылись, их подталкивали, либо волокли за шиворот. У большинства связаны руки. Их взоры сначала искали Пугачёва, затем останавливались на виселицах. Ту же возле виселиц была плаха и врубленный в нее, блестящий на заходящем солнце, отточенный топор. При виде всего этого ожидающие себе суда содрогались, лица их бледнели, женщины впадали в ужас, хватались за голову, подымали вопль и стоны, валились на колени, простирали к Пугачёву руки, без умолку кричали:

— Пощадите! Мы не виноваты! Пощадите нас!

Крестьяне, привезшие своих господ на суд, старались, наперекор им, перекричать дворянок и орали на них кто во что горазд. А казаки, поставленные для порядка, насакивали на тех и на других с нагайками, во всю мочь горланили:

— Замолчь! Замолчь! Что вы, дьяволы, как белены объелись!

Ермилка затрубил в рожок, возле виселиц ударил барабан. Пугачёв взмахнул платком и — снова тишина. Но все кругом было, как пред грозой, напряжение усугублялось, душевная настроенность крестьянской толпы быстро накаливалась. Чувствовалась в народе назревшая жажда мщения, а в кучке приведенных на суд — обреченность.

Внимание Пугачёва привлекал некий суетившийся мужичок. Одетый в суконную поддевку и хорошие, видимо, господские сапоги, он был невысок, сутул и сухощав, бороденка реденькая, на голове войлочная шляпа грибом. Он перебегал с места на место, что-то быстро-быстро бормотал, размахивал руками, встряхивал головой, грозил дворянам кулаком, то одного, то другого крестьянина ласково, с улыбочкой, прищлепывал по плечу ладошкой. Он напоминал собою Митьку Лысова и был Пугачёву неприятен. Да и мужики недружелюбно сторонились от него.

И еще Пугачёв заметил стоявшего среди дворян высокого, осанистого человека. С седыми всклокоченными волосами, надменно сложив руки на груди, он стоял неподвижно, подобно каменному изваянию.

Неделю тому назад он был схвачен крестьянами в своем поместье. «Я предводитель дворянства! — прикрикнул он тогда на мужиков. — И не смей мне руки вязать!»

И вот снова ударил барабан. Начался суд. Крестьяне выхватывали из господской толпы того или иного человека, оглашали его вины, не давали ему выговорить слова, требовали казни. Пугачёв против воли крестьян не шел, торопливо взмахивал платком, приговоренного уводили. Так было казнено шестеро мужчин, немало в своей жизни проливших слез и крови мужичьей.

К судьбам женщин Пугачёв относился более бережно. Когда крестьяне старались обвиновать какую-либо помещицу, Пугачёв, подозревая, что не в горячах ли они это делают, спрашивал:

— Неужели столь шибко барынька согрубляла вам?

— Заодно с барином была, батюшка! — в один голос кричали мужики.

— Может, она когда и добро вам делала, и заступалась за вас пред мужем-то своим.

— Нет, заодно они: змей да змеиха!

Пугачёв дергал уголком рта, будто у него болел зуб, и взмахивал платком. Ванька Бурнов подавал палачам команду. Получив чин хорунжего, он при казнях только распорядился. Под его началом были калмык и сеитовский татарин — оба в красных рубахах.

Непрерывный шум, крики, вопли, перебранка висели в воздухе.

Вот вытолкнули из толпы высокую, худощавую, в белом роброне женщину.

Черноволосая, с большими глазами, обведенными глубокими тенями, она взглянула на Пугачёва умоляюще, затем склонила на грудь голову и уже все время безучастно стояла, не шелохнувшись, с опущенными вдоль тела тонкими руками. Эта странная покорность тронула Пугачёва. Её муж — толстенький, на коротких ножках помещик, был только что повешен. И толпа крепостных его крестьян кричала:

— Туда же и барыню!

— Какие особливые вины на ней? — громко спросил Пугачёв.

Тогда крестьяне начали выкрикивать её проступки перед ними. В этих выкриках Емельян Иваныч не усмотрел единодушия, а в проступках барыни чего-либо особо черного, злостного, и он шепнул Перфильеву: «Отправить её в лагерь и велишь, чтоб там выдали ей пропускной билет да отпустили на все четыре стороны». А обратясь к женщине, закричал:

— Тебя, злодейку, я сейчас казнить не стану, а велю в свой лагерь отвести, да там допрос сниму! В моей императорской канцелярии,

детушки, на нее есть бумага. Она не простая смутьянка, а государственная. Атаман Перфильев, возьми ее!

Перфильев поспешил исполнить приказание, атаман же Овчинников, слышавший скрытные слова Пугачёва к Перфильеву, покосился неодобрительно на «батюшку», сердито прикрикнул.

Никто из малолетних детей и даже из пришедших в юный возраст казнен не был. Да мужики и не требовали этого: «Знамо дело, ребята ни в чем не виноваты». Тут же Пугачёвым приказано было осиротевших малолеток раздать по «справным» мужикам.

Вдруг возник во дворе шум, крик, неразбериха. Похожий на Митьку Лысова мужичок в суконной поддевке схватил за шиворот щуплого помещика с седыми длинными усами, свалил его наземь, пронзительно заорал:

— Вот, батюшка, твое величество, он, подлюга, вашу милость всячески ругал, крестьян мытарил, в Сибирь угонял!

— Врешь! — закричали мужики. — Чего врешь, Зук? Наш барин добрый, до нас милостивый... Кого хошь, спроси!..

— Ах, милостивый! — продолжал орать юркий мужичонка, наскакивая с кулаками на крестьян. — А кто старика садовника насмерть плетью засек?

— Ты, вот кто! — загалдели мужики, отшвыривая от себя бесновавшегося Зуйка. — Ты барский бурмистр, тебе старик садовник яблоков воровать не давал. Ты нас мытарил-то, а не барин. Царь батюшка! Он кровопиец наш, даром что мужик. А старика барина слобони, желаем жить с ним, он нам половину самолучшей земли еще в третьем годе нарезал!

Пугачёв кивнул Ермилке. Тот подал сигнал в рожок. Стало тихо. Пугачёв приказал:

— Бубнов! Помещика освободить, Зуйка повесить.

— Спа-си-и-бо! — гаркнули крестьяне. — По справедливости, побожецки!..

Пугачёв видел, что пред ним стоят не самосильные богатые помещики, не верхи, а низы, не генералы, а капралы. Он понимал, что и наперед так будет, что все князья, «графья» и богатейшие дворяне давным-давно из своих барских гнезд сбежали — осталась мелкая рыбешка — окуньки с плотвой.

Пугачёв почувствовал душевную усталость, томительное ощущение тоски. Во рту пересохло, ломило затылок, подергивалось правое веко. Он уже подумывал посадить вместо себя Овчинникова — пускай судит, а

самому ехать в лагерь.

Вот разве этого еще... вон того, что на манер каменного статуя стоит дубом. Должно, какой-нибудь помещик знатный. Ну, и гренадер!..

— Подведите-ка его поближе, — приказал Емельян Иваныч. — Вот того, высокого...

Огромный человек в генеральском поношенном кафтане со звездой и взлохмаченными седыми волосами все так же продолжал стоять, скрестив руки на груди и закусив нижнюю губу. Его придвинули к крыльцу. Он был от Пугачёва в десяти шагах и глядел в лицо его ненавистно и пронзительно.

Пугачёв передернул плечами и спросил барина:

— Кто ты?

— Предводитель дворянства Сипягин, генерал-майор в отставке, — гулким голосом ответил тот и, откинув голову, выкрикнул:

— А ты государственный преступник! Ты самозванец, похитивший имя покойного государя Петра Федорыча! Изменник ты престолу и отечеству!

— Кто, я самозванец? Я изменник? — с немало открытым удивлением воскликнул Пугачёв, впиваясь руками в поручни заскрипевшего кресла.

И тотчас поднялась шумная сумятица. Взвинченная толпа, заполнившая воеводский двор, разом прынула к помещику Сипягину и обрушилась на него неистовыми криками. Идорка, посланный Овчинниковым, бросился умирять толпу.

— Батюшка-т изменник? Ха-ха! — хохотали крестьяне. — Ты сам изменник, боров гладкий!

— Для вас, дворян, может, он и изменник. А для крестьянства отец родной!

— Темные вы, кроты слепые! — плеснул в кипевшую толпу, как масла в огонь, предводитель дворянства. — За кем идёте? За бродягой!

Тут возле самого Сипягина вынырнул Идорка; лицо его было свирепо, рот кривился, борода хохолком тряслась. А какой-то низкорослый мужичок в лаптях и в зипунишке с низко опущенной талией, скорготнув зубами, вприскок ударил помещика в висок. Тот чуть покачнулся и вновь окаменел.

Идорка, держа наготове сверкнувший под солнцем нож, воззрился на бабку-осударя. Пугачёв погрозил ему пальцем. Идорка, ссутулясь, снова нырнул в толпу.

— Детушки! — крикнул Пугачёв, но его зычный зов потонул в поднявшемся содоме. Горнист проиграл в рожок, ударил барабан, крики лопнули, настала тишина, только похрюкивали запертые в хлеву поросята,

да шмель гудел, вился над Пугачёвым.

— Детушки! — опять раздался наполненный внутренним ликованием голос государя. — Вот дворянский предводитель обзывает меня самозванцем да изменником. Я бы загнул ему словечко, да, чаю, вы лучше с ним перемолвитесь.

— Заспокойся, отец наш, мы сами...

И вновь закрутился голосистый вихрь, град, гром. Улица и переулок возле воеводского дома были запружены огромным людским скопищем. Во двор никого более не впускали. Любопытные лезли на заборы, деревья, даже умудрялись забраться на крышу жилища воеводы. Какой-то беспоясый, пьяный бородач, держась за печную трубу, пронзительно кричал с крыши: «Бей их, захребетников!.. Бей, бей, не жалей!»

Ближайшие к Сипягину крестьяне, из его крепостных и дворни, встопорщились, как пред медведем лайки; беснуясь, они насакивали на него, плевались в его сторону, потрясали кулаками. А он, осыпанный проклятиями, все так же невозмутимо стоял, окаменевший. Вот подкултыхал к нему старый солдат на деревяшке, что-то зашамкал, ударяя себя в грудь и пристукивая в землю липовой ногой. Черноволая баба сорвала с головы платок, стегнула им барина, как плетью, завопила: «Суди тебя бог, только что кровопивец ты, кровопивец!» Сутулый, широкоплечий дядя, растолкав толпу локтями, заорал на Сипягина хриплым и страшным, как рев зверя, голосом. Он сжимал кулаки, взмахивал руками, затем, повернувшись в сторону «батюшки», отбивал ему поклон, касаясь земли концами пальцев, и, снова обратясь к барину, продолжал со свирепостью пушить его. Из-за сильного шума до Пугачёва долетели только разрозненные фразы:

— Ха! Дворянский предводитель... В болото... В болото нас загнал!

Хлеб не родит... Две деревни на заводы продал... На Урал-гору. А батюшка, царь-государь — наш кровный, сукин ты сын!

— Ваше величество!.. Ваше величество!.. — надрывался в крике солдат на деревяшке. — Прикажите вздернуть его!

— Смерть, смерть ему!.. — заорала вся толпа.

И лишь только на момент примолкли все, ожидая знака государя, совершенно спокойный внешне предводитель, с ненавистью ткнув по направлению к Пугачёву каменной рукой, гулко заголосил:

— Лжец он, ваш Емелька Пугачёв!

Тут мгновенно появившийся Идорка поразил его ударом кривого ножа в грудь... Затем, уже мертвого, крестьяне подволокли барина к плахе с топором.



Всего за этот день казнено было немало. Большинство — помещики-дворяне, остальные — управители государственных селений и господских вотчин, а также бурмистры, старосты, приказчики.

Когда Пугачёв возвратился в лагерь, к нему приступила артель крестьян с угнетенным выражением на бородатых лицах.

— Батюшка, царь-государь, — сказали они, кланяясь. — К твоей царской милости мы, с просьбицей. Леску бы нам малую толику надо, вишь ты — погорели мы.

— Каким побытом беда стряслась? — передавая коня Ермилке, спросил Пугачёв. — И велико ль селение ваше?

— А мы, вишь ты, барский сарай ночью подожгли, а ветер-то, чтоб ему, на нас поворотил, на нас, батюшка, на деревеньку. Ну и пошли пластать избенки наши. Пятьдесят три двора — как корова языком: пых — и нету!

Дозволь, кормилец, леску-то твоего взять, строиться ладим. Ох-ти беда...

Уважь мужикам-то...

Пугачёв подумал, почесал за ухом, прошелся с опущенной головой возле своей палатки. Затем выпрямился и велел позвать Петра Сысоева да Мишу Маленького. А крестьянам сказал:

— Сей минут будет вам мое царское решенье. Где деревня ваша?

— А как побежишь к Саранску-городу, тут тебе и деревня — Красноселье, барина штык-юнкера Кочедыжникова... Барина-т мы, вишь ты, повесили своим судом... Ох, и лют был!

На рысях прибежал усердный Петр Сысоев, торопливо пришагал Миша Маленький с девочкой Акулечкой. Она сидела у него на руке, как белка на лапе у медведя, улыбочиво поблескивая шустрыми глазами на мужиков, на «батюшку». С Мишей она в приятельских отношениях, с ним да еще с отцом Иваном.

— Петр Сысоич! — обратился Пугачёв к мастеру. — Отбери-ка ты сколько нужно плотников да лесорубов, этак человек с тыщенку, особливо которые со струментом... пилы, топоры... Да кстати прихвати с собой Мишу, он пособит грузности таскать...

— Это мы можем, — сказал парень-великан, спуская с рук Акульку.

— Да что рубить-то там, ваше величество? — спросил Сысоев.

— Что, что... Этакий ты недогадливый какой, — сказал Пугачёв. — Деревню строить, вот что... — и, обратясь к Мише:

— Ну и дылда ты... Тебя бы в Кенигсберге на ярмарке показывать.

— Это мы можем, — повторил Миша и заулыбался во все свое голоусое лицо.

А крестьяне враз повалились на колени и запричитали:

— Батюшка, свет ты наш!.. Неужто деревню, своей царской силой?

Пугачёв отмахнулся рукой, сказал мастеру:

— Ну, так поторапливайся, Петр Сысоич. Да чтобы избы-то покраще были, а печи-то чтоб с трубами...

— Да ведь кирпичу-то нет, поди, ваше величество.

— Есть кирпич! — закричали мужики. — Барин каменный дом ладил строить. Кирпичу сколь хошь...

Мастер Сысоев тем же вечером выступил с огромной толпой плотников в поход.

А на следующий день рано поутру Емельян Пугачёв, похлебав кислого кваску с тертой редькой, хреном и толченым луком, направился в поле, где военачальники и яицкие казаки муштровали крестьян, обучая их ратному делу.

Все занимались весело, с усердием, с шуткой-прибауткой. Люди сотнями бегали с ружьями, с пиками на штурм, учились прятаться по оврагам, за пни, за бугры от картечных выстрелов, скакали на лошадях, привыкали колоть пиками, рубиться тесаками. Чумаков орудовал с толпой у пушек. Творогов с грамотными казаками приводил в порядок амуницию, составлял списки конного крестьянства. Дубровский с Верхоланцевым строчили манифесты, указы, пропускные ярлыки. Уральские мастеровые чинили ружья, пистолеты, оттачивали шашки, сабли, острили пики, подковывали лошадей.

Овчинников и Перфильев формировали малые летучие отряды по пять, по десять человек яицких казаков, уральских работников и расторопных мужиков.

Снабдив эти «летучки» манифестами и всем необходимым, Овчинников, по указанию Пугачёва, направлял их по окольным и дальним местностям, вплоть до Смоленской губернии, наказывая всюду «бросать в солому искру», повсеместно подымать народ именем Петра Федорыча Третьего.

Горбатов обучал крестьян стрельбе из ружей. По совету склонного к выдумкам Емельяна Иваныча, он выдавал за каждый удачный выстрел чарку водки, а ежели стрелок «промажет» — пей вместо водки ковш воды.

И вот подъезжает «батюшка». Все сняли шапки, низко поклонились. Он глянул на ведро с вином, улыбнулся: ведро было целехонько; глянул на шайку — воды там оставалось немного.

— Как винцо-то?! Вкусно ли? — прищуривая правый глаз, спросил Пугачёв.

— Да еще не пробовали, батюшка! — виновато засмеялись мужики. — Оно замороженное... Водичкой утробы-то накачиваем. А она с горчинкой, не столь с ружья палим, сколь от нее в кусты сигаем, вот она, водичка-то, какая душевредная!

— Дозволь-кось, господин полковник, мне, — сказал конопатый босой дядя, за его ременным поясом заткнуты кисет и трубка. — Душа горит!

— Да у тебя руки-то ходят ходуном... — заметил черный кудрявый парень.

— Ладно, ладно, пущай ходят. Вбьякаю чик-в-чик! А то стыднехонько будет при батюшке-т, не промигаться бы.

Он приложился, расшарашил ноги, ружье в его руках качалось.

— Отставить! — скомандовал Горбатов и, подойдя к нему вплотную, принялся еще раз обучать его нужным приемам. — Понял?

— Боле половины. Да оторвись моя башка, ежели промахнусь. — Дядя торопливо прицелился, грянул выстрел: промазал. Услужливые руки подали ему ковш с водой:

— На-ка, прохладись!.. Угорел, поди? — Конопатый выпил воду с омерзением, швырнул на землю ковш и сплюнул, с боязнью посмотрев на батюшку. — Дозволь еще пальнуть.

— Не давай, не давай!.. Этак он всю воду выпьет! — засмеялись в толпе.

— И верно, — сказал конопатый, направляясь с проворностью в кусты. — Уж пятый ковш... Опучило...

По двум мишеням стреляли еще с десятков, и тоже неудачно. В широкий щит из досок попадали, а в круг утрафить не могли. Шайка усыхала, побежали за водой к ручью.

— Ружье с изъяном, стволина косая, фальшивит. Им только из-за угла стрелять, — брюзжали неудачники.

— Эх, что-то винца выпить захотелось, — подмигнув стрельцам, сказал Пугачёв и соскочил с коня. — Ну-ка, ваше благородие, заряди косю-то стволину.

Горбатов подал ему заряженное ружье. Пугачёв осмотрел его, вскинул к щеке, прицелился и выстрелил.

— Попал, попал! — закричали глазастые. — Попал, царь-государь, попал!

В самую тютельку...

Толпа, как зачарованная, широко распахнула на батюшку восхищенные

глаза. Затем загремело многогрудое «ура, ура», и полетели вверх шапки.

— Вот, детушки, видали, как из косой стволины стрелять? — передавая ружье Горбатову, молвил Пугачёв и принял из рук подавалы чарку. — Ну, здравствуйте, детушки!

— Пей во здравие, отец наш! — загорланили стрельцы.

Пугачёв перекрестился, выпил, провел ладонью по густым усам, а пустую чарку для показу, что все выпито, опрокинул над своей головой. Горбатову же прошептал:

— У тебя мишень, кажись, на двести шагов, так переставь, друг мой, на полтораста. — Затем вскочил в седло и поехал дальше, провожаемый долго несмолкаемыми криками.

## Глава 2.

### Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятение.

#### 1

Пугачёв пробыл в Алатыре двое суток. Это был первый отдых на правом берегу Волги. Из множества прибывших на государеву службу крестьян он взял только конных, а пешим объявил:

— Детушки, я походом тороплюсь! Не угнаться вам за конниками-то моими. Уж вы, как ни то, расходитесь по лесам да по оврагам, а как встренутся катерининские отряды, крушите их. А дворян да помещиков ловите и доставляйте ко мне на судбище.

Пешие, не принятые в армию, разбивались на партизанские партии, выбирали себе вожаков, растекались по окрестностям, разоряли помещичьи гнезда, а зачастую и вступали в схватку с правительственными отрядами, давая тем самым возможность Пугачёву более спокойно продвигаться к югу.

Пред отъездом из Алатыря у Емельяна Иваныча произошла в его палатке передряга с атаманами. Переобуваясь в путь, он спросил Перфильева:

— Выполнено ли касаето пожилой дворянки, кою я помиловал? Отпущена ли?

Переглянувшись с товарищами, Перфильев молвил:

— Отпущена, ваше величество... Как приказал ты, так и сделано.

Горбоносый, долговязый Овчинников, покручивая кудрявую, как

овечья шерсть, бороду, вздохнув, сказал:

— Казаки закололи барыню в дороге, Петр Федорыч.

После разгрома под Татищевой, после трех неудачных сражений под Казанью, Овчинников с Чумаковым перестали титуловать своего повелителя «величеством», а называли его попросту Петр Федорыч, как в былое время называл Пугачёва близкий друг его Максим Григорьев Шигаев.

Пугачёв отбросил снятый с ноги сапог и, ни на кого не глядя, крикнул:

— Как это так — закололи? По чьему приказу?

— По своему хотенью, батюшка, — нахмурившись, ответил Овчинников.

— Не вместно, Петр Федорыч, — встрял в разговор большебородый Чумаков, — не вместно, мол, народу да казачеству с дворянами возюкаться.

Вот и прикончили барыньку.

— Так-то приказ мой выполняется?! — гаркнул раздраженно Пугачёв. — Значит, дисциплинку-то по боку?.. Этак вы всю армию развалите!

— Да ты, батюшка, не гайкай... Слава богу, слышим, — прыгающим голосом проговорил бровастый, испитой, со втянутыми щеками Федульев, татарского склада глаза у него острые, злые, с огоньком.

Пугачёв сдвинул брови, запыхтел. Чумаков, потряхивая бородой, сказал крикливо:

— Мы не хотим на свете жить, чтоб ты наших злодеев, кои нас разоряли, с собой возил да привечал...

— Истинная правда! А нет, так мы тебе и служить не будем! — выкрикнул Федульев и закашлялся.

Стало тихо. Атаманы почувствовали себя возле Пугачёва, как возле бочки с порохом.

— Благодарствую, — сказал Пугачёв с горечью, меж его бровей врубилась складка, глаза горели. — Кто же это не хочет мне служить? Уж не ты ли, Чумаков? Не ты ли, Федульев? Может, ты, Творогов? Ну, так знайте. Ежели я только перстом на вас народу покажу, народ вас, согрубителей, в клочья разорвет, в землю втопчет! — Пугачёв вскочил, опрокинул стол со всем, что на нем стояло, и, потряхивая кулаками, завопил:

— Геть из моей палатки!

Чтобы и духу вашего здесь не было...

Чумаков с Федульевым опрометью — к выходу. Пугачёв с ненавистью глядел им вслед.

— Заспокойся, Петр Федорыч, плюнь, — примиряюще сказал Овчинников.

— Это они по глупству, не подумавши, — добавил Перфильев.

— Да ведь, поди, не в первый раз они этак.

Перфильев подал Пугачёву сапог и с усердием начал помогать ему обуваться, как при самом первом свидании с ним там, в Берде. «Этот верный», — подумал про него Емельян Иваныч и стал утихать. Раздувая усы, брюзжал: «Волю какую забрали... Служить, вишь, не станут. А кому служить-то? Неразумные... Ну, идите и вы на покой. Иди, Андрей Афанасьич, и ты, Перфиша. За службу народную спасибо вам».

Дух Пугачёва сугубо помрачался. Над ним все еще висли непроносной тучей воспоминания о битве под Татищевой, его мучал не решенный им самим вопрос — куда идти: на юг ли, на Москву ли... И самое важное — это начавшаяся между ним и его близкими грызня. Он чувствовал, что и атаманами обуревают немалое раздумье, что вряд ли они верят уже в успех дела, что и пред ними один выбор: либо плаха с топором, либо бегство из армии, пока не поздно. И Емельян Иваныч не удивится, ежели узнает, что Федульев или тот же Чумаков скрылись от него, как сделал это изменник и предатель Гришка Бородин. «А ты-то, Емельян, веришь ли в победу?» — «Верю!» — сам себе отвечал он. Силою духа он заковывал себя в панцырь своей веры в сырой народ, веры в судьбу свою, в счастливую звезду, в удачу! И так продолжал жить и действовать.

На пути к Саранску Пугачёв провел бессонную ночь под кровом дубовой рощи. Снова и снова возникал перед ним вопрос: куда идти? Решительно и бесповоротно направиться ли ему на юг, или, пока еще не поздно, повернуть на запад, в сторону Москвы?

Ночь была теплая, лунная. Сияние луны играло на курчавых дубках, отражалось в бегучей воде небольшой речонки, что шла через рощу. Он шел вдоль берега. Лагерь давно спал. На том берегу, в низинке, догорал брошенный костер, блеклыми шапками стояли стога сена, пофыркивая, побрякивая боталами, паслись на отаве стреноженные лошади. И перепела кричали неугомонно.

Пугачёв присел на пень и отдался думам. На Москву или на Дон? Эх, удалился он от Башкирии, башкирцы бросили его, и не стало у Пугачёва могучей конницы. Урал с заводами тоже остался позади: вот и в пушках у Емельяна Иваныча Пугачёва недостача, и в заводских умелых людях немалая нехватка. Да, паскудно, плохо... Однако, ежели пойти чрез Дубовку, чрез сердцевину волжского казачества на Дон, к родным донским

казакам, будет у него и лихая конница и отборное боевое войско. Опрочь того, в попутных городах — Саратове, Царицыне — можно завладеть изрядной артиллерией.

Стало быть, путь на юг даст ему конницу, даст боевую силу, пушки, порох, ядра. «Хорошо-то хорошо, только дюже путь далек», — раздумывает Емельян Иваныч.

Ну, а ежели на Москву свернуть? К первопрестольной-то ближе, и весь путь лежит чрез места, густо населенные крестьянами. А ведь это самое наиглавнейшее: все мужичье царство разом подыметя и пойдет за ним, Пугачёвым. Но тут припоминаются ему разговоры с бывалым людом. На днях прибыли в армию три партии хозяйственных крестьян: одни от земли Московской, другие из Смоленщины, третьи из Тамбовского края, — и все в один голос: «В наших местах скрозь недород, царь-государь, засуха была, с голодухи народишко пропадать учнет». Да и весь пришлый люд в одну трубу трубит: «Ежели и всех бар изведем, все едино барских кормов едва ли до нового хлеба хватит». Вот тут поневоле призадумашься: чем в походе многотысячную армию кормить? Не возропщет ли на государя сидящий в своих селениях мужик: «Мы и сами-то, мол, с хлеба на воду перебиваемся, а ты, мол, батюшка, сколько народу еще с собой приволочил»... Ну, да ведь с голодом как ни то управиться будет можно...

Вторым делом — на Москву тем обольститительно идти, что, толкуют, в дороге множество фабрик да заводов встретится, а на них дружные работные люди проживают... Одначе ежели умом раскинуть, не ахти какая выгода и в этом... Емельян Иваныч припоминает недавние разговоры с знатецами: с людьми торговыми, заводскими мастерами, а также с небогатыми дворянами, передавшимися Пугачёву — отставным поручиком Чевкиным и еще третьим каким-то, все они из Подмосковья. И что же на поверку оказалось?

Оказалось, что, действительно, на пути к Москве фабрик да заводов много, а толку-то в них мало, все они слабосильны, и работного люда на них — кот наплакал. У многих помещиков имеются фабрички суконные, ковровые, фарфоровые, с числом работников от полсотни до трехсот. Вот чугунолитейный завод в Темниковском уезде тульского купца Баташева, чугуна выплавляется там сто тысяч пудов в год, а работников на нем всего-навсего сто двадцать.

Да, да, это тебе не уральские заводы, на коих по три, по пять тысяч человек. Вот это — сила! Там можно было вербовать по полтысячи с завода. А со здешних — ни пушек, ни людей, значит — их и с костей долой...

Третья загвоздка — Москва, по всем статьям, хорошо укреплена: уж ежели зазря полгода под Оренбургом кисли, так как же будет под Москвой?

А самое наиглавнейшее — с московской-то стороны движутся на Пугачёва крупные воинские силы. Намедни был схвачен курьер князя Волконского с грамотой астраханскому губернатору; в бумаге значилось, что против «злодейской вольницы» двинуты пехотные, пришедшие из Турции полки, с конницей, с артиллерией, и что главнокомандующим назначен граф Панин...

Ба! Знакомый генерал... Не приведи черт Емельяну Иванычу встречаться с ним!

Вот какова дорога на Москву... Близок локоть, да поди-ка укуси.

Пугачёв, как рачительный хозяин, в глубоком раздумье сидел над весами собственной судьбы и бросал то на одну, то на другую чашу свои упования и свои сомнения. Да, как ни кинь — все клин. Стало быть, пока что на Москве надобно поставить крест! А там видно будет...

Значит — на Саратов, на Царицын, да Дубовку, на вольный Дон! У Пугачёва и в мыслях не было рассматривать свой торопливый марш к Дону как бегство от грозных надвигавшихся событий. Нет, он считал путь на юг лишь продолжением борьбы в новых, нуждою преуказанных обстоятельствах.

Вы, детушки, не подумайте, что от страха пред царицыными войсками алибо от каверзы какой мы путь переломили... Сам бог и наши попечения о вас преуказывают тако делать.

Он подымет на берегах родного Дона всю казацкую громаду и уж потом, с новыми силами, двинется к сердцу империи... Такова была мечта Емельяна Пугачёва. И как она обольщала большое, беспокойное его сердце, как ему огненно хотелось в нее верить!

На худой же конец, размышлял он, ежели вольное казачество не согласится поддержать его, то ему, Пугачёву, все же будет сподручнее скрыться с донских степей на Кубань, а то и дале куда... Там перезимовать, скопить силу и с весны поднять сызнова восстание.

Приближаясь к Саранску, Емельян Иваныч отправил в город Федора Чумакова с отрядом казаков и с указом воеводе и мирским людям. В указе между прочим писалось, что «...ныне его императорское величество с победоносною армией шествовать изволит чрез Саранск для принятия



всероссийского престола в царствующий град Москву». Посему повелевалось заготовить под артиллерию 12 пар лучших лошадей, а для казачьего войска — хлеба, съестных припасов, фуража, «дабы ни в чем недостатка воспоследовать не могло». Далее предлагалось учинить государю и армии «по должности пристойное встречу с надлежащею церемонией».

Не доезжая до города, Пугачёв вступил в новую, только что из-под топора, деревню. Его встретила тысячная толпа крестьян. Впереди — Петр Сысоев и похудевший, согнувшийся, с усталыми глазами, Миша Маленький.

— Какая деревня? — спросил Пугачёв.

— Она деревня ныне зовется в твою честь — Царская, — ответили ближние крестьяне. — А называлась — Красноселье... Братцы! Вались на колени! Благодарите осударя-благодетеля! — И вся толпа пала в прах, уткнулась лбами в землю.

— Встаньте, трудники! — взмахнул Пугачёв рукою. — Кои здесь тутошние?

— Вот мы, батюшка, здешней деревни жители... В кучке стоим.

— Ну, так не меня благодарите, а вот эту громаду работную! Не было деревни, а вот она — она... Двух суток не прошло.

Пугачёв решил остановиться здесь на краткий роздых. Он слез с коня и пошел осматривать постройки. Большинство изб было закончено. В некоторых из труб валил уже дым. «А ране-то по-черному топились», — пояснили мужики.

Несколько хат подводилось под крыши, две-три только начинали строить.

Возле них собралось плотников впятеро больше, чем надо. Таскали бревна, клали готовые венцы, выводили печи. Пильщики, пристроившись на высоких козлинах, в восемь пар пилили байдак и тес. «Эй, Миша, подмогни бревешко накатить!» Согнувшийся Миша тряс головой, отмахивался руками, показывая на больную поясницу.

— Надорвался, сердяга, на работе-то, — сказал государю Петр Сысоев. — Ну, да ничего, до свадьбы заживет... Бабы-то сомлели, глядя на этакое парнюгу.

— Ну, так ведь... Бабы на такую приваду, поди, как пчелы на липовый цвет летят, — проговорил Емельян Иваныч.

Он отказался идти в помещичий дом, а пошел наскоро «поснедать» в первую попавшуюся избу, шел, пробираясь со своими ближними среди кудрявых, пахнувших сосною стружек и опилок, как по пышному сугробу.

Меж тем отец Иван в сопровождении старика Пустобаева ходили из избы в избу с кратким молебствием. Поп кропил новые жилища «святой водой», которую вместе с кропилом таскала в особом медном сосуде девочка Акулька, подтягивая цыплячьим голоском слова незнакомых ей молитв. Отец Иван еще в Казани приобрел себе исправное облачение и некоторые церковные сосуды. Да и вообще, он начал следить за собой, стал благообразен. Теперь не только простой народ, но даже и некоторые державшиеся православия чопорные яицкие казаки не гнушались подходить к нему под благословение. С Ванькой Бурновым он разругался: тот как-то спьяну непочтительно отозвался о царе-батюшке, мол, «какой он царь, путаник он», — отец Иван сказал тогда ему: «Прощай, брат Ваня. Я никому о твоих речах паскудных не скажу, а жить с тобой не стану!» И после этой размолвки с бывшим другом поп прилепился к Пустобаеву.

За освящение жилищ бабы подавали отцу духовному яички, творог, лепешки, хлеб. Пустобаев это добро совал в мешок. В одной избе баба налила два стакана зелена вина, батя пить отказался, Пустобаев выпил и за себя и за священника. Прожевывая лепешку, он попросил еще налить. Акулька закричала на него: «Дедушка, окстись! Ведь ты молитвы поешь. Грех!»

Пустобаев взглянул на девчонку хмуро, а бабе скомандовал: «Отставить».

Когда Пугачёв вступил в новую избу, старуха со стариком и две молодайки упали батюшке в ноги.

— Встаньте, трудники, — сказал Пугачёв. — Будет кувыраться-то. Я не архирей...

— Ой, жаланный! — поднимаясь, запричитали хозяева. — Кланяться-то мы горазды, а вот молвить не умеем.

— Ничего! Я сердцем чую слово ваше.

Стружками и щепами ярко топилась печь. Пахло сосной и мхом: из тесаных бревен желтоватыми, словно янтарными, слезами сочилась смола.

Гости сели за новый стол. Соседи натащили всякой снеди. Из барских погребов доставили целое беремя бутылок сладкого вина.

— Каково живете-то? — спросил Пугачёв суетившихся хозяев.

— Ой, кормилец, — откликнулась старуха, утирая фартуком глаза, — живем голь-голью. Была коровушка с телушкой, да барин за провинку нашу отнял. И овец, окаянная сила, отнял: вишь, на барщину намеднись о празднике не вышли мы, да оброк уплатить в срок не из чего было... Была и лошадка, ну так на ней Семка наш в твое царское войско укатил. Вот так и живем — кол да перетырка.

— Наказан ли барин-то? — спросил Пугачёв.  
— Повешен, повешен он! — вскричали толпившиеся у двери старики и бабы. — Со всем приплодом его.  
— А поп где ваш? Пошто он не встретил меня, государя своего?  
— А поп в город сбежал, — заговорили возле двери. — А ваш военный священник, отец Иван, кажись, твоей милости двух казаков венчает на скорую руку. За них две наших дворовых девки возжелали.  
— Вот уж это не гожа в нашем скором походе жениться, — недовольным голосом молвил Пугачёв, и обратясь к Творогову:  
— Иван Александрыч, этих двух новых женок допусти, а чтоб впредь баб в армию не брать.  
— Ладно, ваше величество. Будет, как сказал.  
Прощаясь, батюшка подарил старухе две золотые монетки. Та бултыхнулась ему в ноги, заплакала, запричитала:  
— Ой, ягодка боровая!.. Да ведь на эти деньги и коровку и лошадку с телегой можно купить.

Пугачёв подъехал к Саранску 27 июля, в семь часов утра. На реке Инзаре он был торжественно встречен населением и духовенством с крестным ходом. Во главе духовенства стоял представительный с холеной черной бородой архимандрит Петровского монастыря Александр. Он был в полном облачении и в митре. Пугачёв, еще издали заметив его «по шапке с камнями, кабудь золотой», подъехал к нему, приложился к кресту и велел Дубровскому огласить манифест; затем под радостные крики горожан проследовал в собор, где во время ектении произносилось имя Петра Федорыча, Устиньи и наследника с супругой. На молебне участвовал и поп Иван в парчовой ризе. Мочальная борода его расчесана, волосы припомажены.

Но вчера на двух свадьбах он перехватил сладкого господского вина, за молебствием переминался с ноги на ногу, его слегка покачивало.

Подарив духовенству тридцать рублей, Емельян Иваныч с ближними направился в дом вдовы бывшего воеводы, Авдотьи Петровны Каменицкой, на званый обед.

Атаман Перфильев в начале обеда отсутствовал: вместе с воеводским казначеем он принимал в канцелярии казенные считанные деньги. Их оказалось медною монетою 29 148 рублей. Они были погружены на тридцать пять подвод.

Казначей сказал Перфильеву:

— Это что за деньги... А вот вы вдову Каменицкую хорошенько

общите.

У ней сто тысяч серебром да золотом схоронено где-то.

— Да верно ли говоришь, твое благородие? — спросил Перфильев.

— Об этом весь город знает. А я врать не буду, я старый человек.

Муж-то её покойный с живого-мертвого хабару тянул. Да еще к тому же спроворил казенный лес продать, а денежки в карман. А она ему во всем мирволила да помогала. Кого хошь, спроси.

Перфильев явился на обед хмурый. Щербатое, в оспинах, лицо его было сурово. Он подсел к Пугачёву и стал что-то нашептывать ему. Пугачёв ожег хозяйку взором, а как кончился обед, сказал ей:

— Вот что, воеводиха! За то, что хорошо приняла нас, спасибо тебе царское. А вторым делом... ведомо мне, что у тебя сто тысяч денег где-то в земле закопано, так ты сдай оные деньги мне, законному государю своему.

Подвыпившая, покрасневшая бой-баба во время речи Пугачёва стала бледнеть, бледнеть, затем, едва поднявшись с кресла, визгливо закричала, ударяя себя в грудь:

— Нет у меня денег, нет, нет!.. Наврали на меня вороги мои.

Тут двинулся в горницу служивший у стола старый дворовый человек ее, одетый в холщовую ливрею, и, укорчиво потряхивая головой, сказал:

— Ах, барыня, барыня... Грех вам. Вся дворня знает, как ты с дворовым своим Куприяном-стариком закапывала деньги-то. Да та беда, Куприян-то о той же ночи в одночасье умер... Уж не отравила ль ты его?

Воеводиха затряслась, снова налилась вся кровью и, схватив нож, бросилась к слуге:

— Убью, каторжник! Убью, вор!!

Её сзади поймал Перфильев:

— Сдавай деньги в царскую казну!..

Не владевшая собой, пьяная воеводиха, вырываясь от него, орала:

— Ах, вы душегубы! Я их пою-кормлю, а они...

— Повесить! — раздувая ноздри, вскричал Пугачёв.

Вдова тотчас была вздернута на собственных веревках. Толпа местной бедноты притащила на суд «батюшки» своих обидчиков: магистратского подьячего Васильева и купца-свалыгу Гурьева. Подьячего повесили, купца zaseкли плетьюми.

А в это время некоторые Пугачёвские военачальники разъезжали по городским улицам, по «торгу» и по крепости, щедро швыряли в бежавшую за ними толпу медные деньги, на углах останавливались и громогласно зывали:

— Царь батюшка прощает вам как подушные поборы, так и

государственные подати, а также повелевает быть от помещиков вольными! А немилостивых помещиков повелевается государем императором вешать и рубить!

Подвыпившая толпа, состоявшая из городских мещан и наехавших со всего уезда мужиков, низко кланялась бравым всадникам, одетым в праздничные, обшитые позументом чекмени, при медалях.

— Ура, ура! — раздавались крики:

— Спасибо царю-батюшке!.. Вот соли бы нам. Соли, мол, соли!..

Были открыты казенные склады, роздано несколько тысяч пудов соли. Из купеческих наполовину разграбленных лавок и складов выкачены бочки с вином.

Пугачёв осмотрел и взял себе семь годных пушек, три пуда пороха, полтораста ядер.

На другой день явился в стан к Емельяну Иванычу послушник архимандрита Александра с приглашением пожаловать на монашескую трапезу в богоспасаемый Петровский монастырь.

— Благодарствую, прибуду, — ответил Пугачёв. — Сказывали мне, ушницу добрую вы, монахи, горазды сготовлять, да густой квасок варить.

— И то и се всенеуклонно будет, царь-государь. Сверх же сего с гусиными потрохами растегайчики, черносмородинный кисель с ледяным миндальным молоком, выпеченные на соломе сайки, и прочая и прочая, всего восемь перемен. Ну, и всякая, стомаха ради, выпиванция.

— Это что за стомах такой? Впервые слышу.

— А сие слово монастырское. По изъяснению отца Александра, стомах — сиречь по-гречески живот, утроба.

— Ну-ка, передай отцу Александру на обитель. Люб он мне, — и Пугачёв протянул молодому, развязному с веселыми глазами послушнику пятьдесят рублей.

Обед происходил в монастырской трапезной торжественно. Трапезная, похожая своим убранством на церковь, была обширна, каменные столбы и стены расписаны в византийском вкусе. Под потолком небольшое паникадило. У восточной стены иконостас, возле него аналой с переплетенным псалтырем, по нему во время трапезы монастырской братии молодой инок читал во всеуслышанье псалмы. Братия закончила обед час тому назад, пахло кислой капустой, сметками, медом, ладаном.

Гости сидели чинно. Против Пугачёва — представительный чернородый архимандрит Александр, в черном клобуке и мантии, справа и слева от Александра — два седовласых иеромонаха и ключарь, рядом с ключарем — отец Иван. Юные служки в черных подрясниках, перехваченных по тонкой талии ременными поясами, шустро и неслышно взад-вперед мелькали, разнося питье и пищу. Пред началом хором пропели «Отче наш». Пустобаев изумил своим басом архимандрита, и тому мелькнула мысль предложить казаку остаться в монастыре, дабы занять в скором времени место иеродиакона. Но когда, к концу трапезы, Пустобаев напился пьян и стал непотребно ругаться, отец Александр от своего намеренья воздержался, а Пугачёв велел вывести охмелевшего старика на улицу. Зато отец Иван в продолжение обеда выпил только два стакашка «чихирьного» вина и был трезв, как стеклышко. Емельян Иваныч благосклонно кивал ему головой, улыбался.

Подняты были, как водится, здравицы за государя, государыню и наследника с супругой, все шло, как по маслу. Но тут бес искусил отца архимандрита блеснуть своим немалым красноречием. Он был мастер произносить проповеди для монашествующей братии и приходивших богомольцев, убеждая свою паству творить добрые дела, ибо «вера без дел мертва есть».

Архимандрит хотя и не блистал особой подвижнической жизнью, но и никогда не нарушал ни догматических правил, ни монашеского устава, ни строгого монашеского обета.

Чрез многочисленных богомольцев-простолюдинов, стекавшихся в обитель даже с отдаленных губерний, он прекрасно знал о всех жестокостях, ныне производимых крестьянами именем царя-батюшки над своими помещиками и прочими угнетателями народными. А за последнее время в том-же Алатыре суд и расправу над врагами крестьянства чинил сам государь. Да и здесь, в Саранске, уже были и вновь готовятся казни. Архимандрит Александр, приглядываясь к своему гостю, гадал в душе, царь он или не царь, и не мог дать себе крепкого ответа. Ежели он царь, все обойдется благополучно, ежели он самозванец, архимандриту не миновать кары от Синода и от правительства. Поэтому он, архимандрит, решил заготовить себе некую лазейку на тот случай, ежели его призовут и спросят: «Как ты смел принимать в святой обители душегуба и разбойника»? Он тогда ответит: «Того ради, чтоб наставить злодея на путь истинный».

И вот он поднялся, принял от послушника посеребряный посох, молитвенно сложил густые брови, ласково и в то же время с внутренней

твердостью уставился глубоким взором в лицо Пугачёва и, крепко опираясь на посох, начал:

— О, царь благопобедный! (Сидевший на краю стола Дубровский вынул бумажку и записал слово: «благопобедный», — пригодится.) Прими от меня, многогрешного, — продолжал отец Александр, — знаки благодарности за щедрое пожертвование твое на украшение святой обители нашей. Также и прочие цари-христоролюбцы дельвали от времен давних и до днесь, принося лепту свою на храмы божи. («Придётся еще полсотенки подсунуть, — подумал Пугачёв, — красно говорит да и употчивал изрядно».) И аз, грешный, возьму на себя дерзновение напомнить тебе, свете наш, что государи всероссийские бывали характером и делами своими разны суть. Одни, како Алексей Михайлович, тишайше правил народом русским, другие, како Великий Петр, собственноручно рубили корабли и устроили свою державу на иноземный лад, третьи — не корабли, а боярские головы крамольные рубили с плеч, яко Иван Васильевич Грозный. А вот ты, царь благопобедный... — архимандрит отвел свои смутившиеся глаза от Пугачёва и опустил взор в землю, затем, напрягая мысль и как бы готовясь сказать самое важное, он снова вскинул взор на Пугачёва:

— Ты, свете наш, нежданно объявился на Руси образом чудодейственным. Двенадцать лет будто бы и не было тебя, и вот ты, яко паки родившийся, снова присутствуешь своей персоной посреди верноподданных твоих. Да, поистине чудо неизреченное... Токмо не нам, грешным, знать, что сотворяется в нашем греховном мире! — воскликнул архимандрит, сокрушенно потряхивая головой:

— Сказано бо есть: высь земная падает, высь небесная созидается.

— Выхь земная падает — это царицы любодейной трон восколебался, — гукнул в бороду отец Иван и опустил очи.

— И не ведомо нам, — продолжал архимандрит, — по какой стезе совершаешь ты, царь-государь, свое шествие. Но аз, многогрешный, зрю в руке твоей карающий меч и предворяю тебя, великое чадо мое, ибо аз есмь пастырь христовой церкви. — Отец Александр, опираясь на посох, простер правую руку с янтарными четками в сторону Пугачёва и громким голосом, чтоб все слышали и запомнили слова его, сказал:

— Паки и паки реку тебе, о царь благопобедный, не проливай напрасно крови людской, обсемени сердце свое добром и милостью! Не иди тропой царя Грозного, прилепляйся к делам добрым... И тогда...

— Стой, отец Александр! — прервал его Пугачёв, уперев ладони в стол и отбросив назад корпус. Все гости враз насторожились, будто почуя в

словах его боевой призыв. — Ты уж не учи меня и в наши дела не суйся, — продолжал Пугачёв, поднимая свой голос. — Маши кадилом да бей за нас поклоны перед богом. А уж мы не с добром, не с милостью, а с топором да петлей шествуем... Добро опосля само собой придёт.

— Сказано в писании, — закричал отец Иван, вскинув руку и косясь на архимандрита, — сказано:

— я не мир принес на землю, а меч!

— И допреждь нас пробовали, ваше священство, и добрым словом и милостью, — ввязался атаман Овчинников, покручивая кудрявую бороду, — да толку мало: помещик к мужику все равно как волк к овце. Лютого волка добрым словом не проймешь...

— А кого слова не берут, с того шкуру дерут! — прилепнул Пугачёв ладонью по столешнице.

Архимандрит не на шутку испугался: сразу сник, и вся величавость его слиняла. Ему представилась повешенная на воротах воеводиха, у которой вчера пировали его сегодняшние гости.

— Послушать бы мне тебя, отец Александр, — молвил Пугачёв, откидывая со лба волосы, — что ты станешь балакать, когда катерининские генералы, ежели заминка у нас выйдет, за казни примутся. У меня дворянская кровь по каплям исходит, у них мужичья ушатами потечет. Ну, так и милость, чтобы держава моя крепла. На мече — держава моя... Понял?

— Царь благопобедный! — передав посох послушнику и приложив к груди холеные руки, воскликнул архимандрит. Лицо его сложилось в плаксивую гримасу. — С тоской и душевным трепетом помышляю о будущем. И, предчувствуя его, вижу в нем оправдание пути твоего. Путь твой есть путь правды, ибо в святом писании сказано тако: «Вырви из пшеницы плевелы и сожги их, тогда хлебная нива твоя утучнится!»... Нива — это народ, плевелы — это супротивники народные.

— Ну, то-то же, — проговорил Пугачёв. — Вот ты все толкуешь: правда, правда! А ответь-ка мне по правде истинной, как перед богом: за кого меня чтишь? Кто ж есть я?

Архимандрит стоял, а все сидели. Лицо его вдруг побледнело, он с опасением взглянул на двух сидевших возле него иеромонахов и, опустив глаза, тихо, через силу, молвил:

— Вы есмь император Петр Федорович Третий.

В это время раздались за открытыми окнами шумливые крики и топот множества ног по монастырскому, выложенному кирпичом двору.

— Допустите до царя-батюшки! — кричали во дворе. — Он нас



рассудит!

Пугачёв подошел к окну, глянул со второго этажа вниз и видит: большая возбужденная толпа крестьян — пожилых и старых — подступала к закрытой двери, а стоявшие на карауле казаки гнали их прочь. Среди толпы вилялся толстобрюхий монах. Крестьяне хватили его за полы, тянули к двери, он вывертывался, орал: «Прочь, нечестивцы!» Крестьяне, задирая вверх бороды, продолжали взывать: «Эй, допустите до царя!»

— Давилин! — высунувшись из окна, прокричал Пугачёв вниз. — Пусти народ!

И вот, грохая по лестнице каблуками, шаркая лаптями, ввалилась в трапезную толпа, покрестилась, пыхтя, на иконы, отдала глубокий поклон архимандриту и пала Пугачёву в ноги.

— Встаньте, мирянушки! С чем пришли?

— С жалобой, надежа-государь, с жалобой... На монахов, на гладкорожих... Баб да девок... Тово... Жеребцы! Прямо жеребцы стоялые, — раздались со всех сторон голоса.

— Да не галдите разом-то, — прикрикнул на крестьян Овчинников. — Толкуй кто ни то один.

Емельян Иваныч расчесал гребнем бороду, сел в кресло, приготовился слушать. Выступил вперед седобородый крепкий дед с ястребиным носом, с горящими глазами.

— Надеж-государь, эвот чего вчерась содеялось, — начал он, кланяясь Пугачёву. — Ведомо ли тебе, кормилец, что у нас два монастыря? Один вот этот самый, Петровский называется, а другой в пяти верстах отсель, на Инзаре — на реке. Ну тот, правда что, небольшой монастырек...

— Даром что небольшой, — подхватили в толпе, — а монахи молодые, здоровецкие!

— И оба монастыря на заливных лугах покосы имеют, — продолжал старик.

— Покосы у них рядышком. А наш, крестьянский, впритык с монастырским... покос-от.

— Впритык, впритык, батюшка, — снова подхватил народ. — Вот этак ихние покосы, а этак наш.

— На нашем одни девки с молодыми бабами робили, да на придачу — старики, а парни-то да середовичи быдто одурели, все в бунт, в мутню ударились: кои в твою армию вступили, кои по уезду разбрелись помещиков изничтожать...

— Изничтожать, изничтожать лиходеев-бар, согласуемо царского, твоей милости, веленья! — шумел народ.

— И вот слушай, царь-государь! — клюнув ястребиным носом, громко сказал старик и покосился на только что приведенного людьми гладкого монаха, стоявшего поодаль. — И как заря вечерняя потухла да стала падать сутемень, бабы с девками домой пошли. Глядь-поглядь: за ними краснорожие монахи бросились, женщины от них ходу-ходу, монахи за ними дуй, не стой...

Мы кричим: «Бабы, девки, лугом бегите, луговиной!» А они, глупые, к кустарнику несутся... Они к кустарнику, монахи за ними, как кони, взлягивают, гогочут...

— Догнали? — нетерпеливо спросил Пугачёв, пряча в усах улыбку.

— Нет, что ты, батюшка! — отмахиваясь руками, в один голос откликнулась толпа. — Наши молодайки на ногу скорые, а девки того шустрой... Убегли, убегли, отец. Все до одной убегли! Да их на конях надо догонять...

— Царь-государь, — опять заговорил старик с ястребиным носом, — положи запрет монахам, чтоб напредки не забижали наших женок-то... Вот он, царь-государь, пред тобой этот самый игумен того монастыря. Его монахи-то охальничали, его! — и старик строптиво взмахнул в сторону смиренно стоявшего гладкого игумена. — Отвечай, отец Ермило, чего молчишь?

— Не мои монахи, — потряс головой игумен, охватив руками тугой живот и устремив к потолку хитрые масляные глазки. У него загорелые пышные щеки, между ними задорно торчит красный носик пуговкой, на скулах и подбородке реденькая, словно выщипанная, темная бороденка.

— Как так — не твои! — зашумели крестьяне, надвигаясь на игумена. — Так чьи же?

— Не мои монахи...

— Ну, стало быть, твои, отец архимандрит, твоего монастыря.

— Нет, братия, — возразил отец Александр. — Мы посылаем на покос монахов богобоязненных и годами преклонных. А молодые трудники в лесу дрова заготавливают.

— Не мои монахи! — гулко бросал игумен, будто топором рубил.

— Ха, хорошенькое дело! — возмутились мужики. — Мы своеглазно видели: твои!

— Не мои монахи! — вновь затряс брыластыми щеками игумен.

— Ну вот, заладил, как филин на дубу: не мои да не мои... — осердился Пугачёв. И все старики со злобой уставились на отца Ермилу.

— Твое царское величество! — начал упрямый игумен, и лицо его тоже стало злым и дерзким. — Я правду говорю: не мои монахи. Я знаю

своих! Мои баб с девками всенепременно догнали бы... Как пить дать — догнали бы! А это не мои; — и отец игумен, выхватив платок, порывисто отер им вспотевшие загривок и лицо.

Первым прыснул в горсть смешливый Иван Александрыч Творогов. А вслед за ним и всем прочим стало весело. Даже улыбнулся архимандрит Александр и прихихикивали в шляпенки пришедшие с жалобой старики. Лишь один отец Ермил, столь ретиво вступившийся за честь своих монахов, с видом победителя щурил на всех хитренькие глазки. Старик с ястребиным носом, кланяясь Пугачёву, молвил:

— Заступись за нас, сирых, батюшка.

— Дело это несуразное, путаное. Ведь ежели б монахи вас, стариков, ловили, а то — ваших девок с бабами. Ну так женские и с жалобой должны были притить, а не вы, люди старые... Может статья, девки-то сказали бы:

«Надежа-государь, вздрючь монахов, что нагнать нас не смогли...»

Снова все заулыбались. На этот раз улыбнулся и отец Ермил.

Крестьяне разошлись. Стали собираться до дому и гости. Явился Перфильев, тихо сказал Пугачёву:

— На воеводском дворе, твое величество, все готово. Крестьянство ждет. Помещиков и прочих приведено с полсотни.

Пугачёв и гости поблагодарили отца Александра за угощенье, направились к выходу. Архимандрит, радуясь за спасенье монастыря и своей жизни, приказал проводить гостей трезвоном во все колокола.

На дворе воеводы города Саранска, как и в Алатыре, были произведены казни. А на следующее утро, 28 июля, Пугачёв двинулся походом к Пензе.

Между тем полковник Михельсон, выступив из Казани, встретил в пути графа Меллина и приказал ему выступать на Курмыш к Симбирску для преследования самозванца, а сам 25 июля пришел в селение Сундырь, вблизи которого несколько дней тому назад Пугачёв переправлялся на правый берег Волги. Он не имел точных сведений о том, куда делся самозванец. Посылаемые им гонцы пропадали без вести, назад не возвращались. В Сундыри он узнал, что Пугачёв направился в сторону Алатыря. Однако Михельсон не поверил, будто самозванец пошел на юг.

— Это он делает маску, чтоб обмануть нас... Я уверен, что злодей бросится к Москве, — говорил он своим офицерам. — И наша наипервейшая задача оберегать пути к первопрестольной.

Графу Меллину, догонявшему быстрых Пугачёвцев, приходилось идти форсированным маршем. Граф доносил: «По всему моему пути я нашел до тридцати человек повешенных и по деревьям почти никаких жителей.

Какое это наказание божие, которое я вижу: господа дворяне по дорогам, — который повешен, у которого голова отрублена». Граф Меллин горел чувством жестокой мстительности. Вступив в Алатырь, он распорядился вывести из тюрьмы пойманных мятежников и переколоть их, что и было исполнено, а в Саранске он несколько человек засек плетью. По стопам мщения пошел и Михельсон. В начале своей деятельности осмотрительный к пленным бунтарям, Михельсон с течением времени все больше и больше ожесточался, он стал применять к своим жертвам кровавую расправу, ибо, по его мнению, «сие производит в сих варварах великий страх». Так, в селе Починках, Саранского уезда, восставшими крестьянами был захвачен конский казенный завод. Михельсон разогнал «злодейскую толпу», из пойманных крестьян троих повесил, остальным распорядился урезать по одному уху. Его страшила сила и крепость народного восстания. Он доносил: «Окрестность здешняя генерально в возмущении, и всякий старается из здешних богомерзких обывателей брать друг у друга своими варварскими поступками... Нет почти той деревни, в которой бы крестьяне не бунтовали и не старались бы сыскивать своих господ или других помещиков, или приказчиков к лишению их бесчеловечным образом жизни».

Отряд генерала Мансурова следовал меж тем на Сызрань, отряд Муфеля торопился к Пензе. Несколько дней спустя после ухода Пугачёва из Саранска город этот был занят Муфелем. Он приказал архимандрита Александра арестовать, заковать в железа и направить в Казань, в потемкинскую Секретную комиссию на суд и поругание.

Крестьянское восстание на правом берегу Волги подымалось во весь рост. Суд над лихими помещиками и жестокими приказчиками в барских вотчинах главным образом чинился самими крестьянами на мирских сходах.

Вот весьма картинное письмо земского человека, Афанасия Болотина. Он крепостной князя Долгорукова, помещика Саранского уезда, владельца села Царевщины. Афанасий Болотин доносил своему господину:

«Государю сиятельному князю Михайле Ивановичу. Государыне сиятельной княгине Анне Николаевне.

При сем вашему сиятельству за известие представляю, что прошлого 12 июля город Казань от известного врага и государственного злодея

Пугачёва претерпел великое разорение. А с 24 июля месяца алатырские, саранские и пензенские дворяне обратились в бегство и чрез вотчину вашего сиятельства, чрез Царевщину, столько ретировалось, что не можно были исчислить. Дворяне валом валили трое суток. На которых смотря и вашего сиятельства приказчик Михайла Марецкий взял только намеренье отпустить свою хозяйку, которую и отпустил.

А 28 числа получили известие, что означенный тиран Пугачёв был в Алатыре и многое множество казнил господ. А потом и в Саранск прибыл, и тут господ и приказчиков, купцов, старост, выборных казнил, что и числа нет. И как в Саранске оная штурма производилась, то черный народ во всех жительствовах своих господ ловил и возил в Саранск для смертной казни. А вашего сиятельства крестьяне в те дни имели поголовные сходы.

И в то же число, как приказчица Варвара Ивановна Марецкая уехала, её мужа к нощи крестьяне сковали. Узнав об этом в дороге, приказчица вернулась домой в Царевщину. Она пришла на сход и стояла пред крестьяны на коленях с сыном своим Дмитрием, и оба просили со слезами, чтоб из желез отца и мужа выпустить. Стояли они на коленях и предавались плачу и неутешному рыданию — женщина и отрок, мать и сын. И тут, смотря на них, никто из крестьян не мог удержаться от слез. И тут свирепствующие злодеи из крестьян вашего сиятельства не умилосердались и сказали, что-де «мужу твоему так и должно быть».

А на другой день сам приказчик Марецкий обще со своею хозяйшкой Варварой Ивановной и с Митенькой сошед скованный на сход и говорил крестьянам:

— Помилуйте! За что меня безвинно сковали? В чем я пред вами виноват?

А крестьяне стали навстречь ему доказывать:

— Как же ты не виноват, что ты на барской работе всех крестьян помучил.

А он им ответил:

— Не от меня это, а единственно по строгости его сиятельства законов.

Да притом же они, крестьяне, ему говорили:

— Самолично ты, Марецкий, мирских наших покосов по два года отдавал помещице Жердинской и за каждый год брал с нее по шестьдесят рублей в свою пользу.

На что приказчик Марецкий им сказал:

— Истинно напрасно! Ведь я отдавал покос с вашего же мирского приговора.

Они на то сказали:

— Мы отдавали покосы, убоясь тебя.

Он говорил:

— Чего вам меня бояться? Просили бы господина своего князя.

На что они сказали:

— Господин нас не послушал бы, он делал все по-твоему, что тебе было надобно. А ты нас завсегда бил и плетью стегал.

И так приказчик продолжал просить крестьян, стоял со всей семьей на коленях, семья плакала, он говорил:

— Ну пусть я виноват во всем и делал где по воле, где по неволе...

Простите меня, мои батюшки!

Они сказали:

— Нет тебе прощенья.

С тем он, бедный, от них и пошел в свои покои, и стал со всеми своими домашними прощаться. И сколько тут народу ни было, все стояли в превеликих слезах, кроме тех злодеев, которым надобно было везти его в Саранск.

Итак, пред вечером, схватили его, посадили в кибитку, повезли в Саранск на убиение. Домашние да и знакомые великому плачу предались.

И путем-дорогою, подъезжая к селу Исе, навстречу им злодейской толпы казаки. И говорят:

— Кого везете?

Они сказали:

— Приказчика.

Казаки говорят:

— Каков был?

Мужики сказали:

— Добрых сковавши не возят.

Казаки им говорят:

— Ну, бейте его.

Мужики сказали:

— Нет, помилуйте! Мы его бить не можем: мы так от него настращены, что и мертвого-то станем бояться.

Казаки прочь отъехали. При том случае на степи под селом Исою народу было множество: крестьяне везли всяк своих господ на смертную казнь. А мужики вашего сиятельства, те, которые везли приказчика Марецкого, увидали, что невдалеке, впереди них на дороге убивают помещиков: Авдотью Жердинскую, барина Слепцова с женою, барина Пересекина с женою, Авдотью Шильникову и прочих. Видя сие смертоубийство и слыша вопли, на всю степь испускаемые, мужики вашего

сиятельства, их пятеро, очерстев сердцем и господа бога позабыв, стали убивать приказчика Марецкого: один вдоль боку обухом, другой — дубиною, а третий, подскока, саблей срубил голову.

С тем оные злодеи и приехали ко двору в Царевщину и сказывают приказчице, нечаянной вдовухе Варваре Ивановне с сыном её Митенькой, что-де муж твой Михайло Юрьич Марецкий приказал долго жить.

— А ты, приказчица, отдай нам деньги, сто двадцать рублей, которые муж твой взял себе с помещицы Жердинской за покосы. А не отдашь, и тебя отвезем.

Которые она и отдала. Да тут же Панька Кожинок взял шесть рублей за свои побои: когда был пойман с соломою вашего сиятельства, с четырьмя возами, за что и сечен кнутьями по приказу Марецкого. Яковом Пряхиным взято десять рублей за побои от того же приказчика Марецкого в бытности в старостах в 772 году. Васильем Дреминым, по оказавшемуся на нем начетного меду семнадцать рублей — взято им обратно.

Да тут же, по приезде, в ту ночь зачали приказчиковых овец бить и стряпать — ждали своего злодея и тирана Пугачёва, называя его батюшкой Петром Федорычем, третьим императором. Причем и попам отдали приказ, чтоб всем собором встретили со святыми иконы.

А 31 числа июля ехал злодейской толпы казак, который признан вотчины полковника Бекетова Пензенского уезду крестьянин, который сослан был господином своим на собственные его, Бекетова, Каинские сибирские железные заводы. Который в тою злодейскую толпу и попался. И ехал он побывать к родственникам чрез ваше село Царевщину. Которого встречали с колокольным звоном, с образами, с хлебом и с солью и с вином. И тут оный казак, а имя его Костянтин, который им сказал, что в Пензу идёт батюшка наш Петр Федорыч. И тут мужики, стоя, все собравши, большие и малые, прекрестились и от вашего сиятельства отложились. Да не только от вас, но и совсем — от милостивой нашей монархини Екатерины Алексеевны.

А первого числа августа прибыла в вечеру злодейская партия, составленная из дворовых людей сел Исы, Сытинки и Кошкарева и из разной сволочи. И тут господский дом и приказчиков дом весь ограблен. Которые злодеи тем же вечером и уехали.

Второго августа, то есть в субботу, еще прибыла злодейская толпа человек до шести, пограблен табун вашего сиятельства, да не столько теми разбойниками, сколько вашими крестьяны.

А третьего числа, то есть в воскресенье, прибыло еще злодеев человек до ста, которыми достальные стоялые жеребцы, и в погребах вареные

конфеты, и в житницах самые тонкие холсты пограблено и поедено все без остатку. И письменные дела сколько разбойниками, вдвое того крестьянами — все подраны. Да тут же с фабрики ткачей, конюхов и человек семьдесят из крестьян набрали и погнали с собой, много пошло и по охоте.

А крестьяне как в житницах, так и в полях хлеб, а на скотных дворах скот, и на пчельнике пчел — все разделили. И фабрика вся разорена фабричными ткачами, а тальки роздано тысяч до шести все по крестьянам.

Сего августа 4 числа милостию бога в город Пензу четыре эскадрона уланских прибыли, и за злодеем учинена погоня. А его сиятельство князь Голицын, сказывают, своею армиею его встретил, и что бог совершит, не знаемо. наших два человека охотников убито. Слыша такие тревоги, крестьяне вашего сиятельства называют князя Голицына злодеем. А разделенную вашу рожь хотят с трусости всю посеять на ваши десятины. А в гублении приказчика хотят приносить вашему сиятельству винность и говорят тако:

«Наш князь милостив, простит». Вашего сиятельства всенижайший и покорнейший слуга рабски земской Афанасий Болотин, купец Елатомский. От 6 августа 1774 году».

Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много.

### **Глава 3.**

#### **Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян.**

#### **1**

Улучив время, когда Пугачёв прогуливался вдоль берега попутной речонки, ржевский купец Долгополов подошел, поклонился, молвил:

— Царь-государь, ваше величество. Приспела мне пора-времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, а вашему сынку богоданному, отчет отдать. Сделайте божескую милость, отпустите...

— Нет, Остафий Трифоныч, — возразил Пугачёв, прищуриваясь с недоверием на прохиндея. — Ты еще мне сгодишься.

Пугачёв не без основания опасался отпустить от себя такого выжигу: «Учнет там нивесть чего плести». А тут, в обозе, он вовсе безопасен.



Долгополов согнал с лица подобострастную улыбку, прикрякнул, сказал:

— Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал. У меня там девять бочонков зелья-то оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвалах его каменных. А чтобы незнатно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал. Под видом сахара и подсунул купцу-то.

— Коли не врешь, так правда...

— Как это можно, ваше величество, чтоб государю облыжно говорить!.. — воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. — В молодости не вирал, а уж под старость-то...

— Ладно, пуцу, — подумав, ответил Пугачёв, — только не прогневайся: своего человека с тобой отправлю...

— Да хошь двух! Еще мне лучше, сподручней ехать будет. Твоему доверенному и тот порох передам с рук на руки.

Дня через три, тихим летним вечером, Долгополов выехал из стана Пугачёва. Провожатый, илецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал.

Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной Пугачёвской Военной коллегией подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал, и вот перед ним снова воля. Да будь им неладно, этим головорезам, мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел: сегодня стычка, завтра стычка, еще слава богу, что в плен не угодил. Они, разбойники, чуть что — так и по коням, а он на коне, как баран на корове. Нет, довольно с него, хватит...

Хоть он и мало покорыствовался от Пугачёва — самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согроби ему, он живо — камень на шею да в воду, но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться — у него на уме дельце затеяно великое... то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить... «Поддай, поддай, господи! А я уж, грешный раб твой, каменную часовню всеблатому имени твоему сгрохаю во Ржеве, в триста пудов колокол повешу! Трубы обо мне трубить будут... Сама матушка Екатерина деревеньку с мужиками отпишет мне, к ручке своей допустит...

Знай, воевода Таракан, знай, треклятый обидчик Твердозадов, знай, вся Россияшка, кто есть Остафий Долгополов!»

Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди Пугачёвцев, прожорливый купец порядочно-таки отъелся, подобрел,

налился на степном воздухе здоровьем, из заморыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не старого человека. Но плутовские глаза его те же и козлиная борода та же.

Пугачёвские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государевой печатью, относились к нему, как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про батюшку — все ли здоров наш свет, да много ли скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать?

И день, и два, и три едет Остафий Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любит природой: лесами, полями, рощами, речонками, а вот на горе вдаль белеет благолепного вида божий храм, глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, шаст к нему из-за кустов разъезд.

— Кажи документы, проезжающий! — бросил с коня усатый малый в лапоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивши.

— С нашим превеликим удовольствием, — проговорил купец и, вынув из шапки подорожную, подал её усачу в лаптях.

Тот повертел её пред глазами, поколупал сургучную печать, спросил:

— Куда правишься?

— А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу в столичный град Санкт-Петербург. Да ты, служба, прочти в бумаге-то...

— Кто послал тебя?

— А послал меня сам государь Петр Федорыч...

— Ребята, хватай его! — неожиданно крикнул усатый малый.

Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул.

— Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева слугу, орать?! — в свою очередь закричал он на усача в лаптях. — Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на осине закачаешься!..

Усач захохотал и крикнул:

— Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся?

— Петр Федорыч! Великий император!..

— Ванька! Сигай к нему в тарантас да заворачивай к селу, — приказал усач другому парню.

Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не от казенного ли какого отряда дураки это посланы — подозрительных людей хватать?

А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову:

— Чегой-то шибко много развелось этих самых Петров Федорычей. А истинный царь-батюшка, взаправдашний Петр Федорыч государь, завсегда с нами ходит. Видишь барский дом? — сердито ткнул он нагайкой по направлению к селу. — Вот тамotka он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!

Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахохлившись, неохотно свернули с большака на проселок, усач в лаптях припугнул их нагайкой да заодно вытянул ею и купца.

Остафий Трифоныч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополова крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивляться.

Вокруг дома подремывало несколько заседланных лошадей, под кустами в разных позах валялись спящие крестьяне, в изголовьях одного из них сидел мальчишка, лет пяти, он теребил храпевшего человека за бороду и сквозь горькие слезы тянул: «Да тят-а-а, вста-ва-ай, мамынька кличет». Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа брошены в истоптанную траву, два старика сидят, согнувшись, на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козел, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы.

Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканом зипунишке, за опояской — топор, в руках — жирная селедка, головка зеленого лука. Пошевеливая скулами и коричневой всклокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмутив брови и окинув шумевшего Долгополова недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил:

— Чего, так твою, орешь?

— Вот, пымали птичку-невеличку. Сказывает, от какого-то Петра Федорыча едет, от государя, ха-ха-ха!

— Поди, доложь батюшке, — пропойным голосом сказал мужик; оторвав кусок селедки, он поправил топор за опояской и, пошатываясь, стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам.

И вот, окруженный пьяными гуляками, появился во всей славе «сам царь-государь Петр Федорыч Третий».

Долгополов разинул рот, вытаращил изумленные очи, попятился. Пред

ним стоял, подбоченившись, толстобрюхий детина, бывший поставщик «высочайшего двора» в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире, в день похорон Петра III, прошло двенадцать лет, однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. Боже мой, боже мой, что же это делается на белом свете!..

Долгополов не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател, затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего: вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном Яике, он прошлой зимой пробирался к себе на родину, в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к «батюшке». Он понимал, что на Яике под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец, но Хряпова это нимало не смущало, царь ли, не царь ли, только разумный да отчаянный человек был батюшка. Он так и говорил тогда: «Пойду служить умному разбойничку».

Хряпов стоял перед Долгополовым, весь налитый жиром, весь красный, тяжело пыхтящий, под волглыми глазами морщинистые, дряблые мешки, на переносице кровавая подсохшая ссадина, к неопрятной, подмоченной водкой бороде пристали хлебные крошки, рыбы косточки. Чрез оба плеча, по казакину с позументами, две генеральских ленты, на груди военные ордена и сияющие звезды. Густые волосы, смазанные маслом и причесанные на прямой пробор, спускались к ушам, как крыша. Он был изрядно выпивши. Его поддерживали под локотки два низкорослых пьяных старичка с подгибавшимися в коленках ногами. Старички похохатывали, утирали ладонями мокрые рты, притоптывали в пол пятками и, потешно избоченясь, гнусили:

— С его величеством гуляем, с самим батюшкой!

Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая на Долгополова глазами, выглядывали хмурые бородачи с малопривлекательными лицами.

— Вались в ноги, волчья сыть! — крикнул Хряпов на купца. — Сам император пред тобой!

Но Долгополов, сооротив самую лисью, самую преданную физиономию, заулыбался во все лицо и, выбросив вперед руки, елейным

голосом воскликнул:

— Здрав будь, кормилец наш, Нил Иваныч батюшка! Вот где приспело встретиться с тобой!

Хряпов тряхнул локтями, брюхом, всем корпусом — потешные старички отскочили прочь — и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова:

— Ах ты, крамольник, песий сын! Какой я тебе Нил Иваныч?! Вались в землю, а то сказано!.. — и ударил кулаком в ладонь, кресты и звезды на его груди зазвенели.

А бородачи, высунувшись из-за его спины, принялись засучивать рукава своих сермяг.

— За что же меня хочешь сказнить-то, Нил Иваныч? — собрав морщинки на вспотевшем лбу, жалобно проговорил Долгополов. — Ежели ты у нашего государя в великих генералах ходишь, так ведь и я-то у батюшки не обсевок в поле... Ведь я, мотри, послан его величеством...

— Замолчь! — топнул Хряпов, заплывшее жиром лицо его стало зверским, пугающим. — Повещу!

— Побойся ты бога, Нил Иваныч... — молитвенно складывая руки, пролепетал Долгополов. — Вот у меня и ярлык от государя императора... Он, пресветлый царь, с воинством своим сюда шествует. А меня передом послал...

Мотри, худо будет...

Обалделые глаза Хряпова вылезали из орбит, на припухших губах появилась пена, он надул щеки, чрезмерно тяжело задышал и не своим голосом гаркнул:

— Вздернуть! Раз он, сволочь, меня государем императором не признает — вздернуть!

Тут выскочил из кустов страховидный дядя с топором за поясом и, поддевая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо.

— Кого вздернуть-то? Пошто вздергивать-то? Дозвольте, царь-государь, я этому старому петуху, растак его, голову топором оттяпаю... — и мужик выхватил остро отточенный топор.

Остафий Долгополов, видя свой последний час, рухнул Хряпову в ноги, пронзительно завопил:

— Винюсь, винюсь! Я все наврал, батюшка! А теперича вспомнил: вы есть истинный государь Петр Федорыч Третий, ведь я у вас во дворце бывал, видывал вас самолично... Ребята! Не сомневайтесь, это истинный государь наш...

Пьяный Хряпов ткнул его ногой в сафьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом.

В прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором:

— Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворота к петле.

Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом:

— Братцы! Что же это... Сударики! Я вам денег... Ведь я купец из Ржева-Володимирова...

— Иди, не упираться, так твою! Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать...

— Караул! Караул! — жутко завизжал купец, увидав висевшие под воротами трупы. — Мужики, не озоруйте! Паспорт у меня... Денег дам...

— Молись богу, черная твоя душа... — прохрипел дядя с топором. — Андрюха, спушай веревку!

— Господи! Прими дух мой с миром, — молитвенно воскликнул Долгополов и устремил глаза к небу. — А вы, дурачье сиволапое, не царю, а вору служите, мяснику Хряпову...

И когда петля уже была накинута на шею Долгополова, вдруг где-то за околицей ударили один за другим три выстрела, рассыпалась дробь барабана, загремело «ура»...

Мужики, их человек пятнадцать, бросились от Долгополова врассыпную. В барском доме и около поднялась суматоха, послышались крикливые, перепуганные голоса:

— Втикай, братцы!.. Догуля-я-лись! Солдатня пришла! Пропали!

Батюшку-то береги!

— Где батюшка? Вавила! Митька!

— Тройку, тройку царскую сюда!..

— Пали из пушки!.. Ой, господи Христе!

От сильного волнения сердце Долгополова остановилось. Он закрыл глаза и повалился наземь.

Кругом все крутилось как в вихре. С колокольни неслись заполошные звуки набата. Взад-вперед бестолково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями, трезвые и пьяные мужики. Мясник Хряпов, сорвав с груди кресты и звезды, охая и кряхтя, залезал с какой-то бабой в барскую пролетку.

— Всем бекетчикам головы долой! — свирепо орал он, стреляя из пистолета в воздух. — Так-то они караулят императора!

— Окружа-а-ютъ! Казаки окружають, солдатня! — галдели с колокольни.

— Огородами, огородами!.. В лесок беги! — будоражили воздух

раздернутые голоса.

Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок кой-как вооруженные люди из хряповской ватаги. Стрельба и воинственные крики раздавались уже со всех сторон.

Слепая черная собака, сидя на перекрестке и задрав вверх морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая тугими крыльями вечерний тихий воздух.

Длительный обморок Долгополова кончился. Кончилась и уличная суматоха. Наступали прохладные сумерки. Долгополов не сразу пришел в память. Он то ощущал себя при смертном часе, то ему представлялось, что он уже по ту сторону бытия и ожидает, когда ангел смерти поведет его душу к престолу бога... Но вот баба в сарафане протянула ему ковш студеной воды, он с жадностью половину ковша выпил, другую половину, согнувшись, вылил на полуплешивую свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли.

И, быть может, впервые в жизни его охватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, миг залился слезами, повалился ему в ноги.

— Ваше благородие! Спа-спа-спаситель мой!.. От неминуемой смерти избавил меня, — выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слезы капали из глаз его.

— Кто вы такой и как очутились здесь? — спросил загорелый, со строгим взглядом офицер.

От этого отрезвляющего голоса все благостное с души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлюпывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданным ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться пред офицером, стал врать ему о своем несчастном положении, о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами еще по весне из Ржева-города и нивесть куда скрывшегося: то ли выюнош спился с кругу, то ли угодил в лапы богомерзкого разбойника Емельки Пугачёва.

— А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? — сухо спросил офицер.

— В наличности, ваше благородие, в наличности, — Долгополов достал из штанов складень, отогнул зубами лезвие ножа и стал им вспарывать подкладку казакина, где были защиты документы.

К офицеру со всех сторон солдаты подводили связанных крестьян, молодых и старых, испугавшихся и нагих, трезвых и подвыпивших.

Вытаскивали с чердака и подвалов господского дома, подводили долговолосых лохматых людей, беглых монахов, дьячков или бородатых нищевродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчовые душегреи, в рваные пестрединные портки и растоптанные лаптишки — какой-то святочный потешный маскарад. Привели трех кричащих в голос, плачущих и пьяных баб в кисейных и муслиновых платьях, в кокошниках с самоцветными камнями. Кого-кого тут не было, а больше всего — господских челядинцев, дворни. Но главный зачинщик, мясник Хряпов, умчался на тройке вороных.

Невообразимый гвалт стоял в воздухе: одни молили о пощаде, другие клялись в верности матушке Екатерине, третьи, наиболее хмельные, ругали солдат и офицеров, горланили песни, орали: «Не робей, братцы! Сей минут батюшка вернется с воинством своим... Ур-ра третьему ампиратору!»

Поднялся ветер, зашумела листва, пыль коричневым вьюном закрутилась на дороге. Но вот, разрывая все звуки, резко затрубила медная труба горниста. Командирский строгий голос офицера приказал:

— Всех на конюшню! Плетей! Палок! Да виселицу изладьте.

И сразу стало тихо. Лишь ветер шуршал листвой да пронзал наступавшие сумерки такой заунывный, такой пугающий вой собаки.

## 2

Ночью прошел дождь. Наутро, чем свет, Остафий Долгополов правился по холодку вперед. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как темный сон. «А чего тут слюни-то распускать... Себе дороже», — думал он, беспечально посматривая на созревшие, ожидавшие хозяев нивы.

Но хозяев не было, хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, чтоб под его рукой вершить бессмысленное по своей жестокости дело.

— Погоняй, погоняй, паренек! — покрикивал Долгополов вознице. — Три копейки прибавлю тебе...

Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником старцем Каллистратом. Оный странник пробирается «сиротскою» дорогою на реку Ирғиз, во святые обители всечестного игумена Филарета. А идёт он из-под Макарьева и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федорыча. «Оные злодеи только путик гадят истинному царю-батюшке, кой, по слыху, из Башкирии к Каме подается», — печаловался странник



Каллистрат. Эти ложные Петры Федорычи, по его словам, лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают. Грабят, убивают правого и виноватого.

Видел он в одном месте семьдесят два человека удушенных: господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих.

Да, да, да... Много самозванцев развелось, уж не заделаться ли и ему одним из них, — мечтал Долгополов, — погулять, поколобродить, великие капиталы приобрести, а как придёт опасность, можно и в кусты. «Нет, годы мои не те, супротив государя — стар... Да и страшновато... А уж лучше я свои великие дела вершить учну».

Он вспоминает свои недавние разговоры с яицкими казаками. Как-то зашел он в избу к полковнику Перфильеву. Зачалась легонькая выпивка, душевные разговоры потекли. Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим говорил ему:

— Да, брат, Афанасий Петрович... В бороде царь-то наш, в бороде... Да еще в черной бороде-то. А ведь в Рамбове я без бороды государя-то видел, чисто бритого... И волосом он не так темен был... Чегой-то наш батюшка мало схож с тем, кого я видел... Ой, прошибся я...

Помолчав, Перфильев отвечает ему:

— Ежели кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня. Али тебе бороденку сбрить, хоть плевенькая она, а и твое лицо изменится, не вдруг признаешь.

— Да это так, — раздумчиво соглашается Долгополов и сопит.

Перфильев же выпил чарку, закусил икоркой да опять:

— А у тебя, Остафий Трифоныч, кабудь есть что-то на языке еще... Так уж ты без опаски говори, я не обнесу, не бойсь.

Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъезозил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав мокроусыми губами к его уху, задыхаясь, прошептал:

— Да уж, мотри, царь ли он?

Сказав так, Долгополов испугался. Он знал, что Перфильев человек свирепый, чего доброго, схватит нож и поразит его прямо в сердце.

Опасливо, с кошачьими ужимками, он пересел со скамейки на стул против хозяина и, вобрав голову в плечи, притаился, не сводя с хмурого, в сильных оспинах, лица Перфильева своих ласково-покорных, выжидающе-хитрых глаз.

Но Перфильев и не думал озлобляться, он только шумно задышал и унылым голосом промолвил:

— Ежели по правде баять, мы и сами промеж собой балакаем: не царь

он.

Да уж, коли в дело вступили, не для ча раком пятиться. Ну, сам ты посуди: как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведаёт, что мы были у батюшки в команде...

— Так-так-так, — поддакивая Перфильеву, прикрякивает, как утка, Долгополов.

— Ведь я, чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьич Орлов просил меня поймать Пугачёва и живьем доставить в Питер. За сие он пожаловал мне в задаток больше ста рублей и высокий чин пообещал...

— О-о-о! — изумился Долгополов, и прищуренные глазки его как бы покрылись маслом. — Живьем? Пугачёва привести? Ишь ты, ишь ты.

— Я тебе допряма говорю, — продолжает Перфильев, — допряма и без утайки. Ежели б ты и надумал фискалить...

— Что ты, Афанасий Петрович! Окстись! Голубчик... Да чтобы я, да на тебя! — замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды.

— Да знаю, что не станешь... А я тебе, Остафий Трифоныч, как старому человеку, откровенно говорю: я свою душу черту продал, и мне все едино, кто батюшка — природный царь али Пугачёв. И даже так тебе скажу, хошь верь, хошь нет: ежели не царь, а Пугачёв противу властей народ ведёт, так лучше того и требовать не можно. И мне его жаль, Остафий Трифоныч, вот как жаль... Больше, чем себя, жаль его... Чую, словят его рано-поздно, сказнят. И меня сказнят с ним заодно. Я, брат, припаялся к нему, сросся с ним, как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. Вместях скорбь несли, вместях ответ держать будем. Пред народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизнь не простит нам... Эх, да тебе ни черта не понять, из другого ты, брат, теста сляпан, уж ты не погневайся на меня, на казака...

— Так-так-так, — прикрякивает купец, как утица. — Зело велики страдания твои! Ох, велики...

— Не в похвальбу себе говорю, а душа того просит, — продолжает Перфильев, безнадежно прощупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего пред ним малопонятного ему, чужого человека. — Ежели мне досмерти жаль Емельяна Пугачёва, то в ту же меру будет жаль и государя, ежели наш батюшка не Пугачёв есть, а истинный император Петр Третий...

— Ну-у-у, неужто? — опять изумился Долгополов. — Разжуй, уразуметь не могу.

— Вот то-то и оно-то, — прищелкнув пальцами, сказал Перфильев и

выпил с купцом по чарке. — Я ж говорю, что тебе не понять, Остафий Трифоныч. Да навряд и другой кто поймет. Наши атаманы думают: Перфильев злой, свирепый, Перфильев себялюбец. А ведь поверь: ни одна собака из них, окромя разве Чики-дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот слушай и, ежели у тебя есть хоть какой умишка, мотай на ус.

— Дай мне, господи, разуменья умные речи твои, Афанасий Петрович, слышать, — подхалимно перекрестился купец и прикусил губу.

— Смекни! — погрозил Перфильев пальцем. — Если отец наш натуральный государь, так нешто правительство примет его за такового? Да правительство, по наущению Екатерины Алексеевны, монархини, лучше согласится Пугачёва польготить, а уж истинному-то Петру Федорычу голову снимет бесприменно. Если он натуральный царь, так он враг для них самый опасный, на всю Европу враг. Тут не токмо государыня, не токмо Орловы, исконные недруги его, а даже сам Никита Иваныч Панин возопил бы: «Ради спасения России голову с плеч ему долой...»

— Он, батюшка, в таком разе за границу мог бы, там поддержку дали бы ему, — возразил Долгополов.

— Ха! Да как он, явившийся в Европу во образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Петр? Ну, как? Бродяга и бродяга. Нет, Остафий Трифоныч, тогда-то уж окончательный был бы ему каюк. Стало — так и так пропал. Как ни кинь, все клин.

Припоминая во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти свои наблюдения в стане Пугачёва, Долгополов все больше и больше распалялся потаенной мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, так почему ж ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова, а вместе с ним и самое матушку Екатерину Алексеевну? Нет, бог с ней, со славой, Долгополов не столь глуп, чтоб гоняться за какой-то там славой, за чинами.

И черт с ним, с Емельяном Иванычем, век его не видёть. А что касемо золота, то Долгополов сумеет его хапнуть не как-нибудь, а на законном основании. Уж на что, на что, а на такое прибыльное дельце смекалки у него хватит.

Только вот беда: передрыга с этим разбойником мясником Хряповым изрядно-таки отозвалась на его здоровье — стала сильно подергиваться верхняя губа, а глаза нет-нет да и закатятся сами собой на малое время под лоб. «Ну и настращали меня, окаянные живорезы... Только подумать надо: петля на шее была».

Но черные воспоминания тонули в каком-то розовом тумане, и легкомысленный Долгополов уже начал слагать в уме каверзное письмо князю Григорию Орлову.

А как добрался до приволжского городишки Чебоксар, снял на постоялом дворе отдельную комнатку и, сытно пообедав, сразу засел за письмо. Он стал писать не от себя, а от имени известного братьям Орловым казака Перфильева.

«Ваша светлость, а наш премилосердный государь и отец Григорий Григорьевич. Я, ниже подписавшийся, есаул войска Яицкого Афанасий Перфильев, в бытность мою в Санкт-Петербурге был призван к Вашему братцу Алексею Григорьевичу, который изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачёва, а наипаче господам благородным дворянам мучителя. А ныне я обще с подателем вашей светлости сего нашего письма казаком Яицким же Остафием Трифоновым согласили всех яицких казаков, чтоб его, злодея, самого живого представить в С. — Петербург в скорейшем времени. Он состоит, злодей, в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Только, пожалуй, доложи её императорскому величеству государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице Всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбную ловлю изволили приказать владеть по-прежнему. Еще вашей светлости доношу, что в том числе сто двадцать четыре человека в Петербург не едут. Как мы его, злодея, скуем в колодки и двести человек поедем с ним, а вышеписанных сто двадцать четыре человека домой отпустим, только те требуют на всякого человека по сто рублей, теперь половину, по пятьдесят рублей изволь с посланным нашим прислать золотыми империалами. А мы двести человек ничего наперед не требуем: как поставим злодея к вашей светлости, тогда и нам бы такое же награждение, как у нас все обнадежены и все теперь приведены к присяге между собой».

Верхняя губа Остафия Долгополова задергалась, нижняя отвисла, глаза ушли под лоб. Быстро справившись с приступом недуга, купец стал обдумывать, как бы похитрей обмануть князя Григория Орлова, внушить ему полное доверие к письму, к затее, в нем изложенной. Купец скользом взглянул на свежепросольный огурец, на графин водки, стоявший перед ним, и сразу вдохновился.

«А как мы злодея повезем, надлежит давать прогонные деньги, також на харчи и на водку было б довольно. Мы в том не спорим, хотя извольте дать указ, хотя б без прогонов, только б нас везли. Обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Оное письмо писали

истинно ночью.

(Тут широкая улыбка растеклась по вспотевшему лицу Долгополова.) Пожалуй, батюшка Григорий Григорьевич, нашего посланного отправьте в самой скорости, чтоб он, злодей, не допущен был до разорения наших сел и деревень, також и город. Иного до вашей светлости писать не имеем, остаюся ваш, моего государя, раб и слуга казак Афанасий Петров Перфильев, атаман Андрей Афанасьев Овчинников, сотник Никита Иванов, полковник Шигаев, хорунжий Власов, дежурный Яким Васильев Давилин и всех триста двадцать четыре человека о вышеписанном просим и земно кланяемся».

Ох, если б крылья, если б письмецо доставить в Питер тепленьким, с непросохшими чернилами! Но у Долгополова крыльев нет, он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадаках.

Восьмого августа, в четыре часа утра, он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова , что на берегу Невы, против Петропавловской крепости.

Он попытался нахрапом пройти во внутрь дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как имущий власть:

— Живо веди во дворец, буди камердинера! Я по неотложному государственному делу.

Видя пред собой человека в годах степенных и одетого в казацкую, хотя и потертую, темно-зеленого сукна, форму, молодой солдат крикнул будочника с алебардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все еще спали. Долгополов поднял шум, из своей комнатки вышел бравый, высокого роста камердинер в халате с барского плеча и спросил казака:

— Что тебе, служивый, надобно?

— Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо, — проговорил Долгополов. И когда удивленный камердинер нагнулся, Долгополов строго зашептал ему:

— А вот что, миленький. Разговор с тобой мне вести недосуг, а ты сей ж минут буди князя. Да вели-ка закладывать карету в Царское, к самой императрице.

Повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело: камердинер поспешно переоделся в кафтан и, пройдя вместе с Долгополовым к опочивальне князя, постучал в дверь.

— Кто? — слышался из спальни громкий голос.

— Я, ваша светлость, Гусаков.

— Войди! Чего ты ни свет, ни заря?..

Вместе с камердинером юркнул в дверь и Долгополов. Камердинер отдернул на высоком окне драпри. Князь лежал в кровати, руки за голову, по грудь прикрытый легким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви — столь много кругом позолоты, лепных порхающих херувимов, шелковых золотистых, как парча, тканей.

— Что ты за человек? — сурово спросил князь Долгополова.

Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил:

— Я, ваша светлость, родом яицкий казак Остафий Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей, извольте, ваша светлость, вставать с постельки.

Государственное дельце до вас, самое горяченькое, что изволите усмотреть из сего цыдула. Куй железо, пока горячо, как говорится, ваша светлость, — без остановки сыпал Долгополов словами, как горохом.

Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковер, потребовал трубку, закурив, стал внимательно читать. Долгополов, затаившись и крепко зажав в руке казачью мерлушковую шапку-трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для прохиндея минуты: или все обернется как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхняя губа его неудержимо трепетала, глаза то и дело закатывались под лоб. Вдруг он возликовал, заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, изукрашенный перламутром столик, взволнованно сказал:

— Сия овчинка, сдастся мне, стоит выделки... Одеваться и — тотчас карету!

Вбежал негритенок в красном жупане, принялся одевать князя, а Долгополов с камердинером удалились.

Тройка орловских рысаков летела по гладкой дороге быстро. Долгополов был удостоен сидеть в карете рядом с князем.

— На сей случай ты не казак, а мой гость, — простодушно говорил Орлов. — Только не могу в толк взять: ведь есаул Перфильев, помнится, еще зимой был откомандирован братом моим схватить Пугачёва. По какой же это причине столь великое с его стороны промедление?

— Ах, ваша светлость! — воскликнул Долгополов, закатывая под лоб

узенькие глазки. — Раз Перфильев Пугачёву в руки попал, нешто злодей отпустит его от себя живым? Ведь и я-то убегом здесь, скрадом. Пугачёву сказали, что я в сраженьи под Осой убит. Конечно, Перфильев прикинулся злодею преданным и начал по малости казаков щупать. На поверку вышло, что многие казаки Емельку-то за истинного государя принимали. Вот только ныне господь посетил их просветлением ума...

А вот и Царское Село, в нем Долгополов по своим коммерческим делам много раз бывал.

Погода пасмурная. Семь часов утра. Парадные и жилые апартаменты помещались во втором, верхнем этаже дворца. Екатерина занималась в кабинете. Возле дверей стояли на карауле два гренадера с ружьями и какой-то господин в кафтане с золотыми галунами. Князь, оставив Долгополова за дверями, прошел к императрице. Екатерина с растерянной улыбкой и некоторым удивлением поднялась ему навстречу. Орлов поцеловал её руку, перехватил и поцеловал левую, затем снова правую, затем, задерживая её руки в широких своих ладонях и вздохнув, сказал:

— Давно не видал тебя... Вот и морщинки появились. Счастлива ли ты?

— А что есть счастье? — вопросом уклончиво ответила Екатерина, вскинув в лицо бывшего любимца свои загрустившие глаза и тотчас опустив их. — С чем пожаловал такую рань? Что за экстра? Уж не в Гатчину ли свою на охоту едешь да по пути завернул?

— На охоту, матушка... Да еще на какую охоту-то. Зверь крупный! Нака прочти, — и Орлов протянул Екатерине письмо ржевского мошенника.

Внимательно прочитав письмо, Екатерина сразу оживилась, в её глазах блеснули огоньки. Взволнованная, она понюхала из хрустального флакончика какого-то снадобья, села в кресло, оправила стального цвета широкую робу, сказала Орлову:

— Где делегат? Пожалуй, покличь его, Григорий Григорьич.

Долгополов вошел в царские покои без всякого смущения, как в свою собственную спальню. Приблизившись к императрице, он бросил к её ногам шапку, опустился на колени, крестообразно сложил руки на груди и устоялся на царицу, как на икону в церкви.

— Встань, казак, — сказала Екатерина и милостиво протянула ему для лобзанья руку.

— Ваше величество! — восклицает Долгополов, прикладываясь горячими губами к женской ручке. — Светозарная повелительница великой империи Российской, идеже и солнце не заходит... Припадаем челом к священным стопам твоим все триста двадцать четыре яицких казака, что

уловил в свои богомерзкие сети враг человечества Емельян Пугачёв, а ему же убо плеть — плеть, а ему же убо страх — страх, а ему же убо смерть — смерть...

Тертый калач Остафий Долгополов, в бытность свою человеком состоятельным, научился «точить лясы» со всяким: с архиереем и конокрадом, с князем и строкой приказной, с купцом и вельможей, ему даже разок удалось перемолвиться с самим Петром Федоровичем, когда тот был еще наследником престола, а купец доставлял овес для его конюшни. Вот только с государыней разговаривает он впервые. Ну, да ничего... С матушкой-то не столь опасно говорить, как с мясником злодеем Хряповым, треклятым самозванцем.

— Давно ли ты, Остафий Трифонов, у господина Пугачёва в услужении, когда ты верность данной нам присяги нарушил? — спросила государыня.

— Винюсь, матушка, ваше величество! Все мы винимся, все мы горьким плачем обливаемся. Нечистая сила околдовала нас, темных, в сентябре прошедшего года...

— Стало быть, вы Емельяна Пугачёва за покойного императора Петра Федорыча приняли?

— За него, ваше величество, за него. Винимся!

— Стало, вы против меня шли, угрожали спокойствию империи?

Долгополов, закатив глаза под лоб и прикидываясь простоватым казаком, с жаром воскликнул:

— Против тебя шли, ваше величество, как есть против тебя. Винимся!

— Значит, вы, казаки, мною недовольны были?

— Довольны, матушка! Выше головы довольны... А это лукавый сомустил нас, сатана с хвостом.

— Нет, казак, ты не правду говоришь, — возразила Екатерина. — Среди яицкого казачества еще допреждь того было недовольство и крамольное возмущение.

— Было, было недовольство, ваше величество!.. Рыбку от казаков старшины отобрали. Мы о рыбке в цыдуле пишем...

— Я казакам всегда мирволила, и донецким, и яицким. И впредь будет так же. Обещаю вам, казаки, и рыбу, и льготы всякие. Только скорей кончайте...

Екатерина задала казаку еще несколько вопросов: где Пугачёв, сколько у него народу, каков состав его армии, нет ли среди его сброда иностранцев каких или пленных турок?

Долгополов, с развязностью отвечая, врал. Екатерина к его словам



относилась настороженно. Наконец спросила:

— А как ты мог в своей казачьей сряде проехать через Москву? Ведь она заперта крепким караулом со всех сторон.

Долгополов, жестикулируя и закатывая глаза, ответил:

— Ежели вы, ваше императорское величество, пожелали бы, то я проведу чрез оную Москву десять тысяч человек. И никто о том не прочухает. А я пробрался чрез первопрестольную столицу тако. Верст за пять до Москвы я примостился к едущим на базар подводам с сеном да дровами. У заставы — ах, думаю, господи, благослови, да и пошагал живчиком мимо часового. Часовой хватъ меня за леву полу: «Стой, куда чувырло, прешь?! Есть ли письменный вид?» А я ему бесстрашно отвечаю: «Господин служивый, письменный вид у меня — это верно — был от старосты казенного селения, да верст за десять отсюда вот из этого кармана в дыру выпал, да и другое кое-что потерял по мелочишке». Солдат засунул в левый карман руку, там, верно, дырища, опосля того он съездил меня кулаком по загривку столь добропорядочно, что я, грешный человек, едва с ног не слетел, да щучкой-щучкой через заставу-то и проскользнул. Солдат с народом захохотали, а я вприпрыжку — дуй, не стой — вдоль по улице. Вот, ваше величество, каким побытом пробрался я в город Москву.

Екатерина улыбалась. Чуть прищутив глаза, она, чтоб пересказать Строганову, старалась запомнить некоторые выражения старого казака, которые показались ей курьезными, вроде того, как он «живчиком» проскочил, как его «съездили» по загривку, как он «щучкой-щучкой» проскользнул чрез заставу. Затем она подала Долгополову знак удалиться и осталась вдвоем с Орловым.

Мнимого казака отвели в комнаты, где обычно останавливался князь Орлов. Вскоре подошел к нему человек в позументах, должно быть, лакей, спросил:

— Не хочешь ли ты, брат, водки выпить да подзакусить?

Долгополов ответил;

— До водки не охоч, а вот кусочек хлеба с солью съел бы.

Ему подано было — холодная жареная курица, свежие крендели, ситный с солью и графин водки. Долгополов встал, перекрестился и с жадностью, стоя, принялся есть ситный.

— Да ты сядь, братец, и питайся как следует. Откуда ты?

— А я издалека, с Белого моря.

— Ого, ну как там?

— Да ничего. Киты плавают, всякая рыбина.

— Ишь ты... Большие киты-то?

— Да не так чтобы уж очень, иначе на нем деревеньку невеликонькую построить можно...

— Ха! Скажи на милость... Вот так это чудо-юдо!

Долгополов наелся, выпил две стопки водки, задремал.

Разбудил его все тот же лакей:

— Шагай за мной!

Раззолоченным, изукрашенным замысловатой резьбой парадным коридором, выходящим широкими окнами на плац-парад, они миновали несколько комнат. В одну из них лакей ввел его и захлопнул за ним дверь.

— А, знакомый, — сказал Орлов. Из пузатого, отделанного бронзой шкафчика на гнутых ножках князь достал кошелек с золотой монетой и протянул его Долгополову, проговорив:

— Бери. Да смотри, опускай не в левый карман, а то там дыра.

— Да, ваша светлость, — осклабился Долгополов, схватив кошелек. — Там мыши были, гнезда вили, дыру проточили.

— Хм... Ты женат? Возьми еще вот этот узелок. Всемиловейшая государыня на первый случай жертвует тебе кошелек и этот сверток, а когда дело в благополучии совершишь, то будешь более и более награжден.

Глаза Долгополова закатились под лоб, губа задергалась, он повалился князю Орлову в ноги. В узелке оказалось два куса бархата — яхонтового и вишневого цвета, десять аршин золотого глазета и столько же золотого галуна с битью.

В десять часов вечера Орлов с ржевским жуликом выехали в Петербург.

На следующее утро Долгополов был позван в кабинет Орлова. Там находился гвардии капитан Галахов. Указав ему на вошедшего Долгополова, князь сказал Галахову:

— Вот это и есть депутат Остафий Трифонов. С ним и поедешь. И вот тебе два пакета: в этом рескрипт на твое имя, а этот, запечатанный, вскрой, когда потребуется надобность в том. Ну, поезжайте с богом на подлежащее вам дело, а как кончите оное со усердием и верностью, будете выисканы милостью государыни императрицы.

Итак, ловкий обман Долгополова вполне ему удался. Он усыпил подозрительность даже самой Екатерины. Вгорячах она, между прочим, писала градоправителю Москвы, князю Волконскому: «Они берутся вора Пугачёва сюда доставить, за что просят 100 р. на человека, и то не прежде как руками отдадут, а вероятие есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренна, чтоб купить народный покой».

Затем, трезво рассудив, Екатерина отнеслась к этой затее более сдержанно, она вымарала из письма вышеприведенные строки и в тот же день составила на имя того же Волконского рескрипт такого содержания:

«Сего утра явился к князю Г. Г. Орлову яицкий казак Остафий Трифонов с письмом от казака же Перфильева и товарищи, всего 324 человека, с которого письма при сем прилагаю копию. Я сего же дня посланного от них Остафия Трифопова с паспортом за рукою князя Г. Г. Орлова с ответом к ним же приказала отправить, которого казака вы прикажете нигде не задерживать.

Князь Орлов к ним доставит волю мою, которая в том состоит, чтоб они злодея самозванца привезли к гвардии капитану Галахову, коего снабдить достаточной командой, дабы он мог колодника привезти в целости к вам в Москву; а вы возьмите все меры без всякой огласки преждевременной, дабы они содержаны были, как важность дела требует. Я к графу П. И. Панину пишу о сем и сегодня же, и вы с ним условьтесь и сделайте так, чтоб успех сего дела нигде остановке подвержен не был».

Галахову приказано было ехать в Москву, явиться к графу Панину и князю Волконскому. Получив от Панина конвой, а от Волконского деньги, Галахов должен был направиться в Муром, куда казакам было наказано доставить Пугачёва и его близких сообщников. По доставлении самозванца приказано выдать на каждого казака по сто рублей.

Таким образом вся выдумка Долгополова была исполнена волею императрицы в тот же день. Видавший виды Долгополов немало и сам был этому удивлен. Он полагал, что с ним все-таки как-то поторгуются, более основательно прощупают, он даже, идя на риск, думал, что ему, может быть, придётся претерпеть допрос с пристрастием, под плетью, на дыбе. А могло, господи помилуй, и так случиться: «А так ты, подлая твоя душа, закоснелый Пугачёвец? Оттяпать ему худародную башку!» Господи помилуй, господи помилуй... Да, ржевский прохиндей, безусловно, шел на огромный риск.

Через четыре дня Долгополов, Галахов и два гренадера Преображенского полка были уже в Москве.

Здесь Галахов представился графу Петру Ивановичу Панину, недавно назначенному главнокомандующим воинскими, действующими против Пугачёва силами. Панин, прочтя рескрипт Екатерины, прикомандировал в

помощь Галахову отставного майора Рунича , лично Панину известного, и добавил для сопровождения комиссии еще десять человек гренадеров и гусар.

— Где ныне находится злодей, я точных данных не имею, — сказал Панин.

— Знаю только, около Шацка и Керенска чернь бунтует. Я отправил туда полковника Древица с четырьмя эскадронами Венгерского гусарского полка.

Догоняйте его, а там увидите, куда путь держать.

Князь Волконский выдал Галахову 32 400 рублей золотом и серебром — условленная плата казакам, плюс 1000 рублей на путевые расходы.

Вскоре комиссия в полном составе прибыла в провинциальный город Рязань. Здесь же находился полковник Древиц со своими эскадронами.

#### 4

Город Рязань был в смятении. Волны народного восстания докатились и до этих недалеких от Москвы мест. Воевода Михайла Кологривов подал полковнику Древицу рапорт о том, что прилегающие к Рязани селения не слушаются его распоряжений, не дают лошадей для проезда царских курьеров.

— Окромя сего, — докладывал воевода, — я ежедневно получаю донесения от воеводы града Шацка, полковника Лопатина, о возмущении народа в его провинции. Да еще он пишет мне, что град Керенск трижды осаждался бунтовщиками, коих примечено до десятка тысяч.

После совещания полковник Древиц сказал, обращаясь к Руничу:

— Вы, господин майор, тотчас же секретно отправитесь в Шацк, только переоденьтесь в простое платье и получше вооружитесь. А я выступлю завтра вслед за вами.

Получив инструкцию для дальнейших действий, майор Рунич переоделся прасолом и вечером выехал в Шацк. В попутных селениях он примечал, что народ ведет себя вольно, дерзко, было много подгулявших.

На одном из перегонов, когда пара лошадок пробежала лесом версты две, вдруг возница остановил лошадей, обернулся к одетому в потертую простонародную чуйку Руничу, задвигал бровями и, оттопырив волосатые губы, спросил в упор:

— Уж не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы? (Рунич отрицательно потряс головой.) Ну, а как, нет ли на Москве слуху, —

продолжал возница, — быдто наследник Павел Петрович собирается к родителю своему здесь-ка проехать? Мы его, Павла-то Петровича, всякий день сюда ожидаем...

— Ты бы лучше, дядя, помолчал, — оборвал его седок.

В Шацке Рунич проехал мимо в земляную крепость, к воеводскому дому.

Во дворе, усыпанном песком и обставленном со всех сторон сарайчиками, клетушками, птичниками, четыре старых солдата тюкали топорами по березовым брусам, мастерили лафеты для чугунных пушек.

— Не из Москвы ли, слышь? — сказал один старик другому, указывая глазами на подъехавшую пару.

— А кто его знает, — ответил тот, — может, из Москвы, а может статья, и от батюшки...

— Ну, ляпнул... — осердился первый, воткнул топор в бревно, стал набивать самосадом трубку. — От батюшки-то казак бы прискакал... С ампирасторским манихвестом.

Рунич — невысокого роста, худощавый и невзрачный, но с быстрыми строгими глазами, вошел в дом. В передней, на дубовом диване, припав виском к стене, сладко спал в сидячем положении слуга в нанковом грязном сюртуке и босоногий. На его коленях недовязанный чулок с железными спицами и клубок черной шерсти. Рунич прикоснулся к его плечу, громко спросил:

— Где господин воевода?

Слуга продрал глаза, вытер рукавом слюнявый рот, не спеша позевнул и, не обращая внимания на стоявшего перед ним человека, одетого в мещанскую чуйку, занялся вязаньем. Рунич повторил вопрос.

— На что он тебе? — спросил слуга, хмуря брови и старательно поддевая спицей спущенную петлю. — Воевода недавно после кушанья почивать лег. Не знаю, как тебя назвать, только что воевода не уважает, чтоб его после обеда будили.

— Поди! Ну, ну! — прикрикнул на него Рунич и пошел в соседнюю горницу. — А то я сам разбужу.

Через несколько минут вышел из спальни поднятый слугой воевода — высоченный, толстый, заспанный, в пестром шлафроке.

— Чего тебе надобно? — грубо спросил он Рунича, а слуге приказал:

— Ты, Иван, постой здесь.

Рунич молча подал ему ордер за подписью полковника Древица. В ордере податель именовался майором, командированным в Шацк. Воевода, прочитав, с торопливостью снял очки, сбросил колпак с облысевшей

головы, подошел вплотную к Руничу, смущенным голосом проговорил:

— Извините меня, господин офицер, покорнейше прошу присесть... Иван!

Накрой на стол и скорее кушать дорогому гостю...

Поблагодарив хозяина, Рунич вышел во двор. Возле старых солдат, тесавших брусья, уже собралась толпа обывателей: мастеровые, посадские, приехавшие на базар крестьяне. Рунич расплатился с возницей и приказал одному из солдат, чтоб он взял чемодан, достал из-под сена в повозке военный плащ, спрятанных два пистолета с саблей и отнес в дом.

Солдат-плотник, видя, как его товарищ вытаскивает из повозки вооружение, подмигнул толпе и проговорил:

— Ну, так и есть... казак переодетый... от самого батюшки...

Услышав эти слова, Рунич подошел к солдатам и громко, чтоб слышала толпа, сказал:

— Перестаньте, служивые, зря трудиться возле чугунных пушек: завтра придут сюда настоящие медные пушки.

— А чьи жа? — послышалось из толпы. — Уж не отца ли нашего, не государя ли?

— Кто это?! — крикнул Рунич и пошел на толпу. — Это кто осмелился сказать?

Народ, один по одному, стал быстро расходиться. Снова затюкали по дереву солдатские топоры.

Застав воеводу уже в мундире, Рунич тоже надел военную форму и отправился за крепостной вал, на торговую площадь. Некоторые крестьяне снимали шляпы, кланялись офицеру, но большинство отворачивались, отходили прочь.

Затем наступило время обеда. Хозяйка была очень любезна, гостеприимна, хорошо говорила по-французски. Зато приглашенные гости — судья, ратман, товарищ воеводы и секретарь — были необычайно стеснительны, их пришлось долго упрашивать сесть за стол. Какие-то были они испуганные, растерянные, ожидающие несчастья. Рунич успокоил их, сказав, что завтрашний день прибудет сюда корпус полковника Древица, и просил воеводу подготовить войскам квартиры.

После обеда хозяин вывел Рунича под руку в соседний обширный зал.

Там, к немалому удивлению офицера, его встретили человек семьдесят съехавшихся в Шацк помещиков с женами. Они все встали, мужчины низкие отвешивали поклоны, барыньки жеманно кивали головами в старомодных шляпках и чепцах, делали книксен, и — общий гул голосов:

— Отец наш... ты своим приездом оживил нас всех. Погибель на нас

идёт от супостата.

Рунич смутился. Ему всего лишь двадцать восемь лет, а его величают «отцом» и «избавителем». Помещики, оправившись, стали изливать пред новым человеком свои житейские невзгоды.

Грузный старик в клетчатом потертом кафтане и штанах, в пышном, с большими буклями, парике принялся печальным голосом повествовать, то и дело прикладывая платок к слезящимся глазам:

— Вот послушайте, господин майор, горесть сердца моего, стенания мои душевные. Была у меня двоюродная сестра, старушка богатая и чрезмерно скупая. Она хоронила у себя где-то зарытыми сто тысяч серебряною и золотою монетою, кои богатства соблюдала паче души своей, о чем известно было всем в городе живущим. А я, примите на замечание, её единственный наследник. И вот, выходит она навстречу Пугачёву с хлебом-солью: удойте, мол, батюшка, посетить мой дом и остановиться у меня? Злодей Пугачёв принял безбожной сестры моей приглашение и гулял у нее со штабом всю ночь. Утром, возблагодарив её за доброе угощение, самозванец сел на коня, а старушка пошла проводить своего благодетельного гостя за ворота. И только что в середину ворот вошла, то и поднята была за шею веревкою вверх и, повешенная, кончила все радости своей жизни. А я остался сир и нищ, ибо никто не знает, где были сокрыты её сокровища.

Едва он кончил, как выступил вперед поджарый, высокий и кривоплечий помещик. Вид у него воинственный, большие черные с проседью усы висели книзу, волосы небрежно всклокочены, у бедра длинный палаш, за поясом кинжал и пистолет, на левом рукаве белая повязка.

— Нас, помещиков, ваше высокоблагородие, съехалось сюда до трехсот мужчин, — начал он командирским басом. — А как в нашем граде Шацке и окрест оногo неспокойно, то мы, помещики, вкупе с преданными нам дворовыми людьми, положили устроить из себя конницу и поджидаем отставного генерал-майора Левашева, коего и выбрали командиром... Постоим, дворяне, за мать Россию, за обожаемую монархиню нашу Екатерину Алексеевну! — И вояка, вытаращив глаза, азартно застучал в пол тяжелым палашом.

— Отцы, братья и сестры! — вдруг воззвал из глубины зала седовласый, благообразного вида, протопоп в лиловой рясе с наперсным золотым крестом.

— Я чаю, все вы согласны подтвердить...

— Согласны, отец протопоп, согласны! Подтверждаем, — вырвалось

из уст присутствующих.

— Братие, сии возгласы ваши скоропоспешны и зело не основательны, — подняв вверх руку с вытянутым указательным перстом, наставительно, с оттенком укоризны, произнес священник. — Не основательны, ибо вы не ведаете, о чем собираюсь сказать слуге царскому. — Он приблизился к Руничу и продолжал, крепко налегая на звук «о»:

— Ну, так вот, внимлите мне, господин майор, и высшему начальству своему поведайте. Не более как в пятнадцати верстах от богохранимого града нашего Шацка, в селе, рекомом Сасово, в моем благочинии, мне довелось не столь давно быть по нужде служебной. И вот вижу — в базарный день въехал в оное село некий казачий генерал в голубой ленте и с ним тридцать человек казаков. Оные казаки, вкупе с генералом, кричали народу: «Государь император Петр Третий изволит шествовать!» Тут мужики — одни бросились к генералу, другие пали на колени, стали восклицать: «Ура, ура!» Но генерал, передав в толпу некий ложный, якобы царский лист, поехал со штатом своим дальше; народ побежал за ним, а казаки стали махать руками, чтоб мужики возвратились к торгу.

Вот о чем хотел я поведать... Сие лицезрел воочию и свидетельствую о сем не ложно.

— Про то же и мы, отец протопоп!.. Оный казус известен всякому, — раздались голоса.

Майор Рунич вслушивался в эти речи с большим интересом и вниманием, намереваясь с точностью пересказать их полковнику Древицу и изложить в письме своему бывшему патрону, с которым брали крепость Бендеры, графу Петру Иванычу Панину. Так вот какво народное настроение весьма близких к первопрестольной столице мест!

— Господа дворяне! — обратился Рунич к собравшимся. — Не падайте духом. Завтра сюда ожидается корпус полковника Древица. А вскорости проследует через ваши места сам граф Панин с воинством для уловления и истребления злодейских шаек. Недалеко то время, когда в державе нашей снова наступит мир и благоволение.

Растроганные помещики взволнованно закричали «ура», священник взывал:

«Уповайте на господя!» Многие выхватывали платки, проливали слезы, тучная старуха, охнув и закатив глаза, без чувств упала в кресло. Началась немалая возле нее сумятица.

Но вот через открытое окно послышался конский топот и крик со двора:



«Дома ли воевода?» Следом за сим в зал ворвался с воли живой, бодрый человек, весь пропыленный, в охотничьей венгерке со шнурами, голова кудрявая, лицо бритое, в руке нагайка. Громко стуча каблуками и не обращая внимания на присутствующих, он браво подошел к рослому воеводе, щелкнул каблуком в каблук и задышливым голосом начал:

— Гонец от керенского воеводы господина Перского, сержант в отставке, Пухлов!

В зале наступила любопытствующая тишина. Оставив старуху маяться в кресле, все на цыпочках приблизились к воеводе и гонцу. Гонец сказал:

— Рапортую вашему высокоблагородию! Не далее, как прошедшей ночью, у града Керенска дело закрутилось с мятежными толпами мужиков, между коих примечено и малое число яицких казаков. Мужиков надо считать близко к десятку тысяч. Они держали город в страхе двое суток. Ох, и натряслись все миряне, ваше высокоблагородие... — гонец поперхнулся, кашлянул в шапку, облизнул пересохшие губы.

Хозяйка распорядилась подать ему кружку квасу. Тот одним духом выпил, отер мокрое лицо грязной ладонью, заткнул за пояс нагайку, стал продолжать:

— Воевода Перский, видя свою и города неизбежную гибель, вымыслил закрутить дело. Он уговорил пленных турок, чтобы они согласились вооружиться! А их было под его присмотром тридцать человек. Он снабдил басурман саблями, пиками, пистолетами и дал по коню. Дал им по коню и сказал: «Коль скоро вы мне окажете помощь, будете отпущены из плена к себе на родину». Турки обрадовались, «якши, якши!» закричали. Да еще воевода кое-как нарядил в турецкое одеяние человек с сотню отчаянных чернобородых да черноусых мирян, они по обличью тоже сделались вроде как турки. И также посадил на лошадей. А сверх того собрал воевода человек до двухсот дворни пешей с двумя пушками. Да пред рассветом, помолясь богу со усердием, сам с воеводским товарищем повел своих ратников в атаку на бунтовщиков. А весь их табор спал-почивал, ничего такого не предвидя. И вот дело закрутилось. Как грянули пушки, да как заорали турки:

«Алла-алла!», а за ними и наши гвалт подняли: «Алла-алла, шурум-бурум!» да напыхом на табор. Спящие вскочили. Страх на них напал и ужас. «Братцы!

Турки, турки!» — блажью завопили они да, забыв и про лошадей своих, кинулись бежать в потемках пешие — кто куда. Все побросали — и лошадей, и телеги, и поклажу. И на много верст конники рубили их саблями, на пики сажали, забирали в полон. Одначе не довелось дознаться,

вашескорodie, кто из бунтовщиков закручивал дело, а также ни единого казака, посланного Пугачёвым, в полон не попало...

— Ну, господа, поздравляю! — воскликнул воевода, улыбаясь во все широкое лицо, и, простодушно обняв сержанта Пухлова, поцеловал его трижды.

Все сразу взбодрились, расцвели, как после дождя засохшие травы.

Пожимали друг другу руки, обнимались. Тучная старуха сама собой пришла в чувство и молча плакала. Протопоп, обратясь к иконе, возгласил:

— Господу помолимся!

#### **Глава 4.**

**Барин Одышкин. В Пензе. Горят барские гнёзда. «Не падайте духом, Государь». Дурные вести. «Народ с Вами, Государь».**

### **1**

В Пензенском уезде, куда надвигалась полоса восстаний, существовал барин Павел Павлыч Одышкин. Он был человек недалекий, а иным часом придурковатый. Ему этим летом минуло пятьдесят два года. Вел он жизнь замкнутую, неподвижную, ленивую. За последние десять лет он так обленился, что и на улицу не выходил. Сидел под окном, с утра до ночи пил чай или кофе, наблюдал из окна жизнь во дворе. И все хождение его было от окна в клозет, из клозета к окну, к столу, опять в клозет, опять к окну да и на кровать. Хозяйство вела барыня — высокая, черная, властная. Но она предусмотрительно сбежала с двумя детьми в Пензу, спасая жизнь свою от «погубления злодейскими толпами». Не взирая на её уговоры, Павел Павлыч за ней не последовал, ему лень было двигаться, да он надеялся, что бог пронесет грозу мимо его владений, а в случае чего, — он придумал хитроумную штучку — ежели Пугач и нагрянет, Павел Павлыч вживе останется.

Впрочем, жена и не особенно-то настаивала на его отъезде: «Какой он хозяин, какой в нем прок?» Ежели она овдовеет, кто ей запретит выйти замуж за конюха, кудряша Сафрона?

Сидит Павел Павлыч под окном, чай кушает, смотрит через окно, думает:

«Вот ужо буянство мужичье кончится, Пугача изловят, велю под окном во дворе пруд выкопать, да квакуш-лягушек напустить в пруд, пущай

квакают, а я буду чай пить да слушать. Я лягушек больше соловьев люблю».

Он, кроме календаря да лечебника под названием: «Прохладный вертоград или врачевские вещи», ничего не читает, с мрачностью думает о многих болезнях, гнездящихся в его организме, вроде «нутряного почечуя», и пьет во исцеление души и тела всякие настойки и знахарские снадобья.

Прислушивается к своему организму, следит за ним неотрывно и каждый день со тщанием ведет запись в особой книге.

Например:

«17 мая. Благодарение господу сон был хорош, хотя во сне и было сатанинское искушение. Отправление желудка, сиречь стул, был свободен в 11 часов утра».

«18 мая. Приключился сильный запор, отчего в животных частях обструкция, одышка и трепыхание сердца. Стул отсутствовал».

«19 мая. Был обильный стул в ночное время, в 3 часа 20 минут по полуночи. С утра аппетит отменный. За обедом и ужином не воздержался.

Особенно много скушал тушеной капусты с яйцами и куриными печенками. А после чего прилег на узвар. Живот опучило. Появилось сильное урчание. Всю ночь одолевали жестокие ветры. Желудок очищался не одиножды. Делал припарки. Втирал в животную часть беленное масло. Благодарение господу, последовала легкость».

Дворня и крестьянство с барином ни мало не считались, иной раз, завидя его сидящим под окном, даже и шапки не ломали перед ним. Мужики про него говорили какому-нибудь чужаку, прохожему или проезжему человеку: «Наш барин рассудком не доволен, всю жизнь дурачком прикидывается». Однако Павел Павлыч, когда одолевала его «животная обструкция», иногда напускал на себя строгость.

Вот барин сидит под окном, пьет чай с малиновым вареньем. У его ног на полу лежит старый крупный мопс. Мопс жирный и барин жирный, мопс пучеглазый и барин пучеглазый, глаза навывкате, серые, бессмысленные, под глазами мешки. У мопса на лбу многодумные глубокие складки, у барина тоже, мопс брыластый и барин брыластый, дряблые белые щеки полезли книзу, нос обыкновенный, губы бантиком, на голове напомаженные, хорошо причесанные волосы. И вот Павел Павлыч начинает «свирепствовать».

— Эй, Митрошка! — кричит он в окно.

В горницу входит бурмистр из хозяйственных старых крестьян, лицо желтое, постное, черная бороденка клинышком. Большой хитрец и миру согрубитель. Отвешивает барину поклон.

— Ну, как овсы?

— Да ничего овсы, ваше высокородие, только вот беда — волки овсы-то помяли. Не столько жрут, сколько топчут.

— Волки? Разве у нас есть волки? Разве они едят овес? Надо стрелять!

— Да ведь стреляли, батюшка барин, — потешается над Павлом Павлычем бурмистр. — Только что ружьишки-то у нас никудышные, не берут волков-то.

— Смотри, Митрошка, чтоб этого у меня впредь не было. А то своеручно драть буду! — сердито говорит барин и, взяв с подоконника арапник, стегает им в пол. Мопс просыпается, хрипло лает в пространство.

— Вот уж я на птичник выберусь, — говорит Павел Павлыч. — Чего-то куриц да уток мало стало...

— Уменьшилось, батюшка барин, уменьшилось, — потешается хитрый бурмистр, и острые глазки его улыбаются. — Зайцы одолели, ваше высокородие, этта семь курей задавили да певуна, да сколько-то уток с утятами. Никогда этакое не бывало, чтоб зайцы!..

— Зайцев надо ловить... Смотри у меня. Драть буду! — и барин снова бьет по паркету арапником.

У господ Одышкиных на взгорке, возле речки, обширный фруктовый сад.

Весь урожай яблок доходит до тысячи пудов. И хоть бы по два яблочка малым деревенским ребятишкам к празднику Преображения, ко второму спасу, когда церковь освящает плоды к употреблению всей человеческой твари. Жаден не барин, а барыня. Павел-то Павлыч нет-нет да и подкличет ребятишек к окну и выбросит им розовых яблочков.

Но вот беда: за последние годы сад стал мало давать плодов: как только начинали созревать яблоки, на сад нападали разбойники. И замест тысячи пудов оставляли барам Одышкиным пудов двести-триста. Вот и в прошлом году, вдруг услышал барин чрез открытое окно отдаленные крики, вот ближе, и уже явственно слышны голоса:

— Ой, батюшки... Разбойники!..

И вбегают в барский двор люди: простоволосая баба Лукерья-скотница, два старика, парень и трое мальчиков. И все в один голос:

— Ой, светы, ой, светы!.. Батюшка барин!.. В лесу разбойники, к саду подходят! Кешку избили, Фомку, кажись, досмерти зарезали, Фомка ходил коня ловить.

— Где разбойники?! Как разбойники?! — задрожав, как лист на осине, вскричали барин с барыней, высунувшись из окна на двор. — Бей в набат, собирай мужиков!

Загудел колокол, собаки залаяли, мопс залился хриплым лаем, под окнами дворня бегала, шумела: «Господи светы, разбойники... Всех нас жисти лишат».

Павел Павлыч стал как ребенок, пискливо взывал:

— Пашка, Машка, Дуня, Аверьян!.. Ой, прячьте нас скорей с барыней в подпол!.. Аверьян, выдай дворне ружья, мужикам топоры...

Бар спустили чрез люк в подполье, барин велел поставить на люк кухаркину кровать, да чтоб на кровать кто-нибудь лег да прикинулся спящим: ежели разбойники нагрянут в дом, люка не заметят и не проникнут в подполье.

Был вечер. Крестьяне с девками и подростками, покрикивая на ходу:

«Разбойники!.. Бей разбойников!.. Вот ужо-ужо мы их!..» — гурьбой валили в сад.

И слышат баре Одышкины, как в саду началась пальба из ружей и заполошные крики. Баре дрожат, стрельба и крики крепнут. Павел Павлыч сидит на мешке с луком, крестится, шепчет:

— Господи боже... Сюда идут... Отведи грозу, господи... Парасковья Захаровна, молись, молись!

Проходит и час и два. Вся эта комедия кончается тем, что крестьяне расходятся по домам, трое понятых идут в барский дом, объявляют вылезшим из укрытия барам, что разбойники прогнаны, но христопродавцы, мол, успели обить множество яблок и увезти с собой на подводах, что мол, разбойники в красных рубахах, бородатые, с большими ножами, лица завязаны тряпками.

Баре этим россказням верили, крестьяне и дворня, весело пересмеиваясь, всю ночь делили меж собой душистые антоновку, анисовку, белый налив и коробовку.

Уже третий год, как только снимать яблоки — посещают господ Одышкиных эти в красных рубахах, с большими топорами, разбойники. А вот нынче появились на правом берегу Волги не разбойники, а в тысячу раз жесточе, опаснее их, появились ватаги «злодея» Пугачёва, они баламутят крестьян, жгут поместья, вешают бар. Ну, да как-нибудь бог пронесет... Этот «сброд сволочной» еще, слава богу, далече, а верные её величеству полки гонят мятежную дрянью, как баранов.

Но вот пронесся слух, что Пугачёвские толпы свернули на юг, прошли будто бы Алатырь, движутся к Саранску. А кругом зачинались пожары, и небо по ночам то здесь, то там трепетало от зарева. Да и крестьяне помещика Одышкина стали не на шутку шебаршить, чрез открытое окно долетали до барина ругань, споры, шумные крики. Словом, барин понял,

что ему начинает угрожать опасность. Тогда он без промедления решил сберечь жизнь свою самым хитроумным, как ему казалось, способом.

Призвал барин старика Зиновия, своего бывшего пестуна. Зиновий старше барина лет на десять. В давнюю пору, когда Павел Павлыч был маленьким, они часто ходили с Зиновием и другими парнишками в лес по грибы, пугали шустрых белок, разыскивали птичьи гнезда. С тех пор так и установилась дружба между крестьянином и баринном. Барин любил Зиновия, старик Зиновий любил барина.

И вот они оба закрылись в спальне, толкуют по тайности. Беседа шла к концу, оба сидели раскрасневшиеся, графинчик усыхал, но закуски вдоволь.

— Пей еще, Зиновий... И я выпью... Хоть и вредно — почечуй нутряной у меня, а для такого раза выпью. Да, да... Вот я и говорю: боюсь душегуба, пуще огня боюсь. Дурак я, что не уехал с женой-то...

— Дурак и есть, батюшка барин, Павел Павлыч, опростоволосился ты, — говорит старик.

— Ведь от душегубов никуда не денешься, ни в лес, ни в воду...

Найдут. Говорят, собаки у них есть ученые, охотничьи — бежит, нюхтит, и сразу над баринном стойку...

— Что ж, батюшка барин, я в согласи...

— Согласен? Ну, спасибо тебе, Зиновий... Значит, чуть что, ты баринном срядишься, все мое парадное наденешь, а я в твою одежду мужиком выряжусь.

— Мне уж не долго жить, — утирая слезу, говорит подвыпивший Зиновий, — не жилец я на белом свете, грыжа у меня. Пуццай убивают... Только, чур, уговор, барин...

— Проси, чего хочешь, ни перед чем не постою!..

— Дай ты, барин, вольную сыну моему Лексею со всем семейством, еще дай лесу доброго, чтоб хорошую избу срубил себе Лешка-то мой, да триста рублей деньгами.

Павел Павлыч с радостью обнял старика и тотчас исполнил все его условия, написал приказ о вольности его сыну, велел сколько надо лесу выдать и вручил триста рублей священнику, сказавшему, что по уходе Пугачёва деньги те священник обязуется передать старику, либо его сыну Алексею.

Зиновий на всякий случай исповедывался и причастился, а когда дозорные донесли, что Пугачёв приближается, он отслужил молебен.

Священник, благословляя его, сказал прочувствованное слово о блаженстве тех, кто душу свою полагает за других.

На следующий день, поутру, запылила дорога, раздался праздничный трезвон во все колокола, священник, страха ради, вышел с крестным ходом за село.

Сначала проехали сотни три казаков, за ними — кареты, коляски, берлины, за ними, в окружении свиты и большого конвоя, сам царь-батюшка.

Сабля, боевое седельце, конская сбруя горят на солнце, и сам он, как солнце, свет наш, отец родной. Он не слез с коня и ко кресту не приложился, только прогремел собравшимся крестьянам:

— Детушки! Верные мои крестьяне... Уж не обессудьте, не прогневайтесь, гостевать у вас не стану, джюже походом тороплюсь. Всю землю дарую вам безданно, беспошлинно, с лесами, угодыями, полями. Владейте, детушки!

— Волю, пресветлый царь, волю даруй нам, батюшка! — кричали крестьяне, махали шапками, кланялись, отбрасывали горстями свисавшие на глаза волосы:

— Волю, волю дай, слобони от помещиков!

— Чье поле, того и воля, детушки! — снова прокричал Пугачёв. — Будьте вольны отныне и до века!

Он двинулся было вперед, чтоб, миновав поместье, ехать дальше, но Чумаков сказал ему:

— Не грех было бы, батюшка, с полчаса передохнуть, закусить да выпить.

Тогда Пугачёв завернул со свитой в барский двор, в дом вошел, прошелся по горницам. На столе появилось угощение, вино, бражка. Атаманы с Пугачёвым наскоро присели, стали питаться. Пугачёв поторапливал. Макая в мед пышки, вдруг спросил:

— А где хозяйева, где помещик тутошний? Повешен, что ли?

Произошло замешательство. Дворня, прислуживавшая Пугачёвцам, замерла на месте.

— Где ваш помещик?! — резко крикнул Пугачёв и хмуро взглянул на дворню.

Из соседней боковушки-горенки выступил на согнутых в коленях ногах трясущийся старый Зиновий, он одет в барский кафтан, длинные чулки, туфли с серебряными пряжками, борода аккуратно подстрижена, на голове господский парик.

— Я помещик Одышкин, твое величество, государь ампирактор. Как есть перед тобой, — низко кланяясь, сказал старик.

— Пошто навстречу ко мне не вышел? Должно, злобишься на меня?

— Занедужился, твое царское величество, — еще ниже кланяясь, продрожал голосом старец. — Вздыху не было, сердце зашлось...

— Занедужился? Так я тебя живо вылечу. Ведите во двор...

Дворня, желая спасти своего всеми любимого старика Зиновия, стала упрашивать:

— Помилуй, отец наш... Он помещик добрый. Обиды не видали от него, ни на эстолько...

— Нет во мне веры вам, — проговорил Пугачёв, подымаясь. И все атаманы поднялись. — Своих дворовых баре завсегда подкупают, задабривают. А вот мы крестьянство спросим... Мужик знает, кто на его лает... Айда!

Во дворе много народу: кто угощается, кто грузит подводы господским добром, кто седлает барских коней. Чубастый Ермилка затрубил в медный рожок, полковник Творогов зычно скомандовал:

— Казаки, на конь!

Пугачёву подвели свежего барского коня. На воротах качался в петле еще не остывший труп мирского согрубителя бурмистра. Пугачёв, занеся ногу в стремя и взглянув на удивленного мужика, приказал:

— Вздернуть барина!

Тут было много чужих крестьян, приставших к Пугачёвцам из другого уезда. Они схватили человека в барском платье, стали тащить его к виселице. Старик Зиновий, видя свой смертный час, сразу оробел: страх подступил под сердце, кровь заледенела, и он истошно закричал:

— Я не барин, я мужик, Зиновий!.. Ищите барина!..

В это время два парня и подросток волокли по двору упиравшегося Павла Павлыча Одышкина. Он в домотканине, в рваной сермяге — дыра на дыре — в лаптишках, жирное лицо запачкано сажей, обезумевшие большие глаза выпучены.

— Я не барин, я мужик!.. — вырываясь, вопил он пискливым голосом. — Эвот, эвот барин-то, кровопивец-то наш!.. Вешайте его!..

— Врет он! — вопил и Зиновий, тыча в Одышкина пальцем. — Он природный наш барин, только мужиком вырядился. Он меня обманул... Я — мужик Зиновий!.. А он — барин!.. Кого хошь, спроси...

Дальние, пришедшие за «батюшкой» крестьяне улыбались, чесали в затылках — вот так оказия... Морщины над переносицей «батюшки» множились, нарастали в грозную складку.

Из толпы было выступил местный крестьянин, намереваясь восстановить правду-истину. Но шум с перебранкой между Зиновием и барином крепки.



— Я природный мужик! — не переставая, кричал помещик.

— Ты барин!.. Вешайте его!

— Врешь, паскуда, ты барин-то! В петлю его! В петлю!

В сто глоток оглушительно заорали и местные крестьяне — ничего не разберешь. Пугачёв взмахнул рукой, сердито крикнул:

— Геть! Неколи мне тут с вами... Обоих вздернуть! — он тронул коня и, хмурый, поехал со двора долой.

Трое оставшихся казаков быстро исполнили царское повеленье. Когда вешали барина, осатаневший жирный мопс мертвой хваткой впился в ногу казака. Мопс был заколот пикой.

## 2

Несколько в стороне от Волги лежало обширное село, раскинувшееся на крутых зеленых берегах речушки.

На свертке с большака в селение встретила Пугачёва повалившаяся на колени перед ним толпа крестьян. Среди них — рыжебородый священник с крестом. Емельян Иваныч поздоровался с людьми, велел подняться. К нему робко подошел пожилой человек с бороденкой и косичкой, он в служилом кафтане с серебряным галуном по вороту и рукавам. Низко кланяясь и приветствуя Пугачёва, он задышливым от страха голосом проговорил:

— Оное село экономическое, сиречь живут в нем государственные, вашего величества, крестьяне. Управляющий сбежал, убоясь вашего пришествия, а я евоный писарь и правлю должность повытчика. — Он закатил глаза, облизнул сухие губы и добавил:

— Осмелюсь доложить: почитай, половина наших жителей охвачена скопческой ересью, коя имеет отсель распространение и на окольные местожительства. Об этом всякий размышляющий человек зело скорбит. Даже царствующая императрица Екатерина Алексеевна о сем указ в публикацию изволили издать.

— А ну, чего она там, не спросясь меня, указывает в указе-то своем? — подняв правую бровь, спросил Емельян Иваныч.

Писарь вытащил из-за обшлага бумагу и, откашлявшись, сказал:

— Вот копия с копии оного указа. — Он зачитал бумагу и добавил:

— Мера наказания изложена тако: «Начинщиков выдрать публично кнутом, сослать в Нерчинск вечно; тех, кто быв уговорены, других на то приводили — бить батожьем, сослать на фортификационные работы в Ригу, а оскопленных разослать на прежние жилища».

— Та-а-ак, — огребая пятерней бороду, протянул в недоумении Пугачёв.

— Ишь ты, ишь ты... Строгонько! Строгонько, мол... А какая такая скопческая ересь? — спросил он, ему никогда не доводилось вплотную встречаться со скопцами. — Скопидомы, что ли, они, деньги себе, что ли, скопляют всякой плутней?

— Ах, нет, ваше величество, — возразил писарь, он замигал и, напрягая неповоротливую мысль, силился, как бы поприличней изъясниться. — Через тяжкое усечение детородных приспособлений оные душегубы лишаются благодати продления рода христианского. Власы у них на усах и бrade вылезают, а голос образуется писклявый, как у женщин. И нарицают они себя: скопцы.

Пугачёв заинтересовался. Хотя ему и недосуг было, он приказал армии двигаться походом дальше, а сам с Давилиным и полсотней казаков повернули к селу.

Писарь с потешной косичкой, торчавшей из-под шляпы, ехал верхом рядом с Пугачёвым и все еще задышливым от страха голосом докладывал ему подробности скопческого изуверства. Пугачёв крутил головой, причмокивал, улыбался, затем начал сердито хохотать.

— Ну, а как же баб? Неужели и баб портят?

— Скопят и женский пол, — закатывая глаза, ответил писарь и опять принялся излагать подробности:

— Тут двое богатеньких мужичков орудуют: мельник да пасечник, они подзуживают да подкупают бедноту. Вчуже парнишек жаль, вьюношей прекрасных, в секту вовлекаемых, — наговаривал осмелевший писарь, он подпрыгивал в седле, как балаганный дергунчик, косичка моталась по спине. Тут же, среди свиты, кое-как ехал, встряхивая широкими рукавами рясы, и Пугачёвский «протопресвитер» — поп Иван. Он в трезвой полосе, ноги обуты в добротные сапоги с подковками, но на случай запоя болтаются привязанные к вещевому мешку новые лапти.

На площади, перед церковью, собралось все село. Среди пожилых мужиков — половина безбородых и безусых. Люди повалились впрах, завопили:

— Будь здрав, твое царское величество!

— Встаньте! — крикнул Пугачёв и хмуро сдвинул брови, рука его цепко сжимала нагайку, ноги внатуг упирались в стремяна. Было жарко, Пугачёв вытер пот с лица. Пригожая грудастая молодайка в сарафане подала ему в оловянном ковше студеного квасу. Выпив, сказал: «спасибо», спросил толпу:

— Не забижают ли вас управитель, алибо поп?

Одни закричали: «Забижают, забижают!» Другие: «Нет, мы довольны ими!»

Тут выступил опрятно одетый в суконный кафтан со сборами и смазанные дегтем сапоги невысокий мужичок. Безбородый, безусый, щуплый, с изморщиненным лицом, он был похож на старого мальчика.

— Это мельник наш, самый сомуститель, — подсказал писарь Пугачёву.

Низко поклонившись государю, мельник женским голосом, слащаво, как-то нараспев, заговорил:

— Начиная с попа, отца Кузьмы, все нас забижают, заступник батюшка. А царствующая государыня забижает нас, сирых, пуще всех... Токмо в тебе, твое царское величество, мы, рекомые скопцы, чаем обрести верного заступника. Слых по земле идёт, что всякая вера тебе люба и ты защищение творишь всем верным...

— Творю, творю... Будет тебе по-куриному-то кудахтать, — нетерпеливо произнес Пугачёв, он торопился в путь... — Сколько ты времени петухов на куриц переделываешь?

Подслеповатый мельник, плохо присмотревшись к хмурому взору Пугачёва, принял его слова за милостивую шутку и с проворностью ответил:

— А стараюсь спасения ради вот уж десяток лет. И посадил в свой корабль, аки кормчий, двести двадцать одну душу, охранив их от блуда и бесовской прелести. А по священному слову апокалипсиса предлежит посадить в корабль число зверя, сиречь шестьсот шестьдесят шесть душ спасенных.

Ежели посажу оное число, превечный рай узрю, со благим Христом вкупе обрящуся...

— Есть у тя помощники?

— Есть, есть, царь-государь, — и скопец, обернувшись лицом к толпе, позвал — Егорий, Силантий, Клим! Выходите, не опасайтесь.

Вышли еще три безбородых, безусых старых мальчика и низко поклонились государю. Тот взглянул на них сурово и с язвинкой в голосе сказал:

— Ну, спасибо вам, старатели... Спасибо!

Все четыре скопца истово закланялись царю — шутка ли, сам государь их благодарствует, — и померкшие, неживые глаза скопцов потонули в самодовольных морщинистых улыбках.

— А кто женщин увечит? Вы же?! — снова спросил Пугачёв.

— Уговаривает баб да девок богоданная жена моя, а груди им вырезает, для прельщения мужеска пола сотворенные, мой сподручный раб божий Клим. Он же и большие печати мужчинам ставит, а малые печати — Егорий.

Пугачёва покорило, он сплюнул и, подернув плечами, приказал:

— Покличь жену.

— Дарьюшка, Дарья Кузьминишна, выходи, государь зовет! — пропищал в толпу мельник, «водитель корабля».

Стала пред Пугачёвым еще не старая в цветном повойнике женщина с хитрыми глазами и утиным носом. Утерев ладонью рот, она в пояс поклонилась Пугачёву, замерла.

— Опосля того, как мельник оскотился, — пояснил писарь Пугачёву, — мельничиха завела себе вздыхателя кузнеца Вавилу и блудодействует с оным пьяницей двадцать лет.

— Как это влетела тебе в лоб сия пагуба? — спросил мельника Емельян Иваныч.

— Аз, грешный, творю долг свой по слову евангельскому, царь-государь, — кланяясь и одергивая рубаху под распахнутым кафтаном, ответил мельник. — Ибо сказано в священном писании: «Аще око твое соблизняет тебя, изми его, вырви от себя, тогда спасен будешь...»

— Так то око! — закричал Пугачёв, ударив взором стоявшего пред ним скопца-начетчика. — А ведь вы эвона чего чикрыжите... — Приметив попа Ивана, он кивнул ему:

— А ну-ка, отец митрополит, махни ему от святости, от писания, поводырю-то этому слепому...

Застигнутый врасплох отец Иван задвигал бровями, закричал, отвисшие под его глазами мешки зашевелились, лоб морщился, толстые обветренные губы что-то шептали, на лице отразилось отчаянье: не столь давно он твердо знал многие нужные тексты священного писания, но пропил память, все перезабыл... Ахти, беда!

— Чего молчишь? Язык в зад втянуло, что ли? — бросил сердито Пугачёв.

Поп Иван судорожно подскочил в седле и с испугом прокричал первое попавшее на память — «ни к селу, ни к городу» — евангельское изречение:

— Еже есть написано: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди...

— Стой, хватит... — Слыхали, пророки голорылые? — закричал на скопцов Пугачёв, ему как раз по душе пришлись слова попа Ивана. — Роди — сказано, вот как... Роди! А вы как заповедь господню исполнять

станете? Ась?

Изумленные грозными словами государя, скопцы выпучили глаза, разинули рты и схватились друг за друга. А мельничиха заохала и скосоротилась.

— Вы что, сукины дети, наро-о-од губить?! — еще громче закричал Пугачёв, потрясая высоко вскинутой нагайкой. — Нам треба, чтоб народ русский плодился да множился, а не на убыль шел! Чтоб земля наша была людна и угожа. В том есть наша государственная польза. И чтобы этакого глупства у меня больше не было! Слышите, мужики?! Я в гневе на вас на всех! — И, обратившись к адъютанту:

— Давилин! Всех четверых разбойников немедля повесить! Пятую — бабу с ними, уговорщицу... Я вам покажу, сукины дети, звериное число!..

— Батюшка! — и все пятеро, вместе с бабой, как подкошенные повалились в прах.

— А достальных голомордых межеумков, кои обмануты, всех перепороть кнутом. Вместях с ихним дураком попом, что не отвращал от пагубы! Я вам, сволочи...

Надсадно, во всю грудь дыша, Пугачёв поехал прочь. Затем, круто повернув коня, позвал:

— Эй, писчик! (Тот, потряхивая бороденкой и косичкой, подскочил.) Деньги в канцелярии есть?

— Малая толика есть, царь-отец... Тыщенки с две.

— Медяками али серебром?

— Середка на половину, ваше величество.

— Давилин! Примешь от него. А соль имеется в магазее?

— Имеется, царь-отец.

— Детушки! — закричал Пугачёв, снова въезжая в толпу. — Кто из вас самый верный человек есть?

Мужики, не раздумывая, закричали:

— Обабков, Петр Исаич!.. Староста наш... Самый мирской, без обману.

Эй, Петра, выходи!..

Вышел осанистый крестьянин, в его темной бороде густая седина.

— Ставлю тебя, Петр Обабков, правителем. Служи мне, благо ты народу верен. Рад ли?

Обабков поклонился, хотел что-то сказать, должно быть, в отпор, но язык не пошевелился, только серые глаза испуганно уставились в лицо грозного царя.

— Раздай соль безденежно по два пуда на едока, а как явится старый

управитель, прикажи вздернуть его, чтобы другой раз не бегал от меня. — И опять к народу:

— Детушки! Жалую вам всю государственную землю с лесами, реками, рыбой, угодьями, травами... Расплодитесь вдосталь и живите во счастья! А скопцам я, великий государь, ни синь пороха не даю. От них, от меринов убогих, роду-племени не будет, доживут свой век и так. И паки повелеваю: из мужиков, кои без изъяна, наберите полсотни конных, вооружите, и пуцай догоняют мою армию. А ежели мужики уклоняться учнут, село выжгу, вас всех каре предам! — Он было тронул коня, но вновь остановился:

— Эй, девки, да бабы, кои без поврежденья, а мужнишки да женихи коих изувечены, гуртуйте ко мне, да поскорейча — недосуг мне... — И, обратясь к сбежавшимся на его зов женщинам:

— Сколько вас?

— Да без малого сотня, свет наш, надежа-государь...

— Ты, свет наш, мужнишек-то наших куда ни то на чижолые работы угони: они все траченые, — наперебой застрекотали бабы. Многие из них вытирали платками слезы.

— Не плачьте, милые... ждите женихов себе! — И Пугачёв, стегнув коня, в сопровождении казачьего отряда ускакал. Догнав армию, он на первом привале рассказал своим о скопческом селеньи и, обратясь к Овчинникову:

— Вот что, Афанасьич... Отбери-ка ты полсотенки людей, кои поздоровше, да скорым поспешанием отправь-ка в село денька на два, на три, пуцай они там для ради государственного антиресу, для ради божьей заповеди поусердствуют.

Когда Овчинников предложил Мише Маленькому, первому, поехать в то село, тот улыбнулся в ус, сказал:

— Не в согласьи я... У меня дома баба есть...

— Да ведь для государственного антиресу...

— Не в согласьи! Откачнись! — крикнул уже с сердцем богатырь Миша и, повернувшись к атаману спиной, прочь пошел.

Проживающий в Пензе секунд-майор Герасимов вместе с офицерами-инвалидами направился в провинциальную канцелярию и спросил воеводу Всеволожского, где находится самозванец и какие меры приняты властями

для защиты города. Воевода ответил:

— По разорении Казани злодей действительно следует к Пензе. Соберите свою инвалидную команду и приготовьтесь к отпору.

Герасимов собрал всего лишь двенадцать человек, среди коих были безрукие, безногие, и приказал им вооружиться. В городе оказалось больше 200 000 рублей денег. Их начали прятать по подвалам, зарывать в землю. Но всех медных денег схоронить не успели, они впоследствии достались Пугачёву.

Начальство, во главе с воеводой, в ночь бежало. Наступило безначалие.

Остался лишь один Герасимов. На базарной площади, в последних числах июля, собралось до двухсот пехотных солдат, живущих в городе.

— Что вы здесь делаете? — осведомился у них проходивший рынком Герасимов.

— А мы судим да рядим, как быть, — отвечали пехотные солдаты. — Все начальники убежали, некому ни делами править, ни город оборонять. Вы, господин секунд-майор, самый большой чин здесь. Просим вас принять команду и город защищать.

Оставшийся в городе бургомистр купец Елизаров собрал всех людей торговых в ратушу и спросил их:

— Надо защищать город или не надо?

Купцы долго молчали, переглянулись, разводили руками. По выражению их лиц, озабоченных и смятенных, видно было: купцы что-то хотят сказать, но не решаются. Тогда заговорил седобородый, почтенный, с двумя медалями, бургомистр Елизаров:

— Вот что, купечество, ежели без обиняков говорить, начистоту, то прямо скажу — противиться нам нечем: ни оружия, ни народа у нас, ни чим-чего... Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? Авось, город спасем тогда от пожара, а жителей от смерти лютыя.

Купцы сразу оживились, дружный крик в зале зазвучал:

— Правда, правдочка, Борис Ермолаич! Где тут ему противиться? Эвота он какой: крепости берет, Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит.

А давайте-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом-солью.

В это время влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши. Среди народа — почти все двести человек пехотных солдат.

Бургомистр Елизаров вышел на балкон и объявил толпе, что купечество решило самозванцу не противиться.

И удивительное дело: народная толпа, паче всякого чаяния,

купеческим решением осталась недовольна.

— Вам, толстосумам, хорошо так толковать! — кричали из толпы. — Вы потрянете мощной, откупитесь... А нас-то вольница за шиворот ограбастает да к ногтю...

И вся толпа, брюзжа и ругаясь, повалила к провинциальной канцелярии, где совещались майор Герасимов, три офицера и несколько пензенских помещиков.

Толпа крикливо требовала вооружить ее. Вышедший наружу офицер Герасимов сообщил народу, что за отсутствием казенного оружия пусть жители сами вооружаются, чем могут.

В три часа дня (1 августа) нежданно-непременно явились на базар человек пятнадцать конных Пугачёвцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. К всадникам со всех сторон устремился народ. Есаул Яков Сбитень выдвинулся на коне вперед и, как сбежались люди, достал из-под шапки бумагу.

— Жители города Пензы! — возвал он, прощупывая толпу строгим взором бровастых глаз. — Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя.

Народ обнажил головы. Есаул отдельно и зычно стал читать:

«Божию милостью мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и проч, и проч...

Объявляется по всенародное известие.

По случаю бытности с победоносной нашей армией во всех, сначала Оренбургской и Сибирской линии, местных жительствовавшие разного звания и чина люди, которые чувствуя долг своей присяги, желая общего спокойствия и признавая как есть за великого своего государя и верноподданными обязуясь быть рабами, сретение имели принадлежащим образом. Прочие же, особливо дворяне, не желая от своих чинов, рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих возмущая к сопротивлению нашей короне, не повинуются. За что грады и жительства их выжжены, а с оными противниками учинено по всей строгости нашего монаршего правосудия».

Настроение толпы было выжидательное, неопределенное, да и манифест показался народу не особенно понятным. Подметив это, есаул обратился к жителям попросту, как умел:

— Верьте, миряне, что к городу подходит не самозванец, как власти внушают вам, а сам истинный природный государь! Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом-солью, а окажут противность, то все в городе до сущего младенца будут истреблены и город



выжжен.

После этого, пригрозив нагайкой, всадники повернули коней и галопом поехали из города.

Озадаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили всем скопом к провинциальной канцелярии, куда, по набату соборной колокольни, сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь секунд-майору Герасимову народ кричал:

— Защищаться нам нечем! Погибли мы... Веди нас государя встречать с хлебом-солью.

Герасимов повинился.

Вскоре вся толпа, в сопровождении духовенства и купечества, вышла из города и в версте на возвышенном месте остановилась.

День был золотой, солнечный, и кругом было рассыпано золото: блистали богатые ризы духовенства, отливали блестками иконы, кресты, хоругви с мишурными кистями, золотились поспевшие нивы, часть хлеба уже была сжата.

Но жнецов в поле не было, золотистые нивы — сплошная пустыня. Дозревали высокие льны. Пред глазами широкая лежала даль, подернутая таинственной сизой пеленой, за которой чудилось жителям шествие грозного царя. Что-то будет, что-то будет, господи?..

Народ разбился на кучки, уселись на земле, а некоторые и прилегли — снопы в головы. Духовные лица, сняв парчовое облачение, вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернцовым, расположились вдоль канавы, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины, поданной босоногим поповичем, сдобные ватрушки, с проворством стал жевать. Дьякон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымили трубками. Всюду разговоры, разговоры. Огромный жужжащий табор.

А золотое, все в пожаре солнце сияет с высоты, и нежно голубеет спокойное небо. Легкие, как бы невесомые, жаворонки утвердились в воздушном океане, словно на ветвях невидимого дерева, и, перекликаясь друг с другом переливчатыми трелями, с зари воздавали хвалу животворящему духу.

Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны на присмирившую толпу надвигается ветер ли, буря ли, а может, шествует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь.

Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе — и вся дорога запылила — версты на три. Глаз стал различать ехавший впереди отряд

всадников.

Духовенство принялось облачаться, офицеры одергивать мундиры, подтягивать шелковые с кистями кушаки, купцы расчесывать гребнями бороды и волосы, толпа размещаться по обе стороны дороги, выдвигать наперед почтенных стариков.

Пугачёв к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Федор Чумаков и адъютант Давилин.

По обычаю, приложившись ко кресту, Пугачёв устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вел беседу:

— Вот и царя узрели, детушки... Дарую вам жизнь безбедную. В моем царстве-государстве, ежели всемогущий господь сподобит воссесть мне на престол, тиранства вам от бар не будет. А слезы ваши вытру, только послужите мне.

— Послужим, отец наш! Будь в надеже! — радостно откликнулся народ.

— А где же воевода ваш и достальное начальство? — спросил Пугачёв.

— А воевода Всеволожский сбежал, твое величество.

Пугачёв переглянулся с Чумаковым, насупил брови.

Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Кознова. Для пуцего парада Емельян Иваныч приказал ратману купцу Мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он сроду так не ездывал: сидел в седле потешно: рыжая, как пламень, борода его дрожала, левая штанина вылезала из сапога, шляпа сползла на затылок, купец в страхе бормотал:

— Ой, упаду, ой, светы мои, брякнусь! — красное лицо его покрылось испариной.

Глядя на него, Пугачёв улыбался. А осмелевший народ, поспевая вприпрыжку за процессией, смеясь, кричал:

— Падай, падай скорее, Иван Павлыч, пакедова мягко!..

Однако купец при въезде в город успел-таки оправиться: распустив по груди пламенную бородищу и помахивая нагайкой, он уже покрикивал:

— Шапки долой перед государем! Шапки долой!

Но и так все были без шапок. «А бургомистр, купец Елизаров, ускоряя прежде всех, — как впоследствии отметил местный летописец, — дождался у ворот встретить злодея».

Пугачёв пригласил за стол из своих ближних только двенадцать человек.

Пищу разносили не слуги, а сами купцы с шутками и прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей. Пили за здоровье Петра Третьего, государыни Устиньи Петровны и наследника-цесаревича. Пугачёв был доволен. Он снял кафтан со звездой и остался в одной шелковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щеки не подбривал, на висках белела седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку да хорошенько протолочь, подлить конопляного масла и покрепче посолить. Ел, облизываясь и от удовольствия покрякивая. Блаженно жмурился, говорил:

— Это кушанье турецкое. К нему приобьк я, как жил в укрытии у дружка моего — турецкого султана. Ась? Ну, вот, господа купцы, теперь вы да и все городские жители моими казаками называетесь. Ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хошь, запрету от моего царского имени не будет, и промышленяй всякий про себя.

В это время в городе и на базаре было шумно, разгульно, весело.

Пугачёвцы выпустили из тюрьмы всех колодников, растворили питейные дома, трактиры, соляные амбары, разрешив народу пить вино и брать соль безденежно. Однако они выставили от себя надсмотрщиков, чтоб соль бралась по справедливости и вином чтоб не упивались до потери сознания.

Тем не менее многие перепились. Бродили по улицам, орали песни, ругались. Чахоточный высокий сапожник в кожаном фартуке, с ремешком на голове, совался носом по дороге, потрясал кулаком, хохотал и пьяно выкрикивал:

— Эй, народы! Дома кашу не вари, все до городу ходи! Ха-ха-ха...

Грабь богатеев!

Кое-где действительно уже зачинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на запоре. Грабители перелезали заплоты, вваливались во дворы, вступали в бой с цепными, спущенными на волю собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На соборной площади толпа разбивала торговый, с красным товаром, лабаз. Пугачёвцы отогнали толпу нагайками. В одном месте священник кладбищенской церкви вышел с крестом в руках увещевать буянов, но толпа надавала ему по шее, поп едва убежал.

По улице Пугачёвцы волокли вешать усача-целовальника, однако толпа вступилась за него:

— Кормильцы, радетели! Не трог Моисея Лукича... Он человек бесхитростный, добрецкий. В долг бедноте дает...

Целовальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом полились слезы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке:

— Стой!

В тарантасе сидели, связанные, бледные, трое: пожилой мужчина со злыми глазами, женщина, должно быть, жена его, и сын, паренек лет тринадцати. Рядом с ямщиком и в тарантасе — четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели:

— Получайте! Их, гадов, бар-то этих, человек двадцать ночью сбежало из города-то... А пымали одного. Это помещики Арбузиковы, самые лиходеи!

Сам-то из полицейских крючков выслужился, нахапал взяткой, хабару с живого-мертвого драл...

— Вешать!.. — заорала толпа. — Ведь к воротам...

— Братцы! Огонька бы по городу пустить!.. — кто-то выкрикнул.

Но крикуна-поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлей.

Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачёв сказал:

— Полковник Чумаков! Пойди, уйми народ...

— Да уж теперичь не унять, батюшка твое величество, — ответил Чумаков. — Пущай погуляют...

— Ну, ин ладно... Только чтоб купцов моих не забижали. А пикеты расставлены?

— Расставлены, батюшка, — почтительно сказал Чумаков. — Чичас оттудов сержант Мишкин да два есаула... Доклад чинили мне. Наши в городе пушки да порох с ядрами забирают да медные деньги на возы грузят...

— Добро, — сказал Пугачёв и вдруг, обратясь к сидевшим против него офицерам, поразил их такими словами:

— А ведомо ли вам, господа офицеры, что вожу я с собой в походах знамя голштинское? Ась? Ведь у меня было в Ранбове, где я пребывание имел, трехтысячное войско голштинцев и пешие и конные полки. Ну, так у них свои были знамена. — Обо всем этом Пугачёву удалось своевременно выведать у полковника Падурова и передавшегося ему под Оренбургом офицера Горбатова. Поэтому рассказ он вел уверенно. — А как жена моя, прелюбодейная Катерина, сговорившись с великими вельможами да с жеребцами Орловыми, лишила меня престола, все оные знамена были Сенатом схоронены в кованный сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, как пришел в возраст, так отца-то своего пожалел. Пожалел, детушки, дай бог ему здоровья! — Пугачёв перекрестился.

— И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. Давилин! Покажи господам офицерам знамя мое.

Дежурный Давилин принес из угла комнаты древяно со свернутым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем «П III» и крупным черноперым орлом.

Пугачёв поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, вскочили.

Секунд-майор Герасимов сначала побледнел, как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок.

Пред ним было доподлинное императорское знамя, принадлежавшее голштинскому в Ораниенбауме воинскому отряду.

— Ну, господин майор, что скажешь?

— Ваше величество, — весь внутренне содрогаясь, ответил Герасимов, — когда я кончил шляхетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Ораниенбауме... А вы в то время...

— Стой, майор Герасимов! Будь моим полковником...

— Низко кланяюсь вашему величеству... Не заслужил... Благодарю... государь, — заволновался, нервно замигал полнощеким, в годах, Герасимов.

— Гей, атаманы! Да и вы, люди торговые! Прислушайтесь, что полковник Герасимов толкует.

Шум и разговоры тотчас смолкли. Взоры всех направились в сторону государя. Он сел, откинул свисшие на глаза волосы, огладил бороду, кивнул офицеру. Тот, сметив, что от него требуется, громко повторил сказанное и продолжал:

— В то время, помню, вы изволили чинить смотр своим голштинским войскам. Вы тогда были молодой, без бороды. А общие черты вашего лица сохранились теми же и поныне...

— Ась? Сохранилось лицо-то мое? — радостно подбоченился Пугачёв и, приосанившись, поглядывал орлом то на Герасимова, то на атаманов с купечеством. — Слышали, господа казаки? Говори, полковник.

— И вот, как сейчас вижу перед своими глазами это голубое знамя... как сейчас... Без всякого сумления, это оно и есть.

— Как есть оно! А я, стало быть, не кто иной, как природный император Петр Федорыч Третий... Пускай-ка Михельсон с Муфелем понюхают знамя-то, чем пахнет, да носами покрутят... Ах, злодеи, ах, изменники! Ну, погоди ж!

Пугачёв уехал из Пензы под вечер, забрав с собою 6 пушек, 590 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов пороху, много ружей и сабель. А медных денег было взято 13233 рубля 63 3/4 копейки, ими нагрузили 40 подвод. Пугачёв распорядился три бочонка с деньгами подарить протопопу, два бочонка — штатным солдатам, шесть бочонков — инвалидной команде, а часть денег была разбросана народу. Емельян Иваныч направился к городу Петровску, в сторону Саратова, и, отъехав от Пензы всего верст семь, остановился лагерем.

На другой день с утра по улицам города было расклеено объявление:

*«Сего августа 3 числа, по именному его императорского величества указу, г. секунд-майор Гаврило Герасимов награжден рангом полковника и поручено ему содержать город Пензу под своим ведением и почитаться главным командиром. Да для наилучшего исправления и порядка определен быть в товарищах купец Андрей Яковлевич Кознов. И во исполнение оного высочайшего указа велено об оном в городе Пензе опубликовать, чего ради сим и публикуется.*

*Товарищ воеводы Андрей Кознов»*

В тот же день было вывешено и другое объявление от нового воеводы — полковника Герасимова:

*«По именному его величества высочайшему изустному повелению приказано г. Пензе со всех обывателей собрать чрез час в армию его величества казаков 500 человек, сколько есть конных, а достальных пеших, которые обнадежены высочайшего его императорского величества милостью, что они как лошадьми, так и прочею принадлежностью снабдены будут. А если в скорости собраны не будут, то поступлено будет по всей строгости его величества гнева сожжением всего города».*

Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать.

Вскоре было набрано 200 человек и при прапорщике отправлено к Пугачёву. Тот остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с армией дальше. Герасимов, искренне принимавший самозванца за царя, тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в сорока верстах от Пензы.

— Что же ты, полковник, не исполняешь моего приказа? Ась?

Герасимов, выразив верноподданническое чувство, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу.

Пугачёв двигался быстро. Он опасался встречи с правительственными отрядами и спешил загодя уйти от них. Отряды же Муфеля и Меллина в свою очередь боялись встречи с главной Пугачёвской армией. Они с успехом разбивали мелкие повстанческие партии, состоящие из крестьян, барской дворни, однодворцев и поповских сыновей, грозного же Емельяна Пугачёва страшились, как огня. Так как граф Меллин, имея тысячу человек отлично вооруженной пехоты и двести улан-кавалеристов, остановился в экономическом селе Городище, в сорока верстах от Пензы, которая в это время занята была Пугачёвым, и стал выжидать здесь, когда Пугачёв Пензу покинет. А ведь Меллину было предписано идти по следам «злодейской толпы» и, как только она будет обнаружена, немедля вступать с ней в бой. Но он, очевидно, переоценивая силы Пугачёва и желая сохранить жизнь свою, на это не отважился. Прожив в полном бездействии трое суток, он послал туда двух ямщиков села Городища — братьев Григорьевых, а вдогонку им сельского старосту с наказом разузнать и донести ему о выходе Пугачёва из Пензы. И Меллин только тогда насмелился выступить походом к Пензе, когда ему все три посланца, вернувшись, сообщили, что «злодейская толпа еще вчера побежала по Саратовской дороге». Подобные очень важные и весьма курьезные обстоятельства были на руку Пугачёву: они укрепляли в населении веру в несокрушимую силу «батюшки-заступничка» и в то, что он, действительно, природный царь есть.

— Видали, братцы, — озадаченно говорили мужики. — Генералы-т побаиваются... Чуют, что не кто иной, а сам ампирактор Петр Федорыч шествует. Уж они-то, генералы-т, зна-а-ют, их на мякине-т не обманешь.

— Гей, братцы. Живчиком собирайся к батюшке...

Вслед за Меллиным 5 августа вступил в Пензу и Муфель.

Ставленники Пугачёва — Герасимов и купец Кознов были арестованы, отправлены в казанскую Секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, были на площади под виселицей наказаны кнутом, четверо закачались в петлях. Здесь же были сечены плетьюми и купцы-хлебосолы.

Граф Меллин, делая форсированные марши по сорок, по шестьдесят верст в сутки, выступил далее. А оставшийся в Пензе Муфель оказался среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных

помещичьих селеньях.

Проходя со своей армией, Пугачёв видел, как днем и ночью горят повсеместно барские гнезда. И со всех сторон толпами валят к царю-батюшке мужики.

Но, несмотря на это, ядро Пугачёвских сил не возрастало, а постепенно таяло.

Огромной толпе, не в одну тысячу человек, с большим обозом идти по дороге не было возможности: не хватало ни кормов для людей, ни фуража для коней. Поэтому, волей-неволей, от главной армии отделялись порядочные толпы воинственно настроенных крестьян.

Не спросясь Пугачёва, они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уездам.

Так, отрываясь от главного пожарища, всюду разлетаются гонимые ветром огненные головешки, они падают то здесь, то там, и вот воспламеняются новые пожары, вступают в жизнь новые проявления мстящей вольности народной.

Эти мстительные толпы, передвигаясь с места на место, быстро обрастали почуявшими волю крепостными крестьянами, пахотными солдатами, а зачастую и обнищавшими дворянами-однородцами.

Так, крепостной крестьянин графини Голицыной, Федот Иванов, успел собрать толпу до 3000 человек и носился с нею вихрем по всему уезду.

Предводители этих отдельных от Пугачёва толп возили с собой указы «мужицкого царя», хватали помещиков, направляли их к Пугачёву или убивали на месте. Находившиеся в таких ватагах Пугачёвские казаки были много милосерднее крестьян. Казаки иногда пробовали держаться в каких-то, впрочем, довольно призрачных, рамках законности, требовали хоть какого-нибудь расследования обстоятельств дела — может статься, помещики не были для своих крестьян жестокими тиранами. Однако крестьяне в один голос вопили:

— Вешать! Он нынче хорош, а завтра хуже дьявола. Батюшка всех бар вешать повелел, под метелку! Бар не будет, земля вся мужику перейдет. Вешать!

Вешали помещиков, приказчиков, старост.

Богатые помещики сравнительно страдали мало — они своевременно успевали скрыться. А баре вельможные, вроде княгини Голицыной или графа Шереметева, и вовсе не платились жизнью, они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделялись только материальными убытками: их поместья сжигались, богатства расхищались.

Как это ни странно, немало было истреблено помещиков средней руки



и даже мелкота. Впрочем, многие из них, именно владельцы среднего достатка, в своей погоне за наживой, за тем, чтоб не отставать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали из своих крестьян путем насилия все, что можно, и этим страшно озлобляли против себя подъяремных крепостных.

Народная месть обрушивалась, помимо помещиков, также на управителей имениями, на приказчиков, бурмистров. Эти наемники, стараясь оправдать доверие своих господ да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами бары.

Сбежавшие из Пензы пред вступлением Пугачёва в этот город воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к Пугачёву на суд, но по дороге в деревне Скачки конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря, Дудкин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачёва, были повешены толпою Иванова в селе Головщине.

Спасаясь от Пугачёва, все они угодили в плен к разъяренным толпам. И как знать! Сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы-невредимы. И таких случаев народной мести было не мало. За короткое время в одном только Пензенском уезде так или иначе пострадало до 150 помещичьих семейств, или до 600 человек.

Однако Емельян Иванович Пугачёв вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия.

Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что Пугачёвское движение теперь утратило почти всякое организованное начало и вылилось в форму движения стихийного.

Да оно и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым быстрым маршем проходил Пугачёв, это не то, что мятежная столица Берда, где мужицкий царь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая Военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волею Пугачёва, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В Военную коллегия являлись за приказами Пугачёвские полковники и атаманы, они без её повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, и почти ни один

сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от её внимания.

Потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью Пугачёв бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтыщи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И не было времени ему одуматься, чтоб снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить её для окончательной схватки с докучливым врагом.

И все пошло самотеком. В руках Пугачёва ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачёв сугубо страдал.

Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси, начиналось Пугачёвское движение без Пугачёва, вне его направляющей воли.

Как уже мы видели, от центральных Пугачёвских сил отделялись толпы и, без ведома своего царя, устремились на самостийную работу.

Зачастую подобные толпы возникали сами собой, в разных местах.

Участники их в глаза не видали Пугачёва, — что им мужицкий царь — они сами Петры Федорычи! И набеглых Петров Третьих — разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцеляристов Сидоровых, поповичей Преклонских — можно было насчитать по России немало количество. Все они Петры Третьи или его полковники. Но сам Пугачёв не имел о них ни малейшего понятия, они тоже знали его только понаслышке.

А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович, шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключенный в Шлиссельбургскую крепость и там давным-давно убитый. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех приходящих к нему щедро награждал деньгами. «Меня хотели убить, Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, — взывал он к народу, — но всемогущий бог спас меня. Я ваш император Иоанн». Темные попы валились пред ним на колени, служили о его здравии молебны.

В маленьком городишке Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооруженных крестьянина. Оба — грозные обличьем, заросшие густыми бородами.

Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре:

— Я — царь ваш, миряне, Петр Федорыч Третий! Великое воинство идёт за мной.

Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.

— Ой, батюшка! Ой, свет ты наш! — завопили окружившие всадников крестьяне.

Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители и помещичья дворня стали сбегаться на базар, воевода и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергся разграблению, побито было до восьмидесяти человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильникам сопротивление.

Из Инсара «Петр Третий» (он же Евстафьев) увел толпу в Троицк, жители которого сразу покорились самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ князь Чегодаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком, с дубинками, косами, топорами повалила за своим Петром Третьим в Краснослободск, затем в Темников и, разбив эти города, стала приближаться к Ардатову. Около Керенска он был разбит.

Действовал также со своей толпой литейный мастер Инсарского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казенные заводы Сивнский, Рябунинский, Виндреевский и Троицкий винокуренный. Толпа мастера Мартынова выросла до 2000 человек, но в конце концов была разбита.

Работала также команда из двенадцати человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски; он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керенск и Богородицкий монастырь. Когда служили в монастыре молебен с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху попадали на пол.

Начал организовываться отряд повстанцев и среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали «колебания» и «замешательства» и в других местах Тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. «О тульских обращениях» Екатерина писала в Москву князю Волконскому: «Слух есть, будто там, между ружейными мастерскими, беспокойно. Я ныне там заказала 90 000 ружей для арсенала: вот им работа года на четыре, — шуметь не станут».

Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка да и возглавлялись людьми неподходящими.

Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого, смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося «полковником государя императора». От его огромной толпы в свою очередь отделялись небольшие отряды и, опять-таки без ведома Иванова, устремлялись на добычу.

Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо, в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимая Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал двести человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова.

В тридцати верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой.

Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с одетыми в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до трехсот человек убитыми, сто семьдесят крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек и две медные мортиры.

Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшееся в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.

Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу, на суд царя-батюшки. Но Пугачёва там крестьяне уже не застали и, раздосадованные, повели дворян обратно, вслед за государем.

— Куда везете этих гадов? — остановили подводчиков случайно встретившиеся Пугачёвцы. — Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов. Он их всех подымет кверху. А нет, сами расправьтесь.

— Пятые сутки треплемся, — жаловались крестьяне. — Лошадей-то притомили. Эй, Макар! — кричали они переднему вознице. — Поворачивай, ни то, в лесок. И впрямь кончать надо с гадами.

Один из находившихся в этой группе обреченных — помещик Яков Линева впоследствии писал в Москву своему приятелю: «Остановясь в лесу велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины, чтобы переколоть нас. Но в самый тот час прибывший конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех мужиков переловили. Из коих злодеев шестеро — застрелены, четыре повешены, прочие, человек двадцать, кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего пред казнь, то и

увидели бы меня в одном армячке, сертуке без камзола, стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку».

— ...Не падайте духом, государь, — продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов.

Пугачёв молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога.

Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающие свечи на столе. В переднем углу, перед образами, скупомыгивает огонек лампы. Истоптанный ковер на полу. Возле изразцовой печи — голштинское знамя и другое — государево, с белым восьмиконечным крестом. В стороне, за печкой, на брошенном тюфяке храпит — руки за голову — верный друг царя атаман Перфильев.

За окном — костры, отдельные выкрики, посвисты, затихающая песня, и возле церковной ограды — устрашающая виселица. Темно. В темном небе серебрятся звезды. В комнате сутемь. Кольшутся дремотные огоньки, ходят тени по стене.

Пугачёв в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к изразцам холодной печи. Его открытое, обрамленное волнистыми белокурыми волосами лицо полно решимости, взор напряжен. Ну, что будет, то будет: смерть так смерть, но он решил, наконец, перемолвиться с Пугачёвым откровенным словом.

— Не падайте духом, государь, — повторяет он. — Замысел ваш бесспорно смел... А посему и ошибки, — а их много у вас, — тоже неизбежны, понятны и... я бы сказал... зело немалые.

— Ошибки не обман, — хмуро промолвил Пугачёв.

— Избави бог, ничуть, — пожал плечами Горбатов. — Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу.

— Верно, верно! — Пугачёв порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикриком взмахивал рукой.

Видимо, он искал слов, которые правильно выразили бы его думы, и сразу не мог таких слов найти.

Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, наконец сказал:

— Ведь ваши намеренья большие, я бы сказал — огромные. И ежели вы все потеряете из-за немалой смелости своей, за вами все же останется слава великого бунтаря. И потомки упрекнуть вас в неспособности не посмеют.

Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачёв вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес:

— Мила-а-й! Благодарствую. И как на духу тебе. Намеренья-то мои, это верно, горазд большущие, а силенки-то надёжной в моих руках нетути...

Нетути! Вот и казнюсь теперь, и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горючими обливаюсь. Только таюсь от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об эфтом... А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок... Да ведь и мне так думается: ежели и загину я, на мое место еще кто-да-нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет.

Пугачёв отсморгнулся, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил:

— Верно, что когда дела зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок... Эх, думал я, дам взбучку старшинам яицкого войска за их злодейства лютые, тряхну начальство, да и прочь с казацкой голытьбой куда глаза глядят. А тут вижу — не-е-ет... Вижу — день ото дня гуще дело-то выходит, крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. И уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я: будь, что будет! И покатился я, как снежный ком, все больше да больше стал облипать народом. А тут — пых-трах, без малого весь Урал-гора, все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись! Во как... Вот тут-то, чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне приклонились, уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя... Орлом! У меня тут, чуешь, гусли-мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгадь! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко облестительный: ударить на Москву, поднять всю Русь, а как придут из Туретчины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идёте? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую, владейте безданно, беспощинно, будьте отныне вольны. На-те вам царство, на-те государство, давайте устраивать жизнь-судьбу как краше». Не враг я народу, а кровный друг! — Пугачёв перевел дух и спросил:

— Ну, как думаешь, полковник?..

— Я не полковник, а майор, ваше величество, — перебил его Горбатов.

— Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказало бы в ответ мне войско?

— Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.

— Правда твоя, генерал. Будь отныне моим генералом. Люб ты мне. Лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршалы вскорости произвел бы, да чую, бросишь ты меня... И все вы меня бросите, предадите... — с особым надрывом, тихо сказал Пугачёв и опустил на грудь голову.

— Избави бог, государь! Я до конца дней с вами! — прокричал Горбатов.

— Знаю. А все ж таки, чую, и ты спокинешь меня, убоишься петли-то...

— Пугачёв сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал:

— А вот я не боюсь, не боюсь!.. Мне гадалка-старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь!..

Пожил, погулял двенадцать годков после своей неверной смерти — и будет с меня... Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорыч...

По губам Андрея Горбатова скользнула легкая усмешка. С минуту длилось молчание. Пугачёв опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера, спросил:

— Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорыч Третий?

Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес:

— Да нешто вы и в самом деле император Петр Третий?

Пугачёв, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера.

— А как ты думаешь, твое превосходительство? — стоя вполоборота к Горбатову, сурово и отдельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взрябилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза.

Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле.

Однако, овладев собой, с напряженным спокойствием проговорил:

— Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в летопись о борцах за народ! Про вас станут песни складывать, как про Разина...

Пугачёв не вдруг осмыслил слова офицера.

— Борцов? За народ? Песни складывать? — недоуменно бросал он,

двигая бровями и глядя через плечо в глаза Горбатова. — Ишь ты, ишь ты... — Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой, напористо спросил:

— Ну, а все ж таки... Раз на тебя сумнительство напало. Ежели я не царь по-твоему, не Петр Федорыч... Так кто же я? Отвечай немедленно!

Горбатов как замороженный молчал, губы его подергивались, сердце сбивалось.

— Отвечай, царь я или не царь?! — резко притопнув ногой, крикнул Пугачёв.

— Нет, вы не царь, — все тем же спокойным голосом ответил Горбатов, от крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступила испарина.

Пугачёв прынул в сторону, взмотнул локтями. В мыслях стегнуло:

«Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры?» Желчь растеклась по жилам Пугачёва. В нем все кипело.

— Изменник! Согрубитель! — свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренне сжался, пальцы на его руках затрепетали. — Мало я вам, злодеям, головы рубил! — Пугачёв порывисто схватил стоящую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека, ему было жаль умерщвлять его.

— В последний раз! Царь я или не царь?!

Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он вздохнул:

— В последний раз говорю: нет, нет!

— Так кто же я?! — взревел Пугачёв и выхватил из ножен острую, в белом огне, саблю.

— Вы выше царя! — каким-то особым, приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взглядом Пугачёва:

— Вы народа вождь! — И Горбатов вытянулся перед Пугачёвым, как в строю.

Емельян Иваныч враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще более выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.

— Выше царя... Как это так — выше? Чего-то шибко заковыристо, в толк взять не могу, — бормотал Пугачёв, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.

— Все просто, все понятно, — сказал Горбатов и, помедля малое



время, продолжал:

— Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда...

— Пошто так?

— А кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? — продолжал Горбатов. — Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный... Бездельник он великий и пьяница!

Снова наступила тишина. Из груди Пугачёва снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слышал подобных слов: они ударили его в сердце.

Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:

— Милый... Друг... Уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав... Только, чуешь, хитро, ой, хитро ты говоришь... И со смелостью!

Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и — нога в ногу — подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.

«Народа вождь... Выше царя...» — каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова... «Выше царя... Неужто так-таки выше?»

Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатову стало неловко.

Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачёва, произнес:

— Покойной ночи, ваше величество!

Пугачёв, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.

Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальний родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок Святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.

— Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был...

— А ты сам-то как до нас добрался? — спрашивали его.

— Когда Оренбург освободили, да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки... Да я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись... — голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навывкате — задорные.

Его привели к Пугачёву. «Батюшка» обрадовался, начал обо всем с жадностью выпрашивать, казак отвечал срывающимся робким голосом, а когда Емельян Иваныч усадил его и велел поднести вина, Оладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказал об Оренбурге и, понаслышке, об Яицком городке, что государыня Устинья Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней схвачена вся её родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие-прочие.

Брови Пугачёва изломились, рот перекосясь, он ударил кулаком в коленку и, замотав головой, крикнул:

— Пропала государыня! Пропала Устинья Петровна! Замучают ее, бедную...

Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней — другую, наполнил третью... Закусывал селедками, рвал их руками, обсасывал пальцы, стирал о рушник. Выпил третью... Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в темную с заметной сединой бороду:

— Пропала, пропала... Эх, пропала бедная головушка...

— И еще хочу сказать, — обсасывая хвост селедки, заговорил Оладушкин.

— Хлопуше, названному полковнику вашего величества, принародно казнь была.

— О-о-о, — протянул Пугачёв и вскинул на казака вновь ожившие глаза.

— Ты видел, что ли?

— Самовидцем был... В крепости вешали-то, под барабаны. Мы с солдатней кругом помоста стояли, в походном строю, с хорунками да со значками. А народ-то на валу. Густо народу было... И как кончил чиновник бумагу оглашать, да повели Хлопушу к петле, вот он и возгаркнул во весь народ, как в колокол брякнул: «А Казань-то, — орет, — батюшкой взята!..

Начальство перевешано!..» Тут ему рот хотели заткнуть, а он,

безносый, страшительный, рванулся да свое: «И вам, кричит, то же будет от батюшки, сволочи!.. Он истинный царь!»

Пугачёв опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью:

— Верный он, самый верный... Хлопуша-то... И не Хлопуша он, а Соколов — работный человек. Да, брат, да, казак... Невеселые ты мне вести привез, старик. Вести твои дрянь-дряню...

Пугачёв снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов Хлопуши ему вспомнилась Казань, вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил:

— Слышь, казак! А про приемную дочку Симонова ничего не чутко? Она подружкой государыни Устиньи была.

— Как же, звестно! — воскликнул казак и, оскалив зубы, чихнул в шапку:

— Нареченная мать ее, комендантша-то, одна возворотилась быдто. А барышня-то, Даша-то... Кто его знает, чего подеялось с ней. Одни болтают, быдто она из монастыря в бега ударилась, жених быдто у нее где-то... А другие толкуют, что от тоски да от печали с колокольни бросилась. То ли с колокольни, то ли в Волге, сердешная, утопилась...

Пугачёв, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно, исподлобья. Раздумывал: «Сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить?» И решил: «Не надо!»

— Мне ведомо, что Яицкий город захвачен неприятелем, — раздувая усы, сказал он. — Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет, она, поди, роду-то казацкого... А она, вишь, оплошала... Как же так не уберегли ее, не удозорили...

— Да вы, батюшка ваше величество, не печалуйтесь: авось, господь праведный и спас Устинью-то Петровну, — взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похотливо косясь на свой пустой стакашек. — Как ехали мы, батюшка, Русью, всячинки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужик остервенел, бар изничтожает.

— Так остервенел, говоришь, мужик-то? — и Пугачёв прищурил правый глаз.

— Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того народ со усердием повсеместно поджидает вас, а того боле — самосильно к вам, батюшка, валит. Насмотрелись мы и страшного и смешного. В одном селеньи сказывали нам, приехал-де царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали — это от батюшки, вышли встречать вместе с попом и всем миром, со старостой

да с десятскими, повалились-де на колени, а сами кричим: «Мы все слуги верные царя-батюшки... Мосты все у нас вымощены, гати излежаны, ждем не дождемся отца нашего, где он, царь-государь, далече ли?» А офицер на нас: «Ах, вы сволочи! Хватай их!» Ну мы-де, все, кто в кусты, кто в лес как зайцы от гончих собак, дай бог ноги...

Пугачёв улыбнулся, налил стакашек, сказал:

— Пей, старик! Чего поздно ко мне-то передался, ведь я полгода под Оренбургом был?

— Батюшка, царь-государь! Я, ведаешь, не один к тебе, нас десятеро, да двоих, правда, смерть сразила в сшибках со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне: ой, ребята, поздно... А они мне: может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз, ты вот куда прешься? А я им: перед народом-де оправдаться хочу, чтоб было с чем на божий суд после смерти придти, я-де вижу, как весь народ подъяремный страдает, а я, старый окомелок, на боку лежу, трубочку покуриваю, да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю, в зернь.

— Ну, спасибо тебе, старик. А где же дружки-то твои?

— Воюют батюшка... Да поди, в незадолго явятся. Ведь мы двадцать пять ружей да пудов с пять пороху в дороге-то поднакопили. А под Царицыным слых был, мол, на Дону казачья беднота пошумливает, к тебе ладит подаваться...

— Добро, добро, — повеселел Пугачёв и, обласкав старика, приказал явиться ему к атаману Овчинникову.

После варварской казни Хлопуши в Оренбурге состоялась и расправа с архимандритом Александром в Казани.

Живейшее участие в этом принял председатель Секретной комиссии генерал-майор Потемкин. Превысив полномочия, он усугубил постановление синода и решил учинить расправу с архимандритом при многолюдстве.

Допросы с пристрастием вел сам Потемкин. На вопрос: зачем ты принимал у себя самозванца яко царя? — последовал ответ: страха ради. Тогда Потемкин своей рукой нанес Александру заушение. Тот удивился и сказал:

«Если я враг ваш, то Христос и врагов своих заповедовал любить, зачем бьете меня?» Тогда Потемкин, развернувшись, ударил Александра с такой силой, что из носа архимандрита поструилась кровь. На многочисленных допросах Пугачёвцев Потемкин привык избивать людей, это питало его злобу и составляло удовольствие. Он помаленьку всех

смирил, вот только Зарубин-Чика упорен, как скала. Этот отъявленный злодей с цыганской харей неустрашим и дерзок. Он позволил себе назвать Потемкина дохлой обсняманной собакой... Ну, да он с этим заядлым башибузуком еще найдет способ перемолвиться.

В 12 часов дня Александр был приведен из Секретной комиссии прямо в алтарь соборной церкви. Он был в тяжелых оковах. Его трудно было узнать.

Величественный и стройный, он сгорбился, темная пышная борода висела клочьями, белые холеные руки трепетали, измученные глаза глубоко запали, он весь состарился, стал жалок видом.

В алтаре, не снимая с него оков, бывшего архимандрита облачили в парчовые ризы и митру со сверкающими камнями-самоцветами. Протопоп с протодиаконом вывели его на середину церкви, переполненной народом. Он шел, низко опустив голову и гремя цепями. Солдаты с ружьями и примкнутыми к ним штыками стояли у северных дверей алтаря. Затем появились губернатор, Потемкин и архиепископ казанский Вениамин с клиром.

Все двинулись на улицу, Александр был введен на эшафот. Соборная площадь кишмя кишела народом, и все ярусы колокольни унизаны зеваками. На кресте сидела галка, серое небо куксилось, вот-вот брызнет дождь.

Эшафот был окружен солдатами. Впереди толпы, выставив тугой живот, стояла беременная женщина в сермяжной паневе, держала за руку ребенка.

Говорили, что это родная сестра Александра, а рядом с ней муж ее, суконный мастер, одетый в коричневую чуйку.

Ударили барабаны, чиновник прочел приговор, к Александру подошел высокий и тощий палач в красной рубахе и с овечьими ножницами в руке, он остриг архимандриту темную, когда-то холеную бороду и обрезал под самый корень длинные густые волосы на голове. Затем сорвали с осужденного парчовое облаченье и одели в потрепанный мужицкий кафтан и лапти. И стал великолепный архимандрит Александр закованным в кандалы, задрипанным крестьянином, уже не Александром, а Андреем.

Возомнив свою особу стоящею превыше губернатора и престарелого владыки Вениамина, генерал-майор Потемкин не постеснялся нарушить установленную форму карающего судопроизводства. Уже когда казалось все конченным, он взобрался на эшафот и, долговязо путаясь ногами в длинной шашке, подошел к осужденному вплотную. Затем сердито дернул бывшего архимандрита за рукав зипуна и, обратясь к народу, гулко

прокричал командирским голосом:

— Отвечай, смерд, каторжник Андрейко, пред всем православным народом, отвечай, да не мямли, а громко и отчетливо... Признаешь ли ты богомерзкого злодея Емельяна Пугачёва самозванцем?

Испитое лицо осужденного побледнело еще больше, но глаза вспыхнули огнем, он встряхнул кандалами и резким, пронзающим голосом на всю площадь закричал:

— Да, признаю Пугачёва самозванцем, но он несравнимо более милосерд, чем ты, христианин, и вся твоя комиссия!

Потемкин, стиснув губы, наотмашь ударил его со всей силы. Осужденный упал, и тотчас же с воем и рыданием упала женщина, сестра его.

## 6

После ночного разговора с Горбатовым у Пугачёва осталось чувство недоговоренности, в словах офицера ему многое еще было не ясно. И вот на следующий день, улучив время, он подхватил Горбатова под руку, и они пошли в отдаление, к берегу речушки.

— Вчерась ты мне брякал, Горбатов, мол, император Петр Федорыч и такой и сякой, бездельник да пьяница, и Россию не любил... А верно ли то?

Ведь, мотри, народ-то любит Петра Федорыча. (Пугачёв умышленно так выразился: вместо «любил», молвил, «любит».) — Вряд ли народ любил Петра Федорыча, а просто по темноте своей ждал от него облегчений, — подумав, ответил Горбатов. Они сидели плечо в плечо, на берегу, среди кустов. — Простонародье думало, что Петр Третий хотел от помещиков землю отобрать и отдать крестьянам, а крестьян сделать вольными, да дворяне, мол, не дозволили, лишили его царства и посадили на престол Екатерину.

Пугачёв слушал внимательно, слегка склонив голову и посматривая то на пичуг, прилетавших хлебнуть водички, то на красивое, с улыбочивыми ямками на щеках, лицо Горбатова.

— А на самом-то деле, — продолжал Горбатов. — Петр Третий Россию и все русское презирал, а боготворил Фридриха Второго и все немецкое. Он издевался над русскими обычаями, русских вельмож гнал со службы, а возвышал немцев. Это показалось вельможам оскорбительным, за живое задело их, и они, при помощи офицеров гвардии учинив против ничтожного царька заговор, сбросили его с престола. А затем — убили... С

ведома Екатерины, разумеется. Екатерина в манифесте опубликовала, что, дескать, император умер волею божией от геморроидальных коллик. Однако народ этому веры не дал и в мечте своей решил, что бог спас помазанника своего и он скрывается в народе... Да, впрочем, вы все это знаете...

— Ой, смело, ой, смело говоришь, Горбатов, — прервал его Пугачёв и нахмурился.

— Всю правду говорю, ваше величество...

Пугачёв резко повернулся в его сторону и в недоумении произнес:

— Дивлюсь на тебя, Горбатов. Ведь ты вчерась говорил мне, что я не царь, а сам величаешь меня государем да вашим величеством. Ась?

— И буду! — торопливо воскликнул офицер, и оба они уставились глаза в глаза. — По мне вы превыше всякой земной власти, я считаю вас вождем народа, посему и называю высшим на свете титулом — вашим величеством.

— Добро, добро, — грустно проговорил Пугачёв и, помолчав, спросил:

— Так убили, говоришь, Петра Третьего-то?

— Убили, государь, — смутившись, ответил Горбатов.

— Смело, смело говоришь, — пробормотал Пугачёв. — Все в аккурат у тебя, Горбатов... В одном концы с концами не свел ты. А пошто же все-таки народ-то десяток лет ждал его, как избавителя, раз он такой паршивец, по-твоему? Поди, не с бухти-барахти? Ась?

— А народ верил в него, как в чудотворную икону, как в свою мечту о воле, о земле... Народ ждал царя-избавителя еще вот по какому случаю, — делая ножом хлыстик из таловой ветки, ответил офицер. — Я полагаю, вы изволите знать, что Петр Федорыч жил не с Екатериной, а с придворной девицей Елизаветой Воронцовой...

— Эва!.. Уж мне ли этого не знать?! — впервые услышав это, притворно-обиженным тоном воскликнул Пугачёв и бросил в пролетевшую ворону камнем.

— Так-с, — протянул Горбатов, и на его щеках обозначились улыбочивые ямочки. — Ну, так вот... Оба графа Воронцова, отец Елизаветы и дядя ее, чаяли Екатерину арестовать, а Петра Федорыча поженить на Елизавете, чтоб царицею она была. Разумеется, и сам царь этого добивался. Вот тут-то и понадобилось братьям Воронцовым укрепить в народе добрую славу о царе. А поскольку царь государственными делами заниматься не любил, да и не умел, они сами сочинили и подсунули царьку к подписи два-три указа, к облегчению участи народа клонящихся.

— Какие же указы-то? — спросил Пугачёв и начал переобуваться: в правом сапоге кололо ногу.

— О том, чтоб соль народу дешевле продавать, об отобрании у монастырей крестьян и переводе их в государственные, еще предоставлялось право раскольникам, за границей находящимся, возвращаться в Россию и свободно молиться, где и кто как пожелает. Вот крестьяне и подумали: царь-то батюшка заботится о них, цену на соль сбросил, а раз от монастырей отобрал мужиков, стало — отберет и от помещиков: воля, братцы, будет. А тут старообрядцы стали в Россию приезжать да нахвалять царька: покровитель наш... Так и укрепилась за никудышным царьком в народе слава.

Горбатов смолк. Пугачёв встряхнул портянку: выпал острый камушек — и принялся снова обуваться.

— Значит, о всем об этом в Питербурге ведомо было!

— В придворных кругах полная известность была, ваше величество. А впоследствии даже все заурядное офицерство об этом знало.

— Стало, слава-то о Петре Федорыче ложная была?

— Правильно изволили молвить, ваше величество, ложная, — ответил Горбатов. И с жаром продолжал:

— А самое-то главное вот в чем. Петр Третий не только высшее офицерство, но и солдатство рядовое возмутил против себя своим неожиданным миром с Фридрихом Вторым... Помните прусскую-то семилетнюю войну?

— Ой, большая заваруха тогда в Пруссии-то стряслась, — взволнованно молвил Пугачёв. — Уж так-то ли мы Фридриху наклали, уж так-то распатронили, что... Все подпоры из-под ног у него вышибли и в самом Берлине были...

— Были, контрибуцию взяли, — горячо подхватил Горбатов, — а только все насмарку пошло, псу под хвост. Сколько крови пролили русские, сколько добра извели, а ему, голштинскому выродку, все нипочем, лишь бы дружка своего Фридриха выручить — и выручил!

— Вы-ручил, выручил, сукин сын! — совершенно неожиданно вскричал вдруг Пугачёв и сплюнул. — Его не то что казнить, четвертовать надо было, в порошок стереть!

— Петра-то Федорыча? — едва не прыснув смехом, спросил Горбатов.

— Кого боле, — его, подлеца! — сурово сказал Пугачёв и отвернулся. — Выходит, зря я его из мертвых поднял? Ась?

— Не только подняли, а и прославили, — подхватил Горбатов.

— Моя, моя, выходит, прошибка... Ой, моя вина!..

— Нету вашей вины в том, — возразил Горбатов. — Народ захотел того, народ признал вас Петром Третьим.



— Народ? — насторожился Пугачёв. — А послухай-ка, что я тебе скажу.

Вот вчерась насчет замыслов да намерений моих толковал ты, велики-де они.

Велики-то, может, они и велики, да много ли толку-то от них, какая польза народу-то? Слышь, я тебе случай один поведаю. На Урале было дело, возле Белорецкого завода. Занятно, слышь. Сижу я один-одинешенек на высокой на скале, кругом непролазный лес, а подо мной речка взмыривает неширокая. И вижу я — поперек речки, от берега до берега, рыба густо идёт, косяком, как говорится, видимо-невидимо. И вот, батюшка ты мой, медведь шасть с того берега в воду. Встал он посередке речки на задни лапы навстречь рыбе и ну пригоршнями рыбу хватать да на берег выбрасывать. Бросит да посмотрит, бросит да опять через плечо посмотрит, видит: на берегу рыбешка трепыхается. Вот он и принялся работать со всей проворностью — швырк да швырк, швырк да швырк. Уж он и не смотрит, куда рыба летит, а все через голову, все через голову, из воды да опять в воду — швырк да швырк... Уж он кидал, кидал, аж упыхался... Ну, думает, теперь хватит, жратвы мне на всю осень да и на зиму останется... А я гляжу на него со скалы, и таково ли мне смешно... Вот вижу, рыба вся прошла, медведь оглянулся на берег, много ли, мол, наловил. А на берегу нет ни хрена, окромя малой толики рыбешки, что попервоначалу выбросил. Так что б ты думал! Как увидал Мишка прошибку свою, схватился обеими лапами за башку, весь расшарашился, и пошел, сердяга, на берег, а сам воеет, ну таково ли жалобно воеет, словно бы как навзрыд человек плачет...

— Занятно, весьма занятно, — откликнулся Горбатов, улыбаясь, и стал сшибать хлыстом листы на таловом кусте.

Заложив руки за спину и все так же вышагивая взад-вперед, Пугачёв остановился и сказал:

— Вот, ведаешь, как погляжу я на свои на дела — на замыслы, и горько мне станет. А ведь, пожалуй, и я такой же медведь-дурак, ни на эстолько не задачливей его... Сам посуди, Горбатов: швырял я, швырял целый год народу рыбу, а оглянешься — нет у народа ни хрена! Я кричу: «Детушки! Земля ваша, реки, озера и вся рыба в них — ваши!»... Ну точь-в-точь, как медведь-дурак в речке, а на проверку-то — на голом месте плешь... Где она, воля-то? Где земля-то? Я прокричал да ходом дальше, а каткины войска понабежали на то место, да ну людей кнутьями пороть да вешать. Вот мужики-то и подумают: эх, скажут, батюшка, батюшка... Много ты наобещал, а сполнить ничевошеньки не мог, ни синь-пороха! Обманщик ты, батюшка.

Пугачёв замолк, лицо его стало еще мрачнее, в глазах вспыхивали дикие огоньки.

— Томленье во мне какое-то, — немного погодя сказал он глухим голосом и снова сел рядом с Горбатовым, плечо в плечо. — Чего-то, чуешь, делается со мной. Спокой потерял я.

В воде всплеснула рыбешка. За речкой два татарина ловили лошадей.

Емельян Иваныч взял Горбатова под руку, тихо, сокровенно заговорил:

— Одно скажу тебе, Горбатов: настоящий ты... Мол, человек ты настоящий, без фальши. Был у меня еще один такой, Чика-Зарубин, да загинал... У тебя прямо от сердца все, своих думок ты не хоронишь. — Пугачёв посмотрел на него в упор, с горячностью сказал дрогнувшим голосом:

— Так будь же ты, Горбатов, закадычным другом моим. А друг, я чаю превыше всякого генеральского чина и званья, — и крепко обнял его.

У Горбатова запершило в горле, он не мог произнести ни слова, лишь заметил, как надсадно вздымается грудь Пугачёва, его темные, широко открытые глаза увлажнились.

— Ну, стало, будем с тобой во друзьях, — сказал Пугачёв, — а для всех прочих, до поры до времени, я — царь, ты — генерал мой. Понял? На том и прикончим. — Он встал, встал и Горбатов. — Слушал я тебя, голубь, и думал: вот бы поболее мне таких! А то, ведаешь, вовсе я среди атаманов своих сиротою стал, ей-ей...

— Вам ли о сиротстве говорить, государь! — возразил Горбатов. — Весь замордованный народ — с вами.

— Народ, друже мой, что зыбь морская, а ведь мы-то, чаю, сухопутные с тобой, по морю плывешь, а о землице думаешь: хоть бы островишко какой, где бы стать, голову преклонить, раны подлечить, душу отвести. Дошло до тебя это, нет?

— Дошло, ваше величество! — откликнулся Горбатов и опустил голову. — Рад служить вам...

— Устоишь?

— До последнего издыхания...

— Ой ли?

— Клянусь всем дорогим мне на свете! Хоть на плаху... с вами... за вас...

Пугачёв горько улыбнулся, одернул поношенный чекмень.

— Плаха, брат, штука плевая. Жить-воевать пострашнее. Особенно нам с тобой. Ведь не за себя одних ответ держим. Нас-то на плаху, а с нашим... царством... как?

— Ваше величество! — вскричал, блестя мокрыми глазами, Горбатов. — Наше царство на правде стоит, а правда живет вовеки.

— Вот и я этак же помышляю: правда со дна моря вынесет. Завали правду золотом, затопчи её в грязь — все наверх выйдет. И коль нам с тобой суждено животы за правду положить, другие ее, матушку, подхватят. Може, мы с тобой-то, знаешь, кто? Може, мы с тобой — воронята желторотые. А ворон-то вещун еще по поднебесью порхает. Ась?

## **Глава 5.**

### **Гости с Дона. Огненный поток. Смерть Акулочки. Саратов пал. Враг следует по пятам.**

#### **1**

Пугачёв двигался к Саратову. По пути лежал город Петровск, куда выслан был Чумаков предуготовить государю встречу. Воевода и его секретарь бежали в Астрахань. Воеводский товарищ Буткевич тоже собирался к бегству, но, по совету бывшего в Саратове Державина, остался. Он приказал вывести артиллерию из города, а канцелярские дела погрузить на подводы. Жители Петровска главным образом занимались хлебопашеством, и около 2000 так называемых пахотных солдат, собравшись вместе, побросали в телеги все дела, лошадей увели, воеводского товарища арестовали, приставив к его дому караул. А прапорщику Юматову бунтари сказали:

— Ты, ваше благородие, никуда не бегай. Ежели батюшка в город вступит, мы тебя защитим: ты, мол, человек добрый и никаких обид простому люду не чинил. Принимай над нами команду и встречай государя с колоколами да хлебом-солью.

Прапорщик Юматов, человек простецкий, с круглым, бритым, сильно обветренным лицом, посоветовавшись с женой и положившись на волю божию, согласился: он человек многодетный, неимуций, а солдаты обещали убрать и обмолотить весь засеянный им хлеб, а также снять вторые покосы.

Пугачёв вступил в Петровск к вечеру 4 августа. Население встретило его с почестями. Юматов, написав рапорт о благосостоянии города, на другой день рано поутру в мундире и при шпаге явился в царскую ставку. Пугачёв не принял его, а велел привести воеводского товарища, секунд-

майора Буткевича, и, услышав жалобы на него, как на обидчика и притеснителя, приказал пятерить его. После казни собравшимся прочитали манифест, Юматова же Пугачёв произвел в полковники и назначил воеводою. И повелено ему было: выдать безденежно жителям соль по три фунта на человека, вино продавать по полтора рубля ведро, а в государеву армию сколько можно доставить «казаков» и вооружить их. Юматов собрал больше трехсот человек и в рапорте на имя Пугачёва назвал себя «полковником». (Он был настолько простоват, что по уходе Пугачёва, рапортуя в Пензенскую канцелярию о происшествии в Петровске, он точно так же подписался не прапорщиком, а полковником Юматовым, за что и был графом Меллиным, занявшим впоследствии Петровск, дважды высечен плетьюми.) Меж тем к Петровску приближалась команда донских казаков в шестьдесят человек, высланная из Саратова по просьбе Т. Р. Державина, собравшегося уехать в Петровск, чтоб захватить там пушки, порох, деньги, навести справки о том, где Пугачёв и велика ли у него сила, а также чтоб показать приунывшим саратовским властям «пример решимости».

Казаки под командой есаула Фомина, не доехав Петровска десяти верст, остановились. Сам же Фомин, майор польской службы Гогель и прапорщик Скуратов с десятью казаками выехали вперед и послали четырех казаков разузнать о числе мятежников. Эти четыре молодца — не то что проворонили, а ради любопытства — сдались в плен и были доставлены Пугачёву.

Тот взглянув на молодых, с бритыми бородами донцов, сразу узнал своих: бравая выправка, лукавые глаза и вихрастые чубы торчат.

— Вы что за люди? Кому служите?

— Мы донские казаки, а служим всемилостивой государыне.

— Зачем, детушки, в нашу императорскую ставку подались?

— А мы присланы от командира проведать, какие люди в город вошли.

— Служили вы государыне, а теперь, как видите, сам государь пред вами, ему будете служить. Кто ваш командир и велика ли ваша сила?

Казаки ответили. Пугачёв оставил троих у себя, а четвертого отослал к есаулу Фомину со строгим повелением, чтобы тот и его команда не дравшись преклонились, а ежели драться станут, то он, государь, их всех изловит и казнит.

Получив это известие, есаул Фомин вместе с двумя офицерами и отрядом казаков в семь человек, тотчас поскакали обратно и, промчавшись мимо своей команды, скрылись. Оставшийся отряд казаков растерялся, а между тем, по дороге из Петровска взвилась пыль: то скакала Пугачёвская

за Фоминым погоня в полтораста человек. Донцы стояли молча. Пугачёвцы тоже остановились. Из их толпы выехал вперед рыжебородый яицкий казак с медалью и прокричал:

— Сдавайтесь, братья казаки, не противьтесь оружием! Здесь-ка сам царь-государь Петр Федорыч. Айда с лошадой долой!

Донцы молча переглянулись между собой, но с коней не слезали. От Пугачёвцев был послан гонец в Петровск, и вскоре снова запыхала дорога: то ехал со свитой сам Пугачёв, окруженный знаменами и значками. На знаменах — изображения святых, вышитые мишурой звездочки, по краям — позументы.

Тот же рыжебородый с медалью снова крикнул:

— Айда с коней! Коль скоро государь к вам подъедет, вы сложите оружие и, припав на колени, поклонитесь.

— Вы какие? — спросил подъехавший Пугачёв опустившихся на колени казаков.

— Донские мы. Были в Саратове.

— Детушки! Бог и я, государь, вас во всех винах прощаем. Ступайте в лагерь ко мне.

Пугачёв взмахнул нагайкой и с несколькими всадниками погнался за офицерами. А казаков повели в лагерь. Удиравшие офицеры, встретив на пути поджидавшего их Державина, увлекли и его к Саратову. Все четверо немилосердно полосовали коней нагайкой и мчались так, что в ушах выл ветер. Страшная погоня далеко осталась позади.

Лагерь армии расположился возле самого города, на луговине. Тут были разбиты две палатки для Пугачёва, его семьи с ребятами и третья — для секретаря Дубровского с войсковой канцелярией. Стража из яицких казаков охраняла палатки. Донские казаки прибыли в лагерь при заходе солнца и были зачислены в полк Афанасия Перфильева. Взглянув на привезенный донцами бунчук с изображением «Знамения богородицы», Перфильев спросил сотника Мелехова...

— Откуда у вас бунчук?

— Мы отвоевали его у яицких казаков еще весной, при сшибке на речке Больших Узеньях... — ответил сотник и отвел глаза в сторону.

— Эх, негоже это, братья казаки, межусобицу-то затевать. А надо всему казачеству к одному берегу прибиваться. Хоть вас и льготит государыня на особицу, только она одной рукой по шерстке гладит, другой за чубы трясет.

И у вас многие вольности она прихлопнула...

— Мы понимаем, — протянул сотник, — да сумнение берет, мол, не выгорит ваше дело... Опоздали вы, опростоволосились... Под Оренбургом канитель на полгода развели. А теперь победные войска из Турции вертаются, сказывают — Панин да Суворов поведут их...

— Войска, брат Мелехов, загадка, бо-о-льшая загадка, — сдвигая и расправляя лохматые брови, сказал Перфильев. — И мне уповательно, что солдатская сила и за чернь вступиться может, за свою родную кость и кровь.

— Нет, господин полковник, — возразил Мелехов, — военачальники найдут способа оплести их да одурачить, солдат-то...

— Не знаю, не знаю, — растерянно протянул Перфильев, и его большие усы на бритом шадрином лице недружелюбно встопорцились.

Когда проиграли зорю и смолкли барабаны, в палатку государя были позваны сотник Мелехов с хорунжими Малаховым, Поповым, Колобродовым. Все они рослые, молодые и нарядные. В палатке был накрыт ужин. Кроме казаков, присутствовала и государева свита.

Емельян Иваныч был в приподнятом душевном настроении: ведь заваривается дело не шуточное — кладется пробный начал дружбы между воюющей народной армией и вольным Доном. Эх, если б да сбылись мечты Емельяна Пугачёва.

Когда выпили по две чарки водки, Пугачёв ласково сказал:

— Пейте, детушки, не чваньтесь, да служите мне и делу нашему верно. (Казаки поклонились.) Какое вы получаете жалованье от государыни?

— Мы от всемилостивейшей нашей государыни жалованьем довольны, — ответили донцы.

— Хоть вы и довольны, — наполняя чары, сказал Пугачёв, — да этого и на седло мало, не токмо на лошадь. Вы, детушки, послужите у меня, не то увидите, я прямо озолочу вас... Ведь в Донском войске господа жалованье-то съедают ваше, а вам-то, бедным, уж оглодочки.

Донцы слушали со вниманием, утвердительно кивая головами, а сами все приглядывались к Пугачёву, все приглядывались.

Пугачёв держал себя настороженно, в свою очередь наблюдая за молодыми донцами. Он поднял серебряный кубок с изображением императрицы Анны Иоанновны и сказал:

— Вот эта чара мне в наследство досталась от бабки моей царицы Анны.

Ну, выпьем со свиданьем да и закусим. Берите, молодцы, свинину-то, ешьте! Слышь, Анфиса! — обратился он к прислуживающей у стола женщине:

— угощают ли казаков-то во дворе?

— Угощают, угощают, батюшка, — ответила она и повела черными крутыми бровями в сторону Горбатова. — Ермилка из кухни от Ненилы то и дело пироги таскает им да всякого кусу.

— Угощают, заспокойся, государь, — подтвердила и свита.

Гости и сподвижники Пугачёва любовались на Анфису, в особенности Иван Александрович Творогов: она походила на его жену, красавицу Стешу. Одетая в голубое фасонистое с черным бархатом платье, Анфиса сверкала своей русской красотой, молодостью и дородством. Она казанская пленница, черничка старообрядческой часовни, своей вольной волей пожелала идти за «батюшкой» хотя бы до нижегородских керженских лесов, чтоб перебраться в женский скит, где у нее имеется подружка, но «батюшка», не дойдя до керженских лесов, свернул на юг, ну что ж — на все воля божия — Анфиса без особой грусти так и осталась у него. Она, сирота разорившегося купеческого рода, обихаживает обожаемого «батюшку» и досматривает за ребятами его погибшего дружка, какого-то Емельяна Пугачёва.

— Был я, други мои, в Египте три года, — продолжал Емельян Иваныч, обращаясь к донцам, — и в Царьграде года с два, и у папы римского сидел сколько-то в укрытии, от недругов своих спасаясь, так уж я все чужестранные примеры-то вызнал, там не так, как у нас. А ведь вас, сырых, наши высшие-то власти, вздурясь, объегорили. Полковников вам посадили, да ротмистров, да комендантов. И многих привилегий казацких лишили. Эвот бороды скоблить заставили да волосья на прусский манер стригут. А вот я воссяду на престол, все вам верну да и с надбавкой. И вы всю волю, всю землю получите, с реками, рыбой, лугами и угожьями, и будете в моем царстве первыми. И взмыслили мы всю Россию устроить по-казацки. Чтобы царь да народ простой империей правил. И чтобы всяк был равен всякому. А господишек я выведу, и всех приспешников выведу! — все громче и громче звучал голос Пугачёва. — Ни Гришек Орловых, ни Потемкиных у меня не будет... Только поддержите меня, детушки, не споконьте на полдороге... Эх, наступит пора-времечко... — Пугачёв поднялся, распрямил грудь, тряхнул плечами, зашагал по обширной палатке. — Наступит пора-времечко... И пройдуся я улицей широкой, да так пройдуся, что в Москве аукнется. — При этом он выразительно взмахнул рукой, остановился и вперил взор в безбородые лица донцов. — Ну, детушки, радостно сей день у меня на сердце... Горбатов, наполни-ка чарочки... Выпьем за вольный Дон, за всех казаков! Воцарюсь, Запорожскую Сечу опять учрежду; Катька повалила ее, а я сызнова

устрою. — И обратясь к казакам:

— Ну, а как, други, казачество-то?

Склонно ли оно ко мне пойти и что промеж себя говорят люди?

— А кто его знает, — с застенчивостью и некоторой робостью отвечали гости с Дону:

— Мы, конечно, слышали, что наказной атаман Сулин сформировал три полка для подкрепления верховых станиц. И приказано как можно поспешнее следовать им к Царицыну. Только не ведаем, будет ли из этого какой толк...

— Для нашего дела, альбо для казаков толк-то? — по-хитрому поставил Пугачёв вопрос.

Гости смутились. Сотник Мелехов, виляя глазами, ответил:

— Да, конечно, казаки с войны вернулись, им охота трохи-трохи дома побыть, а их вот опять на конь сажают... Ну, конечно, пошумливает бедность-то, ей не по нраву...

— Пошумливает? — спросил Пугачёв, прищурив правый глаз.

— Пошумливает, — подтвердили хорунжие.

Выпили еще по чарке, и Пугачёв сказал:

— Ну, донцы-молодцы, приходите ко мне за-всяко-просто, утром и вечером, если надобность в том встретится. А завтра — на обед.

Он велел позвать Ненилу и молвил ей:

— Вот что, Ненилушка, ты к обеду состряпай-ка нам, как мой императорский повар француз дельвал, этакое что-либо фасонистое, чтобы год во сне снилось... Ась? Трю-трю зовется...

— Да зна-а-а-ю, — протянула Ненила, прикрывая шалью тугой живот. — Редьку, что ли?

— Редьку?! Дура... Этакая ты лошадь дядина... Благородства не понимаешь... — Пугачёв на миг задумался, сглотнул слюну и молвил:

— Хм...

А знаешь что? Давай редьку! Ты натри поболее редьки с хреном, да густой сметанки положи, ну еще лучку толченого...

— Да зна-а-а-ю, — снова протянула Ненила, почесывая под пазухой. А стоявшая сзади Горбатова Анфиса хихикнула в горсть и отерла малиновые губы платочком.

— А ты слушай... — прикрикнул на Ненилу Емельян Иваныч. — Ну, крутых яичек еще подбрось. А самоглавнейшее — как можно боле крошенных селедочек ввали, кои пожирней. Ну, конечное дело, сверху — квас. Да чтобы квас холодный был, с кислинкой... И Емельян Иваныч подмигнул донцам.



Один из них, курносый и веселый, спросил:

— А где же повар-то у вас французский, ваше величество?

— Да его, толстобрюхого, чуешь, мои яицкие вздернули. Величался все, я-ста да я-ста. У нас-де во Франции все хорошо, у вас все яман. Ну, те смотрели, смотрели, обидно показалось им, крикнули: «Ах ты, мирсит твою», да и петлю на шею.

Казачи опять переглянулись.

Вскоре Пугачёв простился с гостями и пожелал им покойной ночи.

Невдалеке от царской палатки гремели донские песни, шли плясы, подвыпившая полсотня донцов веселилась у костра. Девочка Акулечка, любовавшаяся плясунами, сидела на плече у Миши Маленького, как в кресле.

— Ну, господа атаманы, начал положен, — сказал Пугачёв по уходе донцов и перекрестился. — Авось, по проторенному путику и другие-прочие донцы-молодцы прилепятся к нашему самодержавству...

Атаманы промолчали. Анфиса глаз не спускала с мужественного, красивого Горбатова, ловила его взор, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. Овчинников, катая из хлеба шарик, сказал:

— Мнится мне, как бы они не переметнулись... По всему видать — они из богатеньких. Седельца-то у них с серебряной чеканкой, у всей полсотни. Да и сабельки-то — залюбуешься.

— Да уж чего тут... — буркнул Чумаков в большую бороду. — Известно, бедноту по наши души не пошлют.

Впоследствии так оно и вышло.

Захватив с собою девять пушек, порох, свинец и триста сорок человек команды, набранной услужливым новым воеводою Юматовым, Пугачёв 5 августа со всею армией выступил из Петровска по дороге к Саратову.

Крестьянское движение, распространившееся по всему широкому Поволжью, никогда и нигде не возникало с такой мощной силой, как теперь, в августе 1774 года.

Повстанческие отряды почти одновременно появились в Нижегородском, Козмодемьянском, Свияжском, Чебоксарском, Ядринском, Курмышском, Алатырском, Пензенском, Саранском, Арзамасском, Темниковском, Щацком, Керенском, Краснослободском, Нижнеомовском, Борисоглебском, Хоперском, Тамбовском и других уездах, а также городах

Нижегородской, Казанской и Воронежской губерний.

По мере того, как Пугачёв с главной армией подвигался на юг к Нижнему Поволжью, мятежные действия крестьян в Среднем Поволжье не уменьшились, а росли.

Все пылало, и не было возможности сбить огонь восстания. Князь Голицын доносил Петру Панину: «Во всей околичности подлой народ столь к мятежам поползновение сделал, что отряды, укрощающие великие партии, не успев восстановить тишины в одном месте, тотчас должны стремиться для того же самого в другое, лютейшими варварами дышащее. Так что, где сегодня, кажется, уже быть спокойно, на другой день начинается новый и нечаянный бунт».

Вновь назначенный главнокомандующий Панин доносил Екатерине, что в Переяславской провинции (Московской губернии) «разглашениями начинает появляться другой самозванец и что искры ядовитого огня, от настоящего самозванца Пугачёва, зачинают пламенем своим пробиваться не только в тех губерниях, коими сам злодей проходил, но обнимают и здешнюю Московскую и Воронежскую губернии».

Михельсон доносил с марша, что он во многих местах встречал партии вотяков (удмурты), «из коих одна партия была до 200 человек. Сии злодеи не имели намерения сдаться. Они все до единого, кроме купцов, склонны к бунту и ждут злодея Пугачёва, как отца».

Английский посол Гуннинг, вернувшись из «секретной поездки», сообщал Суффольку, что «неудовольствие не ограничивается театром мятежа, оно повсеместно и ежедневно усиливается».

О размахе крестьянского восстания на правом берегу Волги можно, забегаая вперед, судить по следующим данным. За два месяца — с 20 июля по 20 сентября — правительственными войсками было ликвидировано более 50 отдельных отрядов, иногда достигавших до 3000 человек. Причем — отбито 64 пушки, 4 единорога, 6 мортир, убито 10 000, пленено 9000, освобождено от плена «дворян, благородных жен и девиц 1280 человек».

Восстание шло быстро, неотвратимым стихийным потоком. Ни увещания, ни смертные казни не в состоянии были пресечь его. Так брошенный в стоячую воду камень дает неудержимую рябь, так лесной пожар, раздуваемый ветром, сжигает все на пути своем — и сухостойник и живые деревья.

В каждом барском селении группы крестьян, почуяв приближение воли, вдруг становились воинственны, смелы. Они вербовали односельчан в добровольцы-казаки, вооружали их чем могли и под началом какого-

нибудь отставного капрала, согласного постоять за мир, или однодворца из разорившихся господишек, а то и просто удалого поповича, направляли своих добровольцев в стан «батюшки».

— Ищите, где он, отец наш, челом от нас бейте, мы все рады умереть за него.

Несогласных же или колеблющихся мятежные крестьяне устраивали, отбирали у них избы с пожитками, шумели на сходах:

— Ежели на барскую работу пойдете, мы всех вас переколем да перевешаем.

Люди, оставшиеся в селениях, принимали меры самообороны от вторжения карательных отрядов: огораживали входы в село крепким тыном, рыли поперек дороги огромные рвы, для устрашения иногда ставили у ворот деревянную пушку на манер чугунной, учреждали пикет, посылали разъезды, день и ночь несли караул на колокольне или каком-нибудь «дозористом» дереве. И всегда старались держать живую связь с ближайшими Пугачёвскими отрядами.

Барские дома расхищали, зачастую жгли дотла со всем строением; хлеб, продукты, скот и лошадей делили между собой по справедливости.

Большинство помещиков, бросив свое имущество, загодя бежало в места безопасные. Оставались в своих гнездах лишь престарелые или пораженные болезнью, либо те из них, которые жили с крестьянами в больших ладах и при случае опасности надеялись на их заступление.

Так или почти так всюду возникали, крепи и ширились крестьянские волнения. И если б промчатся нам на орлиных крыльях по всему простору восстания, можно было бы видеть необычайное зрелище. Ночью — почти на тысячеверстном пространстве бесконечные огни пожарищ. Уж не Мамай ли снова пришел на Русь, или, может быть, сама собой земля возгорается, может, демоны, разъяв недра земли, пускают на многострадальную Русь пламень кромешного ада, или крылатые ангелы, низринувшись с небесных высот, стремятся сжечь на бесправной земле плевелы греха и раздора?

Днем все просторы — на восток и на запад, на север и на юг — кроются клубами дыма. Хлеб не убран, поля позаброшены, скот бродит без пастырей.

По деревням и селам безлюдца. Но дороги живут, дороги кишмя-кишат народом, обозами. Туда и сюда, по всем направлениям движутся толпы людей.

Вот кучка всадников торопливо пылит по дороге, где-то пушка ударила, где-то беглый ружейный огонь протрещал. Это короткая схватка двух враждующих сил — восставших и их усмирителей.

Нам видно сверху, с крылатых высот — обширная лесная поляна, церковь белеет, догорают остатки барских хором, почти все избы в селе заколочены, на завалинке, осиянный солнечным отблеском, сидит старчище в посконной рубахе, в валенках, ему под сотню лет, бурая лысина лоснится. Вблизи него лохматая — рыжая с белым — собака. Она не знает — к пожару ей выть или к покойнику, задрать ли голову вверх или уторнуть нос книзу. Она ставит морду подволь и начинает выть жутким голосом, глаза её влажны, собака учится плакать по-человечьи. Все её бросили, она отбилась от ушедших людей, а на деда косится сумнительно, как на неживую ходячую тень. Дед смотрит на собаку блеклыми глазами, и она представляется ему вопленицей на могиле его старухи. Жалобно вопила тогда Митрофаниха, и над гробами двух сынов его она за три копейки вопила, тогда все хрещеные плакали...

Охо-хо, кто-то над ним будет вопить, давно умерла Митрофаниха. Двух сынов у него прибрал господь да трех внуков, да много правнуков. Ну, да ведь слава тебе, господи, еще остались у него и сыны, и внуки, и правнуки.

Двенадцать внуков, то ли двенадцать, то ли двадцать, семья большая.

Раньше-то поименно знал их, да вот давно уж память-то всю отшибло, забыл — Петькой всех зовет, Петька да Петька.

— Да не вой ты, сделай милость, Шарик. Вот придут, вот уже придут наши-то, за землей ушли к государю, земли да воли требовать у отца отечества. А как земля будет, так и бараны будут, и тебе кое-когда кость перепадет. Пойдем, Шарик, в избу, собачья твоя шерсть... Я тебе сухарей дам. Сухарей мне оставили да квасу... А луку я надергаю. Чу! Едут!

Нам видно сверху, с подоблачных высот, как Шарик с радостным визгом бросился навстречу. Телега тарахтит, на телеге покойник, рядом с покойником парень, голова у парня обмотана, через тряпицу — бурыми пятнами — кровь. Кобылой правит баба в сером зипуне.

— Ой, дедушка, ой, желанный, — заверезжала она, и все лицо её исказилось в плаче.

— Земли-то добыли? — прошамкал дед, подымаясь с завалинки и едва разгибая спину.

— Добудешь ее, как жа-а! — закричала баба, въезжая во двор. — Вот Карпа надо в землю зарывать, хозяина моего, а твоего сына... Вот и земля...

— Ох, господи, твоя воля... А государь-то где?

— Государь стороной прошел, на понизове, — ответил деду внук.

— Чего башку-то обмотал, Петька?

— Я не Петька, а Костянтин... А башку мою едва не ссекли... — сказал внук, спрыгивая с телеги. — Всех наших раскатали царицыны конники, казенные гусары... Сот до трех нас было, все разбежались, как зайцы, кто куда... Ну, да опять гуртоваться учнут, а без земли да воли не жить нам.

— Будет воля! — кричит дед. — Царь-государь нашу слезу утрет.

— Матушка, давай внесем батюшку-то в избу. И помочь-то некому, а меня ноги не держат, шат берет. Кровь из меня текла, как из барана... — задышливо проговорил парень.

— Убитый, что ли, он, Карл-от, али пьяный нажрался? — шамкал, суетился возле телеги слабоумный дед:

— Ох, господи, твоя воля...

А там, в другой далекой деревне птичка-невеличка на кустышке сидит, смотрит бисерным глазком на рыдающую малую девчоночку, чивикает по-своему, будто говорит ей:

— Не плачь, девочка, не плачь... Я тебе песенку спою. Чик-чирик...

— Бросили... Все ушли... Есть хочу...

— Паранюшка, — кричит чрез дорогу вдвое согнувшаяся баба. — Подь ко мне, девонька, я тебя кашкой покормлю... У меня тоже нет никого, все к царю-батюшке походом укатили... Подь скорей, подь.

И еще видна нам с птичьего полета: земля Нижегородская — Ветлуга, Керженец, непроходимые леса, в лесах керженские раскольничьи скиты. Вот благолепный скит игумена старца Игнатия, сородича генерал-адъютанта государыни Екатерины Григория Потемкина. Обширная часовня, полукругом — избушки братии, рубленные из толстых кондовых сосен, приукрашенные резьбой и расписными ставнями, среди них — келия и жилище самого Игнатия. Возжено в часовне паникадило со многими восковыми свечами, скит соборно молится о даровании победы царю Петру Третьему, покровителю старозаветной веры. Все иноки и зашедшие помолиться мужики делают усердные метания, припадая лбами к маленьким коврикам, лежащим на полу пред каждым молящимся.

Затем, сотворив семипоклонный уставный начал и метание, молящиеся подходят под благословение старца: игумен Игнатий прощается с братией, он отъезжает в Питер к великому своему сородичу, дабы упросил он Екатерину-немку не чинить керженским скитам разорения.

А вот сотни и тысячи сел и деревенок, в коих не все население ушло за «землицей к батюшке»: сильные ушли «казачить», а женщины, старики с детьми и маломощные остались дома, поджидать царя. И в тех селениях,

что по царскому пути, уже принялись крестьяне готовиться к встрече «батюшки» — варили пиво, из господской муки пироги пекли, резали барских овец, кололи кур.

А там что еще такое видно? Какие-то чинным строем идут толпищи, за обозами тащатся. Они, эти многолюдные толпы, пока сотнями верст отделены друг от друга, но все ближе и ближе сходятся к одной цели, как охотники, обложившие в берлоге медведя. Это воинские отряды князя Голицына, Мансурова, Михельсона и других военачальников. Они ловят Пугачёва, они тщатся окружить его, отрезать ему путь.

И ежели присмотреться к далеким горизонтам в юго-западную сторону, можно видѣть многие тысячи войска. Война с Турцией преждевременно окончена, полк за полком идут от границы Украины и Польши, идут в глубь российских губерний на истребление бунтовщиков.

Дальше, дальше... С орлиных высот видит наше человечье око освобожденный Оренбург; вот вольный Яик прочертил сырты плавным своим течением, вот Иргизские леса, в них многие раскольничьи скиты, тысячеверстным расстоянием разъятые от древних скитов керженских. А вот скит всечестного старца Филарета, здесь малое время когда-то скрытничал Емельян Иваныч Пугачѣв. Во всех иргизских скитах бьют малые деревянные и большие железные била, подвешенные на ветви сосен и елей. Это сбор на молитву. Из своей кельи выходит старец Филарет, он во всем черном, на голове скуфейка, в правой руке посох, в левой — лестовки. Проходя в часовню, он направился к двум завалинкам, на которых сидел народ — казаки и беглые крестьяне. Они поднялись и низко поклонились Филарету.

— Чего ради вы, христороубцы, сидите здесь и кисните, как опара в квашне? — начал чернобородый, сухой, с пронзающим взором Филарет. — Государь наш Петр Федорыч, како вестно мне, терпит большую нужду в людях, царские генералы зело докучают ему, защитнику древлего нашего благочестия.

Служение государю в правом деле защищения угнетенных и обиженных есть самая угодная молитва богу. Тецьте к царю, христороубцы, не мешкая. Скиты наши вооружат вас, чем могут, и яства дадут, и денег, и добрых лошадушек.

Да благословит вас на ратное дело господь бог, и аз, многогрешный, благословляю вас... Русь наша в огне и пламени, Русь немоществует...

А вот и сам Пугачѣв Емельян Иваныч. Он идѣт со своим воинством скорым поспешением — кони, знамена, пушки, — он не хочет принять боя с сильнейшим, чем он, недругом, он ищет какой-нибудь неодолимой

крепости, он все еще надеется на донских казаков, он ждет помощи от всей мужицкой Руси.

Трепет и скорбь на душе его. Но конь под ним скачет, и вьется, и бьет о землю кованым копытом. И припоминается Пугачёву раскольничья стихира, он слышал её в скиту у Филарета игумена:

Вижу я погибель,  
Страхом весь объятый,  
Не знаю, как быти.  
Как коня смирить.

Эх, конь, ты, конь, народный выкормок! Куда ты мчишь мужицкого царя, в погибель или в жизнь?

Трепет и скорбь на душе Емельяна Иваныча, и тщетно он ищет утешения то в беседах с офицером Горбатовым, то у Акулички, чья детская резвость и ласка, смех звонкий и безобидный лепет действуют на полное тревоги сердце как бальзам.

Но вот не стало Акулечки.

Случилось это совсем просто и неожиданно. После раннего обеда Акулька пошла в лес набрать «батюшке» к ужину грибков. Пошла она, да в лесу-то и закружилась. Она туда, она сюда, да ну кричать, звать на помощь, никак не может выйти на тропинку. Уж не лесной хозяин, сам леший-лесовик принакрыл тропу, утыкал её елками, поди найди... Должно быть далеко зашла, вся измучилась, последних силенок лишилась, села на пенек, заплакала. Стали чудиться ей волки, вот набегут волк с волчицей и задерут её. Ни чертенят, ни самого лесовика Акулька не боялась, от этой нечисти крестом да молитвой бороться можно, отец Иван вразумил её, а вот лесного зверя страшно.

Она подхватила корзинку с белыми грибами и, вытаращив глаза, неведомо куда побежала по лесу. Бежала, бежала и, слава тебе, господи, — наткнулась на желанную тропинку. А стало вечереть, солнце село, даже верхушки сосен погасли. В какую же сторону по той тропе бежать? И девочка Акулечка припустилась влево. Бежит, кричит: «Эй, эй!.. Мужики!.. Я здесь!» Вдруг речка, девчонка стала перебираться по лесине, нечаянно

оборвалась и бултыхнулась в воду. А вода ключевая, холодная, вода сразу обожгла разгорячившуюся на берегу Акульку. Девочка едва выползла из воды на берег, вся мокрая, и почувствовала резкую боль в ноге. Она приподнялась, прошла два-три шага и снова упала на землю. Больно. Ну, так больно, что ступить нельзя. Она прилегла и застонала. И взглянула на небо, и просила у бога помощи, чтоб бог исцелил ей ногу и помог выбраться в стан, — иначе волк с волчицей задерут ее.

— Боженька, миленький, уж ты постарайся...

Ночь наступила холодная. Девчонка не могла согреться, она была мокрехонька и вся продрогла. Её трясло. Она вскакивала, пробовала идти, но от нестерпимой боли в ноге снова падала, и плакала, и кричала на весь лес.

Вот голову стала обносить дрема, Акулька, похныкивая, впадала в забытье. Какая-то несуразица грезилась, то страшная, то забавная, будто сам царь-батюшка стаю волков саблей рубит, прокладывает путь к Акульке, а возле Акульки цыган-волшебник сидит с зеленой рожей, с синими усами, колдовскую трубку курит, сам песню на три голоса поет, из трубки душевредный дым полыхает. И огоньки... все огоньки, огоньки бегут... много огоньков.

— Аку-уль-ка-а-а!..

— Здеся-а!.. — отзывается замест Акульки колдун-цыган и крутит, крутит над своей вихрастой головой волшебной трубкой. И вот с факелами подлетают казаки. Ермилка срывает с нее мокрый сарафанишко, пеленает девочку, как куклу, в свой сухой чекмень, берет её в седло, говорит ей:

— Эх, ты, диковинка!.. Вот где ты...

Она уж и слова не может вымолвить, впрочем сказала: грибки не забудьте... батюшке... — Её била лихорадка, она больше ничего не помнит, ну словно бы провалилась сквозь землю.

Проходил день за днем. Акулька не поправлялась. Армия шла походом вперед, вперед. Девочку перевозили в отдельном экипаже. А на дневках и ночлегах ей разбивали маленькую палатку, мужики смастерили походную кровать, натаскали сена. При ней находились по очереди то Ненила, то красивая молодая купчиха Мария Павловна, плененная в Казани и приставленная к Пугачёвскому семейству. Да и помимо них было много желающих — и мужчин и женщин — послужить девочке Акулечке: её все очень любили и жалели. Возле палатки всегда толпа — и днем и ночью. И лагерь как-то весь стих, и вино не пилось, песни, как по уговору, смолкли. И каждый живущий в лагере чувствовал какое-то тяжкое душевное томление: хоть всем чужая девочка была, но, может быть, поэтому всяк



любил ее, пожалуй, не меньше, чем родное свое дитя.

Возле нее сидел Горбатов, прикладывая к голове холодные компрессы.

Лицо у нее восковое, кости да кожа, нос заострился. Дыхание прерывистое, вздох. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась.

Трошка стоит в красной рубашонке, Ермилка.

— Ну, как нога-то, диковинка? — спросил Ермилка, улыбаясь во все широкое лицо. — Болит, нет?

Акулька пошевелила под одеялом той и другой ногой, сказала:

— Нет.

Ногу ей выпользовал костоправ, он ежедневно растирал её и обкладывал густо намыленным мочалом.

— А где батюшка? — спросила девочка.

— За батюшкой побежали, сейчас придёт.

— Ну, здравствуй, девочка Акулечка, здравствуй, милая! — проговорил вошедший Пугачёв.

Трошка попятился от отца и вышел из палатки.

— Здравствуй, батюшка, светлый царь... — сказала Акулька шепотом, и в широко распахнутых глазах её сразу показались слезы. — Грибков... тебе брала... да упала... вот видишь... нога...

— Оздоровливай, доченька, оздоровливай, — наклоняясь над девочкой и глядя её по голове, говорил Пугачёв трогательным голосом. Он босиком и в одной рубахе с расстегнутым воротом: в чем был, в том и прибежал. — А то без тебя скука нам!

— Нет уж, — глядя пред собой в пустоту, сказала больная. — Маменька наказывала, ждет... В дорогу надо... В царстве небесном лучше...

Она попросила молока, выпила глоточка три. Ненила притащила свежепросольных огурцов и горячих оладей с медом. Горбатов тотчас прогнал ее. Девочку затошнило, стала она икать и снова впала в забытие...

— Умрет, — прошептал Емельян Иваныч, застегивая ворот рубахи. — Ну, а где же лекарь-то?

— Нету, государь, — ответил Горбатов. — Во многие места посланы гонцы... Нету.

— Умрет, — повторил Пугачёв, встряхнув головой и, сутулясь, вышел.

Он не ошибся. Через два дня девочки Акулечки не стало. Последние её слова были:

— Я маленькая... Бог мне счастья не дал.

Два крестьянина — отец и сын — мастерили ей гроб, Миша

Маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрывал. Все в лагере ходили, понуриив головы.

Пугачёв велел выдать розовой материи на обивку гроба. Позументов не было. Он приказал спороть их с одного из своих кафтанов.

Вся в цветах, покойница лежала в розовом гробу, возле палатки Пугачёва. В её руке лазоревый цветик. И никому не хотелось верить, что девочки Акульки больше нет среди народа, что она неожиданно ушла из жизни, что над землей только тень ее, однако и эта тень навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем дитяти, но и оно, как ночной туман, развеется: время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, перевертывая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, нетронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым, по заслугам их, даровано бессмертие...

Цветы... Много цветов... Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но еще больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу, царскую любимицу.

Цветы и солнце, яркое, все еще горячее. Оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежавшего во гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было приятно погреться на солнышке последний раз и чрез сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающее в синеве небес великое паникадило. И вот, побелевшие губы девочки Акулечки под угревным солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих, неверных светотеней. Нет, нет... Кровь в её жилах навсегда остановилась, и улыбка на устах — простой обман: смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы. Вот она, смерть!.. В золотистой с багрянцем длинной мантий, с лицом бледным и вдохновенным, с глазами широкими, излучающими таинственный свет вечности, она стоит, словно в сказке, в изголовье розоватого гроба, опершись на косу с отточенным лезвием. Возле нее кружатся с безмолвным щебетом невидимые ласточки. И никто из живых не видит ни благой сказочной смерти с лучами вечности в глазах, ни порхающих ласточек. Их, может быть, видит любившая сказки девочка Акулечка, еще пьяненький отец Иван, давнишний знакомец зеленого змия и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался чрез толпу ко гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передыху шумел, что обманет смерть, что сам ляжет в акулькину могилу, а девчонка сирота пуццай живет. В борьбе с вязавшими его людьми он ослабел, но все еще во всю мочь кричал: «Господи, побори

борющиеся мя!» Однако его угомонили. «Плотию уснув, яко мертв...», — лишившись последних сил и засыпая, мямлил он.

Светило яркое солнце, порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А Нениле казалось, что это ниспосланный богом по праведную детскую душеньку белый ангел.

Панихиду служил старый-старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые, лучистые. Он в черной траурной ризе с серебряным позументом, на голове черный клобук, на ногах березовые лапти. Служил он не торопясь, величественно и строго. Хор из двадцати казаков с Пустобаевым пел складно. Когда иеромонах, взмахивая кадилом и устремив взор к белому облачку на синем небе, стал возглашать: «Со святыми упокой, господи, душу новопреставленной рабы твоя, отроковицы Акулины, и сотвори ей вечную память», — весь народ вместе с царем-батюшкой опустился на колени и трижды, во всю грудь пропел: «Вечная па-а-амять».

Люди плакали. И не оттого только плакали, что жаль было девочку Акулечку, а заодно с ней где-то покинутых чад своих, а плакали потому, что вот пришла какая-то вещая минута и все, все до одного, и атаманы, и монах-старик, и офицер Горбатов, вместе с царем-батюшкой, — все, все, как один человек, опустились на колени. И душевные родники сами собой у всех разверзлись... Что-то будет, какая судьба-участь ждет каждого?!

Когда гроб опустили в землю, начальник артиллерии Чумаков махнул платком: одна за другой грянули три пушки. На могиле поставили большой крест с надписью: «Здесь лежит всеми любимая девочка Акулина, без роду, без племени. Умерла в августе 1774 года, в армии государя Петра Третьего, при походе».

Этот холм под двумя старыми липами народ назвал «Акулькина могила».

— Вот больше и нет у нас Акулечки, — вздохнув, сказал Пугачёв и скорототился. — Сникла, как цветик на морозе...

И впервые за весь путь он вспомнил с беспокойством о своем Трошке, вспомнил и подумал: «Надо бы приглядеть за мальчонкой...»

Люди все еще продолжали стоять с опущенными головами. Затем начали молча расходиться.

В своем крестном пути от Оренбурга, чрез Башкирию, Казань, Саратов и другие города русский мятежный люд оставил при дорогах неисчислимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой Голгофе — крестный путь!

Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сравнялись с землей и затерялись. И только «Акулькина могила» долго еще бытовала в памяти народной, как приметное урочище, как скорбная веха на большой дороге мужицкого царя.

В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов — крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более 7000 жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается шихан, или гора Соколова, — около восьмидесяти сажен высоты. С юго-запада — меловая, гора Лысья и далее — гора Алтынная.

Чтоб руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намеренье привести Саратов в боевую готовность на случай, если б «злодейские толпы» метнулись в эту сторону. Но из Сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала:

Пугачёв вдребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гоняется по всей Башкирии неустрашимый Михельсон.

Уезжая в Астрахань, Кречетников «все правление воинских дел по городу» поручил коменданту полковнику Бошняку. Таким образом Бошняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся.

Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами.

Так, управляющий конторою опекунства иностранных поселенцев Ладыженский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочел ему Бошняка, что он, наконец, бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику Бошняку.

А находившийся в Малыковке и вызванный в Саратов поручик Державин вообще-то никакого начальника над собой не признавал, кроме власти государыни Екатерины. Да и на самом-то деле, рассуждал он, со

смертию главнокомандующего Бибикова не губернатор же Кречетников над ним, Державиным, начальник! Правда, несколько побаивался он генерал-майора Потемкина, сидевшего в Казани, страшноват был ему и новый главнокомандующий Петр Панин, сидевший в Москве. А какому-то захудалому коменданту Бошняку он волен только приказывать и ни в каком случае не подчиняться.

И вот трое впряглись в воз и потянули его всяк в свою сторону.

Во второй половине июля докатилось до Саратова поразившее всех известие: Пугачёв выжег Казань, перебрался на правый берег Волги.

И начальство и жители сразу повесили носы, все въяве представили себе грозившую городу опасность. Как быть, что делать?

24 июля состоялось военное совещание. Пришли к заключению, что обширно раскинувшийся Саратов, окруженный высокими холмами, не может быть укреплен вполне: не хватит ни времени, ни средств, да к тому же и воинской силы маловато, артиллерии же и вовсе недостаточно — всего четырнадцать чугунных пушек, да и те на обгоревших при пожарище лафетах. Было вынесено довольно странное, ничем не подкрепленное постановление: самозванца к Саратову не допускать, а встретить его в поле и разбить. В случае же неудачи и чтоб было где воинским частям и жителям укрыться, устроить земляное укрепление вблизи города, на берегу Волги, там, где опекунские провиантские магазины с хранившимися в них 30 000 четвертей муки с овсом.

Ладыженский, как бывший инженер, запроектировал укрепление, а Бошняк обещал выслать на работу городских жителей. Поручик же Державин снова выехал в Малыковку, чтоб там собрать и вооружить 1500 человек крестьян на помощь Саратову.

На третий день после военного совещания комендант Бошняк получил от князя Щербатова уведомление, что Пугачёв трижды разбит Михельсоном и ныне он, с остатками своей толпы, удирает на переменных лошадях к Курмышу и Ядрину, за ним по пятам гонятся граф Меллин и другие военачальники, а посему «городу Саратову опасности быть не может».

И в тот же день было получено из города Пензы другое, ошеломляющее известие, находившееся в полном противоречии с уведомлением князя Щербатова: «Пугачёв с толпой в 2000 человек приближается к Алатырю», то есть, в общем, держит путь на Саратов.

Кому же верить: князю ли Щербатову, или пензенской провинциальной канцелярии? Бошняк поверил князю и до выяснения обстоятельств прекратил меры по укреплению города. Статский советник

Ладыженский, возмущаясь беспечностью Бошняка, велел своему сподручному чиновнику Свербееву вызвать Державина из Малыковки в Саратов. «Эти пречестные усы (Бошняк), — писал Свербеев Державину, — обеззаботили всех нас своим упрямством. На заседании некоторые с пристойностью помолчали, иные пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойной ночи, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на него страх!»

Желая сохранить за собой мнение, как о человеке влиятельном, поручик Державин немедля выехал в Саратов «наводить страх». Но страх и без того навис над городом и начальством: было получено известие, что Пугачёв занял Саранск, находившийся всего в трехстах верстах от Саратова, и что силы его огромны.

Начался кавардак, суетня, а между начальством обоюдные упреки, свары, перепалка. Одно за другим возникали заседания с недоговоренностью, противоречивыми постановлениями, бранью и угрозами. Рыжий, воинственного вида, Бошняк, поддерживая огромные, ниспадавшие на грудь усы, настаивал, что оставить город без защиты он не может, потому что «церкви божии будут обнажены, к тому же острог с колодниками и немалое число вина останется на расхищение злодеям». Тучный, коротенький Ладыженский, оправляя круглые большие очки на маленьком носу и седой парик, доказывал, что город защищать не стоит, так как все строения истреблены пожаром, и возобновлять городской вал не позволяет время. Ладыженского поддерживали и его клеветы. Задирчиво вел себя, потрясая шашкой, и Державин.

— Мы думаем сделать укрепление внутри города, чтоб укрыть в нем собор, женский монастырь, Никольскую и Казанскую церкви, воеводскую канцелярию с острогом, дом соляной конторы и винные погреба, — говорил Ладыженский, ссутулившись и упираясь в стол мясистыми кулаками. — Я, как бывший инженерный бригадир, составил сему укреплению проект.

— А я ваш проект и смотреть не стану, — возразил Бошняк, топорща длинные усы. — В военном отношении он сущий вздор: тогда пришлось бы сломать многие дома, дабы удобнее по неприятелю пальбу производить. И вашего проекта я утверждать не намерен.

— Вот что, почтеннейший господин полковник, — снова поднялся тучный, низкорослый Ладыженский и, запыхтев, сбросил на стол круглые очки. — Я не могу надивиться вашему упрямству. Вы возмечтали, что вы комендант, но вы вовсе не комендант, ибо коменданты ставятся только в крепостях, а Саратов не есть крепость. И по вашей должности вы никому

не имеете права делать приказаний, кроме батальонных солдат. Сие и прошу принять в память. Во всяком разе начальник здесь не вы, а я!

Бошняк завертел во все стороны рыжей, гладко причесанной головой и не успел рта открыть для возражения, как на него напустился Державин:

— Если его превосходительство астраханский губернатор Кречетников, отъезжая отсюда, не дал вам знать, с чем я прислан в сторону сию, — проговорил молодой задира, — то имею честь вашему высокоблагородию объявить, что я прислан сюда от имени покойного генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, вследствие именного ея величества высочайшего повеления по Секретной комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все.

Все! — выкрикнул Державин, облизывая губы и широко распахнув глаза.

Не удостоив Державина даже взглядом, обращаясь только к Ладыженскому, Бошняк спокойным голосом сказал:

— Предполагаемое вами укрепление провиантских магазинов не имеет цели: ведь туда, за дальностью расстояния от города, трудно перевезти и собрать имущество жителей. А гораздо сподручней было бы перенести укрепление на Московскую дорогу, оно находилось бы как раз на прямом пути наступления мятежников.

— Нет-с, Иван Константинович, — ответил Ладыженский коменданту Бошняку. — Разговоры наши кончены, и я не дам вам из своего ведомства ни своих команд, ни мастеровых для исправления пушек.

Обескураженный Бошняк направился домой и нашел там предписание губернатора Кречетникова, где вновь требовалось от Бошняка, чтоб он в качестве коменданта взял на себя оборону города: «К чему находящихся тамо во всех командах воинских людей собрав, употребить на защищение и отпор в случае нападения, а именно: всех состоящих при опекунской и соляной конторах казаков истребовать, несмотря ни на какие отговорки, чтобы все они отданы были в команду и распоряжение ваше». Кречетников приказывал ордер этот секретно показать Ладыженскому и начальнику соляной конторы, дабы они не имели права чинить Бошняку каких-либо препятствий. Державин же в бумаге совершенно не упоминался, как чин второстепенный и прямого касательства к обороне Саратова не имеющий.

В тот же день Бошняк поехал к Ладыженскому, где сидел и Державин с начальником соляной конторы. Раздеваясь в прихожей, он слышал из-за дверей громкий голос Державина:

— Эх, уж мне эти пречестные усы! Я на вашем месте, господин Ладыженский, не постеснялся бы арестовать его...

После объяснения с Бошняком Ладыженский согласился осмотреть избранные комендантом места укрепления. Бошняк повторил требование передачи ему всех команд и присылки двадцати артиллеристов, но Ладыженский это отклонил, заявив, что он с опекунской конторой «у губернатора не под властью». Бошняк после такого афронта со стороны Ладыженского был совершенно обескуражен: город покидался беззащитным. Что же оставалось делать Бошняку? Ему оставалось плюнуть в кулак и ударить этого толстого битюга по физиономии. Но Бошняк сдержался. А тут еще за чаепитием, которое устроил Ладыженский, на незадачливого Бошняка наскочили приглашенные.

После этого «дружеского» чаепития Бошняк ретировался к себе (2 августа), описал положение дел Кречетникову. «Державин и другие, — доносил Бошняк, — всячески, ругательными и весьма бесчестными словами поносили и бранили, и он, г. Державин, намерялся меня, яко совсем, по их мнению, осужденного, арестовать, в чем я, при теперешнем весьма нужном случае, ваше превосходительство, и не утруждаю, а после буду просить должной по законам сатисфакции».

Бошняк вынужден был от всех склочных дел себя самоустранить, а на его место, по собственному хотенью, вступил предприимчивый Державин. Он собрал купцов, явился к ним в магистрат и потребовал, чтоб немедленно было приступлено к постройке укрепления и чтоб высланы были на работу все без исключения трудоспособные. Он призывал защищаться до последней капли крови и грозил, что если кто окажет малодушие, тот будет, как изменник, скован и отправлен к Секретную комиссию. Перепуганное купечество дало подписку, что за измену они сами себя обрекают на смертную казнь. Подписал эту бумагу и первостатейный купец Федор Кобяков, впоследствии сыгравший при занятии Пугачёвым Саратова виднейшую роль.

Независимо от этого Ладыженский пригласил к себе, тайком от Бошняка, пять подчиненных коменданту офицеров. Руководимые Ладыженским и Державиным, они наспех выработали и подписали особое постановление. В нем говорилось о том, что немедленно нужно приступить к устройству укрепления только возле конторских магазинов, и не распространяя его на другие части города, как это предполагал Бошняк, ибо оборонять город по широкому фронту невозможно — упущено время и нет достаточного числа команды и орудий. Тут же отмечалось, что Ладыженский, будучи в чине бригадиром, в распоряжении Бошняка состоять не может. Далее — коль скоро замечено будет приближение к городу злодеев, то, оставя в том укреплении небольшое число военных



людей, с прочей командою идти навстречу злодеям и стараться разбить и переловить их. В следующем пункте постановления поручалось артиллерии майору Семанжу привести в боевую готовность все пушки и расставить их по батареям. «В рассуждении же того, чтобы помянутые злодеи не покусились прокрасться Волгою, *коменданту приказать*, в случае близости злодеев к городу, стоящие во множестве суда затопить или сжечь, а на берегу сделать батареи». В постановлении еще значилось несколько второстепенных пунктов.

Бошняк не принял это постановление и донес о том Кречетникову. Его взорвало выражение «коменданту приказать». В ответ на подобный захват власти Ладыженским, самое лучшее, что мог бы предпринять Бошняк — это немедленно арестовать Ладыженского, а может быть, по военному времени, даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Бошняк на подобный поступок не решился, на самом же деле, он нраву был тихого, к тому же, кроме «всечестных усов», он ничем не обладал, у Ладыженского же была не малая заручка в Петербурге и порядочное именье под Костромой. Так ли — сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии.

Если б поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам, но Панин все еще барствовал в Москве.

Бошняк все же тужился, как находил нужным, делать свое дело; Державин немедля сообщил в Казань Потемкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Бошняком, но что «теперь все привел в подобающий порядок». Бошняк же, чтоб сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию полученного письма губернатора Кречетникова, в коем между прочим тот предписывал «объявить Державину, чтоб он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Мальковке неподвижным».

Впоследствии, когда Пугачёв разгромил Саратов и ушел дальше, была получена Державиным от Потемкина из Казани бумага, где между прочим Потемкин писал: «К крайнему оскорблению из вашего рапорта вижу, что саратовский комендант Бошняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный: того для объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных... тогда я данною мне властью от ея величества по всем строгим законам учиню над ним суд».

Эта взбалмошная попытка недалекого человека ввязываться в

несвойственные административно-военные дела неподвластного ему отдаленного края лишний раз показывает, до какой степени истрепались к тому времени колеса государственного механизма. Почти повсюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышение власти, вмешательство в чужие дела.

Конечно, все эти «недочеты механизма» были на руку Пугачёвскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачёва, в первую голову должен был бы повесить казанского сатрапа Потемкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потемкина была высоко оценена Екатериной: она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картежника и препроводила их своему ставленнику в подарок, по окончании же смуты наградила его чинами, деньгами и землею с людишками.

Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооруженные лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки из мешков с мукой, овсом, известью, складывали заграждения. Стояла жара. Водовозы ушатами развозили людям воду с Волги. Чернобровая молодая баба, напоминавшая оренбургскую золоториху, торговала вразнос пирогами, копченой рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнем бревна, головешки, пепел. На огородах шалаши-убежища погорельцев. Кой-где уцелевшие церкви, у одной из них — опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями.

Работают люди по-казенному, с леностью, не на полную силу: позевывают, поплеывают, почесываются, щурятся на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему: хоть ты тут каменную крепость выстрой, «батюшка» все равно заберет.

Купцы выслали своих приказчиков. От Федора Кобякова пришло четверо.

Купец Кобяков друг-приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачёв.

Кобяковский приказчик старик Яков Сергеич, копая землю, беззубо шамкает:

— Эх, напрасно это... Ни к чему... Одна канитель людям. Все равно Емельяну Иванычу, батюшке нашему, достанется...

— Да ты, Сергеич, сдурел? — набросились на него приказчики. — Какой же он Емельян Иваныч, когда он природный Петр Федорыч, третий

ампиратор!

— Да будет вам лопотать-то!.. «Природный», «природный», — окрысился на них Сергеич и, сбросив на землю шляпу, отер рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. — Он природный и есть, только простой природы, мужичьей, наш он! От царя-косаря, от царицы-чечевицы... Вот он какой — батюшка! — не унимался Сергеич, в пустом рту его мелькали два больших желтых зуба, и бороденка была беленькая с прожелтью.

— Небылицу городишь, Яков Сергеич... Приснилось, что ли!

— Казаки сказывали!.. — бросил старик. — Намедни у хозяина по-тайности два казака ночевали, ну так вот, по их розмыслу, батюшка-то наш — Пугачёв Емельян Иваныч...

— Печалуешь ты нас, старик...

— Эх, вы, непутевые... Радоваться надо, а не кручиниться... Свой батюшка-т, заступник-то, не немецкий выродок...

Вот если бы подобные речи принес волжский ветер в уши Емельяну Пугачёву! Сначала они испугали бы «батюшку» и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов и кой-кто из Пугачёвских атаманов. Может быть, может быть... эти слова не выдуманные, они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кой-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве.

И откуда взялись они? Эх, видно, не одна в поле дороженька разнесла их по России... Сверху, что ли, натрясло их, или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик, что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом дому, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорыч пожалует в Саратов. А старика-приказчика словно шилом в бок: «Нет, это не Петр Федорыч, это сам Емельян Пугачёв — мужицкий царь, как в царицыных манифестах предуказано», — подумал он.

Когда же стал он поусердней к народной молве приклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие из простолюдинов помышляют так же, как и он.

Значит, попы долбили-долбили каждое воскресенье по церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились: кой-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится: заступник-то народный, пожалуй, не Петр Федорыч, третий царь, а сам Емельян Пугачёв, казак простой. Впрочем, такие домыслы были у немногих — раз, два и обчелся, но все же они стали в народе самостийно возникать. Будь здрав, Емельян Пугачёв, мужицкий царь!

Уныние в Саратове не ослабевало. Горячий офицер Державин, чтоб взбодрить саратовцев и показать им «пример решимости», с шестью десятками донских казаков и с офицерами поскакал в Петровск, навстречу Пугачёву.

Но мы уже видели, что экспедиция эта закончилась плачевно: почти все казаки передались «злодею Емельке», а Державин ускакал от погони. В четыре часа утра 5 августа примчался он со спутниками в Саратов и объявил, что Петровск занят Пугачёвым, а донцы изменили.

Это известие повергло жителей в крайнее замешательство. Многие бросились в бегство, иные начали грузить свое имущество на баржи, чтоб спуститься подобру-поздорову вниз по Волге. Но владельцев барж было очень мало, и почти все суда были взяты у купцов правительственными учреждениями, началась спешная погрузка канцелярских дел, денег, имущества.

Но главный саратовский герой Ладыженский проявил расторопность наибольшую: он захватил судно с еще неразгруженной купеческой мукою, в первую голову погрузил не казенное, а свое личное добро, вплоть до сковородников и кочерги, 15 000 рублей казенных денег и часть дел конторы опекунства иностранных. Для погрузки же архива и казенного имущества лишь к вечеру была едва-едва отыскана «посудина». За отсутствием лошадей, все перетаскивалось на руках, и работы были окончены пред самым появлением передовых Пугачёвских отрядов в виду города. Полковник Бошняк также отправил на судно главнейшие дела и денежную казну в 52 000 рублей, поручив охранение всего этого поручику Алексееву.

Началась спешная расстановка малочисленных воинских сил. Бошняк вывел саратовский батальон за сделанный пред городом вал и окружил укрепление рогатками. Ладыженский и Державин все еще пытались склонить его идти со всеми силами навстречу Пугачёву. Бошняк их предложения не принял.

— Ежели желаете, командуйте сами, а я совершенно устраню себя. Либо подчиняйтесь мне!

— За Пугачёвым, — заявил Державин, — гонятся преследующие его отряды.

Чрез два-три дня они настигнут мятежников. Нам бы только на это время позадержать злодеев пред городом. А для сего надлежало бы накидать грудной вал из кулей муки и извести и при содействии пушек отсиживаться в нем...

— Извините, поручик, теперь заниматься этим поздно, — возразил сухо Бошняк.

Тогда Ладыженский — все тот же Ладыженский! — приказал артиллерии майору Семанжу выступить с фузильерною ротою против мятежников и стараться до Саратова их не допустить, в случае же неудачи отступить, присоединиться к Бошняку и действовать совместно с ним.

Семанж выступил с отрядом в четыреста человек, прошел около трех верст и, остановившись, выслал вперед разъезды волжских казаков под начальством есаула Татарина. Позади Семанжа, возле самого города, пред московскими воротами находился полковник Бошняк с тридцатью офицерами и ста восьмьюдесятью рядовыми саратовского батальона. А между Бошняком и Соколовой горой стояла плохо вооруженная толпа сотни в полторы разночинцев, собранных купечеством.

Ночь прошла спокойно, а наутро 6 августа Бошняк узнал, что Ладыженский ночью сел на баржу и отплыл вниз по Волге. Что же касается Державина, то и он, поняв всю бессмысленность при сложившейся обстановке защиты Саратова, ускакал из города. К тому же за час до этого он получил из села Чердынь, где находилось его ополчение, известие, что собранные им в помощь Саратову полтысячи человек крестьян подняли волнение.

И только теперь Бошняк остался единственным распорядителем по защите города.

Невдалеке от Саратова, на привале. Пугачёв вспомнил, что плененные им под Петровском донцы не приведены к присяге. Он велел скликать сначала сотника Мелехова. Он подал ему золоченую медаль, установленную за франкфуртское сражение, и сказал:

— Жалуют тебя бог и государь, служи верно!

Мелехов взял медаль и поцеловал руку Пугачёва. Были пожалованы медалями и хорунжие. Затем всех донцов привели к присяге пред образом в медных складнях и тотчас выдали месячное жалованье по двенадцать рублей, а начальствующим лицам по двадцать рублей. Казаки остались довольны.

На заре 6 августа Пугачёвская армия, в количестве от четырех до пяти тысяч человек, начала приближаться к Саратову. Часть их шла по

Московской дороге, а другая часть двинулась на Соколову гору.

Бошняк выслал вперед саратовских казаков и приказал им стараться забирать в плен мелкие передовые партии мятежников. Казаки поехали на Соколову гору и после встречи с Пугачёвцами почти все там остались. Два вернувшихся казака объявили, что «государевы» командиры требуют доверенного человека для переговоров.

Эта весть, как на крыльях птицы, быстро облетела и защитников и жителей. Меж тем с Соколовой горы ударили по городу восемь пушек. До укрепленного района, где Бошняк, долетело лишь одно ядро. И все ж таки среди защитников началось смятение. Жители, мещанство и в особенности купечество, хоронившиеся возле торговых каменных рядов, точно так же заколебались, и как-то сам собой возник вопрос: «На зашищение надежды мало, так уж не лучше ли загодя сдаться на милость мятежников, а то хуже будет». После краткого совещания, под гром Пугачёвских пушек, ратман и есаул саратовских казаков Винокуров обратились к купцу Кобякову:

— Федор Елисеич, не пострашись, съезди в стан, да узнай, для каких переговоров требуют туда человека.

Кобяков, бравый, средних лет купец, с рыжей бородкой и горбатым носом, попрощался с заплаканной женой, сыном и со всем людом, сел верхом на коня, перекрестился двуперстием и поехал на Соколову гору. И лишь только остановился там и собрал возле себя толпу мятежников, как Бошняк приказал открыть огонь по кучке народу возле Кобякова. Оставшееся купечество вознегодовало на действия Бошняка. Бургомистр Матвей Протопопов вскочил на лошадь, помчался к Бошняку.

— Батюшка, ваше высокоблагородие, — стал купец выговаривать ему. — Да ведь ты своими выстрелами лучшего нашего купца изничтожишь. Одумайся!..

— А что же, любоваться мне на изменников?!

Тем временем Кобяков, окруженный казаками, поехал в стан Пугачёва, что верстах в трех от города, в зимовье саратовского колониста.

Пугачёв сидел в саду, в холодке, ел яблоки. Кобякову показался он грозным. Купец упал на колени.

— Ты что за человек? — спросил Пугачёв. — Встань.

— Ваше величество, я саратовский купец Кобяков. Город прислал меня к вашей милости за манифестом. Жители хотят под вашей рукой быть и служить вам, а манифеста нет...

— Дубровский! — закричал Пугачёв. И когда секретарь, поспешая к государю, выскочил в окно из дома, Пугачёв раздраженно сказал ему:

— Как это так, Дубровский, в Саратове моего императорского

манифеста нет? Вот жалуется человек.

— Был манифест послан, ваше величество, — ответил секретарь. — И не один...

— Может, и был, — сказал Кобяков, — да не в наши руки попал он. Начальство завладело им.

— Сколько у вас там солдатства-то, и кто командир, Бошняк — что ли?

— Бошняк, ваше величество, — проговорил купец. — А воинской силы мало, да и та в колебании...

— Вот видишь... А у меня сейчас пять тысяч, а назавтра и все десять будут... Так и скажи там. А Бошняка поймать надо да голову срубить... На, возьми манифест, казацкому есаулу Винокурову отдай... Иди. Слышь-ка, у тебя баньки нет, купеческой?

— Была, ваше величество, — тряхнул рыжей бородой купец, — была, да пожар слизнул.

— Жалко. А то я с самой Казани веничком-то не хвастался... Вот банька была у купца Крохина, отдай все да и мало.

Крупное лицо купца растеклось в улыбку, меж рыжими усами и бородой сверкнули белые зубы, он сказал:

— Первейший дружище мой, Крохин-то Иван Васильич... Самый закадычный.

— О-о, ишь ты, — прищурил правый глаз Емельян Иваныч. — Ну, иди с богом.

И только он ушел, ввалились в сад посланцы от трехсот бурлаков.

А в это время купец Кобяков, держа над головой бумагу с манифестом, подъезжал к окраинам города. Навстречу ему скакал с тремя казаками Бошняк, огромные усы его развевались по ветру.

— Что это у вас? Давайте сюда! — он выхватил бумагу из рук Кобякова, соскочил с седла, мельком взглянул в манифест, тотчас в ключья разорвал его:

— Крамола-а-а!.. Крамола-а-а!..

Набежавшие купцы и мещане заявили Бошняку, что они драться не будут, а пойдут всяк в свое жительство.

Тем временем Кобяков, пользуясь замешательством, объезжал ряды солдат и с коня кричал им:

— Эй, служивые! Себя поберегите! Да и нас такожде. У батюшки сила-а-а!..

— Арестовать крамольника!.. Арестовать! — голосил подоспевший Бошняк.

Но его уже никто не слушал: обстрел города произвел переполох и

всеобщую сумятицу. Жители сначала в одиночку, а затем и толпами начали перебегать в лагерь Пугачёвцев.

Вскоре, побросав свои посты, двинулись сдаваться в плен и воинские части. Прапорщик Соснин, находившийся на крайней батарее Бошняка, вместе с двенадцатью канонирами и прислугою бросил свою батарею и направился к городским воротам.

— Эй! — кричал он городничему. — Живо отвори ворота! Иначе в куски изрубим.

Но ворота уже и без того трещали: в них ломилась мятежная толпа.

Ворота рухнули, часть Пугачёвцев кинулась по улицам. Соснин привел свою команду в стан Пугачёва, всем фронтом отдал ему честь, опустился на колени и, принимая его за истинного Петра III, передал ему свое оружие.

Видя появившихся в городе Пугачёвцев, все бывшие за укреплениями разночинцы и пахотные солдаты, а вслед за ними и триста шестьдесят человек нижних чинов под начальством двух офицеров и под предлогом вылазки устремились к Соколовой горе и там тотчас передались мятежникам.

Наблюдая почти поголовное бегство на Соколову гору, Бошняк приходил в негодование. Усищи его обвисли, лицо позеленело.

— Пожалуйте! Кругом измена!.. Бегут, как бараны!.. — кричал он. Ему было видно, как со всех мест устремляются в стан неприятеля и защитники и жители: бегут торговки, пирожницы с лотками на головах, с кринками молока, с кошельками, набитыми всякой снедью, бегут мальчишки, девчонки, семян, подпираясь батогами, старики.

Бошняк приказал командиру саратовского батальона Салманову построить солдат в каре и отступить к Волге. Но вместо отступления майор Салманов скомандовал солдатам:

— По рядам налево! — и повел батальон на Соколову гору.

— Мерзавец! — заорал ему в спину Бошняк и от негодования затрясся.

Около трехсот солдат, побросав ружья, двинулись с барабанным боем за своим командиром. Салманов точно так же был совершенно уверен, что ведет солдат не к самозванцу, а к царю. Придя в ставку, он и его батальон опустились на колени. Тут же находилась и рота прапорщика Соснина.

— Пленные, ступайте в лагерь. Там будет учинена вам присяга, — сказал Пугачёв солдатам и велел наградить их деньгами.

При Бошняке остались лишь двадцать шесть офицеров и горсть солдат. Он приказал оторвать полотнища знамен от древков и спрятал их. Остатки отряда во главе с Бошняком кой-как пробились глухими местами через разьезды Пугачёвцев и спешно стали отступать по дороге к Царицыну.



Пугачёвцы, спохватившись, преследовали их до глубокой тьмы. В деревне Несветаевке отряд сел на лодки и 11 августа прибыл в Царицын.

Между тем воинство Пугачёва растеклось по всему городу. Они освободили арестантов, взломали винные погреба, предались пьянству.

Казенные и купеческие дома подверглись разграблению, обороняющихся умерщвляли. По улицам валялись мертвые тела. Гостиный двор, лавки, богатые дома и церкви были обобраны, все ценное уносилось на Соколову гору. Там было поставлено несколько виселиц, на них вешали правого и виноватого, мужчин и женщин, мещан, священников, купцов, колонистов, бурлаков.

Особенно свирепствовали получившие свободу арестанты.

К позднему вечеру страсти разгулялись вовсю, начались поджоги, кой-где запылали пожары. И не было возможности остановить потока накопившихся в народе мстительных порывов. Толпой были избиты есаул и два хорунжих, высланных Овчинниковым для утешения пьяной завирухи. Все гудело кругом, гуляли огни пожарищ, раздавались выстрелы, неистовые крики, пьяная — во всю ивановскую — песня, похожая на сплошной рев. Большинство населения привалило на Соколову гору, где у ставки Пугачёва подгулявшие священники приводили народ к присяге. Тут же Пугачёвские командиры всем годным на государеву службу стригли казацки в кружало волосы.

Темная ночь и проливной дождь положили конец гульбе.

Наутро наступил некоторый порядок. Пугачёв в окружении яицких казаков приехал в город и в соборной церкви приводил жителей к присяге. Он приказал открыть амбары и соляные склады и выдавать народу хлеб и соль безденежно.

На обратном пути в ставку к нему подъехал некий хорошо одетый пожилой всадник с пегими усами, снял шапку, низко поклонился и сказал:

— Царь-отец! Поприсмотритесь-ка ко мне, батюшка. Я торговый Уфимцев, роду казацкого... Помнишь ли, когда шел ты от Яика к Оренбургу, близко году тому назад, повстречал меня, а я гнал втапору триста лошадей. Ты, ваше величество, сторговал их у меня за три тысячи пятьсот рубликов, я, конечно, отдал, а расчету с тебя не получил. Может, батюшка, вспомнишь да отдашь? — несмело закончил казак Уфимцев и надел шапку.

Присмотревшись к нему, Пугачёв сказал:

— Справедливо говоришь. Помню, помню! Я тогда не при деньгах был. — И обратясь к своим свитским:

— Слышь, Дубровский, да и ты, мой друг Горбатов, как приедем в

лагерь, выдай ему медяками три тысячи пятьсот.

На-ка, Горбатов, от казны ключ тебе. А не четыре ли тысячи, Уфимцев, денег-то за мной...

— Нет, надежа-государь, три тысячи пятьсот, как одна копейка...

— Ты тутошный?

— Здешний, ваше величество... Дом справный был, да погорел. Живем теперича с двумя сынами в амбаре, старший-то сын женат, младший в парнях ходит.

Пугачёв тут же на ходу назначил его на место Бошняка саратовским комендантом, старшего сына произвел в полковники, младшего определил в свою армию казаком:

— И чтоб сей же день явились ко мне в ставку!

По армии с утра производилось усиленное учение. Пугачёвцы забрали в Саратове более тысячи ружей, много пороху, пять медных пушек — знай стреляй! Крестьяне под руководством опытных казаков занимались учебой весьма охотно и с немалым успехом.

На следующий день Емельян Иваныч приехал со своими ближними к Троицкой церкви, там было спрятано Ладыженским двадцать шесть тысяч рублей денег медною монетою. Все деньги, а также двадцать тысяч кулей муки с овсом приказано было грузить на подводы.

Подошла толпа бурлаков. Кланяясь государю, они доложили, что ими захвачен на Волге баркас с господским имуществом.

— Осмотри, батюшка, а пожитки прими...

Пугачёв спустился к воде и прошел на «посудину». Бурлаки предъявили пять бочонков медных денег, большой сундук с серебряной посудой, два сундука с богатой срядой. Осмотрев вещи, Пугачёв запер сундук, опечатал своей государственной печатью, велел судну подвигаться вниз вслед за армией. А три ключа от сундуков, широко размахнувшись, бросил при всем народе в воду. Мальчишки тотчас скинули с себя рубахи и порточки и, в надежде овладеть ключами, принялись нырять.

9 августа армия двинулась походом дальше. Пугачёв с атаманами замешкались. Батюшку снаряжали в поход Ненила и красавица Анфиса. Одевали его в простое платье. Атаманы толкались возле, молодежато крутили усы, сверкали на Анфису глазами, но девушка была сумрачная и печальная — ей начхать на всех атаманов да, пожалуй, и на «батюшку», она искала взором статного Горбатова и не находила его. Ох, уж этот недотрога офицер, никакими бабьими чарами его не купишь, он бежит от нее, как монах от нечистой силы. Вареная рыбина какая-то, а не военный кавалер.

Видно, другую в сердце носит. А ведь Анфиса-то не какой-нибудь обсевок в поле, на нее, бывало, сам сынок Крохина, казанского купца, заглядывался. Эх, замест души спасения, видно, гибнуть Анфисе, в кромешном огне гореть. Господи, спаси и помилуй сироту.

— А где Горбатов? — спросил Емельян Иваныч, надевая через плечо саблю.

Андрей Горбатов в это время стоял на берегу Волги, досматривал, чтоб все средние и малые «посудины», нагруженные армейским имуществом, были как следует оснащены и не замедлили спускаться вниз, к Царицыну.

Саженьях в ста от берега держалась на якоре небольшая баржа. На её верхней палубе стояла кучка женщин. Они громко кричали, стирали к берегу руки, махали шальями, фартуками. От барки к берегу плыл на лодке бородатый казак с винтовками за плечами. Его лодку течением снесло, он причалил её к берегу и побежал к идущему ему навстречу — конь в поводу — Горбатову.

— Господин начальник, — сказал казак, видя на левом рукаве Горбатова широкие позументные нашивки. — Я эвот с той барки. Мы с Казани сено, овес, крупу с мукой плавим, по деревням собирали, у помещиков.

— Кто это — мы? — спросил Горбатов.

— Как кто! Слуги царские. Нас семеро — вот я — казак, достальные суконщики казанские, да четыре бурлака, они и купеческую баржонку с продухтой из Казани увели. На ней и плывем мы. Опричь того, нам мужики сдали с рук на руки шесть девок, помещичьи дочки, дворянки, стало быть, либо сродственницы. А одну мы от рыбака отобрали, рыбак плавил её на понизово, из благородных она тоже и собой приятненькая, все плачет, все плачет. Мы недавно приплылись. Женщины просят на берег, чтоб, значит, батюшку увидеть, чтоб свободил их, значит, на волю. Они подаваться в Москву хотят, женские-то.

— Побудь тут, я сейчас, — сказал Горбатов и стал садиться на коня.

С баржи снова поднялся неистовый крик и рев. Женщины кричали пронзительно. Горбатов сделал руку козырьком, чтоб защитить глаза от пламенного солнца, спустившегося к закату как раз позади барки, и, ослепленный солнечным сиянием, не мог как следует разглядеть тогда, что творится на палубе. Там все погрузилось в густую тень. Зато весь правый берег Волги и сам Андрей Горбатов были с барки ясно видны.

Даша Симонова сразу узнала своего дружка по его статной фигуре, движениям.

— Андрей! Андрей! — надрывалась она, но её голос тонул в общем

крике.

— Садись-ка и ты, казак, ко мне, — приказал Горбатов, — так дело-то управней будет.

Бородатый казак заскочил сзади Горбатова на его рослого коня, и вот они догнали Пугачёва верстах в трех за Саратовом. Выслушав своего любимца, Пугачёв сказал ему:

— Мне теперь, Горбатов, не до девок, не до дворянок! — Затем, подумав, кивнул казаку:

— Иди в обрат, и вот тебе мое царское повеленье: дворянок плавить до Царицына и мне там представить. В дороге питать без отказа, обид не творить им, а иметь к ним береженье, никакой вины на них супротив меня нету. А караул держать. Ступай, казак.

Армия продолжала идти маршем, казак сел в лодку и поплыл к барже, а зоркие глаза Даши уже не нашли Горбатова на берегу. Ну, что же это за напасть такая!.. Ведь вот почти рядом был, вот у той землянки с белой дверью. Неужели он не слышал её отчаянного голоса, неужели не мог заметить её среди других женщин? «Ведь я же видала его. Значит, он совсем отвернулся от меня, навек забыл свою Дашу». Ей и в мысль не приходило, что единственной причиной её несчастья было — солнце.

Узнав от казака царев приказ, девушки заплакали... Когда-то еще подплывут они к Царицыну, а пока что сиди с этими мужланами в неволе.

Но... что за чудеса! Все грубости от караула разом прикончились, обхождение резко изменилось, и не стало к девушкам иного обращения, как «барышни».

Глотая слезы и вся в ознобе, Даша спросила казака:

— Не знаешь ли ты прозвище офицера, который тебя на лошадь посадил?

— Как не знать! Царь-государь говорил ему — Горбатов... Послушай, мол, Горбатов, господин...

— Так что ж ты не сказал Горбатову, что я родная сестра его! — схитрила Даша. Она боялась назвать себя Симоновой, не зная, как отнесся бы к этому казак.

— Ха! Смешная какая ты, ей-богу, барышня. Кабы знамо да ведомо, я бы сказал ему...

— Ты не из Яицкого городка?

— Нет, мы из Илецкой защиты.

Солнце село, хвост армии пылил вдали, надежда свидеться с Андреем исчезла. Даша, вся опустошенная, спустилась в свой уголок, упала на сенник и закуталась в шаль с головою. На нее напало тяжелое томление. Ей

бы плакать надо, удариться в голос и кричать от душившего её терзания. Но благостных слез не было, и внутри как бы все застыло. Она уже переставала верить в добро и счастье на земле, в существование на небе бога. Ежели бог есть, так почему же он не хочет оказать Даше милость и как нарочно устраивает так, что Дашу всюду преследуют неудачи: была у нее подружка Устя, был Митя Николаев, и нет их; был Андрей, единственная верная любовь ее, и нет Андрея, может быть, не повидавшись с ней, он завтра же будет сражен пулей. Уж не мстят ли ей силы небесные, что сменила она путь спасения грешной души своей на зовы юного сердца и, рассорившись с матерью-игуменьей, с монастырскими сестрами, ринулась в поиски Андрея Горбатова?

Она перебирает в своей памяти бурную размолвку с гостеприимной женской обителью и тайный побег свой из монастыря на берег Волги, где ждали девушку два старых рыбака, чтоб сплавить её вниз по течению и передать в руки другим рыбакам или устроить её на какое-либо попутное суденышко — их множество в ту пору проплывало по Волге. В конце концов, имея при себе единственное богатство — небольшой зеленый сундучок с кой-каким тряпьем — она сидит в большой лодке: баба и старик с парнем возили в Нижний Новгород арбузы, а теперь возвращаются к себе, под Камышин-город. И однажды перед утром, когда все четверо спали у костра на берегу, их поднял крик:

— Эй, вставай! Ты кто такая? И вот Даша, как подозрительная личность, схваченная Пугачёвским отрядом, попала со своим зеленым сундучком на эту баржу. Такова судьба.

К Даше приставлен был на барже работник с суконной казанской фабрики Макар Сизых. Борода у него густая с проседью, коротко подстриженная, нос вздернут кверху, в разговоре несносно гнусит, глаза безбровые, но пристальные, нелюдимые. Он сибиряк, из байкальских казаков, много лет тому назад приехал с женой в Казань, чтоб дальше двинуться — в Москву, да в Казани и застрял. Жена его умерла, собственная хибарка сгорела, когда царь-государь город брал, детей у него нету, вот он и догоняет «батюшку», чтоб помочь ему — ничего не поделаешь, душа затосковала: «Иди да иди, Макар», — прямо в уши ему зудил невидимый человеческий голос, ну что ж, собрался в одночасье — и айда! За опояской у него пистолет с кинжалом, в углу на гвозде охотничье ружьишко, он устроился почти рядом с Дашей. У нее часто происходили разговоры с ним по душам.

— Ну, а скажите, Макар Иваныч, — начинала Даша, — вы верите, что батюшка победит?

— Кто, я? Ни в жизнь не верю... — отвечал тот. — Я доподлинно знаю, что государя разобьют. А пошто? Да потому, что друженье у него дрянь-дряню, а войско — сиволапые мужичье с кулаками. Вот теперя с турецкой войны ужо-ко какие супротив него полки будут двинуты! Пороху понюхали достаточно. А у батюшки-то что?! Тьфу, можно сказать...

— Так зачем же вы, Макар Иваныч, погибели себе ищите?

— Ах, барышня!.. Да говорю вам — душа требует. Вот повоюю сколько можно — ружье у меня есть, зверолов я первеющий — а как придёт дело к неустойке, стрелача задам в Сибирь: дуй, не стой, дорога лугом!

— Вот и мы с женихом моим думали в Сибирь, — вспомнив свой казанский разговор с Горбатовым, раздумчиво говорит Даша. — Только что там делать-то?

— Ха! Милая вы моя барышня... В Сибири-то? Да ведь Сибирь край-то какой. Богатейший край!.. Там всего много, и все дешево. И люди там супротив здешних другие. Верный народ, вольный!.. Ни помещиков, ни купчишек, шибко душевредных. А ежели начнет который дюже забижать крестьян, у нас с ним расчет короток: нож в бок, либо шкворнем по башке.

Так они с нами-то дела ведут с оглядкой, а вот якутов с тунгусами да бурят шибко забижают. Бегите-ка, барышня, и вы в нашу Сибирь-матушку, безбедно со своим нареченным проживете, благодарить меня будете.

Он вынул из плисовых штанов сверкач с огнивом, закурил трубку, стал обсказывать, как расчудесно можно прожить в каком-нибудь глухом углу в тайге, в кедровнике, да чтобы речка была. Тут тебе и росчисть можно сделать под хлеб да под огород, и двух коровушек с овечками завести, пасеку устроить. Осенью ягоды, орех поспеет, рыбы за лето наловите, знай, живи — не тужи! — Ежели хотите, и я могу с вами вместях, найду себе бабу да и заживем вчетвером...

— Ах, это было бы чудесно! — в голосе Даши послышались и радость и печаль: она знала, что в жизни редко случается так, как об этом мечтаешь, жизнь поступает с человеком подчас жестоко и бессмысленно, у жизни свои, скрытые от людей законы.

Но так или иначе Даша несколько приободрилась и стала нетерпеливо поджидать встречи с Андреем.

Пугачёв в пути был хмур и мрачен. Прав был атаман Овчинников, предрекая, что донские казаки, переметнувшиеся к государю, не надежны. Так оно и вышло. Все шестьдесят казаков, вместе со своими начальниками, один по одному скрыто из армии бежали.

Даже победа над Саратовым не смогла прилепить их к царской армии. Уж не встречались ли они с Пугачёвым раньше, когда он был среди них простым казаком? Разумеется, могло быть и это...

— Не я ли тебе, Петр Федорыч, говорил, что утекут от нас казакишки-то, — говорил Овчинников.

— Правда твоя, Афанасьич, — ответил Пугачёв атаману. — А уж я ли их не ублажал: и медалями наградил, и деньгами.

— Ничего, батюшка, не помогло, даже присягу тебе рушили. А почему? Да из богатеньких они, дорожки у них с нами разные.

— Нагадят нам в кашу, — уныло сказал Пугачёв, — ужо-ко трепать языками учнут...

— Нагадят, ваше величество, нагадят.

В это время преследующие Пугачёва отряды Муфеля и графа Меллина, боясь встретиться с Пугачёвцами в открытую, остановились в пятидесяти пяти верстах от Саратова, в деревне Крюковке. Узнав, что Пугачёвцы 9 августа покинули город, оба военачальника 11 августа вступили со своими отрядами в Саратов.

Муфель выгнал оставшихся в городе мятежников, многих из них публично повесил. Он приказал убитых самозванцем погребать по христианскому обряду, трупы же Пугачёвцев «яко непотребных извергов, вытаща по земле за ноги за город, бросить в отдаленности в яму, прикрыв землю, повешенных же злодеев отнюдь не касаться, а оставить их на позор и показание зараженным и колеблющимся разумом людям».

14 августа пришел в Саратов полковник Михельсон, а вслед за ним приближался генерал Мансуров со своим отрядом.

Граф Панин, недовольный действиями Муфеля и Меллина, поручил Михельсону сделать им замечания, что они не подоспели на помощь Саратову и, находясь вблизи мятежников, устрашились атаковать их.

Тем временем Пугачёв, подаваясь на юг, полагал пробраться возле Царицына в узкий промежуток между Волгой и родным ему домом. Он совсем недавно мечтал в ночное время на берегу речушки прийти на Дон, поднять казачество и, не мешкая, выступить походом на Москву. Но теперь этих мыслей у него не осталось и в помине. Он знал определенно, что по пятам за ним гонятся правительственные отряды, а прилепившиеся к нему казаки-донцы коварно изменили ему, покинули его... Поэтому единственным желанием Пугачёва было: поднять, сколь возможно, силу донских казаков и не на Москву с ними двинуться, а на Кубань, чтобы перезимовать в тех местах. А что дальше делать — видно будет...

Вновь и вновь, по приказу Емельяна Иваныча, летели гонцы в глубь

земель Войска донского с указами царя, в которых говорилось о «злодеях-дворянах», намеревающихся ввести по всей России гнусные немецкие обычаи, изничтожить вольность казачью и прочее.

Говоря о «борзых псах», преследующих его по приказу Екатерины, Пугачёв с ненавистью перечислял своим атаманам немцев, стоящих во главе правительственных отрядов. Он начинал с Рейнсдорпа и кончал Муфелем.

— Рейнсдорпишка — раз, — говорил он, загибая палец на руке. — Брант — два... Кар, Грейман, Корф, Михельсон, Валленттерн... Пальцев на лапах не хватит, — столько их, псов немецких! Вроде, как ране, с Фридрихом ихним воюем...

## **Глава 6.**

### **Прохиндей по следам царя. «Я — солдат». «Мужицкий царь». Заговор. Слово пастора.**

#### **1**

Долгополовская комиссия, во главе с Галаховым и Руничем, оставив Рязань и Шацк, двигалась вперед с поспешностью.

Из официальных донесений комиссия узнала, что Пугачёв со своей армией стремится к Саратову и уже подходит к крепости Петровской, а подполковник Михельсон, преследуя Пугачёва, находится от него в ста верстах. Комиссия тотчас выехала в Арзамас, на большой Саратовский тракт, пытаясь догнать корпус Михельсона.

Проехали Арзамас, проехали Починки с казенным конным заводом. От воеводы узнали, что несколько дней тому назад завод был Пугачёвцами разбит, кони уведены в лагерь мятежников.

Вскоре комиссия прибыла в Саранск. Город был опустошен, частью выжжен. На соборной площади человек с полсотни жителей торговали в ларьках съестными. Прохиндей Долгополов с гусарами закупил на всю комиссию продуктов: молока, творогу, соленых рыжиков, до которых он сам был большой охотник.

— Ну и похозяйничали же тут у вас злодеи, — сказал он продавцу, расплачиваясь с ним и стараясь, по вкоренившейся привычке, обсчитать его.

— У-у-у, — затряс тот бородой, — что и было здесь-ка, что и было...



Воеводу сказнили с товарищем да шестерых помещиков. Теперича от батюшки посажен у нас в Саранске свой воевода, однорукий. Мы промеж собой смеемся: мол, поди, он и хабару с нашего брата в два раза меньше будет брать, одной рукой-то.

— Ты про батюшку лучше помалкивай, приятель, — строго сказал ему Долгополов и пальцем погрозил. — А то у нас живо плетей получишь...

— Да ведь... по глупости это, господин хороший, — проговорил торгаш и вдруг закричал вдогонку Долгополову:

— Стой! Эй, ты!.. Вернись! Слышь, двадцать две копейки недодал...

Но Долгополов, как ни в чем не бывало, окруженный гусарами, ходко шагал к своим экипажам.

Пред Галаховым стоял однорукий воевода в пестрядинном полушубке, опоясанном портупеею со шпагой. Он бывший подпоручик штатной команды.

— В городе Саранске, ваше высокоблагородие, все благополучно, — докладывал он. — Бывший воевода убит, а город предоставлен мне...

— Кто тебя назначил воеводой? — презрительно спросил Галахов.

Однорукий замялся, опустил голову, исподлобья посматривал в замешательстве на Галахова.

— Убирайся прочь! — крикнул на него Галахов. — И больше не смей называть себя воеводой... Прочь!

— Стыдись, сукин сын! — не стерпел бросить в спину пошагавшего Пугачёвского воеводы Долгополов. И обратясь к Галахову:

— Вот, извольте подивиться, ваше высокоблагородие, какие подлецы на свете водятся. А еще бывший офицер... Ая-яй, ая-яй... Да такого не жаль и вздернуть.

Пока подкреплялись пищей да перепрягали лошадей, стало темнеть.

Двинулись дальше в сумерках.

Долгополов важно восседал в тарантасе вместе с Руничем. Ржевский купчик еще в Москве сбросил с себя измызганное казацкое платье и вырядился с форсом, по-богатому: в суконной свитке и штанах, в опойковых сапогах со скрипом, а поверх, чтоб не запылилась сряда, надевал он добротный пеньковый архалук. А что ему! У него за пазухой изрядный гаманец, набитый золотыми империялами, — подарок матушки царицы; узелок же с ценными вещами, что вручил ему князюшка Орлов, он в Москве с хорошим прибытком продал. Ну, ему покамест хватит. А впереди крупная, богатейшая получка!

Только бы не сорвалось. «С нами бог! — мысленно восклицает, полный упования, прохиндей. — Деньги ваши будут наши. Не впервой!»

Не успели путники отъехать от Саранска и двадцати верст, как их захватила хмурая августовская ночь. Темно было. Временами вставало на горизонте далекое зарево, справа другое, слева третье. Огонь то разгорался, то стихал.

С рассветом представилась путникам суровая картина опустошения.

Казенных селений с государственными крестьянами было в этих местах очень мало, почти все села и деревни состояли в помещичьем владении, поэтому здесь порядочно-таки набедокурили восставшие. Жительства по тракту были пусты. В них оставались лишь старики да старухи с малыми ребятами. Все же остальное население, кто только мог сесть на коня, в телегу или добрым шагом идти пешком, вооружась косами, топорами, рогатинами, дубинками, присоединилось к армии «батюшки-заступника» и правилось вместе с нею.

Было время жатвы. Кругом ширились тучные, изобильные, с наливным колосом, поля и нивы, но жнецов не было видно... Разве-разве где покажется седая голова согнувшегося с серпом деда или промелькнет среди колосьев согбенная женщина в темном повойнике на голове. Работая через силу и видя одно лишь разорение, они льют пот и соленые слезы. А над их головами безмятежно звучит песня жаворонка, последняя песня пред отлетом в теплые края. Прощай, прощай, веселая птичка! И ты покинешь стариков...

По несжатым нивам топтался беспризорный всякий скот — коровы, овцы, свиньи — рыл, уничтожал хлеб, довершая бедствие крестьянина. Печально скиталось множество лошадей, измученных, покрытых кровавыми язвами, в которых гнездились гниение, копошились черви. Это — изувеченные в битвах кони, брошенные армией Пугачёва или воинскими частями преследователей его.

Иные лошади скакали на трех ногах, поддерживая на весу перебитую в боях четвертую, иные валились на бок и, судорожно подергивая ногами, скалили рот, как бы прося у проезжих смерти. Галахов дал гусарам приказ пристрелить страдающих животных.

Вот на обочине дороги вздувшаяся туша заседланного боевого коня, возле — труп всадника, левая нога вставлена в стремя.

— Это — башка татарская, вишь — гололобая! — закричал Долгополов, указывая пальцем.

А несколько подалее из помятых хлебов торчат три пары ног, обутых в лапти. Всюду смердящий дух по ветерку.

— Погоняй! — приказывает Рунич.

Попадались опрокинутые вверх колесами телеги, одноколки,

переломанная коса валяется, топор, лапоть. В канавке лежит, как боров, чугунная, какая-то кургузая пушка, без лафета. Опять труп — лицом вверх, руки раскинуты — русский бородач.

— Видать, работка господина Михельсона, — сказал Долгополов. — Работенка чистая! Добрую выволочку дал он сволочи этой!

Сухощекий, тщедушный Рунич спросил, высекая огонь и раскуривая трубку:

— Ну, а что, сам-то Пугачёв храбрый, боевой?

— Хе-хе-хе! — закатился бараньим хохотком Остафий Долгополов. — Первостатейный трус...

— Да что вы, Остафий Трифоныч! — усомнился Рунич.

— Да уж поверьте, ваше благородие, — возразил ему Долгополов, и маленькие глаза его ушли под лоб. — Да ведь он, злодей, во все времена пьян. Как мало-мало шум, он либо на дерево и там отсидку делает, либо в нору сигает. Смехи!

— Позвольте, позвольте... А кто же восстание-то ведет? Ведь боже ж ты мой, сколько возмутители крепостей позабрали... Кто же это, как не Пугачёв?

— Ха, кто! — воскликнул Долгополов. — Атаманы с есаулами, вот кто.

Овчинников, Шигаев, еще этот изменник Падуров. Оный Падуров был даже член Большой комиссии, медаль на нем депутатская, вот какая сволочь... Ну, иным часом и я командовал, грешный человек. Осу — я брал, пригород Осу...

— Вы? — Рунич со строгостью взглянул на своего соседа.

Тот испугался, прикусил язык, верхняя губа его задержалась, сказал:

— Известно, какой я командир! А, бывало, как крикну: «По коням, молодцы!» Да как вскочат все на коней... Соберу это я казаков в круг:

«Нам, молодцы, так и так с верными правительству войсками не сладить.

Утекай полным маршем врассыпную, пущай Михельсон мужиков крошит...»

Рунич недоверчиво улыбался, искоса посматривая на Долгополова, затем после молчания:

— Так как же он, пьяница и трус, армию-то в повиновении держит, Пугачёв-то?

— Лютостью, ваше благородие, великой лютостью. Чуть что не по нем — в мешок да с камнем в воду. А был случай, он своего самого верного слугу Лысова — из-за девок спор вышел — приказал связать, раздеть-

разуть да все двадцать пальцев самолично у него кинжалом отхватил с рук, с ног. — Долгополов вприщур поглядел в хмурое лицо соседа, вздохнул и продолжал:

— Да таких злодеев от сотворения мира не было... Прямо сатана из преисподней... Ой, ты! Видя от Пугачёва одну лютость, я и подговорил атаманов — предать разбойника в руки правосудия. Он, висельник, и меня оскорблял не раз. Полбороды мне выдрал, ведь у меня борода окладистая была, и лик у меня был не то что степенный, а без хвастовства скажу — первостепенный. Куда полбороды, почитай, всю бороду оторвал, каторжник, с мясом выдернул. Уж разрешите, ваше благородие, коль скоро схватим самозванца, я ему первый в морду дам. — И, помолчав немного, вкрадчиво спросил:

— Ваше благородие, а деньги, что на поимку выданы в Москве, у кого находятся?

У капитана Галахова.

— Целиком? Альбо часть у вас?

— А вам зачем это знать, Остафий Трифоныч?

— Как зачем, как зачем? — завертел шеей Долгополов и не знал, как половчее выкрутиться. — Мало ли что в дороге... Надо бы разделить, и я бы часть взял на сохранение. А то, оборони бог, несчастье какое, вроде нападения... Всяко бывает, ваше благородие... Господи спаси, господи... — и Долгополов стал креститься по-раскольничьи, двуперстием.

— Вы, я вижу, Остафий Трифоныч, старозаветной веры придерживаетесь?

— А как же! Ведь у меня во Ржеве... то бишь... это, как его... у меня в Яицком городке и молеленка в доме имеется. Ведь мы, казаки, почитай, сплошь равноапостольской старой веры...

— Да вы родом-то откуда будете? — насторожился Рунич. — Вот вы... насчет Ржева...

— Какой там, к свиньям, Ржев? — испугался вовсе Долгополов. — И слыхом об такой местности не слышал, не то что... Путаете вы меня, ваше благородие.

— Гм, гм... — промычал Рунич, скосив глаза на сторону.

Лошадки бежали ходко, ямщик — древний старец, выгорбив сухую спину, лениво помахивал кнутом, причмокивал. Впереди пылила тройка Галахова с четырьмя гусарами. Галахов плотно сидел на пуховой подушке и кожаной сумке с секретными бумагами и казной. Ложась в каком-либо селеньи спать, Галахов неукоснительно клал сумку в головы, у входной двери всю ночь несли караул с обнаженными саблями рослые гусары.

Где-то пылил о ту пору по российским дорогам знаменитый генерал-поручик Александр Васильевич Суворов.

Еще двадцать третьего июля в Петербурге от фельдмаршала П. А.

Румянцева было получено донесение о заключении с Турцией мира. Это радостное известие внесло в умы правительственных сановников бодрость и полную надежду быстро справиться с мятежом Пугачёва.

Тем не менее, опасаясь более всего за Москву, Екатерина вознамерилась отправить из обеих освободившихся от войны за границей армий всех генералов тех дивизий, которые постоянно квартировали в губерниях Казанской, Нижегородской и Московской.

— Пусть каждый генерал возьмет с собою по небольшому отряду и дорогою распускает слух, что за ним идут большие войска. Надо чаять, что сие отрезвит население, — вгорячах предположила Екатерина. Но впоследствии, успокоившись, она решила отправить в помощь главнокомандующему Панину только одного генерал-поручика Суворова.

Едет Суворов просто, не по-генеральски, в немудрой кибитке, на облучке — ямщик, а рядом с Суворовым — старый верный слуга его. Сверх потертого обыденного мундира надет на Александре Васильевиче крестьянский армяк (куплен был в дороге), на голове крестьянская же, валяная, «грешневиком», шляпа с узкими полями.

Суворов мрачен. Молчит, поплеывает под ветер на дорогу, что-то бормочет про себя и вдруг — выкрикнет, ни к кому не обращаясь:

— Помилуй бог! Я солдат, солдат...

Пылит путь-дорога, тянутся скучные версты: то пашни, то болота, то пески сыпучие.

Пустынно вокруг, сумрачно. Хотя бы какая-нибудь молодайка-баба в ярко-красном сарафане прошагала или веселая деваха с цветистым венком на голове порадовала проезжающих своей звонкоголосой песнью. Тоскливо, сумно на душе.

Суворов подергивает плечами, по его подвижному лицу скользят сменяющиеся быстро гримасы: он то защуривает большие глаза, то широко их распахнет и снова выкрикивает резким, раздражительным голосом, будто оспаривая кого-то или стараясь убедить себя:

— Я солдат, солдат... Приказано — выполняй...

Ни возница, ни слуга не понимают, что странные сии выкрики означают.

Но Суворов кричал, потому что этого требовала душа его.  
На слугу накатывает дрема. Он начинает позевывать, клевать носом.  
Дремлется и Суворову. Бельмастый мужик на облучке уныло гундосит  
в бороду:

Ай, кто пиво ва-а-арил?  
Ай, кто затира-а-ал?

И затем быстро-быстро, скороговоркою:

Варил пивушко сам бог,  
Затирал святой дух,  
Сама матушка сливала,  
Вкупе с богом пребывала,

Святы ангелы носили,  
Херувимы разносили.  
Херувимы разносили,  
Серафимы подносили...

— Эй, там! — окликал Суворов мужика. — Из хлыстов, что ли,  
будешь?

Бельмастый испуганно смолкал.

Перед самым въездом в какую-то деревню Александр Васильевич  
оживился.

Ткнул себя в грудь, снова закричал:

— Домашний враг! Домашний враг! — и закудаhtал по-куриному:

— Ку-дах-тах-тах... Куда ты едешь, дурак? Помилуй бог, солдат,  
солдат я...

Приказано...

— Чего-с? — просыпается слуга.

Бельмастый ямщик оборачивается на проезжающего и стеснительно  
ухмыляется: «Гы-гы-гы». Он видит гневно сверкающие глаза барина и  
тотчас же отворачивается, хлещет коренника вожжою.

Парнишки распахнули заскрипевшие ворота чрез дорогу и,  
выжидательно поглядывая в лица проезжих, запросили:

— Дяденька, дай копейку, дай грошик!

Суворов снял с мочального лычка пять баранок, кинул их парнишкам и спросил:

— Чего делаете, малыши? В городки, никак?

— В городки, дядя, в городки... В рюхи...

— А ну, примите меня. Кости поразмять...

Белобрысый брюханчик, лет шести, в большом картузе, сдвинутом на затылок, в пестрядинной рубашонке с поясом, сказал:

— Да тебе и палкой-то не швырнуть... Куда тебе...

— Помилуй бог, швырну!

Суворов сбросил армяк, мундир, шляпу, засучил рукава белейшей ярославского полотна рубахи и, приказав подводе подыматься к церкви, остался с мальчишками. Смачно чавкая баранки, ребятишки шумливо принялись ставить рюхи, разбирать палки.

— Ты, дяденька, хватай вот эти палки-то, кои самые толстые. В них поп с дьячком играют. Да тебе, поди, и в рюхи-то не попасть, — сказал, скаля зубы, все тот же белобрысый, в большом картузе, брюханчик.

— Молодец! Бойкай! — заулыбался Суворов, поплевал в ладони, взял самую толстую палку, отбежал к задней черте, сам себе скомандовал:

«Целься!» Прищурился: «Пли!» — да как ахнет.

Рюхи, словно черные галки, в разные стороны, аж завывли... Вот так саданул! Парнишки рты разинули.

— Хох ты... — прохрипел с восхищением рыжий карапуз.

А другой, беспортошный, в мамкиной кофте с длинными рукавами, сюсюкал:

— Сильна-а-й... Си-и-ль-на-ай ты...

Тут подошел к Суворову слуга с тюрючком, сказал:

— Ваше превосходительство, не отведаете ли курочки?

А мальчонка смахнул к затылку спустившийся на глаза картуз и говорит:

— Нет, ты не енерал.

— А кто же я?

— Ты... солдат. Нешто енералы играют в рюхи? Хы!

Суворов засмеялся:

— А вот я играю, а когда и заморского врага бью... Бей, не робей.

Опять прищурился на новый городок — да как ахнет! С трех палок выщелкнул все рюхи, крутнулся на одной ноге, сказал:

— А ну, кто скорей до кибитки? А ну!

Да как пустился вприпрыжку, всех опередил.

— Ну, прощайте, пузаны! — говорил, залезая в кибитку. — Ямщик, а

ну припусти лошадок... Как это ты распевал-то? «Херувимы разносили, серафимы подносили...» Хе-хе...

Суворов вплотную приблизился к местам, охваченным восстанием.

Брошенные деревни, сожженные поместья, неубранные нивы, беспризорный скот.

Крестьянские обозы со всем скарбом, малые толпишки вооруженных чем попало пешеходов. Никто на Суворова не обращал внимания. В одном месте разъезд гусар повстречался, восемь человек, тоже на проезжих ни малейшего внимания.

Но вот под вечер, возле деревеньки Забойной, Суворов наскочил на троих конных Пугачёвцев. За их плечами казацкие короткие винтовки, с левых боков — сабли. У бородача — прикрепленная к стремени пика.

— Стой! — закричал бородач.

И Суворов, оправив шляпу, тоже крикнул:

— Кто такие?

— Не твоего ума дело. Документы есть?

Ямщик съежился от страха, старый слуга творил молитву.

— А где нынче государь? — строгим голосом спросил Суворов.

— Какого тебе?

— Петра Федорыча Третьего... Один он у нас...

— Да мы сами его, батюшку, ищем днем с огнем... Тебе пошто к нему?

— Яицкие вы или илецкие? — не отвечая на вопрос, поднял голос Суворов.

— Я с Яику, а эти двое оренбургские, — ответил бородач. — А нет ли у вас, проезжающие, винца либо пожрать чего?

— Сами скудаемся в винишке-то, — торопливо отозвался слуга. — Эвот, господа казаки, на горе церковь — видите? Верст с пятнадцать отсель. Ну, так там у попа много пивов наверно. Езжайте, даст.

— Та-а-к... — протянули казаки, из-под ладоней глядя на село.

Бородач спросил:

— А тебе, проезжающий, все-таки пошто государь-то занадобился?

— Словесную радость везу ему от великого человека.

— Каку-таку радость?

— А это уж тайна государственная... помилуй бог. С государем с уха на ухо разговор буду иметь, — сказал Суворов, устремляя на бородача быстрый взор. — А вы, казаки, в дороге-то поостерегайтесь.

— А што?



— А то... Генерал Суворов сюда с воинством марширует...

— О-о-о... — наострили казаки уши.

— Я про Суворова слыхивал, — проговорил бородач, озираясь по сторонам. — Он в Пруссии против Фридриха воевал, он до солдата не плох был... Его, помнится, втапоры в подполковничий чин клали... А теперича, кто ж его знает, может, спортился человек, как генералом-то стал. По какой дороге идёт Суворов этот, по большаку?

— По этой по самой... Прощевайте, казаченьки. Ямщик, а ну, пришпандорь лошадок...

Встревоженные казаки свернули с большака на проселок, в сторону.

Старый слуга, вытирая вспотевшее лицо, бормотал:

— Ох, батюшка, Лександро Васильич... душенька-то вся истряслась за вас. Думал, конец пришел... Надо бы вам, батюшка, конвой с собой прихватить... Долго ль до греха... Ни за синь-порох пропадешь...

На ночлеге, при свете огарка, Суворов записал в походной тетради:

«Дабы избежать плена, — помилуй бог, — не стыдно мне сказать, что сей день принимал я на себя злодейское имя... Жив, жив!».

### 3

Небольшой городок, что лежал на тракте за Саратовом, в великом был смятении: приближался Пугачёв.

А давно еще начал залетать в городок тот слух, что «злодей» город за городом берет. А вот теперь, будто бы, сюда прется, в полсотне верст видели проклятое стойбище его... Что делать, как спасти животы свои?

Торговцы закрыли свои лавки и ларьки, кто спозаранку бежал, кто решил отсиживаться дома, выискивая, где бы схорониться, когда нагрянет душегуб.

Купцы, попы, воевода и чиновники так запугали темный люд, что городская голытьба тоже поддалась общей тревоге, говорила: «Ему, Пугачу, какая мысль падет, не утрафишь, живо на березе закачаешься»;

В воскресный день, после литургии, по настоянию воеводы служили всенародный молебен. В соборе от молящихся ломились стены, и вся ограда полнехонька народом. Протопоп сказал прочувствованное слово, говоря, лил слезы, утирал мокрое лицо рукавом подрясника. Плакал и народ. Все опустились на колени, с усердием вопили: «Пресвятая богородица, спаси нас!»

На амвон, к протопопу, поднялся низкорослый, сутулый старичок, он в

длиннополом армяке, перепоясанный сыромятным ремнем, нос орлиный, белая борода закрывала грудь. В толпе прошелестело:

— Василий Захарыч, Василий Захарыч...

Сутулый, кривобокий старичок почитался в народе самым уважаемым после протопопы человеком. Сызмальства до последних дней занимался он сапожным ремеслом, денег за работу не брал, кой-кто иногда платил ему скудной снедью: калачик принесут, квашеной капусты, квасу. Любил ухаживать за болящими, защищая униженных, помогал убогим. И всяк находил у него суд правый и слово утешения.

Вот старец ударил в пол посохом и тенористо крикнул:

— Мирянушки, слушай! — Народ совсем стих, шире открыл глаза и уши. — Час наш — час великого испытания. Сей день целы, а наутрие не уявится, что будет. Сего ради — коя польза в слезах наших и в воплях наших! А нужно вот что... Нужно верного человека спосылать гонцом к Пугачу, и пускай тот гонец как можно присмотрится к нему, велика ль цена делам его. И ежели он царь и добра людям ищет, мы покоримся ему без кроволитья, а ежели вор, мы супротив него выйдем, как один, и, кому написано на роду, умрем, ничего же сумняшеса...

Он смолк. И молча стоял весь собор, паникадило прищурило огоньки свои, лики святых хмуρο взирали с отпотевших стен. Но вот взволновалось людское море, вразнотык загудели голоса:

— Верно, Василий Захарыч! Правильно толкуешь! Указывай, кого послать?

И еще кричали:

— Василья Захарыча послать! Вот кого!.. Тебя, тебя, отец. Мы тебя за отца чтим. Постарайся, пожалуй, потрудись.

Старец приподнялся на цыпочки, запрокинул голову, замахал на толпу руками. А как смолк народ, поклонился чинно, в пояс, на три стороны, и заговорил:

— Спасибо, мир честной. Я согласен. Я молвлю ему слово сильное. И ежели голову снимет с плеч моих злодей, не поминайте Василья Захарова лихом.

Кругом поблекшая под зноем степь. Солнце закатилось. Запад окрасился в кровь. Становилось холодно. Широкоплечий Емельян Пугачёв, обхватив колени и скорючившись, сидит на обомшелом камне подле кустов дикого боярышника. Он зябко вздрагивает и полными забот глазами смотрит в степь.

Его полчища готовятся к ужину: всюду костры, курящиеся сизым

дымом, возле них — кучками народ. Вон там, по склону пригорка, пасется табун башкирских коней, там, на высоких курганах, чернеют пушки, около них тоже костры и люди. Звяк котлов, крики, посвисты, лошадиное ржание, все эти отдельные звуки не раздражают Пугачёва, да он и не слышит их. Он ушел в себя и, как слепорожденный от века, невнятно читает судьбу свою. Прошлое ясно для него, а будущее все в густом тумане, и сквозь туман мерещится Емельяну черный, как зев пушки, конец. И гибнет в нем вера в успех великих дел своих. У него нет надежного воинства. Сколько раз в горячем бою башкиры, татары, киргизы, чуть неустойка, сломя голову кидались наутек, и стоном стонала степь от топота удалявшихся коней. Да не лучше, выходит, и мужичья рать!.. А немчин Михельсон — чтоб ему, собаке, сдохнуть! — прется по пятам, не дает Емельяну Иванычу сгрудить разношерстные полчища свои, вооружить их, обучить ратному делу... Да, все плохо, все не так... Эх, если б полка три донских казаков Пугачёву, натворил бы он делов, Михельсонишка давно бы качался где-нибудь на сухой осине.

Он услышал сзади себя крадущиеся шаги. Круто обернулся. Абдул стоит, новый конюх его. Приложил Абдул ладонь к сердцу, ко лбу и закланялся:

— Бачка-осударь! Пришла к тебе бабой, шибко старый. Толковал, по большой дела до тебя, отец. Шибко большой...

— Веди!

— Кого? Тебя туда водить, до кибиткам, али старика к тебе таскать?

— Старика сюда!.. Стой! Перво, принеси синий мой государев кафтан с галунами да бобрячью шапку с красным верхом. А кто он таков: воевода ли, комендант ли, али боярин какой знатный?

— Ох, бачка-осударь, какой к свиньям бояр, сапожник он, сапоги тачат, ой-ой-ой какой беднай, только шибко справедливой, самый якши старик Василь Захарыч, его все знают округ-около, всяк шибко бульно любит, — захлеб бормотал Абдул, прикладывая ладонь то ко лбу, то к сердцу.

Пугачёв сказал:

— В таком разе одежины срядной не нужно, ладно и так... Чего ему надобно? Веди!

Пугачёв был в поношенном казацком костюме, за поясом два пистолета, при бедре сабля.

Вскоре предстал пред грозным Пугачёвым смиренный Василий Захаров, в старом армяке, в дырявых опорках, в левой руке мешочек со ржаными сухарями. Он не отдал поклона Пугачёву, только сказал:

— Здоров будь, человеце!

— Кто ты есть? Откуда?.. — Пугачёв подбоченился и отставил ногу. — Пошто шапки не ломаешь, пошто в ноги не валишься?

Василий Захаров, низенький и кривобокий, чуть откинул седобородую голову и пытливо прищурился в сердитые глаза сидевшего на камне человека.

Пожалев, что не оделся в праздничный кафтан, Емельян Иваныч нащупал в кармане большую генеральскую звезду, захваченную по пути в помещицьем доме, и, таясь от старика, приколот её на грудь.

— Разве не ведомо тебе, пред кем стоишь? — тыкая в звезду, сурово повторил Пугачёв, и каблук сафьянового, запачканного навозом сапога его ввинтился в землю. — Кто пред тобой сидит?

— Вот то-то, что не ведаю, свет, кто ты есть? Сего ради и пришел сюда! Да не своей волей, мир послал, городок наш избрал меня гонцом к тебе, дитятко...

Пугачёв выпучил глаза на старика. Старик по-умному прищурился.

— Царь ты или не царь? — спросил он смягченным голосом, и пронизательные глаза его чуть приметно улыбались. Похоже было, что у него возникло подозрение: не царь перед ним, а обыкновенный сирый человек.

— Сядь, старинушка, — вздохнув, указал Пугачёв на соседний камень.

— Нет, я не сяду, свет... Ты наперво ответь мне, кто ты есть и что держишь в сердце? Ты ли силу мужичью ведешь за собой, аки воевода, али бо сила качает тебя, аки ветер колос полевой? В правде ли путь твой лежит, али кривда накинула тебе аркан на шею?

Тихий голос старца показался Пугачёву преисполненным тайной дерзновенной власти. Емельяна Иваныча охватила оторопь. Но большие серые глаза Василия Захарова излучали какую-то особую теплоту, от нее таяло на сердце Пугачёва, и старик вдруг стал ему свойским и близким, как отец.

«Вот кто душу облегчит мою, вот кто беду мою поймет», — подумал он, дивясь себе.

Глаза Василия Захарова вдруг стали строги, пронзительны.

— Ежели ты доподлинный царь-государь Петр Федорыч, — сказал он, — ежели верно, что бог уберег тебя в Питере от руки злодейской, наш город примет тебя с честью, и к ноге твоей припадет, и крест на верную службу тебе поцелует. Ну, а ежели ты обманщик...

— Дедушка! — прервал его Пугачёв и поднялся. — Я тебе прямо... как отцу! — Мясистые щеки его задергались, взор упал в землю, плечи обвисли. — Нет, дедушка, не царь я. Нет, дедушка, не царь я, не царь!..

Простой человек, казак простой.

Взмотнув локтями и посохом, старец отпрянул назад, он вдруг стал выше ростом, хохлатые брови встопорщились, в груди захрипело.

— Только чур, старик... Молчок! — продолжал Пугачёв. — Сия тайна великая. Я тебе первому, первому тебе, как отцу родному! Люб ты мне...

Пойми, вникни в меня, да раздумайся по строгости.

Крупными шагами Емельян Иваныч начал ходить взад-вперед вблизи Василия Захарова и отрывисто выкрикивал слова, полные желчи:

— Им царя нужно! Им Петра Федорыча подай, покойника!.. Вот я — царь!

Я — Петр Третий, император всероссийский... Ха-ха... Я, дурак, царскую харю ношу, как скоморох о святках. Я, дурак, манифесты в народ выпускаю, грамоты. А мужики верят, мужики за царем идут! А что же я-то для них? Что для них я — казак простой?.. Я для них — ничто! Узнай они, что не царь я, а казак Емельян, невесть еще что со мною сделают... «Вор, обманщик!» — завопят. — Он шагнул к смутившемуся старцу, взбросил ладони на костлявые плечи его и с надрывом заговорил:

— Дедушка! Обидно мне... Ой, обидно, ой, тяжело, дед!.. Нет Пугачёва на белом свете, а есть, вишь, Петр Федорыч, царь. А не Пугачёв ли все дело ведет, не Пугачёв ли все народу дал: вольность, землю, реки с рыбами, леса, травы, все, все...

Он искажился лицом, затряс кулаками:

— Господи, царь небесный! Пошто этакую муку взвалил на меня? Чего ради такой крест несущи?! — Пугачёв обеими руками схватился за голову, шапка сползла ему на глаза, и пошатнулся он. Обратив затем лицо к стану, где дымилась огнистые костры, — расположилось там войско его — он угрожал униженным драгоценными кольцами перстом, выкатил глаза, закричал зычно:

— Черти вы, черти! Ежели б уверовали вы не в царя Петра, а в кровного брата своего, Емельяна, он бы вас повел войной дальше... Москву бы опрокинул, Питер взял бы, Катюку под ноготь, наследника долой, злодеев Орловых и всех бар тамошних в петлю... И — владей тогда мужик царством-государством, устраивай себе волю по казацкому свычаю. А таперича что я? Один! Один, как дуб в степи под грозою...

Емельян Иваныч дышал во всю грудь, глаза его то вспыхивали, то меркли, из-под шапки клок черных волос упал до самой переносицы.

— Спокою, понимаешь, мне нет... Иным часом, дед, и ночь и две, и три не сплю, все думаю-гадаю...

Шатаясь, Пугачёв расхлябанно сел на поросший мохом камень,

опустил голову. Старец видел, как горестно задергалось лицо «царя», как затряслась борода и завздрагивали его плечи.

В это время вернулся от кибиток Абдул: не прикажет ли что бачка-царь, — и слышит — говорит что-то старый Захаров, а что, понять невозможно.

Присел Абдул по ту сторону куста и ждет, когда разговору царя с Захаровым конец будет. А разговор там то вскинется, то угаснет... и вдруг видит Абдул: бросил старик посох и повалился пред царем-бачкою на колени, припал морщинистым лбом к траве степной и возопил:

— Друзе мой, друже! Царь ты есть... — И всхлипнул. — Мужайся, свет Емельян. Во прахе пред тобой лежу, поклоняюсь тебе, свет, радетелю сирых, убогих... Так вот и всему народу, пославшему мя, глаголати буду: есть ты, Емельян, воистину царь — вожак всенародный...

Тут Абдул понял, что нельзя мешать беседе, и ползком удалился прочь, а как оглянулся назад, не было уже при царе старика Захарова: исчез в сумраке, как сквозь землю провалился. И чуть погода — пронзительный свист.

То бачка-царь вложил пальцы в рот и оглушительно три раза свистнул.

— Эгей, Абдул, коня!

Опрометью Абдул за конем. Подал царю поводья, помог бачке сесть в седло. Белый конь понес седока мгlistой степью, только гул шел под звездами. С гиком, с присвистом скакал Емельян Иваныч и выкрикивал, сам не свой, встречу ветру:

— Будя в чужой харе ходить! Бу-дя-а-а-а... Не хочу больше по свету — протухлым покойником... Живой я! Живой! Москву возьму, царь-колокол, царь-пушку... Натe, сукины дети! Пир, фиверки, звоны по всем царствам. Я вождь ваш... А кто не уверует — башку долой. Казню, всех казню! Великие крови пуцу...

В эту же самую ночь подле яркого костра расположились на белой кошме атаманы. Они приказали подать себе спелых арбузов, чтобы утолить жажду после жирного ужина. Их было пятеро: Овчинников, Творогов, Чумаков, Перфильев, Федульев.

— ...а как в царицыных манифестах пишут, так оно и есть, — продолжал молодцеватый, видный Творогов, муж красоты Стеша. По борту его нарядного чекменя с галунами тянется толстая золотая цепь к часам, на пальцах три драгоценных перстня. — Макся Горшков — скобленое рыло — жив ли, нет ли, все уверял меня по первости: это царь, это царь... А за год-то мы и сами насмотрелись, какой он царь...

— Да и парнишка Трошка пробалтывается Нениле, — ввязался Чумаков, заглывая сочный кусок арбуза и прикрывая ладонью длинную бороду, чтоб не замочить, — пробалтывается парнишка, что, мол, царь-то ваш никто прочий, как мой батька.

— Хоть, может, он и не царь, а лучше царя дела вершит, — сказал Перфильев, сверкая исподлобья на Чумакова злобными глазами.

— А поди-ка ты, Перфиша, к журавлю на кочку! — крикнул Творогов. — Не он, а мы воюем, тот же Овчинников. В цари-то мы кого хошь могли поставить.

— Кого хошь? Хе! — сказал Перфильев, и усатое шадриное лицо его передернулось в ухмылке. — Чего ж вы не кого хошь, а батюшку над собой поставили? Да и не ошиблись. Батюшку народ любит, идёт за ним.

— Кто его ставил, тех нет, — выплевывая арбузные семечки, проговорил Чумаков.

— Стало, вы на готовенькое пришли? Ну, так и не рыпайтесь, — строго сказал Перфильев.

— Батюшка — царь есть, Петр Федорыч Третий! — вскинув мужественное горбоносое лицо, воскликнул Овчинников. — И вы, казаки, не дурите.

— Полно-ка ты, Андрей Афанасьич, лукавить-то, — укорчиво перебил его Творогов. — Ежели и царь, так подставной.

— А уж это не наше дело, — сказал Овчинников.

— А чье же?! — сорвав с головы шапку и ударив ею в ладонь, заорал Федульев.

— Всеобщее — вот чье! — прикрикнул на него Перфильев. — И казацкое, и мужиковское... И всей России, ежели хочешь знать!

Помолчали. Ожерелье костров меркло: лагерь укладывался спать.

Творогов вынул золотые часы, посмотрел время, спросил:

— А все ж таки, там царь он альбо прибудыш, как же нам, братья казаки, быть-то? Ведь нас царицены-то войска как рыбу в неводу к берегу подводят... Каюк нам всем!..

Никто не ответил. Все чувствовали себя несчастными, все покашивались на Перфильева, хмуро смотревшего на огоньки костра. Федульев, испитой и длинный, со втянутыми щеками, прищурился узкие татарского склада глаза, сказал срывающимся голосом:

— Связать надо, да по начальству представить... Пока не поздно...

Изрядно мы набедокурили. Авось, чрез это милость себе найдем.

— Кого это связать?.. — повернул к нему Перфильев усатую голову.

— Пугачёва, вот кого, — раздраженно ответил Творогов.

— А тебя, Перфиша, упреждаем, — вставил Федульев, — пикнешь, в землю ляжешь, с белым светом распрощаешься.

— Да уж это так, — поддержал его Федор Чумаков.

Перфильев ожег их обоих взглядом, крепко, с азартом обругался, встал и, волоча за рукав азиям верблюжьего сукна, быстро пошагал от костра в тьму августовской ночи.

— Стой, Перфильев! — нежданно поймал его за руку Емельян Иваныч. — Вертай назад, слышал я разговорчик-та. Пойдем! — И, приблизясь к костру, поприветствовал сидевших:

— Здорово, атаманы!

— Будь здрав, батюшка!.. Петр Федорыч... Ваше величество... — ответили казаки, поднялись: Овчинников с Твороговым проворно, Федульев с Чумаковым нехотя. В колеблющихся отблесках костра лицо Пугачёва казалось сумрачным, суровым и встревоженным. Он еще не остыл после дикой скачки по степи, тело млело и томилось, как в жаркой бане, и вся душа была взбаламучена разговором с дивным старцем.

— Ну, атаманы, — помедля, начал Пугачёв. — Ругаться мне с вами не гоже, а я вижу вас насквозь: глаза отводить, да концы хоронить вы мастаки... Ну, да ведь меня не вдруг обморочишь... Я одним глазом сплю, другим стерегу.

— К чему это ты, батюшка? — в бороду буркнул Чумаков.

— А вот к чему. — И Пугачёв подбоченился. — Я восчувствовал в себе мочь и силу объявиться народу своим именем. Надоело мне в прятки-то играть, люд честной обманывать. Зазорно!..

— Дурак, ваше величество... — как топором, рубнул Федульев, сердито прищуривая на Пугачёва татарские глаза.

— Да как ты смеешь?! — вскричал Пугачёв, сжимая кулаки.

— А вот так... Объявишься — скончают тебя, на части разорвут.

— Полоумнай! Не скончают, а в книжицу мое имя впишут. В историю! Слыхал? И вас всех впишут...

— Оно и видать... Впишут, вот в это место, — с издевкой сказал Творогов, прихлопнув себя по заду.

— Разина Степана вписали жа, — не унимался Пугачёв, — а ведь он себя царем не величал.

— Ха, вписали... Как не так! Разина в церквах ежегодно проклинаяют.

Дьякон так во всю глотку и вопит: «Стеньке — анафема».

— Народ меня вспомянет... В песнях, али как...

— Держи карман шире... Вспомянет! Царей да генералов в книжицу



вписывают, а не нас с тобой. А наших могил и не знатко будет. Брось дурить, батюшка! Ты об этом самом забудь и думать, чтоб объявляться!

— Запозднились с этим делом-то, батюшка Петр Федорыч, — сказал Овчинников, покручивая кудреватую бородку. — Поздно, мол... Ежели объявляться, в Оренбурге надо бы. А то народ сочтет себя обманутым, и вас, батюшка Петр Федорыч, не помилует, да и нас, слуг ваших, разразит всех.

— И ты, Андрей Афанасьич, туда же гнешь? А я тебе верил.

— И напередки верьте, батюшка. Не зазря же я присягу вам чинил.

— Так что же мне делать? — с внезапной обреченностью в голосе воскликнул Пугачёв и, вложив пальцы в пальцы, захрустел суставами. — Неужто ни единая душа не узнает обо мне? — Он качнул плечами, сдвинув брови и, сверкая полыхнувшим взглядом, бросил:

— Объявлюсь! Завтра же, в соборе объявлюсь. Н-на!

Костер почти погас. Черная головешка шипела по-змеиному. Мрак охватывал стоявших лицо в лицо казаков. Слышалось пыхтенье, вздохи. И сквозь сутемь вдруг раздались угрожающие голоса:

— Попробуй... Объявись... Только смотри, как бы не спокаяться.

Пугачёва как взорвало. Он так закричал, что на голос бросились от недалекой его палатки Идорка и Давилин.

— А вот не по-вашему будет, а по-моему! Слышали?! — притопывая, кричал Пугачёв. — Не расти ушам выше головы... Согрубители! Изменники! — Он круто повернулся и, в сопровождении Перфильева, шумно выдыхая воздух, прочь пошел. Растерявшиеся казаки поглядели ему вслед с холодным озлоблением.

«Эх, батюшка, — горестно раздумывал Перфильев, придерживая под руку шагавшего рядом с ним родного человека, — жаль, что ты вконец не освирепел: лучше бы три головы коварников покатались с плеч, чем одна твоя». Подумав так и предчувствуя недоброе, Перфильев силился что-то вслух сказать, но его язык как бы прилип к гортани.

Вскоре удалился и Овчинников. Оставшаяся тройка переговаривалась шепотом.

— Ваня Бурнов — мой приятель. Он пронюхал, что батюшка не царь, — сказал Федульев, поднимая с кошмы надрезанный арбуз. — Он в согласьи.

— А я Железного Тимофея подговорил, полковника, — прошептал Творогов, — он верный человек и на батюшку во гневе.

— Надо, братья казаки, с эфтим делом поспешать, — пробубнил Чумаков, — а то он проведает, всех нас сказнит.

— Да уж... Ежели зевка дадим, голов своих лишимся, — заложив руки в карман, сказал Творогов.

— Он таковскай, — подтвердил Федульев. — Ежели проведает, у него рука не дрогнет, — и, помолчав, добавил:

— А не убрать ли нам Перфильева с дорожки?

— Как ты его уберешь, раз все сыщики на него работают? — усмехнулся Чумаков. — Скорее не мы его, а он нас уберет.

— Ну, ладно, время укажет: батюшка ли к нам в лапы угодит, альбо мы к нему попадем в хайло.

Тьма налегла на костер и приплюснула его. Чадила головешка. Небо было в звездах. Под ногами атаманов неясно обозначалась сизым дымом белая кошма. Вдруг — странный, как будто незнакомый голос:

— Да, приятели... Времечко к расчету ближется.

Казак переглянулись: кто это сказал? И еще неизвестно, откуда прозвучало: то ли степная тьма дыхла в уши, то ли, издыхая, головешка прошипела по-змеиному, а верней всего — в трех растревоженных казачьих сердцах враз отозвалось:

— «Пре-да-те-ли»...

В городке гулко бухал соборный колокол. Церковь полна народу. Весь базар привалил к собору, на возах остались ребяташки и старухи. Народ с нетерпением ждал, что скажет возвратившийся Василий Захаров. В алтаре пред иконостасом и в паникадилах вздули огни. Воеводы не было, он в ночь сбежал.

Перед началом молебна на амвон взошел смущенный с лихорадочным румянцем на впалых щеках, Василий Захаров. Народ замер, народ широко открыл глаза и уши. Василий Захаров все так же чинно, в пояс, поклонился народу на три стороны, огладил белую бороду и начал надтреснутым, в трепете, голосом:

— Удостоился я на старости лет зрети очами своими царя н а ш е г о.

Это воистину н а ш царь, наш государь великий! Поклонитесь ему и послужите ему, ибо паки реку: он н а ш!..

Началось в соборе, а потом и в ограде, и на площади людское смятение, радостный народ кричал не переставая:

— Царь, батюшка-царь наш идёт сюда, государь великий! Ребята, дуй в колокола! Айда навстречу батюшке!

Мужицкий царь со свитой, с частью войска пышно приближался к городку.

И был он встречен со славой, с честью, с колокольным звоном.

Допустил народ до своей белой руки, а Василия Захарова трижды обнял, сказал ему:

— Будь здоров, отец, надежда моя!

Старик всхлипнул. Весь вид мужицкого царя был строг и на особицу решителен. Еще дорогой Емельян Иваныч намекал приближенным, что сегодня, в соборной церкви, случится такое диво, что все ахнут, и многие сегодня же, может быть, лишатся головы своей. Все с трепетом ждали чего-то необычного.

Но на темной паперти, когда Пугачёв протискивался со свитой внутрь собора, два его атамана, Федульев с Твороговым, толкнув его локтем в бок, мрачно процедили сквозь зубы:

— Ты, ваше величество, брось-ка, брось, что затеял. Ты император, а не кто-нибудь. Смо-три, брат...

Царь взглянул в сурово-загадочные лица приближенных, подумал: «Эх, зря я Горбатова в разведку усрал», — смутился, погас.

И повелено им было: поминать на ектениях по-прежнему Петра Федорыча Третьего, самодержца всероссийского.

#### 4

Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесенную деревянной рубленой стеной с башнями. Подьячий Нестеров, встретив приезжих в воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачёва в крепость убежали в степь, и неизвестно, где схоронились. А сам Пугачёв с армией, не останавливаясь в крепости, дней тому с семь, пошел прямо к Саратову. А дня два спустя проследовал за ним Михельсон со своим корпусом.

— Давайте, господа офицеры, поспешать за злодеем-то, — по-хитрому прищуриваясь, сказал Долгополов. — Лишь бы нам настигнуть его, а как настигнем, возьму у вас денег да с казаками, товарищами своими, свяжусь.

Глядишь, дело государственное враз завершим.

— Сначала дело, а уж опосля того деньги, Остафий Трифоныч, — заметил строго Галахов.

От столь неприятных для него слов прохиндей закатил глаза, и верхняя губа его задергалась.

— Конечно, ваше дело, господа офицеры, — сказал он, — только мною, сие не согласуемо будет со словесной инструкцией его светлости

князя Орлова, мне данной.

Галахов, насупись, молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами.

С большим трудом добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда и прибыла на другой день утром.

По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутораста торговало здесь различными припасами. Покупая продукты, Долгополов спросил прасолов:

— А где у вас в Саратове начальство?

— Никого нет, милостивец, город пуст. Только и народу, что здесь на площади, да и тот дней с пять как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушел.

Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых и, пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади, возле торговых шалашей. Разожгли костер, стали готовить пищу.

К костру, один по одному, собрались старики. Завязались разговоры.

Сметив, что дело имеют они с людьми, посланными против «батюшки», старые люди говорили с оглядкой, а «батюшку» называли «злодеем». Но по выражению их лиц и по тому, как не без лукавства переглядывались они друг с другом, было ясно, что здесь хитрят, боясь сказать правду.

— О-хо-хо! — вздыхает плешивый, лобастый дед. — Ой, и много злодей бедственных делов натворил... Великие злости от него в городе были.

— Просто на удивленье, — перебивает его другой, беззубый, с испитым лицом. — Хошь и злодей он, это верно, а мотри, сколь много народу к нему преклонилось. Первым делом — вся артиллерия, вся анжынерская часть, весь гарнизон, да, в придачу, сот шесть команды... Во!

— Да как же им не стыдно присягу преступать? — возмутился Галахов, и его открытое горбоносое лицо выразило неподдельный гнев.

Долгополов криворотом ухмыльнулся, а старик сказал:

— Да ведь он, ваше высокоблагородие, злоковарной хитростью всех опутал... Вторым делом — артиллеристы двадцать четыре орудия подарили Пугачу, со всем снарядом. А своего начальника, князя Баратаева, связали да Пугачу в руки: на — получи... Во как!

Глаза беззубого старика злорадно засияли, в голосе слышались горделивые нотки.

— Да нешто один Баратаев! — воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольствование товарища; он был благообразен, хорошо

одет. — Еще немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочет. Его сама царица быдто бы прислала выведать да высмотреть, можно аль не можно промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да еще четверых из начальства... Да многих хватали, яко неблагопокорных!

Старики говорили долго, путано, один другого перебивая, и, как оказалось потом, рассказы их были не вполне достоверны.

Отъехав от города на пятнадцать верст, путники заметили возле самой дороги две свежие могилы.

— Это что за могилы? — спросил Галахов возницу.

— А здесь полковник Баратаев да немец один, — ответил возница из саратовских посадских людей. — Тут им конец жизни доспелся.

В попутной колонии «лютерского исповедания» комиссия остановилась у кирхи, возле которой толпился народ. Селение было хорошо обстроено и содержалось опрятно. Из побеленного домика под черепичной кровлей вышел прилично одетый, чисто выбритый старик-пастор и пригласил офицеров с Долгополовым к себе в дом, а старосте приказал готовить подводы.

Колонисты относились к своему пастору с большим уважением, в разговоре с ним обнажали головы, отвечали на вопросы с почтительностью.

Скромный дом пастора состоял из трех комнат и кухни. Впереди дома — палисадник, сзади, за обширным, усыпанным желтым песочком двором, большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодок.

В доме — уют и чистота, на окнах белейшие гардины и цветы в расписных майоликовых вазонах. В переднем углу распятие итальянской работы, из черного дерева и слоновой кости. Книги в хороших переплетах. Много книг.

Клавесины, ковровый диван, уютные кресла, круглый стол под свеженаутюженной палевой скатертью.

— Вот, господа хорошие, если б вы знали да ведали, сколь скудно живет наш деревенский батюшка и сколь роскошно, дай вам бог, живете вы, господин пастор, — сказал Долгополов, с удивлением рассматривая обиталище хозяина.

— Да? — не то спрашивая, не то утверждая, застенчиво проговорил пастор и пригласил гостей присесть. — Я не особенно знаком с условиями существования сельского духовенства, но знаю, что ваше духовенство городское живет в большом достатке. А меня не забывает паства, не оставляет своими щедротами господь бог, да и сам я суть человек труждающийся по мере сил моих.

— Вы... из немцев будете? — спросил Долгополов.

— Нет, я природный латыш, родился возле города Риги, в крестьянской семье, но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полжизни в России провести, в Петербурге.

— А как же здесь-то очутились? — поинтересовался молчаливый Рунич.

— А сюда привели меня, во-первых, указующий перст божий, — ответил старик, — во-вторых, веления собственного сердца и любовь к природе, к занятиям сельским хозяйством. Состою корреспондентом Вольного экономического общества, покровительствуемого императрицей.

Пастор угостил приглашенных вкусным кофеем и простым, но сытным завтраком.

Завидя, как Галахов с Руничем стали шептаться и вынимать кошельки, чтобы отблагодарить хозяина за угощение, взволнованный этим старик стал возражать:

— Не ослепляйте, господа, глаз моих никакими подарками, — сказал он тоном обиженного. — И ежели вы что-либо ассигновали мне, то умоляю передать это бедной братии, коя, без сомнения, на пути вашем встретится.

— Тогда, отец пастор, вы все-таки возьмите от нас и раздайте бедным своими руками, — сказал Галахов. — А то, при нашей скорой езде, раздавать подаяние нам будет несподручно.

— Что вы, что вы! — с приятной улыбкой ответил хозяин. — Если б вы и на быстрых крыльях ветра летели, то и тогда успели бы посмотреть на нищету светлыми очами доброго своего сердца.

По просьбе Галахова пастор сообщил, что несколько дней тому назад Пугачёв с армией прошел мимо их селения.

— За несколько часов до своего прихода, — рассказывал пастор, — он прислал пять своих казачьих офицеров к нашему старосте с повелением, чтобы жители из своих домов не выходили дотоле, доколе он со своей армией не удалится из виду от селения нашего, дабы не мог кто-либо претерпеть от его войска какой обиды и несчастья. — Голос пастора дрогнул, глаза внезапно увлажнились, он справился со своим волнением и закончил:

— Моими пасомыми оный приказ Пугачёва был точно выполнен. И все обошлось благополучно.

— А нам известно, что каналья-злодей повсеместно лютость оказывает! — запальчиво проговорил Галахов.

— Слухи идут всякие, — вздохнув, ответил пастор. — Я склонен думать, что сам Пугачёв не столь жесток, как про него молва идёт. А вот его

сподвижники, по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения, поистине могут быть в своем поведении жестоки... И что же вы хотите, господа! — вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест, воскликнул пастор. — Ведь бунт, ведь темного народа восстание простекает!

Силы адавы распоясались, сатана спущен с цепи. Но я верую, господа, можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей действует указующий перст божий.

— А Пугачёв, выходит по-вашему, чуть ли не посланец неба? — с язвительностью спросил Галахов.

— Я этого не хочу сказать. Но... что свыше предначертано, тому не миновать.

— А вот увидим, откуда оно предначертано, — с той же запальчивостью возразил Галахов. — Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит все начистоту.

— Да, но сей государственный преступник, — подчеркнутым тоном произнес пастор, — будет судим не токмо судом человеческим, но и судом человеческой истории! А первой всего предстанет он пред судом божьим! — и пастор взбросил руку вверх. — Однако милосердный бог не преминет судить не токмо его, а вкупе с ним всех, кто сеял бурю среди народа жестокостями своими.

— Вы, отец пастор, чрезмерно смелы в своих суждениях!

Возмущенный Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице.

— Да, смел, — дрогнув голосом и потупясь, ответил пастор. — Иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору синедриона Христа!

Долгополов стал плести про Пугачёва какую-то несуразицу, но его никто уже не слушал.

При прощаньи капитан Галахов отвел хозяина в соседнюю комнату и, крепко пожав ему руку, сказал:

— Вы простите мне мою горячность... Такие люди, как вы, зело редки, особливо в провинции... Свидетельствую вам свое уважение.

Пастор широко улыбнулся, произнес:

— Да сохранит вас бог, — и по-отечески благословил капитана.

Встретилась в пути еще колония с жителями «католицкого» исповедания.

Огорченный, унылого вида ксендз нарисовал перед отдохавшими у него путниками картину Пугачёвского нашествия.

— Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, — сказал он, — разумеющих язык российский, ограбили меня, а также прочих

состоятельных колонистов и ушли за Пугачёвым. Вот веяние времени! А сверх того, увели оные отщепенцы пятьдесят самых лучших лошадей, в числе коих и мои три.

— Сделал ли самозванец какие-либо разорения вашей колонии? — спросил Галахов.

— Нет, господь сохранил нас, ни насилий, ни разорений от врага мы не видали, — ответил ксендз.

Путники хотя и с большим трудом доставали лошадей, однако двигались довольно быстро. Вскоре прибыли в приволжский городок Камышин. До Царицына оставалось сто восемьдесят верст.

Явившийся начальник волжских казаков доложил Галахову:

— Из Царицына вот уже третий день идут слухи, якобы Пугачёв разбит. А посему я отрядил триста человек надежных казаков на ту сторону Волги и приказал им: ежели встретятся бегущие тем берегом из Пугачёвской армии люди, оных ловить, а кои добровольно сдаваться не станут, тех колоть.

— Чинились ли Пугачёвым жестокости, разорения? — задал тот же самый вопрос капитан Галахов.

— По приказу Пугачёва, — ответил казацкий офицер, — был казнён комендант городка Камышина. А от войск его никакого разорения городу не было, только взято двадцать подвод припасов.

Этот ответ, равно как и все дорожные впечатления, любознательный офицер Рунич тщательно заносил в тетрадь.

Предположив, что упорные слухи о разгроме Пугачёва имеют основание, комиссия, посовещавшись, решила: Галахову, Руничу и Остафию Трифонову, прихватив с собой двух гренадеров, двигаться к Царицыну. Команду же гусар оставить в Камышине.

Ехать без сильного конвоя, по мнению комиссии, было теперь не так уже опасно: Пугачёвских скопищ нигде не встречалось, наоборот, стали попадаться в пути воинские разъезды.

## **Глава 7.**

**«Это Пугачёв! Бегите!» Над Суворовым небо в звёздах.**

**Предательство. Побег.**



Впятером направились дальше. В одной из казачьих, Волжского войска, станиц остановились для перепряжки лошадей.

Станица, расположенная на яровом берегу Волги, была почти безлюдна.

Гренадеры Дубинин и Кузнецов пошли собирать по хатам жителей. Им удалось привести к Галахову всего пятнадцать старых казаков. Галахов спросил их, где же народ. Они ответили, что самосильные казаки «кои на турецкой войне, кои по форпостам службу несут».

Зная уверенно, что большинство казаков ушло вместе с Пугачёвым, Галахов не стал распространяться об этом со стариками, а велел им идти в табун и, поймав ездовых лошадей, привести их для упряжки. Старики отправились за конями, а два гренадера — на бахчи, за арбузами.

Галахов, Рунич и Долгополов присели у амбара, стоявшего на бугристом берегу Волги. Кругом — полное безлюдье. Впереди, перед глазами, мутнели неширокие воды обмелевшей Волги, но и Волга — сплошная пустыня: ни ладьи, ни сплотов, ни белого паруса. Впрочем, два старых рыбака на челне греблись возле берега, проверяли самоловы. А за Волгой зеленела после пролившихся дождей безмерная луговая сторона.

Галахов, приложив к глазу «першпективную» трубу, всматривался в даль.

Верстах в десяти на взлобке белела церковь, кучились, как овцы, серые избенки. Далеко-далеко ехали два всадника, отдаваясь от реки.

Прошел битый час. Остафий Трифонов, чтоб скрасить утомительное время, принялся рассказывать небылицы о Пугачёве, стал валить на него всякий беспутный наговор, как на мертвого.

— Семнадцать сундуков с награбленным добром было отправлено им, злодеем, своей государыне — ха-ха! — Кузнецовой Устинье, в Яицкий городок.

Одних золотых вещичек пять пудов три фунта. Уж это я подлинно знаю, мне сам Овчинников, злодейский атаман, сказывал...

— А вы не видали императрицу-то его? Поди, красива? — поинтересовался Рунич, молодые глаза его заблестели при этом.

— В натуральности чтобы — не видел, а портрет живописный видел, — соврал Долгополов и запричмокивал, закрутил головой:

— Ах, краля, ах, кралячка, ягодка-малинка в патоке!.. Ну, да ежели б я её видел, не ушла бы от меня!

Рунич и Галахов, взглянув на него, залились откровенным смехом.

— Вот вы, вашескородия, смеетесь, — обиделся Долгополов, уши его вспыхнули. — Думаете: где, мол, ему, червивому мухомору, красоток

обольщать... А, промежду прочим, и приворотное словцо знаю. Да чрез оное щучье словцо я со всеми Пугачёвскими девчонками в любовном марьяже состоял. Ей-богу-с... Ведь я у Пугача-то генералом был, а опосля первого марьяжа он меня в полковники попятил, а опосля второго, с помещицьею дочкой Таней, что у Пугача в плену находилась, батюшка однажды схватил меня за бороду: «Я тебе с полковника еще три чина спущу, будь отныне простым хорунжим. А ежели сызнава любовную прошибку сотворишь, так и этот чин спущу, а заодно и шкуру до ребер, а самого вздерну...» Вот он сволочь какая, извините на черном слове-с...

Офицеры улыбались. Галахов продолжал рассматривать горизонты за рекой. Ни лошадей из табуна, ни арбузов с бахчи все еще не было.

— Зело интересуется меня, — молвил Галахов, — куда это Пугачёв с вольницей со своей ударится? Ежели только слухи о поражении его верны.

— Я так полагаю, — помедлив, откликнулся Долгополов, — ежели Пугачёв схвачен живьем, то тем все дело и закончится. А ежели сего с ним не приключится, он с оставшимися яицкими молодцами переплывет на луговую сторону Волги и пустится по оной к Астрахани, алибо вверх по реке, чтобы податься к Яику...

— А чего Пугачёву на Яике делать? — сказал Рунич. — Да его воинские наши части и не пустят туда...

— А не пустят, тогда он обманет своих яицких сотоварищей, — продолжал рассуждать Долгополов, — и уйдет от них один в Мальковку. А уж оттудова проберется скрадом в Керженские леса, к раскольникам, алибо на Иргиз, в раскольничьи скиты, к игумену Филарету...

Тут Долгополов смолк, опустил глаза в землю и задумался. Упомянув имя Филарета, он вдруг припомнил свое пребывание в Москве и ночной разговор в часовне со старцем Саввой, протопопом Рогожского кладбища. Даже всплыли в памяти строгие слова протопопа Саввы: «Езжай, чадо Остафие, к всечестному игумену нашему Филарету, а от него и к государю, да толкуй государю-то: мол, евоное голштинское знамя добыто нами в Ранбове чрез великую мзду и отправлено оное царское знамя в армию императора Петра Федорыча с неким ляхом Владиславом... Токмо клянись, чадо Остафий, тайны сей никому не открывать, окромя государя...» — Клянусь! — ответил тогда протопопу Долгополов и, в знак верности, облобызал святой крест с евангелием.

Припомнив это, Долгополов глубоко вздохнул. Душевное смятение отражалось в его утомленных обморщенных глазах. Один за другим в сознании его возникали праздные вопросы самому себе: зачем он, бросив жену, помчался к Пугачу, почему обманул и господу бога и протопопа

Савву, не исполнив своей клятвы и не сказав Пугачёву о голштинском знамени, почему вся нелепая жизнь его проходит в плутнях да обманах и, в довершение всего, зачем он не убоился надуть даже императрицу и вот торчит здесь с офицерами, обещая им поймать самозванца?.. Господи! Да ему ли, прохиндею, быть ловцом, самого-то его вот-вот схватят... Эх, хоть бы поскорее капиталец тяпнуть да с ним и бежать... хоть к черту на кулички!

— А вестно ли вам, господа офицеры, — вдруг поднял он голову, — что у злодея имеется голштинское государево знамя?

— Что? Голштинское знамя?! — удивились офицеры. — Не может тому статья, Остафий Трифоньч, — и оба они с сугубым недоверием воззрились в лицо соседа.

— Мне от его сиятельства Петра Иваныча Панина ведомо, — помедля, сказал Рунич: — все голштинские знамена — одиннадцать пехотных да два кавалерийских — хранятся в военном комиссариате, в сундуке за орлеными печатями.

— Вот вам и за печатями! Я сам видал...

— Видали? Какого же оно цвета?

— Да как бы вам сказать-с, — замялся, заприщелкивал пальцем Долгополов, — этакое желтоватенькое... этакое с прозеленью...

— Смотрите-ка, смотрите-ка, — неожиданно встревожился Галахов и приставил к глазу першпективную трубу. — Пыль и шестеро верховых!

Все трое поспешно поднялись, начали водить напряженными взорами вдоль заречной стороны; обмелевшая Волга была в этом месте не очень широка, луговая дорога отчетливо виднелась за рекой.

— Глядите, глядите, черт побери! — взволнованно бросил Галахов. — Еще народ.

За шестью проехавшими рысью верховыми двигалась партия всадников, человек с полсотни, а следом за ними — две дюжины строевых конников, по два в ряд. Шагах в сорока позади конников подвигался одинокий всадник на крупном, соловой масти коне, а за ними еще шесть человек.

— Мать распречестная! — досиня побледнев, прохрипел Долгополов и закатил глаза. — Пугачёв!! Ей-богу, сам Пугач... Я по соловому коню признаю... Его конь! Гляньте, гляньте... За ним еще молодцы, он завсегда этак марширует... Ой, схоронитесь, вашескородие, хошь за амбар, — засуетился Долгополов. — А то он, злодей, как сравнивается против нас, живо дозрит... У него завсегда при себе зрительная трубка...

— Постой, постой, — шепотом сказали офицеры, словно испугавшись,

как бы их не подслушали за версту опасные проезжие.

— Бегите! — закричал вдруг Долгополов. — Смерть нам всем! Дозвольте, сумочку с казной подсоблю нести...

Притаившись за амбаром и выглядывая из-за угла, все трое наблюдали движение за рекой Пугачёвской силы.

Вот новый отряд в двадцать четыре человека с поднятыми пиками, за ним — запряженная тройкой лошадей богатая коляска, за ней две кибитки тройками, далее опять отряд человек в тридцать, в две шеренги, со значками и знаменами. Следом пылила добротная рать, по примерному подсчету — до полутора тысяч человек, разбитых на пять отделений, впереди каждого отделения гарцевали атаманы и полковники. Далее двигались около сотни навьюченных лошадей, ведомых людьми пешими. А сзади, отстав на версту, последняя партия человек в четыреста.

— Да, народу у злодея немало... Не иначе, как близко к двум тысячам, — выходя из укрытия, проговорил Галахов.

А Рунич по молодости лет, не посоветовавшись с Галаховым, огорошил Долгополова такими словами:

— А что, Остафий Трифоныч... Ежели, по примечанию вашему, это Пугачёв со своей армией, то, чего лучше, мы вас отсюда и отпустим.

«Хм, отпустим... А денежки?» — подумал Долгополов. Он взглянул на Рунича с ожесточением и в сердцах бросил:

— Ха! Вот как... Видно, вам хочется, чтоб нас всех повесили? Я сам разумею, когда предлежит мне к Пугачу идти...

Разговор оборвался. Все трое снова сидели на бугре, провожали взглядом проезжавшую рать. Солнце еще стояло довольно высоко. Густая пыль долго клубилась по ожившей дороге, мертвенная степь наполнилась необычным движением. Очевидно, проехавшая армия в питании не нуждалась, иначе фуражиры Пугачёва не преминули бы заглянуть в станицу, где комиссия поджидала коней.

Галахов, покусывая густые усы и нахохлив брови, раздумывал над только что, как в сновидении, промелькнувшей пред его глазами необычной картиной.

Так вот каков этот грозный самозванец! Оптические стекла зрительной трубы приближали в двадцать пять раз, а до Пугачёва всего было не более полутора верст, значит — Галахов рассматривал «царя» на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Ему запомнилось смуглое чернобородое лицо, горделивая осанка всадника, рост и поступь могучего солового коня. Каким-то древнерусским богатырским эпосом пахло на Галахова со степных просторов Волги, будто он воочию увидал и запечатлел навек

ожившую русскую сказку об Илье Муромце или Микуле Селяниновиче с их железными дружинами. Вот он, русский народ, творец истории! «Уж ты го́й еси богатырь степной!..» — хотелось крикнуть вдогонку всаднику на соловом скакуне, но рассудительный офицер, руководствуясь служебным долгом, вдруг резко оборвал возникшую в его душе сумятицу, и его глаза снова стали суровы, замкнуты.

— Черт возьми, — сказал Рунич, — ежели даже разбитая армия идёт у него в таком порядке, то...

— То, — перенял Галахов его мысль, — нам, несчастным, вряд ли удастся изловить разбойника!

— Не сомневайтесь, дело наше верное! — в раздражении кинул Долгополов и собрался еще что-то сказать, но не сказал, сердито отмахнулся.

Комиссия Галахова, двигаясь не особенно быстро, наконец достигла города Царицына. Комендант крепости, полковник Цыплетев, сообщил, что двадцатитысячная армия Пугачёва разбита Михельсоном. Но он, Цыплетев, достоверных донесений еще не имеет, ожидает их со дня на день.

Галахов, в свою очередь, рассказал Цыплетеву, как на глазах комиссии Пугачёвская армия проследовала мимо одной из станиц.

— А в Дубовке нам сказали, — продолжал Галахов, — что Пугач разгромил команду подполковника Дица и что сам Диц убит, а его команда частью порублена, частью попала в плен. И сколько-то пушек злодей захватил.

— Сие тоже правильно, был грех, был! — вздохнул Цыплетев. — Да, глядя правде в глаза, надо прямо сказать: неплохо дерется Пугачёв...

— Но ведь Михельсон-то не единожды бивал его...

— И будет бить... Разве у Пугачёва войско? Сброд, лапотники! — воскликнул с озлоблением полковник, не замечая противоречия в своих высказываниях.

На другой день, неожиданно, прискакал в Царицын генерал-поручик Суворов с адъютантом Максимовичем и слугой.

А к вечеру явился со своим корпусом и «победитель забеглого царя», подполковник Михельсон. Он тотчас же начал своих солдат переправлять в ладьях и баркасах на луговую сторону Волги, чтоб выступить в погоню за

Пугачёвым. Но, узнав, что командовать корпусом прислан Суворов, Михельсон передал ему своих людей и, чрез день роздыха, выехал к главнокомандующему, графу Панину.

Комиссия, представившись Суворову, просила разрешения следовать за его корпусом.

— Ну что ж, — сказал Суворов, — у меня тысяча да вас трое, авось схватим молодца! А ты кто? — ткнул он пальцем в Долгополова.

— Казак, ваше превосходительство.

— Да уж, полно, казак ли? Не пономарь ли беглый?

— Казак... Яицкий казак, — проямлил Долгополов.

— С ружья палить можешь? Саблей можешь? Пикой можешь?

— М-м-могу, — страшась, как бы генерал не учинил ему проверку, едва слышно вымолвил Долгополов и закатил глаза.

— Как во фрунте стоишь?! — резко крикнул Суворов. — Пятки вместе, носки врозь! — затем, обратясь к Галахову:

— А вы, гвардии капитан, извольте быть готовы со своей комиссией завтра с утра к амбардации на тот берег, в Ахтубу!

Комиссия перегнала в ночь две свои кибитки за Волгу, а рано утром вместе с Суворовым отправилась на тот берег в особом карбасе.

Суворов был неразговорчив, сумрачен, но на месте не сидел: то мерил шестом воду, то, схватив весло, помогал гребцам. Долгополов жался к сторонке: он явно страшился Суворова.

В Ахтубе, после непродолжительного завтрака у хозяина шелковичного завода Рычкова, Суворов сел на приготовленную саврасую казачью лошадь, взял в руки плеть, поклонился всем и в сопровождении одного донского казака пустился вверх по луговой стороне Волги нагонять свой корпус. А сто пятьдесят донских казаков оставил он в Ахтубе, в ариергарде, с приказом выступить им через три часа.

Галахов со своим вестовым, гренадером Кузнецовым, решил следовать с ариергардом, а Руничу с Долгополовым и гренадером Дубилиным приказал ехать следом за Суворовым. Сума с казною, к немалому соблазну Долгополова, была вручена Руничу.

Путники пустились догонять Суворова. Пред ними лежала необозримая пустынная степь, и лишь при закате солнца они увидели впереди двух всадников — Суворова с казакком. Вот, подъехав к стогу сена, всадники остановились.

— Дубилин, останови-ка и ты лошадей, — приказал Рунич гренадеру. — Его превосходительство не терпит, когда кто-либо без его позыва является к нему.

Они повернули тройку в кусты и начали, таясь, присматриваться, что будет делать генерал. До него было сажен полтора.

Суворовский казак, соскочив с седла, воткнул пику в землю, привязал к пике свою и генеральскую лошадь, стал из стога теребить сено и складывать его в кучу. Затем кучу поджег. Суворов сбросил мундир, выдернул из штанов рубаху, закинул её на голову и, поворотившись к огню, начал поджаривать себе спину и приплясывать. Затем поворотился животом, опять стал разогревать себя на вольном огоньке, потом разулся, разделся догола. Меж тем казак подхватил берестяное черпало, побежал в овраг, набрал в проточном ключе воды и, возвратившись, принялся с ног до головы обливать генерала ледяной водой. Бегал казак за водою четыре раза. «Наддай, наддай!» — кричал Суворов. Затем он, проделав гимнастику, проворно оделся, накинул на себя мундир и улегся на отдых, седло под голову.

Солнце село. Для Суворова это была уже ночь. Он обычно в два часа пополуночи вставал, в десять утра обедал, в восемь вечера вновь отходил ко сну. Впрочем, в боевой обстановке этой привычкой Суворов пренебрегал.

Заночевали в кустах и путники. Утром, чем свет, велели закладывать бричку. Суворова возле стога уже не было. Нагнали его часа в два. Рунич, настигая генерала, поднялся в повозке и осмелился крикнуть:

— Батюшка, ваше превосходительство Александр Васильич! А не угодно ли будет вашей милости винца?

Суворов повернул свою савраску и, остановившись возле кибитки, сказал:

— Помилуй бог, можно выпить и закусить.

Рунич подал ему чарку, хлеба с солью, кусок сухой курицы. Суворов крестясь, выпил, взял хлеб и курицу, сказал: «Спасибо, братцы», поворотил лошадь, забросил плетку на плечо — и был таков.

Суворов нервничал. Водка не успокоила его. Он дергал головой, моргал, выкрикивал, как и в тот раз, в кибитке:

— Я солдат, солдат! Приказано! Всемиловитовой государыни приказ...

Сделав версты две, он остановил савраску, отхлебнул из походной фляги сам, угостил и бородатого донского казака с голубыми добрыми глазами. Но успокоение не приходило к нему.

— История, история! — выкрикивал он. — Творится история.

В его ушах еще не замолкли раскаты турецких и русских пушек, обоняние еще хранило запах порохового дыма, перед глазами все еще мелькают штурмующие колонны чудо-богатырей... И вот, извольте

вершить историю!

Охотиться за «домашним врагом»!.. На сердце Суворова сумеречно, вся степь, вся ширь степного простора, все русское раздолье — в мрачных красках, угнетающих душу.

— Нет, нет, всемилостивейшая! — опустив голову, вслух думает Суворов:

— Я с мужиком драться не привык... Помилуй бог! — выкрикивает он и ловит чутким ухом, как сзади него цокают по отвердевшей дороге копыта казачьей лошаденки. — Турку бью, немца бью, поляка бью, всякого врага бить буду. А мужика сроду не бивал...

— Чего изволите молвить, ваше превосходительство? — подлетает к нему казак.

Как бы пробудившись от сна, Суворов вскидывает голову, смотрит, указывает куда-то плеткой, говорит казаку:

— Видишь, Семеныч, стога? Вон-вон... Езжай, братец, приготовь из сенца пуховичок, ночевать будем.

Казак прищпоривает коня. Суворов еще отпивает водки, трясет головой, сплевывает чрез зубы, по-солдатски, и вперед, вперед на своей савраске.

— Ха, мужик... А кто он, мужик? Кто в армии российской?.. Пусть Михельсоны, да Муфели, да Меллины домашнего врага ловят... Да, да! А я... сам мужик, сам солдат, сам русак среди русаков!

Он смотрит на запад, от солнца осталась золотистая горбушечка, сверху редкие облака, а по степи теплая рыжеватая сутемень.

— Мятеж, восстание... Мужик бунтует... У меня, в Кончанском, тоже мужик сидит... А не бунтовал... ни при мне, ни при отце, ни при деде моем... Извольте посмотреть, всеблагая, как валятся пред вашим рабом Александром мужички... «Батюшка, Ляксандра Васильич, купи ты нашу деревеньку!» — «Дак как я вас, помилуй бог, куплю, у вас своя госпожа, моя соседка...» — «Ляксандра Васильич, она у нас все жилы вытянула, насмерть велит бить, а ты, батюшка, по-божецки своих содержишь, жалеешь их». Да, да, извольте посмотреть, ваше величество! А то — бунт, бунт!.. Я, матушка, знаю почище тебя мужика и барина!.. Ты проведай-ка, матушка, много ли Суворов на вотчинах своих нажил? Ни рубля, ни козы, не токмо что кобылы! — Суворов закатился скрипучим смешком. — Нет, матушка, с мужиком тоже надо уметь... А то разворошили муравьиную кучу, натворили делов, а теперь наш брат, солдат, поди, расхлебывай!

Не спалось Александру Васильевичу этою ночью на сенце, под стогом. Он вытянул голую ногу, растолкал пяткой храпевшего вблизи бородатого



казака.

— Семеныч! Не спишь?

— Никак нет, вашество, чегой-то не заспалось, — мямлит спросонья казак.

— Помнишь, братец, как мы Туртукай брали? Ты в деле-то был?

— Был, как же... Семерым басурманам головы снес да троих на пику поддел...

— Молодец!

— Рад стараться!

— Старайся, старайся... «Слава богу, слава нам, Туртукай взят, и я там!..» Ну, да ведь я, Семеныч, хитрый! Фельдмаршалу-то Румянцеву донес тогда: «Слава богу, слава вам!» Ха-ха...

— Да уж, эфто чего тут, — мямлил казак, борясь со сном, и вдруг снова захрапел.

Суворов лежал на спине, глядел в небо. В его глазах — восторженность и слезы. Все небо усыпано крупными четкими звездами. Боже мой! Какие таинственные письмена в высотах, какое непостижимое вокруг величие! «Вся премудростию сотворил еси», — звучат в растроганной душе Суворова слова стихиры: певал когда-то такое в деревенской церковке села Кончанского...

Боже мой! Что есть история... Монарх и солдат?.. Пугачёв и Суворов?..

Что есть шар земной?..

— Природа — мать, природа — мать! — бормочет он. — Не земля, а картечка, помилуй бог. И мы — на ней!.. Каждой планиде своя судьба... И земле — своя, и мне, и Пугачу, и царю Додону, и всем, всем своя, неподкупная участь... Галилеи, Коперники, Невтоны... А Суворов — солдат...

Штыком, штыком, да на ура! Эка штука... Семеныч, спишь?

— Никак нет, вашество!

— Нога, Семеныч, мозжит у меня... Зашибли басурманы мне ногу, в овраг с конем сверзился... Помнишь?

— Как не помнить — помню... Вам бы, ваше превосходительство, вздохнуть да попокоиться, а тут... с нашей мужичьей дурью хлопочи-справляйся!

— Служба, казак!

— Известно — служба, что дружба, через плечо её не кинешь... Никак, заря близко?

С утренней зарею Рунич и Долгополов пустились в путь, но генерала Суворова на месте уже не было. Целый день гнались они за ним, да так и догнать не смогли. Еще протекла ночь, и лишь на следующее утро прибыли оба в населенное малороссами село Никольское, что против Камышина. Избы здесь высокие, многие строения на сваях, — во время вешних разливов Волги местность затоплялась. Жители — чумаки — промышляют поголовно возкою соли с Элтонского озера.

Путники остановились у приподнятой на сваях избы. Их поджидал здесь адъютант Суворова, молодой Максимович.

— Я уже успел заготовить как вам, так и генералу помещение, — проговорил он. — А хозяйке заказал, чтоб она избу не мела и стол скатертью не покрывала: мой генерал терпеть того не может, чтоб для него суетились да прибирали.

В это время подъехал Суворов.

— Здравствуйте! — крикнул он, соскочил с савраски и по высокой лестнице, спускавшейся к самой дороге, прытко пошагал вверх, за ним — Максимович.

И не успели еще путники вылезти из кибитки, как Максимович выбежал из хаты на крыльцо, по следам его Суворов с криком:

— Ай! Ай! Ай! Держи!.. Уши надеру, уши надеру!

Максимович, сбегая по лестнице, оступился, упал. Споткнувшись, упал на него и Суворов, оба скатились впереверт по ступеням вниз. Вот длинноногий Максимович вскочил и, взягивая, с хохотом опрометью через ворота в огород, за ним, поддергивая штаны, Суворов.

Рунич с Долгополовым, стоя с открытыми ртами в кибитке, недоумевали: что стряслось с генералом? И лишь в избе все разъяснилось. Оказывается, войдя в избу, Суворов увидел, что, вопреки его хотенью, хозяйка накрывает стол чистой скатертью, а её дочь домывает с дресвой пол.

Вскоре прибыл в село и капитан Галахов с ариергардом.

Час спустя Суворов пригласил Галахова и Рунича к себе. Похаживая по избе, руки назад, генерал спросил:

— Как располагаете, со мной ли пуститься в степь, или здесь останетесь? Пять тому дней назад Пугачёв прошел чрез это село, не делая никакой наглости, помилуй бог. При нем корпус в три тысячи голов. Собрав провиант и до двадцати подвод парами, пустился враг по элтонской

дороге.

А другой отряд, до пятисот голов, миновав село, потянулся вверх по Волге.

Я направляюсь за первым, к Элтонскому озеру, а второй отряд... — Он помолчал. — А второй с кем-нибудь и без меня в верховьях встретится.

Офицеры комиссии испросили позволения генерала посоветоваться с Остафием Трифоновым. Нетерпеливо поджидавший комиссию Долгополов сказал:

— А зачем нам по степи за Пугачёвым слоняться? Он, бог знает, куда промчатся может. А мы, слонясь, того гляди, попадем в лапы разбойников — киргизов, кои вдоль и поперек шныряют по степи. — Он вздохнул, лицо его вытянулось. — По правде-то сказать, я обе эти ночи не спал: залезу на кибитку да во тьму и посматриваю... Страшно было. А ехать нам надобно в Саратов, вот куда. Там и рассудим, куда вам, куда мне путь держать.

Простившись с Суворовым, комиссия направилась к Саратову. В конце второго дня её нагнал скакавший в Саратов курьер. Он поведал, что генерал Суворов со своим корпусом выступил по дороге к озеру Элтонскому, а ночью, в степи, верховые люди, по виду — киргизы, напали на телегу его превосходительства, в коей ехал камердинер из пруссаков, и того камердинера убили. Не иначе — нападавшие приняли слугу за самого Суворова.

Долгополов перекрестился, сказал:

— Ну, если б мы за его превосходительством ехали, то и нам досталась бы хорошая взбучка!

А вот и Саратов опять. Комиссия остановилась в пустом архиерейском доме. Вечером, после ужина, Долгополов, приосанившись, заявил спутникам:

— Вы, господа офицеры, снабдите меня надежными Донского войска урядниками или сотниками, а также паспортом, дабы нигде не могли задержать меня. С оными воинскими чинами я завтра же тронусь в путь, а вы езжайте в Сызрань и там ждите от меня известий.

Галахов, пренебрегая развязным тоном Остафия Трифонова, не только не сделал ему на этот раз замечания, но даже обрадовался началу с его стороны практических мероприятий по уловлению Пугачёва.

К генерал-майору Мансурову, находившемуся со своим деташементом вблизи Саратова, был тотчас отправлен Галаховым гонец с просьбой прислать комиссии трех благонадежных казаков, что и было Мансуровым

исполнено.

На другой день, собираясь в путь, Долгополов сказал:

— Я с донцами поеду к Сызрани, там переправлюсь обонпол, на луговой берег и возьму путь на Яик. Одного донца оставлю в том месте, где признаю за нужное, другого оставлю за семьдесят верст от первого, а третьего — верст за полсотню от второго. Сам же поеду один, буду выznавать, где Пугачёв с войском. А коль скоро проберусь до него да сговорюсь с яицкими казаками, кои вызвались выдать злодея, тотчас отправлю спешного курьера к третьему моему донцу, тот — ко второму, второй — к первому, а уж этот к вам примчится. И вы немедля спешите тогда к тому месту, где третий донец мною оставлен будет. В это место мы и доставим Пугача. Вот! Извольте мне выдать пропуск и деньги.

Доводы Остафия Трифонова показали комиссии резонными. Галахов протянул ему пропуск за подписью руки Мансурова и тысячу рублей на издержки.

Долгополов откинулся в кресле, закусил губу, глаза его закатились под лоб. Затем крикливо он бросил:

— Что сие означает, вашскородие? Как это вы умыслили со столь малой казною отпустить меня? Нет-с, уж не прогневайтесь... Должны вы мне выдать золотом, не боле — не мене, все двенадцать тысяч.

Рунич и Галахов остолбенели. Затем глаза Галахова, устремленные в упор на Долгополова, сверкнули гневом. Рунич выразительно крикнул, его каблук с нервностью запристукивал в пол.

— Как можно, — помедля и овладев собою, сказал Галахов, — как можно со столь значительной суммой пускаться тебе, Остафий Трифоныч, одному в опасный эскурс... Опомнись!

— Понапрасну пугаетесь, господин капитан, — с настойчивостью возразил Долгополов. — Это дело не ваше, как я с сими деньгами до Пугачёва доберусь. Извольте-ка выдать мне оные без промедления! Извольте-ка, господин капитан, распечатать пакет его светлости князя Орлова, на коем — я самолично зрил — рукой его светлости написано: «распечатать во время надобности». Извольте посему учинить исполнение, удостоверьтесь-ка, что требование мое справедливо...

Пройдоха говорил столь напористо, что оба офицера, удалясь в другую комнату, сочли нужным вскрыть пакет Орлова. В пакете — паспорт на имя Остафия Трифонова за княжеской печатью и собственноручное письмо князя к товарищам Трифонова, яицким казакам. В письме между прочим значилось:

«государыня императрица соизволила послать с Остафием

Трифоновым всем его 360 сотоварищам, яицким казакам, на ковш вина 12 т. рублей золотою монетою, а впредь будут её высокомонаршей милостью и больше награждены».

— Черт его знает... — сказал Галахов. — Написано довольно неопределенно. Ведь не сказано же: вручить деньги Трифонову для передачи казакам... Нет, врешь, голубчик, я тебе всех денег не дам! А то дашь, да только тебя и видели мы, ищи-свищи ветра в поле.

Они вышли к Долгополову. Тот, нахохлившись, взад-вперед похаживал, припухшая щека его повязана клетчатым платком — болел зуб. Начались пререканья и споры. Галахов с горячностью доказывал Остафию:

— С такую суммою можете вы, Остафий Трифоныч, погибнуть и тем самым погубить все столь важное государственное дело.

Долгополов продолжал упорствовать. Горячие споры, доходившие порой до крика, с обоюдным застрачиванием, длились дотемна.

— Я вскочу на лошадь да раз-раз к главнокомандующему графу Панину, упаду ему в ноги, нажалуюсь на вас. Я человек отчаянный! — боевым петухом бегая по залу, выкрикивал Долгополов.

— Его сиятельство прикажет тотчас же вас повесить, как Пугачёвского приспешника, — огрызались офицеры.

— А вас, а вас... колесовать! — брызгал слюною Остафий. — Вам её величество повелит кишки на колесо измотать, яко преступникам лютым, её монаршую волю нарушившим! Матушка императрица хорошо меня знает, я, чай, обедал с нею и чарой чокался...

Наконец Долгополов согласился принять 3000 рублей, кои ему и были выданы с распискою, что, коль скоро, по благополучному завершению дела, потребует он остальные 9000 рублей, то будут оные вручены ему беспрекословно.

Долгополов между прочим настоял, чтобы деньги были ему сейчас же отсчитаны, да не серебром, а золотом, дабы сподручнее было везти их.

Постанывая от зубной боли, он принялся со злостью пересчитывать монеты, затем снял со стены овальное зеркало, положил его на стол и в присутствии офицеров, с явным желанием как-нибудь оскорбить их, начал брякать в зеркало червонец за червонцем, якобы с целью удостовериться, нет ли фальшивых.

— Что ты, что ты, Остафий Трифоныч! — ядовито улыбаясь, сказал Галахов. — У нас без фальши! Вот только сам-то не сфальшивь как-нибудь.

— Я? Я человек в годах, к тому же из предвека верный... У нас в роду испоконь века честность жила, а вы... этакое!

Уладив таким манером дело, Галахов на другой день, рано поутру,

проводил Остафия в путь, а сам, по договору с ним, выехал в Сызрань.

Рунича же послал он к графу Панину в Пензу с донесением, что казак Остафий Трифонов отправился из Саратова на завершение своего обязательства.

Граф Петр Панин двигался на усмирение мятежа медленно и с большой помпой, в Пензе отведено было ему лучшее помещение. При графе — блестящая свита, большой штат канцеляристов всех рангов. Панин — крупный, располневший старик с грубоватым солдатским лицом — встретил Рунича приветливо. Он знал его еще с того времени, когда тот учился в кадетском корпусе, а впоследствии и по турецкой кампании.

— А, здорово, Павлуша! Ну, как дела? Ловите?! Мотри, Михельсон-то скорей вас изловит злодея. Я уж, брат ты мой, только что послал в Питер капитана Лунина... с извещением, что преследуем Пугачёва, который степью бежит со своим войском к реке Узень.

Донесения Рунича Панин выслушал внимательно и похвалил, что не отдали Трифонову всех двенадцати тысяч.

— Если сей плут хитрый и скроется куда с тремя тысячами, ему врученными, то не ахти какая будет для казны потеря. А ты вот что, Павлуша... Поезжай-ка немедля назад, к своей команде, да объяви, пожалуй, Галахову, чтоб непременно квартиру он для себя назначил в городе Симбирске. Через три денька и я туда отправлюсь со своим штатом.

Приемная, куда вышел из кабинета высокого сановника Рунич, была полна просителями.

На обратном пути, проехав село Нарышкино, он увидел вблизи дороги две виселицы-глаголицы, на коих, умерщвленные, качались два человека.

— Кто же их вешал-то? Пугачёвцы? — спросил Рунич.

— Окститесь, барин, — приостановив лошадей и обернувшись к Руничу с укоризной в лице и в голосе, сказал пожилой ямщик. — Пугачёвцев-то, кои с батюшкой, в этих самых местах ныне и помину нет. Да и задавленники-то эти — наш брат, мужик! То, сказывают, «спедитор» какой-то проезжал, офицерик молодой, тутошних мест уроженец, при нем шестеро гренадеров конных. Вот он... и казнил!

Рунич подернул плечами, его в дрожь ударило, он вынул тетрадь и записал:

«Не видав никогда до сего времени страшной сей казни, по законам злого человеческого разума выдуманной, вострепетало во мне сердце и в сильное глубокое погрузило меня уныние».

Не доезжая верст пятидесяти до Сызрани, Рунич неожиданно встретил в одном из селений своего гренадера Кузнецова.

— Ты как тут? — с удивлением спросил его Рунич.

Гренадер ответил:

— Господин капитан Галахов и вся его команда вот уже четвертый день в здешнем селе квартирует.

И в это время, улыбаясь во все лицо, подходит к остановившейся бричке сам капитан Галахов.

— Ну, кричите «ура», — молвил он. — Пугачёв пойман! Но... без участия нашего Остафия Трифонова.

Рунич соскочил на землю и, забыв субординацию, бросился на шею к Галахову.

— А я уже распорядился послать поручика Дитриха следом за Остафием Трифоновым, чтобы возвратить его. Посему и здесь сижу да вас поджидаю, — сказал Галахов. — Не далее как с час тому проскакал здесь курьер князя Голицына к главнокомандующему в Пензу с известием о поимке Пугачёва.

— Кто поймал? Уж не Суворов ли?

— Доподлинно не знаю... Но, по слухам, предан самозванец своими же, близкими ему атаманами. Его связали и привезли в Яицкий городок.

Вскорости известие целиком подтвердилось: Пугачёв был предан атаманами Твороговым, Чумаковым, Федульевым и другими.

Получив извещение о случившемся, Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к Яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачёвым.

«Суворов взял Пугачёва под свое ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Яике, и, приказав приготовить кибитку открытую, которую прозвали простолюдинцы клеткою, отправился с ним в Симбирск к графу Панину, куда прибыл граф вечером, в один день с генералом Суворовым».

Поручик Дитрих, человек молодой и весьма исполнительный, поскакал следом за Остафием Трифоновым, чрез Сызрань, затем по симбирской дороге, по направлению к Казани.

Все дороги, столбовой большак и прилегающие к нему проселки за какие-нибудь три-четыре дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани и в сторону Симбирска сотни, тысячи крестьян на подводах или пешеходью. Крестьяне молодые, старые и

подростки-парни. Вид у всех изнуренный, головы понуры, глаза погасли, словно взоры их уперлись в непроницаемый мрак. Нередко попадались партии, человек по пятьдесят, нанизанных на одну веревку, они шли по обочине дороги в одну линию, гуськом. Их конвоировал солдат с ружьем. Иногда встречалась толпа, человек в двести — триста, с каждой стороны по солдату. Передний, размахивая штыком, кричал встречным проезжающим:

— Сворачи-ва-а-а-й!

На многочисленных телегах, долгушах, бричках, двуколках, таратайках, запряженных худоребрыми клячонками, под охраной солдат или деревенских старост с бляхами, сидели в несчастных позах мужики, бабы и парни, хмурые, угрюмые, с обветренными исхудалыми лицами, с покрасневшими от слез глазами. Впрочем, взоры иных сверкали огнем непримиримым. А иные даже ухмылялись про себя загадочно, будто говоря: «Ладно, ваш верх, наша маковка!»

Это тысячи крестьян-вольнолюбов, схваченных в армии Емельяна Пугачёва, движутся под воинской охраной в Казань да в Симбирск, на суд Секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства.

Небывалое движение можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю — от Уральских гор, от вольного Яика, от берегов моря Каспийского вплоть до Петербурга. Толпы, толпы, одиночки, курьеры, всадники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки; барабаны, именитые вельможи в сверкающих лакировкой каретах с золотыми гербами, и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывают на двух столбах перекладины, с плеч головы летят.

И где-то, в курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня:

Плетка взвизгнула,  
Кровь пробрызнула.

Но еще долгое время и во многих глухих местах потрясенной России будет гулять-разгуливать мстительный пламень неунимающейся вольницы.

Поручик Дитрих догнал Остафия Трифонова, не доезжая до Казани ста верст. Узнав о поимке Пугачёва, ловкий притворщик всплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул:

— Дивны дела твои, господи! Ну, слава богу, что злодей в руках. А кем пойман и выдан, это все едино...



Дитрих и Долгополов с тремя есаулами донцов, которых он взял с собой, повернули обратно. Дорогою Дитрих раздумывал: «Зачем Остафию Трифонову занудилось ехать к Казани? Ведь прямой путь ему был к Яицкому городку или к Узеням, куда устремлялся Пугачёв?» Но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дитрих постеснялся.

Решили ночевать в большом селе, не доезжая пятидесяти верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц, ночи держались холодные, но есаулы все-таки пошли спать на сеновал. Поручик приказал им смотреть за лошадьми, чтоб завтра, рано поутру, выехать с ночлега.

Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторная и чистая. Попросили хозяйку сварить курицу. За ужином велись беседы.

Плечистый старик-хозяин говорил:

— А мужики нашего селения все, почитай, дома оставались, не преклонялись к Пугачёву-то... Нас так и прозвали «останцы».

Долгополов был весел, разговорчив, он забавлял молодого Дитриха разными побасенками. Отходя на покой, он сказал офицеру:

— Раз злодей схвачен, нам великого резону нет, чтобы спешить... Можно и подоле поспать, Чегой-то зуб у меня разболелся... Ох-ти мне...

— Нет, уж давайте пораньше, Остафий Трифоныч, — нерешительно сказал Дитрих. — Я и казакам так велел.

— Ну, как знаете, — с раздражением ответил Долгополов. — Кабы не зуб, так я бы...

На другой день, проснувшись довольно рано, еще до свету, поручик Дитрих с удовольствием заметил, что Остафий Трифонов, видимо, пробудился раньше его: место на двух стоявших впритык сундуках, где он лежал, было прибрано.

Дитрих ощупью пошарил трут, сверкач, огниво, закурил трубку. Стало рассветать. Пришла хозяйка, развела на шестке таганок, принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу.

— А где же мой сотоварищ? — спросил Дитрих бабу.

— Да, поди, во дворе... Где боле-та...

Дитрих оделся, вышел во двор. Два есаула седлали лошадей.

— А где наш казак, Остафий Трифоныч? — спросил их офицер.

— Мы, ваше благородие, его не видали.

Подошел третий есаул. Он, оказывается, тоже не видал Остафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старосте за лошадьми, чтоб пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с тройкой. Затем вошел в избу, стал бриться. Прошло полчаса. Дитрих успел позавтракать.

Остафий не являлся. «Что такое?.. Уж не ушел ли он со своим зубом к какому знахарю, либо к зубодеру?» — с нарастающей тревогой в сердце подумал поручик. Возвратились есаулы, сказали:

— Обошли мы, ваше благородие, все избы подчистую. Точные приметы его сказывали. Повсюду нам отвечали, что, мол, ни ночью, ни поутру к ним такой казак не захаживал.

Дитрих сразу изменился в лице, выбежал во двор, строжайше приказал сельскому старосте собрать тотчас всех людей и немедленно приступить к обыску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков. А сам с одним есаулом поскакал верхом по Казанскому тракту. И по всем селениям, чрез которые проезжал, приказывал он местным сотским и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака.

— Ежели найдете живого или мертвого, берегите его у себя, я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит...

Дитрих с есаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан Долгополов. Но и здесь беглеца не оказалось. Дитрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и, поручив следить за этим делом есаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении беглец обнаружен не был: как в воду канул. Поручик впал в отчаяние: кончилась его служебная карьера, за упущение столь загадочного лица да, к тому же, с огромной суммой денег шутить не станут, чего доброго, разжалуют в солдаты...

От сугубого отчаяния и скорби в его крови «сделалось страшное распаление», он велел как можно поспешнее везти себя в Симбирск и в дороге умер. Ходили слухи, что несчастный офицер принял будто бы яду.

Тем временем Долгополов успел пробраться на Волгу, договориться с бурлаками за десять рублей тянуть его на попутной посудине до Нижнего Новгорода. И вот он восседает на небольшой барже, нагруженной низовыми арбузами, яблоками, медом, воском и прочими товарами.

Слава те, Христу, кончено опасное лицедейство, он больше не яицкий казак, не Пугачёвец, он снова купец второй гильдии града Ржева-Володиминова, у него за рукой воеводы и должный паспорт есть. «Да им век не сыскать меня! Там был яицкий казак Трифонов, ныне купец Долгополов.

Ужо-ужо обличье себе перемену: парик добуду да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Поди, узнай тогда. Родная жена трекнется».

Да все бы хорошо, вот только жаль, что товары-то не его, не Долгополова. Распрекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина — половину за наличные, на другую половину — вексель, затем в

Нижнем Новгороде раскинуть палатку да и продавать сии блага земные с большой корыстью. А там, умножив и паки преумножив свои достатки, удариться в Керженские потаенные леса — до них от Нижнего рукой подать — к своей братии и сестрам по старозаветной вере, всечестным скрытником. С деньгами-то можно и хатку себе выстроить, и «малину-ягоду» завести, какую ни-то черноокою скитницу, дабы сподручней было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано: «Убо согрешишь, покаешься». А приятней было бы сказать: «Мотри, покаешься, ежели не согрешишь...»

«Ой, согрешу, ой, согрешу», — раздумывает, разжигается в греховных помыслах Долгополов, жмурясь, как кот на сливки, на пригожую молодайку в кумачах, что возле крутится: то кисленького кваску подаст, то сладкой бражки, то моченых антоновских яблочков. Он давно забыл богоданную свою жену, кругленькую Домну Федуловну, что ждет — не дождется во Ржеве-городе неверного своего супруга. «Ой, согрешу, ой, согрешу», — бормочет Долгополов и, спустившись вниз, в жилой закуток, наскоро обнимает молодайку, сует ей двадцать две копейки серебром.

А Волга течет себе широкая да вольная. Много в жизни своей она слышала, много видала, помнит, как первый человек окунулся в её воды. С тех пор пролетали над ней века, подобно быстрокрылым птицам, и тысячелетие двигалось неспешной ступью, как мерные шаги нагруженного верблюда. А она все та же, и то же над ней небо, лишь несколько изменилось её течение, и прозрачная кровь в ней поусохла, да размножился по её берегам человек.

Научился сей двуногий ловить в её глубинах рыбу, выдумал огонь, и зачастую несла Волга воды свои чрез сплошной пламень горевших по её берегам вековых лесов. Стал человек складывать песни, но в песнях тех не было и тени веселья, были тоскливы, походили песни на стон: должно быть, тяжело жилось человеку. Разве что разбойничьи стружки взрежут грудью волжские волны, и зазвучит, зазвучит с них, разнесется по зеленым просторам лихая песня с присвистом, с гиканьем: «Сарынь, на кичку!»

Да еще помнит Волга: в тысяча семьсот шестьдесят каком-то человечьем году проплывала в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. С разукрашенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрице и свите её было весело, а людям, стоявшим по берегам и швырявшим вверх шапки, было грустно: веселый караван, как сказочное привидение, уплывал из простора в простор, вот он замкнулся в

розовых безбрежных туманах, больше никогда не вернется обратно. И была вокруг все та же угрюмая, вся в тоске, вся в жалобе, песня.

Вот она и сейчас надрывно звучит над песками, над зеркальной гладью реки:

Ма-туш-ка Во-о-о-лга,  
Ши-ро-ка и до-о-о-лга,  
Ты нас ука-ча-а-ала,  
Ты нас ува-ля-а-ала!

Это бурлаки, внатуг налегая грудью на лямки, совершают последнюю в этом году путину, тянут встречу воды баржу с арбузами, а на арбузах — плутец Долгополов.

Бурлаки идут, идут... Лохматые, нечесанные головы опущены, рыжие, черные и пегие с проседью бороды всколочены, мускулы во всем теле напряжены до отказа — теченье воды убыстрилось. Кто в новых лаптях, кто в ошметках, а беглый монах — босиком. Холщовые, в три ряда, лямки за лето пропитались потом и грязью, как ворвань. Погода холодная, но людям жарко: поросшие шерстью груди открыты. Идут в ногу, мерно покачиваясь. И в такт шагам чуть покачиваются повисшие руки. Обходят большой, версты на три, приплесок, идут трудно, песок сыпуч, упор ногам слаб, скорей бы на луговину. Их — восьмеро крепостных крестьян — пошло от барина на оброк, а девятый — беглый монах. Он голосом груб, глаза у него запьянцовские. Он заводит, все подхватывают:

Ты нас ука-ча-а-ала,  
Ты нас ува-ля-а-а-ала,  
На-а-шей-то силушки,  
На-а-шей силушки не ста-а-ло...

Ноет песня, ноет сердце, скулит душа... Эх, лучше бы гулять не по Волге-матке, а по степям да раздольям с воинством мужицкого батюшки-царя, мирского радетеля. Он ладный укорот давал немилостивым барам, да лихим воеводам, да судьям-грабителям... Где-то он, свет наш, жив ли, здоров ли?

Сказывают, быдто схватили его, отца нашего, генералы царские...

Плывет песня, плывут думы, течет похолодевшая вода. Мужичкий

сытный приздничек Покров позади остался, стало холодать, по утрам закрайки из стеклянного ледку, а вчерась снежок порхал. Ну, да уж не столь далеко и до Нижнего...

А вот и Нижний Новгород. Долгополов снял картуз, истово покрестился на соборы. В дороге ему удалось оплести нехитрого хозяина, теперь арбузы и весь товар совместно с посудиною — его, Остафья Долгополова.

Он расчелся с бурлаками по-хорошему, лишь малость кое-кого объегорил, нанял сподручного, разбил на отведенном месте торговую палатку и на другой день, в воскресенье, открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело. Необозримое Заволжье с обмелевшей Окой, с посадами, белыми церквами и голубоватым лесом, уходило на край земли, к далеким горизонтам.

Над похолодевшей водой, плавно стремившейся к востоку, кой-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью пролетали белые чайки. По берегам, возле Нижнего, и там, в заречной дали, грудились баркасы, огромные баржи, каюки и прочие «посудины». На них копошились человеки с шестами, арканами, снастями, торопились ставить караваны судов на зимовку. Всюду разносились деловые выкрики, команды, ругань, песня, тягучая «Дубинушка». Взад-вперед сновали челны да лодки.

Народу на базар подвалило много. Арбузы шли ходко, всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано Долгополовым больше тысячи арбузов и двести пудов антоновки... Да как еще продано-то... С изрядным барышом.

— Эй, калашник! Эй, сбитенщик! Давай сюда! — звал-кричал проголодавшийся купец и, обратясь к подручному:

— А ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжьей селянки принесешь да поджаристых мясных расстегайчиков парочку.

Подходили, подъезжали покупатели, конные и пешие. Товар убывал, деньги прибывали. Вот подъехали двое конников: полицейский чин с бляхой на картузе, а другой — какая-то приказная строка. Слезли с лошадей, подошли к палатке.

— Пожалуйте, господа покупатели! — сняв картуз, поклонился Долгополов. — Не арбузы, а сахар! Господин воевода сразу сто штук купил, а господин губернатор — генерал Ступишин — двести пятьдесят...

— Ладно, — сказал приказный и наморщил приплюснутый с бородавкой нос.

— Мы у всех документы проверяем. А ты новый. Нут-ка, покажи

паспорт.

— С полным нашим удовольствием-с... Вот-с, паспорт-с, а вот...

— Ты кто таков, откуда?

— А я — ржевский купец Остафий Трифоновч Долгополов, со многими купеческими фирмами дела веду.

— Значит, ты Долгополов? — спросил легким голоском приказный, утыкая с бородавкой нос в пропотевший паспорт.

— Истина ваша, — Долгополов.

— Из Ржева-Володиминова?

— Из богоспасаемого града Ржева-Володиминова...

— Ну, так вот мы тебя-то и ищем, — легким голоском продолжал приказный и, обратясь к полицейскому:

— Пантюхин, хватай его, вяжи.

Глаза Долгополова закатились под лоб, верхняя губа сама собой задергалась, весь затрепетал он.

Со всего берега сбегался на происшествие народ.

А разгадка такова. В личном докладе главнокомандующему Панину о побеге «яицкого казака» майор Рунич между прочим выразил некую свою догадку, однако не придавая ей особого значения: догадка и догадка.

— Как-то в пути я обратил внимание, — говорил Рунич, — что казак крестится двуперстием. Я спросил его, не старозаветной ли он веры? «А как же! Ведь у меня во Ржеве... — он вдруг замялся, потом поправился:

— Ведь у меня в Яицком городке даже домовая часовня есть...»

Граф Панин нашел эту обмолвку казака весьма существенной, и во Ржев тотчас поскакал курьер. При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец Остафий Трифоновч Долгополов, человечешко плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам, да с тех пор, вот уже полтора года, и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое.

Курьер возвратился. Панин выпустил и повсеместно разослал строгий приказ о задержании преступника. Впоследствии Панин говорил Руничу:

— Вот видишь, Павлуша... сказано: «Слово — не воробей, выпустишь, не поймашь». А вот мы зато по одному выпущенному слову не только воробья, а целого стервятника поймали

«Ржевский же купец Долгополов разными лжесоставленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление так, что и Канзафар Усаев (мещерятский сотник), утвердясь больше на его уверениях, прилепился вторично к злодею. Долгополова

велено высечь кнутом, поставить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу и содержать в оковах».

Где и как кончил дни свои ржевский плут — прохиндей, — нам неизвестно. — В. Ш.>.

В ноябре Рунич был командирован в Петербург. А оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу Румянцеву в Могилев, что на Днестре.

Отправляя его в путь, граф Григорий Александрович Потемкин, передав Руничу три пакета, сказал:

— Два от государыни, один от меня лично. Государыне угодно, чтоб ты наедине объяснил Петру Александровичу со всею подробностью все происшествие Пугачёвского возмущения. — И, прощаясь, промолвил:

— Тебя там многие и о многом будут расспрашивать, ты говори: «Все наше, и рыло в крови».

В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошелся с молодым офицером весьма любезно.

— Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом, — сказал он, — ибо мы вот уже два месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом. Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать? — спросил фельдмаршал, просмотрев бумагу Потемкина.

— Да, ваше сиятельство.

Румянцев пригласил за собою Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате. Такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями, фельдмаршал после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал.

Его лицо, вместо обычно цветущего, было болезненное, желтое.

— Я от своей хворобы еще не совсем оправился, — проговорил он, садясь в кресло.

Рунич чинил фельдмаршалу обстоятельный доклад о Пугачёвском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачёва в Москву.

Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым, фельдмаршал улыбнулся.

— Поверите ли вы мне, что я сему негодяю прорекал, что будет повешен?

Услыша эти слова, Рунич пришел в замешательство. Фельдмаршал сказал:

— Не удивляйтесь. Помню, очень давно, лет тому с двадцать пять, как не боле, наш Воронежский полк квартировал во Ржеве-Володимирове. Я

тогда молодым офицером был и снимал комнату у Трифона Долгополова, купца. Он в достатке жил, и мне было у него тепло. И вот, помню, этот самый Осташка, парень лет шестнадцати-семнадцати, такой ухорез был, такая бестия, что страсть!.. Всякие городские сплетни, все новости, даже что у нас в полку делалось, он, арнаут, вперед всех узнавал. Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу: «Ой, береги ты своего Осташку, по его затейливому уму, смотри, попадет он на виселицу». А отец с матерью, глядя на своего недоросля только веселились да радовались.

Румянцев подошел к столику, отхлебнул настой лихорадочной корки «хина-де-хина» и сказал, указывая на разложенные на столе снадобья:

— Вот видите, сколько мне всякой дряни наши «людоморы» насовали: тут и базиликанская мазь, и мушки гишпанские, и перувианская корка. Пичкают всякой дрянью, а толку нет... Ну, так вот. Дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого ракалю в Петербурге-то не могли раскусить, до императрицы допустили... Ведь он был в Питере винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. Это случилось не более, как лет семь тому, — я слышал, живя в Глухове, быв правителем Малороссии... Вот прохиндей, вот так прохиндей!!

...Сей разговор происходил 10 января 1775 года, в день казни в Москве Емельяна Пугачёва.

*г. Пушкин (Ленинград) — Москва.  
1935 — 1945*



# Приложения

## От редакции

Весь архив В. Я. Шишкова за время его писательской работы начиная с 1912 года (записные книжки, письма, рукописные оригиналы опубликованных произведений и проч.) погиб в г. Пушкине Ленинградской области при захвате города немцами в 1941 году. В числе материалов к задуманным произведениям в архиве находился обширный материал и к историческому повествованию «Емельян Пугачёв» (записи, наброски, литература и т. д.).

С 1942 года писатель продолжал работу над второй книгой «Емельяна Пугачёва» в Москве (первая книга вышла в свет в Ленинграде, в начале войны с Германией). После смерти писателя в рабочем портфеле его, среди прочих материалов, относящихся к «Емельяну Пугачёву», оказалось следующее:

«План» ко 2-й книге романа с беглой описью событий, включенных в пятнадцать глав повествования; «Хроника Пугачёвского движения» с перечнем событий по месяцам и дням; ряд заметок, выписок из источников, набросков и проч., а также географическая карта с обозначением движения Пугачёвской «толпы» от Яицкого городка через Оренбург, Казань и далее вниз по Волге до Эльтонского озера.

Ниже, приложением, дается:

1) Думы Пугачёва, фрагмент, 2) Набросок к третьей части третьей книги: «Офицер Горбатов и Даша», а также несколько заметок к произведению;

3) не включенная по композиционным соображениям в 3-ю книгу глава «Суд и расправа»; 4) неопубликованная в печати глава «Купец Барышников» и 5) набросок ко 2-й книге «В бане».

Набросок «Офицер Горбатов и Даша» представляет собою краткое, вчерне, изложение финала истории офицера Горбатова и приемной дочери коменданта Яицкого городка Симонова — Даши Симоновой.

«В романе, или, как я называю, в историческом повествовании моем, — пишет В. Я. Шишков в статье „Емельян Пугачёв“, — мало вымышленных лиц и ситуаций, все в нем построено на строго исторической канве, чрезвычайно своеобразной и настолько в общем интересной, что не было надобности разукрашивать доподлинную историю выдумкой и домыслом».

И действительно, среди огромной вереницы лиц, встречающихся в

романе, только немногие являются плодом «выдумки и домысла» автора. Но и в этих немногих персонажах творческая фантазия писателя подчинена была в полной мере логике исторической необходимости. Это не вообще присочиненные люди, это — литературные портреты, в которых индивидуализированы типические черты представителей разных сословий, участвовавших в Пугачёвском движении.

К числу таких персонажей, вымышленных, но обусловленных реальной действительностью своего общества и времени, относятся: офицер Горбатов — один из убежденных Пугачёвцев, вышедших из помещицкой семьи, его возлюбленная Даша с характерными для идеалистически настроенных девушек из дворянства чертами: она честна, отзывчива, склонна внимать народной скорби и не останавливаться перед полным разрывом со своим привилегированным положением в обществе.

Насколько писателя привлекали оба этих лица с их активной ролью в лагере Пугачёва, видно по тому, что из целой толпы действующих в романе людей всего чаще и охотней возвращался он к своему Горбатову и Даше Симоновой. Этим неравнодушием к ним обоим объясняется и то, что, невзирая на разнообразные заботы о многоликом мире своего романа, писатель поторопился «заглянуть» в печальную развязку истории Горбатова, зафиксировав её в беглом «наброске для себя».

Между прочим время, когда Горбатов стал поправляться от ран, писатель, по недосмотру, обозначает в наброске серединою сентября.

Очевидно, речь идёт о середине августа, так как ранили Горбатова на поле боя где-то между Саратовом и Камышином или вслед за взятием последнего — 11 августа. В наброске также говорится, что вскоре после того Пугачёв снарядил отряд, чтобы разведать об участи офицера. Меж тем в середине сентября Пугачёв уже был в руках предателей.

Разумеется, события, изложенные в наброске, легли бы в основу самостоятельной главы, причем история Даши в Яицком городке могла войти составною частью в главу о пребывании там Пугачёва.

В заметке «Падуров и офицер» имеется в виду запланированная автором, но нереализованная беседа Падурова с офицером Горбатовым.

Памятка из блокнота «О народной национальной культуре» свидетельствует о высказываемом не однажды писателем намерении привлечь необходимый материал для особой главы в романе о величии духовной и материальной культуры русского народа.

Глава «Суд и расправа», не включенная в последнюю часть третьей книги по соображению фабульного и композиционного порядка, имеет самостоятельную ценность как материал, дополняющий характеристику

быта и нравов эпохи.

## Думы Пугачёва (Возле Ласточки).

Такой глубокой тьмы в душе, такого голого отчаянья Емельян Иванович никогда еще не чувствовал.

Сердце его сжималось до боли, кричать хотелось. Но не от физической боли хотелось кричать ему, он всякую боль перенес бы шутя, а от какого-то непонятого страха, от той пугающей пустоты, которая засосала его всего как бездонная, вязкая, холодная трясина. Вот уходит он в эту трясиину по грудь, по плечи, вот сейчас погрузится голова его, и замрет вопль о помощи, и глаза будут слепы, и никакого следа не останется от него...

Гроб! Он в земле, во тьме, в трясиине, и над ним тьма.

— Один я, Ласточка, один... И не на кого руку опереть! Были возле меня люди, да исчезли... Один! (Рассуждение.)

— Эх, Ласточка... Передрогло сердце у меня. Душа передрогла.

(Рассуждение.) — Идёт по миру молвь: горе проходчиво... Не верь, Ласточка! Уж ежели кого полюбит горе, жди погибели. (Рассуждение.) И встают пред ним картины печальные... и т. д.

— Да, Ласточка... Поневоле крылья сложишь, поневоле в лице помутишься... (Рассуждение.) И снова, и снова идут пред ним воспоминания.

— Слышал я, да и сам певал проголосную... Вся правда в той старинной песне:

Сижу на коне я.  
А конь не обуздан.  
Смирить коня нечем,  
Вожжей в руках нету.

Вижу я погибель,  
Страхом весь объятый.  
Не знаю, как быти,  
Как коня смирить.

И припоминается ему другая песня, пред началом своей «царской» миссии:

Ты бежи, бежи, мой конь,  
Бежи, торопись!

— Люди думают, что человеку только свой крест тяжел, Ласточка. Ан нет... И другим тяжко... Взять трудников-крестьян, а того верней — заводских людей работных, — уж им ли не каторга?! А живут! Плачут, да живут, несут крест свой. Вот и я — взвалил на себя ношу, аж ноги подгибаются. Да и взвалил-то не сам, не своей охотой, а уж так пришлось.

Он долго моргал глазами и добавил:

— Шибкая жалость к людишкам душу мою сразила, всю изранила.

— А я не страшусь, не страшусь своего конца. Прежде смерти не умру.

Не о себе страшусь, о деле. Не свершил того, что задумал, что в мысли пало. Посередь пути остановился. Не похвалит меня народ, ругать будет.

Память обо мне погибнет с шумом. Народ-то скажет: где же земля-то, где воля-то, где устройство-то казацкое, что батюшка обещал? Эх, батюшка, батюшка, всего наобещал, да ничего не дал. И сам загинул, и нас под обух подвел... Гори ты, батюшка, огнем вечным... Обманул ты нас! Вот это самое зубами мое сердце рвет, чавкает, как волк падину... Эхма!»

## Офицер Горбатов и Даша. (Набросок к 3 части третьей книги).

Даша находится на барже с шестью пленными девушками дворянками. Они под караулом. Когда с Саратовом было уже кончено, казак с баржи докладывает Пугачёву, как быть с дворянками.

— Мне теперь не до девок. Пускай пока в барже живут. Кормить, поить, зла им не делать. И чтоб караул был.

Армия снимается, идёт вперед на юг. Даша в отчаянии. Она узнает от казака, что Горбатов жив, здоров. Он казака до Пугачёва проводил. Баржа снимается, выходит на фарватер. Еще момент — и все упущено: Пугачёв, а вместе с ним и Горбатов уйдут, отдалятся от Волги. Она на клочке бумаги пишет углем: «Батюшка, допустите меня к себе... Я — Даша Симонова». Казак не соглашается отвезти. Даша падает пред ним на колени. Нет, не согласен!

Даша, перекрестившись, бросается в воду в надежде достичь берега. Но плавать она плохо. Казак бросается за нею. Ловит её за косу, спасает.

После этого, на другой день, казак соглашается отвезти записку. Плышет на лодке. В это время идёт бой. Казак все же подает записку Пугачёву.

— Чего это такое наварачкано?

— Это от девицы одной. Она называет себя Симоновой Дарьей.

— Ааа... Эвот чего... Стало — жива? Да как она попала-то? Вези!

— Одну?

— Одну!

Дашу привозят в палатку Софьи Дмитриевны в непросохшем еще платье, она переодевается там в наряд Анфисы. Анфиса бросилась ей на шею.

— Барышня... Миленькая! Да как вы здесь?

— Прегрешила я... Замест монастыря за земным счастьем погналась...

— Уж не суженый ли какой тут?

— Горбатов.

Анфиса вздохнула, и руки у нее повисли.

Пугачёв поскакал в середку боя, где Горбатов.

— С победой, государь!

— А тебя со счастьем... Нареченная прибыла к тебе...

— Кто?

— Даша.

Крутя над головой саблей, мимо них мчался Овчинников с казаками:

— Горбатов! — крикнул он. — Чего зеваешь? Рубай их, так-их-так!..

Горбатов с Ермилкой, с Сысоевым, Мишей Маленьким и полсотней удальцов, только что вырвавшись из боя, вновь помчался, крича:

— Ура!.. Вперед, братцы!..

Бой продолжался недолго. Вражеская конница с пехотой побежала.

Пугачёвцы бросились рубить и отхватывать их пачками. Внутри Горбатова все играло: каждый мускул, каждая кровинка. Даша и победа, победа и Даша... И вдруг пуля, пущенная из кустов, стегнула ему в верхнюю часть головы, повыше лба, шапка слетела на землю, Горбатов упал, ударившись головою в землю.

Бой кончился. Все думали, что Горбатов мертв, но он еще дышал. Его положили на чекмень, пристроили меж двумя лошадьми, как в зыбке, и тихой ступью поехали к лагерю.

Гнали пленных солдат. На шеях некоторых накинута петля. Даша, исхудавшая до неузнаваемости и взволнованная, стояла возле Пугачёва. Кисти рук её были сомкнуты, глаза неотрывно прощупывали всех, подъезжающих к Пугачёву. Вот подъехал Творогов, подъехал Овчинников. Кони их и сами всадники едва переводили дух. Овчинников обливался потом, лицо горело.

— Кто такая? — спросил Творогов.

— Даша, приемная дочка Симонова, — ответил Овчинников.

— Где Горбатов? — спросил Пугачёв.

— Убит, — сказал Овчинников.

Даша ахнула и зашаталась. Её подхватили.

— Живой, живой! — кричал подъехавший к Пугачёву Ермилка с двумя лошадьми, возле которых ехали с приподнятыми пиками казаки.

Даша подбежала и, всплеснув руками, бросилась на грудь Горбатову:

— Андрей!.. Родной мой.

Горбатов открыл глаза и улыбнулся. Пуля была милостивая, она вырвала на голове часть волос с мясом, обнажив череп и несколько раздробив кость.

Текла кровь. Повезли в палатку государя. Военный фельдшер, старик, промыл карболкой рану, умело забинтовал. От сильной контузии Горбатов лишился языка, и правая рука с ногой были как чужие, не двигались. Везти его в обозе было трудно и опасно, сзади подвигался Михельсон. Первый день все-таки благополучно проехали в фаэтоне. Больной терял сознание, бредил.



И первое слово, которое он произнес к концу дня, было «Даша». Даша, крепко стиснув губы, старалась казаться мужественной. Ему все-таки было очень худо, он весь горел. Прошел еще день. Больному становилось все плоше.

Весьма огорченный Пугачёв на совещании — как быть с этим изумительным человеком — решил направить его куда-нибудь подальше в сторону от большака, авось там как-нибудь поправится и уцелеет. Отвезли на мельницу, верст за двадцать в сторону от большой дороги. Мельник был хороший старик.

Обещал поберечь больного и его суженую. Через неделю, в середине сентября больной стал поправляться, вернулось движение в конечностях.

Вдруг прибежал мельник и крикнул:

— Ребятушки! Солдатня! Как быть?

Даша в это время ушла за водой на дальний ключик, чтобы прикладывать к голове больного компрессы.

За окном шум. Мельник клянется и божится, что в избе никого нет. Те не поверили, входят двое. Горбатов говорит:

— Я офицер из отряда Михельсона...

Мельник:

— Во-во-во! Ведь я думал, бравы солдатушки, что вы от Пугача... Ну и скрывал.

— Ваше благородие, так мы вас сей минут доставим в свой лагерь...

Офицер при нас... Можно в город доставить вас, в больницу. Мы сейчас, — и оба молодых солдата удалились, а следом за ними и мельник.

Горбатов, выхватив из-под подушки пистолет, быстро привел его в порядок и выстрелил себе в висок.

Вбежавшая Даша, увидев кровь из виска и мертвые потускневшие глаза Горбатова, взвизгнула и без чувств упала на пол.

Вскоре посланный Пугачёвым малый отряд из горнозаводских уральских охотников под началом Петра Сысоева — тайно узнать, что с Горбатовым, — вернулся и доложил государю всю правду. Пугачёв изменился в лице, воскликнул:

— Лучше бы правую рученьку мою отсекли, чем лишиться мне дружка моего Горбатова, офицера... — Он нахмурил брови, раздувая усы, долго смотрел в землю, затем спросил:

— А Даша как, Симонова?

— Ее, аки преступницу, связанную, увезли с собой.

— Бедная! Повесили ль вы мельника? Это он предал!..

— Нет, батюшка. Мельник повешен офицером из отряда, аки

укрыватель преступника. А вот вам в собственные руки письмо, мельников внук, парнишка, из-под подушки успел выхватить... Извольте вам, — и Петр Сысоев, прикрывая то правый, то левый глаз, протянул Пугачёву накрест сложенную и припечатанную бумагу.

На бумаге значилось крупными печатными буквами: «Государю в собственные руки». Пугачёв вскрыл печать, развернул лист и с большим старанием прочел несколько четких строк, изображенных тоже печатными буквами. Пугачёв, внимательно всматриваясь в строки, прочел:

«Милостивый государь мой, Емельян Иваныч! Чувствую — от злодеев наших спасения мне не будет. Преклоняю колени пред вами и говорю вам — прощайте.

Имя Ваше и дела Ваши — почетны. Вы вождь народа. Такие люди не часто родятся в веках. Знаю — Вас предадут. Да и сами Вы это знаете. Не унывайте. Вы совершили деяние великое. Вы показали миру, что и над сословием дворян есть суд народный. Вы заложили фундамент, на котором трудовой народ будет строить свое здание свободы. Народ во все века будет оглядываться на Ваши деяния и помнить имя Ваше. Еще раз прощайте.

Беспредельно любящий Вас Андрей Горбатов».

Пугачёв выслал всех и снова уклюнулся в письмо. Усы и набухшие веки его дрожали. И вот из глаз слезы полились. «Прощай, Горбатов», — подумал он и шумно задышал.

...С Дашей было так. Она была доставлена в Яицкий городок как арестованная. Симонов, по настоянию члена Секретной комиссии, офицера Маврина, снявшего с девушки все обвинения, тотчас освободил ее. И вот она снова в своей девичьей комнатке. Комендантша ходит тучей. К столу Дашу не приглашают, девчонка-калмычка обед подает ей в комнату. Даша немало скорбит и о том, что нет с ней веселой Усти. Подружка её увезена то ли в Сызрань, то ли в Казань.

Когда в Яицкий городок был доставлен Емельян Иваныч, Даша, скопив дома съестного, завернула в узелок рыбу, пирог, блины, курицу, отдельно в бумажке леденцы, и направилась поздно вечером, потемну, к войсковому каземату, чтоб как-нибудь, чрез знакомых казаков, передать узелок Емельяну Иванычу, сидевшему там в оковах.

Дашу не подпустили даже и близко.

— Мне хочется передать подаяние, как христианка, государственному преступнику Пугачёву, — сказала она старику казаку, похожему на бородача Пустобаева.

— Вот что, барышня, — уходите-ка вы подобру-поздорову, — сказал тот, улыбаясь, — а то стража дозрит, так и вас схватят.

Домой Даша вернулась вся в слезах. Мать, узнав, в чем дело, ударила Дашу наотмашь по щеке. Даша стиснула зубы и сказала:

— Я никогда, никогда этого не забуду и не прощу вам.

Первого октября, в Покров, Даша неизвестно куда исчезла. Покинула Яицкий городок, может быть, ушла из жизни.

## **Падуров и офицер. (Заметка ко 2-й книге).**

Офицер сказал Падурову:

— Вот видишь, как на косогоре, в пяти верстах, сверкает белым огнем стекляшка, а вот еще, а вот еще... А почему? Солнце бьет в них своими лучами. А без солнца нешто увидал бы их за пять верст? Да и мимо прошел, не увидал бы. Так и мы, Падуров! Наших дел сейчас никто не замечает, малы ли, велики ли они. И забудут нас. Но придёт солнечная пора, и заблестят наши дела, и нас добрым словом вспомнят потомки наши.

— Верно, — сказал Падуров и пристально поглядел на далекий косогор, где тремя белыми огненными звездами сверкали стеклянные осколки.

## **Из блокнота.**

### **(Написать особую главу о народной национальной культуре).**

Для своего времени высокая культура была на севере — у поморов, в архангельских и олонецких скитах. Носители её — старообрядцы. Они, и материально более обеспеченные, имели возможность приукрашать и культивировать свои одежды, расшивать их жемчугом, серебром и золотом. И по материальному благополучию, а также по своей религиозности были они грамотны, читали церковные книги, занимая от культуры византийской и привнося в нее культуру русскую. Былины, песни, ткани, вышивки, кружева, шитье, иконопись. Былины оттачивались из десятилетия в десятилетие, из рода в род. А поэтому и разговорная речь достигла большой культуры, образности.

Зодчество: избы просторные, в два этажа, расписные ставни, резьба, храмы деревянные, шатровые, изделия из слоновой кости, из меха. Бисерные работы.

Раскольники, народ гонимый, замкнулись в себе, образовали свою высокую культуру духа и быта.

Отметить в романе величие духовной и материальной культуры русского народа: песни, сказания, изобретатели, зодчие из народа, мастера и мастерицы — ткани, вышивки золотом (монахини), кружева, живопись и пр.

## Суд и расправа. Глава 4.

*Настоящая, четвертая в книге — «Прохиндей», — глава не включена в третью книгу «Емельян Пугачёв» по композиционным соображениям.*

*Ред.*

### 1

В один из майских благодатных деньков к дому ржевского воеводы подкатил с бубенцами бравый пучеглазый поручик Капустин. Воевода принял его с должным уважением и, осведомившись, в чем дело, предложил остановиться у него.

После обеда с выпивкой послали за фабрикантом Твердозадовым. Поручик ему отрекомендовался:

— Я зять московского первой гильдии купца Силы Назарыча Серебрякова.

— А-а-а, так, так, — почтительно заулыбался рыжебородый, большой Твердозадов; его густые волосы подрублены по-кержацки, расчесаны на прямой пробор, свисают крышей.

— Согласно сих двух документов, — продолжал офицер, передавая Твердозадову долгополовские фальшивки, — имею получить с вас тысячу рублей наличными и на тысячу рублей веревками.

Улыбка на крупном и суровом лице Твердозадова сменилась недоумением.

Нахмутив щетинистые брови, он пристально рассматривал предъявленные ему бумажки за печатями.

— Твоя рука? — спросил воевода.

— Кажись моя, — буркнул фабрикант, — токмо что не я писал... Ничего в толк не возьму. Откедов... откедов у ты сии грамотки?

— Я оные документы, — ответил офицер, — получил от тестя моего с

доверительной надписью. Требую срочной уплаты.

— Я в Москве вот уж десять годов не бывал! — гневно закричал басом Твердозадов. — Мошенство! Каверза! Что вы, господа хорошие... Побойтесь бога!

— Бога мы боимся, — зашумел и воевода, выкатывая бараньи глаза. — А ты не ори, пока я те глотки не заткнул. Ты как меня честил? Помнишь?..

Смотри, в капусту искрошу. А вот, выкладывай господину поручику деньги и шагай с богом домой.

— Тьфу! — и Твердозадов швырнул на стол оба векселя. — Тоже нашли дурака, чтоб за какого-то прощальщика кровные денежки платить. Да я в Тверь, я в Питер... До сената дойду!

Он круто повернулся и, тяжело брякая подкованными сапогами в пол, пошагал, как конь на дыбах, к выходу.

— Судом стребуем! — крикнул ему вдогонку вспотевший воевода. — Имущество опишем, в яму долговую угодишь...

— Не стражай, голоштанник, — повернулся от двери фабрикант. — Проглочу с потрохами, как снетка, и пискнуть не успеешь.

На следующий день поручик Капустин явился в магистрат, ведавший купеческим сословием и относящимися к оному гражданскими делами. За магистратским столом восседал сам бургомистр, седобородый Ряхин, два ратмана и повытчик — родственники его. Все четверо — выборные из купцов.

Поручик Капустин требовал немедленных действий по взысканию с Твердозадова двух тысяч. Члены магистрата взирали на векселя «с неохотой и сумнительством». Тогда поручик предъявил, за подписями высоких московских лиц, бумагу. Между прочим в бумаге говорилось: «Доколе то дело решением произведено не будет, дотоле того магистрата присутствующих и повытчика держать при их местах без выпуска». Прочтя бумагу, бургомистр и прочие члены магистрата поняли, что шутики плохи, доведется Твердозадова довольно понужнуть.

Истцу, поручику Капустину, была отведена на купеческий кошт квартира.

Началось дело.

Бургомистр Ряхин двадцать лет бессменно держал в своих руках весь город. В магистрате, в земской избе, в словесном суде и прочих подведомственных ему учреждениях сидели его родственники или добрые друзья. Писчики, канцеляристы, подьячие «просто» и подьячие «с приписью», трепеца, ждали мановения начальника. С незнатными людьми бывало так: двум магистратским рассыльщикам давали сыскную, они

сыскивали должника в доме или где уллучить было возможно, схватывали его, волокли к разбирательству, объявляя «при доезде». Ежели должник укрывался, рассыльщики волокли в суд его мать, отца или жену и содержали их под караулом, доколе должник не являлся на выручку своих близких.

А вот теперь поступить так бургомистр Ряхин поопасился: Твердозадов — фабрикант, богач, раскольник, имеющий в Москве сильную руку среди староверов-толстосумов. Поэтому словесный суд, куда передано это кляузное дело, поручил судье, купцу Постникову, навеститься к Твердозадову и упросить его кончить дело полюбовно. Судья трижды ходил к нему.

Твердозадов трижды выгонял его вон, кричал, что по фальшивым вексялям не плательщик.

А как, согласно вексельному уставу, должно решить дело в двухнедельный срок, иначе взыскание по иску будет учинено с самих судей, да и поручик Капустин грозил, по смыслу имевшейся у него бумаги, в случае проволоочки заковать судей, подьячих и повытчика в ножные кандалы, суд постановил повернуть дела как можно круче.

Посланы были два рассыльщика из дюжих второй гильдии купцов, и повелено было тем рассыльщикам:

— Требовать должника в словесный суд неотступно.

Здоровецкие бородатые рассыльщики усердно, страха ради, помолясь, подступили к запертым воротам Твердозадова. Грохали и час, и два, и три, из сил выбились, ни с чем вернулись в суд.

Меж тем хитроумный фабрикант, зная повадки бургомистра и беззакония местных властей, ввез в свою крепость двенадцать возов продуктов, запер наглухо ворота, спустил с цепей бешеных собак и стал отсиживаться, выжидать, что будет. А канатная фабрика его, помещавшаяся во дворе за бревенчатой стеной, продолжала работать полным ходом.

Словесный суд, видя, что должника залучить невозможно, решил передать дело обратно в магистрат, располагавший большими правами. Магистрат тотчас призвал из ржевских купцов «полицы-мейстера» Арбузова и приказал ему:

— Идти тебе, полицы-мейстер, в дом Твердозадова и требовать, дабы хозяин, по именным на него вексялям, явился в магистрат в неукоснительном времени.

Но «полицы-мейстер» купец Арбузов тоже ничего поделывать не смог: постучал в ворота, послушал лай бешеных собак да чью-то черную ругню и, грозя законами, было поплелся обратно. Тут голос окликнул его:



— Эй, стой! — и через щель приоткрытой на цепи калитки просунулась рыжая бородача хозяина:

— Слушай! С глаза глаз говорю тебе, Арбузов.

Толкуй судьям: Твердозадов-де хабары не даст ни гроша. А деньги-де он, Твердозадов, у купца Серебрякова сроду не брал, и расписки те фальшивые.

Пущай-де суд дознается у Серебрякова, какой жулик сими векселями обморочил его. А как дознается суд, пущай-де ловит того жулика, а не меня, я на вас, хабарники, вашу шайку воровскую в сенат жалобу учиню.

И калитка с превеликим треском захлопнулась.

«Полицы-мейстер» купец Арбузов под присягою объявил магистрату поносные Твердозадова слова. Бургомистр Ряхин с судьями довели о сем до сведения самого господина воеводы Таракана-Сухожилина. Воеводе на руку: уж вот тут-то он сумеет рассчитаться с лютым оскорбителем своим.

А время шло, кончился положенный двухнедельный срок. Воевода, блюдя закон и получив крупную взятку от поручика Капустина, приказал, во угождение поручику, надеть ножные кандалы на двух судейских подьячих и одного из судей. Скванные, поскрипывая перьями и глотая слезы, так и сидели в кандалах за своими столами.

Воевода пыхтел, краснел, от напряжения мысли вспухли на его толстой шее воловьи жилы, но в пустопорожнюю голову его ничего не влетало, и он не мог придумать, каким измышлением, не нарушая закона, ущемить гордеца Твердозадова. А вот как зудились руки! Напился пьян, побил жену и завалился на подрых. На другой день приказал разыскать великого пропойцу, купеческого сына забулдыжника Федьку Петушкова.

Этот пьяница то и дело валялся под забором, часто сиживал за дебоширство в арестантской, на службу же появлялся весьма редко, но законы знал лучше самого законодателя, за что и терпим был в должности подканцеляриста воеводской канцелярии. Он находился в тяжком у начальства подозрении: как-то во время запоя он схватил составленный купечеством приговор и разодрал его, повредив в титуле «Её Императорского Величества» заглавную букву «В». Такая продерзость «касалась уже важности». Однако и на этот раз, ради отменных

способностей невоздержанного винопивца, дело было замято.

Федьку Петушкова привели из кабака под руки, прислонили спиной к изразцовой печке, чтобы не упал. Он еще не стар, но давно потерял облик человека. Грязные волосы торчком, глаза белые, стеклянные, левый глаз подбит, лицо отечное, нос мягкий, ветхая рубаха разодрана от ворота до подола, сухорепрая грудь с поджарым животом голы, рваные штаны лезут вниз и распухшие, в струпьях, ноги босы. Он сопел, покачивался, туго соображая, где он, кто пред ним.

— Все пропил, Федя? — сочувственно спросил его воевода.

— Окромя совести — все! — взмахнул рукою Федька Петушков и посунулся носом, но был подхвачен сторожем и снова прислонен к печке. — За правду погибаю! Взятчики все, казнокрады. Душу вынули... Прахом все... Э-эх! — Он заплакал, затряс головой и брякнулся в растяжку.

— Ребята, — сказал воевода, — вынесите этот мерзкий прах во двор да бултыхните ему на башку ведер пять воды.

Федьку потащили, он хрипел, плевался, орал:

— Вот ужо-ужо... Вот ужо!.. Государь Петр Федорыч... Всем вам петля!

У воеводы яростно заиграли пальцы, сжимаясь в кулаки и разжимаясь, а волосатый рот перекосялся.

Через час Федька отрезвел. Мокрый, посиневший, он сидел в канцелярии за столом, нюхал из бутылки муравьиный спирт, вздрагивал от холода.

Воевода, сдерживая гнев, разъяснил пьянице, что от него требуется.

Федька опустил голову, сжал виски ладонями и так сидел в окаменении очень долго, может, час, а может быть, и дольше. Все думали, что он уснул. Но вот, словно под ударом бича, он вдруг вскочил, распахнул дверцы шкапа, выхватил из громадного вороха бумаг трепаное дело, перелистал его и громко прочел выпись «Соборного уложения», главы десятой:

— «Буде который ответчик учнет у пристава укрыватися и во дворе у себя не учнет сказыватися, и приставу, взяв с собой товарищей, сторожить у двора его день, и два, и три, доколь тот ответчик сам или человек его или дворник со двора сойдет, и того ответчика или дворника, взяв, привести в приказ».

Воевода всохотал, ударил от радости в ладоши, но вдруг, набывшись, загрозил глазами и голосом подначальным своим:

— Чуете, орясины стоеросовые? Все шкапы перевернули, а шиш наши.

Спасибо тебе, Федя... Только смотри, язык вырву! — и воевода, стиснув зубы, сунул кулаком Федьке в нос. — Гей, сторож! Одеть его, отвести на кухню, накормить, напоить, уложить спать.

Вот и расчудесно. Значит, по закону можно на Твердозадова войной идти.

Быстро собрали отряд в двенадцать бойцов из ржевских посадских людей и второй гильдии купцов. Под водительством храброго купца Арбузова отряд обложил со всех сторон усадьбу непокорного раскольника, день и ночь чиня засаду.

А купчина Твердозадов спокойно отсиживался в своей крепости и в ус не дул. Забор на его усадьбе высокий, бревенчатый, утыканный по верху острым кованым гвоздем. Время от времени показывалась над забором голова дворника Ивашки, вприщур озидала голова пустынную улицу с притаившимися по углам бородатыми воеводскими стражами и вновь скрывалась. Иногда сам хозяин залезал на чердак, чтоб в слуховое оконце посмотреть на осаждающих, по-злому улыбался в бороду, бубнил: «Знаю, лиса, про твои чудеса».

Спускался, шел в трепальню, набитую едкой пылью, по пути подзывал дворника Ивашку ласково говорил ему:

— Слышь-ка, Ваня. Ты в оба гляди. В случае чего — всех собак спущай.

Надо собакам на ночь изрядно винца подбавить в жратву, чтоб ярились пуще.

— Да уж будь в надеже, хозяин, — шептал толстыми губами широкоплечий парень. — Я супротив воеводы да супротив воеводских холуев сам зуб ярю, не хуже бешеной собаки.

— Во-во-во! — и купец протянул Ивашке сахарную сосульку. — На, побалууй... А я тебя, парень, не оставлю. Сколь у тебя бойцов-то?

— Да десятка с два... Дубинками махать могут ладно. Три рогатины, кой-какие топоришки имеются. Да два самопала.

— Во-во-во...

Всему городу ведомо было про осаду именитого купца. Простой народ, любопытства ради, не спеша прохаживался, с язвительной ухмылкой оглядывал несчастных воеводских караульчиков, что сидели на лавочках, на бревнах против осажденной твердыни. Иногда из озорства кричали: «Гляди, гляди...

Эй, караульчики! Твердозадов через заплот перемахнул!» — и прячась в толпе, быстро улепетывали дальше.

Даже купцы и люд чиновный, сидя в таранасиках, трясогузках и линейках бок о бок с дражайшими своими половинами, расфуфыренными в модные салопы, в ковровые узорчатые шали, с густо насурмленными щеками, с подведенными бровями, лихо проносились на сытых лошадях, всматриваясь в онемевшие окна супротивного властям жилища.

А в базарный день, когда съехались крестьяне, почитай весь рынок привалил к дому Твердозадова.

— Пойдем, братцы, проведем купца. Человек он сыздавна знаемый... А этому воеводишке когда ни то лихо будет... уж он дожде-е-тся.

В ту пору в деревнях и по базарам почти в открытую болтали о новоявленном царе Петре Федоровиче, покорившем всю Сибирь и пол-России.

Пресекая крамолу, воевода озверел. Он хватал в деревнях и в городишке через своих сподручных правого и виноватого, нещадно драл, отдавал в солдаты, гноил в тюрьме, даже были случаи — с согласия помещиков-владельцев — ссылал мужиков на каторгу. Но, невзирая на его жестокость, мужики осмелели окончательно, слухи о великой смуте множились, и росла, росла к злодею-воеводе ненависть.

Против дома Твердозадова — густая толпа крестьян с кошельми, корзинами, баклажками молока.

— Эй, Абросим Силыч!.. Покажись! — зывали нетерпеливые. Иные длинными палками стучали в окна, двое мальчишек залезли на забор.

Будочники с алебардами убеждали толпу не гуртоваться, а каждому идти своей дорогой. Толпа потешалась над ними, вызывая на скандал.

Вдруг распахнулось в верхнем этаже окно, раздвинулись кисейные занавески, показался хмурый лик с горящими глазами, зарыжела огненная борода.

О-о-о! — радостно заорали мужики и бабы, они сразу забыли все бывшие от купца прижимки: ведь канатный фабрикант часто наезжал в деревни, скупал лен, коноплю, овес.

— Здоров будь, Абросим Силыч! Что, брат, сидишь и ты? А и гораздо же тебя пообидел воевода...

— Сижу, отцы, сижу! — кричал Твердозадов и кланялся.

И те, кто поближе к дому, видели: глаза здорового лохматого купца наполнились слезами.

— Вот как изгаляются... Несмотря, что богач, — сожалительно вырывалось из толпы. — А с нашим-то братом что вытворяют, с мужиком-

то.

Ой, ты!

— Абросим Силыч, эй! Довольно ль у тя жратвы-то? — вопрошали сердобольные из толпы. — А то спускай сюда веревочку, мы те молочка навяжем, да хлебушка, да сметанки.

— Спаси бог, хрещеные, в довольстве сижу, сыт! Токмо за бесчестье тоска долит. Обида, братцы!

— А вот погоди чуток, — утешающе неслись выкрики, — вот ужо-ужо царь батюшка Петр федорыч придёт, рассудит! Он, батюшка, торговых людей, сказывают, не трожит. Он, батюшка, токмо воевод, да бар, да начальников превеликих вешает!..

### 3

Так еще протянулась скучнейшая неделя. Всем до смерти надоела эта канитель. А больше всего надоело торчать дома гульливому дворнику Ивашке.

У него, может, зазноба в городе, может, кабатчикова жена Дарьца души в нем не чаёт: она молодая, ядреная, а ейный муж — старик, от него уж землю пахнет.

Ивашка парень не дурак — подъехал вечерком к хозяйке.

— Даве молвила ты, Степанида Митревна, солоду да хмелю нет у тебя пивца сварить. Давай слетаю, зады наши в кустарник выходят, никто не учует. А перед утренней зорей вернусь.

Дала ему хозяйка полтину денег. Поставил Ивашка замест себя другого дворника, а как стало чуть-чуть светать, перемахнул через заплот да и был таков.

И заприметь его на рынке в раннюю пору «полицы-мейстер» Арбузов.

Ивашка присел в толпе да по-за телегами прочь.

— А-а, молодчик! — вскричал Арбузов. — Вот ты где! Тебя-то, твердозадовского дворника, нам и надо. Хватай его.

Четверо дюжих молодцов схватили Ивашку, привели в воеводский двор, заперли в холодную. Просидел Ивашка весь день, до вечера. При нем в мешке хмель и солод. Сквозь железную решетку сунули хлеба с водой. Вот тебе и Дарьца!

Ивашка горько горевал, воевода радовался: ну, теперь-то уж

Твердозадов не отвертится, обязательно придёт выкупать своего холопа и долг по векселям сквитает: так гласит закон!

Меж тем Ивашка стоял у окна, выходящего в зеленое поле, и скучал.

Вдруг, уж смеркаться стало, всплыл у окна Федька Петушков. «Сидишь?» — «Сижу». Ивашка все в подробности сквозь решетку перешептал воеводскому подканцеляристу. Тот сказал: «От государя Петра Федорыча манифест получен здесь. Сиди, скоро свободу примешь», — и ушел.

Вскоре Федька Петушков, трезвый и озлобленный, с кипой бумаг под мышкой стоял у дома Твердозадова.

— От воеводы с бумагами, — сказал он воеводской страже и был впущен в дом.

Засели с купцом и купчихой за стол. Федька Петушков сказал:

— У них закон, а мы против того закона свой закон выдвинем. Дако-сь чернил сюда, напишем промеморию.

Он засучил рукава, выпил чарочку, перекрестился и стал строчить. Под бумагой фабрикант Твердозадов руку приложил. Федька Петушков прочел промеморию вслух. Степанида Митревна заметила:

— Ах, не правда, не правда! Я нашему Ивашке только полтину дала, а трехсот рублей золотом не давала...

— Молчи, молчи, Твердозадиха, — перебил Федька Петушков и выпил еще чарочку. — Сие место умственно написано. Поверь!..

На следующий день был созван в воеводскую канцелярию весь магистрат.

Промемория гласила: «У меня, фабриканта града Ржева, Абросима Твердозадова, во услужении дворником находился при доме крепостной генерала Сабурова Ивашка Постнов...»

Уже эти первые строки заставили воеводу, бургомистра и двух ратманов переглянуться: они сразу поняли, что сваляли дурака, захватив собственность генерала Сабурова, человека весьма строптивного и властного.

«А ныне означенный дворник, коего послала моя жена еще третьего дня, дав ему триста рублей империалами на размен мелочью, неведомо куда скрылся и посейчас с теми деньгами в дом не бывал...»

Заседающих бросило в жар. У воеводы зазвенело в ушах, на шее вздулись воловые жилы.

— Не было у дворника денег! — вскричал бывший тут купец Арбузов, «полицы-мейстер».

— Молчи! — и воевода грохнул в стол.

«А по сему прошу: дабы о сыску оного Ивашки Постного и о публикации о том всенародно во ржевский магистрат сообщить, а равно и помещика генерал-майора Сабурова о пропаже без вести крепостного его уведомить».

Наступило длительное молчание. Воевода упер бородищу в грудь, пыхтел, бараньи глаза закручинились. Был призван Ивашка и спрошен, доподлинно ли давал ему Твердозадов на триста рублей импералов. Быв научен Федькой Петушковым, парень твердо показал, что верно: хозяйка послала его, Ивашку, на базар за хмелем и солодом и дала-де золотых монет на триста целковых, дабы Ивашка наменял их мелочью, и что оные золотые отобрал-де от него при задержании купец Арбузов со товарищи.

Арбузов привскочил, затрясся, пискливо закричал:

— Ах, ты хам!.. Врет и не кашляет.

Воевода вновь остановил купца и, кривя в гневе губы, грозно спросил Ивашку:

— Облыжно обносишь людей, алибо правду показываешь? Говори, смерд, а то устраивать учну.

Глаза Ивашки сверкали по-злому, и весь вид его страшен, как у человека, решившегося на отчаянный поступок.

— Правду сказываю, — пробурчал он и шумно задышал чрез ноздри.

Ночью в каземате связанный по рукам Ивашка был до потери сознания избит. Сначала немилосердно лупил его сам воевода Таракан, приговаривая:

«Вот тебе, вот тебе за старое». Он изнемог от злости, от размашистых движений, налился, как клоп, кровью, сел на чурбан, дышал шумно, тяжело, открыв настежь рот.

Вот над Ивашкой взмахнул кнутом палач. От спины парня летели окровавленные лоскутья кожи. Ивашка дрожал, жевал тряпку, в которую уткнулся рылом, вот замычал, заскулил и впал в беспамятство.

Стояла необычайно знойная погода. Прошли сутки. Ночь наступила душная, темная, вдали погромыхивал гром. Тучный воевода задышался. Он приказал бросить пуховик на нижнем балконе и лег спать.

Гремела первая гроза. Удар за ударом страшными взрывами рушились на землю. Дрожали стены, дрожал, сотрясался мир. Но воевода спал крепко, не слышал грозы.

Ранним утром в воеводском дворе, грязном от прошумевшего проливня, поднялся переполох.

На соборной колокольне ударил-залился набатный колокол. Сонные люди выскакивали из домов, спрашивали друг друга, что случилось,

спешили кто на соборную площадь, кто на воеводский двор. Вперемешку с жителями бежали к воеводскому дому заспанные солдаты, с ружьями, с походными сумками в руках, кричали:

— Тревога, тревога!..

С воеводского двора летела резкая дробь турецкого барабана. Сполошные колокола зачастили-залились еще в двух церквах.

— Царь батюшка идёт!.. Сам Петр Федорыч! — шумели люди на бегу, выламывая из заборов жердье, хватая дубинки. — Казак с манихвестом наезжал...

А на грязнейшей соборной площади толпа орала:

— Эй, звонарь! Уж не царь ли показался с воинством?

Улица пред домом воеводы полна людей. Вид у всех растерянный и любопытный. Сначала шепот по толпе, потом шум, потом крик:

— Таракана убили! Воевода кончился...

Дробь барабана крепла. В толпу въехали верховые солдаты с офицером, пытались разогнать народ.

— Расходись, жители, расходись!.. Его высокоблагородие секунд-майор Сергей Онуфрич Сухожилин волею божией умре.

У воеводы оказалось перерезанным горло.

Караульный солдат каземата показал: пришел-де в ночи, в самую непогодь, подканцелярист Федор Павлыч Петушков с бумагой от воеводы, требовал-де выдать ему, подканцеляристу Петушкову, арестанта Ивашку Постнова для ночного-де допроса в воеводской канцелярии.

Дознание выяснило, что на вспольи в городском табуне той же ночью были похищены два воеводских самолучших скакуна. Очевидно, на них утекли крепостной барина Сабурова парень Ивашка Постнов и с ним — подканцелярист Федька Петушков.



## Купец Барышников

*Настоящий отрывок, судя по времени описываемой в нем поездки купца Барышникова, назначался писателем для одной из глав второй книги «Е. П.», но не был включен в книгу.*

*Ред.*

Купчик Полуектов, эта забубенная головушка, едва ли в состоянии когда-либо нажать себе большие капиталы. Да он этого и не умеет, за этим и не гонится. Где ему?.. Он рыбка мелкая, ни какой-нибудь чудо-юдо, рыба-кит Барышников.

Да к тому же нам надо знать, что замечательные богатства в России составлялись не столько торговлей и промышленностью, сколько откупам и казенными подрядами.

Так преумножил свои богатства и знакомый наш Иван Сидорыч Барышников.

Однако деятельная, коммерческой складки, натура его тяготела к широкому труду созидательному, промышленному, к постройке своих фабрик и заводов, к оптовой торговле с заграницей.

Мы уже знаем, что встать на путь приобретений толкнул его подвернувшийся под руку случай: в Семилетнюю войну он «зажилил» золото фельдмаршала Апраксина. Боясь сразу обнаружить свое краденое богатство, он по началу открыл в Питере перворазрядный трактир, затем разорил богатого мясника Хряпова и заполучил его дело в свои руки, потом стал заниматься богатыми откупам и подрядами. Набив сундуки золотом, он умудрился приобрести на подставное лицо (графа Федора Орлова) два имения в Смоленской губернии — Алексино и Погорелово — с полутора тысячами душ крестьян. Переходя к практической деятельности, Барышников успел выстроить на своей земле писчебумажную фабрику, лесопильню, богато оборудованную водяную мельницу и обширный винокуренный завод — самое выгодное предприятие, которое разрешалось исключительно помещикам.

И вот, ранней весной 1774 года, когда Пугачёв еще был под Оренбургом, Барышников с Митричем едут из Смоленской губернии в Москву и Питер по своим делам.

Было всему свету ведомо, что в восточной стороне России происходят небывалые волнения черни, но Барышников этой «заварухи» ни мало не боялся.

Смоленская губерния от народного пожарища очень далеко, в Смоленской губернии, в его имениях, тишь да гладь, да божья благодать.

Дорогой путники повидали много — и смешного, и печального. Так в одном из сел, где проживала в своем поместье родственница покойного фельдмаршала Апраксина, Барышников остановился передохнуть у местного священника. Отец Лука поведал:

— Барыня наша, бог ей судья, зело бесчеловечна... Хотя она и вдова, а невзирая на почтенный возраст, с голоштанными соседями помещиками в любовь играет... Ну, да бог с тобой, играй, да людишек-то своих, мужиков-то, не тирань... А она что... Она, изволите ли видеть, плешивая. И своего дворового парикмахера, парня Вавилу Постного, дабы тот не разгласил её тайны про безволосое состояние свое, держит несчастного в клетке без выпуска вот уж седьмой год. Седьмой год!.. Вы только подумайте, дражайший Иван Сидорыч, каково живому человеку-то, Вавиле-то? За чьи провинности несчастный страдает? И вступиться некому. Я обличать ее, прямо говорю, страшусь: она и меня-то на цепь посадит, как собаку. Родители-то парня извелись все, их-то, бедных, вчуже жалко... И плетьюми-то их били, и каторгой генеральша грозила им. Да не токмо их, ни единого человека нет из её крепостных, кои не претерпели бы от нее, распутницы. И в такое-то лихолетье, когда Пугачёв гуляет по России с шайкой сорванцов... Да дождется она, голубушка, дождется. Вот бы вам, Иван Сидорыч, припугнуть ее, вы все-таки человек не нам чета, с вельможами знаете.

— И не подумаю, — буркнул Барышников, с аппетитом кушая грешневые блины со сметаной. — Кровь портить из-за всякого пентюха Вавилы, в том шибкой корысти нет...

Митрич только головой тряхнул и сердито прикрикнул. Он тут же попросил у своего хозяина в долг три рубля, разыскал родителей Вавилы и, когда Барышников лег соснуть часок-другой, вернулся назад в чувствах расстроенных, с глазами красными, заплаканными. Как сел в угол, так и просидел не подымаясь, пока не проснулся хозяин.

— Ну, едем, Митрич!

И они двинулись дальше. Да, да... Невеселая была для Митрича

дорога, слов нет, невеселая...

Но вот в некоем барском селе путникам повстречалась и «смешнятинка».

Тройка повстречалась. Да не какая-нибудь лошадиная, в бубенцах да побрякушках, в корню гнедой мерин, по бокам пристяжки, — нет, повстречалась им тройка. Человечья? Вот забавно-то, ей-богу — право... чего-чего только не насмотришься в дороге.

— Здравствуйте, барышня... хе-хе-хе... — приподнял Барышников бобровую шапку. — Куда это изволите правиться?

— Тпруу! — прозвенел девичий голосок, и тройка остановилась. — А так... просто... катаюсь, хи-хи-хи... На прогул еду.

— Харраши лошадки, хе-хе-хе, ах, харраши! — протянул Барышников, косясь лукавым глазом на остановившуюся тройку.

— Да ведь нас барышня, дай ей бог женишка хорошего, дюже бережет, ха-ха-ха, — ответили с хохотом здоровецкие, как на подбор, лошадки. — Сладким овсецом кормит, конфетками.

— Я их конфетками кормлю, хи-хи-хи... Папенька ругаются, а маменька ничего супротив не говорит...

— Хе-хе-хе, приятно, приятно... А кто же, дозвоьте узнать, ваш папенька, с кем имею честь?

— А папенька мой секунд-майор в отставке Павел Терентьич Невзгодин.

Они будут очень рады, ежели вы завернете к нам на перепутье...

— Премного вами довольны за ласковость, мы люди не гордые, завернем, — проговорил Барышников, снова приподымая шапку. Он оглядывал миловзорную, «субтильного» вида барышню в темно-зеленом душегрее с белым воротником и белой из горностая шапочке. Она сидела в ажурных, но крепких маленьких санках, держа в руках изящный кнутик для устраиванья и вожжи из тонких атласных лент. Её лошадки были пять рослых молодых девушек — одна другой краше — в нагольных опрятных полушубках. Они не стояли на месте, били в снег каблуками, как копытами, встряхивались, звякали бубенцами, звонкими визгливыми голосами изображали подобие ржанья: «иго-го-го-го!» Барышню такая игра занимала.

— Ну, лошадушки! — подняв кнутик, тряхнула барышня вожжами, и шутейная тройка взяла на полный ход — только снег полетел во все стороны.

— Вот добро, — улыбочиво глядя вслед тройке, протянул Барышников и приказал ямщику завернуть на барский двор.

— Кошке игрушки, а мышкам-то слезки, — оттопырив губы, недовольным голосом отозвался Митрич.

— А чего ж такое: ей утеха, а девкам канфетки.

— А ты запрягись с сынком своим Иваном Ивановичем да вези-ка меня, я тебе щиколладу дам со сладкими пампушками...

Иван Сидорыч сердито поджал губы и отвернулся от лакея.

Павел Терентьич Невзгодин был помещик хозяйственный, но не практичный. Он имел больше тысячи десятин лесных угодий, у него действовал пильный завод, мельница, крупорушка, устроенные на быстрой, довольно многоводной речке, а также самое доходное предприятие — винокуренный завод.

Пили в столовой чай, закусывали. Восседал за столом и Митрич в своих медалях. В двух золоченых клетках канарейки пели. Помещик — невысок и тучен, с двойным подбородком, бабьим лицом и тонким голосом. Когда изрядно было выпито хмельного, завязались деловые разговоры.

— Раз вы, почтеннейший Павел Терентьич, нуждаетесь в оборотных капиталах, я советовал бы вам все ваши предприятия продать...

— Что вы, что вы! — тяжело шевельнулся в кресле помещик. — В случае крайности я, товошна, в банке землю заложу, малую толику леса на сруб продам, а, товошна, выкручусь как ни то...

— Дело ваше... А я бы купил у вас все чохом, и лес, и заводы, ежели не за дорого уступите... Не пахотную землю с мужиками, а токмо лес и заводы. Что вы тут, в такой глуши, живете... Да и барское ли дело заниматься коммерцией... На то есть люди промышленные, им и книги в руки, они к черному труду привыкли. А при вашем благородстве в Москве вам жить, вот и детишки у вас на возрасте, и дочка красавица невеста... Там и женишка доброго сыщете. Да и супруге вашей одна скука здесь, какой же здесь вкус к жизни. А в Москве — все знать. Да одни трезвоны московских храмов чего стоят, музыка, небесная прямо музыка.

— Ох, господи, помилуй, хорошо в Москве, дивно хорошо, — сонливым голосом сказал охмелевший Митрич. — Советую-с, советую-с... А взять Питер!.. Прямо ума рехнешься... А здесь — пень на колоду брешет, не жизнь, а треклятая пагуба... Ей-богу-с...

Хозяин выразительно переглянулся с красивой черноокой хозяйкой, разливавшей чай. Переняв их взоры, наблюдательный Барышников не без удовольствия подумал: «Кажись, клюнуло...» За общим столом завтракала

и возвратившаяся с катанья Варечка. А два маленьких барчонка помещались за соседним детским столом и тихо переговаривались по-французски с гувернанткой. И когда большие завели разговор про Москву и Питер, дети вдруг замолкли и наострили уши.

— Ежели вы не погонитесь за большой корыстью, я мог бы тотчас заключить с вами купчую-запродажную. Расчет произведем тут же, наличными-с, — повторил Барышников. — Эдакие случаи бывают не всякий день.

Упустите, будете жалеть-с.

После завтрака поехали глядеть хозяйство. Помещик все свое расхваливал, Барышников — хаял. Вернувшись, рассматривали землемерный план имения. Барышников великолепно разбирался в чертежах и планах. Он сообразил, что на речке можно устроить еще две, а то и три водных установки для новых лесопилок. Из рассказов хозяина он ясно видел, что дело ведется помещиком без всякого умения, что оно приносит хозяину весьма малые доходы, а в иные годы бывает и убыточным, что Барышников мог бы извлекать из всех этих предприятий в десять раз больше пользы.

— Сколько же вы, уважаемый Павел Терентьич, взяли бы за все чохом, за лес, пильню, мельницу и винокурню?

— Да что ж, милейший Иван Сидорыч, — закатив глаза к потолку, сказал после некоторого раздумья хозяин. — Ежели, товошна, наличными, то тридцать тысяч.

— Тридцать тысяч! — всплеснул руками Барышников, и глаза его хищно заблестели: простофиля помещик назначил не столь большую сумму. — Да побойтесь вы бога, уважаемый... Ведь я же только... Ведь вся земля-то с деревеньками при вас останется. А я пришлю своего управителя, и он станет орудовать тут, ваших же мужиков наймет, а нет — я своих могу пригнать.

— Я дешево назначил вам. Один лес чего стоит! — кричал хозяин.

— Дрянъ лес! — кричал и Барышников.

— Ха, дрянъ. Вы не видали... У меня в Коровьих Задках корабельные роци, самый лес строевой...

— Дрянъ лес... Видел я... Ха, тридцать тысяч. Заломили цену изрядную-с. А вот, ежели угодно — любую половину.

— Ни копейки меньше.

— Желаете пятнадцать тысяч серебром?

— Тридцать тысяч, товошна...

— Ну, тогда извините-с, нам с вами пива не сварить... Митрич,

собирайся!

И, прощаясь с хозяевами, Барышников таящимся шепотом сказал:

— Только имейте в виду, уважаемые господа: ведь в ваши края может Пугачёвская сволочь нагряться. Да и нагрет. Очень даже свободно... Тогда от вашего имущества один пепел останется... Я вас запугивать, конечно, не хочу, возможно, что милосердный промысл божий и сохранит от злодеев сии места, а только что... Опаска не вредит-с.

Сердце помещика дрогнуло, одутловатое лицо вытянулось, увлажнившиеся глаза беспокойно завиляли. Он сказал:

— Нет, в наши места злодеи не придут. О сем не можно и помыслить...

— Да ведь всяко бывает, — проговорил Барышников, надевая поданную Митричем шубу. — Тогда уж не пеняйте на меня.

Тройка отъезжающих бежала ленивой рысцой. Барышников, толкнув локтем Митрича, сказал ему:

— Сейчас нас вернут...

— Навряд... он, пузан, упорный...

— Да уж поверь...

Действительно, не проехали они и пяти верст, как их нагнал в легких беговушках секунд-майор Невзгодин.

— Вот что, достопочтенный Иван Сидорыч, — проговорил он. — Посоветавшись с супругой, я решил, товошна, уступить вам лес и свое обзаведение за двадцать восемь тысяч.

— Пятнадцать, наипочтеннейший-с...

— Ах, упрямец, ах, упрямец... Ну, и прижимист вы. Давайте двадцать пять, товошна...

Так и быть.

— Ну, будь не по-вашему, ни по-моему, — шестнадцать тысяч...

— Не скупитесь, прибавьте... Лес-то какой!..

— Дрянь лес.

— Ну вот, товошна, заладили... Побойтесь бога!

— А вы Пугачёва побойтесь, уважаемый... А то будете локоток кусать, да уж поздно-с. Ведь я и сам, как изволите видеть, на риск иду.

— Не связывайся, батюшка Иван Сидорыч, плюнь! Долго ли до греха... — подзадоривая помещика, встрял в разговор Митрич.

— А и то правда, — проговорил Барышников, с неестественной торопливостью попрощался с помещиком и тронул ямщика:

— Пошел, Никита!

— Тововна-тововна, стойте! — припустился за ними следом на своей беговуше помещик. — Иван Сидорыч, остановитесь, куда вы торопитесь-то...

— Как, куда? У меня в Москве да в Питере дела, почтеннейший. Никита, попридержи коней.

— Двадцать три тысячи желаете?

— Ни гроша больше... Да, кажись, я передумал, пожалуй — спячусь...

Мне вашего леса едва на год хватит... Что я стану делать тогда?

— Что вы, что вы, Иван Сидорыч. Леса вам, тововна, хватит на всю жизнь. У соседних помещиков на сруб купите, они рады продать, я знаю... По речушке весной самосплавом...

— Ну, в таком разе, ежели соседи ваши соглашаются продать лес, я шестнадцать тысяч, как сказал, дам вам...

— Двадцать две! Вот вам! Я ведь вам, Иван Сидорыч, восемь тысяч скостил, а вы, тововна, только одну прибавили... Двадцать две! Пользуйтесь добротой моей...

— Пошел, Никита! — крикнул ямщику Барышников, и тройка, гремя бубенцами, тронулась вперед.

— Стойте! — снова помчался помещик за тройкой. — Так это ваше последнее слово?

— Самое последнее... Ежели не уступите за шестнадцать тысяч, ей-ей, уеду... Я раздумал, покупать. Вот Митрич отговаривает, страшает... Пошел, Никита!

— Стойте, стойте, тововна! Черт с вами, я согласен...

Так, на большой дороге, среди бела дня, был ограблен Барышниковым помещик-простофиля.

## **В бане.**

### **К главе двадцать пятой.**

*Пометка автора в конце наброска: «Прервано — в случае надобности будет закончено. 24. VII — 42».*

*Набросок намечался автором как начало к 25-й главе второй книги «Е. П.», но в процессе работы не был использован. — Ред.*

Надо было делать приступ на Яицкий городок, но у Пугачёва как на грех пересекло поясницу. Чем лечить? Поп Иван сказал:

— Давай, батюшка ваше величество, я тебе спину-то в бане редькой натру: немошь аки рукой снимет.

Баня на задах Пугачёвского огорода, она просторна, оконце широкое, свет есть. Возле этой бани еще так недавно мучительно умирала в сугробах Лидия Харлова с братом.

Пугачёва вели под руки палач Ванька Бурнов и поп Иван. Пугачёв шел согнувшись, глядел себе под ноги, от боли кряхтел.

В горячем банном воздухе Пугачёву полегчало. Мыл его поп Иван. У Пугачёва тело белое, крепкое, не укулупнешь. Присадистый крепыш Ванька Бурнов весь, как медведь, в шерсти. Вислозадый поп Иван широк в кости, дрябл, брюхат и очень жирен. От поджилок к широким плоским ступням и по рукам лились, как реки с притоками и ручейками, толстые, чрезмерно набухшие от пьянства вены. Они разносили по телу отравленную сивухой кровь. Он был трезв, но от него нестерпимо пахло винным перегаром.

Пугачёв, с сожалением глядя на него, сказал:

— А ты все пьянствуешь, батя, все хнычешь: горе да горе у тебя. Кто же огорченье-то сотворил тебе, хоть бы поведал.

— А сотворил мне толикое огорченье помещик наш гвардии штык-юнкер в отставке Гневышев, — с охотой откликнулся лохматый, толстоносый батя.

Он опрокинул шаечку воды на раскаленную каменку, густой пар туманным напыхом шибанул под потолок.

Пугачёв обычно хлестался веником сам, но сегодня со всем усердием парил его Бурнов. Повалившись животом на дубовую лавку, Пугачёв от удовольствия только покряхтывал и гоготал.

— Наддай, наддай! — сквозь зубовный скрежет сам себе покрикивал Ванька Бурнов. Страховидный, одноглазый, с рыжими торчком волосами,



он с одинаковым болезненным сладострастием сек розгами преступников, вешал приговоренных, резал баранов и коров и хвостал веником царя-батюшку, которого чтит превыше всего на свете.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Всемирная история в романах»](#)